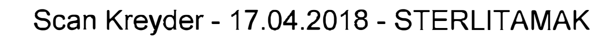
ФЕДОР ГЛАДКОВ


Scan Kreyder - 17.04.2018 - STERLITAMAK

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

•

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВОСЬМОЙ

ЛИХАЯ ГОДИНА

ВОСПОМИНАНИЯ,
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ,
СТАТЬИ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Примечания Б. Я. Брайниной

ЛИХАЯ ГОДИНА

1

С самой весны не было дождей, и хлеба на полях выгорели. Редкая низенькая соломка щетинилась, как жнивье, пустые колоски торчали кверху сухими кисточками. Подсолнечники едва поднимались над землей, маленькие их шляпки желтели на тонких стеблях с опаленными листьями. Всюду было пустынно на полях, и казалось, что они тяжело болели и мучительно стонали. Небо было огненное, на него больно было смотреть. Знойный воздух дымился удушливой гарью, а на горизонте мерцали пламенные марева. Грачи и галки изнуренно садились на сухую траву с растопыренными крыльями и широко раскрытыми клювами.

Мы ехали из Саратова с попутным мужиком, который возвращался домой через наше село. Мужик вез какой-то товар своему лавочнику, и мы кое-как ютились со своими вещичками между кулями и ящиками. Пара ребрастых лошаденок через силу тянула воз, за сутки мы делали до трех пряжек верст по десяти. Ехали больше по ночам из-за удушливого зноя, и мне было жутко трястись на скрипучей телеге в багровой зловещей тьме: зарева далеких пожаров трепетали над горизонтом в разных местах и тревожили душу смутным предчувствием.

— Жгут и жгут... всё бар жгут... — оторопело бормотал мужик. — Лихая бяда... везде бяда...

Мужик был какой-то ошарашенный, пыльный, в заскорузлой от пота и грязи рубахе, в измятом картузе, надвинутом на переносье. Из-под козырька уныло торчал обветренный нос и растрепанная рыжая бороденка. На вопросы отца он отвечал редко и невнятно и только одно выговаривал тяжко, со стоном: «Бя-ада!.. Бя-ада да и только...» Хлеба у него не было и деньжонок не было, а мешок овса для лошадей получил он в Саратове от купца, которому он доставил какое-то сырье от своего лавочника. Работал он у него батраком и ездил от него в извоз на мужичьих одрах. Кормили его всю дорогу мы, и он чуть не плакал от стыда.

Все села на большой дороге мы объезжали стороной: караульные мужики с сучковатыми кольями в руках отгоняли нас от околиц на пограничные межи. Так тогда охраняли народ от холеры.

Отец обычно шагал возле воза или спал, уткнувшись в тюки. Мать сидела, застывшая от дум и немой скорби. Иногда она склоняла голову к моему плечу, когда я сидел рядом с нею, и шептала едва слышно:

— И куда мы едем, зачем едем, Феденька? Что делать-то станем?.. Ведь в черноту, в бездолье едем. Только и гонит нас неволя одна... Были бы крылья — улетела бы я опять на ватагу, к вольнице нашей... Люди-то там какие были, сынок! С кровью мы оторвались от них...

Я сам страдал вместе с матерью. Не ватага и не Астрахань были мне милы: ватажная каторга, душные грязные бараки, свирепое издевательство над людьми, выматывание из них последних сил убивали не только слабых, но нередко и выносливых работниц и рабочих. Но там мы узнали и душевные радости и волнения. Мы сроднились там с людьми духовно сильными, которые научили нас видеть жизнь и людей по-новому и пережить счастье общей борьбы рабочих людей за свое человеческое бытье. Мы за этот год выросли оба, почувствовали новую большую правду. А что ожидает нас теперь в родном селе, в старозаветной семье деда? И вот эти голодные мужики,

которые гонят нас от сел в полынные столбники-межи, казались мне зловещими чўрами, предвещающими беды и гонения в родных местах.

В наше село въехали мы после долгих переговоров и споров с дурковатым Ванькой Юленковым, который притворялся, что не узнает нас. А при въезде на улицу мы остановились перед похоронным шествием: один за другим проносили мужики три гроба. Не слышно было ни рыданий, ни вопленья, как прежде было в обычае, да и люди не брели за гробами.

Дедушка с бабушкой вышли к нам навстречу из ворот, а за ними — Тит и Сема. Бабушка заплакала, а дед со взъерошенными зелеными волосами шел, подгибая коленки, и, улыбаясь, кричал пронзительно:

— Ну, явились наши бродяги! Мать, где кнут-то? Выпороть их надо, чтоб не шатались по стороне.

Но я видел, что он шутит, и в нем уже не было ничего страшного: он стал какой-то измятый, надломленный. Он первый обнялся и поцеловался с отцом и с матерью, а с бабушкой мать долго стояла, положив ей голову на плечо, и обе они тряслись от рыданий. Дед повернулся ко мне, и в глазах его мелькнул лукавый огонек.

— Это кто тебя оболванил, астраканец? Общипали вихры — башка-то горшком стала. Опоганился поди, обмирщился. Кланяйся в ноги!

Но я упрямо насупился и попятился от него: кланяться в ноги я отвык. Этот приказ деда показался мне унизительным и обидным.

— А-а, не слушаться дедушку! Избаловался там, на ватаге-то, арбешник?.. Ну-ка, Титка, Семка, дайте-ка мне чересседельник!

Но Сема смеялся, обнимаясь со мною, а Тит с любопытством оглядывал отца и мать, одетых по-городски, и осудительно бормотал:

— Стыда-то нет... без волосника приехала...

В избе отец с матерью, как принято, помолились и в пояс поклонились и деду и бабушке. Дедушка сел за стол в передний угол, а отец — на конце стола. Тит сел на лавку поодаль, мы с Семой, как парнишки, — на лавке за бабушкой с матерью, перед

шкафчиком с чайной посудой. Сема тыкал меня в бок и шептал:

— Чудной ты какой стал, словно кургузый! Это зачем вихры-то обкорнал? Вы с матерью совсем сторонние да мирские стали.

Дедушка строго внушал отцу, постукивая пальцем о стол:

— Кормить тебя не буду. Для лишних ртов у нас и крошки нет. Видал, как бог наказал народ неурожаем-то? Ни зерна не соберем. У Митрия Стоднева приходится просить, как милостынку, за холсты да за пряжу, а деньгами, у кого они есть, втридорога дерет. Вон у холерных и душевую, и усадьбу, и избы за пуд муки в заклад берет.

Бабушка вынесла из чулана черный, как уголь, кусок и простонала:

— Глядите, какой хлебец-то едим... Не ножом режем, а топором рубим этот перегной...

Отец побледнел и, расчесывая дрожащими пальцами бороду, проговорил срывающимся голосом:

— Мы, батюшка, тебе в тягость не будем: свой кусок хлеба достанем и лишнего места в избе не займем. Благослови меня раздельно от тебя жить.

Дед с каждым словом отца разгибал спину, поднимал голову, и я видел, как у него кровью наливалось лицо. Замирая, я ждал, что дедушка сейчас вскочит и ударит отца. Но он, должно быть, не мог нарушить стародавнего обычая — соблюдать благопристойность при свидании с женатым сыном после долгой разлуки. Вероятно, он был уверен, что отец не даст ему и руки на него поднять. Это почувствовали все: Тит оторопело отодвинулся дальше по лавке, Сема изумленно таращил глаза на отца, а бабушка со стонами причитала:

— Хоть бы побаяли без греха... Отец! Васянька! Помолились бы... к богу бы поближе...

Дед взглянул на иконы и сгорбился. Дрожащей рукой он схватился за бороду, но сразу же уронил кулак на стол.

— Вот шлялся на стороне — и обасурманился. И женёнка волосник потеряла. Греха на душу не

возьму — и так грехов много. Неурожаем бог наказал, со всех полей и мешка не намолотить. Живите сами по себе: с чем пришел, с тем и уходи. Раздела не будет: выделять тебе нечего. Кормись сам. У Митрия Стоднева от хлеба амбары ломятся, а копейка-то у него алтыном растет.

Мать сорвалась с места и выбежала в сени. А бабушка рыхло поднялась со скамьи и со стоном пошла в чулан. Но у дверцы остановилась, у нее затряслись плечи: она плакала, закрыв лицо фартуком. Должно быть, она переживала какое-то большое горе. Отец растерянно смотрел на нее, и я видел, что ему было жалко бабушку: он наморщил лоб и тяжело задышал. Только в этот момент я заметил, как грязно и неприютно в избе, как сгорбился и одряхлел дед, словно перенес тяжкую болезнь и еще не выздоровел: не было уже в нем прежней гнетущей силы, и сам он раздавлен нуждой. Кати не было уже в семье, и без нее стало нудно и пусто. Бабушка подошла ко мне и прижала к себе мою голову.

— Приехал вот, внучек, и словно звездочка у нас засветилась. Голосок-то твой так у меня в сердце и звенит. Тосковала-то я как по тебе! А очутился около меня — и нечем тебя попотчевать: ни кашки нет, ни молочка нет. Никогда еще мы так не бедствовали... И чего дедушке вздумалось вытребовать вас — ума не приложу. Все-таки деньжонки высылали бы, а сейчас — ложись в гроб да помирай.

Дед, как и прежде, прикрикнул на нее, встряхнув бородой:

— Ну, понесла кобыла, только лягнуть забыла... Не завидуй, от других не отстанем: подохнем не ныне — завтра. Вон гробы-то один за другим тащат — холера подряд всех косит. Архипу да Мосею — работы невпроворот.

И вдруг он поразил меня внезапной переменой: он жалко улыбнулся, показав из-под усов стертые зубы, и старческим голосом кротко попросил:

— Дал бы ты, Васянька, хоть рублика три... Муки бы я купил у Митрия аль у Пантелея...

Отец, потрясенный, встал и, прижав ладонь к груди, косноязычно пробормотал:

— Да ты чего это, батюшка?.. Аль я... аль я враг родной крови?..

И у него затряслась борода, а глаза налились слезами. Он торопливо вытащил из кармана портмонет и, нагнувшись над столом, подвинул его к дедушке.

— Вот, батюшка... чего есть при мне — все твое.

Дедушка взял портмонет, осмотрел со всех сторон и вытряхнул деньги на стол. Зазвенела мелочь, и упало несколько бумажек. Дед тщательно пересчитал их, потом собрал серебрушки и медь. Отец сидел, обхватив голову руками и опираясь на локти.

Бабушка шептала мне, всхлипывая и постанывая:

— Дедушка-то у нас какой стал!.. Кручина-то его как скрутила!..

Тит опять придвинулся к столу и жадно смотрел на руки дедушки. А Сема хвалился, подталкивая меня локтем:

— Ежели бы я не делал всякой всячины, да тятенька не продавал бы на барском дворе, да не препоручал бы продавать на базаре в Петровске, мы бы ноги протянули...

Вбежала мать с какими-то обновками и положила их на лавку около меня. Она встряхнула пунцовую пахучую рубашку и подала дедушке.

— Не обессудь, батюшка, на подарочке... Не дорога копейка — дорога слеза.

Дед покосился на рубашку и на мать и гневно прикрикнул на нее:

— Волосник-то надень! Басурманкой в дом влетела... Возьми рубашку, мать!

Мать не испугалась, словно не слышала окрика дедушки. Она с поклоном передала рубашку бабушке, взяла с лавки большой кубовый платок и развернула его.

— Для тебя от чистого сердца, матушка.

Бабушка растрогалась и заплакала.

— Куда уж носить-то... и нá люди с таким добром не покажешься: везде — смерть да беда.

Но мать с радостным блеском в глазах подбежала к Титу, а потом к Семе и положила им на плечи сарпинковые рубашки. Тит схватил подарок, крепко зажал в руке и выбежал из избы, а Сема по старой привычке промычал:

— Спасет Христос, невестка!

Я заметил, что дедушка отодвинул портмонет к отцу, за ним — часть денег, а перед собой оставил пять рублевых бумажек и мелочь.

— Бери! И тебе надо на обзаведенье. А чего у тебя еще спрятано — не спрашиваю: бог тебе судья.

Отец встал и, подняв брови, сказал торжественно:

— Я, батюшка, весь перед тобой. Почитал тебя и почитаю. Милости прошу благословить нас с Настасьей родительским советом и молитвой.

Дедушка снисходительно буркнул:

— Бог благословит. Живите, как хотите.

А бабушка простонала:

— О-отец, раскрой сердце-то свое ради благости... Смерть-то ведь по дворам ходит да косит...

Мы выбежали с Семой на улицу и наткнулись на вереницу гробов. Их несли высоко на носилках по двое человек. Позади них брела маленькая кучка баб и стариков.

— Холера! — ужаснулся Сема и рванул меня обратно. — Бежим назад, а то она, как чадом, опалит нас.

Мы вбежали во двор и захлопнули калитку. Я смотрел в щелку, но не на желтые гробы, плавно колыхавшиеся на носилках над волосатыми и бородатыми головами мужиков, а на щебечущих касаток, которые носились низко над дорогой и над гробами. И странно, беспокоило меня одно — душная гарь, дымная мгла в воздухе до самого неба, словно тлела и обугливалась земля. Солнце казалось сквозь эту мглу мертвым и твердым, как остывающее железо.

— А где Катя? — спросил я — спросил потому, что без нее изба как будто помертвела.

Сема осудительно проворчал:

— Аль не знаешь где? Ее зимой еще Киселевы высватали. Связалась с Яшкой, а тятенька хотел ей

выволочку дать, да сам испугался, как бы слава по селу не пошла да как бы ворота не вымазали. Только кладку хорошую выпросил: двадцать целковых. А сейчас она у Киселевых — словно сама свекровь.

И неожиданно засмеялся.

— А Сыгнейка — у чеботаря. Ну и мастер стал! Осенью в солдаты забреют — лобовой.

— Надо бы Кузяря увидать...

— Примчится твой Кузярь. На нем сейчас лежит все хозяйство: Кузя-Мазя от холеры умер, а Груня и не встает — брюхом мучается. — Сема даже руками хлопнул по бедрам от удивления. — Вот чудо-то: отец-то здоровый был, а мать пластом лежит, как щепка стала. Ее обошла холера-то, а Кузю-Мазю в сутки скрутила. А чего ты о тетке Маше не спрашиваешь? — упрекнул он меня, но был рад, что первый сообщит мне новость о ней. — Когда Фильку-то забрили, она от Максима ушла в бабушкину келью и стала на барщину ходить. Максим хотел ее на аркане привести, а она у Ларивона спряталась. Он — туда. А Ларивон — недуром на него: все кости ему пересчитал. Я, бает, не тебе, а Фильке ее пропил. Мой грех — мой и ответ. Не дам, бает, ее в обиду. А ежели еще раз на нашу сторону заявишься — и другой глаз выбью.

Сема взвывал, повизгивал, размахивал руками, изображая и голосом, и всем телом то Ларивона, то Максима, и смеялся, увлеченный своим рассказом.

Когда гробы скрылись за кладовыми Митрия Стоднева, Сема раскрыл калитку и вытолкнул меня на улицу. На широкой луке, желтой от сгоревшей травы, было пусто, а избы и амбары на той стороне, на горе, казались далекими и мутными. Всюду была глухая тишина и безлюдье, но это была не сонная, не спокойная тишина: я чувствовал, что люди замерли от страха и прячутся в своих избах, кладовых и выходах. И мне слышался скорбный голос бабушки Анны: «По грехам нашим господь посылает велику беду на нашу страну...» И как-то не верилось, что я опять в своей деревне: она как будто та же — и избы такие

же, и лука, и заречные взгорья, и ветлы за рекой, внизу, так же густо зеленеют, но всюду — немая жуткая тревога. И эта страшная холера представлялась мне таинственной тенью, которая бродит по селу и несет с собою моровое поветрие. Но Сема не унывал: он по-прежнему занят был своими сооружениями и, очевидно, только о них и думал. Холера беспокоила его не больше, чем, бывало, мирской бык: забодает он того, кто нечаянно попался ему на дороге. Не отходи от своего двора, не шатайся по шабрам, не ротозейничай, когда несут гробы, — и холера минует и не оглянется. Он не говорил ни о холере, ни о покойниках, ни о бедствиях, которые обрушились на мужиков: это его мало интересовало, потому что это было непонятно и странно и угнетало душу, а интересовался он только живыми людьми, их простенькими делами и своими поделками.

— За этот год я уж не знай сколь сделал разных разностей... Тятенька все их продавал. Я всю семью своим рукомеслом кормлю.

И он самодовольно засмеялся.

— А сейчас я покажу тебе, чего я выдумал. Ничего нет лучше, ежели люди тебе дивуются. Тогда на душе-то словно пасха с колокольным звоном.

Мы прошли с ним в выход, спустились по покатой дорожке глубоко вниз, в сумеречную клеть, где хранились в сундуках наряды и одежда, а на полках лежали всякие домашние вещи — сита, решета, сбруя, прошлогодняя кудель, священные книги и какой-то железный лом. Ослепленный знойной гарью и солнцем, я сначала утонул в прохладном мраке подземелья, но потом привык к фиолетовым сумеркам и увидел на земле стружки, чурбачки, плотничьи инструменты и среди них — аккуратненькую тележку, похожую на тарантас. Колеса были тоненькие, ошинованные, ступицы и спицы — красиво выструганные. Перед сиденьем торчали две железные ручки. Сема любовно потрогал и погладил тележку и прокатил ее вокруг толстого чурбака, в котором торчал маленький топорик. Ручки замахали взад и вперед поочередно, и тарантасик застрекотал и зазвенел колесами по

неровности пола. Сема радостно засмеялся и посмотрел на меня ожидающим взглядом.

— Что, брат, ага?

Я очарованно любовался этой диковиной и не мог выговорить слова от восхищения.

— То-то, брат! Я знал, что ты приедешь, и надумал сделать самокат. Без лошадей, а скачет. Р, заместо лошадей-то. Ежели такую телегу большую сделать — и лошадей не надо. Они корму просят, а кормить сейчас нечем. Сядут два человека — и катись. Все возить можно, да и на сторону поехать лестно. Надо бы только шестерни приладить, тогда и воз можно нагружать и одному человеку легко будет скакать.

Он подтолкнул меня к двери и строго сказал:

— Сейчас кататься нельзя, перед гробами-то.

Мы вышли на улицу и побежали к буераку. Мне захотелось посмотреть на речку и на келью бабушки Натальи, где сейчас жила тетя Маша. Моленной на прежнем месте уже не было, только кучами лежал какой-то мусор и обломки кирпичей, но старенькая кособокая жигулевка стояла по-прежнему с большим ржавым замком. Пластался за нею и пожарный сарай. Угнетала глухая тишина — и на той, горной, стороне, и на нашем берегу. Не пели даже петухи, не кудахтали куры. И сразу же я увидел на верхнем порядке забитые обломками старых досок окошки и раскрытые крыши: стропила торчали, как кости, с которых содрали кожу и мясо.

— А где моленная-то? — растерянно спросил я. — Люди-то где? Вон и окошки забиты...

Сема равнодушно и скучно разъяснил: моленную под школу разобрали. Земство строит. А чего люди-то? Кои повымерли, кои в бегах от голоду да от страху, а кои от холеры прячутся. Пришла беда — беги кто куда. Вот только жрать всякий час хочется, хоть прясло́ гложи...

Что есть духу я бросился мимо пожарной к церкви: по ту сторону, за оградой, я увидел большой сруб, на верхних венцах которого сидели верхом два мужика и взмахивали топорами. Я забыл обо всем — и о хо-

лере, и о жутком безлюдье, и о Семе — и бежал, задыхаясь от радости: моя мечта о школе осуществилась — я буду учиться, а не молиться!

Сруб стоял на высоком кирпичном фундаменте поодаль от церкви, на вершине пологого склона, который спускался к речке. Этот склон и низина до поздней осени зеленели свежей травой, но теперь он был опален зноем и казался покрытым пеплом. Раньше здесь паслись лошади и телята, а сейчас только чернели грачи и галки и долбили землю своими клювами. Перед срубом широким ворохом лежали старые, сизые доски, свежий тес и штабеля оконных рам. И тут же рядом стояли один за другим новые гробы. На срубе тяпали топорами пожарник Мосей и колченогий Архип. Это они когда-то строили моленную, а теперь переделывали ее на школу. Я долго издали смотрел на сруб, на стариков и не мог понять, зачем стоят здесь гробы. Потом вспомнил, как дедушка говорил, что Архип и Мосей не поспевают сколачивать домовины для холерных покойников.

Радость мою погасила гнетущая тревога. Я не выдержал и со всех ног побежал домой.

Навстречу с падогом в руке, в китайке, степенно шла Паруша. Она еще издали крикнула мне своим поющим басом:

— Вырос-то, вырос-то как, лен-зелен!.. Беги-ка ко мне, золотой колосочек, да обойми меня!..

Я бросился к ней и крепко обхватил ее шею, когда она низко наклонилась надо мною.

— Я об тебе, бабушка Паруша, бесперечь думал.

— Милый ты мой! Любовь-то детская — чище гремучего родничка. А вот кудерьки-то свои где потерял? Бывало, играли они у тебя, как колокольчики, а сейчас голова-то как луковка. Ну, да ведь гумно-то не солома красит, а зерно. Пойдем-ка со мною в избу-то — маманьку твою приветить. И зачем только на беду дедушка вас вытребовал? Гляди-ка, какое у нас бездолье-то — и мор, и глад, и скорбь... По мытарствам ходит богородица...

И она пошла рядом со мною, кряжистая, уверенная в своей силе. И совсем не видно было, что она голодает и угнетена скорбью. Большое лицо ее с серыми усиками было строго задумчиво, но молодые умные глаза пытливо оглядывали меня.

— Нас бог хранит: болезнь-то мимо избы проходит. Она грязь да нечисть любит. А мухи у меня в доме не живут: окошки — на ставнях, да дерюгой завешиваем. Еду́ в погребе держим и чистоту блюдем. Водичка — свеженькая, из колодца. Вот как надо от холеры-то обсрегаться. А тут еще голодная горячка людей косит: беда за бедой идет и бедой погоняет. Землица-то вся сгорела — в пепел обратилась.

Она вошла в избу с властным достоинством и, положив три поклона, сердито пробасила:

— Грязища-то, духотища-то какая у вас, Анна! И от мух отбоя нет — роями носятся, заразу сеют... Как только вас бог хранит? Мыть, чистить надо избу-то, в лепоте держать, как моленную.

Мать со слезами бросилась к ней в распахнутые руки и застыла у нее на груди, вздрагивая от радостных рыданий. Паруша обнимала ее и гладила по голове со слезами на глазах.

— Ну... полетала птичка на воле, а счастье-то — ветер в поле...

Она мягко оттолкнула мать и с лукавой усмешкой в глазах уставилась на отца. Он вышел из-за стола и поклонился ей в пояс. Но она повелительно отмахнулась от него.

— Теперьча сам хозяйничай, Василий. На чужой-то стороне, чай, ума-разума набрался. Нам, старикам, — самим до себя, о грехах да о душе думать надо.

Дедушка по-прежнему сидел за столом в переднем углу, маленький, грязно-седой, а бабушка опиралась о край лавки, скорбно стонала, как больная, но в этих стонах она изливала свою радость, что мы возвратились из кромешной чужой стороны и опять — дома. Мать стояла перед Парушей и не сводила с нее радостных глаз. А Паруша как будто совсем не замечала перемены в облике матери, хотя я знал, что она очень приметлива. Должно быть, она не хотела

конфузить мать и оберегала ее от гнева деда и бабушки.

— А вот своих-то бородачей из избы не гонишь...— съязвил дедушка. — У шабров-то падогом легко распоряжаться.

Паруша с суровым весельем в глазах вскинула голову.

— А у меня в избе всегда лишняя крошка хлеба найдется. Мне гнать своих бородачей нужды нет: я сама от них в келью уйду. Мне, старой, на покой пора, а молодые своим умом живут. Похвалюсь, Фома: у вас у всех земелька-то перегорела от беззаботности — на шее у бога сидели. А у меня хоть и тощой колосок, а с малым зернышком. Мы ее, матушку, и кормили и поили. Сколь навозу вывезли из буераков да сколь бочек воды вылили!.. Эх, Фома, Фома! У вас, стариков, мудрость-то дряхлая да нищая. Вспомянешь Микитушку, старика праведного! Правда-то его нетленная: без мирской помочи, без обчей заботы о земле не будет ни благости, ни радости, только Митрию Стодневу да Сереге Ивагину корысть.

Эту свою речь она говорила убежденно, как обличение, но в голосе ее мягко вздыхала печаль и умное сожаление.

Дедушка хватался за бороду, беспокойно возился на месте, крякал, но делал вид, что слова Паруши для него — пустая бабья болтовня. Я давно знал, что он боится ее: он никогда на нее не кричал, а только отшучивался, отворачиваясь и поглаживая бороду. Так и сейчас он спрятался от нее за шутливый вопрос:

— Аль ты, Паруша, приказчица у бога-то, что по избам ходишь да на богову барщину наряжаешь?

Паруша села рядом с бабушкой и, уткнув клюшку в пол, с шутливой серьезностью возвестила:

— Мне владычица велела Бовой быть с неразумными.

Отец сидел за столом и пристально рассматривал свои пальцы. Мать хлопотала в чулане над самоваром.

II

Как-то вечером, когда багровое солнце потухало в дымной мгле, я стоял на краю крутого обрыва и смотрел на келью бабушки Натальи: ждал, когда с барщины пройдет тетя Маша, чтоб издали помахать ей рукой.

На барских дрожках быстро спустились с горы и быстро переехали речку два студента в белых вышитых рубахах, в картузах с голубыми околышами. Они свернули к нашему колодцу, и карял лошадка, задирая вверх голову на гибкой шее, гордо остановилась под кручей, лохматой от лопухов и мать-мачехи. Студент, который правил лошадкой, старший сын Измайлова, подозвал одного из караульщиков, Ваньку Юленкова, и строго приказал ему:

— Ну-ка, брось свой дрючок, Иван! Подержи лошадь!

Ванька с подобострастной готовностью отшвырнул кол и с благоговением взял под уздцы лошадку, любовно впиваясь в нее глазами. Другой караульщик — Миколька, сын пожарника Мосея, ровесник Семы, — стоял, опираясь на кол, и с ухмылкой вглядывался в студентов. Я сбежал с крутого спуска и по дорожке в ветлах помчался к колодцу. Наверху, в густых зарослях ветвей, орали галки, словно они взбулгачились от приезда необычных людей. По хитрой и снисходительной усмешке видно было, что Миколька относился к барам пренебрежительно и считал их чудаковатыми олухами и бездельниками.

Студент Измайлов совсем высох от чахотки, но был красивый, гордый, с юношеской бородкой, с маленькими усиками, с большими, строгими, как у отца, глазами. Другой студент был коренастый, большеголовый, белотелый парень, с круглым, по-мужицки простецким лицом, с густой рыжей шерстью на щеках и подбородке. Он все время улыбался, а когда здоровался с караульщиками, снял свой картуз, встряхнул длинными русыми волосами и засмеялся:

— Кого это вы здесь караулите, ребята? Да еще с кольями... Страсть-то какая!

— Чай, от холеры...—озлился вдруг Ванька Юленков, не отрываясь от морды лошади. — Староста нарядил. Ежели, бает, кто в колодец ведром или мордой сунется — колом по хребту. Это дохтора, бает, от большого ума такое распоряжение дали... — И он заикал от смеха, издеваясь над глупостью докторов.

Миколька дрыгал ногой и, хитро ухмыляясь, гудел себе под нос, как шмель:

— У нас бабы восм воют: мы их в тину загоняем— к колоде. Лунка-то, вишь, какая длинная! Ну, а им там месить грязь-то не по сердцу.

Студент засмеялся, и круглое лицо его стало очень хорошим.

— Святая истина, парень: сердце грязи не выносит — оно живет чистотой и от грязи звереет. Колодец у вас проточный: вода постоянно очищается. Пускай женщины черпают воду прямо из сруба. Не отгоняйте их. А вот грязь и трясину мы известью протравим. Холера-то — не в колодце, а в грязи.

Миколька облокотился на кол и, показывая щербатые зубы, вкрадчиво спросил:

— А за что это дохторов бьют на Волге? По дурости бают, что они народ морят.

Измайлов порывисто вскинул голову и вонзил в него вспыхнувшие гневом глаза.

— Дураки болтают, а ты, дурак, ехидничаешь да еще кол схватил. На кого ты свой кол приготовил?

Веселый студент, вероятно, был добряк: он сдвинул картуз на затылок и, подмигивая Микольке, захохотал.

— Это он, Дмитрий, от мух вместо хвоста отмахивается. Не пугай его.

А Миколька не сробел и с прежней усмешечкой простачка ответил:

— От мух-то отчихаешься, а человек с человеком инó место только кольями говорит понятливо.

Веселый студент как будто услышал в словах Микольки что-то очень занятное и поразительное: он опять захохотал, покрутил головой и с восторженным изумлением крикнул Измайлову:

— Слышишь, Дмитрий, этого мудреца? У него, брат, боевой опыт. Сколько же тебе лет-то, философ?

Миколька охотно ответил балагурным говорком:

— Жениться бы, барин, пора, да беда — не пробилась борода.

Он сейчас был очень похож на своего отца — Мосея.

Молодой Измайлов стоял по-прежнему строго, по-барски, но при последних словах Микольки сдержанно улыбнулся.

— У нас, Антон, мужик поиграть словами любит, складной речью пофорсить, — сказал он голосом, очень похожим на голос Митрия Стоднева, — звучным и красивым. — Он к тебе сразу не подойдет, а прощупает со всех сторон, чтобы изучить твой характер. Лукавый народ, хотя и сплошь недоумки.

Иванка Юленков неожиданно завизжал сквозь смешливый кашель:

— Истинно так, барин. На что хошь надоумят. Ничего не стоит из корчаги колокол сделать аль невзвидимо башку в тину воткнуть за что почтешь...

От его восторга лошадь испуганно вскинула голову, захрапела и попятилась.

— Трр, дурашка! Не бойся! Это люди меня боятся, а скотине я — мил-друг. Меня даже холера бережет.

И неожиданно выпучил злые глаза на студентов.

— А вы, барчуки, за какой надобностью к нашему роднику прискакали? Это трясину-то известкой белить? Чего выдумали! А может, у вас в мешке-то вместо известки отрава насыпана? Холера-то ведь неспроста появилась. По всей Расее господа народ травят. А для какого пóбыта? Не иначе, чтобы народ не плодился да землю у бар не захватил.

Студенты внимательно прислушивались к болтовне Иванки Юленкова, и я видел, что они встревожились: пристально следили за ним и косились на Микольку. Казалось, что взбешенный Измайлов готов был броситься на Юленкова: у него раздувались бледные ноздри, а рука с кнутом судорожно вздрагивала. Но веселый, круглолицый студент, которого Измайлов назвал Антоном, улыбался, изумленно поднимая

брови. Миколька стоял по-прежнему невозмутимо, подрыгивал коленкой и сплевывал слюну через зубы: как будто потешался и над студентом и над Юленковым.

— Это кто тебе такие сказки рассказывал? — пронизывая горячими глазами Юленкова, строго спросил Измайлов.

— Сказки-побаски, а в Чунаках вон мужики сцапали таких, как вы, у колодцев и проверили: дали воду собаке, она и сдохла.

Измайлов, желтый от бешенства, угрожающе шагнул к Юленкову, но вдруг повернулся к Микольке и подозвал его к себе взмахом руки.

— Ты тоже веришь этим дурацким наговорам, Николай?

Миколька с улыбкой себе на уме пожал плечами и неохотно проговорил сквозь зубы:

— Да кто знает... Он вам наплетет с три короба... Он бесперечь лезет в драку, чтобы злость сорвать. Кто ему только бока не мял...

Юленков с глазами разъяренной собаки завизжал, взмахивая рукой:

— А в Черкасском, а в Волхонке?.. А в самом Саратове?.. Тоже сказки? Сколько там отравителей-то побили? В Саратове вон и больницы подожгли да дохторов-то в огонь кидали...

Лошадь тревожно пятилась и тащила за собой Юленкова, а он, упираясь, визжал: «трр! трр!..» — и рвал ее за уздцы. Измайлов подошел к ней, легко отшвырнул в сторону Юленкова и, ласково уговаривая ее, стал гладить по шее.

— Дурака и лошадь не терпит.

Ванька торопливо схватил кол и, мстительно озираясь, трусливо отскочил к срубу колодца.

— Богатые всегда умны, а бедные все дураки. Я хоть бедный — голый, босой, голодный, — а караул с честью отвожу. Хоть вы и господа, а к колоде с вашим зельем в жизнь не подпущу.

Миколька, должно быть, стыдился перед господами за Ваньку, и ему, вероятно, зазорно было участвовать в скандале: он бросил кол в заросли крапивы

и лопухов и охотно, без притворства на лице, подошел к лошади.

— Дайте я подержу, Митрий Митрич, а вы чего надо — делайте.

Юленков рассвирепел, глаза его ослизли и налились кровью.

— Не пущу! Живота не пожалею!.. Мужиков взбулгачу.

Кол он держал на отлете и, должно быть, воображал, что он очень страшен и студенты в ужасе ускачут обратно на барский двор. Но он, низенький, тщедушный, оборванный, был такой смешной и повизгивал с таким злобным отчаянием и плаксивой яростью, что засмеялся даже молодой Измайлов. Смеялся и Миколька, а студент Антон хохотал, размахивая руками. Неудержимо смеялся и я. В ветлах тоже хохотали галки. Из оврага, заваленного навозом и мусором и густо заросшего крапивой, плыл парной запах зелени и перегноя.

Антон спохватился и пошел к дрожкам, где лежал мешок с известью. Он быстро развязал его, вынул из него пригоршню белого мучного порошка и, возвратившись, протянул Измайлову.

— Сыпь в лунку, Дмитрий! Гляди, Иван: ты думаешь, это холера, а я буду пить. Ведь ежели это, потвоему, зараза — я первый от нее должен подохнуть.

Лунка, старинная, выдолбленная из цельного бревна, покрытая ярко-зеленой плесенью, была длинная. Врезанная в сруб комлем, она другим концом лежала на толстом обрубе колоды, тоже длинной и тоже выдолбленной из цельного столетнего дерева. Говорили, что это сооружение было сделано еще задолго до «воли». Черная вязкая грязь жирно набухала от подпочвенной воды и сползала до самой речки, а за колодой густо покрывалась мать-мачехой и какой-то мохнатой травой, усыпанной мелкими беленькими цветочками. Подойти к лунке, из которой лилась вода стеклянной струей, можно было только по колено в грязи.

Антон высыпал известку в руки Измайлову, а сам, шлепая ладонями, вскочил на дрожки, снял башмаки

и чулки, засучил брюки выше колен и пошел, посмеиваясь, к колоде. Утопая в грязи, он с удовольствием воскликнул:

— Ну и холодная же грязца!.. И мягкая, как пух. Митя, сыпь понемножку! А ты, Иван, гляди, как я буду пить воду с известкой. Сыпь, Дмитрий!

И по тому, что он так просто, не по-барски, засучил штаны, весело покрикивая, пошагал по топкой грязи и приник лицом к концу лунки, он очень мне понравился. Миколька не отрывал от него глаз. Дмитрий у самого колодца высыпал из пригоршни известку, и вода в лунке быстро стекала к Антону молочно-голубой. Антон подставлял пригоршню под мутную струю и подносил ко рту. Иванка смотрел ошалело, но недоверчиво на Антона и укоризненно ухмылялся.

— Ну, так как же, Иван? — засмеялся Антон. — По-твоему выходит, что мы привезли холеру, а уж ежели я пил ее вместе с водой, обязательно должен заболеть? А я вот и не заболею, и здоровее тебя буду. Эта, брат, штука и холеру, и всякую заразу выжигает. Видал, как она кипит с водой-то? Вот то-то же. В колодец я сыпать ее не буду — вода в нем и без этого чистая и здоровая, а посыплю ею эту тину, чтобы гниль сварилась. Ну, как же, по-твоему, — надо или не надо сыпать-то?

Иванка трудно молчал, судорожно дергал губами в складках и поглядывал на бар с осовелой ненавистью. Он всегда отличался своей дурацкой мстительностью, скандалил по всякому пустяку, постоянно ввязывался в драку, а над ним издевались, и не было человека, который не бил бы его. Все считали его лишним и вредным мужиком.

После расправы над мужиками за самовольный захват барской земли он стал совсем безумным: то и дело ввязывался в драку с парнями, на сходе визжал до надрыва непонятную бестолочь, а по праздникам шатался по деревне, приставал к старикам, сидящим на завалинках, и так же надрывно кричал, что подожжет барский двор и хоромы Митрия Стоднева.

Я боялся его и жалел. Баба его умерла, коровенка издохла, а он, голодный и оборванный, казался хуже галаха. И мне понятна была его мстительная ненависть к барам и к Стодневу: он от них не мог ждать ничего, кроме зла, и верил, что баре и мироеды только одного и хотят — переморить мужиков и захватить у них землю. Его душевой надел уже давно отобрал Митрий Стоднев, а он батрачил за кусок хлеба у своего шабра, старосты Пантелея, и за этот кусок хлеба Пантелей отобрал у него и усадебную полоску. Он уже не говорил, как все люди, а надрывно визжал и срывал свое отчаяние и неугасимую злость на кошках и собаках, которых он ловил на задворках и вешал у себя под навесом. Для ребятишек он был настоящим лиходеем: с гиканьем гонялся за ними и драл им волосы. Я хорошо помню, как он зимою подставлял валенки под салазки, которые неслись с горки, и парнишки кубарем летели в снег. С тех пор как он ушиб меня на этой горке, я боялся встречаться с ним и считал его очень опасным человеком. В селе его презирали, считали лодырем и издевались над ним. Наши мужики, хотя и сами бедствовали и едва держались за свои осьминники и дворишки, не любили слабосильных, робких и глупых вахлаков: они сами травили их, как паршивых собак. И тот же Миколька, парень себе на уме, как и отец, потешался сейчас над Юленковым, и я видел по его глазам, что он не прочь был натравить его на бар ради озорства.

— Ты, Ваня, кол-то брось, а то баре подумают, что ты их глушить начнешь. Подержи-ка, Митрий Митрич, лошадку-то — я тоже воды с известкой попью. Ванятке сюда и подойти нельзя — напугал он лошадь-то: вишь, какой он у нас грозный.

Сначала я тоже недоверчиво встретил студентов, пережив ужасы на Девяти футах — на море, но, вспомнив, как Наташа и Марийка без боязни и охотно согласились ухаживать за холерными вместе с доктором на пароходе, я сбежал с пригорка и смело крикнул:

— Он — грозный на парнишек да кошек, а трус! Я тоже буду пить — сыпьте. Я на Девяти футах был,

в Астрахани был — через все прошел. Он докторов боится, а его мухи заразят. Сыпьте!

Юленков вскинул кол на плечо и пошел по крутой дорожке в гору по краю буерака. И по его туго согнутой спине и по торопливости цепких босых ног, похожих на копыта, видно было, что он не просто убежал отсюда от греха, а задумал булгачить народ. Наверху он побежал вдоль плетня крайнего двора. Миколька уже не усмехался, а опасливо поглядывал наверх.

— Давайте-ка я разбросаю известь-то, Митрий Митрич, — рассудительно предупредил он студентов. — От этого дурака добра не жди. Вы уезжайте, а я сам посею золы для веселья.

— Значит, струсил, Николай?

— Мне-то что... — беспокойно усмехнулся Миколька. — Вот вас как бы не обидели. Народ сейчас не в себе: кругом беда. Люди сослепу на все пойдут.

— Ничего не будет, — строго, не угашая улыбки, сказал молодой Измайлов. — Не бойся. — Он сел верхом на дрожки, взял вожжи и кивнул головой Микольке, чтобы он отошел от лошади. — Возьми отсюда мешок, Николай.

— А ежели прибегут мужики с кольями? — оторопело поглядывая наверх, беспокоился Миколька.

— Тем более не уедем.

— Правильно, Митя! — крикнул Антон. — Тащи, Николай, известь. А тебя, паренек, на Девяти футах держали, говоришь? Любопытно. Об этом ты мне обязательно расскажешь. Как же ты туда попал?

Молодой Измайлов сидел на дрожках с вожжами в руках и недовольно поторапливал Антона. Он ни разу не взглянул наверх: должно быть, считал ниже своего достоинства обращать внимание на такого замухрышку, как Ванька Юленков.

Миколька положил мешочек на землю, а студент маленьким лоточком разбрасывал известку по грязи около колоды и от сруба колодца вдоль лунки. Он дружелюбно говорил с Миколькой:

— Читать умеешь? И книгами интересуешься? Э-э, брат, всех этих твоих Францилев и Георгов — долой! Приходи ко мне — я дам тебе книжки получше.

Собаки злые? А вот сегодня вечерком поднимись к нам на откос, я выйду к тебе. Ну и поговорим о всякой всячине...

Миколька, польщенный вниманием студента, охотно согласился и даже засмеялся от радости.

— Я ведь не такой, как наши мужики: в жизнь не поверю, чтобы дохтора да господа народ морили. А только берегитесь: Ванька-то пошел народ булгачить... Вечером-то приду... Можно еще с собой привести одного-двух ребят?

— Конечно, приводи.

— А мне можно? — робко спросил я Антона. — Я тоже книжки читаю... Пушкина, Лермонтова, Кольцова...

— Ого, славная у вас дружина!

Рыбак крикнул рыбаку:
— Бросим сети мы в реку —
Вытащим язей! —
Шабров в полночь пригласили,
Да язей не наловили,
А нашли друзей!

Друзья-то познаются в беде. Вот мы и побеседуем — пообсудим, как нам эту окаянную холеру из деревни вытурить. Я тоже на лекаря учусь и послан сюда земством. А ты, грамотей, бывалый паренек, расскажешь, как вы на Девяти футах бедовали...

— Да ведь нам не велят ходить на ту сторону и сторонским к нам... — вкрадчиво напомнил Миколька.

Студент озадаченно поднял брови.

— Ах, да... верно... Впрочем, и мне от господ Измайловых влетит: медик прислан с холерой бороться, а сам ее в дом тащит.

Этот студент сразу покорил меня — в нем все было привлекательно: и веселая простота, и словоохотливость, и размашистость. Даже студенческий картуз, казалось, смеялся у него на голове, а румяные щеки в желтой шерсти и вздернутый нос были жизнерадостны и беззаботны. Холерный мор в деревне и угрюмая тревога мужиков как будто совсем его не беспокоили. Студент Измайлов держался отчужденно, побарски, и видно было, что он недоволен поведением

своего товарища: ему, должно быть, не нравилось, как он вел себя с нами панибратски.

— Ну, поехали, Антон, хватит! — нетерпеливо крикнул он, укрощая коня, которого одолевали мухи. — Тебе еще надо к больным... Погляди-ка, наверху мужики собираются.

Высоко, у самого обрыва, откуда уступочками спускалась узенькая дорожка, плечом к плечу стояли пятеро бородатых мужиков с кольями и железными вилами. Они молча и раздумчиво смотрели на нас и не шевелились. Антон приказал Микольке отнести мешочек на дрожки и строговато крикнул мужикам:

— Скажите бабам, что воду из колодца можно и ведрами брать, а не месить грязь! Мы ее известкой засыпали. Только воду долго дома держать нельзя: пускай не ленятся свежую да студеную приносить.

Они оба вскочили на дрожки, и лошадь гибко и ладно пошагала к речке по пологому спуску. Блестяще-черные дрожки казались легкими, а оглобли, выгнутые, упругие, и маленькая дуга, тоже тоненькая и черная, были очень нарядны. Красивая, атласная, с гибкой шеей лошадка бежала танцующим перебором ног.

Мужики стояли наверху, опираясь на вилы и колья, и смотрели на дрожки и на белую россыпь извести на черном месиве трясины перед длинной колодой. Только Иванка Юленков егозил перед ними, приседал, тыкал пальцем в землю и в стороны и, встряхивая бороденкой, яростно повизгивал. Миколька глядел на мужиков и скалил зубы. Он весь сморщился от смеха и крикнул:

— Эка, приползли сюда от большого ума... Делать-то нечего...

III

С утра до ночи брели, как больные, по улицам сторонние голодающие. Они подходили к каждой избе, стонали и ныли перед окнами. Одни были худые до жути, словно мертвая кожа присохла к костям, другие, опухшие, синие, едва шагали и тупо молчали,

только с натугой протягивали руки. И странно, детишки не плакали, а тоже казались полумертвыми, словно разбухли от водянки. В открытых окошках чернела пустота, а если и выглядывали старик или баба, то безмолвно отмахивались от проходящих или показывали черный, как вар-смола, кусок и скорбно трясли головами. Потом караульщикам на околицах было приказано не пускать голодающих в село, и они брели по полям и, как саранча, поедали пустые колосья. Говорили, что мертвецы лежали по дорогам и межам и их закапывали на месте. А иных находили обглоданными до костей не то бродячими собаками, не то волками. Еще издалеска было видно, как на полях дрались в воздухе ястребы и воронье, и люди по наряду шли с лопатами на эту суматоху стервятников.

Так встретила нас деревня в это страшное лето.

С Катей мы долго не встречались из-за холеры, а Машу я однажды увидел с высокого нашего обрыва, когда она возвращалась с барщины домой — в избушку бабушки Натальи. По-прежнему она одета была по-бабьи — в широкий красный сарафан, а голова, повязанная белым платком, казалась рогатой от волосника. Она всплеснула руками и побежала по зеленому отложью к речке. Я спрыгнул на маленький оползень и, не думая о том, что могу полететь вниз по крутому и высокому обвалу и сломить себе голову, бессознательно прыгал по желтым кучкам осыпей и наискось сбежал к сырому берегу, заросшему крупными листьями мать-мачехи. Маша протягивала мне руки, смеялась и плакала. За этот год она стала выше и плотнее и превратилась из девки в настоящую зрелую женщину. Лицо ее, очень похожее на лицо дяди Ларивона, было и привлекательно-ласковое в улыбке, и упрямо-недоброе в крепко сжатых губах и опущенных углах рта. Только загар легкой дымкой покрыл ей кожу.

— Федя-а! — певуче закричала она на бегу. — Вырос-то какой большой! И по стати не узнаешь — какой-то другой стал, видать, что свет поглядел, учился да мучился...

— Чай, мы на ватаге были, — похвалился я. — А приехали — в селе-то, словно на задах, в навозе очутились.

— Мать-то где? Аль опять ее в работищу запрягли да туркать начали? Вмиг бы к тебе через речку перешагнула, а не велят — холеру, мол, с берега на берег перенесешь...

— Дурость это! — убежденно сказал я. — Чай, холера-то — от грязи да нечисти. Мухам-то летать не запретишь.

Она засмеялась с ехидной злостью.

— А у нас тут только мухам — воля, а люди-то — под кнутом да на аркане. Фильку-то забрили, а я от свекра убежала. Одна живу в баушкиной келье. Кривой-то хотел утащить — вожжами руки связать да орясиной погнать, а я от него кочергой отмахалась.

— А волосник-то носишь... — заметил я. — Мама давно уже его сбросила.

Маша вспыхнула, рванулась ко мне и даже не заметила, как вошла босыми ногами в воду. Она пристально смотрела на меня, и в упрямых глазах ее дрожал смех и жгучая злость. Я еще не видал в ее красивом лице такой мстительной гордости.

— Вот вы как на чужой-то стороне от вольности заумничали!

И она невольно стянула на затылок платок вместе с волосником.

— Ну, я хоть и не была на стороне, а тоже сердцем закипела: наотмашь и свекра, и кого хошь хлестать научилась. Мне сейчас все равно: то ли долю свою веревочкой совью, то ли собаками меня затравят. Отцу-то с матерью у дедушки не жить, — неожиданно закончила она. — Руки сейчас у меня развязаны: волю свою я и кулаками, и зубами, и кипятком отстою. У меня характер Ларькин: с добрыми и я — добрая, а с ворогами — волчиха.

Она говорила со мною, как со взрослым: должно быть, почувствовала, что я уже не тот малолеток, которому она совала когда-то огрызок карандаша или растрепанную книжку и лепетала со мной, как с ребенком. Она любила меня и по каким-то неуловимым

для меня самого признакам чутко понимала те перемены, какие произошли во мне за этот год. Маша пережила и жестокие насилия, и издевательства, и рабство. Дикое своенравие Ларивона и тиранство свекра не сломили упрямого ее нрава, а разожгли в ее душе неукротимую злобу.

— А я все ждала от тебя письмишка: вот, думаю, Феденька весточку мне пришлет, и для меня, мол, на небе звездочка вспыхнет. А ты поди меня и не вспоминал.

Я виновато отмахнулся.

— Чай, мы с мамой на краю света были: туда и птица не долетит. Да и работал с утра до ночи: и на плоту, и в кузнице, а потом заболел и без памяти валялся.

— А, батюшки! — ужаснулась она. — Неужли и тебя работищей мучили? То-то, я вижу, себя перерос... и дикость нашу с тебя как ветром сдуло.

Я ободрился и пояснил ей:

— Там и люди хорошие были: чего только они на свете не видали!.. У нас тут Микитушка, Петя Стоднев да Володимирыч были, а там — Гриша-бондарь, Харитон, рыбаки Корней и Карп Ильич... А Гаврюшка, ровесник мой, поумнее Кузяря. И на Девяти футах мы чуть не пропали: захватили нас в море и утащили в холерное стойбище. Насилу вырвались. Приехали — и здесь холера людей косит.

— И не говори, Федя! А всё молодые мрут. Стариков да старух она не трогает и детишек щадит, а самосильных валит. Меня-то она не возьмет, — я не боюсь: за чистотой слежу. Только мать-то как бы не свалилась: она ведь у тебя любит с больными да несчастными возиться. Ну, иди домой, а то вон караульщик колом грозит.

Она пошла по песку и по прибрежной траве, высокая, стройная, закинув голову назад. Это была опять прежняя Маша, которую я привык видеть в девках, — упрямая, неподатливая, своенравная.

Кузница стояла по-прежнему законопаченная, но покинутая Потапом и Петькой. Говорили, что мать Петьки умерла от холеры, а Потап сидит бирюком

в избе и бесперечь пьет брагу, а Петька один управляется со всем хозяйством. Мне так и не пришлось за эти дни увидеть его.

Не встречал я долго и Иванку Кузяря, а когда сказал Семе, что хочу сбегать к нему, Сема сделал страшные глаза и показал мне кулак.

— И не моги! У них после Кузи-Мази холера гнездо свила. Кузярь-то сам со двора не выходит. Он сейчас, как Петька-кузнец, — весь дом на себе прет.

Но когда я вскарабкался по красным оползням буерака на луку, — носом к носу столкнулся с Иванкой. Задыхаясь от радости, я бросился на шею моему былому другу.

На худеньком, обожженном суховеями лице задрожала у него растерянная улыбка, и блеснули в горячих глазах искорки радостного удивления.

От пожарной широко шагал к нам длинноногий Миколька, заложив руки в карманы засаленных брюк, и с притворным ужасом кричал:

— Теперь ты совсем пропал, Федяшка! Ведь холера-то в его избе место себе облюбовала. Окрутила она у него отца-то, а Ванятку покрыла, как плесенью... Вот ты от него и заразился. Пойдем со мной скорей в пожарную — я тебя известкой обсыплю.

Кузярь насмешливо оглядел меня со всех сторон.

— Какой ты кургузый стал! И выше меня вырос. В Астрахани неудашно люди жили, ежели опять домой воротились. А я из села никуда не уеду: после тятьки-покойника все хозяйство — на мне. Только одно у меня плохо: мамка не перестает маяться, а тятька вот, хоть здоровый был, да холера-то не мамку, лядащую, схватила, а его. Должно, ошиблась сослепу.

В нем почувствовал я что-то новое. Былой Кузярь — проказливый и задиристый парнишка — стал самосильным хозяином. Петька-кузнец тоже был заботливый работник, но в сравнении с Кузярем всегда казался мне тяжелодумом. На них обоих обрушилась беда: у одного умерла мать, а отец с горя запил, у другого умер отец, а мать, беспомощная,

больная, была обузой в избе. И на того и на другого судьба надела ярмо домашних хлопот и ответственных обязанностей, которые по силе только взрослым мужикам. Но и тот и другой не струсили, не растерялись, а приняли свой крест как должное и неизбежное в их жизни. Только отнеслись к этому по-разному: Петька — спокойно, умственно, незаметно, а Иванка Кузярь — с нервным недовольством и, вероятно, с злыми слезами. Зная его нрав, я был уверен, что он не удержался поругать и мертвого отца, и покричать на больную мать, которая выла от горя и отчаяния. С той же нервной злостью он, должно быть, на другой день принялся и за управление хозяйством.

Миколька скоморошничал:

— У меня все село на виду: я — пожарник, а пожарник должен все видеть — у кого что в избе и на дворе делается. И день и ночь — на страже. Везде по сторонам — зарева ночами... А чего делаю я, никто не догадывается. Вот холера людей косит, гроб за гробом на кладбище тащат, а парни с девками на гумнах да под ветлами обнимаются. Любови-то сейчас лафа в самый раз: народ от страху в избах да в выходах прячется, а парни с девками на слободе гуляют. Парушины меня квашеной капустой кормят, а я им уж второй раз насос с бочкой по ночам даю.

Миколька казался женихом, и мы рядом с ним, высоким парнем, чувствовали себя коротышками. Но он почему-то не гулял с парнями-однолетками, а привязался к нам и постоянно уговаривал меня с Кузярем приходить к нему в пожарную. А когда я спрашивал, почему он не дружит со взрослыми парнями, как Тит и Сема, он обиженно тянул сипленьким фальцетиком, как у его отца:

— Да ну-у их!.. Они только о девках и калякают да брагу в складчину пьют. По гумнам прячутся. В орлянку играют аль в карты режутся. Кроме всякого озорства — стекла у бобылок выбить аль прясло разгородить у шабров, — ничего умнее не выдумают. А с вами хоть по-человечески поговоришь. Вы на

чтение охотники, а я и сам чтение люблю. Федяшка вон и на стороне побывал, а у тебя, Ваня, в голове всякие выдумки.

Каждый день после полдника, когда взрослые спали, мы с Иванкой бежали в пожарную. В просторном сарае, где в ряд стояли синие и красные насосы на старых телегах, мы устраивались на дощатой лежанке и говорили о событиях в селе и в округе, и всегда я рассказывал им о том, что я видел и пережил на ватагах. Особенно волновали их бунты на промыслах. Поразило их действо о Стеньке Разине, которое представили бондари с Гришей и Харитоном во главе, и захватила быль об Иване Буяныче и страшная борьба рыбаков со штормом, о которой рассказывал Карп Ильич. Но Иванке больше всего понравилось, как тюлени выныривали из волн и слушали гармонь Харитона. Он хохотал и нетерпеливо спрашивал:

— А не плясали они, тюлени-то? Поди кувыркались да песни пели? Вот так чудо: собаки в море живут, как рыбы!.. А может, ты обманываешь нас, как я тебя с Наумкой обманывал? Ну, да пускай: быль аль небыль — все одно гоже. А у нас здесь — черт ли! И выдумать-то нечего — скучища лысая. Рази только вот холера гарь да мор принесла. Сколь ее у нас ни опахивали вокруг деревни — полуголых баб в сохи запрягали, — а она словно взбесилась и за ними в село пришла.

Миколька умственно разъяснял:

— Это дурость, что холера из деревни в деревню, как белый дух, ходит.

Но мы меньше всего говорили о холере, о мертвецах и о голоде. Зловещая тишина в деревне, удушающая гарь, страшное багровое солнце, которое будто потухало на наших глазах, уже не казались нам жуткими: втроем мы как-то легко чувствовали себя и все свободное от работ по двору время проводили вместе. Кузярь часто убегал домой, чтобы присмотреть за матерью и за лошаденкой. Исчезал он незаметно и так же внезапно появлялся. А Миколька целыми сутками дежурил в пожарной.

— Мой родитель с колченогим Архипом всю жизнь строили дома для живых, а сейчас — домовины для покойников. Родитель песенки попевает да повизгивает: «Мне, говорит, на роду написано в новом доме людей встречать, а в домовине — провожать». Он весь век юродивым был да людей веселил и от барина с исправником не розги, а похвальбу получал: «Молодец, Мосей, ты — дурак лукавый. Ты и из гроба кукиш покажешь».

IV

В семье у нас застыла горестная тишина, словно все ждали какой-то неведомой беды. Тит часто садился в передний угол, под образа, и гнусаво читал нараспев псалтырь «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей». Дедушка один уходил в поле, долго пропадал там и возвращался, измученный, скорбный, шатаясь на зыбких ногах, как больной. Он со стоном и кряхтеньем залезал на печь и невнятно бормотал там сам с собою. А бабушка Анна прислушивалась к нему и стонала с покорным и тягостным ожиданием в мутных глазах. Но отец чувствовал себя вольготно: он стал прыток, хлопотлив и все время пропадал где-то у шабров. В избу прибегал форсисто, с затаенной мыслью в глазах. Сыгней приходил домой вечером, в грязном фартуке, косился на печь и лукаво подмигивал и мне, и Семе, и отцу, если заставал его в избе. Он лихо встряхивал своими кудрями, снимал фартук и сразу же исчезал из избы. Тит провожал его злыми глазами и прерывал чтение обличительной жалобой:

— Вот... помчался, как жеребчик без узды... Кругом — напасть, слезы, наказанье божье, а он — к бражникам, к своим любовым... и тятеньки не боится...

Хоть он и был молодой парень, у которого еще не росла борода, но казался старше Сыгнея. Он с первых же дней после нашего приезда стал держаться отчужденно, молчал, обдумывая какие-то свои тай-

ные дела, и я видел, что к отцу он относился с враждебным презрением. Вероятно, Тит считал себя достойным мужиком и хозяином, а отца — прощелыгой и бездомником. Он возненавидел нас угрюмо и мстительно, словно мы явились в избу, как бродяги и дармоеды. Отец посмеивался и трунил над ним:

— Тит пыхтит да небо коптит, только глядит, что плохо лежит...

Тит, озираясь, мычал:

— А ты с женушкой только и норовишь по чужой стороне шататься да беззаконничать. Благодари бога, что тятенька тебя по этапу не пригнал.

Отец брезгливо косился на него и отшучивался:

— Сумей по-моему так на стороне пошататься, Титок.

И с притворным добродушием спрашивал его:

— Много ли подсобрал добра-то, Титок? Чай, уж и прятать некуда?

Тит съеживался и немел от испуга.

Дядя Ларивон перед нашим приездом исчез куда-то из села. Староста нарядил мужиков на нашей и на той стороне на розыски. Искали его два дня по гумнам, по полям, по мелколесью, но нигде не нашли. Говорили, что в сосновике и малиннике — в лесах, которые синели очень далеко за селом, — появились волки и стаями рыскали по округе, нападая на голодный деревенский скот. С барского двора верховые охотники, во главе с самим Измайловым, со сворой собак ездили на облавы и возвращались с богатой добычей. Толковали, что охотники видели в лесу, где раньше жил Ларивон с отцом, какие-то стародавние лохмотья, но побрезговали захватить их с собою. Одни уверяли, что Ларивон с пьяных глаз забрел в лесную чащобу и его съели волки. Другие говорили, что в лесу-то он сбросил рваный пиджачишко, чтобы обмануть людей, — волки, мол, его задрали, — а на самом деле убежал из села куда глаза глядят. Татьяна, жена Ларивона, повопила немного, а потом опять стала равнодушной и тупой, как дурочка.

Однажды примчался из Даниловки верхом на молодой карей лошадке Евлашка — сынишка тети

Паши. Белобрысенький, кругленький, он соскочил с лошади как раз передо мною, засмеялся и сразу же заплакал.

— Мамыньку холера схватила... — пролепетал он, всхлипывая. — Лежит при смерти, и лица на ней нет. Похолодела вся, как покойница. «Скачи, бает, Евлаша, к баушке Анне — пускай, бает, приедет проститься со мной на исходе души». А тятенька коровой ревет. Он за дохтуром поехал, а я — сюда. Горе-то мне какое, Федя: умрет мамынька-то. Как я буду без нее жить-то?..

Он бросился мне на шею и зарыдал.

На крыльцо выбежала мама и, пораженная, с широко распахнутыми глазами, тихо, словно крадучись, стала спускаться к нам по гнилым ступенькам.

— Евлашенька! — тоненьким дрожащим голоском пропела она: — Чего это ты?.. Аль с бедой приехал?

Евлашка оторвался от меня, бросился к маме и ткнулся ей в грудь.

— Тетенька Настя... мамынька-то... холерой захворала. Помирает мамынька-то... Я за баушкой Анной приехал. Запрягайте — поедем сейчас же...

— А пустят нас к вам? Ведь везде мужики с кольями караулят.

— У нас караульщиков нет.

— Да как же ты к нам-то прорвался?

— У вас я тоже караульщиков не видел, только у выгона за пряслом мужик спит. Обнял кол и храпит.

Он засмеялся, но глаза его заливались слезами.

Дедушки в избе не было: он, как обычно, бродил до сумерек по полю, подолгу стоял на межах и скорбно смотрел на выжженные, лысые полосы ржей и овсов.

Когда мы ввели Евлашку в избу, бабушка затряслась, заплакала навзрыд, словно почуяла, что сынишка Паши примчался со страшной вестью. Евлашка прислонился к стенке кровати у порога и уткнулся лицом в свои руки. Бабушка опамятовалась и без обычных стонов приказала:

— Невестка, иди на двор, вели Титке аль Семке

лошадь запрягать. Да сбегай в выход, вынь праздничную китайку, рукава, платок да коты. Семка меня отвезет и нынче же воротится.

Мать умоляюще крикнула:

— Матушка, и я поеду, не оставлю тебя. За Пашенькой ходить буду... и днем и ночью...

— А дома-то кто останется? Без бабы дом — содом!

— Я баушку Лукерью позову: она горазда по шабрам ходить. Ежели я Пашеньку-то не увижу, я сама не своя буду. А поеду — может, я ее и выхожу.

Бабушка растрогалась самозабвенным порывом матери и опять застонала:

— И дедушки нет... и Васянька куда-то пропал... Беги, невестка, вели запрягать... Сердце у меня зашлось. А ты, Феденька, сбегай за Лукерьей-то: пускай подомовничает. Горе-то какое! Евлашенька, угостить-то тебя, внучек, нечем — ни молочка, ни огурчика, ни щец нет...

И она опять затряслась от рыданий.

— Какая тут еда, баушка! — взвизгнул сквозь слезы Евлашка. — Ведь при смерти мамынька-то! Скорее поедемте!.. Я без мамыньки-то и дышать перестал.

Сема запрягал в телегу нашего костлявого, облезлого Гнедка и озабоченно спрашивал его, вглядываясь в его морду:

— Доедем аль не доедем с тобой, Гнедко, до Даниловки-то? Ну, да робеть нечего: по дороге бурьяну сорвешь. А может, придется ночевать с тобой в поле-то?

И вдруг встряхнулся и повеселел:

— Как это я не догадался? Надо Евлашкину лошадь в пристяжку прицепить. А то ведь на полдороге Гнедко-то встанет.

Бабушка с матерью, ослепнув от слез, уехали, не повидавшись ни с дедушкой, ни с отцом. Сема возвратился ночью, а мать и бабушка остались в Даниловке. Приехали они дня через три, обливаясь слезами. Тетя Паша умерла у них на руках.

На деда и отца смерть Паши, казалось, не произвела впечатления. Дедушка перекрестился, взглянул на иконы и с равнодушной покорностью сказал:

— Чего же сделаешь? Бог дал, бог и взял. Всяк — от земли и в землю отыдет.

И он полез на печь, а мне было непонятно, почему он забирался на горячую печь, когда и на улице было душно и знойно. Но ему там было уютно и приятно, и потому, как обычно, он сразу же разомлел и промычал благочестиво и наставительно:

— С этого дня Василий да Титка с Федянькой по череду беспеременно кафизмы читать будут, а по вечерам стояние наложим на себя по большому началу — сорок лестовок с земными поклонами.

Но вдруг всполошился, приподнялся на локте и пронзительно крикнул:

— Отдельно стояние будет! Васька с женой да парнишкой мирские стали, а Настасья совсем обасурманилась. Без волосника к стоянию не допущу. Пускай в ногах у меня поваляется да выплачется в покаянии.

Бабушка горестно стонала, а мать встревоженно посматривала на отца и на меня. Над переносьем между бровями прорезалась у нее острая морщинка. Мне понятно было ее возмущение: я сам запротестовал против угнетающей воли дедушки. Раньше он, как законодатель и патриарх, был для нас силой непререкаемой и непреоборимой — мы немели перед нею, — а сейчас эта мрачная сила уже возбуждала и у меня и у матери вражду. Мать упрямо не надевала повойника, а платок набрасывала по-ватажному — легко, небрежно. От этого лицо ее улыбалось без улыбки и светилось в угрюмой избе, как трепетный огонек свечи. Она старалась не попадаться деду на глаза, а за общий стол мы не садились: мы поселились в кладовой и кормились отдельно. Мать привезла связку репчатого лука, половину отдала бабушке, а свою половину посадила на заднем дворе. Она каждый день поливала его, а когда он выбросил зеленые стрелки, срезáла их к обеду и ужину. Утром мы в своем сарайчике пили кирпичный чай с хлебом.

Часто к нам прибегал украдкой Сема и лакомился горячим бурым настоем. Отец пропадал где-то у соседей и возвращался к обеду и ужину с довольным лицом.

— Ты не особенно хлопочи по дому, Настенка. С матерью-старухой держись поласковей. А отец из-за волосника тебя готов со света сжить.

И самодовольно смеялся.

— Да вот... корысть мешает. В голове одна думка: половчее в карман мне залезть. Тут уж и с богом можно поторговаться: вера верой, а гроши и для души хороши. Скоро отделимся. Мне бы вот только в волости с писарем дотолковаться. Больно уж жадюга большая: новые сапоги требует. Хотел прямо у меня с ног стащить. Ну и шарлот! Пришлось при нем же заготовки купить и ихнему же чеботарю заказ отдать. Ну и грабитель! За самосильство-то эти живоглоты норовят и разуть, и раздеть, и по миру пустить. Только не на такого напали: я сам всякому лихачу хвост накручу.

У матери темнели и застывали глаза и губы сжимались от боли. Она не выносила хвастовства отца.

И вот, когда все, кроме Сыгнея, сидели в избе и молча грустили о Паше, слушая горестные стоны и причитания бабушки, мать порывисто встала со скамьи и с нервным оживлением крикнула:

— Матушка! Грязища-то у нас какая! Живая зараза. Надо пол-то скребком чистить, да варом обварить, да песком сдирать. Я, матушка, сейчас за водой сбегаю. Федя, Сема, идите со мной — песку с речки принесете.

Этот внезапный ее певучий голос и пылкий порыв словно осветили избу яркой вспышкой. Отец с испуганным беспокойством вскинул на нее глаза и опасливо покосился на печь. Он встал из-за стола и снял картуз с гвоздя. Бабушка тяжело поднялась с лавки, и, как больная, рыхло пошагала в чулан, сокрушенно охая:

— Плясать бы ты еще пошла с горя-то, невестка. В душе-то — черным-черно, а на земле — пепел да гарь. Упасть бы на пол и не вставать, да так и душу отдать господу.

Дедушка обличительно бормотал на печи:

— Каяться надо, кровью плакать, молиться до упаду, чтобы господь простил грехи наши. Страх божий позабыли, спроть закона человеческого пошли. Бродяжили, вольничали на чужой стороне, а коли невмоготу стало — в родительский дом, как блудники, воротились...

Мать остановилась посредине избы и застыла с гневным изумлением в лице. А отец с угрюмым бешенством крутил и мял пальцами картуз. Сема подмигнул мне и, крадучись, пошел к двери. Мать глубоко вздохнула и, борясь с бурным волнением, с дрожью в голосе сказала:

— Хоть мы горе и мыкали, батюшка, а милостыню не просили: трудом жили и в ноги никому не кланялись.

Отец опешил от неожиданной смелости матери: он с удивлением глядел на ее похудевшее, восковое лицо, на дрожащие руки и судорожно проговорил:

— Нас, батюшка, попрекать не в чем. Не надо было требовать нас да этапом грозить. Выправил бы пачпорт, я тебе высылал бы по трешнице.

Мать по-девичьи легко вышла из избы. Лицо ее пылало, глаза горячо блестели. Должно быть, она переживала опьяняющее наслаждение от смелого, внезапно охватившего ее порыва.

Отец с достоинством и с какой-то новой внушительностью заявил:

— Мы, батюшка, средь хороших людей жили. В городе каждый умей сам за себя постоять. Там в волоснике да в лаптях не походишь: город чистоту да приглядность требует. А баба моя на промысле работала: народ там артельный — со своей чашкой-ложкой не проживешь.

К моему удивлению, дедушка даже не пошевелился на печке. Он только промычал недужным голосом, как домовой:

— Оглашенные, изыдите! Моляйся с оглашенными, сам оглашенный будешь. У меня в дому нет тебе удела, Васька. Отрезанный ломоть.

Бабушка покорно и скорбно стонала в чулане:

— Васянька, покорись, Христа ради, в ноги-то отцу упади... Отец-то ведь совсем подломился... Вместе бы под божью стопу легли да примирились бы...

А дед расслабленно мычал:

— Говорок стал!.. Уж в волости с мошенниками снюхался.

Отец побледнел, и его всего передернуло. Едва владея собой, он дрогнувшим голосом самоуверенно возразил:

— Я, батюшка, тебя всегда почитал и почитаю. Ну, а жить по-прежнему — по твоей воле да укладу — не могу; другое время и другие люди. Мне ничего твоего не надо. Были бы руки да голова — как-нибудь проживем до поры до время. А при нужде и на сторону уйдем без робости.

С картузом в руке, готовый вскинуть его на голову, он твердо вышел из избы.

— Мать, Анна! — безнадежно бормотал дед. — До чего мы дожили-то, а? Все прахом пошло. Знать, умирать надо, мать... умирать, бай, время пришло...

V

В тот же день мать свалилась от холеры. Я помогал ей счищать скребком грязь с пола, залитого водой, а она мыла пол с песком и вытирала его мешковиной. Дедушка по-прежнему лежал на печи и не шевелился. Вероятно, он не спал, потому что не храпел, как обычно. Бабушка со стоном ушла в выход — должно быть, не хотела мешать нам с матерью. Сема тоже исчез куда-то, а Тит прятался в своих потайных углах. Со свойственной ей ловкостью и проворством мать промыла и протерла пол, и он стал восковым. Я прочистил стекла от пыли и мушиного засева, и в избе стало как будто светло и празднично.

Когда мы вышли на крылечко во двор, где висел на веревочке глиняный рукомойник. чтобы умыться, мать вдруг остановилась и прислушалась к себе. Потом как-то неустойчиво подошла к умывальнику и, словно слепая, начала искать мыло, которое

лежало на жестянке, прибитой к столбику. Умывалась она тоже, как слепая, и, кажется, не замечала, что умывается. Вдруг лицо ее помертвело и покрылось пылью. Она жалко улыбнулась мне и пролепетала:

— Мне что-то нехорошо, сынок. Я пойду прилягу в избе, а ты иди на улицу. Словно бы угорела аль устала донельзя. И тошнит меня.

Пошатываясь, она с трудом перешагнула через высокий порог в сени. Опираясь рукою о стену, она в сумерках сеней добралась до двери, но никак не могла найти скобу. Я испуганно застыл у порога: мне показалось, что на нее нахлынула былая «порча». Она закачалась, беспомощно протянула руки вперед, хватая пальцами воздух, и рухнула на пол. Не помня себя, я кинулся к ней, подхватил ее под мышки, чтобы поднять, а она невнятно прошептала:

— Невмоготу мне, Федя... умираю...

Тело ее мне показалось рыхлым, плоским и неживым. Пока я поддерживал ее под руки, голова ее падала на грудь, а руки судорожно вскидывались к подбородку. Потом она рванулась из моих рук, свалилась на пол и закорчилась в судорогах. Мне почудилось, что у нее затрещали кости. Я не выдержал и опрометью вылетел на улицу. Задыхаясь от слез, я ворвался в выход и крикнул в отчаянии:

— Бабушка! Иди! Маму холера схватила!.. Помирает она!

Голос бабушки, странно далекий и жалобный, простонал:

— Занедужила я, внучек, головы не подниму... Знать, и меня надо в передний угол положить...

Семы в выходе не было.

Я выбежал на горячую улицу и, рыдая, звал отца, но всюду — и на нашем и на длинном порядке — было пусто, словно все вымерли. Даже Микольки не видно было у пожарной. А над желтой, сожженной лукой мрела ржавая гарь, и тусклое красное солнце зловеще висело высоко над селом. В этой знойной мути галки летали с разинутыми ртами и растрепанными перьями, а голуби тормошились на карнизе

избы, над окнами, и томно ворковали. Только касатки носились низко над землей и говорливо щебетали.

Перед домом Митрия Стоднева стояла вереница длинных роспусков, а выпряженные лошади жевали овес. Вспомнилось само собой, что Митрий Степаныч переехал в город и перевозит туда свой пятистенный дом.

Я побежал к чеботарю Филарету за Сыгнеем. Изба Филарета, вросшая в землю, стояла перед буераком, через дом от хоромины Митрия Степаныча.

Я вбежал в темные сени, пропахшие дегтем и сапожной кожей, и услышал бойкий говорок отца и заливистый хохоток Сыгнея. Глухо гудел обозленный бас Филарета. Надсадно плакал младенец, и певуче бормотала женщина. Я остановился на пороге открытой двери и, борясь со слезами, крикнул:

— Идите, тятя и Сыгня!.. Мать захворала... Упала в сенях... без памяти лежит...

Отец как-то странно крякнул, поперхнулся и вскочил с лавки. Сыгней только взглянул на меня и на отца с изумленной улыбкой.

— Это Михайловна-то?.. Должно, и до нас холера добралась... Мамка-то, должно, обневедалась...

— Баушка тоже заболела!.. — судорожно выкрикнул я. — В выходе она лежит. А дедушка — на печи...

Филарет натягивал кожу щипцами на колодку и ловко вбивал шпильки молотком. Круто выгибая спину, он весь судорожно напрягался, и каждый его мускул был в движении. Синие пальцы прыгали по складкам кожи, растирали ее, гладили по бокам, по носку, по заднику, по стельке, хватались за нож и мгновенно срезали выпучины, вскидывали сапог, вертели его в разные стороны. Черная борода его тряслась, как кудель, словно и она принимала участие в работе.

...Матери в сенях уже не было, и я, пораженный, даже застыл на пороге. Отец, срывая картуз, тоже остановился, потом быстро распахнул дверь и перешагнул высокий порог. На полу, на кошме, лежала мать, покрытая дерюгой. Лицо ее стало костистым и покрылось тлением. Глаза потухли, но смотрели

пристально в потолок с застывшей напряженностью. Она слабо подняла руку, посиневшую, как от холода, и едва заметно помахала мне навстречу. Я подбежал к ней и опустился на корточки. Сквозь слезы я увидел призрачную прощальную улыбку и тоску в ее глазах. Она пошевелила коченевшими губами, и я услышал хриплый незнакомый шепот:

— Умираю, сыночек... Сиротой останешься... Гришу милого помни... Прасковею... Раису... Человеком будь...

И не мыслью, а всем своим существом понял я, что смерть уносит с собою все для меня дорогое — и надежды, и радости, и мечты, и будущее. На меня как будто обрушился неведомый удар, и я, раздавленный, не мог ни крикнуть, ни пошевелиться.

Отец поднял меня за руку и вывел на крылечко. Я заметил, что лицо у него было странно измято. Похоже было, что ему хотелось заплакать, но он изо всех сил старался подавить спазмы в горле.

— Я сейчас побегу, сынок, на барский двор, — покашливая, срывающимся голосом сказал он. — Там — дохтур молодой... студент... Он по избам ходит и лечит... А ты возьми ведерко и сбегай к колодцу — свежей водички принеси и поставь около матери. Ежели она попить запросит — зачерпни в ковшик и дай ей.

Должно быть, он был потрясен видом матери: давеча она прытко, с увлечением мыла и прибирала избу и все время посматривала на протертый пол, на стены, на чистые окна. А сейчас лежит, как покойница, маленькая, худенькая, окоченевшая от предсмертного холода.

Вместе с отцом мы побежали через задний двор к обрыву и спустились вниз, в ветлы. Он шагал быстро, покачиваясь с боку на бок и размахивая руками, и часто покашливал, словно у него першило в горле. У колодца он выхватил у меня ведро и зачерпнул воды из сруба.

— От матери не отходи. Я сейчас вернусь. Может, вместе со студентом на барских дрожках прискачу. — И с досадой вскрикнул: — Ведь вот егоза-то какая!..

Повозилась с Пашухой-то — и заразилась. Не дай бог, пропадет... чего без нее делать-то будем?

Он с негодующим отчаянием махнул рукой и быстро пошагал по дороге к Сиротскому порядку. Через речку на ту сторону пройти нельзя было: по обоим берегам стояли с кольями караульщики. Отец, очевидно, решил пройти вверх по реке, к барскому пруду, и там перебраться без помехи через плотину.

Полное чистой холодной воды ведро было большое и очень тяжелое. Я часто останавливался, чтобы переменить руку, но не отдыхал: я не чувствовал усталости и был как в угаре от горя. Я даже не заметил, как поднялся вверх по крутому спуску. На ровной площадке у нашего прясла я поставил ведро на сухую траву. В разные стороны брызгами запрыгали от меня кузнечики. Они стрекотали всюду в мутном от гари воздухе.

И тут же меня поразил вопрос: почему мать очутилась в избе на полу? Кто перенес ее из сеней, где она упала без памяти? Этот вопрос почему-то очень встревожил меня, и я без передышки, почти бегом, дотащил ведро до крыльца. А когда поставил ведро перед изголовьем матери, она потянула к нему руку, но, не дотянувшись, опять обмерла. Я поднял ее голову, поднес ковшик к ее губам. Она впилась в острый край ковша и жадно проглотила всю воду.

— Еще... еще!..

Так выпила она два полных ковша и опять застыла, как мертвая. Я не заметил, как вошел в избу дедушка с Лукерьей-знахаркой. Она истово помолилась и обошла вокруг нас, пристально вглядываясь в мать очень зоркими глазками из-под низкого козырька черного платка. Дедушка, босой, стоял в сторонке и набожно глядел на Лукерью, как на праведницу. Он задвигал седыми клочьями бровей и уткнул в меня пронзительные серые глаза.

— Убирайся отсюда! — тихо, но строго приказал он мне. — Ты чего тут дуришь? Где отец-то бродяжит?

Но Лукерья с ласковым упреком укротила его:

— Не замай его, дедушка! Видишь, как он о матери-то заботится. Где Анна-то? Пеплу бы горячего из загнетки в мешок насыпать да обложить болящую... Давай-ка положим ее на лавку, Фома, — под образа.

— И старуха-то захворала... — со скорбью в голосе сказал дедушка. — Знать, и на нас господь наказанье за наши грехи посылает.

Но Лукерья мягко пожурила его:

— Не греши, Фома: бог-то, отец наш, — велик, а люди — маленькие да неприкаянные. Зло да наказанье человек человеку творит от обиды да мщенья. А как это при немощи своей человек бога может обидеть? Не суди по себе, Фома: бог-то тебе не ровня.

Она стащила с кровати дерюгу, неторопливо и заботливо расстелила ее на широкой лавке, а стол отодвинула назад. В изголовье положила вверх шерстью полушубок, который взяла тоже с кровати, потом перекрестилась и повелительно позвала деда рукой. Он послушно подошел к матери, поднял ее на руки и, как ребенка, без натуги, положил на лавку. Мать ничего не чувствовала: голова ее качалась, как неживая, а ноги окоченели и не сгибались. И я сразу догадался, что это дедушка постелил кошму в избе и перенес мать из сеней. Впервые он поразил меня своей участливой печалью: нес он мать бережно и зыбко семенил босыми ногами, наклонившись над нею, словно опасался, как бы не сделать ей больно. Клочковатые брови его поднимались и падали на глаза, как будто бы ему хотелось заплакать. Но видно было, что ему неловко показывать свою доброту на людях, и он недовольно бормотал:

— Таскались вот по чужой стороне... и образ свой потеряли... обмирщились, опоганились... А бог-то все видит и перстом указует.

Лукерья мягко поправила его:

— Не суди, Фома, да не судим будешь. Перед богом все равны: и чародей и блудодей. А смерть никем не брезгает: мирской ли, святой ли, — для нее все — людская трава. Только живой судит да рядит живого, да меряет на свой аршин. А аршин-то с ар-

шином не сходен: у Митрия Стоднева он божьим словом изукрашен, а бесу не страшен, а ее вот, Настеньку-то, к своему аршину не подгонишь. Видишь, какая она мученица, а сама словно свеча восковая.

Она говорила, как будто читала молитву, и хлопотала около матери — поправляла подушку, укладывала ей руки поудобнее, снимала с нее юбку и покрывала одеялом. А дедушка сидел в ногах матери, низко наклонив голову и опираясь локтями о колени. Лукерья неторопливо, раздумчиво делала все, как будто эта возня доставляла ей большое удовольствие. Маленькие и добрые глазки ее тепло улыбались, и вся она, похожая на скитницу, стала праздничной, как в моленной. Она проплыла в чулан, зазвякала заслоном и стала выгребать из загнетки пепел. Лучинкой она быстро и ловко выбрасывала горящие угольки и ссыпала пепел в фартук. А когда подошла к матери, велела мне развязать фартук на спине.

— Отойди-ка, Фома, подальше и ты, Феденька, а я ножки ей обложу пеплом-то, кровь ей разгоню.

Я отошел к порогу и прислонился к спинке кровати, а дедушка вышел в открытую дверь.

Лукерья обкладывала ноги матери пеплом и певуче бормотала что-то непонятное. А мать на моих глазах странно и жутко таяла, и вместе с жизнью потухало в ней все кровно родное, мое — и трепетная ее сердечная теплота, и нежная задушевность, и радостная мятежность, которую я всегда чувствовал в ней, как мечту о счастье.

Вдруг я увидел, что мать силится приподняться на локтях, но сладить с собою не может.

По-детски жалобно она пролепетала:

— Душа горит... Водицы мне студененькой. Не морите меня, как Пашеньку...

Я бросился к ней и зачерпнул из ведра целый ковш воды. Но когда я поднял ее голову и поднес ковшик к губам, я не выдержал и разрыдался. Мать закорчилась в судорогах, и ее начала мучить рвота.

Лукерья несколько раз меняла пепел на ногах матери и растирала ей своими сухими ладонями руки, а потом напевно читала наизусть псалмы.

В избу прытко вбежал отец, а за ним тот самый студент, который приезжал с молодым Измайловым к колодцу. Он без стеснения оглядел избу и заулыбался:

— Вот это хорошо! Чистенько вымыто. Сразу видно, что хозяйка не терпит грязи.

Он прошел к столу и метнул глаза на мать и на Лукерью.

— Замечательная встреча! Наука и знахарство. Но тетушку Лукерью я уважаю: она все больше травами врачует, на пары сажает да горшки накладывает. Вот мы вместе с тобой за дело и примемся.

Он живо накинул на себя белый балахон, наклонился над матерью, взял ее руку, прислушался к ней, не переставая говорить.

— Так, отлично. Ты, милая старушка, два ведерка приготовь: одно выносится в яму и там моется раствором извести, другое, чистое, — сюда. Известь-то — на крыльце, в мешке. Иди проворнее, старушка, а я дам больной лекарство. Горячей бы воды надо из печки.

Лукерья сначала неприязненно и с опаской поглядывала на студента и даже отошла подальше, к другому концу стола. Должно быть, ее, как тихую келейницу, испугал и ошарашил этот сторонний, говорливый парень, чужой по облику и языку, внезапно вбежавший в скорбную избу без всякой степенности. Здесь лежит под образами больная на исходе души, а он, словно бес, скоморошничает, наряжается в белый саван и без всякого почтения к старозаветному дому распоряжается, как на игрище. А мне он нравился. Я почувствовал к нему влечение еще в тот день, когда он разбрасывал известку у колодца и бесстрашно шутил над мужиками, которые с кольями стояли на горе и с угрюмым любопытством следили за его работой.

Он взглянул на ведро воды и провел пальцем по вспотевшей жести.

— Воду надо чаще приносить из колодца, чтобы она не застаивалась. Это уж на твоей обязанности, Василий.

Отец ядовито поддел его:

— А доктор в Даниловке не давал воды Пашухе-покойнице, только кусочек льду разрешил в рот ей совать, да и то редко. Ну, и сгорела бабенка-то.

Студент благодушно пояснил:

— Лед — это хорошо, но, по-моему, недостаточно. Я предпочитаю свежую водицу из колодца. Пускай наша больная пьет, сколько ей хочется, и промывает желудок.

Он опять заторопился.

— Ну-ка, милая старушка, вынимай-ка из печки горячую воду. А ты, молодой человек, — обратился он ко мне с улыбкой, — тащи сюда бутылки. Они в мешке рядом с известью.

Он откинул одеяло и радостно удивился.

— Ах, какая ты превосходная лекарка, Лукерья! У тебя и поучиться нам, желторотым, не грешно. Ножки-то еще не растирала ей? Сейчас же надо. Вот и ты понадобишься, мальчуган. Как тебя зовут-то? Сейчас же, Федя, найди и дай мне шерстяные чулки или варежки. Ноги и руки будем растирать матери. Тетушка Лукерья, разожги лучше самовар, а то в доме-то, должно быть, и дровишек нет. Горячая вода нужна постоянно.

Лукерья неожиданно улыбнулась, но сказала недовольно и обидчиво:

— Хоть ты и ученый, да туркать-то молод еще. Ну, уж не гневаюсь: о болящей-то больно забеспокоился.

— Ты не ругай меня, тетушка Лукерья! Я ведь хлопочу не только по обязанности, но и от горячего сердца. Как это можно допустить, чтобы такая молодая женщина погибла!

Вместо того чтобы бежать за бутылками, я подскочил к нему и схватил его за руку.

— Без мамы я жизни лишусь...— заикаясь от отчаяния и надежды, вскрикнул я и захлебнулся от слез. — Чего хошь со мной делай, а ее вылечи.

Антон прижал мою голову к своему халату и растроганно засмеялся.

— Постараюсь, постараюсь, милок. Как-нибудь поднимем ее общими силами.

Отец убежал за водой к колодцу, а Лукерья возилась с самоваром. Я принес мешок со звякающими бутылками и сбегал в кладовую за теплыми чулками.

Судороги жутко ломали руки и ноги матери, и вся она корчилась от рвоты. Антон вливал в рот ей какое-то мутное лекарство.

Вошел дедушка, поклонился студенту и сел на лавку.

— Спроть божьей воли не пойдешь, барин, — сказал он покорно и кротко. — Все под богом ходим. Вот и старуха моя слегла — в выходе стонет... Как бы и ее не прибрал господь...

— Есть и другая народная мудрость, дедушка: на бога надейся, а сам не плошай. Пройду и к старушке. А родился я не барином. Папаша мой — железнодорожный машинист и сейчас еще не бросил паровоза, хотя по седине и тебе не уступит. Зовут его Макаром, а меня — Антоном.

Дедушка отчужденно поглядел на него и с усмешкой себе на уме провел пальцами по бороде.

— А вот науку произошел — дохтуром стал. Из простонародья ученых не бывало. Простонародью положено горб ломать, а наукой-то барство да купечество промышляют.

Антон растирал обеими руками ноги матери и словоохотливо говорил:

— Наука, дедушка, тоже горбом зарабатывается. Я вот и голодал, и холодал, и всякие трудности испытал. А от этого только злее и смелее становился. Люди из простонародья сейчас эту науку дерзко у дворян да богатых вырывают, хоть они и запирают ее от народа, да замки-то наш брат понемногу сшибает.

Я видел, что дед не верит ни одному его слову, но учтиво скрывает свою мужицкую неприязнь. Он не признавал иного труда, кроме труда на земле, мускульного труда, и даже тех мужиков, которые уходили на сторону, в города, считал пропащими — гу-

левыми людьми, которые, как все горожане и баре, едят крестьянский хлеб и живут захребетниками.

— Ежели все учены будут — кому же за сохой ходить да хлеб молотить? Ученые-то к барам льнут, а мужика чужаются, чернядью брезгают.

У Антона смеялись ноздри и глаза, но ответил он деду скромно и веско:

— У Измайловых я их детей учу. И живу от них на отлете — во флигеле. А послало меня сюда земство — с холерой бороться. Нас, таких парней, как я, много послали по деревням.

Дедушка смотрел на него с насмешливым отчуждением.

— Чай, вам жалованье большое платят. Деньги-то холеры не боятся.

— Нет, дедушка, мы — по доброй воле, бесплатно. А деньги на прокорм получаю с Измайлова за ученье его барчат.

— Ты глаз-то не отводи, дохтур! Какой дурак холере на рога даром полезет?

— Ну, так вот я — один из таких дураков. И здесь, у вас, и в Моревке я успел на ноги поставить не одного человека. В Моревке хотели меня немножко кольями помолотить, да я по своему веселому характеру под ручку с теми, кого исцелил, прямо к ним в толпу и врезался.

Он засмеялся, сбросил одеяло с матери и повелительно крикнул:

— Ну-ка, дедушка, иди сюда — помогай! Тетушка Лукерья, без тебя не обойтись: ты по бабьему делу лучше с Настей справишься. А ты, Федюк, удирай отсюда и больше в избу не заходи.

Эта быстрая распорядительность действовала и на Лукерью и на деда сильнее, чем приказ и окрик начальства. А начальство, начиная со старосты, всегда до тупой покорности угнетало деда, владыку в дому. Антон Макарыч без всякой обиды, со светлой улыбочкой, отшучивался на коварные вопросы дедушки и ставил его в тупик своим бескорыстием и добровольным уходом за холерными больными, без всякой боязни самому от них заразиться. Я верил каждому

его слову и чувствовал, что к дедушке он относится снисходительно и видит его насквозь. Он не спорил с ним и дело свое делал расторопно, без всякой брезгливости.

В этой нашей избе, которую дед любил устрашающе называть «кеновией», Антон чувствовал себя так же свободно, как у колодца. Должно быть, он в других избах, где были холерные, держал себя так же вольно, как и здесь: около больного он был хозяином и распоряжался без оглядки, без всякого стеснения. Привыкший с ранних лет бояться деда, я с удивлением наблюдал, как Антон благодушно заставлял его помогать себе, а дед безропотно слушался. Но эта властная сила Антона была не самовластием барина, а силой бескорыстного человека, который явился на помощь матери, чтобы спасти ее от смерти.

Отец вошел с полным ведром свежей воды и поставил его на стол, а прежнее ведро хотел вынести, но Антон спохватился и остановил отца:

— Ты, Василий, с водой подожди. Тебе есть другая работа.

Он приказал ему что-то на ухо и громко закончил, ткнув пальцем в пол:

— Будь здесь, около тетушки Лукерьи. А ты, молодой человек, будешь ходить за свежей водой. Но в избу — ни ногой.

Я покорно вышел на улицу и больно почувствовал, что я — один, как сирота, что мне нет места ни в избе, ни в выходе, где лежала больная бабушка, ни в кладовой, где пахло рухлядью и гнилью.

VI

Студент Антон Макарыч приезжал каждый день на дрожках и вместе с Лукерьей и отцом долго возился с больной матерью: он давал ей пить лекарство, оттирал ноги и руки шерстяными чулками и не брезгал, когда ее мучила рвота, и как будто даже веселел и покрикивал с радостной уверенностью:

— Вот как мы умеем холеру выгонять! Пьем ключевую водичку — обильно промываем нутро, через денек, через два воскреснешь, Настенька, и почувствуешь себя счастливой, а жизнь прекрасной, хоть и забита она разными мерзостями.

Его провожал отец до самых дрожек с благодарной и учтивой улыбкой, склонив голову к плечу. А Лукерья глядела из открытого окна с умильной истовостью. Он шагал в выход, где лежала бабушка и метался в горячке Сема. Оттуда он выходил вместе с дедушкой.

— Бог-то бог, да сам не будь плох, Фома Селиверстыч, — смеялся он, выбегая из подземелья. — В жизни ты своего не упустишь, без драки своего не отдашь. А тут — живые люди, кровно близкие. Как же не бороться за них, как же их не спасать от смерти? Бог-то едва ли одобрит тебя за то, что ты сваливаешь на него все напасти. Я думаю, что человек угоден богу не смирением и терпением, а борьбой за свое законное право — жить и по-своему устраивать свою судьбу. Эх, как крепко в тебе сидит рабский страх перед владыкой-барином! Ничего ты не знал в своей жизни, кроме покорности и жестокости. А жизнь теперь иная и люди иные. Так ты уже, старичок, не мешай им жить как хочется.

Так он приезжал к нам по два раза в день и скакал на дрожках по большому порядку, а оттуда катил в заречье.

Мать медленно выздоравливала, и ее перенесли из-под образов на кровать у задней стены. Лицо ее, очень худое, бледное, уже светилось едва уловимой улыбкой, и когда она открывала глаза, они казались большими и лучистыми.

Бабушка скоро отлежалась от какой-то немочи и уже благостно стонала в чулане. Сёма в выходе лежал в горячке. Тит не показывался: он перебрался на гумно — в половешку. Он хозяйственно бродил по двору и, усыпанный охвостьем, не знал, за что взяться. Сыгней пропадал у чеботаря и по вечерам торопливо пробегал в кладовую, переодевался там и так же торопливо, с оглядкой, исчезал в сумерках

за амбарами, кудрявый, густобровый, ловкий. Должно быть, он пользовался правом «лобового», для которого все — трын-трава. Этих парней считали наполовину солдатами, и, по обычаю, в часы гульбы уже не было над ними суровой власти отца и семьи. Озорство их часто булгачило всю деревню. Притворяясь пьяными, они проходили по улицам нашей и заречной стороны, орали пригудки под гармошку, плясали на ходу и вдруг, ни с того ни с сего, начинали ломать прясла в загонах и выгонять на улицу коров и овец. Скотина мычала, блеяла и разбредалась по улице.

Однажды они соблазнили выпивкой сотского Гришку Шустова, и он, как бывший солдат, гулял с ними до петухов, похваляясь перед парнями своей унтерской свирепостью. А когда свалился на улице, они стащили с него рубаху и портки. Об этом долго судили в каждой избе и злорадно хохотали. Но он отсиделся дома и никому не мстил: боялся, как бы начальство не лишило его почетной и доходной службы.

В этом году лобовых у нас было трое: наш Сыгней, Олеха Набрин — тот самый, который наваливал мешки на плечи Лукони-слепого, — и Мишка Кантонистов, парень из самой беззаботной семьи, красноволосый, с пестрым от веснушек лицом.

В эти зловещие ночи, когда избы прижимались к земле в могильном молчании, лобовые ребята бродили по селу и, распевая пригудки под гармошку, будоражили девчат, которые спали на траве перед своими избами. Эти озорные прогулки по всему селу с гармошкой и разудалыми припевками, когда в редкой избе не было горя да беды, оскорбляли горестную тишину и вызывали враждебные жалобы.

Из открытых окошек высовывались седые головы, и старческие голоса совестили рекрутов. Но они лихо отшучивались и отбивали трепака. Для лобовых не было никаких преград и застав: они переходили на ту сторону, туда, где стояли караульщики, отнимали у них колья и бросали в реку, а караульщиков разгоняли по домам.

Мы с Кузярем обычно по вечерам шли к пожарной и играли с Миколькой в чушки. Долгоногий Миколька бил тяжелыми палками по чурбачкам метко и сильно, и они, кувыркаясь, разлетались далеко в стороны, а мы с Кузярем скоро «отмахивали» свои руки и проигрывали Мидольке. Он, довольный, победоносно прищуривался и напевал себе под нос невнятную пригудочку. Кузярь злился и беспощадно мстил ему ядовитыми словами:

— Дурак не умом гож, а махалками. Даже лошадь за сохой думает, а дурак только бездельем жив — как здесь вот у пожарной. Давай-ка лучше в шашки срежемся: ты любишь в нужнике сидеть.

И верно, Кузярь ловко и уверенно передвигал шашки на пестрой доске, устраивал ловушки и принуждал Никольку бить подставленные пешки, отдавать взамен по две, по три сразу и прочно залезать в тупики. Худенькое личишко Кузяря становилось остреньким и злым, черные горячие глаза зорко рыскали по доске, а костлявый палец хищно целился то на одну, то на другую пешку. Миколька задумчиво гнусил какую-то песенку и спокойно, медлительно размышлял над очередным ходом. Он вскидывал прищуренные глаза на Иванку и шельмовато подмигивал ему, и мне казалось, что он всегда следил за Кузярем и старался ошарашить его внезапно, с невинным и игриво-простодушным видом. Миколька всегда показывал нам свое превосходство взрослого парня, а на дерзости Кузяря или улыбался молча, или кротко и снисходительно ворковал:

— Ваня, дураки-то на виду егозят, а умные умом не хвалятся: они тишком да молчком людями помыкают. Вон Митрий Степаныч Стоднев по всей округе на умниках верхом ездит.

И под этот поучительный говорок пальцы его плясали по доске, незаметно передвигали шашки, и, к изумлению Кузяря, он быстро проходил в дамки. Кузярь в бешенстве смахивал шашки с доски и орал:

— Жулик ты, а не товарищ! Игра была моя, а ты шашки-то на свой лад сдвинул.

— Не пойман — не вор, Ваня. Где свидетели? Федяшка, что ли? Да какая ему вера? Ведь он твой подвалет.

Я уже не раз замечал проделки Микольки с шашками и следил не столько за игрой, сколько за Миколькой. Он не отгонял меня от себя, хоть и знал, что я наблюдаю за его пальцами, но старался обмануть меня и Кузяря какой-нибудь выдумкой.

— Федя, — вдруг испуганно вскрикивал он, — кто это к пожарной бежит?

Я невольно подчинялся его тревожному крику и выбегал из сарая. Конечно, на луке никого не было, и я сконфуженно брел обратно. Кузярь презрительно цедил сквозь зубы.

— Поверь дураку — сам дурак будешь. Эх ты, а еще ватажник!.. Ведь он хотел тебе глаза отвести, да на мои глаза напоролся.

А Миколька притворно удивлялся:

— Аль никого нет? А мне что-то почудилось.

И с участием спрашивал:

— А ты, Ваня, поди ничего и не ел нынче?

— Не ел? — гордо вскидывал голову Кузярь. — Я всех богаче: у меня живности — весь белый свет.

Однажды он вынул из кармана портчишек скрюченное и подгоревшее тельце птички, без головки и лапок. Миколька испуганно отмахнулся.

— Это чего ты сусшь-то?

— Воробья. Я их каждый день сколько хошь ловлю. И голубей. В плетюху. Поставлю плетюху на лучинку, а к ней нитку привяжу, налетит их видимо-невидимо, я их и накрою. Скуснее воробья да голубя ничего на свете нет. Мы с мамкой только этим добром и лакомимся. Сперва она плевалась да лаялась, а потом расчухалась — и не оторвешь. Ест и плачет-разливается: «Грех, говорит, Ваня... задавит нас грех-то за погань». А я утешаю ее: «Ешь, знай, — не тужи, мать. Я все твои грехи на себе в овраг отнесу и выброшу».

Миколька даже озлился от мучительного соблазна выхватить из руки Кузяря зажаренную на огне птичку, но не мог побороть отвращения к этой дичине:

в деревне считали тяжелым грехом убивать воробьев и голубей, а есть их запрещалось стародавним обычаем. Он оттолкнул руку Кузяря, но глаза его голодно блестели, и он глотал обильную слюну.

— Сам ешь... Только берегись, как бы тебе мужики ребра за это не переломали.

— Черт ли баять!.. — вызывающе выпрямился Кузярь. — Голод — не тетка: приспичит — и мышей будешь есть.

Я выхватил у него птичку и поднес ко рту, хотя тоже брезгал запретной пищей. Мне хотелось только показать Микольке, что этот зажаренный воробей — настоящее лакомство, что я, как бывалый парень, совсем не считаюсь с деревенскими предрассудками. Но как только я начал обгладывать тоненькие косточки, эта крошечная птичка показалась мне очень вкусной. Кузярь смотрел на меня довольный и торжествовал. Он вынул из кармана еще одну птичку и похвастался:

— Я с голоду не подохну. Без время только дураков смерть-то косит. А я на ее косу только поплевываю.

Миколька не отрывал алчных глаз от лакомого воробышка и боролся с желанием вырвать его из крепких пальцев Кузяря.

— Ну ты, Кузярь, совсем отчаялся: и греха не боишься.

— Греха бояться — всего чураться. А я люблю грешить: все знать да все ведать. Вот ты хоть и дылда, а я умнее тебя.

Миколька не выдержал — выхватил у него из рук воробья и засунул в рот. Он прожевал его вместе с косточками и проглотил с наслаждением.

— Скусно-то как! Эх, Ваня, добро-то какое! Ты приноси сюда каждый день!

Он так смешно удивился этой неожиданной благодати и так голодно глядел на Кузяря, что я захохотал.

У колодца, в часы вечернего водопоя, у пожарной, у пустых амбаров стали кучками собираться мужики. Сначала они мирно, как будто беззлобно, толковали

о том и о сем, приглядывались, прислушивались друг к другу. потом горячились, спорили и с оглядкой расходились в разные стороны. На нашей стороне мужики собрались позади жигулевки, у оврага.

Пронырливый и догадливый, Кузярь уже знал, почему украдкой собираются мужики и о чем они толкуют. Несмотря на запреты, он в сумерки пробирался даже на верхние порядки заречья, прятался за избами и кладовыми и вслушивался в мятежные разговоры мужиков. Миколька молчал себе на уме. Но когда вдруг мужики начинали шуметь у жигулевки, как на сходе, он подмигивал нам и кивал головой на голоса: смотри, мол, ребята, народ-то как отчаялся...

А Кузярь хвастливо ухмылялся и подсекал:

— Только болты и болтают, а дела нет. Языком колоколят: тара-бара, а каждый — прочь от шабра.

Он говорил, как взрослый, рассудительно, строго. На лбу у него прорезывались морщинки, а глаза горячо вспыхивали от негодования.

Закатные вечера потухали в дымной гари, и небо над избами заречья долго пылало красным заревом, тревожило душу смутным предчувствием, а над лукой пылилось горячим пеплом. Воздух был туманно-фиолетовый, угарно-знойный, избы, амбары и кладовые таяли в дыму и казались ненастоящими. Церковь как будто стояла на коленях и скорбно молилась угасающей заре. Когда становилось совсем темно, в разных местах за селом дрожали во мгле другие зарева: должно быть, где-то очень далеко полыхали пожары. Может быть, это горели хутора и деревни, а может быть, высохшие на корню пустоколосые хлеба и сухая трава. Пожаров в нашем селе никогда не было, и никто не опасался, что они когда-нибудь вспыхнут: не только старообрядцы, но и мирские, кроме Архипа Уколова, считали грехом и преступным баловством «трубокурство», а спички прятали в укромном месте, чтобы не попадались в руки ребятишек. Но в беззвездные вечера, без единого огонька в избах, с далекими багровыми заревами, зловещая тишина была живой и страшной.

И только время от времени на длинном порядке или наверху в заречье попискивала гармонь, и притворно-пьяные голоса казались неуместными, вызывающе озорными, как кощунство.

Хотя еще во многих избах не утихали вопли об умерших, на улицах опять показались и старые и молодые, занятые заботами по хозяйству. За лето много унесли гробов на кладбище, на полях сгорел хлеб, и голод грозил уморить и остальных. Люди ходили с серыми, отечными лицами и тупыми глазами. Но жизнь неистребимо и упрямо напоминала о себе всюду — и в детских крикливых играх, и в вечерних сходбищах девок и парней, и в беспокойных разговорах мужиков.

VII

Один из таких вечеров незабываемо остался у меня в памяти, потому что с него начались потрясающие события в деревне.

У жигулевки собирались одни и те же мужики: Тихон-кожемяка, рыжий силач, бывший солдат; Исай — худущий и длинный мужик, с жиденькой белобрысой бороденкой и встрепанными волосами, всегда горячий, крикливый и неистовый; Гордей — широкобородый, горбоносый, неразговорчивый человек, сосредоточенный в себе, который, казалось, никому ни в чем не верил и всегда смотрел в землю с усмешкой себе на уме. Приходил сутулый чеботарь Филарет и коренастый Терентий Парушин, большак, — оба длиннобородые и похожие друг на друга. Филарет говорил странно: он вдруг бешено вскипал и надсадно выкрикивал, задыхаясь от злобы, злые белки его и крепко сжатые кулаки беспокоили всех. Даже Тихон, сильный и хладнокровный мужик, посматривал на него с опасливой настороженностью. Филарет хоть и работал на Стоднева с утра до ночи не разгибая спины, но из долга не выходил и в это лето голодал так же, как и другие бедняки. Раньше он был как будто тихого и спокойного характера и работал с уверенностью мастера, который не останется без куска

хлеба. А сейчас в нем бушевала неукротимая буря и мстительная ненависть к Стодневу. У Филарета умерли двое парнишек, а третий — грудной младенец — пищал у пустой груди матери и таял со дня на день. Татьяна Стоднева не давала Филарету ни горстки муки, ни меры зерна и кричала на него, как на неоплатного должника.

Раза два я видел, как он, разъяренный, уходил от нее, сутулый, страшный, размахивая кулаками, и свирепо ругался на всю улицу.

Терентий, степенный и скромный, уважительно слушал разговор шабров и молчал, не выражая ни одобрения, ни недовольства.

Тихон, как видно, был среди них вожаком, и его голос звучал твердо и властно. О чем они толковали и что он внушал мужикам — я не знал: нас, парнишек, они отгоняли. А Миколька сам не отходил от пожарной, хотя и поглядывал в сторону жигулевки с хитрой, знающей улыбочкой. Это злило Кузяря, и он издевался над Миколькой:

— Ну, мы хоть с Федяшкой и под пах Тихону не выросли. А ты-то, Миколай Мосеич? По повинности ты ведь — дозорный. Зачем народ собирается да судачит? Может, люди сговариваются село поджечь? А ты раскорячился по-дурацки да почесываешься.

Миколька подмигивал ему и, засунув руку в карманы брюк, посмеивался щербатыми зубами.

— Ты хоть и умник и проныра, Кузярь, а ничего не смыслишь. А я скрозь землю вижу и разгадаю тебе лучше Мартына Задеки, какие дела люди задумали.

Кузярь не сдавался: он фыркал и пренебрежительно разоблачал тайны Микольки:

— Эка, секрет какой куриный. Курочка яичко хочет снести — крадется к кошелке, а сама кудахчет. Да я больше тебя, каланча пожарная, знаю, о чем мужики у амбаров колоколят. Я одного боюсь, как бы они всю обедню не проколоколили. Узнают сотский да староста — всех перевяжут.

Но Миколька невозмутимо смотрел издали на мужиков и застывал с хитрой улыбочкой на губах, словно чутко прислушивался к глухому и невнятному

говору. А когда Кузярь пытался тайком подойти к мужикам, страдая от нестерпимого любопытства, Миколька хватал его за рукав и ласково говорил:

— Я тебе, Ванек, голову сверну и ноги поломаю, ежели тебе невтерпеж послушать, о чем люди болтают. А без вас мне скучно: чего я без тебя, веселого да речистого парня, делать буду?

Я понимал Микольку очень хорошо, но Кузярь никак не мог остаться в долгу перед ним и огрызался:

— Поколь ты мне, Миколай Мосеич, соберешься голову свернуть да ноги переломать, я на тебе вдоволь покатаюсь. Я ведь все село обходил да обнюхал.

Миколька не смутился, а скорчил удивленную гримасу.

— А ты, Ванек, пошел бы по большому порядку да об этом кочетом пропел: то-то люди потешились бы над тобой! Ведь лучше тебя никто сказки не умеет рассказывать.

А Кузярь вдруг озабоченно посоветовал:

— Ты, Миколя, лучше бы мужикам помогал: залез бы на пожарную да дозором и покараулил — оттуда, с плоскуши-то, все видать.

Миколька даже вздрогнул от находчивости Кузяря, взмахнул руками и бросился к задней низкой стене пожарного сарая. Через минуту он вырос на покатой тесовой крыше и сразу же забылся от удовольствия, оглядывая всю деревню и прибрежные обрывы и низины.

Кузярь ткнул меня под бок и злорадно засмеялся.

— Здорово я его обдурил! Сейчас он словно на качели качается — страсть любит на крышу да на колокольню забираться. Он у мужиков-то дозорным был и нас за хвост держал. А сейчас, словно невзначай, подойдем и понюхаем, на что они решились. Только, чур, храбро: за жигулевку не прятаться, а грудью стоять.

Мы пролетели от пожарной до дряхлого сруба жигулевки, обежали ее кругом и стали за спинами крупных мужиков — Терентия и Филарета.

Исай и Гордей жили близкими шабрами: избенки их стояли напротив при выезде на околицу. Они

казались мне такими же безразличными, как и другие. Все потешались над их дружбой, которая была похожа на жгучую вражду: они, как близнецы, не разлучались друг с другом и на улице и на сходе. Но как только скажет один из них слово, другой сразу же оспаривает его, и между ними начинается перепалка. Исай, худой и высокий, шагал торопливо, стремительно, вытянув шею, словно его подталкивали сзади. А Гордей, коренастый, тяжелый, ходил, опустив бородатую голову, раздумчиво и основательно.

Кузярь с достоинством самосильного парня прислушивался к разговору мужиков. Я еще ни разу не видел его таким деловито-вдумчивым и не замечал раньше резких морщинок между сдвинутыми бровями. Лицо его как будто постарело и утратило обычную беспокойную живость. В этот раз мужики были очень встревожены и с горячей злостью в глазах пытливо прощупывали друг друга. Только Тихон, видавший виды, стоял невозмутимо и, заложив руки за спину, рассеянно смотрел куда-то вдаль через головы мужиков. Особенно кипятился Исай: он взмахивал длинной рукой, хватая пальцами воздух, и надсадно спорил с Гордеем, который пренебрежительно только отмахивался от него, поблескивая крупными зубами.

— На гамазее печати, а печать сломать — все одно что башку сорвать... — сипел Исай и в ужасе таращил глаза на мужиков. — Где грех — там и беда.

Гордей ехидно оборвал его, толкая плечом:

— Врешь ведь, Исайка. Грех-то от беды плодится, а где грех — там и потеха. Кабы не я, давно бы ты и печати и замки на гамазее сломал. Ты спишь и видишь, как бы под розги попасть.

— Ты меня не замай, змей-горыныч! — свирепел Исай. — У меня руки-то длиннее твоих. Не ты ли на подводы Митрня Стоднева заришься? Повинись перед народом-то.

Гордей скалил свои широкие зубы и по-свойски хлопал Исая по плечу.

— А ты, Исай, сам перед шабрами кайся, как норовишь их подбить из гамазеи хлеб выгрести. А он не дается: на всех замках печати сургучные. Да и на-

род от гамазеи отступится — общественный хлеб, семенной. Никто себе не враг, а общественное добро — свято.

— Ты, Гордей, не гордись, — беспокоился Исай. — И меня не кори. Ты, что ли, додумался до того, чтобы захватить хлеб у мироеда? Не я, что ли, долбил тебе бесперечь: у Митрия надо хлеб-то захватить. Он, Митрий-то, настоятель-то, божественник, полны сусеки в сеницах засыпал. А чей хлеб-то? Наш. Кто ему за долги последний мешок тащил? Мы. На чьих угодьях сеял он да собирал? На наших. А кто спину гнул да пот проливал на отработках? Мы же. А куда сейчас он эту прорву хлеба увозит? К себе, в город. Здесь он нас дочиста обобрал, а в городе золото будет загребать.

Гордей усмехнулся, уткнув глаза в землю.

— Не ты с твоим умом додумался до этого, Исай, а люди добрые надоумили. На чем решили, на том и утвердимся: и муку и зерно из села не выпускать. Не то важное дело, чтобы хлеб захватить, а то дело, чтобы стеной друг за друга стоять. Вот мы с тобой перед миром-то давай и отмолчимся: никакие нам страхи не страшны, а языки запечатаем покрепче сургучных печатей.

Он обнял Исая и дружески встряхнул его, а Исай натянул ему картуз еще ниже на глаза и с издевочкой проворчал, обхватив длинной рукой его поясницу:

— Ума у тебя тьма, да в башке кутерьма.

Мужики смотрели на них и смеялись, усмехался и Тихон. Но все знали, что эта перебранка — особое, свойственное им выражение обоюдной привязанности и взаимной верности. Если же кто-нибудь из мужиков трунил над ними, они оба дружно набрасывались на него и наперебой издевались над ним: один — горячо, надсадно, обличительно, другой — спокойно, неохотно. На удивление всей деревне, Исай и Гордей не разлучались и в работе: они совместно пахали свои наделы и молотили хлеб на одном гумне. И никогда не было случаев, чтобы они обманывали или обижали друг друга. И бабы их жили тоже согласно, как подруги.

Во время полевых работ они даже обедали и ужинали как одна семья.

Филарет, босой, в рубахе без пояса, не то смеялся, не то икал и, фыркая, рычал в негодовании:

— Аль дурака валять ходим мы сюда, шабры? Аль на скоморохов не налюбовались? Время-то ведь на исходе. Распоряжайся, Тихон, кому чего делать надо.

— Так вот, мужики, — строго и озабоченно пробасил Тихон, — с полночи все по своим местам, как решили. Я солдат. А в этом нашем деле без дисциплины нельзя. Слушаться меня с первого слова. Не спорить, не огрызаться. А то любим мы до смерти сычей дразнить. Исай с Гордеем — нерасстанные друзья, а с этой ночи они у меня тоже как солдаты: чтоб я голосу их не слыхал.

Вдруг он обернулся к нам с Кузярем и угрожающе сдвинул брови.

— Это кто вас сюда допустил, ребятишки? — И приказал с мягкой суровостью: — Долой, долой отсюда! Нечего вам тут околачиваться, и держите язык за зубами! Ну-ка, удирайте подобру-поздорову!

— Этот Кузяренок — известная проныра, — заволновался Филарет, взмахивая кривыми руками. — Давно бы его шпандырем отхлестать надо, да и Федяшку за компанию.

Кузярь отважно шагнул вперед.

— Ты, Тихон Кувыркин, меня не гони: я такой же хозяин, как и ты. Мне и честь по самосилью. Я ведь не хуже вас все постигнул. А рядом с тобой, дядя Тихон, я ловчее всех у тебя помощником буду.

Мужики пристально смотрели на нас, но никто не смеялся. Голос Кузяря прозвенел так внушительно и требовательно, а тощенькая фигурка так напряженно вытянулась, что все залюбовались им и одобрительно закивали головами. Тихон подумал и примирительно улыбнулся.

— Так-то так... Да ты еще до нашей бороды-то не дорос, Ваня.

— Да ведь люди говорят, дядя Тихон, что борода растет без труда — не от ума. Вон Митрий Стоднев и

без бороды — умный да сильный. А я, может, и его пересилить хочу.

Мужики засмеялись, но Тихон настороженно уставился на Кузяря, словно почуяв в его задоре не обычную выходку проказника, а нетерпеливый порыв к подвигу.

— Да как это ты Митрия — такого доку — хочешь переспорить, Ваня? — со строгой насмешкой спросил он.

— А так... Митрий-то наказал Татьяне всю муку и рожь вывозить из сенниц сейчас же, благо что меж нами и заречными стража стоит. Я все пронюхал: Митрий-то велел хлеб увозить по ночам. Мужики, мол, бедой убиты — не до того им, чтобы якшаться. От холеры да голодухи у них, мол, бороды тяжелей башки стали, а руки не держат и ложки. Невозбранно весь хлеб по ночам можно вывезти.

Мужики с настороженным любопытством прислушивались к словам Кузяря. А Гордей отмахнулся от него и буркнул:

— Будет тебе, Ванька, врать-то. Аль ты у Митрия-то подручным был?

Исай оттолкнул Гордея и возмущенно оборвал его:

— Ванятка не врет, Гордей, — он чистую правду режет. Я сам ночей не сплю — уж который воз с хлебом провожаю.

В гневном голосе Кузяря все почувствовали затаенную боль измученного малолетка, на которого обрушились все лишения этого жуткого года — голод, холера, смерть отца, безнадежно больная мать. Каждый день грозил раздавить его новыми испытаниями и бедами. И все-таки он не падал духом, не жаловался, не плакал от отчаяния. Мне казался он сильнее и умнее любого из этих мужиков, потому что он беспокоился не только о своем дворишке, где у него еще стояла на ногах костлявая лошаденка и уцелела в поредевшем стаде комолая, потерявшая молоко пестравка, но и следил за всеми деревенскими событиями. Он знал, что делается на барском дворе, какие коварные ловушки расставлял мужикам Митрий Стоднев в эти дни тяжких бедствий, чтобы закабалить

народ — заставить и старого и малого работать на отнятой земле. Он, этот неунывающий парнишка, как лазутчик, шнырял по всему селу, прислушивался к толкам мужиков, прилипал к лобовым парням, потешая их своими проказами, и подстрекал их то пугать Татьяну Стодневу каждую ночь, чтобы ей стало невмоготу, то угнать лошадей у сторонних возчиков, то снять с нашестей петухов и бросить их через окошко в избу, где ночевала Татьяна.

Уже смеркалось, а мужики не расходились: они стояли плотной кучей и толковали почти шепотом. Нас с Кузярем они уже не отгоняли. Тихон даже положил руки нам на плечи. Я чувствовал, что он нарочно держит нас около себя. Подошли лобовые, перекинулись с мужиками шуточками, усмешками. А Гордей ядовито посовестил их:

— С какой это радости вы, ребята, гармоните да озорни́чаете? Сейчас при нашем горе и жеребята под матку прячутся.

Сыгней заегозил, заиграл своими форсистыми сапогами и, посмеиваясь, отшутился:

— Жеребятки — под матку, детки — под бабку, а нас и горе веселит. Ежели народ горе мыкает, он из горя-то и веревочки вьет.

Исай заспорил с Гордеем, но Тихон усмирил его сердитым взглядом. Исай обиделся.

— Ты, солдат, на свой аршин людей не мерь. Ты людей за душу не бери. Надо вот с лобовыми договориться: им — везде дорога, для них караула нет. Наказ им надо дать, чтобы бедноту честь честью к сенницам собрать.

Даже беззаботный Сыгней насторожился и стал серьезно-покорным. Олеха стоял впереди лобовых и с угрюмым молчанием следил за каждым движением Тихона. Костя, перестарок, пристал к лобовым, хоть и женился недавно. Это было не в обычае в нашем селе: женатые, выбывшие из лобового возраста, с призывными парнями не якшались. Должно быть, гулял он по селу с лобовыми неспроста. Он перешептывался с Олехой, переглядывался с Тихоном, кивал ему головой и посмеивался. Костя покашливал,

и глаза у него были страдальческие и горячие. Старики у него умерли, и красильня не работала. Брат его уехал куда-то еще весной, собирался уйти и Костя, но вдруг он женился на сироте Фене, у которой умерли отец с матерью, а Сергей Ивагин отобрал у нее избу и даже сундучок и выбросил ее на улицу.

Тихон с оглядкой, вполголоса заговорил, как будто приказывал каждому из мужиков:

— Так вот... ежели хоть один пошатнется и отступится — и ему и всем пропадать.

Он помолчал и опять поглядел на каждого пристально и испытующе, словно прислушивался, о чем думали мужики. Он даже обернулся к лобовым и задержал взгляд на Косте.

Терентий, который никогда не выходил из воли Паруши, вдруг рассвирепел и затряс бородой.

— Чего ты, солдат, душу, как чемерь, рвешь? Аль мы на воровство идем? Мы, чай, по совести, не для корысти, а для добра.

— Эка, праведник какой! — съехидничал Филарет. — Перед кем оправдываешься? Аль перед Митрием?

— Не учи — мы сами бородачи! — взъелся Исай.— Больно ловки мы друг друга учить.

Тихон схватил его за плечо и цыкнул:

— Ботало! Спрячь язык за зубами!

Исай сконфузился и хрипло вздохнул:

— Обчей воле я не противник.

— Вот и ладно. Будешь делать, что прикажу, а без меня и пальцем шевельнуть не смей.

Он повернулся к Олехе и Сыгнею, как командир, и сурово предупредил:

— Вы, ребята, скоро в строю будете. Дисциплина для вас, как вожжи для коня. Докладывай, Олеха, как вы исполнили мой приказ.

Олеха усмехнулся, переступил с ноги на ногу и угрюмо сказал:

— Как сказано, так и сделано.

Тихон поманил Терентия и Гордея с Исаем и пошептался с ними.

— Поняли? Чтобы без меня — ни шагу.

Миколька стоял поодаль, как чужой, засунув руки в карманы брюк, и прислушивался. Тихон, очевидно, и с ним договорился: он сделал ему непонятный знак рукой, а Миколька выпятил грудь и ухмыльнулся.

Кузярь стоял смирно и очень чутко прислушивался к разговору мужиков. Должно быть, он понял, что подростку не место среди взрослых, что Тихон терпит его и мое присутствие только потому, что знает нашу верность.

Мужики стали расходиться, а Тихон взял нас с Кузярем за плечи и повел с собою по дороге к нашей избе. Костя торопливо шел один впереди: должно быть, он спешил домой, к своей молодухе.

— Вот что я вам скажу, ребятки, — добродушно сказал нам Тихон, — людишки вы хорошие, да только еще не выросли. Будет время — и на вашу долю хватит драки. Так что в наше дело сейчас не ввязывайтесь. А ежели хотите быть настоящими бойцами, как на кулачках, учитесь слушаться.

Я никогда не забывал о событиях ватажной жизни и с тоской думал о Грише-бондаре, о Прасковее, о Харитоне с Анфисой, обо всех дорогих мне людях, об их дружной борьбе, об их мечтах по вольной воле. Деревня показалась мне маленькой, тесной и жутко пустой: голод изморил всех, и люди казались тяжело больными, а холера пришибла их ужасом и загнала в избы и выходы. И даже сытая Татьяна Стоднева, которая самодовольно и самовластно распоряжалась плотниками и возчиками среди богатств и нагло рассыпала на широкие парусины вкусное зерно, словно дразнила голодных и издевалась над их беспомощностью и бесхлебьем, — даже эта чванливая баба, похожая на ватажную подрядчицу Василису, не будила в мужиках злобы и возмущения. И только несколько человек на нашей стороне, которые сохранили в себе в эти дни отчаяния мужество и способность видеть убийственную несправедливость, без раздумья решили отобрать у мироеда запасы зерна, которые он, как кощей, хранил в своих огромных амбарах, чтобы продать в городе по вздутым ценам. Рожь золотой россыпью каждый день жарилась на солнце перед

амбарами, а по вечерам насыпалась в тугие мешки. Я видел эту манящую россыпь каждый день, видел, как возчики насыпали и завязывали мешки и ставили их тесными рядами на площадке перед сенницами. И только воробьи да голуби стаями падали на широкие квадраты россыпи и жадно клевали зерно, но сторож, чужой мужик, взмахивал рукой, шикал на них, и они сразу же шумно поднимались в воздух и испуганно улетали на крыши амбаров. Несмело проходили мимо этих россыпей парнишки и девчушки с голодными припухшими личишками, останавливались, зачарованные, и не слыхали окрика сторожа. Потом с отчаянной решимостью бросались к зерну, хватали его в горсть и разбегались в разные стороны. Татьяна, туго налитая жиром, бродила поодаль и сварливо покрикивала и на мужиков, и на детишек, и на сторожа. А сторожу, рослому, костистому мужику, с растрепанными волосами и бородой, с жуликоватым лицом, особенно много приходилось терпеть от пронзительных криков хозяйки.

— Эй, ты... пантюха!.. Для чего я приставила тебя к добру-то — караулить аль воробьев с голубями кормить? Они ведь зобы-то туго набивают, а их тыщи. Кто убытки-то мне платить будет? Ты, что ли? А ребятишки-то из-под носа у тебя зерно крадут...

Мужик с притворным ужасом махал руками и визжал фистулой:

— Шишь, шишь! Ах вы бесстыдники! Охальники!.. Воровать? Грабить богатую хозяйку? Вот она какая, порода воробьиная: хоть махонькая птаха, а сколь в ней коварства-то!..

Возчики и плотники хохотали и подзадоривали и сторожа и Татьяну.

А когда Кузярь шел перед вечером к пожарной мимо рассыпанной ржи, кто-нибудь из плотников кричал:

— Гляди-ка, гляди, караульщик! Парнишка-то у тебя всю рожь в пазухе норовит утащить.

Кузярь нарочно останавливался, задорно скалил зубы и засучивал рукава. Сторож свирепо таращил глаза и тряс бородой.

— Прочь отсюда, прочь! Не твоя башка, а моя из-за тебя с плеч свалится...

Кузярь с веселой дерзостью нападал на сторожа:

— А куда ты спрятал тугой мешок-то? Аль я не видал, как ты его пер вчера в сумерках?

— Это какой мешок? — пораженный нахальством Кузяря, растерянно мычал мужик. — Да я тебе башку сорву и в бельмы брошу.

— Чай, с рожью мешок-то... Маленький ты, что ли? Ежели не себе в карман положил, а голодных пожалел — тогда я никому не скажу.

Плотники хохотали, а сторож беспомощно озирался и бил себя кулаками по бедрам.

— А, батюшки! А, соседушки! Чего эта гнида-то на меня клеплет!

А Кузярь хладнокровно и безбоязненно брал полную горсть ржи и пересыпал зерно с ладони на ладонь.

— Хорошая ржица, налитая... Такой ржицей можно все село прокормить до нового урожая.

Татьяна выплывала откуда-то из-за бревен и свалки досок и встревоженно спохватывалась:

— Ни одному бесу веры нет. Хоть сама карауль. Всякий норовит урвать, утащить. Говори, Ванятка, в какую сторону шайтан мешок уволок! Чую, что не врешь.

Кузярь бросил с ладони в рот щепотку ржи и спокойно ответил:

— Вру, тетка Татьяна. У тебя, вишь, сколько еды-то — целые бунты. Взяла бы да раздала всем голодным.

И он неторопливо шел дальше, к луке. Татьяна кричала надсадно:

— Ах ты дьяволенок, ах ты окаянный заморыш! Больше чтобы глаза мои тебя не видали: ноги переломаю.

Плотники и возчики смотрели на взбесившуюся Татьяну и на Кузяря, который безмятежно шагал по дороге, и задыхались от хохота. Эти богатые россыпи хлеба сияли золотом перед всем селом, а когда стали робко подходить к Татьяне старухи и детишки с си-

зыми личишками и жалобно просить подаяния, она строго отгоняла их:

— Бог подаст! Идите-ка, проходите с миром! Молитесь да в грехах кайтесь!

Кузярь торопливо рассказывал об этом Тихону, а он покачивал головой и, покрякивая, натягивал картуз на глаза.

— Да... дела... как сажа бела... Вот оно как богатство-то из людей зверей делает.

— На ватаге народ-то скопом пошел бы, — убежденно сказал я. — Ежели бы там этакое случилось — все поднялись бы и своим судом хлеб этот взяли да разделили бы.

— Это ты верно, Федюк, — раздумчиво проговорил Тихон. — Там народ артельный. А тут у нас всяк Иван — на свой болван. Я вот в солдатах был. Там ни отца, ни матери, ни кола, ни двора — все в строю и как один человек. А у нас только на кулачках горазды драться.

— А помнишь, дядя Тиша, — горячился Кузярь, — как мужики барскую землю почесть всем селом захватили да запахали? А кто народ повел? Микитушка с Петрушей.

Тихон срезал Кузяря:

— А чего после-то было? Все разбежались по своим избам, а вожаков забрали.

Я поспешил опять поделиться своим жизненным опытом:

— На ватаге сроду бы этого не было. Там все друг за дружку держатся, а подрядчицу однова на тачке вывезли, и полицейский ее же отхлестал. И никто не разбежался, а еще больше распалились и свое взяли.

Кузярь тоже не остался в долгу, он попытался обезоружить Тихона неотразимым доводом:

— Аль народ-то раньше умнее был, дядя Тихон? Вот Емеля Пугачев... Всю Россию поднял, всю барскую землю захватил... и всех бар, как косой, косил.

Тихон усмехнулся и укоряюще возразил:

— Дурачок! Ведь у Емели-то Пугачева войско было: всех мужиков казаками сделал. Понять надо.

— И у Стеньки Разина тоже много войска было, — добавил я. — И на ватаге его перед рабочими разыгрывали.

— Вот то-то же, ребятушки!.. — поучительно закончил Тихон. — Острые у вас умишки, а зеленые еще, незрелые. Мы о бунте не думаем. Какой тут бунт, когда люди от голода дохнут. Народ одного хочет — хлеб у мироеда, у барышника забрать да средь бедноты разделить. А разделим по закону — по письменной обоюдности. Ну, а сейчас по домам шагайте и — молчок!

Тихон вместе с Кузярем пошли дальше, мимо сбитых в кучу телег и штабелей толстых мешков, а я отстал от них у нашей избы. Мать, еще слабая после холеры, худая, измученная, сидела на лавочке у кладовой и звала меня рукой.

VIII

Тихон не хвастался тем, что служил в гвардии, в самом Петербурге, а сразу же, когда вернулся, стал вместе с отцом мять кожи. Держал он себя скромно и невидно и только отличался удалью и непобедимостью в кулачных боях. Но в этот год лихих бедствий — неурожая, голода и холерного мора — он вдруг стал первым человеком в селе. Все обезумели от страха перед черной бедой: в каждой избе перед покойниками без памяти валялись бабы и старухи, а у стариков падали мутные, покорные слезы на седые бороды. Не было уже ни отпевания, ни поминок по мертвецам. И тут, как псы на падаль, являлись мироеды — Сергей Ивагин, сам староста, сотский с книгой в руках и даже Максим Сусин — и описывали всю хурду-мурду. Сергей Ивагин, в серебристой поддевке и смазных сапогах, самодовольно ухмылялся и бесстыдно покрикивал своим сытым тенорком:

— Господь-то бог по мудрости своей выпалывает лишнюю траву на земле. Видит: много едоков, много лодырей — и долой их, чтоб не мешали нам хозяй-

ствовать. У меня все село в загоне, как шелудивые бараны. Всяк червяк из шелухи своей выползает, а ветер шелуху уносит. По воле божьей у нас ни одному покойнику саван без меня не даван. Все в должишках увязли, как в тенетах. Портчишек да повойников я, по состоятельности своей, не сыму, а об домишках да об землишке позабочусь на помин души.

Но староста Пантелей и Максим брали имущество у вдов и сирот по «закону» — через волость.

Бабы выли, драли на себе волосы, старики горбились еще больше, молились богу и скорбели, а мужики и парни лобового возраста и от голода и от ужаса перед призраком смерти выдирали колья из прясла. Тут-то Тихон и бросил мять чужие кожи. Старик отец умер от горячки, жену скрутила холера, сгорел и сынишка, и он остался один, но все заметили, что он начал похаживать по избам не только на своем длинном порядке, но и в заречье. Рыжий, конопатый, высокий, кряжистый, он шагал по улице не по-мужичьи — не сутулясь, не уткнув бороду в грудь, — а с солдатской выправкой, по-гвардейски. И всем, кто смотрел на него из окон, казалось, что он как будто повеселел некстати.

Обычно на высокий порядок за рекой люди с луки ходили редко, да и то в большие праздники — погостить у тестя с тещей. Хоть в каждой избе лежали хворые или покойники и на душе у всех была скорбная тягота и жуткая тоска, но жизнь шла своим чередом со всеми домашними заботами. Бабы так же судили и рядили о всяких делах и событиях: у кого кто помер, кто ушел на сторону, у кого молодуха родила не в добрый час перед покойником, кто пухнет от бесхлебья и как гуляют лобовые и озорни́чают по ночам. А вот вдруг с цепи сорвался Тихон-кожемяка и заходил по всем порядкам с высоко поднятой головой, с озабоченным, но веселым лицом, словно пьяный или умом рехнулся от своей беды, и задумал какую-то смуту. Однажды его перехватил на своем порядке сотский и, как подобает бывшему жандарму, с проницательной строгостью пригрозил ему:

— Ты, солдат, тут не шатайся. Чего это ты вздумал на нашей стороне прогуливаться да в избы захаживать? Аль невесту, вдовец, ищешь? Гляди, кожемяка, как бы с горы на ту сторону не загудел. А то и в волость доставлю... Я, брат, чую, кто чем воняет.

Но Тихон схватил его за шиворот, подтащил к обрыву и спокойно ответил ему:

— Ежели я замечу, что ты, сволочь полицейская, следишь за мной да подкопы строишь — удавлю, как подлого кобеля. Со мной не шути — башкой своей не рискуй. Не забывай ни на час: я в гвардии, в Петербурге, служил — не из робких. А сейчас, чтобы ты запомнил мой наказ, лети вниз, до речки, и поквакай с лягушками.

Он без натуги швырнул его с крутой горы, а сам пошел дальше.

И как ни тяжко было, как ни стонала душа от смертной напасти, как ни вопили бабы по избам, но расправа Тихона над ненавистным Гришкой Шустовым всех оживила.

Ребятишки и девчонки, жизнерадостные и неунывающие, как воробьи, сбежались из-за амбаров и кладовых и с жадным любопытством наблюдали, как Тихон тащил Гришку за шиворот к обрыву и как швырнул его вниз. Они с наслаждением проследили, как сотский кувыркался через обрывчики и оползни и кричал, словно резаный. С любовным восхищением они проводили Тихона до избы Олехи и разбежались по своим домам. Проделка Тихона всколыхнула всех, даже старики хлопали по бедрам руками и смеялись в бороды, а бабы и девки словно ждали этого забавного события: они хохотали сначала в чуланах, а потом бежали к соседям, встречались на улице или у колодца и потешались над неожиданной порухой Гришки. Не успел Тихон возвратиться домой, как все село знало о его подвиге.

Не напрасно ходил он по избам, вышагивая решительно, с злой уверенностью: он быстро взбудоражил молодых мужиков, своих ровесников, и лобовых парней и сбил их в дружную шайку. Когда темнело, они

собирались или у яра, за жигулевкой, или где-нибудь за околицей, у приречных увалов. К ним спускался с горы, с барского двора, студент Антон, и они долго о чем-то толковали и спорили.

Тихон часто уходил твердым солдатским шагом в Ключи, в Варыпаевку, в мордовское Славкино за семь верст, в котором когда-то мужики, по рассказам стариков, единодушно, всем миром, восставали против властей. Эту смуту прозвали «картошным бунтом». Оттуда приезжали на роспусках молодые парни в холщовых длинных рубахах, в лаптях и долго калякали с Тихоном и его дружками.

Отец, прижимаясь к стене кладовой, смотрел из-за угла на вереницы теней, которые спешили по дороге мимо нашей избы к возам у сенниц. Я перебежал на другую сторону кладовой и увидел густую толпу людей. Кто-то покрикивал по-хозяйски:

— Не тормошись, народ! Никто не будет в обиде. Коли порядку нет, и за столом с пустой ложкой останешься...

Вдруг на всю улицу заголосила Татьяна. Она взвизгивала и рычала, как собака. Я видел, как она металась в толпе и среди возов и махала руками. В толпе вразнобой закричали женщины и заспорили мужики, как на сходе. Твердо распоряжался властный голос Тихона.

Татьяна надрывно кричала:

— Разбойники вы! Грабители! Митрий Степаныч исправнику жаловаться будет...

Подводы стали разъезжаться в разные стороны, а за ними гурьбой пошел народ. Мимо нашей кладовой один за другим тяжело проскрипели три воза с мешками. По бокам и позади охраняли их мужики, положив руки на обочины телеги. Я услышал убеждающий и начальственный голос Гордея:

— Бестолочь-то и золото пылью по ветру развеет. А хлебец при нашей нужде истово надо делить. Уговор такой: все слушайтесь и нашим выборным не перечьте. Остановимся у дранки, пересчитаем все голодные рты и сообча определим, какая доля на едока полагается.

Ему не возражали, и люди шли по обе стороны возов смиренно и послушно.

Из нашей калитки вышли дед с Титом и торопливо прошагали к толпе, которая теснилась у сенницы вокруг Тихона. Рядом трое мужиков возились с мешками. К ним по очереди подходили люди, и Филарет хоть и сдерживался, но покрикивал гулко и возбужденно:

— Ты, Тихон, ей не верь! Ни одному слову не верь! Соглашенье-то она подпишет: ей выгодно содрать с нас долг-от. Ты пропиши там, что мы не обязаны платить ей начеты, а то Стоднев-то сдерет по два пуда на пуд. Опять народ обездолит. Я знаю, как на них работать: все кишки вымотают и на них удавят.

Мы не ложились спать до воробьев и ласточек, хотя мутная заря над избами той стороны совсем не потухала. Отец все время стоял на углу кладовой и наблюдал за суетой у сенниц Стоднева. Я видел, как Тихон с бумагой в руке сидел вместе с Татьяной на штабеле старого теса и доказывал ей что-то, тыча пальцем в белый лист. Потом вынул из кармана пузырек с чернилами и ручку, положил лист на доску и на корточках стал писать что-то. Татьяна сначала отмахивалась, качала головой и мычала, но вдруг выхватила ручку у Тихона и с малограмотной старательностью тоже стала царапать что-то на бумаге. Тихон одну бумагу отдал Татьяне, а другую тщательно свернул, положил в бумажник и засунул в карман. Он размашисто подошел к Филарету и весело распорядился:

— Ну, кончайте скорей, ребята, и айда по домам. Все обошлось обоюдно и по закону — чинно-благородно. Общество решило хлеб распределить меж голодающих, и Татьяна Стоднева спроть миру не пошла.

Филарет фыркал и недоверчиво крутил волосатой и бородатой головой.

— Спроть-то мира не пошла, да мир-то обошла. Она шкуру сдерет с нас чинно-благородно. Гляди в оба, Тихон: как бы не пришлось нам с тобой в бе-

гах быть, ежели не свяжут нам белы руки да не угонят туда, где Макар телят не пас. Я — ученый, меня во всех щелоках варили, а ты хоть и солдат, а легковерный.

Дедушка и Тит несли по мешку на спине и бежали зыбкими шажками, словно боялись, как бы не воротили их назад. Татьяна, выпятив живот и грудь, важно прошла между роспусками к своей избе, покрикивая по-хозяйски зычным голосом, с задором торговки, которая сумела спасти не только свою шкуру в недобрый час, но и ошельмовать своих врагов.

Возвращались пустые телеги. Возчики скалили зубы и трясли бородами. Тихон и Филарет стояли перед кучей пустых мешков и о чем-то невнятно спорили. Филарет, измученный бессонной ночью, весь изгибался, бушевал и убеждающе тыкал в грудь Тихона то одной, то другой рукой, а Тихон, спокойный, ровный, заложив руки за спину, слушал его с хмурой усмешкой. К ним подошли двое возчиков и, оглядываясь на хозяйские крики, стали наперебой, торопливо и настойчиво говорить им что-то. Они как будто обожгли Филарета: он судорожно заметался около Тихона и с искаженным от злобы лицом замахал руками.

— Вот видишь, голова! Не зря толкую я тебе, не зря. У Стоднева все в упряжке и в пристяжке. Беды наделает... не приведи бог! Он и брательника не пощадил — в каторгу закатал, а нас с тобой зарежет перед всем честным народом... да и народу несдобровать. Он розги-то божьим словом просолит.

И хрипло, с ужасом прошипел:

— Бежать и бежать... Очертя башку... куда глаза глядят...

Но Тихон пристально и строго посмотрел на него и на мужиков с кнутами и спокойно сказал:

— Ты, Филарет, за кого меня считаешь? За подлеца аль за вредного пустоболта? Мы не шутки шутили: знали, на что шли и что делали.

Он зябко поежился и, всматриваясь в огненно-красное небо на востоке, над высоким взгорьем, где

виднелся мезонин барского дома, подумал и надвинул картуз низко на лоб.

— Ежели и другие так же башку от страху потеряют — петлю друг на друга набросят. Я ничего не взял, не для себя старался, а для тех, кто от голоду подыхает. Ну, а раз поклялся быть в согласии — умри, а стой, как солдат в строю, и товарища не выдавай, охраняй его, чтобы и он тебя заслонял.

Филарет взревел и в бешенстве высыпал из своего мешка пшено на землю, а мешок отбросил в сторону.

— А я, по-твоему, из-за этого дерьма на такое дело пошел? Гляди, вот оно... наплевал я на него... Я душу черту не продаю...

И он с остервенением стал топтать и расшвыривать босыми ногами высыпанное пшено.

Один из обозников жвыкнул кнутом и с изумлением закрутил головой.

— Ну и народ отчаянный, ребяты! Страшенное дело произвели... без оглядки... И с грамотой ловко. Только несдобровать вам. Я думал сперва, что вы по глупости под топор башки суете, а потом диву дался: для добра вы и себя не жалеете.

Другой мужик, изможденный, с жиденькой бороденкой и разбухшими красными веками, срывающимся голосом сказал, судорожно вцепившись в рукав рубахи Тихона:

— В свидетели пойдем... сколь нас есть... и плотники пойдут... полюбовно было... законно... Сам видел, как бумагу эта жиреха подписывала...

Тихон словно опамятовался, вскинул голову, засмеялся и пожал руки обоим возчикам.

— Благодарим покорно, землячки! В беде да злосчастье люди друзьями делаются.

И он с упреком закачал головой, взглянув на Филарета.

— Зря распалился, чеботарь. Не жри, шут с тобой, а ребенка-то недужного с матерью морить негоже.

Филарет тяжело дышал и злобно таращил на Тихона белки.

— А чего ты мне в харю плюешь своей праведностью? Не брал! Не крал! Для других пострадал! Я в одной с тобой шкуре. Ну, и одинаково нас с тобой драть будут.

— Не дури, мужик! Собери пшено-то и без опаски иди домой, — с сердитым дружелюбием посоветовал Тихон и с уверенностью человека, который совершил подвиг, пошутил: — Скажи жене, чтобы кашу сварила: в гости приду. У меня варить некому — все покойники.

И сам стал помогать собирать пригоршнями рассыпанную крупу. Возчики посмеивались и тоже стали сгребать желтое пшено в картузы и ссыпать в мешок Филарета. А он держал его сконфуженно и никак не мог успокоиться.

Татьяна взгромоздилась на плетеный тарантас и покрыла его целым ворохом своей цветастой юбки и такой же цветастой шерстяной шалью. Сытые лошади — коренник и пристяжка — с завязанными хвостами горячились и били ногами о землю. Кучер, тоже сторонний человек, — должно быть, их петровский батрак, — с угрюмой покорностью уминал что-то в тарантасе и укладывал какие-то вещи плотнее, чтобы хозяйке сидеть было удобно. А она капризно покрикивала на него:

— Уши-то у тебя где были, чучело? Велела перину расстелить да положить большую подушку, а ты чего навалил? Так я и буду трястись на этой дрыгалке? Беги скорее в избу да тащи с кровати перину-то!..

Но я видел, что она торопилась уехать: жирное лицо у нее дрожало, а заплывшие глаза озирались в тревоге, словно она боялась, как бы на нее опять не нагрянула толпа мужиков и баб. Должно быть, ее сильно потрясла эта ночь: хоть она и покрикивала на батрака и рабочих, хоть и показывала вид властной хозяйки, но в каждом ее движении, в настороженной оглядке по сторонам и надорванном голосе чувствовался непреоборимый страх. Эта рассветная дымная тишина и безлюдье, после того как толпы ушли за возами, казались враждебно зловещими. Должно

быть, этой жирной бабе, которая нахально жрала в эти смертельные голодные дни курятину, мягкий хлеб и яичницу, стало страшно; она оказалась беспомощной, одинокой: ни сотский, ни староста не показывались — должно быть, нарочно проспали, чтобы не быть в ответе.

Филарет пошел разболтанным шагом домой, словно обиженный. Он волочил мешок по земле, поднимая пыль, и, сутулый, издали похож был на горбатого.

Тихон посекретничал о чем-то с возчиками, а они, играя кнутами, подмигивали и подкашливали ему. С длинного порядка и с той стороны подъезжали порожние телеги.

Когда тарантас покатил по дороге мимо нашей кладовой, Татьяна обернулась и яростно погрозила кулаком.

— Ну, берегись, Тишка! Попомнишь ты меня...

Тихон как будто не слышал этих яростных криков Татьяны: он медленно пошагал по той же дороге мимо нас. Я перешел на другую сторону кладовой и встретился лицом к лицу с отцом. С испугом в глазах он сердито приказал:

— Убирайся в кладовую! Чего ты суешься, куда не надо...

А Тихон насмешливо окликнул его:

— Вася! Василий Фомич! Чего это ты за уголком-то притаился?

Отец быстро юркнул в дверь кладовой и даже забыл прихватить меня с собою. Тихон засмеялся и закачал головой.

— Эх ты, герой! Мало, значит, кожу мяли, ежели не видишь, как народ бедствует.

Высокий, сильный, он бодро пошел по бурой траве к своей избе. Я смутно чувствовал, что этого человека ждут тяжелые испытания. В нем было что-то сродное астраханскому Трише и Харитону и привлекательное, как в Грише-бондаре. Я невольно побежал за ним и схватил его за руку. Он тревожно обернулся ко мне, и в глазах его вспыхнул радостный огонек. Его рука показалась очень легкой и ласковой:

она погладила меня и по спине, и по волосам, и по плечу.

— Тятяшка-то, вижу, и сам в кладовую спрятался, и тебя там присупонил. А хотелось, чай, поглядеть-то, как народ у мироеда хлеб отбирал? Кузярек не отставал от нас: парнишка бедовый. Потом он с возами уехал на свой порядок. Хорошо, что бунта да разгрома не было. Мы с народом-то исподволь уговор вели. А псы нагрянут... Только надо бы разогнать их.

Оглядываясь на кладовую, как бы не хватился меня отец, я срывающимся голосом проговорил:

— Ты, дядя Тиша, скройся! Чеботарь-то не зря мечется. Татьяна-то, вишь, как грозилась.

— Не бойся! — засмеялся Тихон. — Я не из робких. Да и зря в зубы псам не дамся.

Он ободряюще улыбнулся, снял картуз и пошагал к амбарам — на свой длинный порядок.

IX

День прошел тихо и спокойно. Всюду слышался шорох и глухая возня во дворах. Я догадался, что это чавкают песты в ступах. Знойная гарь уже пахла пригоревшим хлебом. Отец не выходил из кладовой и возился над шлеей, которую он купил для своей будущей лошади. Мать еще чувствовала себя нездоровой и лежала на кровати. И я видел, что она мучается в этой пыльной и грязной кладовой и мечтает о том, о чем каждый день думал и я, — о незабываемых ватажных днях, о милых людях, об их борьбе и дружбе. И если отца в кладовой не было, она переспрашивала меня, что делалось ночью, слушала с радостной улыбкой и шептала:

— Как хорошо-то, Федя! Тихон-то какой распорядительный!

Когда я хотел пойти к пожарной, отец строго, но с необычной живостью остановил меня:

— Никуда не ходи, сынок! Сейчас я приведу лошадь от Паруши и поедем на ту сторону — к себе,

в избу баушки Натальи. Нагрянет всякое начальство — и будет неисповедимая кутерьма.

К вечеру мы переехали на ту сторону, в одинокую избушку, вросшую в гору. Двор был по-прежнему худодырый: плетень разобран на топку, а вместо него торчали трухлявые колья.

От Маши остался старенький стол, который стоял еще при бабушке Наталье, и висячая бабушкина лампа да киотик с черной иконкой и осьмиконечным медным крестом. И когда мы вечером сели ужинать, отец самодовольно расчесывал пальцами бороду на обе стороны и, задирая на лоб брови, мурлыкал удовлетворенно:

— Ну, вот мы и в своем гнезде. Хоть и плохонькое гнездо, да свое. Подправим его, подновим. Зато с этого дня заживем самосильно: распоряжайся собой, как хошь. Свой голос в обчестве имеем, свой надел, свое тягло. Я уж и лошаденку и коровенку присмотрел. Сейчас, в голодное время, всякий норовит животину со двора долой погнать. Не робей, Настенка, хозявы будем на зависть соседям. А ты, сынок, — ободрил он меня благодушно, — любую книжку читай: дедушка-то руку сюда не протянет.

Мать через силу протирала стекла, я помогал ей, но работа у нас не спорилась: я видел, что ей тяжело на душе. Она знала, что ничего хорошего ждать от нашей самостоятельной жизни нельзя, что деньжонки свои отец растратит безрассудно. Завистливые его потуги — быть похожим на справных мужиков и пощеголять в городском пиджаке, в жилетке — вызывали у нее отвращение. Но он не замечал ее настроения, а грустное молчание ее нравилось ему, как безропотная покорность.

В этот вечер она только сказала больным голосом:

— Не ужиться нам здесь, в крестьянстве-то, Фомич, и не вжиться в это бытье. И земли нет — шагнуть некуда, — и прибытку не будет. У барина да у Стоднева люди задаром спины гнут.

— Дура! Чего ты понимаешь? — посмеиваясь над неразумием матери, внушительно ответил отец. — На зависть заживем. Возьму у барина исполу деся-

тинки четыре, а из гамазеи — семенов: сейчас, в голодный год, всем на посев зерно выдадут. Нынче бабы холсты за гроши отдают. Наберу холстов да выкладей и в город отвезу. Приторговывать буду. Счастье-то лопоухих не любит.

Мать молчала весь вечер, а постель стелила на полу как-то чудно́ — с перерывами, забываясь и застывая от раздумья. Она как будто ничего не видела и не слышала и на вопросы отца — купить ли ей курицу с петухом, или гуся с гусыней — не отвечала.

А ночью я проснулся от грохота, гула и жуткого ощущения, что изба наша с треском разваливается. Я в ужасе вскочил на колени, и меня ослепил неземной огонь за окном, который необъятно вспыхивал и мгновенно угасал. Я понял, что на улице гроза. Гром грохотал по всему небу, потрясал нашу избушку, зажигал воздух и откатывался куда-то далеко в поле. И когда грохот обрывался и гул замирал, слышно было, как за окошком хлестал ливень, а за стеной, перед крутым взгорком, клокотала вода. Я влез на лавку и поднял нижнюю половину рамы. В лицо мне хлынула влажная прохлада. Вспышки молний пронизывали все небо, и седая муть вдруг превращалась в сверкающие струи, которые туго били в мертвую траву и взрывались пузырями в блистающих лужах перед завалинкой. Пахло мокрой землей и чем-то опьяняюще приятным, что бывает только во время грозового дождя. И в этот момент я как-то особенно радостно чувствовал, что земля и небо живые, что они очнулись от мучительного сна, судорожно дрожат от волшебного пробуждения. Чудилось, что всюду — в тяжелых, грохочущих тучах и в туманных вихрях ливня — волнуются и несутся куда-то шквалами мятежные толпы, рокочет гул тревожных голосов. Может быть, это еще мерещились вчерашние полуночные люди, которые сбегались на раздачу хлеба со всех порядков.

Отец вскочил с постели и, задыхаясь от волнения, смеялся и радостно выкрикивал:

— Эх, благодать-то какая! Ух, ты... льет-то как!..

Ну, отдохнет земля-то... Яровые, может, и поправятся...

Мать тоже поднялась и, прижимаясь ко мне, протянула руку за окно.

— Пахнет-то как хорошо... словно весной в половодье!..

В окошко волнами полыхала банная прель, и хлестали брызги дождя о подоконник.

Отец распахнул дверь и, пораженный, крикнул:

— Да в сенях-то — озеро! С улицы в дверь полыщет.

Ослепительная молния прорезала лохматое небо, а воздух, затканный дождем, вспыхнул голубым пламенем. Взрыв грома обвалом обрушился на село, и изба наша встряхнулась и судорожно задрожала, а обломки стекол, склеенные замазкой и закрепленные лучинками, задребезжали, готовые вылететь и рассыпаться по завалине.

После ослепительных молний тьма казалась непроглядно-черной, без расстояний, но тяжелой, упругой и страшной, как бездна. Не было ни земли, ни избы, а небо давило таинственным и грозным громыханьем, которое перекликалось из конца в конец, и близко и далеко. Я не видел матери, но чувствовал ее всю, прижимаясь к ней, такой неотделимо родной.

Позади нас забарабанила капелью и струйками вода. Мать испуганно вскрикнула:

— Ах, батюшки! Пролило!

Я выбежал из избы, подчиняясь неудержимому порыву вылететь на грозовой простор, под дождь, под жуткий и необъятный грохот сполошного неба. На улице при вспышке молний я увидел отца, который торопливо прорывал лопатой канаву вдоль завалины. В узком проходе между избой и крутой горкой кипела пузырями длинная лужа. Дождь сыпался на меня, как горох, и рубашка сразу же промокла и прилипла к спине. И когда огромные клубастые тучи рассекались молниями и грохотал гром, дождь хлестал водопадами. После обжигающего зноя и удушающей гари я наслаждался всем телом, и внутри трепетала радость, похожая на счастье. Отец, должно быть, тоже,

как и я, переживал внезапное ликованье: он работал лопатой проворно, с увлечением, и ему было, очевидно, очень приятно ощущать тяжелые капли дождя, которые барабанили по его спине. Волосы его свалялись войлоком на лбу и на висках, припали к бороде, а с нее ручьями лилась вода. Я бросился к углу избы, где скопилась вода, и обеими руками стал пропахивать размокшую землю, чтобы прокопать канавку к пологому склону взгорья. Но земля еще не пропиталась водой — она скипелась, как камень, а корни и крепкие стебли ползучего лужка прочно прошивали утрамбованный грунт. Отец голосом веселого парня крикнул:

— Сейчас я этот горбыль лопаткой прорежу. А ты беги за метлой и гони воду под гору. Эх, вот так наводнение! Речка-то наша вздуется к утречку и разольется, как в половодье.

Я прошлепал по бурлящей воде во двор и во тьме схватил метлу с завалины. Отец прорыл канавку от угла избы, и вода весело забурлила под гору. Дождь вдруг сразу перестал, гроза туманно и устало вспыхивала уже далеко за селом, а гром рокотал глухо, как пустая бочка на телеге, когда едут за водой на реку. Но всюду, по склонам взгорья, в лывинках, звенели и смеялись ручьи, и было приятно слушать это ребячье журчанье и милую игру бурливых потоков.

Уже светало, и в воздухе не было дымной гари, словно ливень промыл его и исцелил от духоты и тяжкой немочи. Между разрозненными тучами синели клочья чистого неба, и лучистыми искорками зажигались и гасли звездочки. На востоке, над крутой горой, кудрявые облака озарялись далеким розовым пламенем, а небо было синее и прозрачное, как вода в роднике. Где-то, должно быть в ветлах, закаркали галки, и тут же я услышал людские голоса, которые четко доносились и сверху, и с той стороны. Влажный запах земли и прелой травы густо плавал в воздухе, и волнами омывал меня пьяный аромат мяты. Казалось, что я впервые в жизни чувствовал пробуждение земли: чудилось, что она судорожно потягивается, улыбается и открывает глаза, что облака на востоке

сейчас вспыхнут ослепительным огнем. Я ни разу не переживал такого восторга и ликования, как в эти минуты. Был момент, когда я впал в какое-то странное забытье и бессознательно ощутил что-то похожее на мягкий толчок, подобный морскому шквалу, который накрыл и бросил меня в необъятную пучину. Что-то огромное совершилось во мне и потрясло меня, как таинственное событие. И когда я очнулся, сердце бурно билось у меня, и я неожиданно застал себя бегущим вверх по склону горы, на высокий гребень барского яра. Невольно я оглянулся назад и увидел внизу, перед избой, отца, который смеялся, опираясь на лопату.

Этот грозовой ливень как будто начисто вымыл деревню: в дымной гари, в выжженной траве, в испепеленных садах на усадьбах все тлело и обугливалось — и избы и поля. И мне казалось, что эта удушливая и смрадная гарь поднималась от каждой избы и отравляла безветренный воздух смертельными испарениями. А сейчас, в голубом рассвете, воздух был чистый, прозрачный и свежий, и на востоке под оранжевыми облаками он переливался радужными волнами. Хлопая крыльями, порывисто пролетели надо мной стаи голубей, а над ветлами кружились галки. Низко над мокрой и черной землей носились касатки.

Я взбежал на высокое взгорье, пролез сквозь старое прясло, отгораживающее село от барских угодий, и остановился на самом краю крутого обрыва. Этот глубокий обрыв длинной стеной в оползнях, в пластах плитняка тянулся от барского двора до нашего спуска на полверсты, и сверху, с этой воздушной высоты, село внизу за лукой казалось очень далеким, а избы, амбары и кладовые — маленькими, вросшими в землю. Далеко за селом в лиловом туманце виднелось длинное соседнее село с белой круглой колокольней, а по обе его стороны на горизонте темнели леса, и высокая сосна с трехглавой кроной гордо и величаво реяла над кудрявыми вершинами густолесья. Внизу клокотала в камнях, по порожистому дну, бурная речка. Она залила тот берег и вползала дальше к пологим

буграм, бушевала в пенистых водоворотах и шумела на перекатах.

Я повернулся навстречу ветерку, пахнущему полем и мокрой соломой. Далеко, над Красным Маром, облака ослепительно горели по краям, а сами пронизывались розовым светом. Небо голубело среди этих играющих облаков и как будто улыбалось мне приветливо и ласково. Высоко, прямо надо мною, вынырнула из-за облака яркая звезда, предвестница солнца. И, словно вспугнутый ею, вдруг залился колокольчиком жаворонок. Я долго искал его в голубой вышине, но никак не мог найти, и мне чудилось, что это лучистая звезда, не угасающая даже в утренней заре, переливается радугой в моих ресницах.

На той стороне по глубокой ложбинке тихо шли вниз, к речке, пятеро человек. Они говорили горячо и внушали что-то друг другу руками. Тут был высокий и спокойный Тихон, и подвижной, порывистый Исай со всклокоченными волосами, и рядом с ним — умственный и угрюмо-насмешливый Гордей. Но особенно бросался в глаза студент-доктор без фуражки, в синей вышитой рубахе, подпоясанный широким ремнем. Студент не шутил, не смеялся, а внимательно слушал мужиков, пощипывая русую шерсть на щеках. Он решительно шагнул к Тихону и положил руку на его плечо, и мне показалось, что он что-то строго приказал ему. Потом он встряхнул руки мужикам и быстро зашагал в сторону мельницы.

Я не заметил, как ко мне подошел Архип Уколов, а услышал его дряблый, озабоченный голос:

— Ежели пошли в атаку, на приступ, да выбили врага, назад ходу нет. Ты чего тут маячишь, Федяшка, как лазутчик?

— Я — не лазутчик. Мы воду отводили от избы — залило нас. Больно уж вольготно после дождя-то!

Посасывая трубочку, Архип посматривал из-под седых бровей на ту сторону и думал о чем-то, не слушая меня.

— Трофеи взяли, а отбить врага сил нет. Нынче же враг хлынет со всех сторон и раздавит нас. Мне бы, старому дураку, с ними надо быть. Тихон-то

солдат и не робкого десятка, а войско у него по избам прячется. Без дисциплины да без выучки воевать нельзя.

Он вдруг оживился, глаза его посвежели и, словно зная, о чем спорили мужики, одобрительно закивал головой.

— Дело, дело! Тихону отступать и скрываться негоже. Они на той стороне, а я на своем порядке к народу пойду. Держись друг за друга! Не выдавай соседа, а вожаков заслоняй! Иди-ка, милачок, домой! Иди-ка, не торчи здесь, не мешай людям в этот час!

И он бойко запрыгал назад на своей деревяшке, бормоча что-то себе под нос.

Я стоял оцепеневший от удивления: Архип вдруг показался мне необыкновенным стариком. Как это он мог угадать, о чем говорил студент с мужиками?

Он вдруг остановился и поманил меня пальцем.

— А ты, милок, ко мне приходи по охотке: я тебе всякие чудеса открою. Володимирыча-то помнишь?

— Еще как! Хоть бы разок его увидать.

— Оружие не бросает — ходит по свету, уму-разуму народ учит: ни земскому, ни попу нет такой славы. Ну, валяй домой.

Он круто свернул к старой кособокой избе с коньком и скрылся за калиткой.

X

Отец привел откуда-то худую и кривоногую лошадь, с отвислыми ушами и нижней губой. Глаза ее провалились и были мутно-печальны. Отец, довольный покупкой, любовался этим одром и рассуждал:

— Без коня да без огня и хозяина в доме нет. Хозяйство заводят с лошади да с телеги. Самосилье на тягле да на колесах лестно. Заживем, Настенка, не робей! Конягу откормим: нынче к барину Измайлову с докукой пойду — соломы за отработки попрошу, а может, и сена даст.

Мать молча и задумчиво смотрела на полудохлую лошадь и на отца, и я чувствовал, что ей противно

его самодовольство. Я невольно сжал ей пальцы и встретил ее взгляд, застывший от смятения и бунтующего отчаяния. Она тоже очень чутко понимала меня: для нее молчаливое мое участие было, должно быть, единственной поддержкой.

После ватажной жизни, полной борьбы, после пережитых радостей от дружбы с сильными и богатыми духом людьми она уже не могла безропотно сносить гнетущую власть отца. Она только затаила на время свою мятежность и молча лелеяла надежду на неизбежный рассвет.

В это утро отец, чем-то встревоженный, круто приказал нам с матерью не выходить из избы. Казалось, что он опасливо поглядывал в окошко, в которое видна была пожарная с церковью и дедушкин двор, прислушивался и бормотал:

— Обязательно нынче полиция нагрянет. Стоднев всех крючков одарит, а уж они распояшутся да распляшутся. Эх, наварили канители: с дураками и богу скучно.

Перед отцом я трепетал от гнетущего страха и чувствовал себя пришибленным, лишенным языка. И не потому, что он мог побить меня в минуты озлобления, а оттого, вероятно, что он никогда не привечал меня. Я догадывался, что он по-своему любит меня, но стеснялся проявить эту свою любовь хотя бы в ласковом слове, в шутке, в улыбке. Он не прочь был похвастаться перед людьми моей охотой к чтению, но самого его мое грамотейство не интересовало. И мне почему-то всегда было совестно от этой хвастливой его гордости, а его презрительное отношение к людям и страх перед «несчастной статьей» только отчуждали меня от него. Я достаточно насмотрелся на страшных от голода баб и мужиков, на гробы, которые каждый день несли на кладбище. Казалось, что только детишки переносили голодное бедствие легко и беззаботно: они рыскали всюду — и по буеракам, где густо рос бурьян, и по берегам реки, и по гумнам — и шайками уходили далеко от села в лес. Они рвали всякую травку и толстые стебли, лишь бы они зеленели или на взгляд были ядрены и сочны. Но

у этих беззаботных малолетков личишки были водянисто-разбухшие, глазенки прятались в синей опухоли, а животишки надувались, как пузыри. Я знал, что многие из них «болели брюшком» и скоро умирали. И не старики, скрюченные голодом, со скорбящими лицами, как на иконах, угнетали меня, а молодухи и девки, опухшие, словно налитые мутной водой; с жуткими глазами, они бесцельно брели куда-то или топтались на месте.

Однажды я слышал, как возчики и плотники у Стоднева сдержанно, с оглядкой говорили, что по всему уезду и губернии начались бунты и у какого-то барина спалили все поместье; а кого-то из мироедов связали и бросили в буерак, хлеб разобрали, угнали коров и перерезали овец и свиней. В эти места будто нагнали солдат на усмирение, и они стреляли в людей.

Мне было обидно слушать злые речи отца: он осуждал и костил своих же мужиков, с которыми он рос и работал и дома и в поле, а мироедов оправдывал — их богатство считал нажитым изворотливостью и умом. Мать сидела за столом подавленная, молчаливая, но я чувствовал, что внутри она бунтовала против отца.

В этот день отец без устали хлопотал по хозяйству: он сбегал на барский двор — к конторщику Горохову, несравненному гармонисту, и сумел через него достать возок соломы и мешок отрубей. Вместе с матерью сходил к жене Ларивона, Татьяне, и привел такую же облезлую корову, как и одер. Мать печально молчала, возилась в чуланчике и почему-то вглядывалась в меня невидящими глазами, когда я вбегал в избу. Один раз я застал ее в странном состоянии: она стояла, прижимаясь спиной и головой к перегородке чулана, и в ужасе смотрела в окошко, словно увидела за мутным стеклом что-то страшное. Я всегда боялся таких ее жутких потрясений. Но она вдруг протянула вперед руки и, как во сне, зыбко и медленно подошла ко мне.

— Феденька, как нам с тобой быть-то?.. — в смятении прошептала она. — Корову-то у Татьяны увели... Отец только и сказал ей: «И ты, Татьяна, с пар-

нишкой на ногах не стоишь от голода, и корова сдохнет». Другой-то парнишка сгорел у нее. А Татьяна лежит на лавке и молчит. Я и слова вымолвить не могла — весь свет в глазах помутился. Не помню, как корову вела, как до своей избы добралась. А он, отец-то, веселый... смеется... словно клад нашел. Феденька, сынок! Лучше бы меня с тобой, как Гришу да Оксану, в острог посадили... Я и в остроге бы с ними вольной птицей была...

Отец, разгоряченный хлопотами, убегал куда-то и приносил какие-то ремни, веревки, деготь в лагунке, приволок старенькую соху с заржавленными сошниками и полицей. Он умильно останавливался перед лошаденкой и коровой и, не отрываясь от них, долго смотрел, как они жуют мокрую соломенную резку, смешанную с отрубями. И я завидовал этой скотине: с такой любовью отец никогда не ласкал нас взглядом. Потом он запряг лошадь в тележные передки и выехал со двора.

— За ольшевником на Няньгу еду!.. — крикнул он мне. — Помните, от двора — ни ногой!

Он наслаждался, как независимый хозяин, который переживает счастье, свивая свое гнездо. Он сидел на высоком взлобке передка, как на одноколке, дергал вожжами и шлепал ими по ребристому боку лошади, но она даже по пологому спуску шла с натугой, фыркая и поводя ушами. И мне было смешно смотреть на кривоногого облезлого конягу и на отца, гордого от сознания своего самосилья. Но мне тоже хотелось поехать с ним туда, на Няньгу, где высокий берег зеленел густыми зарослями ольшевника и осинника и где наша речка, заросшая лозой, разливалась широко, подпертая прудом варыпаевской мельницы. Там много было гремучих родников, которые выбивались из зеленого плитняка. Эту студеную, кристально чистую воду хотелось пить ненасытно. Там пахло тиной, мокрой травой и горьковатым ароматом осин. Там всегда весело квакали лягушки и приманчиво плескались серебристые язи.

Вскоре я увидел Кузяря, вприпрыжку бегущего со своей стороны. Он еще издали нетерпеливо звал меня

худенькими руками и дышал запаленно — не то от трудного бега по песку, не то от смятения. Его горячие глаза застыли от ужаса, словно он спасался от преследования. Встревоженный, я побежал к нему навстречу, и мы с разбегу столкнулись и, обнимаясь, завертелись на месте. Я потащил его к избе, но он вырвался и, беспокойно оглядываясь на ту сторону, задыхаясь, выкрикивал:

— Аль не слыхал? Колокольчики-то? Целая шайка... Начальство, урядники... Тихона потащили... чеботаря Филарета... На нашем порядке мужики и бабы колья из прясла вырывают... Не к тебе я, а наверх бегу... чтоб шли Тихона с Филаретом выручать. Зерно да муку прискакали отбирать... Пускай сунутся — народ близко не подпустит.

Он бросился со всех ног на гору, размахивая руками и с гибкой легкостью перепрыгивая через вымоины и рытвины. В нем бушевала буря, и я знал, что он будет врываться в каждую избу и будоражить мужиков и баб.

Этот день горит у меня в памяти вихрем событий. То, что совершилось на луке, совсем не было похоже на волнения прошлой весны, когда мужики с Микитушкой и Петрушей во главе решили самосудом перехватить землю у Митрия Стоднева. Тогда поход мужиков и к барину и на поля был хоть и многолюдным, но мирным и благолепным. Полицейские тогда легко разогнали всех по домам, потому что мужики не держались друг за друга, действовали не сообща, а кто как хотел.

Сейчас народ вел себя по-другому. Может быть, он изголодался и обозлился до отчаяния, а мор и неурожай довели его до равнодушия к смерти, а может быть, боязнь лишиться мешков с зерном и мукой, отобранных у мироеда и спрятанных в потайных местах, сбила всех в плотную толпу, как во время кулачных боев.

Мы стояли с матерью перед избой и смотрели на ту сторону, где у пожарной обычно по наряду собирался народ. Далеко, должно быть у дома старосты, позванивали колокольцы. В пролеты между амбарами

и кладовыми видны были две тройки, которые пронеслись в разные стороны по улице. Колокольцы, захлебываясь, звякали на дугах сполошно и надрывно. Одна из троек слетела по косогору перед колодцем, промчалась через речку по сыпучему прибрежному песку и вырвалась на дорогу по нашему крутому подъему. Двое усатых урядников опирались на сабли и пьяно орали. Один из них — краснолицый, с густыми черными бровями и загнутыми вверх усами, другой — начальнически злой и хмурый, он свирепо рявкал, выпучив белки. Перед избой кузнеца Потапа кучер осадил лошадей, и свирепый урядник спустил ногу на подножку тарантаса. Он хотел соскочить на землю, но в этот момент налетел на него лохматый и черный Потап, одурелый от пьянства.

Урядник тычком ударил его кулаком в бороду и отшвырнул назад. Потап плашмя растянулся на песке. Другой урядник неторопливо слез с тарантаса и носками сапог стал с размаху бить Потапа в бока. Потап взвыл от боли и в бешенстве вцепился в сапог урядника.

— Коршуны! Стервятники! — надсадно выл он. — Аль саваны с покойников сдирать приехали? Падаль почуяли...

Урядник никак не мог вырвать сапог из лап кузнеца и прыгал около него на одной ноге. Он пытался вытащить саблю из ножен, но она не вынималась.

— Пусти! Кости переломаю... Мне тебя-то и надо. Ты у меня лошадь заковал, и я тебя доконаю.

Другой урядник бросился к кузнецу и с разбегу ударил его каблуком в грудь и в лицо. Кузнец со стоном распластался на песке и омертвел. Петька в рваной рубашонке без пояса выбежал с надрывным криком и застыл перед распластанным отцом. Потом упал на колени и заплакал.

Урядники вскочили на тарантас, кучер взмахнул вожжами, и тройка рысью под звон колокольчиков покатила по дороге на гору.

— Чего же это делается, Федя? — в смятении шептала мать. — Чего это будет? Мы с тобой словно от стада отбились и к волкам попали.

Кузнец поднялся и с разбитым лицом, шатаясь, пошагал вместе с Петькой к избе. Колокольчики звенели и у нас наверху, и на горе за широким яром, и на той стороне. На верхнем порядке орали урядники — должно быть, гнали народ на ту сторону — к пожарной. Меня тревожили не эти солдатские ревы и не сполошные колокольцы, а тяжелая тишина и безлюдье на всех порядках. С крутого обрыва, с соседней верхней улицы, по узенькой пешеходной дорожке спускался верхом Терентий. Лошадь его скользила копытами, часто садилась на задние ноги, а он откидывался назад и как будто ложился спиной на ее хребет. Речка в том месте круто поворачивала налево, и наш берег тянулся оттуда широкой низиной. Терентий помчался вскачь по этой низине. Хотя там был переезд и дорога поднималась к пожарной мимо церкви, но Терентий почему-то предпочел длинный путь вдоль речки. Я очень хорошо видел его лицо: красное, искаженное не то страхом, не то судорогой, похожей на мстительный смех. Рыжая борода хлестала его по плечам, а он бил босыми ногами по бокам лошади. Кузяря я увидел уже на той стороне: он торопливо поднимался от речки по косогору к пожарной. Штаны его подвернуты были выше колен, а на плече он нес вентерь. Но зачем он вытащил вентерь из заводи и нес его к пожарной — разгадать эту смешную загадку было нетрудно. Кто из полиции или неверных мужиков мог бы подумать, что он с вентерем на плече бегал на наш верхний порядок смутьянить людей?

Грозовой ливень и насытил землю водою, и очистил воздух от гари. Промытое мягко-голубое небо улыбалось, как живое, а радостное солнце трепетало всюду — в небе, в воздухе — и плыло волнами по земле, а земля дышала пряным запахом богородичной травки, полыни и мяты. Хорошо в такой ласковый день побегать по влажной прибрежной траве, побродить по песчаному дну реки, а потом сбросить на белом песке рубашонку и штанишки и с наслаждением поплескаться в прохладной воде — в глубоких вымоинах.

Но всюду чувствовалась гнетущая тревога и угрюмая настороженность. По выжженной луке от съезжей избы, широко размахивая ногами, бежал к церкви долговязый сотский в длинном пиджаке. Он скрылся за колокольней, и сейчас же зазвонил большой колокол. Сам, без сторожа Лукича, Гришка задергал звонарной веревкой — задергал странно, неслыханно. Раздались два набатных удара и оборвались, словно захлебнулись, потом — два удара, и опять перерыв.

Из-за амбаров по луке к пожарной через силу, как больные, зашагали старики с падогами в руках, молодые мужики с кольями и бабы. С нашей стороны тоже спускались с гор, так же неохотно и угрюмо, словно спросонья, и пожилые и молодые.

Мимо нас прошла вереница босых мужиков. Уткнув бороды в грудь, они говорили о чем-то все вместе, угрюмо и невнятно. За ними с испуганно-злыми лицами шли бабы. Некоторые из них, поглядывая на нас, скалили зубы и покрикивали:

— Ты чего это, Настя, к воротам прижимаешься? Все равно урядники плетью погонят!

Мать с завистью смотрела на них — ей хотелось пристать к ним, и она боролась с собою.

— И рада бы пойти с вами, товарки, да мочи нет — слаба еще. А тут Фомич не велел...

Из кучки женщин вышла Ульяна, жена Николая Подгорнова, высокая баба, с темным, обожженным лицом и страдальчески-злыми глазами. Шагала она к нам широко и угрожающе, хотя улыбалась старообразными морщинками и обиженным ртом доверчиво. А мне было неприятно видеть ее длинный галчиный нос и странно белесые, немигающие глаза. Но голос ее был тихий, мягкий, вздыхающий и ласковый. Она всегда при встречах тревожила меня — и привлекала и отталкивала, хотелось и слушать ее и убежать подальше.

— Пойдем, Настя-милка! — покорно вздохнула она и взяла ее под руку. — Не дай бог ворвутся к тебе супостаты эти — совсем в гроб уложат. Пойдем, станем в сторонке. Я прикрою тебя.

Люди шли к пожарной кучками — и там, на той стороне, по луке, и с нашей стороны, — все босиком; много мужиков в рубахах без пояса, взлохмаченных, словно поднялись с постели, с голодно-злыми лицами, с дрючками в руках, а бабы, как всегда, одеты были пристойно — в сарафанах, в холщовых «рукавах» и в старательно повязанных платках, старухи — в темносиних китайках.

Ульяна вела мать под руку и говорила скорбным голосом:

— Вася-то и сам не спасется: на дороге перехватят и приволокут. Дождались супостатов! Митрий-то с Татьяной разве спустят! Одарили земского, станового, чтобы народ в могилу загнать. Чую, всех по череду мытарить будут. А за что? Хлеб-то раздавали по горсточке...

Жалобный голосок Ульяны звучал успокоительно, а в ожесточенных, упрямых глазах таилась мстительная усмешка. В этой рослой и стройной бабе с темным недобрым лицом иконной богородицы были две нераздельные жизни: одна — вот эта покорно-жалостная, другая — скрытая, неукротимая, но упорно-терпеливая, которая зреет, ожидая дня, когда вырвется наружу. Она уже раза два заходила к матери. Разговора их я не слышал: они меня выпроваживали из избы. Но когда она уходила домой, я замечал в ее лице хорошую улыбку, словно мать раскрывала ей какую-то тайную радость.

— А ты остался бы, подомовничал бы, Федя, — ласково пропела она баюкающим голоском. — Еще попадешься какому-нибудь псу под горячую руку.

— Аль нам в диковинку!.. — возразил я. — Мы на ватаге-то всяко видали...

Ульяна пристально поглядела на меня и встревожилась:

— Гляди за ним, Настя. Страсть я боюсь таких дошлых.

Мать шла как-то странно: то очень осторожно и неустойчиво, то вскидывала голову и торопилась.

— А мой-то — как лист на ветру... — вздохнула Ульяна и отмахнулась рукой, словно хотела отшвыр-

нуть от себя докучливые думы. — Чужая-то сторона недоброй дорогой его повела...

Мать прижималась к ней и горячо уговаривала:

— А ты, Уленька, сама себе судьбу свою ищи. Ведь счастливее тебя и человека нет — вольная птица, лети, куда душа хочет... На твоем месте я голубкой вспорхнула бы и лазоревым цветом расцвела...

Вдруг где-то на верхнем порядке завизжала и завыла женщина, словно ее били или тащили за косы по улице. Потом сразу заругалась и набросилась на кого-то с надсадным ревом. Все остановились и поглядели на гору, только старики, покачивая головами, брели дальше. Мать схватилась за грудь и с болью крикнула:

— Кто это вопит-то, Уленька? Уж не насильничают ли? Ах, разбойники проклятые!

Ульяна сдвинула брови и знающе усмехнулась.

— Аль не узнаешь? Катерина ваша орет. С кем же, как не с урядниками, воюет...

Из-за обрыва, от пожарной, доносился смутный рокот толпы, как бывает на сходе, когда еще не прискакало начальство. Народу, вероятно, собралось уж много: гул голосов похож был на шум ветра перед грозой. Когда мы поднялись на косогор, меня встретил Кузярь и потащил за пожарный сарай. Там к дощатому скату крыши была приставлена лестница, и мы вскарабкались наверх. Миколька лежал на животе и глядел вниз, на толпу. Кузярь обжигался словами и метался от возбуждения. В глазах его кипела вся его душа, а сухонькие и прыткие руки говорили выразительнее слов.

— Ох, и начальства наехало — три тройки! Земский, да становой, да урядники... Земский-то верзила, как колокольня, а картуз — с решето, и борода по обе стороны, как куделя. Раньше становой-то — помнишь, чай? — орал да лаялся, а сейчас стоит столбом и бельмы таращит. Ну и беда будет!

Народу собралось уже много, но густая толпа мужиков ворошилась, колыхалась перед пожарным сараем, разноголосо гомонила без обычных споров, как бывало на сходках. Видно было, что все старались

быть в гуще и держаться поплотнее. В этой сплошной и упругой толпе все были одноцветны и однолики, даже седые, черные и рыжие бороды казались одинаково пыльными. Парни толпились отдельно, кучками, а бабы и девки теснились по обе стороны от мужиков и с оторопью смотрели на них.

В толпе мужиков Тихона не было, но Исай и Гордей появлялись и исчезали в разных местах. Исай порывисто бросался в разные стороны, словно толкали его и в спину, и в бока, и в грудь. Позади толпы метался в дырявой рубахе Иванка Юленков. Он показался мне совсем безумным: весь грязный, синий и опухший от голода, с угарными глазами, он визгливо кричал, ни к кому не обращаясь:

— А барина-то не тронули... Обошли барина-то... А с него, чай, и начинать-то... Собак испугались. Второй наш сноп хапал... горбы ломали... на барщине-то... А они варено-парено лопают да в молоке купаются. А тут сколь народу с голоду сгорело! Старого-то кладбища нет уж, а новые кресты — как частокол...

Отдельной кучкой стояли лобовые — Олеха с верхнего порядка, конопатый и рыжий Кантонистов и Сыгней. Одеты они были по-праздничному — в пиджаках, при картузах, в сапогах, а Сыгней даже успел навести на голенища гармошку. Дылда сотский со своей шашкой широко шагал перед толпой и, вытянув шею, следил за людями, словно сторожил их, как бы они не разбежались. Лобовые враждебно издевались над ним: Сыгней морщился от смеха, подталкивал локтями Кантонистова и Олеху.

— Эй ты, сотник, ефлейтор! — угрюмо насмешничал Олеха. — Зря нас караулишь да огрызаешься, как барбос. Июда на осине удавился, а тебя, продажная душа, нагишом в болото загоним — в самую топь. Кому служишь, Елеха-воха? На кого начальству наклепал?

Кантонистов брезгливо дурачился:

— Это его бабы с девками разденут да вениками на моховое болото прогонят. Так и быть, я уж с гармошкой их провожу. А уж подохнет в топи он сам.

Сотский как будто не слышал издевок парней и расхаживал по-солдатски строго. Но я чувствовал, что он боится лобовых и не забудет их озорных насмешек.

Изголодавшиеся люди, которых чудом миновала холера, потеряли страх перед начальством, и перед голодной смертью, и холерой. Это была не робость, не привычное покорство стародавнему самовластию начальства, а свойственная мужикам враждебная замкнутость, как неотразимая самозащита. Сколько, мол, ни старайся взять нас голыми руками, сколько ни бесись, сколько ни грози поркой и всякими карами, ничего не добьешься — выдохнешься!

Дедушку я не заметил в толпе: должно быть, он лежал на печи. А Паруша с длинной клюкой в руке неторопливо и степенно подошла к толпе мужиков, и, когда перед нею по-солдатски прошагал сотский, она гневно подняла большую голову и по-хозяйски осадила его:

— А ты чего это, пес, расшагался тут перед народом-то? Да еще жестянкой своей брякаешь! Перед миром-то ты без шапки в сторонке стой, дурак блудный!

Сотский рванулся к ней и свирепо выкатил белки, но Паруша стояла твердо и оттолкнула его гневным взглядом спокойно и сильно. Сотский струсил и, озираясь, словно ждал откуда-то удара, пробормотал:

— Ты, тетка Паруша, меня не охаль! Я, елехавоха, при исполнении службы.

— Чего? Какой службы? Эх ты, болван безмозглый! Не простит тебе народ... Как только ответ-то держать будешь?.. На народ кобелем бросаться — хуже, чем на мать руку поднять. Мать-то твоя, мученица, в гробу переворачивается — проклинает тебя, а народу ты — Каин.

С разных сторон одобрительно закричали мужики и бабы:

— Правда, тетушка Паруша... Хорошенько его! Как такого прохвоста земля держит!

Гришка пятился, как затравленный, испуганно и злобно оглядывался во все стороны.

— Вот прибудет начальство, — хрипел он, — оно вас не помилует... Я все доложу.

Из кучи парней кто-то презрительно свистнул, кто-то лихо крикнул:

— Держи его, рви его жестянку!

Двое лобовых — Олеха и Кантонистов — с гиканьем кинулись к сотскому. Он согнулся и побежал по луке, отмахивая своими длинными ногами и подхватив саблю под мышку. Толпа хохотала и улюлюкала ему вслед.

Вдруг вся масса людей как будто вздрогнула и насторожилась. По дороге, из-за избы дедушки, на тройке карих рысаков ехала огромная туша в желтом халате, в белом картузе со вздернутой тульей над широким козырьком и с красным околышем. Он сидел один в черной блестящей коляске, загромождая ее всю, и казался очень грузным и тяжелым.

— Земский скачет... — тревожно бормотали внизу. — Князь Васильчиков... косая сажень... пудов на восемь. Говорят, что к самому царю во дворец вхож.

За земским, тоже на тройке, скакали усатый становой в белом кителе, с бешеными глазами, и толстый волосатый старшина. За ними подпрыгивали на конях четверо урядников.

Обе тройки на всем скаку подкатили к толпе и разъехались в разные стороны. Становой спрыгнул с тарантаса на ходу и побежал к коляске земского начальника, слетел с коня и один из урядников и обогнал станового. Оба они протянули руки к князю Васильчикову и с большим усилием вывалили его из коляски. И когда он, огромный и тучный, отдуваясь, выпрямился перед ними, они сразу стали маленькими, совсем не страшными и смешными. В книжках князья были воинами, храбрыми витязями и полководцами, как Суворов, а этот князь совсем не был похож на книжного князя: он стоял, пошатываясь, и мычал, выпучив глаза, как мирской бык, — такой же могучий по толщине и весу и такой же зловещий. Из-за амбаров шагали белые урядники по обе стороны Тихона и Филарета. Чеботарь горбился и смотрел в землю, а Тихон шел размашисто, словно издалека еще хотел

показать себя перед народом неробким парнем, уверенным, что народ не даст его в обиду. Его ходкий шаг и злая смелость во всей его сильной фигуре и высоко поднятой голове были вызывающе форсистыми. Он как будто хотел подбодрить всех, сбитых в тугую толпу, и внушить им своей насмешливо-презрительной независимостью, что голыми руками его не возьмешь, что бояться им нечего, что сила и правда на их стороне.

Земский в желтом широком балахоне, как поп в рясе, переваливаясь с боку на бок, подошел к молчаливой толпе и ткнул толстым коротким пальцем в фуражку около уха.

— Здорово, мужики! — словно выругался он стонущим басом.

Толпа ответила ему глухим, невнятным гулом. Кое-где старики сняли картузы. Становой сделал свирепое лицо и хрипло гаркнул:

— Шапки долой!

От этого окрика еще несколько картузов сползло с волосатых голов, но очень много мужиков и все парни стояли в картузах.

— Кому говорят, болваны! — закричал становой, топая сапогами.

Толпа сбивалась еще плотнее, срастаясь плечами. Кто-то крикнул ехидно:

— Аль иконы привезли, что шапки, старики, ломаете?

В другой стороне из самой гущи толпы зло откликнулся другой голос:

— Чай, сейчас не крепость, чтоб над людями надругаться. Хватит того, что народ поморили голодом да холерой.

Становой вздернул голову и взмахнул нагайкой.

— Молчать, скоты! Не торопитесь ложиться под розги: каждый дождется своей очереди.

Земский, как идол, стоял перед толпой выше всех, и фуражка его поворачивалась в разные стороны.

— Значит, так... — заговорил он властным голосом. — Значит, решили заняться самоуправством—пограбить чужой хлеб. Не эти ли негодяи и шарлатаны

подзудили вас расхищать муку и зерно у Стоднева?

Он тяжелой рукой указал на Тихона с Филаретом.

Олеха с судорогой в лице крикнул:

— Мы — негодяи, шарлатаны, а Стоднев — хороший? Аль тем хорош, что нас грабил? А чей хлеб на барыши от голодающих в город отвозил?

Земский опять промычал:

— Запомним.

Становой оглянулся на урядника и скомандовал:

— Взять его! Проучить в первую голову.

Но земский толкнул его в плечо.

— Подождите, становой, не волнуйтесь.

Олеха не спрятался в толпу, а стал боком к начальству и насупился еще угрюмее. Вероятно, он чувствовал себя в безопасности, сдавленный телами мужиков. Становой таращил на него желтые белки и корчил свирепо угрожающие рожи. В присутствии князя Васильчикова он обуздывал себя.

Тихон подошел легко, с веселой и вызывающей усмешкой, словно не его гнали урядники, а он тащил их за шиворот. Филарет исподлобья глядел на толпу, но как будто не видел ее.

Тихон, взъерошенный, с синим кровоподтеком под глазом, с улыбкой кивал головой мужикам и, не обращая внимания на начальство, подмигивал кому-то в толпе.

Кузярь вскочил на колени, подполз к самому краю крыши и крикнул срывающимся голосом:

— Не робей, дядя Тихон!

Эта смелость заразила меня; я подскочил к нему и тоже крикнул:

— Оттолкни урядников-то, дядя Тиша!

Миколька яростно шикнул и дернул нас за ноги.

— Ложитесь, окаянные, и не высовывайтесь. Пропадешь с вами, чертями, по-дурацки!

Кузярь погрозил ему кулаком и ехидно ощерил зубы. Он подмигнул и ткнул меня локтем.

— Видал, что у меня есть?

Он вынул из кармана порток несколько голышей,

пестреньких, похожих на голубиные яички, и высыпал их перед собою.

Рука Микольки накрыла камешки и швырнула их назад по наклону крыши. Я впервые увидел его разъяренным, как взрослого мужика: вот-вот он схватит нас с Кузярем за шиворот и сбросит с крыши.

— У меня, чур, не озоровать! Я не хочу из-за вас ложиться под розги. Ишь чего выдумали, недоноски!

Но этот негодующий взрыв Микольки заставил Кузяря только отлягнуться.

Мы подползли к самому краю крыши и смело высунули головы: как-то бессознательно мы чуяли, что на нас, парнишек, никто из начальства не обратит внимания и мы можем невозбранно быть свидетелями и участниками тех событий, которые совершаются перед нами.

Тихон стоял перед земским начальником просто, небоязно и глядел на него пристально недобрыми глазами. Должно быть, урядники пытались избить его, потому что левый глаз распух у него да и рубашка была изодрана. Но сладить с ним, вероятно, не удалось: Тихон славился в деревне как один из сильных кулачных бойцов. Становой таращил на него бешеные глаза и бил себя по голенищам нагайкой: так и видно было, что ему не терпелось обжечь его своей кургузкой, но он стеснялся князя Васильчикова. Уж на что Тихон был высок ростом и широк костью, но перед Васильчиковым он стоял маленький, как парнишка. Сверху мне казалось, что густая толпа вздрагивала и колыхалась. Все головы тянулись к Тихону и сбивались в сплошную засыпь волос и картузов.

Земский как будто не заметил, как пригнали Тихона с Филаретом, и, грузно переступая с ноги на ногу, оглядел всю толпу. Мясистый, темно-багровый нос, серые усы вразлет и борода двумя клочьями торчали из-под широкого, низко надвинутого козырька устрашающе властно и грозно.

— Вот мы приехали в вашу деревню, которая ютится где-то в буераках и которую ничего не стоит растоптать моим сапогом, — он рыхло топнул ногой, — потому приехали, что вы посмели всей оравой

произвести грабеж. Но это не простой грабеж, а бунт. Вы самоуправно разграбили хлеб из житниц, который принадлежал не вам, а такому же крестьянину, как вы.

Какой-то надрывистый голос крикнул из толпы:

— Такой, да не такой... Мироед! Барышник! Шкуродер!..

Но земский только дернул своим странным картузом и продолжал:

— Неурожай и голод вовсе не дают вам права распоряжаться чужими запасами, чужим добром. Вот эти негодяи уже пойманы...

Он тяжело поднял руку в широком рукаве и ткнул толстым кулаком в лицо Тихона.

Тот отпрянул от него и дико вытаращил глаза.

— Вы рукам воли не давайте, ваше сиятельство... — прохрипел он злобно. — Надо дело разобрать, а не обращаться с нами, как с арестантами.

Но его внезапно оглушил кулак станового.

— Душу выну!..

Рассвирепевший Тихон схватил его руку и отшвырнул от себя с такой силой, что становой отскочил назад.

— Вы меня, ваше благородие, не шевелите! — задыхаясь, но стараясь владеть собою, глухо пробасил Тихон. В него вцепились оба урядника, пытаясь заломить его руки за спину, но Тихон рванулся и оттолкнул их в разные стороны.

Несколько голосов из толпы крикнуло:

— Бьют Тихона-то... Ребята!

— Это чего же, братцы? Не давай своих в обиду!

— Вы, господа начальство, мужика не троньте, а то полетят куда куски, куда милостынки...

Земский вдруг по-барски добродушно, словно забавляясь смелостью Тихона, сказал:

— Ишь какой строптивый! Сразу видно, что бунтарь. Как же ты решился вести себя так дерзко, неуважительно с нами... оказывать сопротивление властям, поставленным его императорским величеством? Тем самым ты сеешь вражду к государю и среди своих односельчан.

Кузярь корчился около меня, сжимал кулачишки и яростно всхлипывал:

— И чего пыхтят, чего, как бараны, сбились в кучу? Грохнули бы на них всей гущей и раскидали бы, как собак.

Толпа туго молчала. Я видел, как Исай нетерпеливо порывался вперед, вытягивал шею, срывал картузишко и опять бросал на вихрастую голову, но Гордей сердито хватал его за плечо и осаживал назад. Исай оглядывался на него с яростным протестом, а Гордей смотрел в сторону, словно не он усмирял Исая. Филарет одурело таращил глаза и встряхивал лохматой головой. Исаю, должно быть, невмоготу были вынужденное молчание и неподвижность — он выбросил руку вверх и крикнул хриплым фальцетом:

— Вы, начальство, горазды морды мужикам бить и шкуру драть. А в бедствии, когда народ дохнет и от голода и от холеры, а на душевых клочках все погорело, — какое способие да подмогу власть крестьянству оказала? А ведь способие-то одно дворянство только получило. Это от народа не скроешь. Народ-то для вас хуже скотины.

— Молчать! — рявкнул становой. — Выходи сюда, говорок! Урядники!

Но урядники, хотя и зорко смотрели в толпу и готовы были схватить любого мужика, пробраться в гущу не могли. И мне было приятно, что вся эта масса мужиков была неуязвима: стоило урядникам вцепиться в первых же мужиков впереди — и вся толпа заворошится и втянет схваченных людей.

Кривой Максим, стоявший позади начальства, в сторонке, снял картуз и мелкими шажками, словно подкрадываясь, подошел к земскому и почтительно, тоненьким голоском проскрипел:

— Дозвольте, ваше сиятельство, доложить...

Становой быстро обернулся к нему, а земский, словно каменный истукан, стал к нему боком.

— Докладывай, Сусин! — прохрипел становой и шлепнул себя нагайкой по голенищу. — Я знаю, ты не солжешь.

— Я на старости лет бегу от греха. Это вот шайка греховодников на самоуправство народ соблазнила...

— Кто? Говори!

— А вот тут они... а с ними и лобовые арбешники... да сдуру пристали к ним не то ли что голытьба, а которые были пахари да самосильны хозявы... Вон они!..

Он разгорячился и затрясся от злобы, а так как начальство слушало его внимательно и поощрительно, он задохнулся от мстительной радости и замахал руками. Становой грозно зарычал на него:

— Перед кем махаешь своими лапами? Стой чинно!

Но в этот самый момент Кузярь вскочил на колени, выхватил из кармана голыш и бросил его в Максима, а сам опять растянулся на досках. Максим схватился за бороду обеими руками и, низко нагнувшись, завыл по-бабьи и отвернулся. Миколька, задыхаясь от хохота, катался с боку на бок. На выходку Кузяря никто не обратил внимания, даже бабий вой Максима-кривого никого не встревожил: все следили за начальством и за Тихоном.

— Вот как я его прострочил! — ликовал Кузярь. — Кабы не я, он всем бы петлю на шею накинул.

Миколька сквозь хохот дразнил Кузяря:

— Он после этого еще злее станет — наплачешься.

Земский властно пробурчал что-то становому и опять, как каменный идол в своем балахоне, грузно повернулся с боку на бок, оглядывая толпу из-под надвинутого козырька.

— Почему воешь, скотина? — прохрипел становой, бросаясь к Максиму. — Молчать! Перед кем дурака валяешь?..

— Ваше благородие... Камнями кидаются... убить хотели... Защитите, Христа ради!

— Кто камнями?.. Дурень, мерзавец!..

Земский строго приказал:

— Становой, допросить его... да чтобы он не корчился...

Он вынул из кармана какую-то бумагу и ткнул ее Тихону.

— Это твои каракули? Твоя подпись?

Тихон покосился на бумагу и твердо ответил:

— Я писал, я и подписывался. И не один я там, подписалась и Татьяна Стоднева. Дело у нас было полюбовное.

— Да, когда вы ее ограбили, готовую бумажку ты ей подсунул и под угрозой вынудил ее подписать. Иначе она с Дмитрием Стодневым не возбудила бы жалобы. Это не просто грабеж от голодного брюха, а обдуманный сговор бунтовщиков.

— Аль мы не знаем, что земство хотело кормить голодающих? — с усмешкой проговорил Тихон. — А земству губернатор запретил вспомоществование мужикам давать. Значит, бедный да голодный ложись и умирай? Ну, а ежели мы в такой беде сами у мироеда по вольному согласию лишний хлеб бедноте роздали, — это грабеж называется? Нет, это сам бог велел такое дело сделать. О барах-то начальство позаботилось: деньги-то крестьянские им потекли, а нам довольно и урядников, кулаков да гробов.

— Молчать, разбойник! — заревел становой, и лицо у него разбухло и стало багровым. — Ты и при нас народ бунтуешь.

Он взмахнул нагайкой и хотел ударить Тихона, но Тихон схватил его за руку и оскалил зубы.

— Ты, становой, со мной не шути! Напорешься!

Он дышал запаленно, а голая грудь в красных волосах и плечи поднимались и опускались порывами.

Вдруг земский всей своей глыбой двинулся вперед, взмахнул перед толпой кулаком, словно хотел сразить ее одним ударом, и скомандовал:

— На колени! Все! Приказываю именем государя императора. На колени!

Но никто его не послушался, только настала тяжкая тишина, как гнетущее предчувствие. В эти короткие секунды я пережил головокружительное ожидание какого-то неизбежного взрыва: вот-вот сейчас свирепо бросятся на толпу урядники с приставом и начнут чесать нагайками и шашками по головам сбитых в густую массу людей. Кузярь прижимался ко мне дрожащим худеньким телом и судорожно шептал:

— Черти! Балбесы! Чего боками трутся, как бараны?..

Миколька лежал на животе поодаль от нас и украдкой поглядывал вниз с козырька крыши.

— Чай, вы не чудотворные иконы, чтобы на колени перед вами падать...— с угрюмой злостью прозвучал голос Олехи-лобового.

Исай надорванной фистулой подхватил:

— Аль мы кандальные, аль крепостные, чтобы на коленях перед барами ползать?

— Молчать! — рявкнул становой. — Мерзавцы! На колени, вам говорят! Урядники, в нагайки!

Земский начальник с неожиданной живостью поворачивался в разные стороны и властно кивал огромным картузом.

Толпа забурлила, заорала, замахала руками, вся двинулась назад, когда на нее бросился становой с нагайкой наотмашь вместе с шайкой урядников. Но нагайки запрыгали в воздухе: в руки станового и урядников вцепились пальцы мужиков.

Тихон, брошенный полицейскими, кинулся в толпу, вышвырнул двух урядников в стороны и крикнул, как в кулачном бою:

— Не поддавайся, ребята! Руки коротки измываться над народом!

Филарет, как не в себе, стоял неподвижно, с застывшими глазами. Визжали женщины, кто-то из них выкрикивал истерически, толпа бурлила, рычала, слышалось кряхтенье, ругань, и мне чудилось, что трещали кости у людей.

— Ребята, слышали? — будоражно крикнул Тихон. — Власть-то нагрянула к нам, чтобы народ пороть... побольше в гроб загнать.

Мужики смелели и, как всегда бывает перед дракой, угрожающе заорали все вместе, не слушая друг друга. Я слышал истошные крики Исая, Олехи и визг Иванки Юленкова. Как-то незаметно отшиблись в сторону старики и растерянно покачивали головами. Но волнение охватило и баб: несколько молодаек бросились к мужикам. За ними шла Паруша и что-то басовито кричала им вслед с палкой наотлет;

то шагала за ними, словно подталкивала их, то останавливалась, не отрывая от них глаз. Среди этих молодаек я заметил и обеих снох Паруши. Лесынька держала под руку Малашу и смущенно улыбалась, а Малаша, бледная, с широко открытыми глазами, шла, как будто обреченная на муку. Сначала я не видел среди них матери, но она вдруг показалась впереди, рядом с Катей. Катя тянула ее назад, но она шагала вперед и, должно быть, не чувствовала руки Кати. Я вскочил на колени, замахал ей и закричал шепотом, про себя:

— Не ходи! Вернись! Тащи ее, Катя, назад! Это не ватага! Здесь забьют до смерти!

И как будто обе они почувствовали мой крик: Катя обняла ее за шею и повернула к себе, и мать словно очнулась от самозабвения и послушно побрела назад.

— Замолчать, бараны! — гулко скомандовал земский. — Запомним и дальше расследуем. Поводыри — на виду. И дорога им одна — острог. А вы, дурное стадо, немедленно возвратите хлеб, который вы заграбастали у Стоднева.

Толпа забушевала, и злобные крики заглушили голос земского:

— Нет у нас хлеба... Мироеда не обездолишь — он сам всех обездолил.

— Ни зерна не дадим — в избах крошки нет...

— Способие давайте! Где оно, способие-то голодающим? Начальство помещикам раздарило и себя не обидело...

— Нет хлеба... И куриным крылом ни зерна не наметешь.

— Хорошо. Запомним. А сейчас... Арестованный Тихон Кувыркин! Выходи!

— Не выходи, Тиша!.. Он от обчества шел, обчеству служил... Не давай, мужики, Тихона!

Земский уже с уверенным спокойствием приказал:

— Если Кувыркин не трус, он сам выйдет. А за ним выйдут для душеспасительного разговора и другие.

И опять вся толпа тяжко замолчала, но подошедшие бабы пронзительно закричали наперебой:

— Не выходите, ребята! И думать не думайте! Все они, супостаты, коварные!

На них с нагайкой бросился становой, и женщины быстро отпрянули назад. К приставу подскочил один из урядников, а потом бегом пустился по луке к большому порядку. По дороге от дранки ехал отец. Он сидел на ворохе ольшевника, туго увязанном веревками, и нахлестывал лошадь зеленой хворостиной. Видно было, что он страшно испугался, когда увидел толпу у пожарной и желтую хламиду земского начальника. Он мог проехать по той стороне, за гумнами, но эта дорога была самой короткой. Урядник бежал наперерез и грозил ему кулаком: остановись, мол! Но отец нахлестывал своего одра, который едва переступал кривыми ногами, и я боялся, как бы он не грохнулся на землю от надрыва. Урядник подлетел к отцу, с размаху ударил его кулаком и вскочил на зеленый ворох. Отец съежился и задергал вожжами, сворачивая лошадь на луку, в нашу сторону.

— Ну и отличился, дядя Вася! — вскрикнул Кузярь. — Розги-то сам для своих мужиков приволок.

— И вовсе не розги, — запротестовал я. — Это он ездил за хворостом на плетень.

— Ну и вез бы по своей стороне... — надрывно забунтовал Кузярь, готовый заплакать. — Зачем его черт понес по нашей луке?

Перед этим неотразимым доводом я оказался беспомощным.

XI

Когда подъехал отец, бледный, без памяти от страха, урядник сбросил его с воза. Земский скучным басом прогудел:

— Распорядитесь, становой!

Он грузно повернулся к своей блестящей коляске. Его желтый балахон спускался до земли, а огромная голова в дворянском картузе с клочьями бороды под ушами властно откинулась назад. Вслед за ним бросились становой с урядником и подобострастно засуетились по обе стороны этой бычьей туши. Они подхва-

тили его под руки и с трудом посадили на коляску. Земский ткнул пальцем в спину кучера, и тройка поскакала по дороге к длинному порядку.

— К Измайлову погнал, — пояснил Миколька. — Они — дружки. Оба — лошадники.

После отъезда земского начальника становой сразу как будто вырос и стал таким же властным и грозным, как и князь Васильчиков. Щелкая себя нагайкой по голенищам, он прохрипел:

— Старшина, где твои понятые? Сотский, сюда!

Сотский вытянулся перед ним с ладонью у козырька.

— Немедленно приступить к экзекуции! Урядники, приготовьте свои нагайки. Старшина с понятыми и ты, сотский, выделите вожаков и поставьте их здесь, около меня, а остальных окружат урядники. Ни одна морда не смеет удрать из толпы. А старосте я бороду выдеру, когда возвратится из города: почему он улизнул именно в это время? Делай, старшина, что приказано!

Старшина, варыпаевский мироед, такой же, как Митрий Стоднев, воротила, бородатый, упитанный, в легкой суконной бекешке, в новом картузе и смазных сапогах, сначала со своими мужиками-понятыми держался в сторонке и скромно глядел в землю, поглаживая жирными пальцами широкую бороду на груди. Но я уже заранее знал, что этот именитый на всю волость кулак не пощадит никого из мужиков: ведь с Митрием Стодневым он заодно, у них все мужики — на аркане, а ворон ворону глаз не выклюнет. Понятые — сторонние мужики в домотканых рубахах и портках, в лаптях и такие же дохлые, как и наши бедняки, должно быть батраки этого мироеда-старшины, — держались кучкой за его спиной.

Необычно тонким голоском он добродушно крикнул:

— Ну-ка, православные, начнем суд божий. Сотский, отгоняй к господину становому всех ослушников да смутьянов! А вы, урядники, потрудитесь царю-отечеству! Нагаечки свои спрячьте, а лучше палочьем почешем спинки наших бунтарей. У кого колья — ишь

какие, с кольями! — отобрать!.. А ежели будут супротивиться — этими же кольями и погреем их...

Сотский, уверенный в своей силе и неотразимости, потому что рядом было начальство, храбро зашагал длинными ногами к толпе и протянул руку, чтобы схватить кого-то из мужиков, но в тот же момент взмахнул обеими руками и грохнулся на землю. Мы с Кузярем тоже вскрикнули от неожиданности и вскочили на ноги.

Становой рванулся к толпе и начал хлестать мужиков, которые стояли в первом ряду. Толпа невольно отпрянула назад, закипела, заволновалась и опять качнулась обратно, толкая упиравшихся впереди людей. С разных сторон закричали:

— За что? Это чего такое, ребята? Опять с нагайками на народ?

— Молчать, мерзавцы! — хрипло орал становой. — Мало вас учили — сейчас проучу до кровавого поноса. Вы знаете меня хорошо: я шутить с вами не люблю.

— Да уж лучше нас никто тебя не знает... — зло откликнулся кто-то из толпы. — А сейчас руки коротки.

— Ты, становой, народ не трог! — закричал еще кто-то. — Не в свой час прискакал!

— Урядники! Шашки наголо! — исступленно хрипел становой. — Гляди в оба, никого не выпускать! При сопротивлении — бей! Шестеро — по сторонам, а шестеро — ко мне. Мужик! — обернулся он к отцу, который стоял около воза. — Тащи сюда лозу!

Но отец, бледный, с ужасом в глазах, прижимаясь к толпе, робким голоском пояснил:

— Это не лоза, ваше благородие, а ольшевник... Плетень хочу обновить на дворишке.

Кто-то издевательски упрекнул его из толпы:

— Постарался, Вася, с прутьями-то для обчества... Только ведь ольха-то для поротья не годится...

— Кому приказывают, мужик! — заорал становой на отца. — Сваливай! Будешь у меня под рукой!

Но отец совсем обалдел от страха: он осовело озирался, плаксиво морщился и никак не мог бросить

вожжи. К нему торопливо просеменил Мосей-пожарник, без картуза, с лычком на голове, и взял из его рук вожжи.

— Ты, Вася, сваливай прутья-то, а я лошадку подержу, чтоб не рванулась да не понесла...

И он подмигнул мужикам, как скоморох, а отца ткнул локтем в бок. В толпе засмеялись, но сразу же смех оборвался.

Отец с несвойственной ему юркостью бросился к толпе, врезался в нее с разбегу и исчез в ее гуще.

— Эт-то что за балаган! Опять ты, болван, шута горохового разыгрываешь? Я тебя первого выпорю.

Мосей поклонился в пояс начальству и кротко, без юродства и без страха проговорил:

— Ты уж, ваше благородие, на мне строптивость-то свою и сорви. Я уж за всех пострадаю...

Он кинул вожжи на спину лошади и распластался на земле вниз животом. Миколька подполз на четвереньках к краю крыши, потом так же, как Мосей, распластался на досках и обхватил голову руками. Он визгливо забормогал что-то и опять вскочил на четырки. Вдруг лицо его сморщилось от смеха, и он залюбовался отцом, словно знал, что Мосей выкинет сейчас еще какую-нибудь диковину, которая испортит начальству всю музыку. Но становой замахал нагайкой и зашлепал ею по спине Мосея, потом пнул его сапогом в бок и захрипел:

— Встать, скотина! Запорю! Я из тебя дурь-то выбью.

И он опять начал хлестать нагайкой Мосея и с размаху бить его сапогом. А Мосей молчал и только судорожно вздрагивал на земле. Из толпы вышел Олеха, подхватил под мышки Мосея, легко поставил его на ноги и отволок к толпе. А он повизгивал сожалительно:

— Пущай, бай... сердце-то сорвал бы на мне... людей-то всех и минул бы...

Пристав вдруг как будто растерялся и начал оправлять свой белый китель. Он вынул револьвер и поднял его над головой. Сказал он спокойно, хоть и строго:

— Вот глядите: всякому, кто позволит себе противодействовать мне или нападет на урядников, всажу пулю в лоб. Поняли?

Но в этот момент Иванка Юленков, оборванный, опухший, подскочил, как безумный, к приставу и рыдающим голосом закричал, судорожно сжимая и растопыривая пальцы:

— Кто меня обездолил? Кто жизню мою сожрал? Ты! Ты, душегубец!

Должно быть, приставу почудилось, что Юленков хочет схватить его за грудь. Он размахнулся и ударил его револьвером по голове. Юленков кувырнулся на землю, раскинул в стороны руки и омертвел. В толпе ахнули, завизжали женщины, и все бросились к телу Юленкова.

— Убил! — крикнул кто-то удивленно, и этот голос подхватили и другие голоса:

— Пристукнул!.. Башку проломил! Мужики! Глядите, убивать нас прискакали... Бей, а то нас перебьют...

Тихон вскинул обе руки вверх и скомандовал:

— Ребята, всем миром на них!.. Для них закона нет.

И толпа как будто ждала этого призыва: из ее гущи рванулись несколько человек, за ними бросился на урядников и пристава целый гурт мужиков с кольями, с кулаками наотмашь. Урядники были смяты. Становой попятился и дрожащей рукой тыкал револьвером в разные стороны и хрипел:

— Застрелю! Назад! Стрелять буду!

Но его сбил с ног неожиданно вынырнувший Терентий. Пристав сначала пополз на четвереньках, потом вскочил на ноги и побежал по дороге к дедушкиной избе. Револьвера в его руках уже не было.

А толпа кипела, орала, всасывала в себя урядников и тормошила их, бухая кулаками. Они болтались, как чучела, и их серые лица окоченели от страха, но белки прыгали, как у затравленных волков. Тихон, весь оборванный, всклокоченный, суетился среди бушевавшей толпы, вырывал то одного, то другого уряд-

ника и выкидывал его, растерзанного, в сторону. Урядники убегали без оглядки.

— Хватит, ребята! Прогнали полицию и — живет! Пускай полиция уносит отсюда ноги.

Исай надсадно визжал, налетая на Тихона:

— Как это не надо! Зверей бьют, а они хуже зверей. Отмолотить, чтобы помнили... чтобы за версту народ обегали...

Мне тоже было обидно, что урядников Тихон велел отпустить. Исай негодовал справедливо: их надо было проучить, чтобы не распоряжались в нашем селе, не издевались над людьми, которые обречены на голодную смерть и пережили страшный холерный год.

Кузярь уже стоял у самого края крыши, размахивал руками и радостно покрикивал:

— Лупите их, чтобы к нам и носа не показывали!.. Гришку-сотского проучите! Эх, удрал, собака! Прыгает длинноногая цапля с саблей...

А Миколька лежал на животе и бил кулаками по доскам. Он подзуживал мужиков и парней залихватскими выкриками.

Толпа обмякла и отхлынула. Урядники сутуло бежали по луке к амбарам. Мужики хохотали, улюлюкали и свистели. Вслед им полетели растоптанные картузы.

Старшина с понятыми вынырнул из-за церковной ограды и шагал далеко по луке к длинному порядку. Старухи и старики толпились над телом Иванки Юленкова, опираясь на клюшки. Мужики возбужденно переговаривались, победоносно поглядывая на парней, которые бежали за урядниками и врассыпную возвращались к пожарной.

Тихон поднял руку и крикнул:

— В других селах тоже бунтуют!

Отец выскользнул из толпы, подскочил к лошади, схватил ее под уздцы и изо всех сил потащил на дорогу, заросшую травой.

Кто-то язвительного закричал ему вслед:

— Не горюй, Вася, что обчеству не послужил. Может, еще чистой лозы привезешь да на счастье сам пороть нас будешь...

Отец надвинул картуз на глаза и начал зло нахлестывать хворостиной горбатого одра.

Мы с матерью и Катей подошли к нашей избушке раньше отца: с возом ольшевника он застрял в прибрежных россыпях песку и долго, до надсады тормошился там.

Катя впервые встретилась с нами, но как будто совсем не обрадовалась, словно расстались мы с нею только вчера. В бабьей повязке кокошником, длинноносая, она как будто постарела на несколько лет и, казалось, забыла, какой была в девках. Когда мы перешли через речку на нашу сторону вместе с ее Яковом, она сердито приказала ему:

— Домой один иди! Мне с невесткой надо покалякать.

Яков засмеялся, сорвал с головы картуз и поклонился ей.

— Будь спокойна, Катерина Фоминична! — И с веселой гордостью в глазах похвалился перед матерью: — Она у меня хозяйка строгая, нравом своевольная, да зато работница, распорядительница. Даже мои старики стонать перестают: поет за работой и светится. Как же ее не послушаться?

Катя шутливо ударила его ладонью по губам и нарочно грубо прикрикнула:

— Ну, иди, иди, говорок!

Мать залюбовалась им, а Катя повернула его за плечи и оттолкнула от себя. Он молодцевато пошагал по дорожке на свой верхний порядок.

— Парень-то какой у тебя хороший! — вздохнула мать. — Словно при тебе он другим человеком стал.

И верно, Яков совсем изменился: он как будто стал выше ростом, держался молодцевато, черная бородка подковкой вокруг лица сделала его привлекательным, а глаза стали веселыми, умно-насмешливыми.

Мать последила за ним, а Катя спокойно и самодовольно проговорила:

— При силе да характере и лошадь плясать будет. Был бы разум да согласье, а там и горе с горы колесом...

— Наука-то Парушина пользительна, — задумчиво пошутила мать.

— Я, невестка, свою судьбу сама нашла, никому не кланялась, долю свою сама вязала. Я знала, где клад зарыт. Он, Яша-то, страсть какой умный да речистый. Он в книгах-то и Митрию Стодневу не уступит.

Она засмеялась и широкой ладонью провела по платку матери.

— А я и не думала и не гадала, что ты бабьи косы распустишь.

И сердито решила:

— Не жить вам здесь — опять на сторону удерете. Вы оба здесь — как чужие. Ты еще девчонкой со свахой Натальей по чужой стороне счастья искала, ты и родилась на краю света — не деревенская кровь. А братка любит на дыбышках пофорсить. Ему на одной земле с тятенькой тесно. Деньжонок-то много ли с собой привезли?

Мать с болью в лице остановилась и вздохнула.

Катя отвернулась от нас и широкими шагами пошла навстречу отцу, который из лощинки вел под уздцы горбатую от натуги кобыленку с возом ольхи. Лицо у него было злое, но испуг еще не растаял в глазах.

— Молодец, братка! — с задором похвалила его Катя. — И пощупать не дал прутьев-то и ускакал под шумок. Да и мужикам пару поддал: словно подстегнул их прутьями-то.

Веселая похвала Кати и ее неробкая стать крепкой и умной бабы встряхнули отца: он сразу же заулыбался и выпрямился.

Катя подмигнула матери, и я понял, что она нарочно подбодрила отца. Она очень хорошо знала его слабости и умела укрощать его крутой характер напористой лестью. Мать улыбалась и благодарно поглядывала на Катю.

Распрягая лошадь у дырявого плетня, отец строго, но уже нестрашно набросился на нас:

— Это вы чего, неслухи, к пожарной-то помчались? Чего там не видали? Захотели, чтоб вас там

нагайками отхлестали? Ведь я не велел вам ни на шаг от избы отходить.

Мать безбоязненно возразила:

— Да ежели бы мы не пошли, тут бы урядники скорее нагайками исполосовали да еще поплясали бы на нас, как вон Потапа замордовали.

Катя опять вмешалась в разговор:

— Они, как на свадьбу, прискакали — на тройке носились. На кого наскочат — давай нагайками щелкать. Всех под веник к пожарной гнали. Уж на что я неподатлива, да и то побежала, зато и уряднику рожу набила.

Отец с самодовольной издевкой стал трунить над мужиками:

— Больно уж ума много у смутьянов! Осатанели от холеры да голодухи. Я-то вот не соблазнился на чужие мешки, да и ты ведь не позарилась...

Катя вызывающе засмеялась.

— И позарилась. На своем плече мешок принесла. Досадно, что раньше не догадались стодневские сенницы разнести.

Катя по-прежнему была откровенна до озорства, но сейчас в ее словах слышалась умная убежденность и что-то похожее на упрек отцу. И мне было непонятно, почему отец и она были разные люди и по характеру и по мыслям, хотя родились от одной матери и росли в одной семье.

Но понял я одно, что Катя пришла к нам не в гости, а помешать отцу выместить на нас с матерью свое унижение и конфуз. Хотя глаза ее смеялись над ним нескрытно, но он не замечал насмешки, а верил только желанным для себя льстивым Катиным словам. Повеселевший и довольный, он даже по-своему ласково позвал меня скидывать ольшевник с передков. Мать с Катей ушли в избу, а я стоял на возу, сбрасывая прутья, и смотрел на ту сторону. Около пожарной никого уже не было, только Мосей, сгорбившись, топтался на одном месте, словно завороженный: должно быть, он скорбел над телом Иванки Юленкова.

XII

Хотя в некоторых избах метались в жару больные горячкой и с горы мимо нашей избенки пронесли на носилках два гроба, жизнь воскресла в деревне, облегченно вздохнула и как будто заулыбалась. Даже галки на ветлах над речкой орали веселей и хлопотливей. Только серая церковь, как дряхлая старуха на коленях, высоко вскидывала свой длинный блестящий шпиль, словно костлявым пальцем угрожала карой небесной. Но в эти дни вдруг пропали стрижи, которые целыми стайками реяли высоко в воздухе, трепеща острыми крылышками, как будто испугались чего-то. Впрочем, я знал, что эти птички всегда внезапно и незаметно улетают в теплые края в самом начале августа. А касатки, вероятно, не заметили их отлета: они по-прежнему сизыми стрелками носились над землей и говорливо щебетали над застрехами.

Несколько раз мы с Кузярем пытались незаметно пробраться к кучке парней и молодых мужиков, которые обычно в темные вечера сходились по одному, по два за селом, на высоком прибрежном отложье, у маленького болотца, заросшего цвелью. В осенней тьме исчезали и взгорки, и ямины, и полевые дали. Пахло прелой сыростью и блеклой полынью. Каким-то загадочным чутьем Кузярь узнавал о сборище и прибегал за мной засветло.

В холодной тьме мы незаметно подходили к мужикам и садились на землю поодаль от них. Сначала они прогоняли нас и грозились «надрать нам виски», но Кузярь храбро отлаивался:

— Чего рычите? Чего без толку бородами трясете? Об ищеях-то вы подумали? Кто вас сторожить-то будет, коли не мы?

Подходил Тихон и дружелюбно наставлял нас:

— Хорошо, правильно, ребятишки! Глаза у вас вострые, а душонки верные. Сядьте-ка вон там на бугорке и караульте нас. Ежели почуете какого-нибудь беспутного, сейчас же свистните.

Мы усаживались на увальчике неподалеку от них, чтобы слышно было, о чем они говорят, и зорко

всматривались в ночную темноту. С высокого обрыва спускался студент Антон Макарыч, без картуза, в деревенской рубахе. Мы прислушивались к глухим, невнятным голосам и подсказывали друг другу то, что недослышал кто-нибудь из нас. Что-то разъяснял Яков, уверенно бросал слова Тихон. Подолгу говорил Антон Макарыч, и все слушали его молча и внимательно. Так мы с Иванкой узнавали волнующие новости о смутах и бунтах в разных уездах и волостях. Вот в Сердобском уезде мужики избили станового и земского начальника за то, что они нагрянули в одно село, чтобы выпороть крестьян. Прискакал губернатор с казаками и учинил расправу в селе. А в ответ на это мужики разгромили помещичью усадьбу и сожгли ее. Все произошло из-за того, что голодающие выгребли хлеб из амбаров барина. Значит, не только у нас крестьяне отбирали зерно и муку у богачей. А вот в Балашовском уезде помещик обещал открыть свои закрома голодающим, а потом прогнал их. Но мужики всем селом ворвались в усадьбу, вывезли весь хлеб, угнали скот, а имение сожгли. Помещик едва уволок ноги. Где-то в нашем уезде голодные крестьяне напали на хутора богатых мироедов и спалили их, а хлеб увезли. В ярости на этих кровососов поломали и молотилки, и веялки, и сеялки и порезали скот. Эти новости приносили наши же мужики неизвестно откуда, сообщал такие же известия и Антон Макарыч, но уговаривал не думать о таких бунтах. Он рассказывал, как в одном большом селе голодающие крестьяне заставили помещика отдать весь хлеб и запасы картошки. Бунта не было там, потому что мужикам помогли рабочие спиртогонного завода: они заявили помещику, владельцу завода, что остановят завод, работать не будут, если помещик не отдаст голодающим свои запасы зерна и картошки.

Наши мужики волновались:

— А где у нас заводы? Где такие рабочие? К нам, Антон Макарыч, никто на помочь не придет.

Антон Макарыч успокаивал их и обнадеживал:

— Давайте подумаем сообща. Не горячитесь. Мы с молодым Измайловым потолкуем: он очень близко

к сердцу принимает все ваши беды. Потом я схожу в Ключи, к Ермолаевым, и с братом Михаила Сергеича — с горбатеньким, с мировым судьей, — пообсудим, как быть. А ты, Тихон Кузьмич, прихвати кого-нибудь из друзей и сходи к рабочим в их экономии — там есть хорошие ребята — и войди в союз с тамошними мужиками. По всему видно, хлеб придется отбирать от помещиков, только надо делать все умно, без разбоя.

Так мы сторожили эти ночные сходбища несколько раз. Но однажды мы заметили на другом берегу маленькую тень, которая как будто шла, крадучись, под обрывом. Кузярь свистнул и вскочил на ноги.

— Не Шустенок ли это? Пронюхали, сволочи. Бежим, Федяха, встретим его и выкупаем в речке.

Мы прыжками перескочили на ту сторону и столкнулись с Петькой-кузнецом. Он, должно быть, решил встретить нас как боец: руки держал на отлете и крепко сжимал кулаки. Даже в темноте я видел, как он грозно сдвигал брови.

— Ты чего тут скачешь, кузнечик? — насел на него Кузярь. — Чего тебе тут надо? Аль дома не сидится?

Петька сердито отбил его наскок:

— А вам чего не спится? На лягушек, что ли, охотитесь? Я хоть за тятькой иду — в кузницу надо, шины на колеса натягивать у проезжего. А вы баклуши бьете.

Но Кузярь не отступал от него:

— Это куда же за тятькой-то? Аль он тут у тебя в омуте язей ловит?

— Ну, ты, Ванек, дурачком не прикидывайся. Я знаю, где его найти: он мне сам наказывал, где его взять при надобности.

Я оттолкнул Кузяря и успокоил его:

— Петька — наш. Он никого не выдаст. Из него и клещами слова не вытащишь. Аль ты его не знаешь, Ванек?

— А чего он без пути ползает? Из-за него мы людей разогнали. Больше чтобы этого не было! Дяде Потапу надо нагоняй дать, чтобы держал язык за зубами.

На Петьку негодование Кузяря совсем не подействовало: он как будто пропустил мимо ушей слова Кузяря и озабоченно смотрел мимо нас в ту сторону, где до этого сидели мужики. Вероятно, он считал нас бездельниками, которые по ночам выдумывают себе бестолковую игру: не считаясь с нами, он шагнул вперед, приложил ладони ко рту и крикнул сердито:

— Тятяшка!

Но Кузярь рванулся к нему и зажал ему рот своей рукой.

— Молчи, черт! Тебе, дураку, словами не вдолбишь. Ты только кулак почуешь.

— Не замай меня! — с угрюмой угрозой огрызнулся Петька. — Я тоже умею на кулак кулаком отвечать.

Я втиснулся между ними и оттолкнул их в разные стороны.

— Ты, Петя, не перечь, — примирительно разъяснил я ему. — Мы — караульщики: следим, чтоб никто близко не подошел к сходбищу. Елеха-воха, да Шустенок, да мироеды только и разнюхивают, где мужики собираются.

— Да я сам тятяшку уговаривал, чтоб не связывался со смутьянами: у нас делов невпроворот.

— Это какие такие смутьяны? — враждебно оборвал его Кузярь. — Дурак ты, дурак и есть.

Но Петька рассудительно закончил:

— Днем-то он один в кузнице работает — не справляется. Я только вечерами ему сподручничаю. Сторонних-то сколько по тракту проезжает!

На нас вдруг нагрянула черная большая тень и ласково окликнула:

— Это ты, Петяшка? Аль тебя накрыли ребятишки-то?

Кузярь недовольно отозвался:

— Вот видишь, дядя Потап, как несходно вышло? Разогнали людей-то... А кто виноват?

— Ну, чего же сделаешь? — повинился Потап. — Вперед умнее будем. Да вы не унывайте: Петяшка у меня — могила.

Потап склонился ко мне и прошептал:

— Народ-то в другое место пошел, а вы домой шагайте. Не ищите и не пугайте людей.

Кузярь, обозленный, пошел через речку к себе домой, а я вместе с Потапом и Петькой — своей дорогой. Издали мне мерцал навстречу желтый огонек в оконцах нашей избушки.

XIII

Тихон с Олехой и Исаем пошли в соседнее село Ключи: оно было рядом — в двух верстах. К кому и зачем они ходили — неизвестно, но в селе быстро разнесся слух, что ключовские мужики заставили барина Ермолаева раскрыть свои закрома и на барских же лошадях вывезли хлеб в село для раздачи голодающим. В один и тот же день по уговору с Ключами заставили отпереть амбары своих помещиков и мужики в трех соседних деревнях. Но в волостном селе помещик из охотничьего ружья всадил дробь в нескольких человек. Мужики набросились на него, отняли ружье, а самого его связали.

Утром Тихон с Исаем, Гордеем и Олехой повели с собою толпу мужиков к барину Измайлову. Говорили, что Измайлов тоже размахивал ружьем, но сын — студент Дмитрий — прибежал в эти минуты из дому и выхватил у отца ружье, приказал приказчику распахнуть закрома и погрузить мешки на барские подводы. Рассвирепевший отец ударил его в грудь, но сын вцепился в его руку и простонал:

— Как вам не стыдно, папаша!

И у него изо рта хлынула кровь. Отец рявкнул, потрясенный, подхватил его на руки и стал звать доктора. Но студента Антона не было дома: он ходил по больным. Измайлов заорал на приказчика, затопал ногами:

— Сейчас же объехать Чернавку и Моревку и доставить врача. Пускай мужики нагружают хлеб и везут на село. Это воля Мити.

Этот день прошел в радости: хлеб развозили по всем порядкам и раздавали его неимущим.

Однажды утром я проснулся от смутной тревоги, словно кто-то стоял надо мною: «Вставай, Федя! Вставай — беда!» В избе было пусто, за окошком горячо сияло солнце, и в пучках лучей голубой дымок мерцал переливом искорок. Пахло печеным хлебом. За окном ворковали голуби. Должно быть, это их воркованье, похожее на глухие стоны, и разбудило меня. Но тревога не потухала в сердце. Я вскочил с кошмы и выбежал во двор, но и там не было отца и матери. Костистая пегашка стояла перед кормушкой, голодная и грустная. Я выскочил в открытую калитку и, ослепленный сверкающим воздухом, сразу же почувствовал себя так же легко и радостно, как касатки. Забывались страдания и страхи, обиды и беды, гроба и гробики, а пылал солнцем воздух, ослепительно сверкала речка пронзительными вспышками на перекатах, и кудрявый лужок зеленел под босыми ногами плисовым ковриком.

Петька-кузнец махал мне рукой с бугорка перед своей избой и угрюмо басил:

— Поди-ка, поди-ка сюда... проворней! Продрыхал, грамотей, лютую оказию. Аль не чуешь, как село-то притаилось?

Он исподлобья смотрел на высокий яр той стороны и трудно сопел. Этот маленький мужичок со старообразным лицом уж много пережил за свои двенадцать лет: у него и морщина перерезала лоб и в серых детских глазах застыла суровая озабоченность взрослого.

— Начальство прискакало. Урядников по всем порядкам отрядили. Сгоняют народ на площадь.

Откуда он это узнал — для меня было загадкой. Но я сразу поверил ему, потому что он никогда не болтал по пустякам: он больше молчал, а слова его всегда были связаны с делом. Но если сообщал что-нибудь — говорил положительно и только правду.

— Бежим туда! — позвал я его, хватая за рукав. — Мужики вожаков не выдадут. Каменной стеной стоять будут.

— Не пойду. Зенки пялить на лютости я не охотник.

Он отшагнул от меня и угрюмо оглядел и наш порядок на крутояре, и луку на той стороне.

— Людей только жалко, — вздохнул он, повернувшись ко мне спиной. — Запорют. Затерзают до смерти. И чего, как бараны, на рожон лезут?

Он обернулся ко мне и хорошо улыбнулся. Мне показалось, что в глазах его блеснули слезы.

— Не ходил бы ты туда, Федюк! Не нашего там ума дело.

Я и растроган был участием его ко мне, и вознегодовал на него:

— Ты, Петька, как таракан, в щелку прячешься. Все равно ведь найдут.

— Не замай меня! — вдруг окрысился он. — Иди на пожарной крыше с Кузярем пляши да грызи шиши!

Он спрыгнул с бугорка и пошел развалисто к себе в огород за избой. Этот парень, значит, наблюдал за нами, когда мы были на крыше пожарной, и сейчас что-то таил у себя на уме. Я смотрел ему в спину, в пропитанную пóтом рубаху, и завидовал ему: какой он молодец! Сколько бед перенес — и выдержал!

Я оглянулся на свою пустую избу и хотел было бежать на ту сторону, но застыл от удивления: Петька торопливо шагал ко мне, размахивая руками и болтая головой. Лицо его дрожало в плаксивой судороге.

— Погоди-ка, Федюк! — срывающимся басишком бормотал он. — Мочи нет, как жалко их... Тихона-то да Олеху с Костей... И Гордей с Исаем — тоже в жигулевке... До солнышка их провели — сам видел. До костей их засекут...

Слезы залили ему глаза, и он быстро отвернулся, встряхнул руками, словно хотел смахнуть свою душевную боль, и совсем по-ребячьи побежал в огород.

От перехода через речку и от кузницы на тот берег широкая полоса снежно-белого песку тянулась далеко до крутого изгиба речки, упираясь в подошву высокого обрывистого яра. Этот мелкий искристый песок, перемешанный с разноцветными голышами, со звонкими плитками окаменелого дерева, раковинками и «громовыми стрелами», всегда привлекал меня своей жемчужной россыпью. Хорошо было

поелозить по упругой, плисовой ряби, пересыпать песочек с ладони на ладонь, зарыть ноги в его мягкую теплоту и чувствовать, как он шевелится и щекочет тело. Но сейчас я пробежал это белое поле что есть духу и остановился только в прибрежных волнишках речки, чтобы засучить штаны. Она чудилась мне живой, радостно смеющейся, говорливо утекающей в стоячее озеро варыпаевского мельничного пруда, а оттуда в неизвестные дали — в Узу, Суру и Волгу. И на этот раз я не утерпел и стал буровить ногами воду навстречу течению и охотиться за стайками пескарей. Они прятались в кучках голышей, прыскали ртутью на солнце и мгновенно рассыпались в разные стороны, исчезая в волнистых водорослях.

Мимо колодца, по тропочке через ветлы я вскарабкался на взлобок позади двора дедушки и увидел около жигулевки дылду сотского и двух урядников. Олехина молодуха, маленькая, похожая на девчонку, без платка и волосника, билась головой о стенку жигулевки у окошечка и голосила:

— Олешенька! Олешенька! Пропадешь ты, бесчастная твоя головушка!

И что-то причитала невнятно. Ее отталкивал красноусый урядник, а она взвизгивала и отбивалась от него скомканным платком.

— Не тронь меня, отхлещу демона!..

Рядом с ней стояла Феня, жена Кости, — стояла как будто спокойно, опираясь плечом о переплеты венцов на углу. Но лицо ее было бледное и строгое.

Со всех концов по луке торопливо и испуганно шли к пожарной мужики, парни и старики. По дороге из-за избы дедушки мужики и бабы сбивались в плотные кучки и, толкаясь плечами, смотрели на жигулевку с мутной оторопью.

Мужики и старики теснились у самой стены пожарного сарая. Даже издали мне видно было, как все они угрюмо глядели на длинный порядок, где была съезжая и откуда доносились переливы поддужных колокольчиков.

Кузярь подбежал ко мне, как всегда, внезапно. Он грохнулся на землю, распластался вниз лицом и

в отчаянии заколотил кулачишками по сухому лужку. Задыхаясь от слез, он выкрикивал:

— Вот... видишь? Скрутили, сволочи, ночью... Урядников нагнали... А Гришка-сотский королем-козырем в избы с урядниками врывался... Ну, это ему даром не пройдет...

Он вскочил на ноги и с судорогой в худеньком лице схватил меня за руку. Мы побежали к жигулевке. Сотский, как грозный начальник, подражая становому, заорал в черную дыру распахнутой двери:

— Ну-ка, крамола, выползай по одному! — И злорадно заехидничал: — Будет пир на весь мир. Гостинцы-то свежие привезли. А тебе, Тишка, и от меня особый отдарок будет. Покажут вам, как с полицией драться...

Из черного нутра жигулевки вышли Тихон, Олеха, Исай с Гордеем и крашенинник Костя. Все они показались мне взъерошенными, измятыми, угоревшими, словно их избили там и долго не давали спать. Но Тихон поглядел на небо, прищурился на солнышко и блеснул улыбкой. Олеха угрюмо озирался исподлобья, а Исай плюнул в ноги сотскому и надсадно взвизгнул:

— Сволочь поганая! Холуй! Июда!

Но Гордей сердито буркнул ему что-то в затылок. Сотский, оскалив зубы, шагнул к Исаю и ударил его по лицу. Исай пошатнулся и, обезумев, сразу же рванулся к Гришке и пнул его босой ногой в пах. Гришка взвыл и хотел было опять ударить Исая, но испугался чего-то и отшагнул назад, погрозив кулаком Исаю.

Урядники с саблями у плеча повели арестованных к пожарной. Народ толпился тревожно, с болью в лицах, и жутко молчал. Несколько женщин надрывно плакали.

Кузярь дрожал, как в ознобе, и с судорогами в посиневшем личишке бормотал:

— Тоже... народ! Отбили бы и в себя бы сглотнули.

— А урядники-то... видишь, с саблями... — срезал я его. — Они не помиловали бы...

— Молчи, много ты знаешь! Их смяли бы... Они бы деру дали, как в прошлый раз...

Галопом, с истошным звоном колокольчиков из-за амбаров, прямо по луке, пронеслись две тройки. На тарантасах сидели в белых кителях и белых фуражках знакомые супостаты. Впереди скакал исправник с густыми баками и бритым подбородком, а рядом с ним, опираясь на шашку, сидел какой-то новый, мордастый начальник. Он сидел по-барски важно и тяжело, как каменный. На другом тарантасе, позади, трясся становой с бородатым волостным старшиной и старостой в поддевках. За ними трусила пара ребрастых лошадей, запряженная в дроги. Спина в спину сидели на них урядники и сторонние мужики, а позади, перед задними колесами, лежал пузатый мешок, из которого торчали щетинистые комли зеленых прутьев.

— Розги везут. Видишь? Это для них... Аль народ даст своих пороть?

Кузярь метался, словно в огонь попал, и взвизгивал от боли. В глазах его дрожали слезы. Он смахивал их рукой и в отчаянии порывался к толпе. А я был уверен, что ни Тихон, ни Олеха, ни Гордей не дадутся в руки начальству: ведь в прошлый раз Тихон вырвался из лап урядников, а народ взбунтовался и прогнал их.

Кузярь, надрываясь, лепетал:

— Не руками, так ногами отбивайтесь! Дядя Тиша, Олеша! Аль вы для того людей-то будоражили, чтобы под розги ложиться?

Мы со всех ног бросились к пожарной. Толпа молчала и следила за начальством враждебно и хмуро. Только рыдающе повизгивали отдельные голоса баб. Тихон стоял впереди своих дружков, которые теснились за ним с тревожно-злыми усмешками. Окруженные урядниками, арестованные стояли плотной кучкой, а народ испуганно смотрел на них и как-то толчками отползал от них и опять напирал, как будто норовил втянуть их в себя и скрыть в тугой своей массе.

Новый важный начальник сказал что-то исправнику, и тот сердито скомандовал:

— Урядники, окружить толпу и не давать разбегаться. Стать на три шага друг от друга! Сабли наголо!

Несколько урядников, которые теснились около начальства, быстро выдернули из ножен сабли, вскинули их к плечам и один за другим побежали вокруг толпы. Одни останавливались, а другие бежали дальше. Так мы все оказались тоже арестованными. Толпа тревожно зашевелилась, зашумела, заволновалась, в задних рядах закричали бабы. Мы с Кузярем и еще трое парнишек из заречья оказались как раз около исправника. Становой сделал нам страшные глаза и хрипло рявкнул:

— Эт-то что такое! Крысята паршивые! Вон отсюда!

Но исправник успокоил его:

— Оставьте их в покое, становой. Пускай полюбуются: это им будет на всю жизнь.

Важный начальник неохотно, с одышкой, барским голосом выкрикивал, разрывая слова:

— Бесчинничаете... самовольничаете... Дошла весть о вас и до губернатора... И вот я послан... послан усмирить... усмирить вас немного... чтоб впредь не забывали закона. А вожаков ваших... этих вот... кроме всего... судить по всей строгости... Весь же захваченный вами хлеб... немедленно возвратить... законным владельцам... Но особо за неподчинение... за противодействие власти... за то, что осмелились пойти на насилие... подвергнем этих мятежников... и еще кое-кого из охотников до чужого добра... подвергнем наказанию розгами.

Он вытер платком лицо и что-то приказал исправнику, а исправник поманил пальцем старосту и благодушно сказал:

— Выдели мужиков из толпы, которые будут пороть этих мерзавцев. Раз нашлись среди вас такие герои, сами же с ними и расправьтесь.

Староста тяжко задышал, вытаращил глаза, неуклюже шагнув к толпе и переваливаясь с ноги на ногу, но вдруг остановился и насупился.

— Ну? В чем дело, чурбан?

Староста через силу поднял голову и с натугой просипел, словно его душило что-то:

— Нет у нас таких, вашблагородие. Никто не выйдет.

— Какой же ты староста, болван, если не можешь показать своей власти на селе?

Олеха крикнул мужикам с усмешкой:

— Слыхали? Начальство хочет, чтобы вы сами себя выпороли.

А Тихон подхватил:

— Благодарите, друзья, начальство-то: видите, как оно воюет за барыши мироедов и помещиков? Кому — барыш в карман, а кому — на шею аркан.

Исправник затрясся от бешенства и затопал ногами.

— Становой! Без пощады заткнуть глотки этим сукиным сынам.

Становой остервенело, с выпученными глазами и оскаленными зубами, зашлепал нагайкой по спинам и плечам Тихона, Олехи и Кости-крашенинника.

Костя надсадно закричал от боли, закорчился и замахал голубыми руками, защищаясь от нагайки, а Олеха старался увернуться от ударов. Тихон как будто не чувствовал ожогов нагайки: он вырвал ее из руки пристава и отбросил далеко в сторону. Бледное его лицо было спокойно и жестко, но глаза прыгали из стороны в сторону, а рыжая бородка судорожно вздрагивала. Исай выкрикивал визгливо, выбрасывая руки к толпе:

— Мужики! Обчественники! Бьют ведь... наших бьют!.. За что терзают нас?.. Ослобоните нас от гонителей!..

Толпа заволновалась, закипела, заорала. Но никто не бросился на помощь арестованным, словно все приросли к месту и старались спрятаться друг за друга. Двое полицейских облапили Тихона, и кто-то из них пинком подшиб его. Он грохнулся на землю, и на него насели еще двое урядников.

Максим Сусин подскочил юрко к Исаю с Гордеем и крикнул радостной фистулой:

— Ложись, ложись, Исайка! Пострадай за мир!

И ты, Гордейка! Снимайте портки-то!.. Уж я над первым тобой, Гордейка, потружусь, вор-беззаконник...

— Уйди! — хрипло заорал на него Гордей, замахиваясь кулаком. — Это чего я у тебя украл?

Максим с ядовитой улыбочкой и веселым убеждением открикнулся:

— Не украл сейчас — ужо украдешь... Григорий, иди-ка сюда — потрудимся...

Но Исай замахал кулаками и, как слепой, замолотил ими по Максиму. Сотский подшиб ему ноги, свалил на землю и стал бить его сапогами. Гордей кинулся на сотского, но Максим с размаху ударил его толстой палкой по голове.

Тихон вскочил на ноги и отшвырнул от себя урядников.

— Ребята, мужики! — задыхаясь, крикнул он. — Видите, как они расправляются с нами? Гоните их, не бойтесь!.. Ведь они поодиночке всех выпорют...

— Молчать, скотина! — рявкнул исправник и вырвал револьвер из кобуры. — Заткните глотки, становой, этим двум прохвостам. Приготовьте оружие!

Я взвизгнул от ужаса и ткнулся в Кузяря, а он, не чувствуя меня, метался, корчился и кричал надрывно:

— Убивают же, мужики!.. Аль вы бараны?

Вопили и визжали бабы и девки.

Как во сне, передо мною забурлила какая-то суматоха: люди боролись, взмахивали руками, крякали, рычали. Вдруг я увидел, как Тихон, с кровавой полосой поперек лица, отшибал от себя кулаками урядников, которые остервенело бросались на него. Он, как волк, огрызался, скалил зубы, и широко открытые глаза его прыгали в разные стороны и обжигали, как огонь. Олеха барахтался на земле в обнимку с урядником, а Исай и Гордей в изодранных рубахах боролись на земле с сотским и Максимом-кривым.

Толпа ревела и бурлила, но ее сдерживали обнаженными шашками.

Исправник бесился и хрипел:

— Распластать их!.. Содрать с них все тряпки.

Староста, старшина! Толкайте сюда секуторов, розги сюда!

Старшина и староста ошарашенно засуетились, затормошили чужих мужиков. Кто-то из них бросал к ногам станового охапки лозы.

— Не лезьте, собаки! — грозно кричал Тихон, тяжело дыша. — Все равно вам не взять меня. Драться буду до смерти.

На него сзади бросился становой и ударил его револьвером. Тихон рявкнул, пошатнулся, но, как зверь, схватил станового поперек тела и с размаху отбросил от себя. По лицу и по шее у него струйками лилась кровь. Олеха боролся на земле с урядниками и хрипел:

— Лучше подохнуть, а не под розгами охать...

Толпа стояла плотно, тупо и ошалело таращила глаза на Тихона с товарищами. Но задавленный выкрик Олехи словно потряс всех: люди хлынули на урядников, закричали все вместе, замахали руками, но сразу же осели перед револьверами, которые нацелили на них исправник и становой.

— Назад! — заорал исправник. — Стрелять будем. Отдай назад!

Из толпы вырвался растрепанный, с безумным лицом Филарет и завыл, разрывая обеими руками рубашку на груди:

— На! Стреляй!.. Вы уж убили одного... злодеи, душегубцы!.. Мужики! Аль терпеть будем?.. Видите, до порки дело дошло... На кого бросили ребят-то своих?..

И опять толпа забурлила, заорала, навалилась на урядников с саблями, но в этот момент раздался выстрел, и она отпрянула назад.

Исправник как будто сам испугался своего выстрела. Он тяжело задышал и скомандовал дрогнувшим голосом:

— Становой, этих барбосов, желающих пули, — в кутузку!.. Без них мы справимся легче. Их угостим особо!..

Важный начальник что-то с досадой сказал исправнику и позвал кого-то взмахом руки.

Городской полицейский подбежал к нему и поставил складной стульчик. Начальник сел и вынул из бокового кармана белого пиджака серебряную коробочку с папиросами. А исправник опять резким голосом приказал:

— Связать их там покрепче! Старшина, нарядить подводу — доставить их сегодня же в стан. Урядники, увести их под замок!

Урядники с саблями повели Тихона с Олехой к жигулевке.

Полицейские боролись с Костей и Исаем, которые с остервенелой отчаянностью рвались из их рук. Гордея я не заметил, а видел только, как взмахивали лозинами Максим-кривой и сотский.

Становой подтолкнул к ним двух сторонних мужиков с испуганными, голодными лицами, с розгами в руках и прохрипел:

— Лупи!

Толпа как будто вдруг ужаснулась и замерла: согнанные в полукруг перед начальством и мужики и бабы не сводили глаз с распластанных тел.

Вдруг страшно взвыл и пронзительно взвизгнул Костя и заорал кто-то другой — может быть, Исай. Два сторонних мужика, с искаженными лицами, со свистом взмахивали зелеными розгами. Продолжали хлестать и Максим с Гришкой Шустовым.

Оглушенный надсадным криком и воем, обезумевший от ужаса, я бежал в какую-то муть, в вихрь, лишь бы спастись от кошмара. И мне казалось, что воет и стонет, взвизгивая, не один Костя, а много людей, и не свист лозин резал уши, а оглушительное щелканье длинных пастушьих кнутов.

Очнулся я перед избой Потапа на грудах песку, как и в тот день, когда был раздавлен колесами телеги, и так же, как тогда, Петька был рядом со мною. Только он сейчас сидел около меня и утешал угрюмо:

— А ты не плачь... Чего плачешь-то? Сейчас барин туда проскакал на дрожках со старшаком да дохтуром. Они живо там всех супостатов разгонят. Вон тетка Настя к тебе бежит. Вставай, отряхнись... Эх,

ты! А еще мужик... Говорил я тебе... Достукался, неслух...

Я со всех ног бросился навстречу матери. Без кровинки в лице, она лепетала что-то и протягивала ко мне руки.

XIV

Знойная гарь растаяла, воздух стал прозрачный, прохладные и тугие облака, живые, веселые, плыли толпами, как ковры-самолеты, а выше их голубое небо казалось мягким, теплым и милым. Лука опять защетинилась зеленой травкой, и всюду вспыхнули желтые одуванчики. Проносились по луке пепельные тени, и бархатная зелень, пылающая на солнце, вдруг потухала, темнела и казалась сочной и жирной. Пахло полынью, богородичной травкой и ветлами.

А на полях и рожь и яровые сгорели, и бурые стебли заглушала сорная трава — сурепка, лопухи, куколь и буйный пырей. В редких дворах чудом не пали лошадь или корова, только сохранился скот у богатеев, вроде барышника Сергея Ивагина, старосты Пантелея и Максима Сусина.

Мужики отдавали свои наделы кулакам, заколачивали окошки и двери обломками старых слег из прясла и с котомками за плечами гурьбой потянулись по большой дороге — одни на Волгу, другие в Пензу, а четыре семьи при одной костлявой лошади сложили в телегу свои пожитки и направились в Сибирь. Порка мужиков и отправка бунтарей, связанных веревками, в стан и в острог потрясли всех до ошаления. Волость паспортов не выдавала: за каждым числились недоимки, и люди бежали тайком — по ночам, не думая о том, что их переловят по дороге и доставят обратно по этапу. Родное село, родительские избы терзали их ужасом, как проклятое место. Завтрашний день ничего не сулил им, кроме нищеты и бездолья. В селе остались только семьи, где валялись больные, где старики не могли переступить порога от дряхлости и где уцелели лошаденки и коровенки, которые в самые черные дни утешали мужика: вот

переможем нужду, а там как-нибудь оклемаемся — заработаем на пропитание и расквитаемся с податями и повинностями.

Барышник и мироед Сергей Ивагин, белолицый, лупоглазый, с черной бородой, в дорогой бекешке, в касторовом картузе и смазных сапогах, часто проезжал по селу на дрожках и, молодцевато вытянув руки, правил атласным жеребчиком серой масти в яблоках. Он подъезжал к заколоченным избам, стучал черенком ременного кнутика по старым венцам и ковылял на кривых ногах вокруг брошенных дворов. Потом переезжал речку и мимо нашей избы поднимался по крутой дороге на верхний порядок, а там форсисто заставлял плясать перед избами жеребчика вплоть до барского двора. В барском доме он был постоянным гостем, и мужики хмуро толковали, напяливая картузы на глаза:

— Не иначе он, разбойник, к барской земле лапы протягивает. Полсела надельных забрал и все пустые избенки на слом обрек. Снюхался со старшиной, с волостным писарем, сунул в волости копейку за мужичью недоимку и все себе под метлу.

О том, как он сделался богачом, как вылез «из грязи в князи», слышал я не раз и на улице от стариков, и от отца, который клеймил Ивагина как негодяя, хотя в его голосе чувствовалась не злая зависть, а восхищение.

Несколько лет назад этот Сергей тянул такое же тягло, как и все крестьяне. Вместе с дедушкой Фомой он каждую зиму ездил в извоз. В Саратове у Ивагина жил близкий родственник, который содержал постоялый двор с трактиром и воскобойню. В этой воскобойне, в подвале, сидел высохший до костей, облезлый, молчаливый человек. Однажды, когда Сергей приехал с возами вощины и ночевал в воскобойне, глухой ночью неожиданно и неслышно, как видение, явился хозяин, старик святого вида, и, как будто не замечая Сергея, постучал клюшкой по крышке подполья. Крышка поднялась, и из черной дыры высунулась высохшая голова загадочного человека. Сергей еще раньше смекнул, что там, в подземелье,

делается какая-то тайная работа. Он знал, что в подполье — большое помещение и там при свете керосиновых ламп этим костлявым человеком проволакивается через ряд отверстий в доске бесконечная струна. Она проходит через расплавленный воск в котлах и, утолщаясь, наматывается с барабана на барабан. Раза два при нем проходили глухой ночью какие-то немые люди в башлыках, и свечной мастер выносил из подполья два-три небольших ящика, в которых обычно покупаются готовые свечи. Ящики со свечами грузились на телеги только днем, а эта полуночная молчаливая передача двух-трех ящиков была похожа на какое-то преступное дело. Как изворотливый и догадливый мужик, Сергей делал вид, что ничего не замечает. Но подпольный человек однажды высунулся и глухо сказал:

— Ну, вот... такой ты нам и нужен. Хозяин знает, кого сюда на проверку втолкнуть. Держи язык за зубами и вырви свои глаза. Ты служить нам будешь на стороне. А ежели сболтнешь нечаянно — везде достанем и застукаем.

Сергей не сробел и, хитро подмигивая подземному человеку, понимающе успокоил его:

— Молчанье — золото, а выгодная компанья — бралиянт.

Но в компании участвовать ему не пришлось. Святовидный старичок вызвал поздней ночью свечного мастера клюшкой и кротко приказал ему:

— Полиция нагрянет через часок. Все в чистую спрячь в могилу. То, что есть у тебя, вручи Сергею. Сам ложись спать здесь, наверху. А ты, Сергейка, живо запрягай лошадей и через задний двор гони их на большую дорогу. Эти ящики спрячь дома понадежней и сделай потом так, как я тебе велю. Не вздумай их вскрывать своевольно, ежели тебе жизнь дорога. Ну, господь с тобой, храни тебя пречистая своим святым покровом. Бери ящики — и чтобы духу твоего не было.

Говорили, что Сергей по приезде домой ящики все-таки вскрыл и нашел в них новенькие, хрустящие ассигнации разной ценности — от пятишницы до ка-

тёнки. С тех пор Сергей зажил, как богач, начал торговать хлебом, шерстью, кожами и гуртами скота.

Рассказывали также, что старичок сродник в Саратове поджег постоялый двор и воскобойню со свечным заводом и получил большие страховые деньги. Костлявого мастера он будто бы задушил сонного перед поджогом. После этого набожный старик стал ворочать большими делами: его караваны барж стали гулять по Волге сверху донизу, а новые буксирные пароходы носили имена святых и чины ангелов и архангелов.

Сергей Ивагин часто ездил к барину Измайлову и подолгу пропадал там. Он и язык свой перевернул на чужеродный лад, подражая барскому говору: стал чванливо акать и выворачивать странные, неслыханные слова:

— Нам и трынка — катеринка... Кре́дит — саломка ломка... У меня про́цент на про́цент лятает...

Должно быть, он был уверен, что так именно говорят образованные господа. Сына своего, который не якшался с деревенскими ребятишками, он отвез в город — в гимназию. Пробовал он ездить на своем рысаке и в Ключи — к барину Ермолаеву, но там, вероятно, его скоро отшили.

После Стоднева он стал в селе царем и богом. К удивлению мужиков, он купил у Измайлова полтораста десятин земли, смежной с крестьянской надельной и с владением Стоднева.

Однажды отец пошел с докукой к барину Ермолаеву в Ключи: нельзя ли взять в аренду десятины две исполу. К нему вышел конторщик, городской щеголь, с закрученными усиками, в соломенной шляпе, и выслушал отца небрежно, с ухмылкой.

— Хоть ты, сударь, и в сапогах и в пиджачке, а чем ты лучше нашего лапотника? Мы и своих чуть ли не травим собаками. Поворачивай оглобли и шагай обратно. И другим закажи: на нас, мол, управляющий грозится собак из псарни выпустить.

Отец рассказал об этом без обиды, как о чем-то естественном и неизбежном, и даже посмеивался снисходительно.

— Ну и шарлóт!.. Ну и стрекулист! А видит, что не лапотник, не вахлак, ну и смяк и с голосу спал.

Мать молчала и делала вид, что занята починкой рубах. Стряпать было нечего: щи из крапивы, приправленные луком, пшенная каша, смешанная с тыквой.

Мы с отцом ездили в поле на свою полосу (на мою мужскую долю тоже полагался полный душевой надел). Отец пахал, сеял рожь, я боронил посев. Кое-где тоже тащили сохи и бороны костлявые клячи, а кое-где мужики и бабы с ребятишками копали землю лопатами. Когда мы отпахались и отборонились, отец давал свою кобыленку безлошадным за бабьи холсты и вы́клади. Он, как дедушка, имел склонность к выгодным сделкам с соседями, пользуясь их нуждой. Но матери это не нравилось: она однажды смело поспорила с отцом и от холста отказалась.

— Я души своей не убью, Фомич, — с печалью в глазах и с совестливой гордостью в голосе сказала она. — Чужой бедой живот свой не спасала. А в беде да в напасти первая на помочь побегу и себя не пожалею. Меня на ватаге-то люди словно под руки подхватили и на свет божий вывели. Там нужда заставляет друг за дружку стоять да одной душой жить. А эти холсты слезами политы, в них горе горит.

Я замер от этих смелых и убежденных слов матери. В наступившей тишине я вдруг услышал смущенный смешок отца и шутливые слова:

— С твоей добротой, Настенка, мы свои руки до кости изгложем. Доброта-то — простота, настежь ворота. Так уж и быть, отнесу бабенкам это тряпье. Скажу: Настенка воротить велела да кланяться.

Отец был доволен поведением матери: он любовался ею. Но я уже хорошо знал его: он не понимал и не чувствовал ее души.

Хотя Петька жил рядом с нами, ниже, под горкой, но с ним я редко встречался: после смерти матери он взвалил на себя все хозяйство — и в огороде позади избы возился, и рубахи стирал, и обед варил, и за отцом ухаживал. На меня он не обращал внимания,

а лицо у него было строгое и озабоченное, как у взрослого мужика. И ни разу я не видел, чтобы он плакал или в отчаянии болтался без дела, убитый бедами, которые обрушились на него, еще зеленого подростка. Он только ожесточился и немного ссутулился.

Мать не могла на него налюбоваться:

— Парнишка-то какой золотой! И горе его не берет... Другой бы на его месте свалился бы, с ума бы сошел.

Она каждый день нет-нет да и побежит в избу Потапа похлопотать там по-хозяйски: постирать, почистить грязь и сердечно поговорить с Петькой. Иногда она пропадала там долго и возвращалась домой оживленная.

Я пытался несколько раз завязать с Петькой прежнюю дружбу, но он встречал меня равнодушно и слепо, как взрослый, которому некогда заниматься со мной пустяками.

— Ты меня покамест не замай, — с суровым добродушием предупреждал он меня. — Дохнуть мне неколи — дел невпроворот. Вот тятьку поставлю на ноги, кузницу откроем, тогда приходи на мехах стоять. Сейчас у нас и есть-то нечего, не то что квас пить. Квасом-то я всегда тятьку отпаивал. Летось я его беленой напоил, когда квас его не брал. Он на стену полез, по полу катается, кровью его прошибло, а на другой день — как рукой сняло.

С Кузярем мы сходились у пожарной. Казалось, он совсем забросил свое хозяйство и норовил удрать от больной матери, но я хорошо знал своего друга: расторопный, горячий, он вставал задолго до солнышка, убирался во дворе, варил какое-то месиво на завтрак, уезжал на полуживой лошаденке в поле, кормил ее на межах, а сам грабельцами косил реденькую рожь.

Он встречал меня обычно снисходительными шуточками:

— Ну, вольница бесшабашная! Выспался, свистнул, брыкнул, да и на облачке покатался. А я вот успел уж и руки косой отмотать. Хочу на помочь

тебя звать, все-таки с полосы-то моей снопик наберешь. Скирда не скирда, а два снопа — пара.

А мне совсем не хотелось отвечать на его балагурство: болтать да дурачиться на этом месте я считал тяжким грехом. Здесь пороли людей, здесь плакала Паруша... А сейчас Тихон с дружками томятся в остроге и ждут суда. Они стояли передо мною, как живые, в крови, истерзанные, но неукротимые. При второй встрече я оборвал Иванку:

— Аль ты забыл, чего тут делалось?

— Как это забыл? — вспыхнул он от обиды. — Я, может, и хожу-то сюда неспроста...

— Ну, и не зубоскаль! Это хуже всякого греха. Давай лучше приходить сюда, чтобы письма Тихону писать.

Иванка ошарашенно вытаращил на меня глаза и схватился за голову.

— Вот досада-то! Как это не я, а ты надумал? А я все тоскую, чего это мне тошно... хоть плачь!..

И мы решили на следующий же день принести бумагу с чернилами и вместе с Миколькой написать в тюрьму Тихону большое письмо. Взволнованные этим решением, мы пошли к школе, где плотники достраивали крылечки и украшали наличники и карнизы причудливой резьбой, а маляры из Моревки красили рамы белилами. На площадке между церковной оградой и школой столяры вязали парты. Классная доска стояла тут же, ожидая, когда ее покроют черной краской.

Работу возглавляли Архип Уколов и отец Мик ольки — Мосей. Сейчас Мосей уже не шутоломил, не разыгрывал из себя юродивого, а выпрямился, помолодел и, не выпуская топора из рук, по-хозяйски покрикивал. Он быстро и ловко выпиливал и вырезывал кружевные накладки на наличниках, на крылечках и на карнизах здания. Он встретил нас ласковой улыбочкой и крикнул скрипучим фальцетиком:

— Ребятишки! Аль неймется вам? Глядите, школа-то какая нарядная будет. Учитесь да помните нас, стариков. Была моленна пятистенна для покаяния да воздыхания, а сейчас — светелка вся в разных

цветах да выкладях. Сроду у нас училища не было, а нынче мы с Архипом на старости лет лепотою облекаемся.

Архип, не отрываясь от работы, по-солдатски хрипло завывал:

— Ой, ребяты, бравые солдаты, пойдем с туркой воевать! Мальчики вы мои любезные! Только с вами, негрешными чертятами, и жить хорошо...

Мы с Иванкой закричали наперекор ему:

— Мы, дедушка Архип, в солдаты не пойдем!

— Как это так не пойдем? — сердито ощетинился он. — Лобовой не волен в своей воле: его берут и бреют.

А мы норовили уязвить его побольнее:

— Солдат-то вон на мужиков гоняют. В подметных-то бумажках чтó было написано? В Балашовском уезде да в Бекове солдаты в народ стреляли. Да и Тихон говорил, и люди толкуют...

Мосей визжал и с изумленным ликованием хлопал себя по бедрам.

— А ты гляди-ка, Архип, какие ребятишки-то? В ихние годочки мы смирные телята были. И не мы их, а они нас норовят уму-разуму учить. Слышь, Архип? Народишка-то какой растет?

Архип слушал его и притворялся свирепым. Он взрывал землю своей деревяшкой, таращил на нас глаза и рычал:

— Ах вы, бунтари-пескари! Кто это вас на дыбышки поднял? Кто на сердчишках забарабанил?

Кузярь с дерзкой прямотой и негодованием обрушился на Архипа:

— А что земский да становой сделали? Этого до смерти не забудешь. Я ведь, дедушка Архип, не слепой был: видал, как слезы-то у тебя капали... А где сейчас Тихон с Олехой да Гордей с Исаем? Завтра мы с Федяшкой письмо писать им будем, что об них думают...

Архип бросил инструменты, сурово посмотрел на небо, и у него затряслась голова. Вдруг он смешно подпрыгнул на своей деревяшке, сорвал с головы картуз и шлепнул им по ладони.

— Эй, Мосей-рукоделец! Школу-то надо им вековешную построить. Они вот, младолетки, уж не забудут нас. Не зря, значит, я и с турком воевал, кровь свою пролил... а бог сохранил меня, чтобы людям умельством послужить. Мы с тобой, Мосей, гоголями должны ходить. Слыхал, чай, какое понятье-то у них? И сердчишки и умишки, как кипяток, бушуют... Эх, народишки вы мои любезные!..

Мосей ухмылялся в бороду и, стругая рубанком, певуче приговаривал:

— С тобой мы, Архип-кудесник, все делали да переделали: и дома и домовины, мельницы и сенницы... А для кого делали? Для бар да лихоимцев — для Стодневых да Измайловых. И все они — писаря да книжники. Не на свою бы голову школу-то эту построить... Ведь в школе-то писаря и делаются. Страсть я боюсь писарей всяких! Вон мой большак, писарь-то, и себя в кандалы заковал, и безвинного парня сгубил.

Архип теребил бачки и бил по земле своей деревяшкой.

— Дьяволу продал свою душу писарь твой — мироеду и кровососу... Туда ему и дорога!.. А за парня всю жизнь казниться будет. Грамота не злом, а правдой сильна.

Я впервые видел Архипа в таком негодующем волнении. Этот старик на скрипучей деревяшке, безобидный, одинокий, казался мне до сих пор старчески слабым, потерявшим здоровье в многолетней солдатчине и каждодневном труде. Только нам, ребятишкам, он был близок и понятен и только с нами да с молодежью держал себя играючи. А сейчас вдруг он оказался сильным, мудрым, кипучим и хранил в душе что-то заветное, чего не ведали наши мужики. В эти минуты он напоминал мне Володимирыча.

— Милые вы мои ребятишки! — хрипел он растроганно. — Дай вам бог доброго ученья! Живите храбро да покрепче правдой опояшьтесь!.. Сильнее правды ничего нет на свете.

А Мосей без обычного шутовства сказал сам себе, вздыхая:

— Не зря молвится: беда на беде скачет, кручиной погоняет да плачет.

XV

Когда школа была уже готова и на открытых рамах и на косяках просыхали белила, поодаль от нее плотники начали собирать сруб. Покинутые избы мироед Сергей Ивагин все ломал да ломал и свозил потемневшие венцы к срубу — поодаль от школы. В селе уже знали, что этот пятистенный дом с глухим двором строят для попа, который приедет из другого уезда. Знали также, что поп этот недавно был старообрядческим настоятелем, а потом перешел в «казенную веру», то есть стал отступником. А таких попов боялись даже сами «мирские»: по губернии эти «перевертни» гнали «поморцев» беспощаднее, чем попыщепотники. Сергей Ивагин почему-то рьяно хлопотал об этом попе, служившем где-то в захудалом селишке в соседнем уезде. Мужики толковали украдкой меж собой, что Сергей Ивагин обделывал с его помощью какие-то бесчестные дела, а открыто говорили, что в своей волости поп добился высылки всех упрямых поморцев и отобрал у них все имущество. Но мужики разозлились и выгнали его из своего села.

В один из свежих осенних дней, очень прозрачных и четких в далях, мы с Кузярем, как обычно, сидели на крылечке школы и перечитывали книжечку стихов Некрасова, которую мне подарил Антон Макарыч. Эту книжечку я постоянно носил в кармане, и она чудилась мне живой и беспокойной. Я как-то сросся с нею и чувствовал ее не отдельно, а в себе, и ее складные слова и задушевные напевы больно тревожили сердце. Они были похожи на грустную и задумчивую исповедь бабушки Натальи и на мудрые речи швеца Володимирыча. Но каждый раз, когда я раскрывал эту книжечку, я видел пристальные и глубокие глаза матери, полные печали и мечтательной надежды. Кузярь так ошарашен был этими

стихами, что долго не мог говорить ни о чем, как о них.

Задыхаясь не то от беготни, не то от волнения, Иванка с кипящими глазами певуче выкрикивал:

Поженившись на Прасковье,
Муж имущество казал:
— Вот и стойлице коровье,
А коровку бог прибрал!..

Мы с ним никогда не читали таких стихов, как в этой книжечке: каждое их слово было понятно и жгуче, каждый стих потрясал своей правдой и настоящей, подлинной жизнью. Это была наша жизнь, с ее заботами, невзгодами, с подъяремным трудом, с барами и богатеями, с безземельем и бедностью, с голодом и болезнями, с думами о лучшей доле и с исканием человеческой правды.

Скоро мы много стихов уже знали наизусть, и оба читали или пели их на голос.

Вместе с Некрасовым звучали песни Кольцова, «Песня про купца Калашникова». Но зачем написаны «Бова», «Гуак», «Пошехонцы»? Мы уж тогда знали, что в жизни не бывает того, о чем эти книжки рассказывали. Это вранье и глупая небывальщина вызывали в нас с Кузярем вражду к ним и отвращение, как к обману и пустой болтовне. Сказочные рассказы Гоголя хоть и захватывали нас забавными и необыкновенными приключениями, но мы уже достаточно испытали удары неласковой нашей действительности и приучились быть реалистами. Нам казалось, что гоголевские парубки и девчата только и знают, что пляшут гопака да поют песни, а мужики только веселятся да едят галушки, и все-то сытые да нарядные и не испытывают ни горя, ни нужды, и нет над ними ни бар, ни начальства, ни мироедов! Да и слова нам казались чересчур нарядными и праздничными. А каждое стихотворение Некрасова хватало за душу.

Из-за церковной ограды, со стороны пожарной, шла к нам легкой, плывущей походкой очень молоденькая девушка. Одета она была невиданно для

деревни; из-под серой суконной кофты, похожей на пиджак, голубая юбка играла оборками в несколько рядов. Белокурые волосы двумя косами спускались на грудь. Розовое ее лицо с прямым носиком улыбалось нам. Кузярь схватил меня за руку и испуганно прошептал:

— Это кто? Откуда она? Вот так да!

Но сразу тихо засмеялся:

— А я знаю, кто...

У меня гулко забилось сердце, и я вскочил на ноги. Кузярь таращил глаза на девушку и смеялся судорожно, толчками, закрывая рот ладонью, словно хотел остановить этот нелепый смех. От пожарной вдогонку за девушкой широко шагал длинноногий Миколька. Он заправил свою деревенскую рубаху в городские брюки и вышагивал форсисто и смешно: откинув голову назад и сложив руки на груди, он как-то потешно играл ногами. Видно было, что он бахвалится перед нами: он первый встретил и проводил к нам эту девушку. Но, по деревенской деликатности, он почтительно отстал от нее, как подобает парню, которого пора женить.

Девушка бойко и весело подлетела к нам, играя яркой одежкой, как бабочка.

— Ну, здравствуйте, ребятки! Давайте познакомимся: я — учительница, зовут меня Еленой Григорьевной. А вы, должно быть, ждете меня здесь и мечтаете, когда откроют школу? Вот мы с вами и обновим ее. А школа хорошенькая: вся как будто кружевами украшена.

Мы не могли вымолвить ни одного слова и стояли перед нею, как дурачки. Опомнился я первый. Такие барышни были мне не в диковинку: я ведь много встречал их в Астрахани и на пристанях по Волге.

— Ну, ребятки, ведите меня в школу. Вы — хозяева, а я пока — гостья. Чего же вы дичитесь? Разве я такая страшная?

Словно играя, она провела нежной ладонью по моему плечу и волосам.

Мне хотелось доказать ей, что я человек бывалый и меня она совсем не поразила.

— Село-то наше — в култуке, — храбро ответил я. — Школы-то у нас никогда не было. И никто к нам из образованных не появлялся. На барский двор наезжают, да мы их и не видим. Я-то и на Волге и в Астрахани был, и на ватаге с матерью жил, а Иванка вот дальше гумна никуда и не ездил.

— А это мне нравится, — засмеялась она. — Я тоже люблю все новое и небывалое... и удивляться люблю...

Она выхватила книжку из моих рук.

— О! Некрасов! Вы, значит, оба читаете? И любите читать? Какие же вы книги читали? Каких писателей?

А я, задыхаясь от волнения, выпалил, перебивая ее:

— Мы уже и Лермонтова, и Гоголя, и Пушкина прочитали. А песни Кольцова да Некрасова на память говорим.

Кузярь успокоился, потускнел и посматривал на нас с досадой и ядовитой насмешкой.

— Да нам сейчас и читать-то неколи... мне наипаче... Все хозяйство на мне. А тут еще голодуха, неурожай... холера в каждой избе была. Люди в горячке мечутся... Летом людей пороли... а неких в острог утащили. В такой беде не до чтения.

Учительница подхватила нас под руки, поднялась с нами на крыльцо и повела по коридорчику. Мы вошли в просторную прихожую, потом в светлый класс с открытыми настежь окнами. И в прихожей, и здесь, в классе, хорошо пахло сосной и масляной краской. Черные, глянцевые парты уже стояли в три ряда и заполняли всю комнату, а на узенькой площадке перед ними прижималась к стене такая же глянцево-черная классная доска. Дальше, у окна, блестел политурой маленький столик с новым стулом.

Елена Григорьевна дотронулась пальчиками до доски, потом повернулась к партам и тоже погладила черный их блеск.

— Все готово. С завтрашнего дня начинаем принимать в школу детей. Я привезла из города и книжки, и письменные принадлежности. Ах, какой милый запах сосновой смолы!

Миколька опирался плечом о косяк двери и многозначительно подмигивал нам. Но мы с Иванкой делали вид, что не замечаем его.

— Особенно хорошо, что вы читать любите. Читать мы будем с вами каждый день. Вы узнаете чудесные книги и замечательных писателей.

Миколька с обычной своей лукавой вкрадчивостью в голосе потушил восторженные слова учительницы:

— Кузярек-то все едино в школу ходить не будет: неколи ему — на нем все хозяйство. Федяшке-то хорошо: он — вольный. А Кузярек — сам себе батрак. Да и у хворой матери как на цепочке.

Елена Григорьевна смущенно улыбнулась и пытливо уставилась на Кузяря. Голос Микольки как будто ожег его, он бешено рванулся к двери и надсадно крикнул:

— Не твое дело, дылда! Не ты будешь мной распоряжаться. Знай свою пожарную, лежебока, и в чужие дела не суйся!

А Миколька дружелюбно посмеивался, потешаясь над Иванкой. Он явно хотел показать себя перед учительницей взрослым и умным парнем, который любит подразнить подростков.

— Чай, я сказал любя, Ваня. Ты ведь у нас — на диво всему селу: и в поле — пахарь, и в избе — кормилец да знахарь.

Иванка сразу успокоился, но злые огоньки еще трепетали в его глазах. Он повернулся спиной к Микольке и, судорожно улыбаясь, упрямо и твердо сказал:

— И по хозяйству справлюсь, и учиться буду. В ноги никому не поклонюсь и не запла́чу.

Елена Григорьевна не сводила с него своих изумленных глаз: она увидела в нем что-то неожиданное. Она положила руки на его плечи и откинулась назад, любуясь им, потом быстро наклонилась и поцеловала его в лоб. Иванка растерялся, обмяк и, осовело озираясь, жалко улыбнулся. Глаза его залились слезами, и он опрометью бросился к двери. Миколька, довольный тем, что произвел такой переполох, вышел вслед за Иванкой.

Пришел звонарь Лукич, седенький, желтенький, как всегда умильный, и низко поклонился Елене Григорьевне. Он был приставлен сторожем в школу.

— Помоги тебе господи в праведном деле! Не обидели бы тебя, такую молоденькую, наши озорники... Ну, да я поберегу тебя, милка... Хоть я и старенький, а хватит меня и на звон, и тебе на поклон...

Учительница тоже поклонилась ему и пожала руку.

— Кланятся мне не надо, дедушка. Будем жить хорошо и помогать друг другу.

Она вместе с ним осмотрела все парты, а в прихожей обследовала два новых шкафа, проверила замки, а ключи положила в карман.

Миколька с Кузярем как ни в чем не бывало стояли у крыльца и горстями бросали в рот чечевицу. Миколька ел нехотя, он, должно быть, уже был сыт, а Кузярь жевал торопливо и жадно. Он успевал и набивать рот, и подставлять карман под горсть Микольки. Чечевица и горох считались у нас, парнишек, лакомством, а чечевичная кашица в домах была редкостью. Эту чечевицу Мосей получил от Ивагина за какую-то работу.

Иванка подбежал ко мне и радостно сообщил:

— Вот... на своей усадьбе щевицу весной посею. Это мне Миколька за воробьятину дал.

Елена Григорьевна залюбопытствовала, что это за воробьятина. Я рассказал ей, как голод надоумил Иванку ловить воробьев и зажаривать их в печи и как он соблазнил Микольку съесть его воробья, что считалось большим грехом в деревне. В эту голодуху люди ели даже павших коров и овец, но ни голубей, ни воробьев не трогали: голубей считали священной птицей, а воробьев — погаными.

Елена Григорьевна посмеялась и ласково потрепала Кузяря по плечу.

— Ну, и греховодник ты, Ваня!

— Да черт ли! — возмутился он. — У нас такой старинный обычай: тараканов не мори, воробьев не гони, не лови и даже мышей жалей, потому что все они сытый достаток сулят. Вот тоже старикам в ноги

кланяйся, какой бы иной старик супостат ни был. А эта дурость — спроть моей души. Я не поглядел, что Максим-кривой — старик. Я ему, июде-предателю, голышем в скулу запустил.

— Вот это, Ваня, отвратительно, — осудила его Елена Григорьевна, но глаза ее весело смеялись. — Это недопустимое озорство.

Лукич стоял позади учительницы в своей старинной шляпе плошкой и по-бабьи тонкоголосо совестил Иванку:

— Охальник какой! Хоть и работник ты, Ванька, дай тебе бог здоровья, а охальник... Максим-то — хозяин, рачитель. Он — церковный староста. Когда батюшка ключовский приезжает служить к нам, он за ручку с ним.

Кузярь не остался в долгу:

— А зачем он, кулачина, наших вожаков хотел начальству выдать? Знамо, ему надо было глотку заткнуть.

Лукич скорбно и гневно качал головой и ныл:

— Еще мозгляк, аршин с шапкой, а греха-то у тебя сколько!

Елена Григорьевна молчала и внимательно прислушивалась к разговору.

Миколька подогревал негодование Кузяря:

— Ежели бы не я, они с Федяшкой и другой бы глаз Максиму вышибли голышами-то. Одна беда с ними!

Мы проводили учительницу до Пантелеевой съезжей избы и хотели разойтись по домам, но как-то оба спохватились и в переглядке поняли, что подумали об одном и том же.

— Елена Григорьевна, — спросил я с тревогой, — а где вы жить-то будете? У нас ведь пятистенки-то только у зажиточных.

Она с пытливым вопросом в глазах оглядела нас.

— Ваш староста предложил мне поселиться у какого-то Максима Сусина. У него одна половина избы пустует.

Кузярь даже подпрыгнул от злости.

— Это в него я голышами-то кидал. Он вас со свету сживет.

— А куда же мне деться, друзья мои? Помогайте!

Мы стали в тупик и растерянно переглянулись.

— К бабушке Паруше! — вдруг обрадовался Кузярь, но я погасил его пылкую радость:

— У бабушки Паруши — большая семья. Выдумал тоже!

Я вспомнил о пустой избе крашенинников: горница у них просторная и светлая. Костя с женой живут в черной избе.

Мы пошли по улице мимо опрятной избы Паруши с кудрявым палисадником перед окошками. А дальше, поодаль, стояла дряхлая избушка Кузяря, словно старушка, повязанная полинявшим платком. Кузярь хотел было забежать домой, но раздумал, хотя лицо его стало скучным и усталым. Из открытых окон «жилых» изб с любопытством смотрели на нас бабы и девки. Лесынька и Малаша — невестки Паруши — тоже глазели на нас удивленно и приветливо, а Лесынька певуче крикнула:

— Да тебе, этакой молоденькой, и не сладить с нашими ребятишками-то.

Учительница весело откликнулась:

— А вот глядите, какие у меня друзья-то! Они уж и приют мне нашли.

И засмеялась.

Паруша растроганно глядела на нас из-за их плеч и ласково гудела:

— Куда это вы, милые, ведете ее? Дивоваться нечему — везде бедность да горе.

Кузярь хозяйственно разъяснил:

— А мы, бабушка Паруша, — к крашенинникам. Хотим Елену Григорьевну в горницу к ним поместить. Ей ведь без особицы нельзя.

Паруша всполошилась и замахала своей большой рукой.

— Погодите-ка, постойте-ка, самовольники! И я — с вами. Чего вы одни-то нахлопочете?

Невестки отпрянули от окошка, забеспокоились и наперебой закудахтали:

— И не трудись, матушка! Это кто-нибудь из нас пойдет, кого ты пошлешь. А чего велишь — все сделаем.

— Нету, нету, милки! И вам дело там найдется.

Паруша, большая, тяжелая, вышла из калитки, опираясь на высокий падог.

— Ну, лен-зелен, веди нас. А ты, Иванушка, показался бы матери-то...

Кузярь обидчиво отозвался:

— Чай, она не умирает. Покажусь, когда надо. У ней все под рукой.

Двор у крашенинников по-прежнему загроможден был синими ворохами. И хотя за старым пряслом зеленел яблочный садик, заросший густыми плетями ежевики, этот двор всегда пугал меня своими ядовитыми отбросами. Теперь здесь все было в запустении, а изба казалась нежилой и облезлой.

В сенях было темно, пахло чем-то терпким и едучим. Учительница молчала и как будто растерялась. Когда Паруша распахнула дверь в черную половину, мы с Иванкой бросились в чистую горницу. Дверь была старинная, массивная, обитая войлоком. Мы отворили ее настежь, и учительница первая вошла в просторную, светлую комнату, загроможденную кадушками, синими столами, какими-то инструментами и всяким хламом. В одном углу стояла круглая голландка, обитая железом, а направо передний угол с пустой деревянной кроватью был отгорожен дырявым пологом.

— Превосходная комната, ребята! Если ее хорошенько вычистить и прибрать — лучшей и не надо.

Но мне эта изба не понравилась: казалось, что она пропитана отравой. Ведь все здесь задыхались от смрадных паров, желтели и медленно умирали. Старики уже в земле, а один из сыновей сбежал куда-то на сторону. Костя после порки отправлен был вместе с Тихоном и Олехой в стан. Возвратился он оттуда больной, весь опухший, с подвязанной рукой, с выбитыми зубами. Он не выходил из избы, а молодуху его встречали только у колодца.

Паруша вошла вместе с Костей в горницу, как хозяйка, и стала распоряжаться, словно дома.

— Вот тебе, Костянтин, и жительница. Гляди-ка, какое солнышко! Сейчас я пришлю невесток, они живо уберут отсюда весь хлам, выскребут, вымоют, проветрят... Кроватку я у Пантелея из съезжей возьму — железную, с пружинами. Девушке-то негоже спать на деревянном рыдване. А стулья гнутые у Сергея Ивагина выхлопочу. Он, бес, скупой, да я сумею его умилостивить.

Костя стоял безучастно и молчал, словно пришел со стороны. Пожелтевший, потухший, какой-то забитый, он уже не был прежним Костей, хорошим песенником и приглядным парнем. Губы у него провалились, как у старичка, и в глазах застыл не то страх, не то боль.

— Больше девушке негде головку приклонить, — гудела Паруша. — Платить тебе будет она — с ней и договорись.

Костя глухо отозвался:

— Что хошь, то и делай, тетушка Паруша.

И он медленно и расслабленно вышел из избы.

Учительница не отрывала от него тревожных глаз и проводила его с участливым любопытством.

— Что с ним случилось? Почему он такой несчастный?

— Ну, матушка моя, — грозно пробасила Паруша, стукая падогом об пол. — После такого терзания — диво, что жив остался...

Кузярь горячо перебил Парушу:

— У нас мужики хлеб для голодных и неимущих у мироеда отобрали. Приехал земский с полицией. А потом, когда и у барина хлеб взяли, целая орава урядников нагрянула. Вот и его пороли... А потом в стане терзали и зубы выбили.

— Ужас, ужас! — возмутилась Елена Григорьевна. — Такие расправы с крестьянами везде... Но эти расправы только возмущают народ и заставляют думать.

XVI

С этого дня началась новая полоса моей жизни. Это была пора неожиданных открытий, незабываемых радостей, гнетущих невзгод и очень сложных для моих лет душевных потрясений. Но память об этих годах дорога для меня, потому что это было время моего роста — время трудной борьбы за жизнь, за право быть человеком. И не раз в эти годы я был на вершок от гибели, а спасали меня не только счастливые случайности, но и мечта о грядущих светлых днях.

В нашем селе в эти тяжелые дни голода, холерного поветрия и горячек появились уже бесстрашные люди, как студент Антон, а среди мужиков — Тихон Кувыркин, Олеха, крашенинник Костя и Исай с Гордеем. И словно земля выбросила из своих истощенных недр невиданные раньше призывные и гневные листки, как пророческие обличения богачей и бар.

Эти листки тогда обнаружили и мы с Кузярем и Миколькой и прочитали их с замиранием сердца. Мы побежали к Тихону и сунули ему свою находку. Он не удивился, только улыбнулся и сказал многозначительно:

— Ну вот, ребятишки, и земля заговорила. Я такие листки да книжки уж знаю.

Староста Пантелей да сотский бегали по селу из избы в избу, шарили по углам, обливались по́том, но никаких листков и книжек не нашли. Поморцы с давних пор научились скрывать от начальства свои заветные реликвии, и никакие ищейки не могли их найти. С давних пор между поморцами и мирскими было общее согласие — стоять друг за друга и дурачить начальство. Так спрятаны были иконы и книги из моленной, так же ни у кого не найдено было ни зерна, ни муки во время облавы, когда нагрянул земский начальник и исправник с полицией. Долгие годы гонений на поморцев приучили их к скрытности и тайности в своей борьбе с полицией. Слушая благочестивые разговоры и беседы на «стояниях»,

я понимал их просто, без всяких душеспасительных иносказаний: чтобы сохранить от разгрома свой «толк», свою общину, свою крестьянскую цельность и обезоружить «игéмонов» — помещиков, полицию и попов, надо крепко держаться друг за друга, стоять «сойнмом» — сплоченно, не предавать своих братьев, — быть немым перед властями и господами и не бояться никаких терзаний, как не боялись деды и прадеды. Поморцы принимали в свою среду всякого, кто уважал их твердость в содружестве и исполнял их обычаи.

Эта «крестьянская вера», вера бедняков и вечно обездоленных, была близка большинству мужиков, и гонимые беспоповцы, которых начальство и попы считали врагами церкви и полицейского правопорядка, вызывали сочувствие к себе и почтительное удивление перед их стойкостью. И все в деревне преклонялись перед стариком Микитушкой, который пострадал за мужицкую правду, и вспоминали о нем как о подвижнике, а себя упрекали за слабость и за отступничество от своего вожака в последний час.

Но в этом году деревня стала как будто другой. Мужики уже не разбегались от начальства, а враждебно молчали. Они никого не выдали из вожаков, и когда Тихона, Олеху и Исая урядники хотели распластать на земле для порки, а те не дались и стали драться, вся толпа словно с цепи сорвалась — смяла и урядников и станового. И не мужики бежали, а полиция уже удирала от них, спасая свою шкуру. Озлобила и сплотила мужиков и голодуха и холод, растревожили их и «подметные листки», которыми зачитывались все, кто даже разбирал печатные строки по складам. Возможно, что люди много передумали за этот год после неудачи с самовольной запашкой барской земли и ареста Микитушки и Петруши. Ведь даже в тот страшный день, когда ночью схватили и Тихона, и Исая с Гордеем, и Олеху с Костей и, избитых до полусмерти, связанных, отправили в стан, а с десяток мужиков пороли на луке, у пожарной, — никто не каялся, не оговаривал соседей, а только выл и стонал под розгами.

Вот с какими душевными потрясениями и пережитыми ужасами начал я свою жизнь в школе.

В первое утро прибежали в училище охотники — набралось их не больше десятка. Это были подростки старше меня. Среди них были и Миколька с Семой, который очень похудел после горячки. Пришел и Шустенок, надутый, чванный, с колючей улыбочкой в прищуренных глазках.

Елена Григорьевна явилась в школу в том же платье и кофте, но в белом полушалке, повязанном по-деревенски.

В классе она записала всех на бумагу, заставила прочитать каждого по книжке и вызывала к доске — написать несколько слов. Сема попал в первое отделение — к неграмотным, и я видел, что ему было обидно и совестно сидеть одному, большому, с малышами. Мы четверо — я, Кузярь, Миколька и Шустенок — попали во второе отделение. Для старшего отделения никого не было. Хотя мы читали и писали хорошо, но ни арифметики, ни грамматики не знали.

Сначала Шустенок сидел в общей куче, а потом, когда нас разделили по группам, он нелюдимо забрался на заднюю парту и, словно нарочно, раз за разом дохал простудным кашлем. Он кособоко поднялся и с ухмылкой стал клевать носом то одно, то другое свое плечо. Это было смешно, и все повизгивали от хохота. Даже Сема, измученный болезнью, заливался смехом. Учительница удивленно спросила Шустенка, что с ним происходит, но он не ответил, а только искоса взглянул на нее одним глазом и отвел его в сторону. Миколька повернулся к нему и с серьезным видом пояснил:

— У Шустова язык-то — в кармане. Он там таится — людей боится: ябедник.

Все засмеялись опять, но Елена Григорьевна недовольно сдвинула брови и осадила Микольку:

— Не балагурь, Николай! Надо уважать место и товарищей.

Она подошла к Шустенку, но он отпрянул от нее в самый угол.

— Не замай! — хрипло промычал он.

Елена Григорьевна покраснела и вернулась к своему столику. Она задумчиво и строго оглядела всех и заговорила с нами, как со взрослыми. Она внушала нам, что ученье в школе — это тоже работа, но работа не в одиночку, а общая, многолюдная, дружная, как на сенокосе или на гумне, или как на «помочи». А для того чтобы эта работа — ученье — была спорой, успешной и радостной, необходим порядок, общее согласие, тишина, как это бывает в хороших больших семьях. В семье есть отец, мать, их слушаются, им попусту не перечат: они опытны, много прожили и пережили и знают, как надо вести хозяйство и как мудро воспитывать детей. Школа — это тоже семья. Она должна быть крепкой и слаженной, и старшая в этой семье — учительница. Ученики должны слушать ее и подчиняться, как матери. Она наставляет только на добро, учит читать, писать и считать, чтобы в жизни быть разумными и сильными.

Однажды утром подлетел к школе вороной рысак с вытянутой атласной шеей, как на картинке. На блестящем черном тарантасе сидел ключовский барин — Михайло Сергеич Ермолаев, а рядом с ним — обрюзглый поп в шляпе и фиолетовой рясе. Михайло Сергеич спрыгнул легко и, высокий, подвижной, с темной бородкой клинышком и длинным галчиным носом, широкими шагами подошел к Елене Григорьевне с доброй улыбкой и приветливо снял измятую шляпу.

— Здравствуйте, милая девушка! Как устроились? Огляделись немножко?

Елена Григорьевна покраснела и сдержанно и учтиво ответила:

— Но ведь мне не привыкать стать, Михаил Сергеич.

К попу по-стариковски подбежал Лукич и протянул ему руки, сложенные вместе горсточкой.

— Ну, помогай мне вывалиться из колымаги, старик. Потом благословлю.

Лукич что-то бормотал ему бабьим голоском. Поп действительно не слез с тарантаса, а вывалился, опираясь пухлыми руками о плечи Лукича.

Михайло Сергеич поглядел на нашу ребячью толпу и ласково пробасил:

— Здорово, ребятишки! Вот и школа у вас. Учитесь прилежно.

Он повернулся к попу и запросто распорядился:

— Проходите, батюшка! Сейчас же начнем освящение. Приглашайте нас, молодая хозяюшка!

Учительница смущенно и с поклоном проговорила:

— Милости просим, Михаил Сергеич! Пожалуйте, батюшка!

Поп жирно прорычал:

— Лукич, разжигай кадило!

Он тяжело поднялся на крылечко и скрылся за дверью.

За ним легко вбежал Ермолаев и с крыльца опять оглядел ребятишек.

— Вводите своих питомцев, Елена Григорьевна! А вы, дети, входите по порядку, по двое, чинно-благородно.

Он показал из-под усов желтые зубы, и глаза у него стали свежими и молодыми.

— Люблю этих маленьких мужичков! Труженики, умники, с природной сметкой.

Учительница смело ответила:

— Потому и умники, Михаил Сергеич, что с ранних лет живут в труде. А это лето было для них тяжелым испытанием: и неурожай, и холера, и потеря близких, и полное разорение, и обиды... Эти подростки и размышляют не по-детски.

Михаил Сергеич внимательно, с пристальным любопытством всмотрелся в нее, и над переносьем у него прорезались кверху две морщины.

— Да, да... Печальные события, которые даром не проходят... Так-с!.. Ведите детвору, Елена Григорьевна!

Он по-барски кивнул головой и перешагнул порог в коридорчик.

В школу явилось уже человек двадцать, половина — из поморских домов. Во время молебна никто из них — конечно, и мы с Кузярем и Семой — не крестились и не кланялись, а стояли столбом. Барин

Ермолаев стоял позади попа, сбоку у окна, и подпевал ему глухим басом, выпячивая кадык:

— Го-осподи, поми-илу-уй!

А поп в епитрахили играл кадилом, а иногда взмахивал им, и синий пахучий дымок вился колечками и клубочками, поднимаясь к потолку.

Лукич подкрадывался к нам и со злым ужасом в выцветших глазах шипел:

— Молитесь, окаянные! Кулугуры беспутные! Он, батюшка-то, башки вам свернет, святотатцы!

Но мы стояли истово, неподвижно, как чучела. Учительница подошла к старику и что-то прошептала с упреком.

Вошли староста Пантелей и сотский. Они по-хозяйски пробрались вперед, а Пантелей даже оттолкнул Елену Григорьевну назад.

Поп сказал непонятное строгое напутствие, а потом начал разбрызгивать кистью из лошадиного хвоста воду и на нас и на парты. Потом он помахал нам крестом и протянул его Ермолаеву. Барин приложился к нему губами, поцеловала крест и учительница, а затем один за другим стали подходить ребятишки. Но мы, беспоповцы, по-прежнему стояли, как истуканы, и теснились позади всех, у самой двери.

— А вы там чего торчите, шелудивые? — с добродушной строгостью крикнул поп. — Кулугуры, что ли? Ну, бог с вами, еретики!

Михаил Сергеевич повернулся к нам и, улыбаясь в усы и в бородку клинышком, глухим ласковым баском поздравил нас со школой и проговорил какие-то скучные, чужие слова.

Миколька с Семой, как большие, стыдливо выглядывали из-за косяков двери, словно пришли со стороны. Шустенок выскочил из толпы учеников и прилепился к отцу. Он часто оборачивался к нам и нахально ухмылялся: я, мол, за тятяшкой-то как за каменной горой.

Поп снял епитрахиль, поправил обеими руками свои бабьи волосы и с почтительной улыбочкой поклонился Ермолаеву.

— Великое деяние совершили вы, Михаил Сергеич: вот и еще школку открыли — зажгли светильник во тьме, и тьма его не объят. Свет Христов просвещает всех — даже раскольников. А тьма здесь и трясина болотная — многолетние. И вы жезлом просвещения ударили по твердыне тьмы — и брызнул источник живой воды.

Ермолаев рассеянно выслушал попа, оглядывая классную комнату, и почему-то торопливо пригласил его:

— Ну, поехали, батюшка!

Он подошел к учительнице и пожал ей руку.

— Желаю вам успеха в вашей плодотворной работе, Елена Григорьевна. Милости прошу посещать нас. Всегда будем рады вас видеть. Если будете нуждаться в моей помощи, прошу не стесняться.

Елена Григорьевна неробко улыбнулась и поблагодарила его. Ермолаев прошел мимо старосты с сотским и даже не взглянул на них.

Михаила Сергеевича Ермолаева и свои и окрестные мужики считали справедливым человеком. Говорили, что ни кабалы, ни отработок у него в хозяйстве не было, что беднякам он помогал и семенами на очень льготных условиях, и запашкой своими лошадьми их полосок, а в своем имении держал сторонних рабочих. Наш барин, Измайлов, хоть и дружил с ним, но, не стесняясь своей дворни, ругал его за то, что он валандается с мужиками, держится с ними запанибрата, мирволит лентяям и пьяницам, устраивает школы и больницы в волостных селах, а главное — подрывает дворянское хозяйство и сеет смуту среди мужиков. А смута потрясла и нашу деревню, когда Ермолаев продал часть своей земли, примыкающей к нашим угодьям, своим мужикам по сходной цене с рассрочкой выплаты долга на десять лет. Наши мужики еще не забыли сделку Измайлова за их счет с мироедом Стодневым и решили предъявить Измайлову требование уступить им землю у Красного Мара, которую у него через Крестьянский банк пожелало купить даниловское общество. Но Даниловка — село большое и богатое: там много было

торгашей, барышников, которые держали в своих руках ткачих, решетников, шорников, ложкарей и токарей. Наши мужики не захотели новой кабалы: Крестьянский банк как будто давал большие льготы, но по их расчету выходило, что банк хоть называется крестьянским, но был еще более беспощадным живодером, чем помещик. Это были те же выкупные платежи, которые наложены были на крестьян при выходе их на «волю». Повторилась та же история, какая была с продажей земли Стодневу. А когда мужики заявили, что они хотели бы купить землю по той же цене и на тех же условиях, как и ключовское общество, Измайлов заорал и затопал на них ногами.

Так наши мужики и остались ни при чем.

XVII

Сначала ребятишек было мало: отшибал от школы давнишний страх перед учением у малограмотных стариков, которые вбивали буквы в память детишек жгутом из утиральника или чересседельником. А в семьях не только у поморцев, но и в мирских к светской школе отношение было недоверчивое, хмурое, скитское: учение привыкли связывать со словом божиим, душеспасительным подвигом, а попросту — с истязанием. Не всякий мог пройти это испытание, выдерживали только способные к грамоте или с детских лет приученные к благочестивому смирению, а норовистые неслухи отбивались от такой пытки и предпочитали оставаться неграмотными.

Когда же ребятишки разбегались из школы по домам и, захлебываясь, рассказывали, как в школе вольготно да гоже, да какая учительница ласковая и для каждого находит милое слово, а с малышами вместе грамоту по звукам запела и заставила их с черной доски палочки да оники в тетради списывать, — в школу день ото дня прибегали парнишки. Несмело и стыдливо пришли и девчонки. Недели через две ни одного пустого места на партах уже не было. В нашем отделении прибавилось только два человека:

сынишка барского садовника — Гараська, худенький, бледненький, но вертлявый всезнайка, похожий по разговору на барчат, и, к моему изумлению, Петька-кузнец. Он вошел в класс вместе с Еленой Григорьевной хоть и стеснительно, но с обычной деловой серьезностью, как большой.

Елена Григорьевна приветливо ободрила его:

— Не смущайся, Петя: видишь, здесь все свои, всех знаешь.

Петька ответил рассудительно:

— Чай, я не в дремучем лесу.

Никто на эти его слова не усмехнулся, все чувствовали к нему уважение.

Только Гараська не сдержался по своей живости и с веселым блеском в жизнерадостных глазах пошутил:

— Мужичок — с ноготок, а слова — как дрова.

Петька сидел за партой с достоинством разумного труженика, которому непристойно огрызаться на озорные глупости бездельников. Он даже и ухом не повел на дерзость Гараськи. Мы с Кузярем толкнули друг друга локтями и переглянулись. У Кузяря блеснули в глазах злые огоньки.

Отнеслись мы к Гараське по-разному: мне он понравился и чистоплотностью, и недеревенской смелостью, и голубыми веселыми глазами, которые смотрели на нас пристально и дружелюбно. А Кузярь косился на него враждебно: он не терпел никого, кто приходил с барского двора. Только уважительно и не по характеру робко держался с Антоном Макарычем, который посещал его больную мать.

— Ты не тявкай, барбосик! — озорно крикнул он Гараське. — Тут тебе не барская дворня.

Елена Григорьевна погрозила Кузярю пальчиком и с укором покачала головой, но глаза ее лукаво улыбались.

— Я не барбосик!.. — с обидой воскликнул Гараська и покраснел от возмущения. — Сам-то чего лаешься? Мы в школе-то все ровня.

А Кузярь неожиданно заявил с серьезным видом:

— Ныне же подеремся на кулачках! На язык ты

гораздый, а вот в поединке какой — кулаки расскажут.

Елена Григорьевна встревожилась.

— Вот этого не надо, Ваня. Дружба требует рукопожатия, а не драки.

Но все ребятишки взбудоражились, а девчонки жались друг к дружке и по-бабьи ворчали на Кузяря и Гараську.

Елена Григорьевна рассадила наше отделение поновому: Микольку, как большого, водворила на заднюю парту, Петьку с Гараськой поместила за нами, а Шустенок опять оказался один на парте перед Миколькой и позади Петьки с Гараськой. Я оглядывался на Петьку и видел только его сосредоточенное, деловое лицо и ожидающе-пристальный взгляд на учительницу. Это был прежний Петька — работяга-разумник, который был старше себя, хозяин над собой, и я удивлялся, когда и у кого он смог научиться читать и писать: ведь он по горло был занят работой по дому, в кузнице, а этим летом на него обрушились такие беды, которые раздавили бы и мужика. Значит, он не один год корпел над азбукой, над книжкой, над бумагой, на которой старательно и упорно выводил буквы и выписывал слова. Кто же помогал ему? У кого он перенял умение владеть перышком? Какая у него должна быть воля и терпение, чтобы не пасть духом, не надорваться, не потерять своей ребячьей бодрости! Я знал только одно, что такой труженик, как Потап, все время держал Петьку при себе, приучал его к труду и свою любовь к работе незаметно передавал ему с добродушием хорошего человека. Я вспомнил, как в позапрошлую зиму Петька равнодушно отвечал на мое хвастовство, что я умею читать: на что ему в кузнице и в хозяйстве азбучка? Отец и без грамоты на всю округу искусник. И мне стало смешно: Гараська верно угадал его характер хитрого мужичка-коротышки, который таит про себя свои мысли и поступки и не упустит ничего для своей пользы.

Елена Григорьевна словно играла с ребятишками. Она переходила от одного отделения к другому: позанимается с малышами, даст им самостоятельную ра-

боту — разные палочки да оники писать — и подходит к нам. И каждый раз в простую задачу или в примеры вносила что-то неожиданное новое, увлекательное. Но стоило кому-нибудь из перваков завозиться или заскучать, она подходила к малышам:

— Встаньте, дети! Сядьте! Опять встаньте!

И начинала вместе с ними вскидывать руки вверх и в стороны. Детишки веселели, улыбались, словно пробуждались от дремоты.

Возвращалась она к нам с улыбкой в синих глазах, оглядываясь на малышей, словно ей еще хотелось поиграть с ними. Но около нас она, не погашая улыбки, задавала вопросы и слушала наши ответы. Первым вскидывал руку Кузярь и с торжествующим блеском в глазах нетерпеливо тянулся к ней. За ним с обычной усмешечкой себе на уме поднимал руку Миколька. Как рослый парень, он только подавал знак, что готов говорить, если учительнице охота потолковать с ним. Редко поднимали руки Петька и Шустенок. Петька был несловоохотлив и на вопросы отвечал без вызова, когда не соглашался с кем-нибудь из учеников. А Шустенок только смотрел исподлобья маленькими, прижатыми к носу глазишками и сопел, наклоняясь над партой. Веселым живчиком вел себя Гараська.

Одна из таких поразивших меня бесед навсегда осталась в памяти: спор разгорелся до конца урока и продолжался всю перемену и в прихожей.

— Вот мы, ребята, прочли и разобрали стихи о дожде, который золотом падает с неба, и золото будет собрано тучным зерном, которым заполнятся амбары. Старики говорят, что это было в давние времена, а теперь вот замаяли неурожаи. Но ведь земля-то та же и люди те же, а почему такие перемены?

Елена Григорьевна обратилась к Микольке. Он вышел из-за парты и вкрадчиво сказал:

— Да ведь год на год не приходится. Иной год бог посылает дождик круглое лето, а то вот, как летось аль нынче, — сушь да гарь. Старики-то всегда толкуют, что в былое время все лучше было.

Поговори с ними — они скажут, что и люди были раньше в два роста, а в плечах — косая сажень.

Кузярь фыркал, подпрыгивал, злился и обжигал Микольку глазами.

— Это что же? Старики-то, по-твоему, небыль да дурь плетут? Дубина!

— Ваня, не груби! — одернула его Елена Григорьевна. — Надо приучаться выслушивать товарища, а потом уж возражать.

— А чего он дурачком прикидывается? — еще сильнее разгорячился Кузярь. — Старики-то правду говорят: наше место в лесах было, вся речка пряталась в зелени, полноводная была, а по берегам родники гремели — издали слыхать было. А с каменных обрывов вода как стекло падала. Земля-то досыту водой напитывалась. Вот и урожаи были. А сейчас что? Везде голо, глина да песок, родники высыхают, да и речка — не речка, а лягушиная лунка.

— Это барская плотина ее запрудила, — поправил его Петька, но Кузярь и на него окрысился:

— Чай, вода-то там через гауз идет: лишки-то никакая плотина не удержит.

Миколька не обиделся, он сморщился и защурил глаза от молчаливого смеха. Сел он как будто безучастно, но исподтишка возражал Кузярю кроткими вопросиками, как несмышленыш:

— А куда же, Ваня, лес-то делся?

— Вырубили — вот куда. И не мужики вырубили, хоть лес-то по речке нашинский был, а бары. Покойник тятька говорил, что это вскорости после воли было. Нагнал барин дворовых с топорами да пилами, а мужики на них — с косами да вилами. Драка-то, бывало, до убийства доходила из года в год. Наши мужики в суд подавали, да суд-то судил мужиков за разбой.

Из отделения перваков Сема вдруг выпалил:

— Правду-то мужик за пазухой носит, а кривда жиреет да по свету гуляет.

Эту поговорку я сам не раз слышал от мужиков. Только Сема ее продумал да прочувствовал вместе с дедушкой и бабушкой.

Елена Григорьевна слушала очень внимательно и не останавливала Кузяря: она даже подошла к нему и всматривалась в него с изумлением.

— А потом, откуда урожай-то будет? — совсем уже разгорячился Кузярь. — На душевом клине не разгонишься: земля-то не отдыхает — все рожь да рожь. Она и под паром не бывает, а округ нас — глазом не окинешь, и все барская земля да мироедова...

Он неожиданно засмеялся.

— Золото, золото падает с неба... Только золото собираем не мы, а бары да кулаки, вроде Стоднева да Ивагина. Стихи-то эти тоже барин написал про себя да про барчат.

Я настойчиво дергал вниз рукав Кузяря, но Иванка отбрыкивался. Я шепнул ему сердито:

— Кто за нами сидит — забыл? Шустенок только и ловит, как бы поддеть нас с тобой.

Елена Григорьевна тоже с тревогой оборвала разговор:

— Итак, разберемся, ребята, в чем старики правы и почему повторяются неурожаи. Ваня верно сказал: речки и родники высыхают оттого, что во многих местах вырубаются леса. А леса охраняют воду. Волга лет сто назад была глубока и широка, потому что текла в густых лесах, а теперь леса вырубили, и она обмелела. Конечно, при малоземелье, при переделах, при плохом удобрении да при посеве одним и тем же зерном поля истощаются. Тут уж и дождик мало помогает. Только имейте в виду, ребята, мы не вольны разбираться в законах и еще малы годами, чтобы осуждать порядки. Мы вольны читать только то, что в книжке напечатано.

И тут нас всех ошарашил Шустенок — испорченным от давнишней простуды голосом он просипел:

— То-то и есть. А Кузярь с Федькой — кулугуры. Они только средь бунтарей и мызгали. Тятяша уж давно нарокчается на съезжей их отпороть.

В классе сразу все обмерли, даже малыши обернулись в нашу сторону и со страхом прижались друг к дружке.

Кузярь разъяренно обернулся к Шустенку.

— Руки коротки!

Елена Григорьевна впервые рассердилась.

— Ваня Шустов, я запрещаю тебе запугивать товарищей. Ты — ученик, а не сотский. Ты еще ребенок! А в школе ты должен с нами жить в мире и согласии и заслужить любовь и доверие товарищей. Иначе у нас будет ученье не в ученье. Если ты хочешь учиться, дорожи дружбой учеников, а будешь кляузничать — самому будет невтерпеж. А ты, Ваня, — так же строго предупредила она Кузяря, — не говори, чего не спрашивают. Не тебе рассуждать о вещах, о которых ты не имеешь понятия.

После уроков мы обычно гурьбой провожали Елену Григорьевну до самой ее квартиры. Сема отставал от нас у своей избы. Он обиженно ворчал на меня:

— Надо, чай, баушку-то Анну наведывать. Она глаза проглядела на вашу избу-то: тоскует об тебе. А отец с матерью и думать об нас забыли. Приходи, я тебе кой-чего покажу — обневедаешься.

Школа не интересовала его, и он чувствовал в ней себя чужаком. Он занят был только своим делом — корпел над какой-то выдумкой. Его тянуло в свою норку — в выход, где у него было что-то вроде мастерской, а чтение, письмо и арифметика не увлекали его.

В нашей жизни вспыхнул жар-цвет — живое счастье, которое ослепило нас и заиграло в душе неугасимой радостью, похожей на чудесную песню. Я переживал волнующую сказку наяву. Невольно вспоминалась былина об Иване Буяныче, об удивительных подводных чертогах, о призрачно-легкой деве Моряне. И в эти мгновения я верил, что сказки есть и в нашей жизни, что счастье всегда теплится в душе, как свечка, и витает над человеком, как ангел-хранитель, но не такой, о каком говорила бабушка Анна, а похожий на трепетную касаточку и на весеннее солнышко.

Кузярь посветлел, горячие его глаза преданно смотрели на учительницу, и в них таяло озлобленное и мстительное ожесточение. Он, как и я, готов был не отходить от нее ни днем ни ночью и охранять ее, не

жалея жизни. А Миколька стал серьезным, задумчивым и как-то издали любовался ею, словно боялся оскорбить ее своей деревенской нескладностью.

В низине, в ветлах, Елена Григорьевна останавливалась и почему-то вздыхала.

— Как здесь хорошо! Пахнет осенними ветлами и речкой.

Я тоже любил это место: весь крутой склон горы был густо покрыт зарослями колючего терна и заплетен непроходимыми кистями ежевики, а внизу, между ветлами, росли молодые осинки, дубки и черемуха. Слева, под обрывчиком, рокотала по камням речка. Оттуда пахло голубой глиной. Эта глина, вязкая, маслянистая, длинным пластом лежала под черным перегноем и рухляком, спускалась к воде. Мы, ребятишки, брали эту нежную глину, как густое тесто, и лепили лошадок, коровок и кукол. От горьковатого запаха ветел и пряного аромата глины в дни прохладной осени становилось на душе спокойно, благостно и почему-то грустно. Хотелось дышать всей грудью, молчать и ни о чем не думать.

Мы ходили провожать Елену Григорьевну только этой дорогой: она была безлюдна, а к колодцу за водой бабы приходили только по утрам и вечерам. Для нас эта дорога была полна чудесных открытий, похожих на волшебные сказки.

Каждый день Елена Григорьевна раскрывала перед нами удивительные тайны, которые до этих дней были для нас только обычными обрывами, буераками, высокими взлетами крутых взгорьев заречья, на гребнях которых тянулся длинный ряд изб с глухими дворами, крытыми соломой. Все это было близким и понятным — все это было нашим родным местом, нашим селом, где мы знали каждый камешек, каждую колдобину, каждый гремучий родничок и каждую тропочку. И вдруг оказалось, что все это живет своей скрытой, огромной, необъятной жизнью в бесконечных веках. Мне и раньше мерещилось по ночам, под звездами, в жуткой тишине, что земля — живая, что она дышит и смотрит в звездную бездну так же, как я, и так же ей страшно этой таинственной ночной тишины.

Поразительно было, откуда наша учительница знает, что скрыто в земле и как земля жила в прошлые времена.

Вот эти наши горы и эту низину в обрывах, оказывается, выгрызла и вымыла наша маленькая речушка. Она добралась до могил невообразимо древних веков и выкопала для нашего ребячьего развлечения эти сугробики рассыпчатого песка. А «громовые стрелы» — «чертовы пальцы» — вовсе не стрелы и вовсе не пальцы демонов, а хвостики каких-то морских уродцев. Значит, здесь у нас бушевало такое безбрежное море, как Каспий. В какие-то далекие времена здесь росли дремучие леса, но вот хлынуло на них море-океан, и они захлебнулись в пучине. Занесло их илом, известкой и всякими солями. А над ними плавали всякие рыбы и эти уродцы. Елена Григорьевна очень интересно и увлекательно рассказывала нам, как деревья превращались в камень, а потом, когда речка вымыла их, стали они раскалываться звонкими плитками, белыми, как снег. Эти каменные пни выходили наружу в мокрых прибрежных осыпях на том крутом берегу, и ребятишки приносили их в школу целыми кусками. Но когда же и как родился человек? Елена Григорьевна загадочно улыбалась и обещающе отговаривалась:

— Вот подождите, поучитесь, будете читать разные умные книги — и многое узнаете.

И я видел по ее глазам, что ей известно и это событие, но почему-то она не хотела раскрыть нам свою тайну.

Петька был как будто равнодушен к рассказам учительницы: он рассеянно смотрел на ветлы, заложив руки за спину, и слушал галок.

XVIII

Часто после занятий в школе Елена Григорьевна ходила по избам, где лежали больные. Начала она с Груни, матери Кузяря. Возилась она с ней по целым часам: осматривала и прощупывала ее, сама клала

ей на живот припарки, давала какое-то лекарство и кормила ее жиденькой кашицей, поила чаем и приказывала Кузярю не давать ей ни капусты, ни квасу, ни картошки. Потом стала заходить к ней с Антоном Макарычем, который почему-то не уезжал из села. Каждый день после школьных занятий Елена Григорьевна гуляла с ним по луке, а иногда они ходили вместе в Ключи — или к Ермолаеву, или к тамошнему учителю. Груня скоро стала поправляться и попыталась встать с постели, но Елена Григорьевна уложила ее опять. По селу пошла молва, что учительница поставила Груню на ноги, и к Елене Григорьевне стали приходить бабы даже в школу. Они ждали ее до конца занятий и уводили с собою.

У Парушиной невестки, Лесыньки, заболел парнишка лет шести. Он ходил с матерью на речку, где она полоскала и отбивала вальком белье, а парнишка бродил по осенней воде. Пришел он домой весь мокрый и синий от холода, а ночью задыхался от кашля и метался в жару. Лесынька рано утром прибежала к Елене Григорьевне и со слезами утащила ее к себе. Елена Григорьевна решила, что у него воспаление легких. Она положила ему согревающий компресс и велела Лесыньке до ее прихода из школы два раза переменить его. Но из школы она побежала на барский двор и возвратилась с Антоном Макарычем. Ушел он в сумерки один, а Елена Григорьевна продежурила около мальчонки всю ночь. Около нее сидела и Лесынька и сама металась, как больная, от горя. И эта всегда жизнерадостная бабенка вдруг так ослабела и пала духом, что вся омертвела, осунулась и обливалась слезами.

— Это я, окаянная, виновата... — стонала она. — Моя это вина... Не уберегла сыночка... Умрет он, и я с ним в одну могилу лягу...

Входила Паруша из черной половины избы и, строгая в скорби, нежным басом уговаривала ее, но Лесынька вырывалась из ее рук, сбрасывала с головы платок и волосник, падала на кровать и прижималась к ребенку. Малаша в черной половине читала псалтырь на избавление младенца от хвори.

Елена Григорьевна проделала и с Лесынькой чудеса. Она пошепталась с Парушей и вывела ее из комнаты, а сама обняла Лесыньку и с ней зашепталась. Так она сидела с ней в обнимку долго, а потом засмеялась, как девочка. Лесынька затихла и, слушая ее, сама заулыбалась. Потом они вместе захлопотали около парнишки. И Лесынька слышала только уверенно-бодрый голосок Елены Григорьевны:

— Он скоро выздоровеет... жить будет... Антон Макарыч его вылечит. И он такой же будет озорной и веселый, как ты же. И не смей реветь и отчаиваться: этим ты только повредишь ему. Ведь он слышит, как ты оплакиваешь его.

И, словно в ответ на эти слова Елены Григорьевны, парнишка пропищал, как в бреду:

— Не надо, мама... Мне больно... А чего ты не поешь? Ты поешь тоже...

— Вот видишь, Лесочка! Чтобы ребенка воскресить, ты должна быть, как и раньше, веселой и улыбаться ему... и тихонечко иногда попеть...

И Лесынька, к удивлению домашних, по-прежнему стала прыткой, хлопотливой по хозяйству, и опять ее певучий голосок заиграл и на дворе и в избе, а в глазах светилась радостная надежда.

Всякий слух в деревне разносился очень быстро. Всякие передряги и перебранки, большие и маленькие невзгоды и радости сразу долетают до ушей в каждой избе и горячо обсуждаются в семьях. Обычно толки и пересуды начинаются среди баб и девок у колодцев, где они собираются утром и вечером. Они долго стоят с коромыслами на плечах и перебирают всякие семейные мелочи — сплетничают, судачат, жалуются на свои горести.

Мать узнала там же, как убивается Лесынька над заболевшим сынишкой, и рано утром побежала к Паруше. Взволнованная, трепетная, она в такие минуты вся напрягалась от жажды деятельности и казалась очень бодрой и сильной. Она обняла и поцеловала Парушу, бросилась к Лесыньке, которая уже успокоилась после задушевного разговора с учительницей, хотя и ослабела от пережитого отчаяния, и так же по-

рывисто расцеловалась с ней. Не отрываясь от нее, она заговорила с нею бойко, страстно, с ласковой строгостью и любовной настойчивостью: разве можно над постелькой сынка убиваться и слезы лить? Ведь смерть-то только этого и ждет. А парнишечка терзается, тает, как воск от огня, и в глазках у него потухает солнышко. Надо со светлой верой к нему подходить, веять на него бодростью и переливать в его маленькую душу свою силу. Вечером она опять убежала к Паруше, запросто обошлась с Еленой Григорьевной, которая хлопотала около парнишки, и последила, как учительница накладывает компресс и как ободряюще лепечет что-то, наклонившись над ребенком. Елена Григорьевна очень ей понравилась, и она сразу же прилепилась к ней. Она расспросила, что и как надо делать, и осталась у Паруши до самого обеда. С тех пор мать сдружилась с учительницей. Они как-то сразу почувствовали друг друга и заулыбались.

Парнишка выздоровел, и все в деревне решили, что Елена Григорьевна — чудесная докторша. И в самом деле, она подняла на ноги Груню, которая лежала в постели уже не один год, и спасла от смерти внучонка Паруши. Ведь даже лекарка Лукерья ничем не могла помочь Груне, а учительница, веселая барышня, словно ангел, исцелила их как-то легко и походя. Но самое главное, что поразило людей, — это ее бескорыстие.

Иногда она забегала и к нам, и в нашей старенькой избушке, всегда сумеречно-темной, вдруг словно вспыхивал свет. Жизнерадостный голосок Елены Григорьевны и ее смех звенели еще во дворе: это она встречалась с отцом или матерью и шутливо разговаривала с ними. Я порывисто вскакивал из-за стола, где корпел над домашними уроками, и с бурей в сердце распахивал дверь и летел ей навстречу.

Отец, польщенный ее приходом, старался показать себя перед нею бывалым человеком, который знает, как держать себя с образованными городскими людьми. Он подтягивался, склонял голову к плечу и

рисовался перед учительницей. Говорил он с ней играющим голосом, улыбался в бороду и закатывал глаза. Дворик у нас был круто-покатый, в каменных пластах и сумрачный от соломенной плоскуши. В углу перед кормушкой стояла пегая лошаденка, всюду бродили куры, пахло сеном, которым был забит другой угол, и дегтем.

И мне казалось, что Елене Григорьевне не место здесь, в сумрачном нашем дворике, загроможденном у плетней всяким хозяйственным хламом. Рядом с учительницей мать вдруг начинала светиться, трепетно улыбаться, и в широко открытых ее глазах вспыхивал огонек счастья.

Елена Григорьевна прижималась своей нежной щечкой к щеке матери и осторожно гладила ее руки.

— Ну до чего ты нервная, Настя! Право же, по твоим рукам можно сразу узнать и твою душу, и твою жизнь.

Мать говорила своим певучим голосом:

— И откуда ты к нам прилетела? Вот вижу тебя — и сердце у меня тоже, как голубка, бьется. Думаю, что я здесь так и сгину — в этом нашем бездолье, а гляжу на тебя — и чую: не жильцы мы тут — чего бы ни было, убежим без оглядки.

Елена Григорьевна оглядывала избу и восхищалась:

— Ты, Настя, из хлевушка делаешь нарядную хоромку. В этом чистеньком гнездышке может жить только женщина с хорошими думами.

Мне и матери было приятно, что учительница нашу избушку называла хоромкой. Мать привередливо чистила и украшала ее каждый день: пол хоть и столетний, но половицы всегда были желтые, как воск. Самотканая набойная скатерть не снималась со стола. На старинном киотике и на окошках висели белые полотенца с широкими выкладями, вытканными матерью. А на стенах я прибил сапожными шпильками картинки, которые выменял на тряпки у «шебалятника»: «Демон и Тамара», «Сирин и Алконост» и портреты Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В ком-

натке всегда пахло мятой, которая лежала на киоте кудрявыми букетиками.

Мать очень любила красивое вышиванье, и Елена Григорьевна приносила ей свое рукоделье — вышивки по канве и гладью, с которых мать переносила на свое льняное полотно сложные рисунки. Обе они садились за стол, и Елена Григорьевна учила мать шить гладью так, чтобы на изнанке не было ни путаницы, ни махров. И я чувствовал, что мать всем сердцем привязалась к Елене Григорьевне и наслаждалась ее близостью.

— И зачем ты к нам, в это болото, приехала, Оленушка? — удивлялась мать.

А Елена Григорьевна ласково отшучивалась:

— Как зачем? Меня зовет братец Иванушка.

— А я с Федей улетела бы отсюда на край света. Тут я — как птица в клетке.

Елена Григорьевна пристально вглядывалась в лицо матери и раздумчиво, словно сама с собой, говорила:

— Простым людям, Настя, везде трудно живется. Вот ты была на ватаге. Разве там лучше? Ведь из вас там все силы выматывали.

— Чего и говорить...— соглашалась мать, но вспыхивала от улыбки. — Да зато люди-то там какие! Уж как ни погибельно там бытье, а сейчас бы птицей туда улетела.

Уроки в школе для меня были занятнее и увлекательнее игры: каждый день нам открывалось нежданно новое и негаданное. Земля, трава, воздух, синее небо, солнышко, месяц и звезды мы видели каждый день и каждую ночь — это был наш мир, привычный и обыденный. А в беседах с Еленой Григорьевной этот мир вдруг превращался в великую бесконечность, полную тайн и необычайных откровений. И потрясающе любопытно было сознавать, что и я и все мы — это лучи солнца, волшебно претворенные в людей. Для чего сотворил это бог? Что такое бог? С наших икон он смотрел древним стариком, седым, бородатым. Значит, он тоже дряхлеет, как дедушка Фома или как сторож Лукич? А ежели стареет, значит умирает? Но

его называют бессмертным. Почему же он постарел? Зачем ему вздумалось на старости лет творить? Почему не творил молодым? Он и раньше представлялся мне жестоким и грозным стариком, который только и делал, что карал людей ни за что ни про что: насылал на них болезни, голод, нужду, бар и мироедов, которые обирали народ, а земские начальники и полиция пороли людей розгами и засаживали в остроги. Должно быть, и ангелы не вытерпели его самодурства — взбунтовались, а он расправился с ними, как исправник с нашими вожаками.

Пока стояли ясные осенние дни, прозрачные, безветренные, мы по воскресеньям уходили с учительницей за деревню, в березовую рощу. Очень старые березы толпились здесь густо в зарослях молодого осинника, ивняка и малинника, а внизу звонко рокотал ручей в каменных пластах и в ворохах голышей.

Здесь пряно пахло горьковатым ароматом увядающих и прелых листьев, блеклой травой и еще какими-то хмельными запахами, которыми дышат только эти тихие и грустные осенние дни. Но в этой странно воздушной легкости серебристых с чернядью березовых стволов, в ожидающе приветливой заросли моложеньких осинок, в багрянце трепетных листьев и стройных березок, осыпанных золотом, Елена Григорьевна ликовала от счастья. Она срывала платок, и ее волосы тоже переливались золотом. Она забывала и о нас и о себе и бегала между серебряными стволами, как девочка. Потом внезапно останавливалась, прислушивалась к лесной тишине, полной призрачных шорохов, четкого постукивания дятлов, робкого пересвиста невидимых птичек, и певуче говорила:

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...

Ей, должно быть, хотелось скрыться в зарослях, остаться одной в непроходимой гущине и помолчать. Она словно не замечала нас и, оборачиваясь,

смотрела на стройную толпу белых стволов, которые как будто светились, поднимаясь по крутым склонам впадины. Длинные плети тонких ветвей спускались донизу, как расплетенные косы. И, медленно падая, всюду трепетали, как бабочки, желтые листья. Мне тоже хотелось думать о чем-то грустном и милом и смотреть на крылатый полет золотых листьев.

Словно по уговору, мы отставали от нее, спрыгивали с обрыва к ручью, к водопадикам в камнях и принимались делать запруды, и Миколька, как взрослый парень, садился поодаль от нас на старый пенек и скучал. Не отставал от нас и Шустенок, хотя и держался нелюдимо, волчком. С ним никто не дружил: все опасались его, как ищейки, и считали, что он способен на всякие коварства.

В один из таких золотых дней мы сидели на берегу ручья и теснились вокруг Елены Григорьевны, которая рассказывала нам о перелетах птиц и об осенних листьях, тоже улетающих с деревьев. Она говорила так живо и увлекательно, что опадающие мотыльками желтые листья казались живыми, а деревья, которые оголялись на зиму, казались по-новому загадочными: они тоже были живые, и у каждого дерева был свой характер, но было смешно, что они раздевались на зиму, вместо того чтобы потеплее одеться. Но тут же мы узнали, что это неспроста; листья — не шуба, а орган питания и дыхания. Они всасывают лучи летнего солнышка, и эти лучи в зелени производят чудесную работу — и варят пищу, и выделяют кислород, которым дышим. Деревья и травы — это наши ближайшие друзья: без них мы не могли бы жить — ни дышать, ни есть, ни одеваться.

Шустенок выше по ручью буровил палкой воду, и к нам она текла грязная и сорная. Как и всегда, он и теперь старался пакостить нам. Кузярь следил за ним, и глаза его вскипали ненавистью.

Елена Григорьевна приветливо звала Шустенка:

— Ваня, иди сюда! Чего ты там воду мутишь?

А мы издевательски подхватили:

— Он всегда воду мутит... Ему абы в грязи барахтаться.

— Нет, он способен быть хорошим товарищем. Он знает и чувствует, что без дружбы не проживешь.

Но он упрямо буровил воду.

— Мне и тут хорошо. А с ненавистниками мне хлеб-соль не есть.

— Так какого же ты черта увязался с нами? — рассвирепел Кузярь. — Сидел бы дома и глаз нам не мозолил.

Гараська с веселым презрением язвил:

— А кто же тятьке ябедничать будет?

Елена Григорьевна укоризненно покачала головой и подошла к Шустенку.

— Ну, брось свою палку, Ваня, и пойдем со мной — будем все вместе. Слышал, как мы интересно беседуем?

Шустенок, как назло, начал с размаху шлепать палкой по грязи, и черные брызги далеко полетели в нашу сторону. Елена Григорьевна отскочила назад и испуганно оглядела рукава кофточки.

Меня как будто опалило огнем: этот сволочонок посмел оскорбить Елену Григорьевну! Не помня себя, я бросился к нему со всех ног, вышиб из его рук палку и стал трясти его за уши.

Он так был ошарашен, что и руки не поднял, а только замычал от боли.

Миколька, посмеиваясь, поощрительно припугнул меня:

— Молодец-то молодец, а теперь берегись — от сотского житья не будет.

— Боялся я, как же...

Кузярь толчками гнал Шустенка куда-то в лес.

— Браво! Доблестные у тебя защитники, Леля!

С крутого спуска между стволами берез сбегал Антон Макарыч. В серой тужурке, в примятом, сдвинутом на затылок картузе с голубым околышем, размашистый, полный здоровья, он пленял меня своей простотой, жизнерадостностью и какой-то неотразимой внутренней силой.

Елена Григорьевна покраснела и вся затрепетала от радости. А он подошел к ней, взял ее руку и поднес к губам. Это было так ошеломительно для нас,

что мы сбились в плотную кучку и глазели на учительницу и Антона Макарыча с немым изумлением. Кузярь ухмылялся и глупо чмокал свою руку. Но Гараська ударил его по руке и забормотал сердито, как парень, который знает барское обращение:

— Чего передразниваешь, дурак! У городских это в обычае. Кавалер всегда к ручке прикладывается.

XIX

Как-то во время уроков внезапно раздался веселый церковный трезвон. В окно видно было, как Лукич на колокольне прыгал и махал обеими руками, словно лихо плясал вприсядку. Ребятишки всполошились и вскочили с мест. Елена Григорьевна, встревоженная, побледневшая, кое-как утихомирила ребят и упавшим голосом сказала, словно сообщила о несчастье:

— К нам в село въезжает священник. Хотя трезвоном встречают только архиерея, но староста, вероятно, решил со звоном принять батюшку. Для прихожан это большое событие: ведь своего священника не было здесь много лет.

Дверь в класс быстро распахнулась, и на пороге появился сотский с грозно выпученными глазами, в суконной поддевке, с шашкой на боку.

— Учительша! — по-солдатски скомандовал он. — Веди своих учеников встречать его преподобие, батюшку. Чтобы у меня все было, слеха-воха, чинно-благородно... Марш все на улицу!

Елену Григорьевну я никогда еще не видел такой разгневанной и властной. Она храбро пошла к двери, высоко подняв голову, и накинулась на сотского:

— Как вы смели, сотский, ворваться в класс без моего разрешения и нарушить занятия? Убирайтесь вон и носа своего больше не показывайте!

Я с ликующей радостью следил за каждым движением учительницы и торжествовал, наблюдая за сотским, который ошарашенно стоял в распахе двери и бормотал несуразно:

— Это как, елеха-воха?.. Не слушаться?.. Кто ты здесь?

— Хозяйка! А ты здесь — никто! Я подчиняюсь только инспектору народных училищ. Закрой дверь и больше сюда ни ногой!

Сотский со злобной растерянностью попятился назад и огрызнулся:

— Ну, погоди же... я становому донесу... батюшке доложу...

Елена Григорьевна молча отстранила его рукой и затворила дверь. Возвратилась она к своему столику хоть и бледная, потрясенная, но в глазах ее горячо переливались лихорадочные огоньки, а сама она стала как будто выше ростом, и во всей ее стройной фигурке чувствовалась гордость и боевое удовлетворение.

С милой улыбкой она оглядела всех ребятишек и сказала просто и спокойно:

— Ну, ребятки, за дело! Продолжим наши уроки!

Колокольный трезвон разливался по-прежнему лихо и оглушительно, но почему-то не тушил голоса Елены Григорьевны. Кузярь шептал мне, задыхаясь от удовольствия:

— Вот так да! И не побоялась в морду Гришке плюнуть. Вот надо-то как! А он, как барбос, и хвост перед ней поджал.

Миколька хитренько подмигивал нам и поглядывал на Елену Григорьевну озадаченно и встревоженно: я видел, что он не ожидает ничего хорошего от столкновения ее с сотским и боится за ее судьбу.

На перемене мы увидели толпу мужиков и баб у нового дома попа, тройку лошадей поодаль и два воза с поклажей. Высокий поп в коричневой рясе, гладко причесанный, с бабьей косой, свернутой в дулю на шее, крестил толпу двуперстием и говорил что-то благочестиво елейно. Лицо в темной бороде улыбалось морщинками около глаз, и издали он был очень похож на иерея Иоанна Кронштадтского, лубочный портрет которого висел на стене в мирских избах. Около него без картузов увивались староста и сотский.

В этот день он к нам в школу не пришел, и мы, как обычно, слушали чтение Елены Григорьевны. Она рассмешила нас стихотворением Алексея Толстого:

У приказных ворот собирался народ
Густо...

Мы с Кузярем и Гараськой просили ее прочитать еще и еще раз.

Она лукаво спрашивала:

— А чем стихи вам понравились?

Нам казалось, что эти ядовитые, складные слова написаны про наше село, про бар и мироедов: каждая фраза была понятна, близка нам и прочно въедалась в память своей соленой остротой. Мы наперебой перекликались отдельными строфами. Кузярь насмешливо сообщил:

Говорят в простоте, что в его животе
Пусто.

А Гараська озорно налетел на него:

Дурачье! — сказал дьяк. — Из вас должен быть всяк
В теле...

Я спрашивал их обоих обличительно:

— Да ведь народу-то жрать нечего. Откуда же у него тело-то будет?

Гараська или Кузярь самодовольно отвечали:

Еще в Думе вчера мы с трудом осетра
Съели!..

Ребятишки хохотали и приставали к нам:

— А ну-ка, еще... Эх, как гоже-то!

Елена Григорьевна заражалась нашей игрой и читала стихи о Спеси. А Кузярь проходил по прихожей, задирая голову, и важно тянул:

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь...

Ребятишки и девочки обмирали со смеху и повизгивали от восторга:

— Ведь чудодей-то какой! Ну, вылитый Сергей Ивагин!

Смеялась и Елена Григорьевна, пристально наблюдая каждого из нас. А Миколька стоял, как взрослый, поодаль и, ухмыляясь, себе на уме, с притворной простоватостью поощрял нас:

— Вам бы в балагане на ярманке представлять... Глядишь, по гривне заработали бы.

Сложив руки на груди, как умный мужик, Сема снисходительно усмехался. Он чуждался наших веселых проказ. Ему было здесь не по себе: у него по домашности много было забот. Дедушка недужил и больше лежал на печи: последний год совсем подкосил его.

Мать рассказывала мне, как однажды он пришел к нам в избушку и, словно нищий, просил отца помочь допахать арендованную дедушкину землю на нашей стороне вместе с Титом. Отец с матерью приветили его, угостили обедом и ухаживали за ним, как за дорогим гостем. А дедушка, растроганный, вспоминал о былых годах и плакал, стряхивая заскорузлыми пальцами слезы с седой бороды. А потом начал по старой привычке владыки дома поучать отца, как надо жить исправно, как хозяйничать, и ругать его за уход из семьи и за распутство на чужой стороне. Отец сидел за столом рядом с дедом и тер ладонями глаза, скрывая злорадную усмешку.

— Это разоренье от тебя с жененкой пошло: избаловались на стороне, обмирщились, испакостились, забыли заветы дедов-прадедов... Вот нас бог и наказывает, а бес-то мутит, раздор сеет. И парнишку на потеху дьяволу в мирской загон бросили...

Отец не возражал, не злился, а с сознанием своего достоинства посоветовал:

— Ты, батюшка, за Титкой гляди: не ровен час, он тебя по миру пустит. Ты думаешь, что он все в дом тащит, а он исподтишка, невидимо тебя обирает.

Дед совсем забылся и, как прежде, гневно закричал:

— Поговори у меня! У него учиться надо, как домашность соблюдать. Такого сына на редкость у кого найдешь. Он ни днем, ни ночью божьего слова да крестного знаменья не забывает.

— Вот он тебе, батюшка, крестом-то да божьим словом, как заклятьем, и глаза отводит.

А дед постукивал по столу кулаком и кипятился:

— Я вот к тебе с докукой приплелся — старость свою не пожалел из-за нужды, а он мне в ноги кланяется да за грехи мои перед иконами по десяти лестовок отстоит. У него подрушник-то весь в дырах — протерся! А передо мною да перед матерью слова не промолвит, шагу не шагнет без благословения. У кого такие сыновья в селе?

— Мое дело — сторона, батюшка: как хочешь — так и прочишь. А со стороны мне виднее стало: божьим-то словом обманывать нехитро — легче легкого. Ты бы пощупал, чего зарыто у этого богомольца да смиренника на гумне.

Дед вскочил из-за стола и яростно обрезал отца:

— Не ты, Васька, хоронить меня будешь, а он — Титка. Он и похоронит меня, как послушный сын. С тобой у нас нет божьего сожития: ты дьяволу предался и весь в соблазнах погряз.

Он истово помолился на иконы, повздыхал покаянно, стараясь укротить свою строптивость, и, насилуя себя, кротко изрек:

— Бог тебя простит, Васянька. Грехов-то на нас как желудей на дубу. Выезжай завтра на поле-то.

И сутуло пошел, по-стариковски, к двери. Отец почтительно проводил его за калитку, не скрывая своей снисходительной и знающей усмешки. Дед пошел вниз, шаркая сапогами по песку, а мать подняла нижнюю половинку окна и смотрела вслед ему с жалостью в потемневших глазах. Этот маленький, заросший седым руном старик словно сросся с землей: он зыбко шагал согнутыми в коленях ногами, не поднимая их, а вспахивая песок, — корявый и вековечный, с молоденьких ее лет заедавший ее жизнь. Но в этой согнутой, затерзанной барщиной и бедностью фигуре старика была какая-то скорбная покорность и безнадежность. Так и казалось, что вот-вот споткнется и упадет на дорогу и больше уже не поднимется.

Вдруг он остановился и, оглянувшись, взмахнул рукой, подзывая отца. Он зашагал обратно, навстречу ему, бодро и прытко, как молодой, и мать издали видела, как глаза его под седыми клочьями бровей пронзительно и жадно воткнулись в лицо отца.

— Ты вот, Васянька, с Сергеем Ивагиным связался: по округе ездишь на своей кляче — скупаешь на его деньги шкуры, холсты да щетину. От барышей своих он тебе семишник с рубля дает, как нищему. Взял бы ты меня в долю: я сам бы рубь в карман клал, а ему — семишник.

Мать не стала слушать и с треском закрыла окно.

XX

Поп пришел в школу на другой же день после приезда. Лукич, издавна по-собачьи служивший ключовскому попу, распахнул дверь в класс и с восторженно-слезной улыбкой и ужасом воскликнул по-бабьи:

— Батюшка к нам жалует!.. Батюшка! Пастырь наш благословенный!.. К ручке все, к ручке, к целованью!..

Елена Григорьевна с мягкой строгостью оборвала его:

— Ну и пусть идет... Что же в этом особенного? А в класс врываться самовольно я ведь тебе запретила, Лукич.

— Да ведь батюшка... священник, чай...

Он опрометью, по-стариковски юрко, беспамятно, как шальной, побежал обратно, оставив дверь открытой настежь.

Поп, высокий, уверенно-властный, в фиолетовой рясе, с серебряным крестом на груди, вошел в класс, приглаживая ладонью волосы на голове. Мы дружно встали при его появлении, а Елена Григорьевна пошла ему навстречу, потухшая, холодно-почтительная.

Он перекрестил учительницу и сунул руку к ее лицу. Она смутилась, очень покраснела и как-то

неловко приложилась губами к его руке, которая показалась мне большой и тяжелой.

— Ну, здорово, дети!

Он опять вскинул руку и широко перекрестил нас.

— Благословляю вас во имя отца и сына и святого духа. По воле божьей я послан сюда как пастырь, чтобы собрать воедино всех овец, которые отбились от стада.

Как хозяин и владыка, он прошел вперед, оттолкнув учительницу в сторону, и строго приказал:

— Сядьте, православные, а поморцы стойте!

Перед классной доской, на черном ее квадрате, поп казался угрожающе зловещим. Ключовский поп в сравнении с ним был добродушным толстяком — приезжал к нам на уроки закона божьего всегда навеселе и совсем не интересовался, кто из нас — поморец, кто — церковник.

Новый поп, отец Иван, сразу заполнил всю комнату. Свет в ней помутнел и стал густым и тяжелым, а Елена Григорьевна отошла к своему столику и, туго натянув за концы пуховый платок на груди, словно защищаясь от попа, настороженно поглядывала на него и, бледная, оцепеневшая, думала о чем-то — вероятно, о том, как достойно держать себя с ним, чтобы защитить нас от его самовластия и самой не ударить лицом в грязь.

Елена Григорьевна, сдерживая волнение, очень тихо и ласково разрешила нам сесть. А поп важно и плавно прошелся перед нами от столика учительницы до двери и обратно, поглаживая рясу на животе, и вцепился пухлыми пальцами в серебряный крест на груди.

— Я, дети мои, с младых лет, с юности и до мужества утопал во мраке заблуждения, как червь в болотной тине, пребывая в поморском расколе. Но явился мне во сне пресветлый ангел и коснулся огненным перстом моего лба. И я мгновенно прозрел, объятый пламенем. Вот этот свет я принес и в вашу тьму, чтобы исцелить слепоту ваших родителей, а в души ваши вложить истинный талант познания.

Слова его лились тоже плавно, бархатно, вдохно-

венно. Он был похож своим пастырским красноречием на Митрия Стоднева, погубившего и брата своего, и правдоискателя Микитушку, и уж одно это пробуждало у меня тревогу и неприязнь к попу.

Он взбудоражил все село: через старосту нарядил две подводы и вместе с Лукичом пошел в епитрахили из конца в конец, из избы в избу с крестом в руке и после молитвы приказывал:

— Несите на подводу яичек, мучки, пшенца... Такой побор будет во имя господа и пресвятой пречистой богородицы.

Он заходил без разбору и к мирским, и к поморцам и строго велел старообрядцам целовать крест. Но они противились и отказывались от целования креста и от новой повинности. Он молча крестился на иконы двуперстием и уходил из избы с улыбчивыми морщинками вокруг глаз. А на другой день к поморцам подъезжала подвода, и Гришка Шустов с двумя десятскими приказывал отпирать амбаришки, елозил по клетям и забирал яйца. Тех же упрямых мужиков, которые не подчинялись приказу сотского, запирали в жигулевке. А по праздникам, во время службы в церкви, поп Иван произносил красноречивые обличительные проповеди против поморцев и натравлял на них молящихся. В селе начались свары и вражда.

Чтобы не попасть в жигулевку, отец злобно отрывал от своих запасов то, что требовал поп, но к кресту не подходил. Поп кротко, как добрый пастырь, улыбался морщинками на висках и говорил с сожалением:

— А тебя, Василий, твои единоверцы сильно ненавидят. Ты им — поперек горла: на стороне был, обмирщился. И соблазн вносишь — других смущаешь из села бежать.

Отец бледнел и хрипло оправдывался:

— Мне самому до себя, а до других мне дела нет. Всяк по-своему с ума сходит.

— Я тоже не одобряю твоего поведения, Василий. Смущать народ негоже. Говорят, ты с деньгами из Астрахани вернулся, а деньги эти нечистым путем добыл. Блюди, как бы и парнишку до безбожных дел не

довел. Говорят, он у вас вынуждает старух да солдаток за свое грамотейство на всякую мзду — яички там, маслице и всякую всячину... С малых лет до чего он дойдет по этой дорожке? Ты бы, Василий, с семьей-то от греха к церкви присоединился: она защитит тебя от всякого зла и напасти. В ней — вся сила: она и казнит и милует. А схизма эта поморская — вне закона, как тать. За тобой и другие пойдут ко спасению.

Я впервые слышал попа в домашнем разговоре. Он стоял у нас в избушке, большой, под самый потолок, в длинной рясе, на которой лежала шелковая черная борода, а бороду окаймляла серебряная цепь с серебряным крестом.

Отец стоял перед ним маленький и тусклый, словно покрытый пылью, но не сгибался, не робел, а, скосив голову к плечу и судорожно задирая брови на лоб, смотрел злыми глазами мимо попа и с занозой в голосе отвечал:

— Мы, батюшка, живем, как нам совесть велит. А тебе бы собирать людские пересуды не к лицу. Получил с меня Христа ради ни за что от моих трудов — и довольно. А честь мою чернить тебе грешно и парнишку обижать по сану твоему не пристало. Чем он тебе досадил?

Такой смелости я совсем не ждал от него: должно быть, злоба и ненависть к непрошеному гостю и вымогателю довели его до бешенства, и он уже не владел собою. Мать смотрела на попа с гневным изумлением, и я впервые заметил, что она довольна поведением отца.

Поп широко перекрестился на иконы, сделал низкий поклон и смиренно сказал:

— Бог тебя простит за гордыню и пренебрежение к духовному отцу. Но ежели случится с тобою какая-нибудь поруха по воле божьей, приходи ко мне, и я облегчу твой душевный недуг.

— Добрый путь, батюшка. Я не был отступником и никогда им не буду.

Поп сверкнул глазами и важно пошагал к двери, опираясь на длинный посох.

Каждый день он в широкой своей рясе, в черной шляпе медленно и спесиво, как хозяин, проходил по улицам села, с тростью в руке, и с хитрой улыбочкой соглядатая присматривался и принюхивался к избам. Старики и старухи вставали с завалин и низко кланялись ему. Он важно подходил к ним, крестил их, взмахивая рукавом, а они протягивали к нему ладони ковшичком, ловили его руку и истово целовали ее. И всегда он участливо беседовал с ними об их хозяйстве, о семье, интересовался их здоровьем и призывал на них божью благодать. Но тут же, как будто сочувствуя им, вздыхал и соболезновал:

— А вон Паруша-то на вас злобится: гуляла она раньше по улице, как власть имущая, и все ее почитали, когда церковь в запустении была и поморцы вас невидимо в пленении держали. Настоятель-то их Митрий Стоднев еще и сейчас гнетет вас кабалой. А она, Паруша-то, верная его духовная сотрапезница, гордыню свою под видом праведности и милосердия перед вами держала. А сейчас вот я ей поперек горла встал.

Так он однажды натравил на Парушу давнишнюю ее подругу — соседку Орину, «мирскую», — высохшую, темнолицую от трудной жизни.

— Как пастырь, я скорблю от всяких ваших наветов друг на друга, семьи на семью. Вот говорят, что кто-то из вашей семьи снопы у Паруши на гумне ворует. Калякают прихожане, что Терентий грозится вилами кого-то из вас проколоть. Вот грех-то какой!

— Да чего это ты, батюшка, небыль творишь? — отмахивались от него старик и старуха. — Чай, мы с Парушиными век в добром согласии жили.

— Простодушные вы люди, — сокрушался поп Иван. — А вот не Парушины ли тайком, по-воровски, пожарными насосами да бочками пользовались, чтобы поливать свои полосы? На старости лет Паруша-то и на сходе людей к самоуправству подбивала, на грех наводила. И сейчас вот коварством православных и меня с ними бесчестит. Вы и не догадываетесь, а они, кулугуры-то, сейчас вредить православным будут всяким поношением: воры, мол, — снопы крадут,

а там, мол, норовят и избу поджечь. Ну, да бог нам поможет, а я не оставлю вас.

Он, как апостол, благословлял их и уходил дальше, обремененный заботами о своих пасомых.

В этой избе вспыхнула тревога: кричали бабы, орали мужики, а старуха Орина, гневная, пошла к Паруше. После взаимных поклонов по обычаю и учтивых расспросов о здоровье, о благополучии старуха, как будто между прочим, спросила со скорбной обидой, когда это и кто видел, что у Паруши кто-то из Орининой семьи снопы воровал и как это у Терентия совести хватило грозить ее семье вилами...

Паруша всплеснула могучими руками и с изумлением пристально всмотрелась в лицо соседки.

— Спаси, господи, и помилуй! Да какой это негодяй тебе в уши-то надул, Оринушка? Ведь вот я верой и правдой дружбу с тобой вела с самой молодости и не слушала никаких изветов. И в уме у меня никогда не было и не будет пойти к тебе с камнем за пазухой, с назолой в сердце. Ведь вот рази я поверю поклепам-то на вас? Я падогом от них отмахиваюсь и души своей замутить никому не дам. Содружье наше сохраню до гробовой доски.

— Батюшки, светы!.. — пугалась Орина. — Это какие поклепы-то, Парушенька?

— Да как же... Попался мне на улице ваш долгогривый, да и начал крестить меня издали. И пыхтит, и качается весь, и скорбит: Орина-то со стариком чего поведали... Крест целовали и молили храм по ночам охранять — будто мы хотим храм поджечь.

Орина затряслась от рыданий и закликала:

— Господи! Парушенька!.. И в мыслях-то не было... не верь — душеньки своей не убью...

— Знаю, Ориша. Не убивайся! Тычу я ему пальцем в грудной крест-то и стыжу его: который ты раз Христа распинаешь, поп? Лжу-то зачем на добрых людей возводишь? С Ориной да с семьей ее мы век, как родные, жили. Не богу служишь — демону. А сама — грудью на него. Знаю, мол, на какое зло идешь: грех да свары сеешь, до убойства людей хочешь довести, ради мамоны да антихриста.

Орина в отчаянии каялась:

— Прости меня, Христа ради, Парушенька! Чего я наделала-то, легковерная!.. Жизнь нашу, подруженька, осрамила...

— Не то еще будет, Орина. Не раз еще он нам душу замутит — не ручайся. Он только лжой и злом живет, отступник. Вишь, поборами, да хищением, да наговорами зачал приход свой к спасению вести! И бродит и вынюхивает, как волк перед стадом...

Хитроумный поп стал сбивать около себя и приучать самых обездоленных мужиков. В дни поборов он заходил к какому-нибудь нищему и голодному бедолаге, приказывал Лукичу принести с воза яиц, пшена или гороха и с кротким участием говорил:

— Вот это дар господь посылает тебе, чадо, ради спасения души. Не ропщи, молись, в грехах кайся. Исповедуйся у меня в церкви, кто смущает душу твою. По воле божьей помогать тебе буду и телесно и духовно.

Мужик падал перед ним на колени. А поп, как добрый пастырь, наставлял его быть смиренным и послушным праведному слову священника. Так он сумел в короткое время привязать к себе не одного бедняка. Этих мужиков он ловко натравлял на поморцев и на соседей, настроенных «крамольно».

Но однажды он напоролся на крикливый бабий скандал. Переходя от избы к избе, он в день побора зашел к Исаевой бабе, которая со своей подругой, бабой Гордея, очень бедствовала. Исай и Гордей сидели еще в остроге. Эта беда теснее связала женщин. Обе они с детишками стали жить в одной избе и делили между собою каждую крошку. Хоть и ослабели они от голодухи и прибаливали, но ни у кого из шабров ничего не просили и не унижались перед мироедами. А когда ходили в город, на свидание с мужьями, уносили с собою последние холсты, которые когда-то выткали на своих станах. Из города они приносили и по краюхе хлеба, и по полумешку муки. Сначала поп не заходил с молитвой в эти избы «крамольников», а в церкви обличал бунтарей и смутьянов в тяжких грехах против властей предержащих, в гра-

бежах, в своеволии, в зависти к богатым и в лености неимущих. Кара господня постигает всех таких грешников, но кающихся и исповедующихся в грехах бог в милосердии своем прощает и награждает сторицей. А бабы обоих «крамольников» — Марфа и Фросинья — после этих поповских обличений перестали ходить в церковь и охалили «долгогривого» всякими словами. Тогда поп решил, должно быть, покорить их своей добротой и незлопамятностью. Во время очередного побора он в епитрахили вошел в избу Марфы и Фросиньи вместе с Лукичом, пропел молитву и после креста велел Лукичу выложить на стол яички, полведра гороху и совок муки, воркуя о даре владычицы. Неожиданно обе бабы взбесились и заорали во все горло одна другой голосистей:

— Тащи назад, Лукич! Мы — не нищие, чужого добра нам не надо. Не подкидывай нам, батюшка, того, что у других отнял, у таких же голодных, как мы. Ишь чем прельстить задумал! У нас совесть есть, а у тебя нет. Убирайся отсюда подобру-поздорову!

Они не дали Лукичу даже к столу подойти с милостыней и чуть не вытолкали его за дверь. Уж на что поп был опытен в темных делах и в знании людских слабостей, но и он растерялся от этого внезапного отпора. Деревенские бабы обычно лизали ему руки и гнули перед ним спину в три погибели, а тут вдруг оглушили его две ледащие, обездоленные бабенки... Он попытался укротить их словом божьим и притворным своим смирением, но бабы еще злее набросились на него. Он не стерпел такого поношения — стал обличать их в нечестии, в оскорблении его сана, в крамоле. За такое их неслыханное кощунство он пригрозил им отлучением от церкви, если они не покаются, и потребует от старосты наказать их — запереть в жигулевке. А бабы и ум потеряли — выбежали вслед за ним на улицу, и их надсадные крики сквозь плач и визг детишек разносились по всей деревне. Выбежали соседи и издали глазели на этот невиданный скандал. Фросинья и Марфа — обе худущие, почерневшие — наперебой кидались на попа, клеймили его, как пса и обиралу, который тащит у бессчастных

людей последние крошки, и орали на зевак, что они бесчувственные свиньи и трусы — не хлопочут за мужиков, которые страдают за все село, которые не жалели себя, чтобы спасти от смерти народ....

Это происшествие долго обсуждали в селе. Одни бранили баб за неуважение к батюшке, другие смеялись и хвалили их за смелость. Но скандал этот был все-таки на руку попу: свара и разлад среди мужиков и баб доходили до уличных драк. А поп подогревал вражду и проповедями, и благочестивыми беседами по избам. И всю эту деревенскую междоусобицу сваливал на злобу и лукавство раскольников.

XXI

Мы с Кузярем сразу почувствовали в попе Иване зловещего человека.

Хотя учительница и запрещала Лукичу открывать дверь и тревожить учеников, он никак не мог утерпеть, чтобы не возвестить о приближении попа, как о необыкновенном событии: тощенький, желтый, с реденькой седой бороденкой, он сгибался, трепетал, как грешник, ожидающий страшного суда, и таял от набожного восторга. Елена Григорьевна уже не могла вести урока: она мгновенно блекла, замыкалась в себе и становилось странно чужой в нервной настороженности и враждебном ожидании. А отец Иван не считался с расписанием: он приходил в школу внезапно, обычно во время урока, как властитель, крестил широким взмахом руки толпу стоящих ребятишек и, не обращая внимания на Елену Григорьевну, кротким и поющим баском приказывал:

— Читай молитву, дежурный!

Но учительница однажды не выдержала и, бледная от возмущения, пошла ему навстречу. Она лицом к лицу остановилась перед ним у самого порога и сказала строго и учтиво:

— Я очень прошу вас, батюшка, не прерывать моих уроков. У вас есть свой час по расписанию — им и пользуйтесь.

Но он властно отстранил ее рукою и молча прошел к столику, с застывшей своей пастырской улыбочкой.

И вдруг Лукич перестал распахивать дверь и предупреждать о приходе попа. После смелого ее отпора отец Иван стал приходить в свой час. Но мы пронюхали, что он входил в прихожую крадучись, садился на табуретку у самой двери и подслушивал, что делается в классе.

Лукич был старик добрый и по-бабьи ласковый. Одинокий, весь какой-то ветхий, одетый в домотканое, носивший и летом и зимой смешную серую войлочную шляпу плошкой, каких уже никто давно не носил, он по-своему любил детишек. Когда они в перемену выбегали в прихожую или на улицу, он кричал на них визгливым бабьим голоском, совестил их и называл «окаянными не́слухами». Но в его голосе и благолепном лице не было ни злости, ни строптивости. Покрикивая, чтобы утихомирить детишек, он улыбался, и по бесцветным глазкам его видно было, что он любовался нами. А с Еленой Григорьевной говорил нежно, любовно, сострадательно.

Однажды, когда он в сарайчике рубил дрова, мы с Кузярем и Миколькой подошли к нему и сразу растревожили его своими упреками.

— Дедушка Лукич, — вкрадчиво и грустно спросил его Миколька, — аль тебе не жаль учительницу-то?

— Чего ты мелешь, окаянный? — рассердился Лукич, но сейчас же скорбно и душевно проговорил: — Девчонка-то какая радошная!.. Одна... на чужой стороне... И приветить-то ее некому... — И опять крикнул визгливо: — Вы ее, окаянные, не обиждайте. Легко ли ей с вами, арбешниками, такую епитимью нести!..

Но Миколька с угрюмой обидой упрекнул его:

— Да ты сам ее батюшке в обиду даешь.

— Не то что в обиду — на съеденье! — горячо подхватил Кузярь. — Он вон какой самоуправный, а она — маленькая!

Лукич был так потрясен, что бросил топор и бессильно сел на чурбак.

— Ушибли вы меня, окаянные... Душенька зашлась... — плаксиво забормотал он. — Это я-то?.. Как же это, ребятишки?.. Ее-то? Да ведь... чай, он — батюшка: сила какая!.. С наперсным крестом, у алтаря... Благодать на нем...

Я не утерпел и съехидничал:

— Ежели благодать на нем, значит не грех ему и учительницу мытарить? Он ее, как собачонку, шпыняет. Как же она будет нас учить-то?

Лукич окрысился:

— Ну, вы оба с Кузяришкой — кулугуры... да и молокососы... Рази гоже батюшку не почитать?

— А ежели он давит учительницу да житья ей не дает?

Кузярь злорадно поддел Лукича:

— Хоть дедушка Лукич и толкует, что Елену Григорьевну приветить надо, а сам вместе с батюшкой терзает ее.

Лукич так обиделся и разгневался, что вскочил с чурбака и весь затрясся от оскорбления. Дряблое лицо его сморщилось, и он запричитал надсадно:

— Да ты чего это, опенок, озорни́чаешь-то? Вот возьму да все виски тебе и выдеру, оглашенный... Ишь как развольничались, демонята!.. Не тебе, кукиш, баять, не мне слушать: я ее, учительницу-то, всяко заслоню и от чижолой руки, и от злого глаза, и от недобрых ушей.

Миколька сердито отголкнул Кузяря в сторону.

— Погоди ты, щипок! Дедушка Лукич на старости лет души не убьет. Он только сан почитает. А мой старик не зря говорит: «Сан, бывает, и дура́ку и супостату дан». Мы с дедушкой-то Лукичом содружно Елену Григорьевну заслоним. Он нас и на разум наставит.

Хитрая и притворно-вкрадчивая речь Микольки успокоила и растрогала Лукича. Должно быть, поп и его, покорливого и услужливого старика, успел обидеть. Мы знали, что он стал распоряжаться им, как своим батраком: заставлял его работать по двору, посылал с мирскими подводами за поборами, ездить за дровами, чистить картошку в кухне, рубить и солить

капусту и огурцы и даже мыть полы в дому. Сварливая, пучеглазая попадья горласто кричала на него, помыкала им, но не давала ему и куска хлеба.

Не успел поп прожить у нас и месяца, а во дворе у него уже было голов пятнадцать овец и ягнят, две коровы, которых ему привели с барского двора, и пара лошадей: одну из них пожертвовал ему Сергей Ивагин, а другую — Максим Сусин. Закудахтали куры, захрюкала свинья. Появился плетеный тарантас, и Лукич часто ездил с попом за кучера.

Мужики трунили меж собою:

— Мало было своих мироедов — давай долгополого. Так нам, дуракам, и надо. Спа́сенья-то даром не дается: и плати, и корми, и на себе в рай вези. Хошь не хошь, а вынимай грош. На службе-то божьей поп без чертей не обходится.

Так поп Иван быстро и глубоко пустил корни в нашем селе; и с длинным посохом ходил он по луке около своего дома и церкви, по улицам, медленно и величаво, как новый хозяин в своем поместье.

Для того чтобы отвадить попа от подслушивания, мы однажды с Кузярем отпросились выйти из класса «до ветру». С Лукичом мы договорились, чтобы он давал нам знать о приходе попа возгласом: «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Елена Григорьевна занималась с младшим отделением, а мы на грифельных досках решали задачи. Когда в прихожей глухо завыл Лукич, мы подождали немного, делая вид, что прилежно бьемся над трудной задачей. Кузярь толкнул меня коленкой, встал и отпросился выйти. Вместе с ним встал и я. Елена Григорьевна удивленно и пытливо посмотрела на нас, потом на дверь и кивнула головой. Миколька удержал Кузяря за рукав рубахи и прошептал с усмешкой заговорщика:

— Глядите, не влопайтесь! А ежели нарветесь, дурачками притворитесь.

Кузярь ухмыльнулся и озорно подмигнул ему. Он пошел впереди меня на цыпочках, чтобы не мешать заниматься Елене Григорьевне, но я уже знал, почему он подкрадывается к двери. Мне было и смешно, и немного страшновато: задуманная нами проделка была

очень рискованной. Как решено, мы оба брякнулись в дверь, и она с большой силой вырвалась из косяка, Кузярь сейчас же сдержал ее за скобу, и мы увидели, как поп схватился за голову и вскочил с табуретки.

Кузярь с лукавыми искорками в глазах захныкал:

— Прости, Христа ради, батюшка! Чай, мы не знали, что ты перед дверью сидишь. Ежели бы знатье, я первый бы отлепил дверь-то, как пушинку.

— На колени! — свирепо прорычал поп, выкатывая яростные глаза. Он рванулся к нам и хотел схватить нас за уши, но мы отскочили от него в разные стороны. Лукич стоял поодаль с батюшкиной шляпой в руках и держал ее, как икону.

— Ах вы окаянные! Ах вы арбешники!.. Батюшке-то какую вереду причинили!..

В этот момент выбежала Елена Григорьевна и с сердитым лицом спросила:

— Что случилось? В чем дело?

Поп опомнился, поправил обеими руками волосы и принял властную позу. На скуле у него вздулся багровый рубец.

— Вы распустили своих сорванцов, учительница. Почему они во время урока вырываются у вас из класса? И вот полюбуйтесь...

И он ткнул пальцем в поврежденную скулу.

Но Елена Григорьевна, красная от волнения, затворила дверь в класс и странно низким голосом, твердо, без робости сказала, смотря мимо попа:

— Но за что же вы хотите наказать этих ребят? Они не виноваты.

— То есть как не виноваты? — изумился поп, сбитый с толку независимым тоном Елены Григорьевны, и опять ткнул пальцем в скулу. — А это вам не доказательство? Кто же, по-вашему, виноват — может быть, я сам?

У Елены Григорьевны дрогнул и прошился ямочками подбородок от сдержанной улыбки.

— Я полагаю, батюшка, что вы были неосторожны — сели слишком близко к двери. А дверь каждую минуту может отворяться: могу выйти я, могу по-

слать кого-нибудь из учеников взять что-нибудь из шкафа... — Она вдруг засмеялась, и лицо ее задорно вспыхнуло. — Но вот я распахиваю дверь и так же вот ушибаю вас, — неужели вы и меня поставили бы на колени? Кроме того, вы пришли не в свой час. Никто из нас не думал, что вы сидите вплотную у двери и в такой неудобной позе.

Поп был так поражен словами Елены Григорьевны, что у него задрожала борода и рука судорожно хваталась за крест.

— Значит, вы лишаете меня права переступать порог школы и карать негодников? — с угрожающей кротостью проговорил он. — Как же вы мне, священнику, смеете противоречить и выражать дерзости! Вы порочите мой сан перед этими раскольничьими выродками и перед этим старым дураком.

Он вдруг освирепел, вырвал свою шляпу из рук Лукича и прикрикнул на него:

— Нечего тебе здесь бездельничать. Иди-ка лошадей вычисти!

Елену Григорьевну словно подстегивало каждое слово попа: она как будто вырастала перед нами и расцветала смелостью и уверенностью в своей силе и правоте, и впервые я увидел ее спокойной, холодной и бесстрашной.

— Никто у вас вашего права, батюшка, не отнимает. Но у вас есть свои часы. И нехорошо детей называть негодяями и выродками, а старика Лукича — дураком. Сан же свой вы сами унижаете. Весь этот шум не мы учинили. Ребятишки тут ни при чем, если вы неудачное место себе выбрали.

Мы никак не ожидали, что окажемся под защитой Елены Григорьевны. Поп следил за учительницей и, должно быть, хотел поймать ее, если услышит какие-нибудь «вольные речи». И мы решили самостоятельно оградить ее от беды — попа оглушить дверью, а самим разыграть невинных детишек, которые убиты ужасом перед неожиданной порухой с попом. Приготовились мы и к самому худшему: за эту нашу проделку учительница могла разгневаться и наказать нас, но зато мы спасли ее от поповского капкана.

Кроме того, мы возненавидели попа за его злые насмешки и издевки над нами, «кулугурами». Он называл нас «поганцами», «псятами», «окаянными», «оглашенными» и заставлял стоять за партами целый урок за то, что мы не крестимся во время классной молитвы, мучил нас своими кляузными вопросами о каких-то «догматах». Вопросы эти мы не понимали и глупо молчали, а он обличал нас в какой-то неведомой ереси и науськивал на нас мирских ребятишек.

— Вы — дети верного стада Христова, а они вот, поганцы, как псята, зубами на вас щелкают и готовы, окаянцы, загрызть вас, чистых ягняток. А мы сокрушим зубы грешников.

Но мы, окаянцы и псяга, на переменах играли с чистыми ягнятами и забывали о злых словах попа, которые сеяли вражду между нами. Мы были огорошены смелой отповедью Елены Григорьевны: она не только не допустила поставить нас на колени, а сама обличила попа в подлости. И мы наслаждались, поглядывая на ее лицо, вспыхивающее от негодующей улыбочки, и на растерянный лик попа, не ожидавшего доблестного отпора этой небоязливой девушки. Но особенно мы мстительно ликовали, любуясь багровой шишкой на его скуле.

Он напялил шляпу и широко зашагал к выходу с бешеной угрозой:

— Этого я, учительница, оставить не могу. Вы смуту сеете, противитесь моей борьбе с неверными и развращаете школьников.

Но Елена Григорьевна никак не встревожилась, а проводила его длинную фигуру в хламиде непотухающей насмешливой улыбкой. И только по дороге домой, когда мы, как обычно, провожали ее, она строговато пожурила нас:

— Предупреждаю вас, Федя и Ваня, чтобы этого больше не повторялось.

Мы горячо оправдывались:

— А зачем он повадился подслушивать? Чай, мы не для озорства скулу-то ему расшибли: он охотился за вами, да и нас, как кутят, травит. А сейчас он перестанет коварствовать.

— Ну, уж я как-нибудь отобьюсь, а вы свои проделки оставьте.

Мы забожились, что вольничать не будем: довольно и того, что сделали. Я только предложил держать дверь в класс отворенной, чтобы поп уже не смел войти в прихожую не в свое время. Кузярю так понравилась моя мысль, что он даже взвыл от восторга, а Елена Григорьевна весело рассмеялась.

— Ах вы потешники милые!

С этих пор дверь в класс оставалась открытой, и даже Лукич во время занятий пропадал или в сарае, или у попа во дворе.

Но Елена Григорьевна старалась незаметно освободить его из поповской кабалы: во время занятий она посылала его то в Ключи, к барыне Ермолаевой за книжками, то с записочкой на барский двор — к Антону Макарычу, то отправляла к себе на квартиру, где он отсиживался до конца уроков, а потом до вечера возился в школе. И на крики попа или попадьи ответа не было.

Однажды поп с притворным смирением спросил учительницу, вглядываясь в нее с пытливым подозрением:

— Где же пропадает этот бездельник Лукич? У меня по хозяйству работы невпроворот.

Елена Григорьевна удивилась и озадаченно дернула плечиками.

— Вот как! А я и не знала, батюшка, что Лукич служит у вас работником. В этом случае мне придется просить назначить в школу сторожа.

Поп высокомерно распорядился:

— Этот старик — при церкви: он в моей воле. А в школе он приватно, но школа неотделима от церкви, она под моим пастырским наблюдением. Распоряжаться стариком без моего ведома вы не вольны.

Елена Григорьевна усмехнулась, и в глазах ее блеснул игривый задор.

— А может быть, и я тоже в вашей воле и под вашим наблюдением? Но ведь наша школа — земская, а не церковноприходская. Наблюдает над нею инспектор народных училищ.

— Не забывайте, милая: я — пастырь. А в этом селе, где много раскольников, я имею благословение вязать и решать. И я не потерплю никакого свободомыслия.

Елена Григорьевна шутила:

— Значит, вы, батюшка, вольны и душой моей распоряжаться, как распоряжаетесь Лукичом, своим бесплатным слугой? Не тяжкий ли крест вы взяли на себя? Насчет меня вы ошибаетесь, отец: я — не овечка. Закабалить свою душу я никому, даже вам, не позволю.

Поп засмеялся, показав из-за бороды крупные зубы, но этот его смех был похож на оскал большого и страшного пса.

— Ну, со мной вам, девочка, советую не иметь брани.

Елена Григорьевна вышла с колокольчиком на крыльцо. На звонок ворвалась в прихожую и повалила в класс густая, тоже звонкая толпа ребятни.

Так началась между учительницей и попом невидимая борьба, в которую невольно вовлечены были и мы, «старшаки».

XXII

Я повадился ходить к Елене Григорьевне не только по праздникам, но кой-когда и в будни — после школы, по вечерам. Встречала она меня с ласковой вспышкой в глазах. Всегда заставал я ее за каким-нибудь делом: то за чисткой самовара, то за стиркой белья, то за шитьем, а то и во дворе, под горкой, где она вскапывала землю лопаткой и сажала вместе с Костей яблоньки и вишни. Простенько одетая, в белом платке, повязанном по-деревенски, в холщовом фартуке, она казалась совсем невзрачной, будничной, и мне было как-то обидно, что она теряла свой праздничный, красивый наряд, как цветок свои лепестки.

Синие ядовитые кучи уже не громоздились на дворе: их вывезли мужики куда-то в овраг. Это место мы с Кузярем вскопали и сровняли граблями,

а перед окном посадили вишенки и кусты сирени, которые прислал из барского сада отец Гараськи.

Иногда я заставал учительницу за стиркой во дворе, она, как родная, ласково и, как всегда, весело привечала меня:

— Пройди в комнату, Федя. Я сейчас кончу. А ты просмотри новые книжки на столе.

В сенях я встречал Феню, жену Кости, — молчаливую, высокую женщину, с затаенной думой в лице. Она проходила мимо и как будто не видела меня.

Я ни разу не слышал ее голоса, а когда разговаривала с ней Елена Григорьевна, она молчала, как немая. Но по ее лицу и по темным глазам, которые смотрели как будто внутрь, я вспоминал, что Феня была обездолена Сергеем Ивагиным, а потом пережила несчастье с Костей.

Елена Григорьевна говорила о ней сочувственно и тепло:

— Феня очень хорошая женщина: умная, строгая к себе и другим. Она очень много страдала, но о себе меньше всего думала.

Феня ни с кем не зналась и жила вместе с Костей, как в келье. Только Парушу любила, жаловала и уединялась с нею, когда та приходила проведать Елену Григорьевну.

Однажды в предвечерье, когда Елена Григорьевна, наклонившись над деревянным корытом, высоко засучив рукава, торопливо стирала белье, я столкнулся у крылечка с Феней. Она с ночевками — с мукой в корытце и ситом — шла из надворного амбарчика, статная, в белом платочке, завязанном не по-бабьи — на полголовы. Я всегда торопел перед ее сосредоточенно-задумчивым лицом и скорбно-строгими глазами, которые не видели меня. Но при этой встрече она вдруг улыбнулась, и улыбка эта как будто вдруг осветила лицо ее изнутри. Я тоже невольно улыбнулся и почувствовал, что отчуждение ее исчезло и она вся стала очень доброй, странно трепетной — такой, какой бывает мать в минуты радостной вспышки. Тихим певучим голосом, ласковым и грустным, но матерински властным она приказала мне:

— А ты к нам зайди, Федя, Костя — в избе. Он там чего-то с книжкой, как с человеком, разговаривает.

— Да, да, Федя! — обрадовалась Елена Григорьевна. — Иди к ним, посиди немного, а я скоро кончу свою работу. — И засмеялась лукаво: — А Феню не слушай: она меня ругает, что я стираю сама и не хочу лишать себя этого удовольствия.

Феня мягко подтолкнула меня на ступеньки крылечка. Костя сидел за столом с подвязанной рукой и, склонившись над какой-то книжкой, недовольно бормотал что-то и покачивал головой. Он показался мне стариком: беззубый рот у него провалился и нос стал большим и тяжелым. Он дышал тяжело, словно задыхался, и, худой, с серым лицом, острыми скулами и отеками под глазами, спорил с кем-то, как больной в бреду.

— Вот человека к тебе привела, Костя. Ты с ним и поговори, а книжка-то не слышит тебя.

Костя пригласил меня сесть рядом с ним и глухо, с хрипотцой, зашамкал:

— Вот тут один барин показанье дает, что мужику земли не надо. Человеку земли-то только на могилу потребно — три аршина. И выходит по-барски: ежели ты родился, мужик, — сейчас же отправляйся в могилу, а моя барская земля для тебя — заклята, хоть у меня во владении тыщи десятин. Для блезиру этот барин о своей земле и словечка не проронил, а мужика послал к башкирам. Ну, тут и слепому видно, куда барин гнет. Не завидуй, не бунтуй, о земле не думай, не пекись, а богу молись. Птицы небесные не сеют, не жнут, а сыты бывают. Так это — птицы, а человек-то ведь жив трудом своим. Знаю, граф-то хоть и не птица, но тоже не работает, а сыт, и пьян, и нос в табаке: за него да на него те же мужики и работают... Вот какие книжки бывают, Федор Васильич! А мужик о себе книжки еще не написал: темный мужик, еще азбуки не знает. Ну, да он и без азбуки грамоту свою хорошо понимает. Видал, как летом-то барам да кулакам прописали?

Феня неожиданно отозвалась из чулана с грустной шуткой:

— Уж больно пропись-то ваша, Костя, трудная да дорогая. Вот ты и зубы, и руку потерял, и грудь размололи.

— Не подох — значит на пользу, — с беззлобной шуткой пояснил Костя. — Мне эта наука на всю жизнь, Феонушка: мне сейчас все открыто, и дорогу свою я хорошо узнал. Я поротый, я и молотый. А ты вот у меня, молоденькая, за что по мытарствам горе мыкала?

Феня кротко и ласково ответила:

— За любовь, Костенька.

Костя с изумлением посмотрел на открытую дверь чулана и с болью в лице закрыл глаза. Он отшвырнул книжку в сторону, встал из-за стола и с робкой улыбкой возразил:

— Ведь любовь-то, Феня, радостью цветет. А какая же у тебя радость? Я — на кресте, а ты — под крестом.

Феня появилась в распахе двери и с затаенной усмешечкой в умных глазах посоветовала:

— А ты, Костя, у тетушки Паруши спроси, бывает ли без муки любовь-то?

И скрылась в чулане. В эти минуты я почувствовал ее необыкновенной — совсем не похожей на других баб. Я впервые в жизни слышал такой разговор между мужем и женой и как-то растерялся. До сих пор я видел в семьях другие отношения между мужьями и женами — рабскую и безмолвную покорность бабы и жестокую власть мужика. Я сам жил в такой семье и сам страдал страданием матери. Хорошая семья была у Паруши, но и там такие задушевные слова между мужьями и женами были немыслимы. Я догадывался, что между Еленой Григорьевной и Антоном Макарычем была тайная красивая любовь, непонятная для нашего деревенского народа. И я заранее знал, что, если бы мужики и бабы услышали и увидали в эти минуты Феню и Костю, они осмеяли бы их... Снисходительно и терпимо они могли относиться к студенту и учительнице, как к чужакам, как к полубарам, и забавляться их потешной дружбой. Но Костя и Феня, как свои люди, выходили из стародав-

них свычаев и обычаев и восприняли откуда-то с «вольницы» все «благородное». Так было с Петрушей Стодневым, который жену считал ровней, а за ребенком ухаживал по-бабьи.

— Да. Так вот, Федор Васильич: народ пропись свою кровью пишет и телами своими мосты мостит. Вся земля мужичьей кровью пропиталась. Так чья же она, земля-то? Дай срок, горе-горючее, кровью политое, полымем по всей нашей земле заполыхает. Сам прошел я через неопалимую эту купину, через все двенадцать страстей и — верую. А Тихон, и умом и силой богатырь, был и будет вожак. Зачем я об этом с тобой калякаю? Чтобы запомнил, в умишко вложил. Не графьев читай, а ищи и слушай хороших людей. — Он кивнул на окошко и подмигнул мне. — Вон как Оленушка аль Антон Макарыч...

Феня высунулась из чулана и с укором погрозила пальцем Косте. А я обиделся:

— Чай, я, тетенька Феня, не маленький. На своем-то веку всяко видал...

Пораженная, она вышла из чулана и, всматриваясь в меня, всплеснула в изумлении руками. А Костя хрипло захохотал, закашлялся и закрутил головой, едва выговаривая шепелявые слова:

— А ты еще грозишь мне, Фенушка. Видишь, какой он тертый калач? И плавал в море, и мыкал горе.

Феня взяла в ладони мою голову, поцеловала меня в лоб и ласково покаялась:

— Уж как ты оконфузил-то меня, Федя!.. Просто обневедалась я...

Но я хорошо видел, что она притворяется, что ей забавно смотреть на меня, как на парнишку, который пыжится быть мужиком и говорит словами бывалого человека. Это меня обидело еще больше: я тоже жил с хорошими людьми, и никто из них со мной не притворялся и не играл, как с потешником.

Феня вздохнула и раздумчиво проговорила:

— Не житье вам тут с матерью. В селе вы — чужие, как и мы.

— Нет, милка! — Костя протянул к ней руку, встал из-за стола и хромоного шагнул к Фене.

Она быстро повернулась к нему и со строгой морщинкой у переносья прикрикнула:

— Кому велено руку свою в покое держать? Ну, и слушайся! Вон Антон Макарыч идет с барского двора.

Но Костя обнял ее здоровой рукой и поцеловал в щеку.

— Нет, Фенюшка милая, бежать я не думаю. Чужие мы не народу, а мироедам да кровососам. В бродяги не пойду, а трусы сами себе волчий билет готовят.

Феня шутливо ударила его ладонью по лбу и прижалась к его щеке. Почудилось, что лицо у нее засветилось. Вот, значит, какая бывает улыбка счастья!

Как странно: я до сих пор думал, что Костя с Феней — люди, до смерти обиженные, несчастные, обреченные на позор и страдание. Костю и розгами пороли, и калечили в стане; Феня осиротела, и ее мироед Ивагин выбросил на улицу, а вышла замуж за Костю — изо дня в день исходила сотни верст, всю себя отдала на то, чтобы вызволить его из узилища. Но оказывается, что оба они счастливы в любви и сильны духом, совсем не исстрадались, словно все беды, которые выпали им на долю, не только не измотали, не обезнадежили их, а сбили их крепче, сделали их умнее и обогатили верой в счастье. Раньше я знал Костю с его братом, когда они занимались красильным ремеслом, веселыми ребятами, певунами — такими же, как все деревенские парни. А теперь Костя совсем изменился: ничего у него не осталось от прежнего парня. Феню я не знал прежде, и о ней никто не поминал. Но теперь ее узнало все село, и она своей упорной и неустанной борьбой за освобождение Кости вызывала удивление и уважительное участие к себе. А Елена Григорьевна вошла в их жизнь, как родная, и они звали ее Оленушкой. Обедала она в их половине, там же с Феней и рукодельничала.

XXIII

По праздникам у Елены Григорьевны гостевали учителя. Первым приходил ключовский учитель — мужиковатый, чернобородый, в длинной суконной блузе и тяжелых сапогах. Елена Григорьевна встречала его приветливо, но без обычной своей радостной улыбки, словно он приходил к ней не вовремя:

— А, Мил Милыч... Пожалуйте, напою вас чаем.

— Чайку — это хорошо, Леля. С вами за чайком и душа теплеет.

Звали его Нилом Нилычем, а Елена Григорьевна переименовала его в Мила Милыча.

Елена Григорьевна бойко выносила из-за ширмочки свой маленький серебристый самоварчик и скрывалась за дверью, а он, Мил Милыч, провожал ее умиленным взглядом, словно отец любимую дочку. Да и на самом деле он был уже пожилой, с сединкой на висках и усталыми глазами. Пока Елена Григорьевна относила самовар в другую половину — к Фене, Мил Милыч снимал сапоги, если они были заляпаны грязью, и почему-то шепотом приказывал мне украдкой:

— Вынеси-ка, паренек, эти сапожищи в сени да сунь их куда-нибудь в уголок, чтобы они Леле на глаза не попадались.

В теплых деревенских чулках он задумчиво прохаживался по комнатке и расчесывал толстыми волосатыми пальцами свою мужичью бороду. И каждый раз, как будто видел меня впервые, спрашивал угрюмо:

— Учишься? Это хорошо. Надо учиться, и книжки читать надо. Учись и живи на пользу народу.

Говорил он обычно глухим басом, скучно, неинтересно о том, что надо думать только о народе, надо служить ему, учиться у крестьянства братской жизни, потому что только общинные устои несут в себе свободу и будущее райское житье. Рассказывали, что в Ключах он пахал землю безлошадникам на барской лошади, выпрашивал у Ермолаева семена и засевал вместе с мужиками их полоски. На свои деньги

покупал в лавочке ситец или сарпинку для полуголых ребятишек.

Елена Григорьевна слушала Мила Милыча терпеливо, рассеянно, и мне казалось, что ей было очень трудно переносить этот его нудный глуховатый голос. И как только Феня вносила кипящий самоварчик, Елена Григорьевна радостно вскрикивала, бросалась к столику и звенела посудой.

— Ну, садитесь, Мил Милыч! Забудьте пока об общинных устоях, которых нет.

— Это как же так нет? — пугался Мил Милыч и застывал в гневном изумлении.

Елена Григорьевна смеялась и весело отвечала:

— Мироеды есть... Старшина да староста есть... Сотские да урядники есть... И, наконец, розги есть... Мужики разбегаются... общее разорение... голод... А рядом Стодневы да Ивагины, новые помещики, скупают землю, отбирают ее у мужиков, обрабатывают машинами и торгуют хлебом... Ну, не будем, милый, спорить. Садитесь!

Мил Милыч умилялся, любовно смотрел на Елену Григорьевну, и мне чудилось, что у него на глазах появлялись слезы.

— Милая вы моя девушка! Как вы похожи на мою покойницу жену!

Он садился к узкому краю столика, наискосок от Елены Григорьевны, которая устраивалась перед самоваром, и брал из ее рук стакан густого чаю.

— Вот ваш любимый крепкий чай, Мил Милыч! Я радуюсь, когда он делает вас ласковым и сердечным и вы перестаете быть вероучителем.

Он млел, слезно улыбался и любовался ею.

Как-то она попросила его:

— Расскажите о вашей жене, Мил Милыч.

Он пристально уставился на нее, потом встал и тяжело вздохнул. Мне показалось, что он застонал. Он опять заходил по комнате и впервые заволновался.

— Ну, Леля, коснулись вы больно... до раны моей незаживающей...

Елена Григорьевна всполошилась и умоляюще протянула к нему руки.

— Простите, Мил Милыч! Я не знала, что это для вас мучительно...

Он встрепенулся и порывисто схватил ее маленькие пальцы.

— Нет, нет, Леля, я и хотел рассказать о ней... о Лизе... да все мешали...

— А этот мальчик вам не мешает, Мил Милыч?

— Дети меня никогда не стесняют. Нет! Они чутки и озоруют от потребности в деятельности.

Елена Григорьевна с ласковым участием попросила его сесть. Он отрицательно мотнул головой.

— Нет, я так... я похожу... Мне так лучше... А чаек буду отпивать глоточками... Я привык шагать по комнате... В тюрьме привык... в камере... ровно шесть шагов... Так я отмерил верст тысячу...

— Что же с ней случилось, с вашей Лизой?

— Погибла... в жертву себя принесла... Она была до болезненности отзывчива и до святости совестлива. В наше время молодежь жила не так, как сейчас: она только и стремилась принести себя в жертву народу — страдать за него жаждала. Сколько их, этих молодых и талантливых девушек и юношей, сгорело! И все они старались раствориться в народе, чтобы их не видно было, чтобы о них и близкие люди забыли...

Елена Григорьевна встряхнула плечами и с недоумением улыбнулась.

— Этого я не понимаю. У человека одна обязанность — талантливо трудиться, расти, развиваться, а не отказываться от себя и от жизни.

— А я, Леля, не изменил и не изменю моей прекрасной вере. Эта вера и людей делала прекрасными. Они отказывались от всех личных благ и шли в стан погибающих за великое дело любви. Вот и Лиза тоже...

Елена Григорьевна повторила, вздыхая:

— Я этого не понимаю. Но преклоняюсь... Это подвижники... Ну, а Лиза, Лиза?

Мил Милыч уже спокойно и раздумчиво шагал из угла в угол, подходил к столику, отпивал из стакана и гудел своим глухим басом:

— Мы работали вместе: она — учительница, а я — в земстве. Но главное, чем мы были заняты, — это артель. Тогда в моде были артели, хоть все они скрипели...

Елена Григорьевна ответила с усмешкой:

— Потому что не за свое дело брались. Себя обманывали.

— Нет, нет, Леля, — вознегодовал Мил Милыч. — Это было великое служение и великая вера. Вы, теперешние молодые, изверились. Артели-то эти да не-крестьянские земельные общины погибали не по неопытности, а оттого, что маловерие стало души разъедать. Говорили тогда: поумнели, отрезвели... а злые языки издевались сами над собой: «оттрезвонили»...

Елена Григорьевна нетерпеливо вскрикнула:

— И Лиза была этими артелями увлечена?

Мил Милыч ответил ей строгим взглядом.

— Да, она увлекалась — собственно, не самой артелью, а мечтами о будущем. Скорее всего она создавала себе свой рай. Да и характер у нее был беспокойный: ей нужно было действовать, бороться, гореть. Будничная, спокойная работа угнетала ее. «Я не могу, Нил, — я умираю от скуки. Без подвига нельзя жить. А мы — поденщики, батраки. Я не хочу ползать, как мурашка, хочу взлетать высоко, гореть не сгорая...» И вот однажды гуляли мы в лесу с друзьями. Через лес пролегала большая дорога. Вышли мы на опушку и увидели большую толпу арестантов и этапников. Гремят кандалы впереди, а позади мужики, бабы — босые, рваные. Бабы — с детишками, а детишки плачут. Лиза застыла в ужасе, потом бросилась к толпе и низко ей поклонилась.

Мил Милыч забыл о чае. Одной рукой он ворошил свои волосы, другой теребил бороду.

— Но что же дальше с Лизой? — спросила Елена Григорьевна как будто самое себя, не слушая Мила Милыча. Она встала, прошла к окну, потом порывисто повернулась и так же быстро отошла к задней стене. Но сейчас же оторвалась от стены и оперлась обеими руками о спинку стула.

— Впрочем, я знаю... Я догадываюсь...

Мил Милыч вздохнул и, помолчав немного, ответил:

— Да. В тот же день она сказала мне: «Мы — разные люди, Нил. Ты хочешь спокойного дела, ты к малому сводишь великое. А я хочу гореть, волноваться, в грозе и буре народной быть. Я дальше так жить не могу. У нас разные дороги. Я должна с тобой расстаться, Нил. Знаю, что для тебя это удар, но пойми меня и прости». Уехала она как-то странно: весной, в слякоть, в бездорожье — уехала торопливо, на одноколке, с почтарем. Куда уехала — я не знал. Для меня она исчезла бесследно. Ждал я от нее весточек около года, но не дождался и сам пошел пешком на Волгу. Работал крючником на пароходе, потом тянул лямку в бурлацких артелях и все время искал ее. Но она как в воду канула. В тюрьмах посидел годика два. И вот случайно наткнулся на заметку в астраханской газете, что подследственная такая-то покончила с собой в тюремной камере. Помчался я в Астрахань и узнал, что в порту рабочие бросили работу и собрались огромной толпой на берегу. Нагрянули казаки и начали нагайками и шашками разгонять людей. Тут и Лиза была: она, оказывается, работала среди портовых рабочих. Вы понимаете, что́ за работу она вела? Ну, ее вместе с вожаками схватили. Избили всех до полусмерти. А Лиза не перенесла побоев и пыток. Я даже не мог добиться, где она была зарыта. Так-то вот... она хотела подвига... Ну, и добилась своего — крестную смерть приняла.

— Нет, дорогой Мил Милыч, — горячо запротестовала Елена Григорьевна. — Она боролась... за жизнь, за человека боролась... Она нашла свою дорогу, себя нашла...

На тощенькой, шелудивой лошаденке приезжал верхом из Спасо-Александровки учитель Богданов, высокий парень с густым руном волос на голове, добродушный шутник. Он врывался в комнату разма-

шисто, подхватывал под мышки Елену Григорьевну и вскидывал ее вверх. И оба они хохотали от удовольствия.

— Чувствую, чувствую, Александр, — вскрикивала Елена Григорьевна, — новые стихи привез.

Он не здоровался с Милом Милычем, а делал хмурое лицо и угрюмым басом мычал:

— Ну, конечно, тут и «последняя туча рассеянной бури»...

— А ты, Богдаша, «обняться с бурей был бы рад»... — смеялась Елена Григорьевна.

Мил Милыч обычно с недружелюбной насмешкой подсекал Богдашу:

— «А он, мятежный, ищет бури»... а буря-то мглою небо кроет!

Богданов вызывающе отвечал:

— «Будет буря — мы поспорим»...

— Эх вы... мечтатели! — сокрушенно вздыхал Мил Милыч. — В облаках витаете. Знаем мы, чем кончаются некие мечты...

Тут же наступала на него и Елена Григорьевна:

— Я думаю, что вы говорите не о близком вам человеке. Для меня, например, он — герой, за которым я хочу следовать.

Мил Милыч молча отмахивался и, занятый собою, бродил по комнате, упираясь бородою в грудь.

А Богданов шутил:

— На берегу пустынных волн, блуждал он, дум постылых полн, и в пол глядел...

Мне занятно было следить за их перепалкой. Слова, которыми они перебрасывались, были мне хорошо знакомы. Эта игра стихами казалась мне очень красивой. Значит, можно разговаривать и чужими певучими словами, только надо уметь пользоваться ими кстати. Пусть это шуточный разговор, но мне нравилась эта необычная возвышенность речи в обычном разговоре. От этого и Елена Григорьевна и Богданов казались тоже необыкновенными, как в действе. Но Богдаша и сам был необыкновенный человек: он сочинял стихи и читал их Елене Григорьевне, — нет, не читал, а пел их, размахивая руками, грозил кому-то кулаком, и го-

лос его гремел, или стонал, или становился жалобным, как у измученного человека. Он гневался и скорбел: везде видел рабов и мучителей, насилие и страдания, тюрьмы и цепи, но вдруг бодро призывал:

Смелее вперед —
За народ!..

Елена Григорьевна хлопала в ладошки, а Мил Милыч, усмехаясь в бороду, мудро изрекал:

— Стишками от жизни не отделаешься. Жизнь — это будничная работа, это долг.

Богдаша кричал возмущенно:

— А мы хотим бороться за лучшую долю в самой гуще народа и впереди.

— Ага!.. Праздничка хотите, песенок, — ворчал Мил Милыч. — А жизнь жертв искупительных просит.

Александр Алексеевич трунил над ним и старался растревожить его спором. Но он отмалчивался, как глухой, медленно шагая по комнате, или с сожалением упрекал Богданова:

— Напрасно пляшете, молодой человек: это не для меня. Я уже вырос из этих споров, как из пеленок. Спорите — значит не уверены в своих мыслях, значит одолевают вас мухи сомнений.

Александр Алексеевич смеялся:

— Забавная оговорка, Нил Нилыч: вы хотели сказать — муки сомнений...

— Нет, именно мухи сомнений. Для мук у вас нет мужества. А мужество — это совесть. Это — подвижничество и смирение, а не своеволие, юноша.

Александр Алексеевич от этого его ворчания веселел еще больше и старался раздразнить и разозлить его — называл «лишним человеком», «нищим духом», «ходячей совестью», «живым мертвецом», который хочет погреться в этой комнатке около молодых... Но Мил Милыч замолкал, грузно шагая по комнате, и задумчиво глядел в пол.

В памяти моей он сохранился удивительно прочно и живо. Приземистый, коренастый, густо обросший волосами, он иногда поражал меня неожиданными поступками. Так, однажды, в морозный зимний день,

он долго бродил по комнатке и, кажется, очень стеснял Елену Григорьевну. Наконец он оделся и, опираясь на свою толстую палку, покаялся со вздохом:

— Надоел я вам, надоскучил донельзя, милая Леля. Знаю. А вот не могу побороть потребности быть около вас. — И словно простонал: — Все время вижу в вас мою покойную Лизу.

На дворе, у амбара, Феня изо всех сил старалась расколоть клиньями огромный комлевый чурбак. Дрова привезли учительнице из ермолаевского леса. Костя складывал уже расколотые поленья к стене амбара. Мил Милыч подошел к Фене, взял у нее колун и сунул ей в руку свою палку. Елена Григорьевна, в шубке, в вязаной белой шали, подбежала к ним и с пристальным любопытством стала наблюдать за Милом Милычем. Он поплевал в ладони, перебросил колун из руки в руку и осмотрел его от конца топорища до обуха и лезвия. Вдруг глаза его посвежели от задорной улыбки и заставили улыбнуться и Феню. Он качнул перед собою колуном, широко размахнулся и вонзил его в сердцевину чурбака до самого обуха. Чурбак крякнул и звонко развалился пополам. Это был какой-то особый, рассчитанный удар наверняка. Так он без передышки расколол этот чурбак с первых взмахов на несколько поленьев. С такой же ловкостью и быстротой он развалил и второй такой же чурбак и, передавая колун Фене, опять улыбнулся ей с задором в глазах.

— Наука нетрудная, милая Феня. Надо только знать, как дотронуться до сердца.

Он взял у нее палку и молча пошел к воротам. Елена Григорьевна проводила его изумленными глазами, потом догнала у калитки, остановила и вскинула руки ему на плечи.

— Ну, зачем вы обуздываете себя, Мил Милыч?.. Зачем скрываете себя настоящего?..

И она впервые проводила его на горку и скрылась с ним в улице длинного порядка.

Костя раздумчиво поглядел им вслед, ударил себя рукой по бедру и озадаченно проговорил:

— Судим и рядим о человеке: и неудашный-то,

и бессловесный-то... А вот поди ж ты... какие чудеса в нем скрываются!..

Феня вздохнула, улыбнулась и тихо ответила:

— Бессчастный-то какой!.. Сирота безродная...

А то произошел с ним такой случай. Как-то в осеннюю распутицу, когда наш жирный чернозем превращался в невылазное месиво и по дорогам можно было проехать только верхом или пройти в высоких сапогах по бурьянным обочинам, между нашим селом и Ключами застряла в грязи по самые ступицы телега. Костлявая лошаденка барахталась по брюхо в липкой кашице и никак не могла вытянуть телегу из этого болота. Измученный, истерзанный мужик в дырявом кафтане, утопая по колени в черном месиве, бил конягу, как безумный, и вожжами по ребрам, и кулаками по морде. Лошадь рвалась из оглобель, храпела, шаталась, а потом грохнулась в грязь. Мужик бросился к ней и стал бестолково метаться около нее. На телеге лежала баба в худодыром тулупе с ребенком у груди.

Мил Милыч шел из Ключей к Елене Григорьевне. Он не считался ни с погодой, ни с бездорожьем и каждый праздник шагал по проселку от своей школы до Костиной избы и обратно. Не раздумывая, он подошел к мужику, оттолкнул его от лошади, рассупонил хомут, снял дугу и поводом понудил одра встать на ноги. Но лошадь даже не шелохнулась. Мил Милыч строго спросил, куда черт погнал мужика в такую распутицу, но мужик только всхлипывал и матерился. Баба, недужная, стонала и каялась, что это она виновата: это она, мол, умолила мужа отвезти ее к нашей лекарке Лукерье, чтобы полежать у нее и полечиться вместе с хворым ребенком, а то совсем смерть пришла. Мил Милыч хотел снять бабу с телеги, но она застонала: «Не хожу я, дяденька, ноги у меня отнялись». Тогда он взял ребенка на одну руку, а другой помог ей сесть себе на плечи и велел держаться за палку. Баба завыла от стыда, но Мил Милыч шутливо пригрозил сбросить ее в грязь. А она стонала и причитала: как это она на закорках у учителя средь людей очутится и какое бесславье будет на улице. Замолчала она

только тогда, когда Мил Милыч пообещал ей, что пронесет ее не по улице, а через гумна.

Феня увидела из своей половины Мила Милыча с бабой на спине и, распахнув дверь в комнату Елены Григорьевны, нетерпеливо позвала ее:

— Скорей, скорей, Оленушка! Чудо-то какое!

Костя стоял у окна и дивился:

— Человек-то какой! Ну, кто бы на его месте такую беду разделил?

Феня убежденно и ласково ответила ему:

— А кто же, как не ты, Костенька... будь у тебя самосилье.

Елена Григорьевна так и застыла у окна.

Мил Милыч без усилий шагал со своей ношей вдоль прясла к избушке Лукерьи, а на верху взгорка и у мазанки сиротского порядка стояли бабы и, пораженные, смотрели на это невиданное зрелище. Потом болтали в селе, что ключовской учитель подобрал на дороге, в топкой грязи, бабу, лежавшую без памяти с полумертвым ребенком, и не погнушался принести ее на своих плечах к Лукерье.

Он пришел к Елене Григорьевне, как всегда, тяжелый, неуклюжий, старый для ее девичьей комнаты. Но его встретила в сенях Феня и ввела не к Елене Григорьевне, а в свою половину.

— Только вы могли совершить этот подвиг, дорогой Мил Милыч, только вы! — растроганно встретила его Елена Григорьевна. — Каждый раз я вас вижу с новой стороны.

Он с застенчивым вопросом в глазах посмотрел на Костю и Феню.

— Мне здесь бы, у порога, сапоги снять. Очень уж много грязи принес... Дайте-ка мне табуреточку. Оказия тут по дороге случилась...

И он нехотя и коротко рассказал, что произошло на дороге и как он принес больную женщину и ребенка к Лукерье.

— Редкий случай... Второй по счету в моей жизни.

Феня спокойно и твердо сказала:

— На редкий случай и люди редкие бывают. На них свет держится.

Елена Григорьевна пылко схватила его грязные руки и взволнованно прошептала:

— Вы действительно редкий человек, Мил Милыч: вы, очевидно, не сознаете своего подвига...

Но Мил Милыч с недоумением взглянул на нее, как на ребенка, и поучительно возразил:

— Ну, какой там подвиг! Это сделает каждый честный человек. А мы с вами, Леля, в неоплатном долгу перед народом.

— О господи, какой вы должник? Трудовой человек не может быть должником. А вы всю жизнь отдавали себя людям.

— Э-э, чего там!.. Спросите вот Константина с Феней, они ответят вам, что мы — захребетники.

Феня сердито отвернулась и буркнула:

— И не слушала бы...

Елена Григорьевна засмеялась:

— Вот вам и ответ! Всю жизнь живете вы с народом, а народа, оказывается, не знаете.

Костя с негодованием, но почтительно пожурил Мила Милыча:

— Умный вы человек... образованный... а какие глупые слова сказываете...

— Не я говорю — мужик говорит.

— Мужик-то другое говорит: должники-то вон где — на горе помещик, а на той стороне — Сергей Ивагин да всякие мироеды.

Я кинулся к Милу Милычу, вцепился в его сапог, весь заляпанный грязью, и изо всех сил стал стягивать его с ноги. Но Мил Милыч оторвал мои руки от сапог и укорительно улыбнулся мне.

— Я, паренек, чувствую твое сердечко. Спасибо! Но даже ребятишкам не позволяю услужать мне. Я привык сам о себе заботиться. Хочу с совестью жить в ладу.

И он быстро и легко снял сапоги.

— Женщина-то совсем плоха. Должно быть, недавно родила и не убереглась. Не к знахарке ее надо бы, а в больницу... И младенец — при последнем дыхании... А лошаденка-то у мужика рухнула и не поднялась. Эх, терпеньем изумляющий народ!..

— До поры до времени!.. — заволновался Костя и погрозил кому-то своей здоровой рукой. — Мы и терпели и дрались... Потерпим до новой драки... Хвалиться терпеньем нечего: лошадь-то вон больше нас терпит, да доля ее — в грязи подыхать, а человек живой верой живет...

Мил Милыч в толстых шерстяных чулках сидел на табуретке у печи, недалеко от двери, и, опираясь ладонями о колени, думал о чем-то, улыбаясь в бороду.

— Вот это правильно. Именно так. Верой живет народ. Терпит — значит верует, а верует — значит все вынесет. А во что верует? Не в бога, не в черта. В себя верует, в силу свою великую, в счастье свое, в будущее... Об этом и сказки создал. У кого есть такие сказки, как сказки о жар-цвете, о жар-птице, о разрыв-траве?.. Ни у кого нет. Вот в этой вере я еще сильней укрепился после одного испытания.

Феня налила из ковша воды в глиняный умывальник, который висел на веревочке над лоханью, и учтиво пригласила Мила Милыча вымыть руки. Он послушно встал и подошел к умывальнику. Елена Григорьевна не сводила с него глаз и вся светилась от волнения, словно увидела в нем что-то новое, поразительное, о чем и не догадывалась. Необычна была и его словоохотливость. Феня стояла с холщовым полотенцем в руке и молчала, прикрывая ресницами глаза. Костя слушал внимательно и вдумчиво, как будто проверял каждое слово Мила Милыча.

— На Волге это случилось, под Вольском...

И он коротко, просто и буднично рассказал, как он целое лето работал в артели бурлаков: не скидая лямки с плеч, тянул барки от Астрахани до Нижнего.

— Лето тогда жаркое было, суховейное, словно и само небо горело. Из-за степей Заволжья мутью летела знойная пыль. Кожа трескалась, слезились глаза. А мы, артелью человек в двадцать пять, — и молодые и пожилые, — в хомутах, привязаны были к длиннейшему канату постромками и тянули груженую баржу вверх по Волге, тянули неделями, месяцами, с раннего утра до полуночи. Шли босиком по прибрежным камням, по топям, по зыбучим пескам. Ноги у всех

покрывались ранами, разъедались водой и грязью, а плечи и грудь растирались до мяса. Кровью плакали люди. На этом страшном пути одни убегали, другие отставали от надрыва, а на их место пригоняли новых. Харчи были плохие и скудные, а заправилы на барже пьянствовали и бесчинствовали с приблудными бабами. В один из таких адовых дней перед Вольском бурлаки выбились из сил. Лица на них не было — все, как безумные, на арканах метались. Кто-то заплакал навзрыд, кто-то выл и задыхался от невыразимой ругани и проклятий. Рядом со мной — а мы впереди шли — тянул свою лямку молодой парень, смирный такой, старательный. Мечтал все, что рассчитается в Самаре, воротится домой с деньжонками и женится. Вдруг, этак в полдень, когда, казалось, и дышать было нечем, а солнце жгло, как огонь, упал он под лямкой, как подкошенный. Люди переполошились, обомлели и совсем пали духом. На барже — тоже переполох, только пьяный. И тут меня словно осенило: ежели я слуга народа и долг мой — нести его бремя и быть впереди, надо отвратить их от ужаса, иначе мертвец убьет их... Подхватил я тело парня, вскинул на плечо и крикнул всей грудью: «Братцы! Друзья! Вперед! Ведь мы же русские люди, а русский народ никогда не падал духом. Не бросим товарища, а с честью донесем его до могилы...» И пошел с лямкой и мертвым телом, а за мной все пошли, со стонами, с надрывом пошли, словно это я потянул всех за собой своей лямкой. А может быть, приковал их к себе труп товарища на моем плече...

Он замолчал, улыбаясь сам себе, но лицо его помолодело, засветилось, и он стал легкий, веселый, с задором в глазах.

— Это я так вспомнил, к случаю. Всякие бывают у людей неожиданности...

Феня все время глядела на него и улыбалась. Потом потушила улыбку, опустила ресницы и ушла в чулан. А Костя с удивленной улыбкой спросил:

— И что это за нелегкая погнала вас в бурлаки-то? Образованный человек — и в бурлаки... Не лезет мне это в понятие...

Мил Милыч глухо и уныло ответил:

— Совесть и долг, Константин. Мы — не герои, а слуги народа, и постоянный наш долг — идти туда, где трудно дышится, где горе слышится, — быть первым там. Потому мы и жертвовать собой должны ради народа.

Костя закрутил головой, постучал пальцем по лбу и недовольно проворчал:

— Нет, не варит мой черепок и душа не примает. Это какая-то крепостная барщина... только с другого конца.

Елена Григорьевна, взволнованная, бросилась к двери.

— Побегу к Лукерье — осмотрю больную... и ребенка... Может быть, сегодня же отвезу ее в Верхозим, в больницу... Ах, не насилуйте себя, дорогой Мил Милыч! Зачем вы себя распинаете?

И выбежала из избы.

XXIV

Иванка Кузярь заходил к учительнице редко: он после школы занят был своим хозяйством. Да и по праздникам чаще всего пропадал у Микольки в пожарной, где вместе с Семой играли в «чушки», или в «козны», или в «чкалку». Игра в «чкалку» была одной из любимых игр. Нужно было заостренный с обоих концов дубовый короткий обрезок, похожий на ткацкий челнок, ударить палкой по острому концу и, когда он вертушкой взлетал вверх, поддеть его палкой посередине и стрельнуть им как можно дальше.

Но меня неудержимо тянуло к Елене Григорьевне: у нее постоянно были новые книжки на столе и иллюстрированные журналы. А прежде всего я любил ее до слез. Быть около нее, чувствовать ее близость, слушать ее милый голос и звонкий смех, дышать ароматом ее комнатки — какое это было наслаждение и счастье!

Она усаживала меня на новенький дубовый стул, аккуратненький и веселый. Эти хорошенькие стулья сделал ей колченогий Архип, а стол, сверкающий полировкой, прислал чахоточный молодой Измайлов.

Железная голубая кроватка была покрыта розовым одеялом с белоснежными подушками.

Я рассказывал Елене Григорьевне о рыбаках, о действе про Стеньку Разина, об Иване Буяныче, о наших деревенских событиях. С волнением изображал ей, как нагрянула полиция, как пороли Костю и мужиков, как связали и увезли Тихона с дружками в стан и, затерзанных, отправили в городской острог. А однажды сообщил ей, что мужики тайно собирались по ночам за селом у кладбища и в ямах у болотца, что к ним приходил и Антон Макарыч.

Она с мягкой строгостью журила меня:

— Зачем ты об этом говоришь? Раз это тайна, то обязан молчать. А вдруг я нечаянно проговорюсь где-нибудь — кто будет виноват? Ты. Надо уметь тайны хранить.

Но я верил ей и всем своим существом чувствовал, что она — заодно с нашими мятежниками. В знающей ее улыбке была такая ласковая теплота, такая умная проникновенность, что я пылко открывался перед нею:

— Я вам все буду говорить. Ни перед кем слова не пророню, а перед вами ничего не утаю.

С тревожной задумчивостью она предупредила:

— Будьте с Ваней осторожны. Берегитесь. Есть недобрые люди, которые ради своих мерзких целей не пощадят и детей.

Как только заходил в комнату Антон Макарыч, я вскакивал со стула, здоровался с ним и бросался к двери.

Он хватал меня за руку и дружески улыбался.

— Догадливость — родная сестра чуткости.

Эти его слова очень мне нравились: они звучали красиво, как песня или обрядная приговорка. Елена Григорьевна краснела, глаза ее радостно сияли, и вся она становилась легкой, как будто крылатой. Она подлетала к Антону Макарычу и хватала его за руки.

— Наконец-то!

И уже не видела меня. А я опрометью бежал к речке и низом, мимо колодца, через ветлы, торопился к пожарной, где играли в «чушки» или в «чкалку» мои товарищи. Меня они встречали завист-

ливыми насмешками и обидными намеками. Миколька первый притворно удивлялся, прерывая игру:

— Глядите-ка, ребятишки, у приблудной собачонки — хвост крючком и ушки на макушке!..

Сема сердито стыдил меня:

— Эка, повадился к учительнице-то... Аль не чуешь, дурак, что ты — надоеда? К ней люди приходят, а ты торчишь у нее, как нищий у порога.

Но Иванка, как верный друг, мужественно заступался за меня:

— Не робей, Федюк! Это они завистничают. Да мне и самому завидно. Хочется погостить у Елены Григорьевны, а тут и по праздникам в домашности вязнешь, как муха в киселе.

Но эти встречи расстраивали меня. Не Миколькины издевочки, а упреки Семы терзали меня. Мне стыдно было сознавать, что я назойливо надоедаю учительнице, что не сам я почувствовал это, а вот они, друзья мои, уже давно осудили меня. Они заняты работой, а я убегаю из дому к учительнице, чтобы понаслаждаться близостью к ней, не думая о том, что я мешаю ей и не даю отдохнуть свободно. Может быть, и Миколька и Иванка нашли бы время пойти к Елене Григорьевне, но они совестятся: не принято вваливаться в избу к соседям без нужды, а к учительнице и подавно.

Однажды я целую неделю после школы сидел дома или пропадал в кузнице и раздувал мехи. Потап стал молчаливый и какой-то растерянный, как побитый, а Петька уже не покрикивал на него, хотя распоряжался здесь, как опытный и разумный хозяин. Потап слушался его и робко спрашивал:

— Аль так, Петенька?

И сразу же соглашался:

— Ну, ежели так, перетакивать не буду.

С тоской в сердце я шел к Кузярю, поднимаясь от колодца на гору, подальше от Костиной избы, чтобы Елена Григорьевна не увидела меня из окна. Кузярь обычно возился где-нибудь под навесом над старыми отцовскими санями, или над изношенным хомутом, или сгребал навоз. Я помогал ему чистить двор, или те-

сал ему новые костыли на полозья, или вместе с ним ходил на гумно и тащил, как и он, на спине пухлую вязанку соломы на корм лошаденке и коровенке. Както он лукаво спросил меня:

— А почто к учительнице не идешь? Она, чай, ждет тебя...

Это был удар в самое сердце. Я бросил на землю свою вязанку и заорал:

— Чего ты ехидничаешь? Ежели драться хочешь, так давай!

Он с умненькой улыбочкой потушил мою вспышку:

— Чай, я шутейно, чудак... А драться нам нельзя: у нас с тобой — содружье. Да и выросли мы... Да и делов — до черта. Вот зимой, на святках, погреемся! Давай лучше сговоримся к Елене Григорьевне вместе заходить, когда велит. Я умею с ней разговаривать: она любит слушать и быль мою, и небыль.

Я опять взвалил на спину солому и возмутился:

— Ну и привычка же у тебя — врать и врать! Какая тебе от этого спорынья?

Тут он сам сбросил свою вязанку соломы, и худенькое личишко вдруг стало острым, а глаза широко открылись и сверкнули от негодования. Он сжал кулаки и угрожающе шагнул ко мне.

— Ты на драку нарываешься, да? Это когда я врал?

Я тоже сбросил свою ношу и стал перед ним грудь в грудь.

— Про волков врал? Про грачей врал, что они тебя на своих крыльях спустили? Про цаплю врал?

Мы столкнулись с ним злыми взглядами и оба засмеялись.

— Я никогда не врал, а выдумывал. Сказки вот аль былины — вранье аль выдумка? Пушкин, Гоголь — врали они аль выдумывали? Скажи-ка учительнице, что Гоголь врал про «Вия» да про «Страшную месть», — она тебя так оконфузит, что места не найдешь. Ну, а ты про Ивана Буяныча рассказывал. Врал ты аль выдумку сказывал? Врут дураки и трусы, а выдумывают разные сказки даже в евангелье: помнишь, Христос Лазаря из гроба воскресил, из воды вино

делал... Надо так выдумывать, чтобы сам будто своими глазами видал, да чтобы люди поверили. Ну, поднимай свою вязанку — пойдем! Ведь я выдумываю потому, что у меня из души прет.

Он говорил так горячо и убедительно, что я был совсем обезоружен. Против его рассуждений и доводов нельзя было возражать. Он был поэт в душе и создавал всякие небылицы в лицах так правдиво и красочно, что сам был убежден в их достоверности. В эти минуты он хорошел: карие его глаза закипали, весь он напрягался, а игрой лица и руками, всем телом очень живо изображал вымышленные события. Да, он не врал, а просто творил жизнь, преображал ее по-своему. Он никогда не унывал и не жаловался, а только злился и ругался сквозь слезы, если приходилось ему особенно тяжко. На его месте другой парнишка надорвался бы, бросил бы все и убежал куда глаза глядят. Но его поэтические вымыслы создавали сказочные образы, как действительность, и озаряли его жизнь мечтами и чудесными призраками. В его тяжелой, безрадостной доле эти полудетские мечты рождались сами собою, как животворная сила.

XXV

В эти дни я иногда заходил к бабушке Анне. Я любил ее, а небольные и певучие ее стоны всегда манили меня, когда я вспоминал о ней. В этот период моего роста и познания жизни она представлялась мне иной, чем раньше. Мне было жалко ее: добрая, ласковая, покорная деду, она никого не осуждала, всех оправдывала и только печально улыбалась.

— Уж больно люди-то мучаются. Всем трудно, всем горько, никому бог не посылает радости. Не привечает нас господь, а только наказывает. Терпите, мол, людие, страдайте, в болезнях, в гладе, в слезах испытания переносите...

Я не понимал этой божьей жестокости, возмущался и спрашивал:

— А зачем это нужно богу? Разве ему любо, что

люди мучаются? Бог-то, верно, богатых любит, а не бедных.

Бабушка всплескивала руками и со страхом в лице стонала:

— Да чего это ты мелешь-то, богохульник? Вот бог-то разгневается да в огонь тебя и посадит. Он тебе, как барану, рога собьет.

Но не выдерживала благочестивого тона и тряслась от смеха всем своим рыхлым телом.

— Хорошо, что дедушка не слышит, он тебе вихры-то надрал бы. На грех только наводишь, пострел.

А я смелел еще больше:

— Да дедушка-то с богом — старики... Они только и хотят, чтобы все им в ноги кланялись да были бы тише воды, ниже травы.

— Ох, не вольничай ты, окаянный! Перестань! А то и я рядом с тобой под перстом боговым буду.

Я смеялся и утешал ее:

— Тебе бога-то нечего бояться: ты сколь раз говорила, что с богородицей-заступницей по мытарствам ходишь. Вот бабушка Паруша меня не стращает и сама не боится.

Бабушка Анна всю жизнь была рабой, и при «крепости», и сейчас, под тяжелой властью деда. Она привыкла к этому безгласному рабству и считала, что баба и создана для того, чтобы быть покорной и кроткой слугой мужика и барина. Их власть — божье произволение. Вот почему она больно переживала развал семьи — уход отца, своевольство Сыгнея и призыв его в солдаты, а особенно непокорность Кати, которая сама выбрала себе жениха и не посчиталась с волей дедушки — владыки семьи. Одинокая, покинутая всеми, бабушка садилась под образа и, низко склонившись и опираясь локтями о колени, застывала надолго и скорбно и едва слышно пела одно и то же:

По грехам нашим господь посылат
Велику беду на нашу страну...

И начинала вопить про себя.

Я всегда чувствовал, что она нежно любит меня; когда я приходил к ней, она не отпускала меня от

себя. А когда я долго не показывался, тосковала и молча плакала. Дедушка жил сам по себе и как будто не замечал ее. Он бродил за гумнами по межам, или возился с Титом над сохой, бороной, сбруей, или лежал на печи. Отец с матерью не заходили к ним, словно речка навсегда отрезала нас от избы деда. Бабушка совсем не выходила из своего двора, и, хотя ее тянуло проведать нас, ей не под силу было одолеть крутые спуски и подъемы по слабости ног. Только изредка пробиралась она через задний двор к высокому глинистому обрыву над речкой и долго смотрела на нашу старенькую лачугу, вросшую в подошву горы. И, если выходила из избы мать, махала ей рукой.

Сема жил тоже обособленно — бирючком. Он ненавидел Тита, а Тит враждебно оттеснял его от домашних работ или заставлял его делать самые грязные и тяжелые дела. Но Сема сам старался не попадаться ему на глаза и в глубине выхода, в полумраке подземелья, делал какую-нибудь диковинную игрушку на продажу. Свои поделки он относил к Терентию, который часто ездил в город от старосты Пантелея — с воском или от Сергея Ивагина — с кожами и шерстью. Всю мелочь от продажи этих игрушек он отдавал деду.

Однажды в прозрачный солнечный день осени, когда голубое небо кажется очень высоким и чистым оттого, что в безветренном воздухе плывут белые нити паутин, я после школьных занятий провожал бабушку Анну в низинку за пожарной, где речка круто поворачивала влево, подмывая обрывистый берег той стороны. Эта низинка широко расстилалась по излучине речки и тянулась далеко до проезжей дороги. Здесь среди блеклой травы густой зарослью кустился татарник, усыпанный цепкими репьями, седая полынь, шалфей, дикая мальва и конский щавель. Бабушка шла с мешочком в руке, чтобы нарвать красно-коричневых кистей щавеля для отвара, которым она поила деда и сама пила от какого-то недуга. Брела она тяжело, не поднимая ног и шаркая по мертвой траве своими широконосыми ко́тами. Эти перезрелые метелки рвал я, а она подставляла мешочек.

— Вот по этому взгорью и по низине этой при старых барах большой да распрекрасный сад был, — вспоминала она, оглядывая поляну и пологий спуск от школы и поповского дома. — А там вон, где бугры, да ямы, да рвы перед дранкой, стояли барские хоромы со всякими постройками — амбарамн, конюшнями, скотными сараями да людскими избами. А на месте луки нашей и всего нашего порядка густой лес шумел.

Она со стонами опустилась на траву и вытянула разбухшие ноги.

— Посижу, отдохну маленько. Ноги-то уже не носят меня. А ты походи, пособирай...

Но я тоже сел рядом с нею и ярко представил себе этот чудесный сад, где росли яблони, темно-красные вишни... И все эти кудрявые деревья весною уряжались цветами, как хлопьями снега. А выше, перед барскими хоромами, земля тоже расцветала разными цветами, как будто с неба слетала радуга и расстилалась холстами.

— Полста годов уже минуло с тех пор, — говорила бабушка, покачиваясь, вздыхая и охая, но старческий ее голос словно напевал сказанье или широкую песню о сказочной старине.

Она умела рассказывать, умела вложить в каждое слово и свою многострадальную думу и боль своего сердца. Ни одно ее слово не было пустым и лишним: она вкладывала в них всю свою душу, и они казались мне хорошо вытканной выкладью или простым, но тонким рисунком лицевой книги.

Скорбящая от бездолья, от голодной, бедственной жизни, она жила воспоминаниями о прошлом, о своей молодости. И хотя эта ее молодость была молодостью рабы, бабушка Анна любила рассказывать о своих далеких днях и всегда вдохновлялась образами своей юности: лицо ее светилось тихой улыбкой, глаза молодели, а голос и речь ее звучали не обычно, не по-домашнему, а напевно, складно, возвышенно, словно былину сказывала под задумчивый звон гуслей. Она любовно говорила о своем родителе, который был знаменитым гусляром при барине и славился на

всю округу. Должно быть, и молодость ее расцветала под сладостные звуки отцовских гуслей.

— Я тоже ходила по этому саду и работала тут... — с мягкой и грустной улыбкой вспоминала она. — И за цветами ухаживала, и поливала их, а цветы эти перед хоромами, как ковры дорогие, расстилались на солнышке. А кругом — зеленый рай, и птички райские пели и переливались не уставаючи. Барыня-княгиня выходила, вся в шелках да кружевах, тоже как цветами уряженная, с дочкой, молоденькой красавицей.

Я постоянно держал в памяти загадочные намеки матери и Фени о какой-то необыкновенной и незабываемой беде, которая обрушилась на Парушу в девичестве.

Каким-то внутренним чутьем я угадал, что бабушка с охотой мне расскажет об этом, раз она начала вспоминать о своей молодости.

И я полюбопытствовал:

— А чего это, баушка, с Парушей-то стряслось в девках? Все говорят об этом, а не рассказывают.

Она не удивилась, а только обвела свежими глазами весь склон взгорья и улыбнулась сама себе.

— Потому и не рассказывают, что все знают.

— А я вот не знаю.

— Да тебе-то раненько, внучек, вникать в бабьи дела. Всякому овощу — свое время.

— Аль я мало чего знаю? — обиделся я. — Чай, я не слепой и не глухой. Вы, большие, и не догадываетесь, чего мы, парнишки, видим да на ум берем.

Она затряслась от беззвучного смеха рыхлыми плечами и вскинула на меня ласковые глаза. Разглаживая опухшими пальцами свои колени, она привычно застонала, словно хотела на́ голос запричитать свои жалобы или безответные свои раздумья. Но я уже давно знал, что эти ее певучие стоны и растроганная улыбочка в лице всегда обещали или задушевную быль, похожую на песню, или предание старины, которое оживало в ее напевных словах, как дорогая память о пережитом.

Вот и сейчас она как будто прислушивалась к себе и, плавно покачиваясь, печально запричитала:

— Люди-то жили в мое время не по своей воле, а по воле господской. Этим и свет держался, зато и крепость была и в миру и в семье. Оно ведь и в раю-то людям своя воля была заказана, и без воли божьей они и шагнуть и думать не могли. А ослушались, взыграло у них своеволье — и наказал их бог бездольем да трудом беспросветным на веки вечные. Вот и живем по божьему веленью и по сии дни в бездолье, в скорбях да в муках. И безземельем, и гладом, и мором наказывает бог нас, грешных.

— Да за что, баушка? — возмутился я. — Аль мы грешнее бар да кулаков? Они и богаты, у них и земля, у них и воля своя... Значит, Сергея Ивагина да толстуху Татьяну Стодневу аль Максима-кривого бог-то больше, что ли, любит?

— Так уже от века положено, внучек. Не нам судить волю божью.

Я думал, что она разгневается на мои слова, но мягкая раздумчивая улыбка не угасала в ее лице.

— Не ведаем, когда господь с судом своим сойдет. Сейчас он терпит только. И нам, бедным да обездоленным, терпеть велит. А сколь много претерпели мы, крестьянский народ, — и сказать нет мочи. Сколь народу забито, замучено, смерти лютой предано! Сколь от глада и мора сгибло — тьмы тем. А вынесли, выстрадали, вытерпели... Такие богу любы, таким бог силу и разум дарует и невидимо помогает.

— А ты рассказывай, баушка. А то терпенье да терпенье... Про Парушу-то рассказывай!

Она плавно покачивалась с застывшей слабой улыбкой в оплывшем и дряблом лице и с прежней раздумчивостью смотрела в осеннюю мертвую траву.

— Я и то рассказываю. Вот эта низинка перед нами — видишь, ровненькая какая! — была вся под водой: здесь пруд был, а плотина — во-он там, где дорога и брод через речку. Пруд-то большой был, как озеро, а по берегам лес шумел и тянулся до Варыпаевского бора. От него и березовая роща осталась. Старый барин, не тем будь побужен, зверь зверем

был. И за дело и без дела мужиков и баб своих пытками терзал. Редкий день мертвецов не хоронили. А хоронить любил он сам и вместе с попом воспевал: «Плачу и рыдаю...» Жирненький был, маленький, лысенький, и голосочек тоненький. Прохаживается, бывало, с дубинкой в руке, и не попадайся ему на глаза — забьет этой своей дубинкой до полусмерти. Молотит и смеется. А лошадей и собак не бил — ласкал их, как младенцев. Барыня столичная была — по зимам в Москву уезжала, а летом в хоромах пряталась. Только дочка одна и усмиряла отца: прибежит к нему, когда дворового колотят, али влетит в пыточную и кричит: «Не сметь!» Он петушком перед ней и наутек. Страсть, как перед ней умалялся и совестился! А сад-то развел и чудо в нем творил дворовый наш Ромаша. Рослый был, кровь с молоком, умница, безбоязненный. И все-то русую головку высоко держит — навстречь солнышку. И чего только в этом саду у него не было! И яблоки всяких пород, и груши, как ентарь, а тут вот, где сидим, по всей пологости, виноград насадил, и гроздья на солнышке радугой переливались. На Волгу и на Дон барин с грамотами его своими отпускал за редкостями невиданными. Еще с отрочества у него душа о райских древесах да о цветах тосковала: и наяву и во сне в думах был об этой благости. Барыня в те́ поры в силе да в красоте жила. Приблизила она к себе Ромашу-то и все-то забавлялась им: слушала, как он рассказывает ей о садах да о цветах — о красоте земной, радости человеческой, и сама, как ребенок, радуется да смеется. И тут же ему препоручает: разведи перед покоями моими цветы-ковры да кудрявые вишневые шатры. А он и рад — только и хлопочет, только и украшает весь вид у нее перед окнами. Он при дворе-то и грамоту познал, и книги о древах да о цветах украдкой от барина читал. А ежели барин-то узнал бы, — до смерти бы забил: скотине грамоту знать не дано, а мужик для него — такая же скотина. Ну, Ромаша-то под крылом барыни был, забава для нее, как кукла живая. Задумала к французам ехать и пристала к барину: поедем да поедем, а казачком себе Ромашу

возьмем. Ну, и поехали. Пожили там у французов с полгодика, а возвратились без Ромаши: барыня там отдала его в ученье по садовому делу. А тут сердцем прикипела к нему девушка одна. На все село девушка видная: ростом крупная, лицом приглядная и брови черные дугой, и строгость гордая в карих глазах, и волосы ниже пояса. Молвится в народе: поглядит — рублем подарит. И мощная была — под стать мужику: норовит кто-нибудь из парней поиграть с ней, а она швырнет его — и летит он от нее кубарем. Потеха была — все смеются, а она хоть бы бровью повела. Любоваться на нее бары со стороны приезжали. Глядят на нее, как она за двоих, за троих на барщине работает, и дивуются: «Не девка, а богатырь! С ней лошадь не сладит. Ей только медведь — пара». А она, статная, ходит, как пава, и словно бы и бар этих не видит и разговор их не слышит. Лестно барину-то — он и хвалится: я эту девку с таким же богатырем случу. Куплю такого битюга и повенчаю их: богатырей пусть плодят.

— Да чего ты не называешь ее, баушка? — подсказал я. — Это ведь она, Паруша.

— Ну, вот, — не отвечая мне, рассказывала бабушка. — Год проходит, другой идет, а Ромаши нет как нет. Стали шабры сватать ее, а она скитницей и облеклась — во всё черное — и лицо под черным платком спрятала и повязала-то его не углом, а покрывалом — под монаший клобучок. У нас это одеянье заклятьем считалось: девушка богородице себя посвятила — подвиг на себя наложила, от замужества отреклась. Тут уж и родители над ней не властны. А родители-то у ней были строгие в благочестии. И чудо было, они-то маленькие были ростом-то, а она словно не от них родилась. И когда она в скитское-то одеянье облеклась, тут и родители и сродники порешили: знать, девушка-то по божьему произволению от мира отреклась. Больше к ней уж и не сватались.

— Барыня-то и дочка больше с гостями развлекались, — распевно говорила бабушка, — а барин с сыновьями-офицерами, когда они домой приезжали, на охоте пропадали, а то с собаками да с лошадями

возились. И недели не проходило, чтобы они кого-нибудь не пороли да не калечили. Вот в те́ поры и возвратился на барский двор Ромаша — чужой по облику: в сертучке, в шляпе, бритый. Только кудри русые остались прежние. С барыней по-французски беседовал — она так приказала. Спрашивает его по-французски, и он отвечает по-французски, а ей лестно. Барину-то это не по нраву пришлось: как это так? Раб, крепостной, а в сертучке, как чужестранец, да еще по-французски смеет разговаривать... Затопал он на него ногами и заорал: «На конюшню! Выпороть! Чтобы запомнил, кто он такой. Раб! Мужик! Содрать с него наряд французский!» А Ромаша стоит перед ним, как кипень белый, и голос подает: «Я такой же человек, как ты, барин, и духом слободный. Душу нельзя сделать рабой. Телом-то я к тебе крепостью привязанный, и в твоей власти даже убить меня. Ну, а человека ни плетями, ни заушеньем не убьешь. Вот затерзаешь меня, лишишь жизни — и будешь только в убытке: и издержался на меня в чужой земле и искусного садовника не будет». А барин совсем взбесился и с палкой своей на Ромашу-то. А тут и барыня с барышней вбежали. «Не сметь!» — кричит барышня, а барыня приказывает: «Не позорь себя, отец, перед дочерью! А власть свою господскую нетрудно над беззащитным крепостным показать. Ромаша — не твой, а мой крепостной, и не ты, а я распоряжаться буду». И так барина сразила, что он выбежал из горницы. А барыня села и начала с Ромашей по-французски разговаривать. И дочка-барышня глазки на него таращит, как на диво-дивное: как это раб вольную личность возымел и стоит перед ней с матерью в сертучке да с нарядным платком на шее. В те́ поры барыня-то над барином власть имела: он души в ней не чаял, да именье-то ее в приданое за ней пошло.

Так Ромаша с того дня и начал сад разводить. Снял сертучок и оделся в свою мужицкую одежу. А в хоромы по зову барыни опять-таки в сертучке заявлялся, и она с ним потешалась разговором по-французски. До смерти барин возненавидел его и все топал ногами, палкой своей махал и грозил ему

всякими пытками. И замучил бы его, ежели бы не барыня с дочкой. И чего только Ромаша не развел в саду: и яблони, и сливы, и груши, а с собой привез чужестранные хрухты, коих у нас сроду не было. Сперва в стеклянном вертепе растил, а потом стал приучать к воздуху.

Через барыню он и девушку свою приспособил, во всем она ему верной помощницей была. И вместо черницы в сад пришла крепкая, ладная невеста, вся светлая, словно маковым цветом увитая. И все мужики, бабы, которые в саду с ними трудились, как будто в другом царстве жили через барыню: перед барином он, Ромаша-то, всем хранителем был и защитником от бед и обид.

И вот однова в осенний денек, когда сад уже опал и полымем пылал, входит он к барыне и вносит ей на подносе гроздья спелого винограду, с яблоками белого наливу, с грушами воску ярого. И так он ее ублажил да еще французскими словами разнежил, что она сгоряча спросила: «Чем мне тебя, Роман, вознаградить? Ты чудеса творишь: рай нам на земле создал. Проси, чего тебе надо, — все сделаю. Ты ведь у нас не простой крепостной, а человеком стал — лучше любого дворянского сынка, который только куролесит да над людями издевается». Тут Роман-то и упади перед ней на колени и признайся ей: «Такую-то, мол, девушку люблю — и люблю-то давно. Окажи, мол, княжескую милость жениться на ней. Я, мол, жизни не пожалею — еще больше невиданных чудес сотворю и на тебя буду век, как на святую, молиться». А барышня затанцевала, закричала: «Беспременно, мамочка, надо их обвенчать! Дай им согласие и благослови их!» Барыня приказала девушку привести. А поглядела на нее да вспомнила, как барин хвастался перед гостями, что случит ее с мужиком-богатырем, — задумалась и брови сдвинула. «Я, бает, хорошую пару вижу и согласие свое даю. Да только с барином надо сговориться». Тут оба они — и Ромаша и Паруша — в ноги ей упали и со слезами ее благодарили. А она им: «Рано, рано благодарите. Барин-то ведь гневливый да несговорчивый». И барышня лю-

буется на них и ножкой топает: «Я, мамынька, заставлю его согласиться». А барынька покачивает головкой, и личико ее печальное. «Идите, бает, к себе, я подумаю, как быть, а потом позову вас». Идут они оба по саду, Ромаша радуется, словно парнишка, прыгает, а Паруша-то строгая да угрюмая стала. «Я верная тебе в любви останусь до гроба, Ромаша, хоть нас и разлучат. Нас с тобой бог соединил, а барин спроть бога восстанет и муками, терзаньями нас разлучит». Он ее и так и сяк уговаривает и утешает, а она одно твердит: «Беда на нас свалилась, Ромаша, раздавит нас беда. И не себя мне жалко, а тебя, богом мне данный суженый. Беги отсюда на край света, барин-то тебя давно уж норовит сгубить. Сейчас и барыне с барышней несдобровать». И верно, грянула буря и все в прах обратила.

Бабушка умолкла, и глаза у нее потонули в слезах. Не переставая плавно покачиваться, она молитвенно положила ладонь на грудь и вся ушла в себя: должно быть, все страдные события, о которых рассказывала она, переживались заново, и они даже сейчас, спустя полвека, потрясали ее. Я сам был взволнован ее печальной повестью и тоже молчал, уже зная, что на Ромашу и Парушу обрушилась страшная казнь. Но я верил, что оба они — и Ромаша и Паруша — выдержат все муки и испытания, что любовь их, как чудотворная сила, победит зверя.

— Тогда власть да воля барина всевидяща и вездесуща была: мы, рабы подневольные, знали только муки да казни. Хоть и сейчас палачей много, а барского самовластья уж нет. Ну, а над живой душой да сердцем и тогда баре не властвовали. И вот Ромаша-то вдвойне страдал: он и ум свой просветил, он же, светлый человек, и неволю рабью, пытки, юдоль эту плачевную повинен был вынести! Мало что духа не угасил, а других людей опалил. Барыня-то раньше укрощала зверство барина, а дочка, хоть и молоденькая, нраву его препятствовала: зверь-зверь, а души в них не чаял. То ли барыня самодуру под дурную руку попала, то ли издавна ярился в нем бес против нее, только забушевал он, дубинкой своей

на нее замахал, когда она ему про Ромашу с Парушей сказала: давно, мол, они друг дружку любят, надо, мол, их соединить. Уж за одно то, что он райский сад вырастил, как мастер великий, надо его обласкать — на брак благословить. Любовь-то, мол, у него с девушкой — душевная да благодатная. Чего там у них случилось — неведомо, только барыня-то замертво упала. А дочку он за дверь вышвырнул и приказал запереть ее в светличке наверху.

А потом приволокли Ромашу два палача. Он помертвел весь и белый стал с лица, как холст. И то одного, то другого от себя отталкивает. А барин сидит в кресле с длинной трубкой и по́том исходит, и вся грудь наружу. «Ну, чудодей мой садовый, значит у тебя и Парушки-кобылы — любовь? Так ли?» — «Так, барин, истинно — любовь. А она не лошадь, а человек, и у нее распрекрасная душа». Сидит барин, сосет из своей дубинной трубки и млеет-потешается, голубем воркует: «А что это такое за любовь у смердов? Поведай мне, раб». Ромаша сразу постиг свою несчастную судьбу и стал тверже камня — и так и этак страсти ему уготованы. «Перед богом, говорит, нет ни бар, ни рабов, а есть люди. А любовь — божья искра, и горит она в душе человеческой». — «Это не французы ли тебя заразили? Они — отпетые крамольники и разбойники: они и царю своему голову сняли, владык своих, как наши пугачи, убивали да из своих исконных угодий прогоняли. Вот и ты из шкуры своей рабьей во французский сертучишко залез да барыню с барышней французской болтовней в соблазн ввел. Из грязи хотел пролезть в князи. А пугачам пощады нет. Ты же со своей негасимой искрой вводишь в соблазн и всех моих рабов. Тут эта садовая девка, а тут и все мужики бунт поднимут: мы — человеки, у нас искра в душе... Вот я и хочу эту твою искру негасимую погасить: у раба нет своей воли, любовь — у людей, а не у скотов бывает. А вы у меня — не люди, а рабочая скотина, ну и искру-то эту, любовь-то, ты с девкой из барского обихода украл. Любовь — это власть, барская воля, господское довольство». Поворковал барин, поворковал да как гаркнет: «В кнуты

его и на дыбу! Увижу, какая негасимая у него искра А девку отдать дохлому мужичонке! Сад вырубить, выкорчевать, чтобы не смердил этим смердом».

Уволокли Ромашу и предали великим мукам. Сам барин и сечение и пытки проводил. Сидит в кресле и вино попивает. И все-то голубем воркует: «Ну, как твоя негасимая искра? Вот повисишь на дыбе да выхлещу твое вонючее мясо с костей — и запросишь пардону, тут и неугасимая любовь пшикнет, как уголек в грязи». А Ромаша, великомученик, замертво лежит, весь в крови, а голос подает внятно: «Искра-то у меня в душе полымем пылает, и любовь моя проклинает тебя, изверг, палач. Любовь — со мной: она от мук моих пуще разгорается и сожжет тебя и все твое людоедское сословие. И за лютые мои страдания народ отомстит».

А барин-то попивает винцо да смеется. Потешно ему и от стонов, и от этих страдных да гневных слов Ромаши. «Зарыть его в могилу на ночь до самого рыла! А утром я приду да полюбуюсь, как он от своей искры пылать будет. Только услышу я иль покорную мольбу помиловать его, иль хрюканье свиное вместо дурацкой искры, иль одну падаль рабью».

И унесли Ромашу чуть живого, растерзанного вот на это самое место и закопали его в яму по шею. Девушку остригли, надели на нее хомут и заставили тащить соху, а за соху поставили самого лядащего мужика. Кнут всучили ему в руку и приказали нещадно хлестать девушку, ежели она не осилит борозды. А борозду она должна была пропахать от барского дома до избенки мужика. Мужичок-то был добрый да смирный, плачет он, хлещет ее и бормочет: «Прости меня, Парушенька, Христа ради. Не я бью — барин бьет». И в тот же день вырубили весь сад, и не осталось там ни деревца, ни кустика — все стало голо, только ометы этих деревцов да кустов дымили дня два.

Я не утерпел, вскочил на колени и крикнул с судорогами в горле:

— Чего барин-то с ним сделал? Аль, должно, задохнулся он в этой яме-то?..

— Да ты чего это расстроился-то, милый? — встревожилась бабушка и вскинула на меня слезные глаза. — Радоваться надо, а не скорбеть. Вот на этом самом месте со смертью боролся он... Нет, внучек, не задохнулся, не умер он, а вознесся...

— Да, да... — волновался я. — Покорпи-ка в этой яме, закопанный до горла да еще чуть живой!.. Как это — вознесся?

— Так вот и вознесся. Пришел барин утречком-то, смотрит, а головы Ромаши нет и даже следа от ямы нет. А тут всяческую ночь стукальщик ходил с собакой. Он — в ноги барину и со страху дрожит и в словах путается. Барин — с палкой на него: «Прокараулил, продрыхал, негодяй, такой-сякой!.. Вот я тебя закопаю на место беглого...» Стонет стукальщик и одно долбит: «Ангели слетели с небеси, барин, в белых одеяньях... И легче легкого взяли его, Ромашу-то, и вознесли... И ноги, и руки, и язык у меня отнялись, и ничего я не взвидел. А тут и собака куда-то сгинула...» Распотешился над ним барин — до полусмерти дубинкой своей избил его и рев поднял на весь свой двор. Сбежались все дворовые, своры псов спустили, все село всполошили: найти Ромашу, где бы его ни спрятали... Каждую избу, каждое гумно перевернули. И собаки везде все вынюхали — и никаких следов не нашли. И словно чудо совершилось: собаки-то как нарочно, избенку мужичишки, с коим Парушу-то повенчали, обегáли, а барин даже побрезговал заглянуть в худодырый дворишко. Только встретил его на коленях нищий нищим этот мужичонка-то, тычет лбом в землю, а рядом с ним и молодуха на коленях стоит и голову низко опустила, слезами заливается. Тычет палкой перед ними барин и рычит: «Вот твоя любовь на всю жизнь. Плюнул я на хамскую искру и — нет ее. А смерда этого я на кресте распну аль собаками затравлю...» Много тогда народу пострадало! Стариков даже не щадил этот изверг — пороли все село из конца в конец. И опять — чудо: ни мужичонки, ни молодухи и пальцем не тронули, словно бы они оглашенные были. А Ромаша так и растаял без следа и без ответа. Барыня с этих пор будто ума лишилась —

из хором не выходила, а как только барин появлялся перед ней, она замертво падала.

— А кто же спас Ромашу-то, баушка?

Она просто и спокойно ответила:

— Как кто? Чай, сама Паруша. С мужнишком своим невольным вызволила его и отходила.

— А зачем это белое одеянье-то?

— Аль не догадался, цвет маковый? Случись тут стукальщик аль палачи — они бы памяти лишились. Это так же, как ангелы у Христова гроба воинов поразили...

— Ну, а потом? Куда он делся-то?

— В безвестности. Ведь мы передавали опальных-то по людям нашей веры с рук на руки. Так он смог уйти на край света. Любовь человеческая не сгорает, как неопалимая купина. Такому человеку, как Ромаша, все пути-дороги были открыты к вольности. Ну, пойдем посбираем и богородичной травки, и полыни горькой...

XXVI

Студент Антон Макарыч лечил больных до осенних холодов и дождей. В серой тужурочке, в сапогах, с маленьким чемоданчиком в руке, он шагал по улице бойко, легко и как-то весело, словно знал, что в каждой избе встретят его приветливо и благодарно; ведь он в голодное холерное лето исцелил и поднял на ноги не одну мою мать, но и бабушку Анну, и Сему, которого чуть не сожгла горячка, и многих мужиков и баб. Жил он по-прежнему при барском дворе, учил барских ребятишек, но каждый день ходил по избам, где лежали хворые. Холеру он выгнал из села, но от голода люди долго еще валялись в тифу и мучились животами. И позднее — в дождь, в грязь, под студеным ветром — он так же охотно шагал по селу, размахивая своим чемоданчиком и не замечая ни грязи, ни секущего дождя, хотя с картуза стекали на его русую бородку струйки воды, а шинель становилась тяжелой и лубяной. И если встречал кого-нибудь на улице или у избы, весело покрикивал:

— Здорово живешь, Поликарпыч! Все ли благополучно в семье-то? Зайду на обратном пути покалякать.

Хотя он и не принимал участия в летних событиях, но встречался с вожаками в сонную пору за селом, как мне самому доводилось видеть это. Поговаривали, что он и молодого Измайлова уговаривал раздать часть хлеба из барских закромов, чтобы спасти крестьян от голодной смерти. Ходил он часто пешком и в Ключи, к Ермолаевым, у которых сдружился с горбатеньким братом Михаила Сергеевича — мировым судьей, — и вместе с ним добился, чтобы Ермолаев выделил из своих запасов хлеб для беднейших мужиков.

Когда приехала учительница, Антон сразу же зачастил к ней. Оказалось, что они раньше были дружны и встречались, как жених и невеста.

Спускаясь с барской горы в село, он иногда заходил к нам — проведать мать. Так он не забывал проведывать всех, кого вылечил, и считал их своей «родней». Входил он к нам в избушку неожиданно, как-то по-парнишечьи вспрыгивая из саней на высокий порог и низко наклоняясь, чтобы не удариться головою о притолоку. И с порога же кричал:

— Вижу, вижу, Настя, — жива, здорова! Вот и хорошо, и я доволен.

Мать с радостным испугом бросалась к нему навстречу и певуче причитала:

— А, батюшки! Гость-то какой дорогой да желанный!

Он мгновенно ставил на лавку свой чемоданчик, бросал рядом с ним картуз и, схватывая руки матери, с улыбкой всматривался ей в лицо.

— Ну как же мне не радоваться, если я встречаюсь с человеком, которого я вырвал у смерти? В каждой избе встречают меня близкие люди. В Моревке хотели меня самосудом растерзать. Да и здесь колья готовили. А сейчас и там и здесь я — как в родной семье.

Мать расцветала перед ним и с трепетным счастьем в глазах лепетала сквозь слезы:

— Ты меня, Антон Макарыч, из мертвых воскресил, себя не жалел. А смерть-то ведь и тебе косой грозила.

— Смерть-то бежит от меня, как черт от ладана. На то я и врач, чтоб с недугами да со смертью бороться. А когда ты вот родилась заново при моей помощи, меня уже не забудешь.

— Не то ли что не забуду, Антон Макарыч, а никогда ты в душе не угаснешь.

— Ну как же мне не радоваться, Настя? У меня уйма близких людей! И чем ни больше их копится, тем легче жить.

Он и меня не забывал, похлопывал по плечу и ободрял:

— Учись, милок, и не унывай! Счастье добывается с бою.

Мать не отрывала сияющих глаз от лица Антона Макарыча и очень хорошо, легко, задушевно говорила ему поющим голосом:

— Дай господь тебе счастья да неугасимой любви с Оленушкой, Антон Макарыч. Без любви, без радости жизнь-то — неволя.

Он запросто, по-родному, целовал ее и уходил, как добрый молодец в сказке.

И я верил, что и у нас, и в Моревке, и в Ключах он был всем — родня. А сколько детишек теперь играет на улице! Без его лечения, наставления и ухода они лежали бы в могилках.

Каждый день по вечерам он приходил к Елене Григорьевне и просиживал у нее до поздней ночи. А то оба они засиживались у Кости, которому он лечил сломанную руку и больную грудь. Рука так и осталась у Кости искалеченной, и от чахотки он не вылечился, но стал выходить по праздникам к парням и молодым мужикам, которые собирались на горке, у амбаров, где обычно хороводились и девки с молодухами. Так же, как и раньше, он первый запевал песни, хотя голос у него уже был не прежний, а глухой и слабый, с одышкой. К нему относились бережно, словно боялись толкнуть его и повредить руку. А сам он не прочь был и поплясать под

гармошку. Но чаще всего мужики и взрослые парни садились вокруг него на блеклую осеннюю траву и расспрашивали о том, как его и Тихона с Олехой, с Исаем и Гордеем терзали в стане, в арестантском узилище, как всех, связанных веревками, забитых до крови, грузили на телеги, как вызволяла его Феня и как волочили его, едва живого, на допросы к становому. Может быть, потому, что Костя не был приписан к нашему селу и считался посторонним, а может быть, и потому, что злобу свою становой сорвал и на Фене, — и ей досталось от его нагайки, — он выбросил Костю из узилища ей на руки. Она привезла его домой на попутных подводах. Но рассказывал он про себя без жалобы, без злой обиды, словно о ком-то другом, и это так действовало на мужиков, что они даже вскакивали от мстительной ярости или били кулаками по траве. Когда же он любовно говорил о Тихоне, как он и в стане отбивался от полицейских и они отлетали от него кубарем, все хохотали, размахивали руками, а те, кто был погорячей, вскакивали на колени и ликовали:

— Ух, молодчина какой! Ну и боевой мужик!

А кое-кто вздыхал горестно:

— Олеху вот жалко... Пропадет парень.. Больно уж бешеный... Себя забывает и к себе безжалостный.

— Сиротой рос... Кто его жалел? Ну и ему жалеть себя нечего... И терять нечего...

В такие вечера приходил иногда вместе с конторщиком, гармонистом Гороховым, и Антон Макарыч. Приходил он как будто так — для развлечения, от нечего делать, но мужики и парни тесно обступали его и забрасывали вопросами. Горохов отходил к девчатам и молодухам и звонко рассыпал там плясовые трели. И мы с Кузярем уж знали, что Горохов нарочно наигрывал в хороводе, чтобы Антон Макарыч под шумок поговорил с мужиками. Мужики обычно прогоняли нас, но мы ухитрялись незаметно подкрадываться к ним в то время, когда они вовлекались в разговор с Антоном Макарычем. Чаще всего они просили его хлопотать перед барами, чтобы они оправдали Тихона с товарищами и всех ключовских му-

жиков: ведь сам же Измайлов и сам Ермолаев открыли свои амбары и роздали хлеб мужикам. Антон Макарыч шутил:

— Сами-то сами, да кто их заставил сесть не в свои сани?.. По своей доброй воле они вам ни зерна бы не дали.

И серьезно обещал:

— Хлопочем, хлопочем... Мы с молодым Дмитрием Дмитричем уже толкуем с горбатеньким — с мировым судьей... Он нас обнадеживает.

И упрекал их с насмешечкой:

— Эх вы... мужики, мужики!.. Недаром говорится: что́ ни село, то свое прясло. Сговору у вас нет. А надо драться не селом, а уездом да целой губернией... Всегда вас будут бить и по одному вязать... Ну, и пороть каждого...

Мужики соглашались:

— Да черт ли... Разве сговоришься... Сын с отцом, брат с братом не сговариваются, а шабры-то — за плетнями. К тому идет, что Ивагин со Стодневым разоряют гнилые плетни-то... Вот Ивагин и избы ломает... Не будет гнезда, не за что будет ухватиться — народ и полезет на рожон.

Однажды меня подхватил под руку Горохов и сказал по секрету:

— Маша письмо прислала. Она — на Кавказе. Зовет меня к себе. Вам кланяется. Плохо ей приходится без паспорта... Ну, да я ей достал у одной вдовы... Скажи об этом матери — пускай не тревожится...

Но мать и не тревожилась. Она только вздохнула и позавидовала Маше:

— Счастливая-то она какая!

Хотя я с отцом и матерью «смешался» с мирскими, не «очистился» и не «примирился» с «правоверной общиной», то есть не молился по лестовке и не исповедовался у смердящего старичишки настоятеля, — все же иногда я захаживал в моленную, которая ютилась в пустой старенькой избе Сереги Калтаганова, захваченной Митрием Стодневым. Он благочестиво уступил ее под моленную, но наложил на

прихожан «натуру» — вносить ему каждую осень по гарнцу ржи «с дыма». Меня тянуло в моленную — петь ирмосы и кондаки. Я и раньше с удовольствием пел эти «стихиры», истово простаивая на лавке около налоя целые часы. Напевы эти на разные «гласы» мне очень нравились, особенно на «вторый» и «осьмый». Меня, как «отрока», допускали до налоя, «прощая мою нечистоту» за «звонкий, ангельский» голосок. Кузярь и Сема не пели: у них голосишки были «неправедные» — фальшивые, да и охоты у них не было к «песнопению», а ходили они на «стояние» по обычаю, для порядка. У налоя, по обыкновению, стоял Тит и гнусаво читал псалтырь. Он первый запевал ирмосы сиплым и противным от насморка голосом.

Но не только потребность к пению влекла меня в моленную. Мы с Кузярем задолго до «часов» — до обедни — прибегали слушать так называемую «беседу» — чтение поучений и толкование их Яковом и его спор с некоторыми стариками, застывшими в своих древних «уставах» и, как дедушка Фома, не терпевшими «борзых» и «лукавых» мыслей. И мы ликовали с Кузярем, когда Яков «резал» этих стариков текстами из поучений.

Иногда мы с матерью наведывались к Кате. В избе чувствовалась только она: старик лежал на печи, а старуха, глухая, сморщенная, безгласная, обычно сидела в уголке и разбирала мочки кудели или вязала крючком варежки. А однажды она возилась с холщовым полотнищем, трудно вставала, прикладывала его к груди, примеряя на свой рост, и скрипучим, дряхлым голоском напевала что-то похожее на вопленье. Катя с усмешкой пояснила:

— Саван себе готовит — умирать собралась.

И каждый раз я заставал Якова за столом, в переднем углу, над толстой книгой с разноцветными закладками.

Очень ярко остался в памяти один из таких дней, когда Яков показался мне не обычным мужиком, а вдохновенным, гневным пророком. Склонившись над книгой, он укоризненно качал головой и бормотал что-то. Катя, посмеиваясь, крикнула:

— Аль не видишь? Гости пришли. Беда мне с ним, только и роется в этих книгах, как кочет в сору.

Он быстро вылез из-за стола и очень приветливо встретил нас. Как разбитной хозяин, он распорядился гостеприимно:

— Катерина, Катена, самовар ставь! Надо попотчевать дорогих гостенечков. Садись, Настасья Михайловна, с сыночком-то. Уж больно редко нас наведываешь.

А Катя притворно-сердито вскинула голову и с задорным лицом осадила его:

— Ну, рассыпался бисером, говорун! Рад случаю поегозить.

Мать — малорослая — обняла большую Катю, пылко отказалась от чая и скороговоркой попросила ее не беспокоить Якова.

— Мы и у себя чаевничаем утром и вечером. А я к вам покалякать, посоветоваться пришла. — И, подталкивая Катю к чулану, похвалила ее: — Чистота-то какая у вас, Катя! И дух хороший. Страсть люблю чистоплотных людей!

Катя, польщенная, посмеивалась:

— Чай, у тебя заразу эту и подхватила. Помнишь, как ты полы у матушки-то да у батюшки скребла да окошки протирала, да все с песенкой, с причитаниями? А тятенька с Титкой нарочно грязищу на ногах приносили. Мамка-то хоть и гневалась, а сказать боялась. Только Паруша тятеньку бесстрашно обличала да совестила. Ну, мне все это впрок и пошло.

Яков чванился перед нами:

— У меня Катена как краля в хоромах, — все на ней держится, всем повелевает и даже меня волчком вертит. А я гляжу на нее да радуюсь: и жена — не рожа, и работница — гожа, и хозяйка — дорогого дороже.

И, подмигивая матери, шутил:

— И уж в ум себе не возьму, кто на ком женился — не то я на ней, не то она на мне...

Катя бесцеремонно отшучивалась:

— Ты на мне — во сне, а я на тебе — наяву.

Мать смеялась, любуясь ими обоими, и завистливо восхищалась:

— Люди-то вы какие оба радошные!

Яков, в чистой рубашке, подбористый, хвалился Катей:

— Это вот в ней вся сила. Она меня будто в купели выкупала и живой водой напоила. Тетушка Паруша приходит — не нарадуется. «Без разумной, говорит, да без властной хозяйки дом — сирота, а то и содом. Тебе, Яков, Катя-то, как жар-цвет в Иванову ночь, досталась и счастье принесла. Молодость, говорит, у меня была лихая, любовь — на кресте распятая». Она ко мне приходит чтение да толкование мое послушать. Оно и раньше к печати да книгам у меня соблазн был, да под спудом держался, а теперьча я, словно на крыльях, поднялся.

— Ну, иди, иди, говорун, докапывайся там до вещего слова в книгах своих, — прикрикнула на него Катя, — а мы с невесткой тут в чулане пошепчемся. И Федяньку под свое крылышко возьми, он ведь тоже книжками-то, как перьями, оброс.

Она подхватила мать под руку, и они скрылись в чулане, да еще и затворили за собой дверь.

— Верно, пойдем-ка, чтец, почитаем да потолкуем. Тут, в наших всяких толковниках, нашел я такие словеса, которые наши начетчики да вороги-настоятели скрывали от темных людей. А правду-истину не спрятать — она и из гнуса и лжи дымком да огоньком проявится. А книги разные бывают: одни лже и кривде служат, другие — свет правды в строчках своих нетленно несут. Ну, а в этих вот толстых книгах, в поученьях святых отец, в словах мудрости всяких наставников правда-то засыпана, завалена навозом лжи да обмана, чтобы одурачить народ ради мамоны да власти над человеком. Вот и выходит, что правду-то надо искать да выкапывать.

Прежний парень, молчаливый Яшка, неуклюжий, лишний среди деревенских парней, мерещился мне недоумком, которого совсем не замечали ни девки, ни женихи, а подчас и потешались над ним в хороводах. Я вспоминал, какой он был смешной в троицын день,

когда молодежь ходила в березовую рощу завивать венки, и как мы с Кузярем, взобравшись на березу, испугали его с Катей. Но сейчас передо мной был другой человек: разбитной, смелый в спорах, сильный в своих мыслях.

Он посадил меня около себя, отодвинул толстую книгу и выдернул из кипы таких же толстых книг в деревянных переплетах с металлическими застежками небольшую старую книгу в покоробленном толстокартонном переплете.

Он бережно раскрыл ее на первой странице и прочел: «Цветник». Книга была написана славянскими буквами от руки каким-то, должно быть, подвижником, который избрал этот труд как праведное дело. Начальная страница была изукрашена тонкой кружевной вязью, а первая буква текста, такая же причудливая, похожа была на резной наличник. Видно было, что писец работал с увлечением и умельством, как вдохновенный художник.

— Книга эта, Федя, написана в годину бед — в годину нашествия двунадесяти языков, — восемьдесят годов назад. И первое слово в ней — об антихристе. Это для народа антихрист, а для правителей — бар и богатеев — друг и союзник. Кровь русская, мужицкая наша кровь, лилась рекой.

Я не выдержал и уточнил:

— Это французы. Лермонтов даже песню сочинил — «Бородино».

— Так вот, — перебил меня Яков, — чего же в этой книге написано? Цветник-то цветник, да цветы-то назьмом завалены, а на назьме — поганые грыбы. Попы да монаси-мздоимцы назем свой крестом да кадилом осеняли и выдавали за благодать. А такие простецы да легковеры, как этот писец, сами сослепу служили антихристу. И наша община и церковь только на этом легковерии и держатся. А кто всем командует? У нас — Митрий Стоднев, у церковников — поп да Сергей Ивагин, староста Пантелей с Максимом-кривым, да с сотскими, да с урядниками, а над ними и с ними — баре. И все-таки, как ни заваливают сором да блевотиной своей слово истины, оно

нетленно: раскопаешь эти кучи тлена и мерзости, оно и вспыхнет и засияет, как звездочка. А найти его да понять что к чему — страсть как трудно. Слово истины искать надо, Федя, всю жизнь искать, оно — в плену у фарисеев и мздоимцев. Читай-ка вот это зачало!

Он открыл по закладке книгу в середине и ткнул пальцем в красную букву. Листы книги были желтые, словно восковые, а строки въедались в бумагу жирно. И эти крупные буквы, похожие на древних старух в моленной, и сердитые слова с титлами, как беззубые старики, всегда тревожили и угнетали меня непонятной мертвой речью, в которой, как в колдовских заклинаниях, таилось что-то опасное, угнетающее.

— «Благообразен много, зело строен, — читал я с запинками, — тих во всем. Со гневом не речет и не явися уныло, но всегда весел и всяцем образом учения прельстит весь мир».

— Стоп! — оборвал меня Яков и прикрыл ладонью страницу. — Понял, что прочитал? Узнаешь тех, про кого написано?

От этой тарабарщины я сразу отупел и на вопрос Якова не ответил. Но он как будто не заметил моего трудного молчания и с живостью человека, который раскрыл смысл этой невнятицы и увидел за нею живых знакомых людей, огорошил меня:

— Это же, милый человек, Митрий Стоднев: «благообразен, зело строен, тих...» Ну, и про попа тоже. Какая же ихняя власть? Читай об этом вот тут.

Он перевернул несколько листов и опять ткнул пальцем в строки. Лицо его в молодой бородке лукаво улыбалось, словно в этом месте книги была уготована мне поразительная неожиданность. Я опять читал, с трудом разбирая неслыханные слова, запинаясь и изредка коверкая текст:

— «...Глади и труси, смятение людем на земли. Небо не дает дождя, и земля уже паки не дает жита. Увянет доброта лица, всякие плоти будут яко мертвы. На путех — трупия, на цестах — смрад и в домех — смрад, на цестах — алчба и жажда. Цеста же — путь наречется: на путех — горе и в домех — горе. Тогда кто каждо друг друга с плачем сретает».

— Вот! — опять прервал меня Яков, обличительно указывая пальцами на окно. — Это было у нас летом? Было и будет. Голод, болезни, холера, смерть — «трупия на путех и в домех». Антихристы говорят: за грехи — кара господня. За чьи грехи? За грехи неимущих? А почему за все смертные грехи нет наказания Стодневым да Ивагиным? С больной головы на здоровую, братцы! Видишь, вот тут в конце сказано: все это — «область скверного владычества антихриста». А они и есть антихристы. Не забывай, что́ читал. Гляди!

Он подскочил ко мне с лихорадочной торопливостью, поискал закладку и открыл дальше, в конце книги. Он распалился и, как горячий спорщик, напористо доказывал свою правду, извлекая ее из творений тех же «святых отец», которыми пользовался, чтобы убедить прихожан в другой правде, краснобай Митрий Стоднев. Глаза у Якова блестели, на скулах вспыхнули красные пятна, даже руки дрожали у него от возбуждения и от протестующего гнева против нечестивых беззаконников и лицемеров. Он уже забыл обо мне как о парнишке, а смотрел на меня как на своего противника или как на человека, который обманут антихристом. Мне было и неприятно от его вдохновенных наскоков и занятно наблюдать, как он обличает фарисеев и мерзких владык в смертных грехах против обездоленных ими людей.

— Гляди! Читай и думай. Бери, как оно написано, а не толкуй на свой лад — криво и лживо. Читай!

Но он сам стал читать с злорадным нетерпением:

— «Воздохнут и вострепещут царии земстии, и князи велицы, и воеводы, и весь сан богатых, елико их есть притязание много имете на земле неправдою...» А дальше что? Тут уж прямо не в бровь, а в глаз: «И горе будет властелинам неправедным, не токмо делом насилующим и ранами казнящим... но одеяния и пищи не дающим и гладом морящим... Зане наста отмщение, и будут окаяннии тии в страхе велице... руци их и нози вострясутся и власи глав их восстанут... И паки люте вам, богатым...» А это все

кому гроза? Знамо, всем душегубам и мерзкой власти. А от кого гроза? Сам видишь. А ежели не видишь — думай. От народа — от обездоленных, голодных, ограбленных, пущенных по́ миру... То-то вот... Видишь, мудрость какая? Правда-то — вот она. А ее попы, да лжеучители, да мерзкая власть секут и распинают. Значит, все наши великомученики — Микитушка, Петя Стоднев, Тихон, Олеха... и весь наш бессчастный народ — истинно праведные... От них и отмщение.

Он сел за стол, сердито захлопнул «Цветник», сунул его в угол, под образа, ударил кулаком по столу и вознегодовал:

— До чего довели! Через какие неисповедимые муки гонят народ! Запомни, что прочитал... глад, мор, трупии в домех... А отчего? От мерзкого владычества... Давно меня, еще в парнях, думы эти терзали... Должно, так и пророки являлись... Ну, только вострепещут от страшного суда и богатии, и воеводы неправильные... Был Стенька Разин, был Емеля Пугачев... да только не им уготовано было все вверх дном перевернуть... Идет другой грозный судия... Везде об нем являются знаменья... Знаменья эти — как белые птицы: летают по всем краям и весям... Будет отмщение!.. Будет!..

Он опять ударил кулаком по столу.

Старуха сидела в дальнем углу и, словно неживая, мотала с пальцев на локоть шерстяные нитки с двух клубков. Она как будто не видела нас, занятая своими дряхлыми думами.

Из чулана вышли Катя с матерью — обе довольные, улыбающиеся. Катя с притворной сварливостью крикнула:

— Ты что это, Яков Иваныч, кулаками стучишь? Ишь разбушевался! Страшный какой! — И, указывая на него пальцем, она похвалилась перед матерью: — Он у меня уж апостолом стал... Видишь, даже перед парнишкой кипмя кипит, а в моленной, как громобой, молоньи мечет. Уж не знаю, надо ли мне детей родить, — пошутила она с притворным раздумьем. — Боюсь, как бы он, такой взбалмошный, не

стал младенцами, как поленцами, драться. От него и так старики разбегаются.

— Господи, гляжу я на вас и не нагляжусь...— позавидовала мать.— Верно говорится: без любви и песня не поется, и дом не строится.

— Настасья Михайловна, любовь красотой дышит и цветами цветет. Жива любовь — жива и душа наша. Оно хоть и сейчас девок продают и с сердцем ихним не советуются, да ведь и трава-то и из темницы земной к солнышку пробивается и расцветает жар-цветом: без любови и жизни нет.

— Ну, пошел говорок речи свои серебром рассыпать...

— А это оттого, Катенька, что я и за тебя душу выкладываю...

Мать улыбалась им сквозь слезы.

— Ну, будет тебе жар раздувать! Ты только невестке сердце надрываешь: у нее с браткой не любовь была, а побитушки да терзанье. Ее наши бирюки до порчи довели.

— Не буду, Катенька, молчу... А ты, Настасья Михайловна, прости меня, Христа ради! И уж не обессудь, приходи с Федей во всяк день и во всяк час для мирбеседы.

Сорок лет спустя этот «Цветник» я нашел в старом дедушкином выходе, в куче всякого хлама, и взял с собою, как память о моем детстве, о деревенском моем житье-бытье, о первых шагах моих в познании жизни.

XXVII

Прошло уже более полувека с тех дней, когда я, подросток, захаживал на «стояния» в моленную, чтобы попеть в общем хоре и послушать «прения» в перерыве между утреней и «часами», но и сейчас не забыты все эти горячие душеспасительные споры. Все они сводились к одному — к своему крестьянскому житью-бытью, к бедственному положению — к малоземелью, к неурожаям, к голодухе, к нищей

своей зависимости от помещиков и богатеев. Но эти дни неурожая и голодовки с особенной яростью возбуждали мужиков против мироедов и бар. Уже в зрелые годы я старался разобраться в этих сумбурных, крикливых спорах и приходил к выводу, что в то лето деревенский народ готов был громить и барские и кулацкие поместья. В нашей губернии так оно и было: всюду вспыхивали бунты, в разных местах происходили разгромы дворянских гнезд, поджоги, убой скота, и нередко голодающие деревни отбирали хлеб у помещиков и кулаков. Но так как по уездам и волостям мужики выступали отдельными деревнями и в разное время, полиция и земские заправилы легко расправлялись с бунтующими селами и подавляли восстания. Рабочий класс еще не был организован и не мог возглавить и организовать крестьянское движение.

А беспокойная мысль обездоленного мужика искала ответа на мучительные вопросы и выхода из безнадежности. Прямо и беспощадно ставились вопросы о богатстве и бедности, кому должна принадлежать земля и что нужно делать, чтобы восторжествовала правда и справедливость. В те дни эти вопросы страстно обсуждались на собраниях наших поморских сектантов. Перелистывая старинные рукописные книги — сборники обличительных «слов» и посланий, написанных какими-то бунтарями против деспотов и лютого правопорядка, — я вновь слышу эти горячие обличения и призывы к борьбе из уст Якова и Паруши.

Яков поражал всех начитанностью: наизусть говорил тексты и против богатых, и против церкви, и против неправедных правителей или брал толстые книги с разноцветными лентами-закладками и уверенно открывал именно на той странице, где был нужный ему текст. Рассуждал он о злых судьях, о жадности и злодействах богачей — помещиков и мироедов, об антихристах-попах, которые служат гонителям правды, свидетельствуют ложно и сами преследуют тружеников ради своей мамоны. И когда кто-нибудь из справных мужиков возражал ему, что по десятой за-

поведи — грех завидовать достаткам ближнего, Яков с улыбкой сильного вставал с места и выхватывал из кучи книг толстый фолиант с медными застежками, победоносно щелкал ими и взмахивал книгой, словно хотел ударить ею по голове возражающего. Но чаще всего он клал на налой несколько книг и рукописей, пестрых от фиолетовых строк, совал их в лицо смущенному сопернику и кричал обличительно:

— А что возвещает блаженный Ипполит-мученик в слове осьмом? «Пастыри яко же волцы будут, иноки и черноризцы мерзкая вожделеют, богатии немилосердием одиются...» Есть это аль нет? А кто они? «Словом — богобоязненни, а делы — нечистиви». А чего сказано насчет бедных и страждущих? «Воистину, братие, тесно есть нам отовсюду».

Все согласно кивали головами, вздыхали, переглядывались и гудели:

— Истинно так — тесно... И податься некуда...

— То-то вот... Куда ни повернись — одни волки. И не волки, а злодеи да супостаты, палачи да богатеи. Это про Митрия Стоднева сказано: «Словом — богобоязненни, а делы — нечестиви». И про попов тоже: «Пастыри волцы будут». Не будут, а были и есть.

Даже дедушка Фома «покачнулся»: домашний развал, неурожай, голод совсем доконали его. Он бросил свой двор, бродил за гумнами по межам, долго стоял, словно лишенный ума, и плакал. А в моленной, где все чаще люди толковали о своем безысходном житье-бытье, такие, как Яков, из нелюдимых молчальников превращались в надсадных спорщиков и корпели над книгами, выискивая обличительные для бар, мироедов и властей тексты. Дедушка внимательно вслушивался в слова «святых отец» и каялся:

— Вот и вспомянешь Микиту Вуколыча — за правду муки принял. А Митрий, как Никон, пес, лиходей, заушил его и старуху его в могилу загнал. И я, грешный, по неразумию под дудку Стоднева плясал...

Старики и мужики помоложе изобличали друг друга в раболепии перед Стодневым, перед Сергеем Ивагиным, даже перед Максимом-кривым. А так как все были не без греха, то каждый каялся, как

дедушка, и обличал всех в том, что они душу в себе убили.

Паруша по-бабьи скромно сидела на скамье у задней стены в ворохе старух и, слушая, глядела на мужиков властными и знающими глазами. Я невольно следил за нею, потому что ее откровенно правдивые глаза видели каждого и по ним можно было судить о человеке — верный он или пустельга, умный или болтушка, трус или крепкий характером.

Однажды Яков вынул из кучи своих книг измятую бумагу и прочитал в ней, что трудовым крестьянам надо сплотиться в дружную семью и бороться за землю и волю, добиваться отобрания без выкупа всей земли от помещиков и кулаков. Все в моленной встревожились и от испуга даже онемели. Такие бумажки и раньше ходили в деревне по рукам, но полиция налетала неожиданно и переворачивала все вверх дном — и в избах, и в выходах, и на гумнах. Кое-кто из мужиков трудно поднялись и, кряхтя, вздыхая, сутуло пошагали к двери.

Паруша стукнула своей клюшкой и властно крикнула мужским своим голосом:

— Ну-ка, ну-ка, мужики! Куда это вы пошли-то?

— Да ведь... дела... домашность. К стоянию-то воротимся.

А Паруша с суровой насмешкой била их своими тяжелыми словами:

— К стоянию-то тоже готовиться надо. Трусость — не праведное дело, не подвиг, а криводушие. Ежели надели шелом да опоясались мечом правды ради, идите совестливо. Венцов вам здесь не обрести. А какой завет дал великомученик Аввакум? Слыхали? «Аще бы не были борцы, не даны были бы венцы». В послании этом, у Яши-то, про это и сказано — про нашу нужду и правду. Аввакум-то спроть царя не побоялся идти и в хари слуг его плевал. Вот надо жить-то. Спереди вы — братии, а сзади-то — татии.

Яков смотрел на нее, опираясь локтем на налой, и улыбался. Он попробовал отмахнуться от опешивших мужиков, которые виновато топтались у двери.

— Да пущай уходят, тетушка Паруша... Июда тоже ушел с тайной вечери, а его только глазами проводили. Зато узнали, кто есть предатель.

Но Паруша и на него накинулась, постукивая клюшкой:

— Ты, Яшенька, молод еще чернить людей бесчестием. Какие же они предатели? Убоялись они только твоей праведной грамотки. Ведь правда-то грозой и громом по земле идет, и не всякий ее встречает без страху и трепету. Останьтесь, мужики, от молоньи не спасешься: она везде найдет, где бы ни схоронился. Не забывайте Микитушку с товарищи. Не разбирает она, кто — мирской, кто — поморский, абы чистая совесть была.

Но мужики все-таки улизнули из избы. Паруша проводила их жесткими глазами и неожиданно затряслась от смеха. А Яков ехидно улыбался и с опаской поглядывал на дверь. Он захлопнул книги с рукописными посланиями, отнес в передний угол и завернул их в большой кубовый платок.

Тревожное бормотание не прерывалось, и я видел, что и старики и молодые словно были ужалены лестовкой. Взбудоражило их и бегство кучки мужиков. Кое-кому хотелось уйти вслед за ними, но речи Паруши пришили их к месту. Малограмотный и малоумный настоятель, ветхий старик, недовольно ворчал:

— Слово божье надо бы слушать... с благочестием... а мы мирской суетой супостата тешим...

А Яков, распаленный словами Паруши, с неслыханным красноречием провозглашал:

— Ты, настоятель, только и жил под началом Стоднева. А Стоднев-то не бога, а мамону славил. Ради добычи да грабежа и брательника своего, как Каин, сгубил — в кандалы заковал. Вот оно, божье-то слово, в устах Митрия Стоднева в какое злодейство обернулось! Кто Серегу-то Каляганова сожрал? Кто обездолил нас — угодья наши вырвал да кровью мучеников полил? Вот для какого коварства божье-то слово у него, у лиходея, служит. Он село-то покинул святым угодником, а веревки на шее у мужиков

крепко затянул. Ему, живоглоту, и полиция верой-правдой служит. Аль вы забыли, что летом-то было? Аль у вас совесть чиста и думы нет о братьях наших, о мучениках? Где они? В заушении, под замком, суда ждут... Кто их заушил, кто на терзание бросил? Он же, человекогубец. Ему тесно здесь стало: в городе-то ему просторнее барышничать, нашим же хлебом торговать. Его-то нет, а место его занял Сергей Ивагин — такой же волк, да еще староста Пантелей с Максимом Сусиным впридачу. Нет, настоятель, божья правда не покорствовать велит, а быть борцами. И хорошо тетушка Паруша слова протопопа Аввакума вспомнила: «Аще бы не были борцы, не даны были бы венцы». Поклоняться веревке на шее нашей мы не будем, а удавку эту оборвать да сбросить надо да ногами растоптать. Как сказано в писании: не спите ночами, бдите с зажженными светильниками! Правда-то неугасима. Ее гонят, ее топчут, а она горит невидимо и всякими путями в душу проницает словом, и делом, и помышлением — и вот хоть бы этими тайными посланиями.

И это красноречие Якова, полное горячего убеждения, не слыханное мною никогда, действовало на мужиков с неотразимой силой: каждое его слово было понятно и откликалось в душе стародавними думами о бедности, о бездолье, о несправедливости. Своими речами Яков бередил их боли и мятежные мысли и вселял в них желанные надежды и тревожные предчувствия неизбежных событий. Если уж такой смирный и невидный парень, как Яков, заговорил и чудом из немого сделался гневным смутителем и проповедником, покоя и мира не будет: людей уж больше не обуздаешь, в темный хлев не загонишь, как баранов. Не зря была попытка захватить землю у Измайлова, не думая о расправах властей. Многие разбежались из села и заколотили свои избы, а земли не прибавилось — все надельные полосы оказались в загребущих руках Ивагина и старосты Пантелея, а избы Ивагин по бревнам увез на роспусках к себе на поле и выстроил там хутор, как помещик. Вражда и ненависть к мироедам и барину копилась и рвалась

наружу многие годы, а теперь, как полая вода, кипит и ломает льды.

Может быть, Яков потому «отверз свои уста» и неслыханно смело разил мироедов и бар, что был уверен в крепости обычая общины — молчать, не вредить друг другу, не называть имен и, что бы ни происходило в «собрании», строго держать все в тайне. В прошлые годы, когда общину держал в своих руках Митрий Стоднев, старики во всем ему покорствовали, смиренно пыхтели и вздыхали под его гнетом, опутанные неоплатными долгами, а молодые мужики и парни после «стояния» старались улизнуть из моленной, чтобы не чувствовать на себе цепкой «длани пастыря» и не слышать его обличений в грехах. Теперь же община, которая ему уже была не нужна в его барышничестве, передана была под начало его должнику и верному рабу, чтобы он держал ее в подчинении: ему нужны были кабальные работники на земле, купленной у Измайлова, и на угодье из надельных полос, отобранных у должников. Как и у барина, на хуторе у него были и плуги, и рядовые сеялки, и механическая молотилка, и косилки.

Сейчас община уже не чувствовала цепких и острых когтей Стоднева. Молодые мужики уже не убегали в перерывах между «стояниями», а «собеседования» они превращали в «прения», в разговоры о деревенских делах, в затяжные споры о том, как жить дальше, в чем причина их разорения, как вырваться из кабалы мироедов и барина, как освободиться от пут круговой поруки... В конце концов все упиралось в малоземелье, в самовластье богачей, помещиков и полиции. И каждый раз кто-нибудь сообщал о «смуте» в губернии и соседних уездах, о расправах полиции, о поджогах имений, о «подметных листках», которые призывают к общему согласию всех мужиков — бедняков и батраков, — чтобы дружной стеной драться с богачами и властью за землю и волю.

Но мужики и парни собирались не здесь, не в моленной, а на гумнах или в лощинках за нижним порядком. В моленной же устраивались особые «беседы» в среде поморцев, которые привержены были

к мертвой букве всяких «правил», установленных «древлим благочестием» для «кеновии» — для скитского общежития. На этих «беседах» слово божье толковалось уже не по-стодневски, не вдалбливалось уже смирение, терпение, рабская покорность и почитание богатства, знатности и власти предержащей, а подбирались и толковались тексты, которые разоблачали своекорыстие и алчность мироедов и власть имущих и призывали не к миру с ними, а к мечу против них. А так как священные старославянские тексты всегда воспринимались, как бы боговдохновенная мудрость, то всех они сразу же покоряли и тревожили. Для бедняков и для всех, попавших в безнадежную кабалу, эти «беседы» были и утешением и надеждой, пробуждали в них чувство возмущения. И когда Яков читал отдельные места из жития протопопа Аввакума о смелых и дерзких его обличениях и упорстве его в борьбе с царем и Никоном, о его выносливости и стойкости в годы гонений и мук, — все это потрясало и стариков и молодых. Я выпросил у Якова эту рукописную книгу «Жития», и мы с Кузярем читали и перечитывали ее. Божественного мы в ней ничего не нашли, и, когда мы вдруг наталкивались на ругательства Аввакума и на слова, которые в печати не допускались, а говорились только на улице, Аввакум представлялся нам отчаянным мужиком, настоящим бунтарем, который отстаивал свою правду, не боясь никаких кар и расправ, и боролся с властями гордо и неотступно, а власти боялись его и держали в погребе на цепи. Но и из погреба грозный голос его разносился по всей Руси.

— Вот это, брат, да! — поражался Кузярь, и глаза его вспыхивали от восхищения. — Вот это человек! Яшка-то какой снулый был, а сейчас — поди-ка, прямо на рожон лезет. Это Аввакум в него вселился.

Я думал так же, как и мой друг Кузярь, и мечтал быть таким же доблестным и яростным бойцом, как Аввакум.

Не только поморцы, а все в селе дивовались, калякая о Яшином перерождении. Одни утверждали, что

это озорная и нравная Катя взбунтовала его — разожгла в нем затаенные думы и усмиренные благочестивой семьей страсти. Другие считали, что он зачитался библией и у него ум за разум зашел. А третьи были уверены, что Яков спознался со студентом-доктором. Но Паруша с суровой насмешкой опрокидывала все эти пересуды:

— Будет вам дурости-то плести! Мало вы бедствовали, что ли? Аль мало неурожаев на голых клочках претерпели? Тут и робенок задумается да закричит истошно. А сколь у нас хороших людей перестрадало правды ради? Вспомните-ка? Яша-то хоть теленок был, а душой скорбел и в слове божьем искал утешения и праведного суда. А она, правда-то, всегда на кривду ополчается. Да и теленочек растет и буй-туром делается. Катенька-то своим вольным карахтером впору ему пришлась.

XXVIII

Суд в октябре оправдал всех — и наших и клюковских мужиков, потому что оба барина — Ермолаев и Измайлов — показали, что они сами открыли закрома и на своих подводах развезли хлеб голодающим. Из нашего села не возвратился только Олеха: он умер в остроге еще до суда. Жалобу Митрия Стоднева суд отклонил: Тихон доказал бумагой за подписью Татьяны, что с нею было добровольное соглашение. Это подтвердили и свидетели — сторонние мужики-извозчики. В селе все знали, что много хлопотали за мужиков горбатенький брат Ермолаева и Антон Макарыч с молодым Измайловым, что защищал их бесплатно какой-то адвокат, товарищ горбатенького.

Однажды в праздник мы с Иванкой пошли к Елене Григорьевне вслед за Тихоном и Яковом. Хоть это было неучтиво с нашей стороны — самовольно ввязываться в компанию взрослых, — но нам очень хотелось послушать, о чем будут толковать мужики в гостях у учительницы, да и Тихона охота была

посмотреть после его возвращения из острога. В комнатке было много гостей, все сидели за столом, а на столе кипел самоварчик, и пар кудрявой струйкой бил в потолок. Тихон с Яковом сидели вместе в пиджаках и чистых рубашках, Костя с подвязанной рукой сидел напротив них, рядом с Феней, а она устроилась у самовара — за хозяйку. Елена Григорьевна стояла около Фени и, улыбаясь, слушала задорный говорок Александра Алексеича Богданова:

— Вас жизнь ничему не научила, Нил Нилыч, — вы мужика уж много лет палкой в рай свой хотите загнать. А мужик вас до сих пор не понимал и не принимал. Вы ему сказки-побаски рассказывали про общину, а он человек трезвый: журавлей ему в небе не сули — подавай синицу в руки, да не ту, которая хвасталась, что море зажжет. Царь Петр создал все прелести этой общины, приковал мужика к тачке и поставил к нему свирепого волостеля, который выколачивал из него все, что можно выколотить. Ну, и обманул вас царь Петр.

Мил Милыч медленно двигался по комнатке, думая свои думы, и сам себе едва приметно улыбался в бороду. На слова Александра Алексеича он ответил добродушно и поучительно, как неразумному парнишке-озорнику:

— Издеваться над подвижниками, которые приносили в жертву жизнь свою за народное дело, — преступно, молодой человек. Это герои, святые люди, а не болтуны, не скоморохи, как вы, например. Эти люди создали об общине великое учение, подобно евангелию древних христиан. Они ходили в народ, как апостолы. И не только жертвовали собою за крестьянскую общину, но создавали общины людей большой веры.

Богданов посмеивался, пожимал плечами и отвечал, обрывая тягучую речь Мила Милыча:

— Почему издеваюсь? Я уважаю подвижников. Я говорю о том, что было... Это великое учение — волшебная сказка и мечта... А что от этого осталось?..

Тихон внимательно вслушивался в разговор учи-

телей и насмешливо смотрел на Мила Милыча. Он спросил с видом простака:

— А где такие общины находятся, господин учитель?

Богданов засмеялся и поспешил ответить:

— Ветром сдуло... А из верующих одних уж нет, а те — далече... Остался только один среди нас — Нил Нилыч.

Елена Григорьевна напала на Богданова, хотя и улыбалась:

— Ты, Александр, поосторожнее с Нилом Нилычем, он прожил большую жизнь, не изменяя своим убеждениям. Я уважаю его. Мы должны у него учиться, как быть твердыми в мыслях.

— Я тоже уважаю сильных и твердых людей, но в упрямых заблуждениях не вижу заслуги.

А Тихон опять спросил Мила Милыча, всматриваясь в него пристальным усмешливым взглядом:

— Невдомек мне, господин учитель, о какой это вы мужицкой общине хлопочете?

Мил Милыч по-прежнему без обиды и простодушно ответил:

— Мне хлопотать о ней нечего, милый человек: она существует и сейчас. Вы в ней живете.

Тихон оглядел всех с удивлением в недобрых глазах.

— Зачем же я в остроге-то сидел? Значит, и круговая порука — добро, и грабеж мужиков — добро, и розги — добро, и неурожаи на душевых полосках и голодухи — добро?..

Мил Милыч отозвался невозмутимо:

— Я, милый человек, не об этом говорю...

— Как не об этом? Наша община-то, мир-то наш на этом и держится. Нет уж, вы лучше не хлопочите о нас, мы уж сами как-нибудь о себе позаботимся. У нас вон и попы сулят рай для всех обездоленных после смерти. А я вот решил во все дни живота моего драться не на жизнь, а на смерть с барами и мироедами. Да я и не один: такой народишка копится везде не по дням, а по часам. По острогу сужу, туда подбрасывали нашего брата бесперечь.

Александр Алексеич засмеялся.

— И выходит, что учить ученого — только портить. У меня вот тоже хорошие наставники — бедняки да батраки. Живу с ними в своей школе одной семьей, и едим из общего котла. Они словно сговорились с Тихоном Кузьмичом: о том же толкуют и готовы на всякие драки. Вот эта община мне по душе.

Мы с Иванкой прислонились спинами к задней стене, около двери, и не смели сесть на свободные табуретки у стола. Елена Григорьевна подошла к нам и молча, с ласковой улыбочкой указала на эти табуретки. Она обняла нас за плечи и повела к столу. Феня подняла ресницы, приветливо закивала головой и налила нам по стакану чаю.

Тихон показался мне в этот день таким же крепко сбитым, кряжистым, как и раньше, до его ареста, только лицо стало серым и немного одутловатым. Его рыжие, коротко остриженные волосы и твердые зеленоватые глаза стали еще заметнее. Что-то строптивое и недоброе застыло не только в лице, но как будто и во всей его фигуре. Елена Григорьевна всматривалась в него и вслушивалась в его слова, когда он задавал вопрос или говорил сам, а говорил он решительно и убежденно. Должно быть, он много передумал и много выстрадал за несколько месяцев тюрьмы.

Взгорье перед окнами сияло пушистым снегом, а в воздухе порхали легкие хлопья и медленно падали на землю. Небо было мохнатое от снегопада и казалось низким, не выше изб верхнего порядка. От этого снегопада в комнатке было очень светло и приютно, а белые подушки на кровати и отдернутые к косякам занавесочки казались ослепительно серебристыми.

Яков, остриженный в кружок, сидел истово, как в моленной, но с Тихоном, очевидно, виделся не раз и о многом договорился с ним — в мимолетных переглядках они понимали друг друга без слов. К чаю он не притрагивался: из мирской посуды пить запрещалось поморскими правилами. Тихон щелкнул пальцем по его стакану и пошутил без улыбки:

— Вот тоже община... поморская... Хорошая ловушка для мужиков. Не мирщиться, не смешиваться... Ядение и питие из своей посуды и послушание перед настоятелем. Мироеды любят псвластвовать в таких общинах. И выходит, что община-то и барам служила, а теперь, при воле, и кулакам служит.

Костя сидел в конце стола, за самоваром, около Фени и молчал. На Тихона смотрел он с дружеской гордостью.

Яков отодвинул стакан, поднял руку с растопыренными пальцами и оглядел всех с дружелюбием, словно хотел обрадовать каждого.

— Согласие-то наше поморское — тараканье, Тихон Кузьмич. Сам знаешь. В старые времена люди гонимые собирались для молитвы о спасении от бед и напастей да для совета на боренье с мирскими владыками. А сейчас и друг от дружки благости не ждут: каждый надеется на свой плетень и поклоняется медному пятаку. А появится на улице поп да урядник — все разбегутся по своим мазанкам. Вот ты меня, Тихон Кузьмич, на смех поднял. А ведь не то нечисто и гибельно, что входит в уста, а то, что из уст исходит.

Он решительно и возбужденно схватил свой стакан остывшего чая и большими глотками выпил до дна.

— Не в этом закон и пророки. Этим заклятьем нас и держат всякие Стодневы в своей крепости. Ведь обман-то бывает сильнее правды, а тенета крепче капканов. Вот и говорят: без вши нет мужичьей души.

Все засмеялись, а Богданов даже в ладоши захлопал, но тут же выхватил книжечку из кармана и карандаш.

— Запишу, запишу...

Елена Григорьевна в восторге крикнула:

— Замечательно! Очень верно!

А Тихон впервые усмехнулся и подмигнул Якову.

— То-то я слышал, что ты в своей моленной и божеских книгах обличенье спроть богачей, попов и неправедных властей выкапываешь.

Яков совсем осмелел и с блеском в глазах ответил убежденно:

— Правда-то сейчас только подметная.

Тихон подзадорил его:

— Берегись, как бы и тебя не связали да в острог не заперли.

Яков хитренько прищурился и скромно отшутился:

— Да уж как-нибудь минует меня чаша сия... Мужики наши молчать привышны, а спроть слова божия кто ополчится? Ну, а слово истины нетленно в душах наших.

Он говорил без запинки, как начетчик, но даже мне было ясно, что он играет словами под прикрытием благочестия.

Елена Григорьевна смотрела на него с ярким любопытством. У нее дрожал подбородок от сдержанного смеха. Для нее Яков был новым человеком, искателем правды, который дошел до своей мудрости собственным умом. Он любил книгу и переживал наслаждение в розыске дорогих слов в загадочной славянской речи, как любитель решать запутанные задачи.

Богданов тоже слушал его с удовольствием и неугасающей улыбкой и записывал что-то в своей книжечке.

— Вот она где, жизнь-то живая... — радовался он. — Я живу с таким народом в своей школе и умнею каждый день. Он не нуждается в благах, которые хотят навязать ему проповедники общинного рая. А его подлинный общинный мир связан с ненавистным старостой, мерзавцем сотским и лицемером попом.

Неожиданно прозвенел негодующий голос Кузяря:

— Ко мне третьеводни ввалился наш сотский с аршинной книгой под мышкой. «Плати недоимки да по круговой поруке начет на беглых». Мамка завыла и хотела в ноги ему... а я ее в чулан загнал! С меня, мол, взятки гладки: я — парнишка, на сходе безгласный. «Ты, говорит, парнишка, вот я и сдеру с тебя штанишки». У меня, мол, штанишки драные, ты, мол, только дырки сдерешь. Ушел он и во дворе орет:

«С молотка спущу весь твой дворишко и всю хурду-мурду...» А я вышел из избы и в спину ему хохочу.

— Ой, Ваня! — рассмеялась Елена Григорьевна. — Небылицу сочиняешь. Да и нехорошо врываться в разговор взрослых.

Тихон поощрительно поддержал Иванку:

— Это верно, учительница! Он у нас самосильный парень — знает, что к чему. Не врет: сотский из избы в избу заходил с этой душевой книжкой. Мне он только издали прокричал.

— А потому, что он тебя, как огня, боится, — разохотился Кузярь. — Однова с горы ты его спустил, а сейчас как бы душу из него не выдавил.

Елена Григорьевна покачала головой.

— Ну, Ва-аня! Как ты свирепо выражаешься!

Костя как будто вздрогнул и выпрямился. Лицо его ожесточилось, и глаза мстительно вспыхнули.

— Да, надо было пороть и калечить нас, чтобы мы стали умнее, чтобы сердце обожглось на всю жизнь. После этой науки я и страх потерял. Вот Фенюшка тоже может сказать, какие муки она перенесла и как в этих муках заново родилась.

Феня просто и любовно сказала:

— Зато ты у меня живой остался.

Елена Григорьевна обняла ее и поцеловала.

— Чудесная ты моя женщина!..

Тихон крепко сжал кулак, надавил им на стол и посмотрел на него с болью в недобрых глазах.

— А у меня ни жены, ни детей не осталось. Одна черная ночь знает, что у меня на сердце... Все сожрали у меня наши лихие беды... А мне говорят: на роду тебе написано жить в этом холопском миру, где даже пачпорта не вымолишь, а уйдешь — по этапу назад пригонят. Вы нам не сулите ангелов с небес, — с недоброй усмешкой обратился он к Милу Милычу, — а прежде всего помещиков да кулаков выгоните да землю у них отберите. А мы уж потом сами сумеем порядки завести.

Богданов порывисто повернулся к нему, отмахнул рукой волосы назад и, подняв брови, уставился на него с изумленным вопросом в глазах.

Но Яков положил руку на кулак Тихона и участливо сказал:

— Это сейчас обида да горе у тебя говорят, а не разум. Надеяться нам, Тихон Кузьмич, да ждать пришествия благодетелей нечего. Нам, народу, надо только на себя положиться, чтобы попрать антихриста.

Мил Милыч бродил по комнатке и как будто не слушал, что говорили за столом. Но на последние слова Якова прогудел мягко и поучительно, как перед учеником:

— А пока этот антихрист ваш властвует, надо понемножку, с расчетом на долгий срок, строить соты для будущего меда. С малого начинать надо, с азов: в малом — зародыши великого. Мы сами — только удобрение для будущих поколений.

Тут уж Богданов не выдержал и с негодующим смехом крикнул:

— Вам вредно сидеть на одном месте, Нил Нилыч! Идите в бурлаки — там хоть вас подстегивать будут. — Он поднял кулак и погрозил в окно. — Крушить и гнать этих антихристов, как называет их Яков Иваныч. А вот без образованных людей народу не обойтись: они свет несут.

Мил Милыч проворчал:

— От поджигателей — свет, а пожары истребляют и поджигателей. Нельзя забывать этого.

Но Богданов только насмешливо покосился на него.

— Это тараканы да кроты света боятся, а народ рвется к нему. И мы призваны освещать пути-дороги. А то народ-то всех нас в одну кучу с антихристами свалит и кровавый самосуд устроит... — пошутил он и засмеялся.

— Бывало, нечего греха таить... — согласился Яков. — Темный народ не разбирает. А тут еще водочка да пьяная бражка.

Тихон вдруг встал и с дрожью в лице оглядел всех горящими глазами.

— Вот Яков меня укорил, что горе меня обожгло, а обида этот ожог растравила. А у кого из нас горя

и обиды нет? Да отчего обиды да горе у людей? Об этом и ребятишки знают. Вот Федяшка мне о ватагах рассказывал... Каторга, и люди там до нутра обижены. А Ванятка? Сколько на него, парнишку, обид и горя выпало... А он и не жалуется, не плачет... И, на удивление, ярится и кулаки сжимает. Слышали, как он с сотским цапался? Не врет, нет! Я его знаю. Так и я: не жалуюсь, не плачу. Знаю я не хуже господ учителей, кто и что плодит все наши беды, горе и обиды. Да и тюрьма мне думать помогла. К большой драке дело идет, и схватки то здесь, то там, как перед кулачным боем, вспыхивают. Сейчас народ уж никакими пытками не примиришь. Вот и мы в этих схватках дрались. Ну, пострадали, зато и свое взяли. А теперь я другой доли себе не ищу, кроме этой нашей драки. Только народ-то наш еще темный. Без ученых людей нам жить сейчас нельзя. Правильно говорит молодой учитель. И нашей учительнице кланяюсь... — И он действительно поклонился Елене Григорьевне. — И детей наших она воспитывает и свет народу несет неугасимый. А какое великое добро делал Антон Макарыч! Он не только лечил да от смерти людей спасал, а души наши исцелял. И не страшился этой нашей темноты и самосуда. Скажу и я: страх — это погибель человеку, лучше бы ему и не родиться.

Громкий веселый голос вдруг всполошил всех:

— Ну, я подошел, кажется, вовремя. Разговор касается и моей личности, я продолжаю его.

Антон Макарыч явился, как невидимка: все напряженно слушали Тихона и не заметили, как отворилась дверь и как вошел Антон Макарыч и прислонился к косяку.

Елена Григорьевна вскрикнула и бросилась к нему с протянутыми руками. Костя и Феня хотели подняться, но Антон Макарыч погрозил им кулаком.

— Верно, Тихон Кузьмич, страх всегда убивает человека. В страхе человек уже не человек. Отсюда и жертвы. В боях страха не бывает.

Тихон как будто встряхнулся, оглядел всех с веселой настороженностью.

Антон сам заулыбался и пристально поглядел на Елену Григорьевну. От этого его взгляда она покраснела. Он лукаво посмотрел и на Феню, но она сидела спокойно, прикрыв глаза ресницами.

— А вот эти наши женщины тоже не знали страха, хоть они на вид и слабенькие. Как Феня боролась за Константина, вы знаете. А вот что за девушка Леля и на что она способна, вы и не догадываетесь.

Елена Григорьевна возмутилась, замахала руками на Антона.

— Нет, нет, Леля, не протестуй! Это нужно знать людям, это очень важно. Нам скромность не нужна, как и хвастовство. Вот Тихон Кузьмич страха не знает, и его ничем никто не испугает, поэтому и скромность ему не нужна. Он — боец, а боец должен идти вперед с высоко поднятой головой.

Тихон усмехнулся и добавил:

— Сейчас без кулаков далеко не пойдешь.

— Правильно! — засмеялся Антон. — Защищайся, но бей! И не кулаками можно бить, а бесстрашием младенца и доблестной верой в себя. А это и есть подвиг. Так вот. Леля добровольно пошла в прошлом году в холерные бараки. Работала сестрой милосердия. В этой опасной работе вместе с врачами не знала ни сна, ни отдыха. Холера валила людей, как сено косила. Врачей было мало, а больничные помощники разбегались. Но зато пошли на борьбу с этим бедствием многие добровольцы, молодежь — девушки и юноши. Народ обезумел от ужаса, а темные силы — полиция и попы — разжигали это безумие, пробуждали зверя в людях, натравляли на врачей и больничных работников. Зачем? А затем, чтобы гнев народа от себя отвести. Вы знаете, как много хороших людей погибло. Базарные толпы нападали на больницы, на бараки, громили их, поджигали, хватали докторов и бросали в пламя или разрывали на клочки. И вот такая толпа нагрянула и на те бараки, где работала Леля. Из всех работников только врач да она не упали духом. Врач бросился к больным, а Леля во всем белом, с красным крестом на груди

пошла навстречу озверелой толпе. А толпа ломилась в запертые ворота. Перед воротами, раскинув руки, как распятый, стоял старик привратник — ни живой ни мертвый. Забор и ворота трещали и ходили ходуном. Скажи, Леля, что ты чувствовала в эти минуты? Ведь это было страшнее обвала или крушения — человеческий ураган.

Елена Григорьевна смущенно ответила:

— Не знаю. Это вышло как-то само собой. Может быть, я сама пошла навстречу смерти, а может быть, уверена была, что меня, такую маленькую, почти девочку, толпа не тронет.

Феня встала, обняла со слезами на глазах Елену Григорьевну и, потрясенная, прижала ее к себе. Костя не отрывал глаз от Антона. Только Мил Милыч по-прежнему очень медленно бродил по комнате и с обычной своей раздумчивой улыбкой теребил бороду дрожащими пальцами. Богданов торопливо писал что-то в своей книжечке. Но Тихон и Яков сидели спокойно и неподвижно, словно то, что рассказывал Антон, их ничуть не волновало: все это как будто им было давно знакомо, как сама жизнь. А вот мы с Кузяром замирали от ожидания страшного момента, когда толпа сорвет ворота, хлынет во двор и будет крушить все, громить и остервенело рвать, терзать и топтать людей. Я чувствовал Иванку так же, как себя, схватив его руку и сжимая ее изо всех сил.

— А конец такой... — сказал Антон, оглядев всех с радостным блеском в глазах. — Маленькая, вся беленькая, Леля крикнула привратнику: «Распахни, дедушка, ворота! Пусть люди войдут сюда». И в эту минуту она увидела перед собою девочку лет трех с тряпичной куклой в ручонках. Это была внучка привратника. Леля подхватила ее на руки и подошла к воротам. И вот тут совершилось чудо. Старик послушно, хотя и был не в себе, раскрыл ворота, и толпа лавиной ввалилась во двор, но сразу же застряла, запуталась в себе, словно ее ослепила или отшибла какая-то сила. Стоит перед этой кипящей лавиной Леля с ребенком на руках, ребенок прижимается к ней с куклой, а Леля приветливо приглашает:

«Милости просим!.. Если есть здесь у кого-нибудь родные, проведайте их... Посмотрите, как мы ухаживаем за больными...» К ней подбежали женщины. Дикие, страшные, смотрят на нее молча, пораженные этим видением. Ребенок лепечет что-то и куклу сует женщинам. И вдруг в толпе заорали: «Бей, круши их!.. Они заживо людей хоронят!..» Но передние словно онемели и проснулись от кошмара. В это время через силу прибежали выздоравливающие. Две-три бабы бросились им на шею. А больные стали совестить всю эту орду: что же, мол, вы, как волки, налетели? И нас захотели погубить и эту нашу сестрицу растерзать за ее добро, за то, что жизни своей для нас не жалеет... Ей, мол, в ножки поклониться надо... Ну, что там дальше произошло, рассказывать не буду: сами знаете, что в такие минуты бывает. Так вот она какая, наша Леля: не ее зверь растерзал, а она его убила.

И он при всех наклонился и поцеловал ее.

— Нет, это ты меня сейчас убил, Антон! — крикнула Елена Григорьевна растерянно. — Зачем ты изобразил меня такой странной... такой героиней?.. Я совсем не узнаю себя... Право же, ничего необыкновенного не было: все было просто.

Неожиданно остановился перед нею Мил Милыч и низко ей поклонился. Он ничего не сказал, ни на кого не взглянул, а молча вышел из комнаты.

XXIX

Школьный год прошел быстро и незаметно. Осенью, с ранним снегом, Антон Макарыч уехал в Москву, а весной Елена Григорьевна уехала к себе на Волгу, и мы, ребятишки, по целым дням возились у себя по дворам или пропадали в поле или на барщине и на работе у новых помещиков — Ивагина и Стоднева. Иванку Кузяря я видел редко: он весь ушел в свое хозяйство — пахал, сеял, боронил, садил картошку на усадьбе, косил траву на межах для своей лошади. Петька тоже был занят то в кузнице

с отцом, то работал на поле. Только по-прежнему Миколька бездельничал в пожарной, а Мосей с колченогим Архипом плотничали у Сергея Ивагина на его хуторе.

Мы тоже ездили с отцом на свою надельную полоску или тащились на пегашке из села в село и скупали для Сергея Ивагина холсты, сырые кожи и овечью шерсть.

Уверенность моего отца в своей удачливости, предприимчивости и изворотливости не погасала даже тогда, когда его била неудача за неудачей: холсты, выклади и шкуры с околевших лошадей и коров сдавал мироеду Сергею Ивагину с убытком или в погашение каких-то необъяснимых начетов. Эти холсты и шкуры лежали у Ивагина в амбарах целыми бунтами — он копил их до поры до времени. Он открывал один из своих амбаров и приказывал отцу выгружать из тележонки холсты, шкуры и шерсть, а потом с фальшивой улыбкой объявлял:

— Получишь свое через недельку.

Ошарашенный отец требовал денег сейчас же, доказывал, что ему не на что хлеба купить и одра прокормить, что он из кожи лез, время терял, на корм лошади последние гроши затратил, разъезжая по деревням. А Ивагин показывал на свалки всякого барахла и кротко внушал ему:

— А я куда дену эту хурду-мурду? Ей в городе сейчас грош цена. Денег у меня у самого нет.

Отец со злой словоохотливостью рассказывал за ужином, как поучал его Ивагин с наглостью барышника:

— Без капиталов, Вася, никакое дело не поладится. Капитал — это как дрожжи: без дрожжей тесто не взойдет. А какие у тебя капиталы? Один крест на гайтане, а на гайтане-то и удавиться нельзя: где тонко, там и рвется. Сейчас барыш не копейкой живет, а пр́оцентом — рубь на рубь, а то и на грош — алтын. Хоть у тебя только крест на гайтане да вошь на аркане, а я вот погоню тебя на твоей кляче баб обездоливать да с мужиков портки сдирать, да беспортошных на мою экономию землю пахать,

с машинами управляться, — вот капитал мой и растет, как подсолныш: из одного зерна пятьсот зерен, а из мужичьих порток — воз конопли да бочка масла. То-то Вася, на стороне-то ты бывал, да не удал. Говорят, лихачом ты в Астрахани был — богачей катал, а того не вбил в башку, что капитал — это божий дар, как счастье. Добывается он уменьем да сметкой.

После многодневных хождений к Ивагину отец получал от него какие-то гроши. С этих дней у него пропала всякая охота к разъездам по округе, и он сразу же решил уехать на Кавказ, на паровую мельницу, где работал Миколай Андреич Шурманов, муж тетки Марьи, которая тоже уехала к нему.

А в школе у меня наряду с радостями дружбы с Кузярем, Миколькой и Петькой-кузнецом, а потом с Гараськой были и дни обид и тяжелых напастей.

В начале второго учебного года нежданно-негаданно обрушилась на мою голову беда. У Елены Григорьевны во время перемены исчезла книга со стола. Обычно все ученики выходили из класса в прихожую, где толпились около учительницы, или выбегали на улицу. В классе дежурный отворял окна и сам выбегал вместе с другими. Дверь в класс не затворялась, кто-нибудь из ребятишек и девчонок забегал туда, чтобы взять из парты кусок хлеба или пряженец. Когда мы вошли на урок, Елена Григорьевна вдруг стала торопливо перебирать книжки, которые стопкой лежали у нее на ремешках. Она тревожно оглядела всех в классе и спросила:

— У меня со стола исчез Некрасов, стихи которого я вам читала. Кто же из вас пошутил со мной так неприлично?

Все испуганно молчали.

— Ну, вот что, ребятки, после урока книжка должна быть у меня на столе. Я знаю, это не кража. Это неумная, грубая игра. Запомните, что такие забавы друг с другом и особенно со мной недопустимы.

Кузярь, красный от возмущения, вскочил и крикнул:

— Обыск надо сделать! Выворачивайте из парт все, что там есть. А дежурному надо оглядеть каждую парту... Открывай крышки!

Но учительница строго осадила его:

— Я запрещаю, Ваня. Не распоряжайся! Я убеждена, что тут кражи нет. И я не буду искать того, кто позволил себе так пошутить со мной. Довольно! Садись, Ваня!

Но вдруг хрипло-простудный голос Шустенка проблеял:

— А я знаю, кто украл...

Весь класс с шумным шорохом всколыхнулся, и все уставились на Шустенка. А он кривил рот в сторону и нахально глядел на учительницу, словно издевался над нею.

— Сядь, Шустов! — строго приказала Елена Григорьевна. — Здесь не полицейский участок. Повторяю, кражи нет, а шутка. Ты не можешь знать, если бы даже оказался вор в нашей школе. Воруют тайно — так, чтобы никто не видел.

— А я видел, — с ухмылкой хрипел Шустенок, и глаза его злорадно впились в кого-то из нас, сидящих на передних партах.

— Ну, кто? Кто? Говори! — закричали мы с Кузярем, чувствуя, что Шустенок задумал какую-то подлую каверзу.

Елена Григорьевна с горестной морщинкой на переносье, не скрывая неприязни к Шустенку, каким-то чужим голосом приказала:

— Ну, если знаешь, говори.

Шустенок засопел на весь класс и опустил глаза: чувствовалось, что ему стало трудно и он чего-то испугался, потому что сразу побледнел.

— Это вот они... Федька с Кузярем украли... Я сам видел... Утащили со стола и выбежали...

И я и Кузярь, оглушенные, вскочили на ноги. Сердце у меня заколотилось в груди так, что я стал задыхаться. А Кузярь, красный, с дикими глазами, истошно крикнул:

— Это я?.. И Федяшка?.. Чтоб украли?.. Врет он, черт паршивый...

И у него сорвался голос от ужаса и негодования. А я стоял и дрожал, словно меня пришибло что-то огромное и страшное. Едва выговаривая слова, я вскрикивал в отчаянии:

— Я никогда не крал... Красть — грех... Я души не убивал... И никогда не убью... Он, Шустенок, злой на нас... Полицейское отродье он... Это он нарочно на нас... Мстит нам... Он и за мужиками шпионит... Это отец его учит...

И сел, близкий к обмороку.

А Шустенок злорадно упорствовал:

— А я видал... Сам видал... Я подслушал, как сговаривались, да и проследил их... А куда они спрятали — не знаю...

Елена Григорьевна спокойно, но недобрым голосом подсказала ему:

— Ну, раз ты проследил, Шустов, ничего тебе не стоит и обнаружить пропажу, ведь она где-то здесь.

Шустенок промычал:

— Знамо, здесь. Тятяша сказывал мне: ежели, говорит, вора обличили, он сам кражу подкинет.

Учительница почему-то улыбнулась и странно посмотрела на нас с Кузярем.

— Ну, успокойтесь, ребята! Давайте заниматься. Ты, Шустов, напрасно затеял эту историю. Я верю прежде всего себе: Федя с Ваней и подумать об этом не могли.

Ее голос так потряс меня, что я уронил голову на парту и заплакал. А Кузярь метался около меня и исступленно кричал сквозь слезы:

— Это он, лярва полицейская, нарочно подстроил! Он с отцом всему народу — недруги и псы. Это он сам украл, а свалил на нас, чтобы обесславить нас перед вами и перед батюшкой.

Подавленно и сострадательно молчали все ученики, молчал и Миколька. Но выкрики Кузяря как будто всполошили его, он вышел из-за парты и самовольно отбросил крышки нашей парты.

— Вынимайте все книжки!

Елена Григорьевна сдвинула брови и быстро подошла к нему.

— Разве я разрешила делать обыск? У нас воров нет. А Федя и Ваня даже и такую шутку себе не позволят.

Но Миколька как будто не слышал ее и вытащил книжки и тетрадки из парты Кузяря. Я предупредил Микольку и сам выбросил на стол свои книжки.

— На, гляди!

Но учительница уже не на шутку рассердилась, и лицо ее стало малиновым.

— Николай, сядь на место!

Я вдруг замер от ужаса, в ушах у меня взвизгнуло, а в лицо и руки вонзились острые иголки. Передо мной на парте лежала пропавшая книжка Елены Григорьевны.

— Ага! — злорадно прохрипел позади Шустенок. — Вот она где! Что, попался?

И захихикал со свистом.

— Навадились чужой хлеб грабить... а книжку стибрить средь бела дня — раз плюнуть... да еще у своей учительницы...

Кузярь в бешенстве выскочил из-за парты и схватил его за грудки.

— Стащил... и подбросил!.. — задыхаясь, надсадно крикнул и размахнулся кулаком, чтобы сразить Шустенка. — Душу выну! Федька не брал. Мы вместе на улице были.

Учительница бросилась к ним и оторвала пальцы Кузяря от рубашки Шустенка.

— Ваня! Опомнись! Как тебе не стыдно!

А Кузярь, едва выговаривая слова, без памяти рвался к Шустенку.

— Я знаю... мы оба знаем, зачем он такую кляузу надумал...

А Шустенок ехидно кривил рот и хрипел:

— Сперли книжку-то... воры! Я свидетель... А когда к стенке прижали, на меня по злости сваливают.

Я сидел, окоченевший от внезапного страшного удара, с холодной тошнотой в животе, и чувствовал себя в отчаянии: я — вор!

— Дело тут нехорошее, Елена Григорьевна, —

озабоченно сказал Миколька, протягивая книжку учительнице. — Надо бы разобраться. Неспроста это. Федяшка с Иванкой в краже не повинились, а Шустов клянется, что проследил их. Тут что-то не так.

Все ребятишки и девчонки, ошеломленные, стояли за партами и глазели на нас широко открытыми глазами.

Елена Григорьевна бросила книжку на столик и весело приказала:

— Никаких у нас воров нет. Я уж сказала. Садитесь! Будем заниматься.

Все дружно сели и захлопали крышками парт.

Кузярь не сел, а растерянно ощипывался и весь дрожал. Что-то вспыхнуло у меня в сердце, как огонь. Я с отчаянием и бурей в душе вскочил на ноги и крикнул, выбросив руки к учительнице:

— Это не я... не мы это!.. У меня своя есть книжка Некрасова...

— На это подзудили его... — уверенно решил Кузярь. — А тут еще мы — из поморцев: надо нас опорочить перед ребятишками да перед всем селом. Вишь, как он насчет хлеба-то: грабители, мол... Не грабители, а сам народ спасал себя от голодной смерти...

Елена Григорьевна настойчиво усадила нас за парты, погладила рукой по головам и словно мгновенно исцелила нас.

— Ну, мы ему попомним... — зло пригрозил Кузярь. — Этому жандармскому выродку и ночь будет невмочь...

— Ваня! — с упреком в радостных глазах усмирила его Елена Григорьевна. — Ты уже все сказал — больше не надо.

Но и Шустенок не унимался:

— Вот тятяша посадит их в жигулевку да отлупцует хорошенько, они и повинятся. Кулугуры все такие — и спроть церкви, и спроть начальства.

С гневом и болью в лице Елена Григорьевна подошла к Шустенку, пристально посмотрела на него, вздохнула и сказала только два слова, но они как будто пришибли его:

— Несчастный ребенок!

В перемену она осталась с ним в классе. О чем говорила с ним — неизвестно, но мы догадывались, что ей захотелось усовестить его, растревожить его сердце и допытаться, зачем он устроил такую подлость над нами. Я был убежден, что учительница не поверила ни одному его слову, потому что она хорошо нас знала, а я без нее не проводил ни одного дня. Ее вздох и сожаление: «Несчастный ребенок!» — не требовали от нас никаких самооправданий.

Когда она вышла из класса, подталкивая Шустенка, лицо у нее было утомленное, потухшее, а над переносьем вздрагивали две морщинки. Но Шустенок с тупой ухмылкой прошел мимо нас и успел уколоть и меня и Кузяря прищуренными глазишками.

По дороге из школы я шел молча, с болью в сердце, с гнетущей обидой, словно меня побили ни за что или оплевали перед учительницей и перед школьниками, а значит — и перед всем селом. Вор! У него чужую книжку нашли в парте и обличили его. Пусть это подстроил нарочно Шустенок, но болтуны и сплетники разнесут по селу и наврут с три короба. А это только и нужно попу и полицейскому.

Вот парнишки и девчонки возвратятся к себе в избу и крикнут:

— А Федька книжку украл. Ванька Шустов его обличил.

Такого ужаса я никогда еще не переживал. И сейчас, когда я шел рядом с учительницей в кучке ребят, своих товарищей, я чувствовал, что между нами возникла смутная отчужденность. И впервые познал я своим ребячьим умом ценность незапятнанной чести. Мне казалось, что товарищи мои отвернулись от меня и затаили в душе недоверие ко мне, а учительница ни разу не взглянула на меня и лицо у нее задумчиво-строгое и чужое.

В бунтующем отчаянии я упал на землю вниз лицом, вцепился пальцами в сухую траву и заплакал.

Все подбежали ко мне, а Елена Григорьевна наклонилась надо мною и с тревожным участием захлопотала около меня:

— Федя, милый, зачем же так убиваться? Надо быть стойким и сильным в своей правоте.

— Я не вор! Я не вор!.. — надрываясь, рыдал я. — Я никогда ничего чужого не брал... Разве я могу вас обидеть?

— Милый, голубчик мой, — засмеялась сквозь слезы Елена Григорьевна, — да ведь я же тебя хорошо знаю, и у меня в мыслях не было, чтобы заподозрить тебя. И знаю, почему все произошло. Мне ведь тоже нелегко: ведь этот удар и по мне.

А Кузярь со злым волнением вскрикивал:

— Кому ни доведись... Ну-ка, ни с того ни с сего — вор! Тут неспроста. Шустенку с этого дня дышать не дадим...

Елена Григорьевна торопливо и беспокойно одернула его:

— Вот этого нельзя, Ваня. Междоусобия в школе я не допущу. Без моего ведома ничего не делайте.

Она поцеловала меня и улыбнулась ободряюще.

Морда Шустенка ликовала передо мною в ухмылке, в прищурке, наслаждаясь моим ужасом и растерянностью. И я знал, что он только и думал, как бы сделать мне и Кузярю какую-нибудь подлость: мы презирали его и следили за ним, как за наушником. Он боялся нас и ненавидел. А когда приехал поп и сразу же ошеломил мужиков поборами и опутал наговорами и сварами, властно вламываясь в каждую избу и вмешиваясь в семейные дела, Шустенок почуял в нем, как песик, хозяина и покровителя. Бывший жандарм Гришка Шустов зачастил в поповский дом и завел с отцом Иваном какие-то тайные дела, а Шустенок присосался к попу, как холуек, и зачванился перед нами. Своими злопамятными прищурками и ухмылками он давал нам понять, что он теперь — сила, что мы у него в руках и он может отомстить нам, как ему вздумается, только ждет изволения батюшки и тятяши. И вот сегодня он сумел ударить меня невыносимо больно — опозорил меня как вора, да еще посмел нагло соврать, что он видел, как мы с Иванкой похитили книгу со стола учительницы. И не только у меня, но и у всех ребя-

тишек надолго осталось в памяти, как учительница подошла к Шустенку с печальным упреком в глазах и сказала с состраданием:

— Несчастный ребенок!

XXX

Как-то во время занятий, когда мы, «старшаки», самостоятельно решали трудную задачу, а Елена Григорьевна вела урок с «перваками» и «средняками», на колокольне похоронно зазвонил большой колокол. Ребятишки всполошились — одни испуганно вскочили, другие застыли с удивленными личишками.

Гараська вдруг громко вскрикнул:

— Это, должно, молодой Измайлов умер. Он с постели уж сколь ден не встает.

Но Елена Григорьевна успокоила всех взмахом руки.

— Это царь умер, Александр Третий. А на престол вступил вот этот, — и она указала на портрет наследника Николая, курносого офицера с маленькими усиками, — Николай Александрович.

Миколька вкрадчиво, со свойственной ему хитрецой спросил:

— А прежнего-то царя за что убили, Елена Григорьевна?

Елена Григорьевна немного смутилась, но сдерживая улыбку, строговато ответила:

— Задавать такой вопрос не время и не место, Николай.

Кузярь смущенно окрысился на Микольку:

— Дурак ты, а еще — жених. За такой подвох морду тебе набить надо. Ты лучше у Шустенка спроси: он тебе без запинки скажет. Отец-то у него в жандармах служил.

Миколька покорно согласился:

— Верно, Ваня, сдуру я сболтнул. Это меня Ванятка Шустов подговорил.

И он подмигнул и нам с Кузярем и Елене Гри-

горьевне: поймите, мол, в чем тут секрет, — это, мол, я вывожу Шустенка на чистую воду.

Шустенок промычал, уткнув голову в парту:

— Царя-ослободителя крамольники убили. Они — везде, как блохи. И этого царя они норовили извести, да не успели.

— Ну да.. — поощрил его Миколька. — Не успели, лиходеи, он сам им кукиш показал — взял да и умер.

У учительницы вздрогнул подбородок, а в глазах вспыхнул лукавый огонек.

Известие о смерти царя не взволновало мужиков: был царь с окладистой бородой, толстый, сейчас — новый, курносый, бритый, с усиками, недавно женатый на немке. Шел разговор, что, может быть, новый царь подати сбавит да землю от бар мужикам отмежует. Но вскоре и об этом забыли. Только поп в церкви не раз разорялся, что молодой царь огнем и железом выведет крамолу, что смутьянов выморит, как тараканов, что всякие бредни о земле да о воле выбьет кнутьем да прутьем.

Иногда после уроков учительница уезжала на барском тарантасике к чахоточному молодому Измайлову, который требовал ее к себе, или к барам Ермолаевым, которые тоже присылали за нею легкую таратаечку.

Однажды утром, когда мы с Кузярем, по обыкновению, встречали ее на луке по дороге в школу, она с гневной улыбкой сообщила:

— Сегодня ночью какие-то негодники бросили камень мне в окно и разбили стекла. Хорошо, что в этот момент меня не было за столом, а то бы камень угодил в меня. Кто-то, должно быть, решил покалечить меня или выжить отсюда.

Оглушенные, мы даже остановились, загородя дорогу учительнице, и, словно сговорившись, вскрикнули:

— Это Шустенок! Это его подговорили отец и поп.

Но Елена Григорьевна сдвинула брови и спросила:

— Почему вы решили, что это сделал Шустов, или Шустенок, как вы его зовете?

— А кто еще на это пойдет?— загорячился Кузярь. — У нас ребятишки смирные...

Ясно было, что какой-то ненавистник надумал испугать Елену Григорьевну и заставить дрожать по ночам. Я доблестно решил, что с этого дня вместе с Иванкой буду охранять ее и мы обязательно накроем и свяжем охальника.

Елена Григорьевна растрогалась.

— Ну, раз у меня такие смелые заступники, я ничего и никого не побоюсь. Только вы уж не беспокойтесь, охранять меня не надо.

Мы переглянулись с Кузярем и не стали спорить с нею: мы, мол, свое дело сделаем, хоть она и не будет знать, — это даже лучше.

А в школе мы сговорились с Миколькой, чтобы он выведал у Шустенка, кто его настрочил швырнуть камень именно в то окошко, перед которым сидит за столом Елена Григорьевна. Миколька сам назвался дежурить по череду вместе с нами попарно у квартиры Елены Григорьевны до полуночи — до звона церковного колокола.

На уроках Шустенок сидел, как обычно, нелюдимо, и по лицу его нельзя было догадаться о его проделке. Миколька ничего не добился от него, только заметил, что он как будто побледнел и съежился. В эту ночь мы дежурили вместе с Кузярем до звона, но никого не приметили. Часто останавливались на горке и молча смотрели в мутное пятно окна в черных переплетах рамы и думали, что там, за занавеской, сидит Елена Григорьевна и читает книгу или проверяет наши тетради. И я знал, что не только мне, но и Иванке хотелось пробыть здесь всю ночь до рассвета и охранять покой нашей учительницы.

А на другой день поп Иван заходил к некоторым прихожанам и внушал, что во вражде своей к православным раскольники дошли до бесчинства — стали камни бросать в окна мирским: вот кинули голыш в окно учительницы и метили так, чтобы раскроить ей голову. Нынче стекла разбили ей, а завтра — ему, их пастырю. Зло и ненависть завещал им учитель их,

еретик Аввакум, а он по воле тишайшего царя погиб позорной смертью. Вот они, недруги и нечестивцы, и живут одной злобой и местью и к царю, и к церкви, и к власти, данной от бога, и ко всем православным христианам. Надо их миром принудить покаяться и воссоединиться с церковью, а ежели воспротивятся — отобрать у них имущество и передать церкви, а она раздаст его самым бедным и неимущим, а их, раскольников, пустить по миру, пускай победствуют и сознают свои заблуждения... Кое-кого он сбил с толку: на сходе кто-то начал было горланить, что кулугуров надо выселить из села, а добро их разделить между верными. Но на них загалдели, бросились с угрозами и даже кто-то кого-то схватил за грудки.

— Ишь какие охотники с батюшкой до чужого добра!

— То-то, то-то!.. Недаром поп-то по селу бродит да смутьянит...

— Тут, мужики, не молитвой пахнет, а ловитвой... Думать надо, шабры!

Поп приходил на каждый мирской сход. Он и теперь, важно опираясь на длинный свой посох, снял шляпу и низко поклонился толпе с обычным приговором:

— Мир вам, православные! Да будет на вас благодать господня!

И сразу же начал обличительно совестить мужиков за то, что они творят грех, защищая раскольников. Государь и святейший синод считают раскольников вне закона: это враги, шайка отщепенцев. Вот почему капища их закрываются, книги их сжигаются. Разве это не сделано и в нашем селе?

Голос Паруши прогудел среди наступившей тишины:

— Это когда же у нас, мужики, был раскол-то с вами? Ни стар, ни мал не вспомнит этого. Жили одним миром — в одном труде, в одной беде, в едином содружье. А нагрянул этот преисподний змий в образе пастыря и начал смуту сеять. Раскол-то не у нас, а ты, поп, с собой принес. Это я, что ли, али

вот половина схода выбили стекла у учительницы? А ведь это я ей гнездо нашла и ее приветила. А ты вот, поп-лихоимец, с того и начал, что обирать да грабить стал с первого же дня да вражду и свару под колокольный звон разводишь.

Поп смиренно, с хитрой улыбочкой возвестил:

— Бог тебя простит, старица Паруша, за ложные слова. Я ведь сам по темноте ума в вашем логове был и знаю, как вы лестью народ соблазняете.

Паруша совсем разгневалась и пошагала на попа, опираясь на клюшку.

— Это кому мне льстить-то? Это из какой корысти народ с панталыку сбивать? Я о своей душе только пекусь, чтобы людям, с кем я жизнь прожила, худа не делать. А ты вот не знай отколь взялся, чуж-чуженин, и раздор в наше бытье вносишь. Я с мироедами да обидчиками всю жизнь дралась, а ты с ними заодно. Не бог тебя ведет, а алчная мамона, отступник!

Тут подошел к ней Тихон, почтительно взял под руку, отвел назад и твердо сказал:

— В обиду тебя, тетушка Паруша, не дадим. Ты жизнь свою хорошо, безбоязненно да совестливо прожила — дай бог всякому так прожить.

Мужики словно опамятовались и закричали все сразу, оравой, как всегда бывает на сходе, не поймешь что́, но мы, парнишки, не пропускали ни одного схода и по лицам и по крику знали, что все стоят за Парушу.

Тихон уверенно и решительно подошел к попу и мужественно, очень внятно проговорил:

— Вот что, отец Иван, дураки да мироеды и у нас есть, а после всяких бед да лихих лет прибавилось и умных людей. У трудящего человека, у бездольного мужика, один ворог — барин да кулак. А на подмогу к ним и ты явился. Послали тебя сюда людей мутить, свару варить, да не вовремя. Умных не сделаешь дураками, а дураки умнеют и от нужды и от беды. Ты сюда к нам не ходи: у тебя торная дорожка — к миродерам да в храм, где церковный староста — Максим-кривой, истязатель. А мы без тебя

жили и будем жить в дружбе и согласии с поморцами.

— Ты — крамольник, — грозно оборвал его поп. — Ты в тюрьме сидел. Ты и сейчас народ бунтуешь.

Яков громко спросил попа:

— А ты, батюшка, не покриви душой перед сходом-то: покайся, за что тебя выпроводили из балашовского села? Там как будто старообрядцев-то нет, а мужики-то отрядили подводы, сложили твое имущество, посадили тебя с попадьей на телегу и во след тебе кулаками грозили да улюлюкали. Врут аль нет тамошние мужики-то?

Поп с кроткой улыбкой поднял свой посох и благочестиво изрек:

— Отвечу тебе словами святой заповеди: «Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна». Вот он, этот раскольник, и выдал себя, как враг.

— Это кому враг? — в упор спросил его спокойно Яков. — Кому враг-то? Тебе или моим шабрам да сродникам?

Тихон ехидно напомнил попу:

— А на вопрос-то Яшин ты, батюшка, так ответа и не дал. Яков — раскольник, я — крамольник. А ты кто, пастырь преподобный? Народ сказывает, что ты — мутило и обманщик. Почем продаешь каждого из нас?

Вдруг, подпрыгивая и припадая на перебитую ногу, с подвязанной рукой, быстро вышел Костя и с судорогами на бледном лице, повернувшись к сходу, дрожащим голосом произнес:

— Я — безземельный, я не к вашему обществу приписанный, а прожил с вами с малых лет и всех вас своими сродниками считаю. Вот и меня вместе с сельчанами мытарили и искалечили больше всех. Вместе с Тихоном да убитым Олехой страдал. А за что? За верность, за нашу общую правду. И не каюсь я, а дорожу честью своей. Только надолго душа моя обмерла. А вот Тихон, друг истинный, да Яков, да тетушка Паруша, да учительница не оставили меня и воскресили. Ну, а этот вот священный сыщик вместе с полицейским влезли ко мне да начали уговаривать, чтобы я следил за каждым шагом

да за каждым словом учительницы и за людями, которые у нее бывают. А то, мол, и другую руку мне выломают и другую ногу перешибут. На доктора клепал. Вот обо всем этом сходу изъявляю. Ничего я не боюсь — после моих мук бояться мне уж нечего, а предателем да шпионом я не буду.

Поп уже с откровенной злобой крикнул:

— Староста, ты видишь, что делается? Здесь при тебе позорят священника, а ты стоишь столбом! Или бунтовских речей не наслушался? Я владыке донесу.

Кто-то злорадно посоветовал:

— Ты, батюшка, поближе камешек брось — к становому аль к земскому.

Староста Пантелей, привыкший к гомону, неохотно встал, встряхнул красной бородой и крикнул, вскинув руку:

— Угомонитесь, мужики, перед батюшкой-то, аль гоже балагурить с ним? У него — сан. Не доводите до греха... Сотский, устраши народ-то!

Но сотский почему-то не тронулся с места, только таращил на толпу глаза.

Тихон засмеялся и спокойно пояснил:

— Вот как вышло: святой отец к старосте да полицейскому, а не к богу с молитвой обращается. Внимайте, языцы, и покоряйтеся! Ты чего же, полицейский, не устрашаешь?

Толпа гулко засмеялась.

Кузярь, ликуя, шептал мне:

— Это он от Тихона обалдел... Шагни к нему Тихон-то — он и в буерак от него скатится. Зато они с попом и спят и видят, как бы удостоить его...

Поп важно повернулся и медленным шагом пошел к церковной ограде.

На другую ночь мы опять с Кузярем сошлись на дежурство. Хотя нам и жутко было в беззвездном мраке и безлюдной тишине, но мы храбрились и подбадривали друг друга твердыми шагами и чуткой настороженностью, как охотники за дичью.

— Вот так же мне летось пришлось в поле ночью работать... — шептал Иванка. — Тьма — хоть глаз выколи, тишина мертвая, только кобылки да сверчки

скрипят. А рядом, через долочек, — кладбище. Могилы-то известкой залиты, а мне все мерещится, что это мертвецы в саванах сидят. А тут еще гарь дымится, а звездочки скрозь нее, как кровь, капают. И вот, откуда ни возьмись, плывет на меня чернота чернее ночи. Я так и окоченел. Ну, думаю, и меня холера накрыла. И так мне досадно стало, чуть не взвыл от горя: не обидно ли умирать парнишкой-то? Только жить раззадорился, а меня смертная тать пришла обратать... Я даже на землю повалился и памяти лишился. Очнулся — а надо мной ангель молоньей крыльями машет, утешно так и прохладно машет... Машет крыльями, смеется и шепчет, как ветерок веет: «Я — Молодева, жизни подательница, я — от Волги-реки, где леса дремучи, где молоньи-тучи. И вот за то, что ты, хоть и мал годами, трудишься да готов слезой землю окропить, приношу тебе дар — живую и мертвую воду, благость народу». Не успел я очухаться, как загремел гром и ливень меня начал хлестать.

— Все-таки наврал — не утерпел... — засмеялся я.

Выдумка Кузяря мне понравилась: он как будто красивую сказку рассказал, а эта Молодева замерцала передо мной, как живая. Да он и сам верил в то, что рассказал, потому что в голосе слышалось взволнованное удивление.

— На кой мне врать-то? Я эту Молодеву в жизнь не забуду.

— Про Молодеву — это хорошо, — согласился я.

— То-то и есть! — обрадовался он. — Разве про такое виденье можно врать? Из души не плодятся шиши, — это еще Микитушка говорил.

Перед мутными окошками прошла черная тень и растаяла во тьме.

— Бежим — враз его настигнем! — всполошился Кузярь. — Это не Шустенок, а какой-то мужик.

Мы быстро слетели с пригорка и под козырьком ворот заметили высокого человека. Нам показалось, что он от нас притаился у ворот, а бекешку накинул на плечи, чтобы мы не узнали его.

— Это кто тут? — с дрожью в голосе спросил

Кузярь, стараясь показать себя суровым. — Выходи! Показывайся!

Глухой, хриплый голос Кости ответил по-домашнему приветливо:

— А, это ты, Ванятка? И Федяшка с тобой? То-то я уж другую ночь примечаю вас на нашей горке.

— Это мы Шустенка подкарауливаем, дядя Костя, — предупредил я его. — Это он камнем-то в окошко лукал.

Костя дышал надсадно, со свистом, и я только в этот ночной час впервые почувствовал, что он очень болен.

— Это хорошо, что вы свою учительницу сторожите. И она вас любит — знаю. Только, ребятишки, тут дело не Шустенком пахнет. Какой он ни есть полицейский выродок, а на учительницу у него лапа не поднимется. Елена Григорьевна кому-то поперек горла встала. Тут не просто озорство, а гоненье. Хорошие наши мужики ее уважают, а она привечает их — не брезгует. Кто они, эти мужики-то? Тут не только Тихон да Яков: почесть вся деревня — бунтари. Разве кулаки, да поп, да полицейский могут это стерпеть? Я другого боюсь: как бы не нагрянули к ней от исправника аль от земского да как бы ее не скрутили... Идите-ка по домам. Я ведь сам сторожу Елену Григорьевну. Я посильнее вас: у вас только палочки, а у меня — дробовик. Вот он.

И Костя вынул из-под бекешки ружье.

— Он у меня давнишний: когда живы были родители, мы с братом на моховое болото на куликов да уток ходили. Я уж слушок пустил: ежели, мол, появится какая-нибудь шишига, а ей заряд пущу ниже пояса. А для охоты я уже сейчас не гожусь, — отохотился и отработался. Вот как трудовики-то страдают!.. Ну, прощайте, ребятки! Вы люди понятливые и все виды наши видали. Идите, учительницу я в обиду не дам.

И он, сгорбившись и хрипло покашливая, пошагал вдоль плетня своего двора.

Этим и кончился наш доблестный подвиг. Кузярь очень расстроился и долго молчал, провожая меня до

перехода через речку, и только при расставании сказал с досадой:

— Не везет нам с тобой, Федюк... Ну, да погоди, дай срок — мы сумеем показать себя. Хоть озоруй, да не горюй!

Елену Григорьевну я всегда заставал за чтением толстых книг. Я не стеснял ее, она так же, как и всегда, привечала меня, раскладывала передо мной на столе книжки и журналы с картинками, а сама углублялась в чтение. Иногда вздыхала и говорила изумленно:

— Ах, какие есть замечательные книги, Федя! Целый мир открывается перед тобой, и чувствуешь, что человек — творец чудес, что земля родила его не для страданий, а для труда как радости. Он продолжает разумно создавать то, что не может возникнуть само по себе. Читай, Федя, добивайся каждый день, каждый год новых знаний. Без работы над собой человек — мертвец, в лучшем случае — рабочая сила или, как говорили рабовладельцы, — говорящий скот. А это нелепость. Скот не может говорить, потому что он скот. А человек не может не говорить, потому что он человек. Но язык он развил в себе потому, что стал создавать себе жизнь по-своему, то есть стал трудиться.

Такие разговоры вела со мной Елена Григорьевна часто. Она умела как-то удивительно просто и понятно объяснять самые сложные и, казалось, недоступные для паренька моих лет истины, потому что говорила от сердца, от любви к человеку. А мне думалось, что она говорила вслух сама с собой: на меня она не смотрела, но задумчиво вглядывалась вдаль, а может быть, и в самое себя. Еще до сих пор я слышу ее голос, отчетливо помню ее слова и вижу изумленно-задумчивое ее лицо.

Как-то при мне вечером ввалился к ней сотский с развязностью пьяного. Мне показался он действительно под хмелем.

— Здорово, учительница! Вот в гости пришел. Как живешь-поживаешь?

Елена Григорьевна гневно и твердо шагнула ему навстречу.

— А тебе какое дело? Ты зачем ко мне явился?

— Как это так — зачем? По службе, по должности, елеха-воха. Мне приказано надзирать за народом, вот я и надзираю, чтоб везде было чинно-благородно. Почему этот парнишка у тебя околачивается? А моего почему не привечаешь? А по каким делам Тишка у тебя со смутьянами гостюет? И крамольники разные такие... Локти грызу, что студента твоего связать баре не дали...

Елена Григорьевна, красная от негодования, неслыханно властным голосом крикнула:

— Убирайся вон отсюда! Сию минуту!

— Чего, чего? — сразу же растерялся он от неожиданного отпора учительницы. — Это меня-то? Захочу — и тебя законопачу... Я уже давно с батюшкой капкан на тебя приготовил.

Елена Григорьевна метнулась к столу, схватила широкую и тонкую линейку и шлепнула Гришку по щеке.

— Вон отсюда, негодяй! За версту обходи это место.

Гришка согнулся и попятился к двери. В этот момент дверь распахнулась, и Костя здоровой рукой схватил за шиворот сотского и вытащил его за порог.

— Ну что, нарвался, дубина? А еще в жандармах был... Ну и дурак! Скорее улепетывай, а то она не так еще тебя отхлещет. А скажет барину Ермолаеву — и кувырком из сотских полетишь.

Елена Григорьевна смеялась у окна и похлопывала линейкой по ладони. А я прилип к окошку и задыхался от хохота. Сотский вихляво трусил к переходу, спотыкаясь и хватаясь за шашку, которая била его по сапогам и мешала шагать.

В эти минуты Елена Григорьевна казалась мне очень сильной и гордой. И тогда же я понял, что гордость сильнее всякой силы, только гордость владеет силой. Такая маленькая и нежная девушка вытурила дылду сотского, которого многие забитые и затурканные мужики боялись, как полицейского с шашкой,

потому что за ним стоит свирепый становой, а за становым — грозный исправник рядом с земским начальником. Я заливался хохотом, наслаждаясь позорным бегством полицейского, и мне чудилось, что это вихляется Шустенок — такой же подлый дурак и трус.

Поразил меня и Костя: он тоже без опаски и без страха схватил его за шиворот и выволок в сени. Гришка и пальцем его не тронул, хотя мог бы одним взмахом кулака отшвырнуть его, больного, хромого, с искалеченной рукой. И я опять узнал новую истину: не в кулаке сила, а в сознании своей правоты. И слова песни, которую пела бабушка Анна, о том, что «правда-то рыдает, а кривда лютая спесивится», казались мне только жалобой рабов, о которых говорила Елена Григорьевна.

Костя не вошел в комнату Елены Григорьевны, а плотно затворил дверь. Без зова он ни разу при мне не появлялся: и стеснялся, и оберегал учительницу от сплетен. Во всем помогала ему Феня.

XXXI

Осень и зима были полны событий, которые будоражили наше село от мала до велика и держали мужиков в постоянной тревоге. Вековой захолустный покой ушел в прошлое, как старая быль, и о нем, вздыхая, вспоминали только старики. Ни в одной избе уже не было ни патриархальной устойчивости, ни мира, ни благости: молодые мужики со своими бабами уходили на сторону или отделялись от отцов, перебирались в брошенные избы и хотя жили, как нищие, но первое время чувствовали себя вольготно. В соседних селах тоже шла будорага. А в том селе, где был учителем Богданов, крестьяне толпой пришли к помещику и потребовали лесу на избы. Лес у их барина был большой, строевой. Помещик продавал его барышникам — вековые сосны рубились по участкам и на роспусках вывозились в город. Мужики жили в мазанках, и только мироеды и зажиточные

рубили себе сосновые пятистенки с крепкими дворами. Помещик прогнал мужиков и натравил на них собак.

Взволновалось все село, и мужики на передках в сопровождении толпы поехали в лес. Во главе толпы стояли мужики, которые жили при школе вместе с учителем, и те, которые приходили к нему в гости на беседы. Нагрянул земский начальник с полицией, забрал и связал этих мужиков, а срубленный лес увез помещик к себе в имение.

Не проходило ни одной недели, чтобы не проникали слухи в наше село о бунтах в ближних и дальних селах: голодные мужики то выгребали из господских амбаров зерно, то громили и жгли помещичьи усадьбы и угоняли скот, то где-то в базарном селе конный полицейский врезался в гущу народа и ударил нагайкой мужика, а рядом крикнули: «Наших бьют!» Толпа бросилась на полицейского, стащила с лошади, и начался самосуд, а когда нагрянули еще несколько верховых, разразилось целое побоище. С завистью толковали о том, как в соседнем уезде мужики смело вошли в дом барыни и заставили ее подписать бумагу на отдачу крестьянам в аренду земли за гроши. Барыня испугалась до смерти и не только подписала бумагу, но выдала и семена.

И везде целыми отрядами врывалась в эти села полиция и порола на церковной площади всех без разбору — и стариков и баб. Толкуя вполголоса об этих событиях, вспоминали прошлогоднюю расправу над нашими мужиками, и у всех глаза наливались мстительной злобой. Озираясь, мужики туго сбивались где-нибудь меж амбаров и с угрюмой ненавистью гомонили:

— Поркой да острогом не возьмешь... Всех не перепорешь, и острогов не хватит... Только еще дураков у нас много: сами идут под розги. Какая там, к черту, община, мир! Вот Тихон с Олехой морды полиции били. Даром что их терзали да калечили, а честь свою они блюли. Вот о чем думать надо, мужики... Держись скопом да дружно, как на кулачках, — никакая сила не пересилит.

Мы, подростки, толкались среди них, играли, бегая друг за другом, и слушали эти злые разговоры. Мужики на нас не обращали внимания: перед своими парнишками они совсем не таились. А мы с Кузярем чаще всего втискивались в эту мужичью толчею и чутко прислушивались к каждому слову. Мы уже хорошо знали характеры наших мужиков и могли безошибочно судить, кто из них смел и небоязлив, кто — трус, кто может стоять горой за всех, а кто глядит в сторону, молчит и говорит про себя: «Моя изба с краю — я никого не замаю», — хотя бы у него не было ни кола ни двора.

Особенно всполошились мужики, когда холодной, промозглой осенью в село нежданно-негаданно пригнали из стана толпу этапных мужиков с бабами и детишками. Раньше пригоняли по этапу человека два-три, а сейчас — целую артель. Оборванные, озверелые, они босиком месили грязь верст тридцать под конвоем верхового урядника и шестерых десятских. У избы старосты Пантелея, где была съезжая, всех сбили в тесную кучу и долго не отпускали по домам: староста с урядником сидели в избе и возились со списками. Со всех концов села прибежали мужики и старухи с бабами. Мужики сочувственно качали головами, по-приятельски переговаривались с угрюмо-злыми этапниками, дрожащими от холода, с детьми на руках. Они яростно посмеивались, нещадно ругались, простудно кашляли и рычали:

— Похватали нас... По острогам, как воров да грабителей, гоняли... и бабенок с детишками... А чего мы тут делать-то будем? По миру крошки собирать? Там, на стороне-то, мы хоть кусок хлеба честным трудом добывали. А здесь вот и избенки-то наши по бревнам растащили. Ну, да все едино тут не жить — опять уйдем, ни один не останется. Завтра же нас здесь не будет. Ищи ветра в поле.

Мужики с негодующим состраданием смотрели на них и, не стесняясь, костили начальство:

— Чего с людьми-то делают!.. Ах, супостаты окаянные!.. Чего им надо? Только и мордуют нас, мужиков...

Пришла и Паруша, опираясь на клюшку. Она по-хозяйски властно пробралась к растерзанным людям, низко поклонилась им и со строгой лаской приветила их. Потом повелительно пробасила:

— Это чего вы здесь, бессчастные, стоите-то, детишек да бабенок мучаете? Домой пришли — идите по своим углам, у кого избы сиротами стоят, а кои бездомные — шабры приютят. Чай, вы в своем селе, дома. Нечего вам тут чужаками стоять. Начальство-то радо над бездольными почваниться да поиздеваться. Идите, идите, дорогие мученики! Кто бесприютный, с младенцами, ко мне милости прошу...

Ее сильное и сердечное слово как будто разбудило всех: женщины закричали, заплакали, а мужики взбудоражились и с радостным озлоблением засмеялись и замахали руками.

— Пошли, ребята!.. Бабы, шагайте вперед! То-то, что мы для них хуже скотины... Не люди, а каторжники... Пошли!.. Достукаются, сукины дети, — еще попразднуем; сторицей взыщем за наши муки...

И все как один пошли по улице в сопровождении деревенской толпы.

Взволновалось все село: только и разговору было, что о пригнанных по этапу. Голые, босые, голодные, с больными детишками, они ютились где попало — или у соседей, или в своих уцелевших выходах, а те, у кого еще стояла заколоченная избушка, не разобранная за ветхостью мироедами, вошли в свои конурки, как в жигулевку, — без постелей, без крошки хлеба. Бабы вопили в избенках от бесприютности, оплакивая свою несчастную судьбу. В таких избенках набивалось по две, по три семьи. Сердобольные соседки приносили им по куску хлеба, по кувшину квасу, вареной картошки в запонах и плакали вместе с ними. Паруша приютила у себя одну семью с простуженными ребятишками и ухаживала за малышами, как за своими внучатами.

— Взыщется с лиходеев, — ворчала она сурово. — Ни одна детская слеза не пропадет даром, выживут дети — с собой в душе юдоль понесут. За что невинные младенцы мытарствуют? Вместо радости да благости —

скитанье да бездолье. Подсолнышки милые, вянете вы без солнышка. Ну, да переможете — сильнее станете, гнев в сердечках накопите, только бы не пропали, не надсадились бы...

А этапники в лохмотьях, с растрепанными бородами и с черными лицами месили грязь босыми ногами, бродили из избы в избу и тревожили мужиков и баб своим видом, злобными жалобами и проклятиями. Заходили они к нам в избу, одичалые, страшные, с безумными глазами, и, ругаясь, выли так, что дребезжали стекла. Мать ставила на стол чашку щей и скорбно потчевала бедолагу. Он ел алчно, а потом молча и жутко плакал.

Через неделю все этапники ушли из деревни неизвестно куда.

Вторую зиму встречали мы без отца.

Отец уехал поздней осенью, словно украдкой убежал из села. Мать, повеселевшая, не скрывающая своей радости, на другой же день пошла на барский двор — на поденную работу.

По вечерам, в синих сумерках, я встречал ее на горе, у прясла. Толпа баб и девок возвращалась с разливной песней, а ее сердечный голос, чистый, как будто хрустальный, звенел в запеве так хорошо, что у меня замирало сердце и слезная судорога сжимала горло. Я подбегал к ней и с наслаждением подхватывал песню всей грудью. Должно быть, она, вольная теперь, опять, как на ватаге, переживала свою свободу с самозабвенным ликованием.

Осеннее небо было плисово-синее, в звездах, а прозрачный сумрак незаметно становился ночью, и крутые взгорья с буераками и тесные ряды изб и амбаров здесь, наверху, и там, внизу, за речкой, с далекими копешками гумен — все размывалось и тонуло в темноте. И когда песня обрывалась на высоком девичьем подголоске, угрюмая тишина охватывала нас холодом и сыростью. Где-то далеко, на столбовой пензенской дороге, дрожал и вспыхивал костер: должно быть, там останавливался обоз на ночевую.

Так мы опять зажили с матерью вдвоем. Она каждый день еще затемно уходила на барщину, а я до школы хозяйничал по двору: задавал корму корове и курам, ходил с ведрами на коромысле за водой к колодцу, протапливал хворостом печь, варил себе картошку на завтрак, а потом бежал в школу. По нашим расчетам, хлеба и картошки у нас хватило бы до весны, а пшено, постное масло, чай да сахар мы понемногу покупали в лавочке у старосты Пантелея. Самовар я ставил каждый день по вечерам, когда приходила с работы мать, и мы чаевничали вместе с нею долго, с наслаждением. Возвращалась она с работы усталая, продрогшая, с обветренным лицом, с посиневшими руками и, как только входила в избу, сейчас же бросалась к кипящему самовару и грела над паром руки.

После чая я садился за уроки: писал, решал задачки и вслух читал ей стихи Некрасова. А она слушала очарованно: забывала о шитье или о пряже и смотрела на меня сияющими глазами, думая о чем-то своем, о далеком и несбыточном. Я тоже смотрел на ее лицо, стараясь постигнуть ее думы, и замолкал. Она приходила в себя, вздыхала и просила жалобно:

— А ты читай, Федя, — уж больно гоже читаешь, словно песню поешь. И как это читать-то ты выучился? Чудо-то какое! А я, кажись, в жизни этой трудности не вынесла бы... Счастливый-то какой ты у меня!..

И вот тут-то я и загорелся: надо сейчас же открыть ей это «чудо». Она совсем растерялась, как девчонка, и со страхом замахала руками, когда я хотел показать ей буквы. Подчинилась она только в тот момент, когда я взял ее за руку. В этот вечер она понятливо запомнила пять букв и пропела несколько односложных слов. Это так потрясло ее, что она уставилась на меня, застыла на минуту и трепетно обняла меня и прижала к себе. И я сразу понял, что эти пять букв и неожиданно рожденные ими слова, бессвязные, смешные и странные: «ах», «да», «дар», «пар» — огромное событие в ее жизни, что для нее открывается какой-то новый, таинственный мир. Она счастливо засмеялась, и я слышал, как гулко билось ее сердце.

В эту ночь мы долго не спали: никак не могли успокоиться. Она не верила, что ей посчастливится научиться читать и писать: ведь женщинам это трудно дается, а в селе не принято баб учить. Только келейницы да безмужницы сидят на псалтыри да на часослове: они от миру отреклись, как приснодевы, у них все земное взято, а им ничего не дано. Они вымаливают себе книжным песнопеньем рай и не расстаются с лестовкой — лестницей на небо. А если бабы узнáют, что Настя и гражданскую печать читает, они разахаются и на смех поднимут. Но я ее срезал двумя словами:

— А Раиса? А Прасковея?

Она покорно умолкла, но потом, вздохнув, с заботливой думой ответила не мне, а самой себе:

— Разве я им ровня? Они ведь себе дорогу проложили и кулаками и разумом. Они себе цену знают — гордые. И не одни, не сиротами живут, они умеют людей за душу брать, а люди-то к ним льнут, как пчелы к матке. Бывало, я около Прасковеи-то с Гришей ни робости, ни страха не испытывала, на всякий рожон готова была идти. Вспомнишь, как Прасковея Олену воскресила да как всех словно на дыбышки поднимала, и думаешь: аль я не человек? Аль я хуже других? Аль мне пути-дорожки заказаны?

Я негодовал на эти ее сетования и даже садился на постели от возмущения.

— И не слушал бы тебя, мамка! Да ежели ты захочешь, на любой рожон пойдешь. На ватаге-то ты как огонь горела. А тут... Тебе и холера была нипочем: не боялась заразы-то — сама к покойнице тете Паше помчалась.

Я не увлекался, не преувеличивал: я знал ее лучше, чем она себя знала. Я любил ее беззаветно не только как мать, но и как самого близкого друга. Она для меня была товарищем и как будто ровней, да и с ватажных дней она привыкла относиться ко мне не как к ребенку, а как к самостоятельному парнишке, который не боялся и за себя постоять, и не ударит лицом в грязь на работе и в казарме, да и ее, бывало, поддерживал в минуты слабости и болезни. Так и сейчас

я чувствовал, что она верит мне, как большому, что считает меня сильнее и умнее себя, как обладающего даром книжной премудрости.

По вечерам я читал вслух книжки, которые брал в школе, и она слушала мое чтение ненасытно, с упоением. Она переживала судьбу героев, как свою личную, волновалась, бросала свое рукоделие и смотрела на меня или с ужасом, или с горестным сочувствием, или с нетерпеливым желанием узнать участь людей, которых она воспринимала, как живых и близких, или с наслаждением смеялась над потешными их поступками.

Так, когда я читал о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, она до слез смеялась и над тем и над другим.

— Вот дураки-то! Как люди-то от жиру бесятся!.. От нечего делать!.. От скуки-то можно ума лишиться до душегубства.

Особенно понравился ей «Мцыри». Она слушала, забывая обо всем, и шептала про себя отдельные звучные стихи. Я перечитывал ей эту поэму не один раз, но что-то в ней было для нее тревожно-загадочным и угнетающим. Когда я заканчивал чтение певучих стихов, она долго молчала с лихорадочным блеском в глазах и со скорбной обидой в лице.

— Это чего он душу-то свою сгубил?—упавшим голосом спросила она однажды. — Зачем он опять-то назад, в темницу свою, воротился? Вырвался на волю и зверей не убоялся... И воля-то перед ним раздольем открылась... И вот тебе — опять в келье... Знамо, лучше умереть, чем в неволе томиться.

Зная ее и чувствуя ее тоску, я понимал, что говорила она не о Мцыри, а о себе, о своей судьбе. Как и я сам, она эту поэму о Мцыри никогда не забывала и сжилась с ней на долгие годы. Я же, читая ее многократно, выучил всю наизусть. Но стихи Некрасова она слушала тревожно. Как-то она с грустной досадой сказала:

— Расстраиваюсь я, Федя, от этого чтения: горько да страдно, голодно да холодно... Аль мы это не знаем? Мы, бабы, лучше этого Некрасова умеем

вопить да надрываться. А где отрада-то? Вот Мцыри-то хоть волю да силу свою почуял, сердце у него голубем забилось... И самой мне хотелось птицей улететь... А этот, Некрасов-то, только еще больше тоску наводит...

К рождеству она, хоть и с запинками, читала мои книжки, но быстро уставала. Мне ясно было, что она решила побороть эту трудность и добиться такой же бойкости и легкости в чтении, какой обладал я. Но я не мог понять, почему она артачилась и нервничала, когда я клал перед нею на столе свою школьную тетрадку и карандаш. В глазах ее трепетал страх, она прятала руки и отодвигалась на край стола, словно видела в этой простой тетрадке и карандаше что-то зловещее. Однажды я разозлился и закричал на нее. Она побледнела и застыла с мольбой в глазах. В эту минуту мне даже почудилось, что в чулане кто-то со вздохом завозился, а по сумрачной комнате прозрачно проплыли тени. Я вспомнил, как бабушка Наталья разговаривала со своим домовым, и сам застыл от смутного ужаса. Но тогда я уже не верил ни в домовых, ни в чертей, ни в привидения — все это первобытное и детское суеверие вытравили труженики ватаги, которые сами отвечали за себя и не боялись не только бога, но и нечистой силы кровососов-хозяев. Гриша, Харитон, Прасковья, Карп Ильич казались мне сильнее всяких чертей, а Иван Буяныч повелевал и морем. И мне уже смешно было представлять себе этих деревенских чертей с козлиными рогами и копытами, как бродячих голодных собак. Но мать невольно заразила меня странной тревогой и предчувствием какой-то беды. Так мы, онемевшие, смотрели друг на друга и прислушивались неизвестно к чему. В ее расширенных зрачках я уловил давно знакомую мне тьму, которую я уже привык не замечать. Эти волны душевных ее переживаний были для меня непонятны, как тайна, и я чувствовал, что она в эти мгновения и видит и знает что-то непостижимое, чего ни я и никто не увидит и не узнает.

Эта ее нервная чуткость и постоянное душевное беспокойство выражались или трепетным предчувствием каких-то событий в нашей жизни, или внезап-

ной беспричинной задумчивостью, когда она вся уходила в себя и была похожа на «порченую», или ни с того ни с сего веселела, ликовала, разливалась своими песенками без слов, смеялась и суетилась по дому, как девчонка. Впрочем, пела она про себя и в часы угнетенной задумчивости, очень тихо, очень печально, и я не раз заставал ее в слезах. В напевах ее не было знакомых мне мелодий, словно в тех песнях, которые пелись всеми с давних пор, она не могла вылить свои чувства и думы, а создавала сама свои распевы, подбирала задушевные слова скорби и жалобы на свою несчастную судьбу, когда вопила и причитала вместе с бабушкой Анной. Должно быть, слова не нужны были ей для этих напевов: вероятно, они мешали ей выразить всю глубину ее чувств, а мелодия свободно лилась из души и так же была трогательна и проста в своих переливах.

Но почему она боялась взять карандаш и выводить на тетради палочки и петельки, — я никак не мог постигнуть этого. Как-то она сказала с судорожной улыбкой:

— Чай, я читаю-то, Федя, в себя. Каждое словечко пью, как капельку. А писать-то... Боюсь я, как бы себя не истратить: опустошишь душу, выложишь ее на бумаге-то — и будешь бессчастной, как дурочка. Ведь что утратишь — не воротишь.

Такой странной чепухи она никогда еще не говорила. Я не мог удержаться от хохота: так могла болтать какая-нибудь суеверная баба, которая ничего не знала, кроме своего чулана и кур, которая верила и в нечистую силу, и в сны, и в разные приметы, но ведь мать видела свет и хороших, умных людей и ко всяким поверьям относилась, как к пустым побасенкам. Я смотрел на нее и заливался хохотом.

Однажды ночью, когда я сидел за уроками, она с поющей протяжностью прочитала:

Вчера я отворил темницу
Воздушной пленницы моей...

И вдруг уронила голову на руку, лежащую на книжке, и заплакала. Я бросился к ней.

— Ну, чего ты, мамка... ни с того ни с сего?..

Она подняла лицо, мокрое от слез, и трепетно улыбнулась.

— Как хорошо-то, Федя! Сердце у меня встрепенулось... Вся обневедалась: аль это я прочитала?..

Так проводили мы с нею длинные осенние и зимние вечера в своей старенькой избушке, как в скитской келье, одиноко приютившейся под крутой горой. Нам не было страшно ни в снежную бурю, которая выла и грохотала за окнами и потрясала стены, ни в безмолвные, глухие ночи, когда шорохи мышей чудились возней домового: мы оба были как ровесники и с одного взгляда понимали друг друга, а в молчании чувствовали один другого, как сами себя. Мы впервые в жизни переживали неиспытанное наслаждение в душевном своем успокоении и в радостном сознании своей свободы и независимости. И оба мы одинаково чувствовали, что эти годы не прошли для нас даром: мы стали умнее, богаче душой, узнали то, чего не знали наши мужики и бабы.

Мне было приятно, что учительница видела в матери не обычную деревенскую бабу, молодость которой сгорала в рабской неволе и тупой покорности, но женщину, которая знает иную жизнь, артельную, товарищескую, и которая мечтает об этой вольной жизни и хочет вырваться из тисков старозаветного, навозного житья. Она давно сбросила волосник, ходит в городском платье наперекор всяким пересудам и уж этой своей вольностью вызвала смуту среди девок и молодух, а потом и уважительную зависть к себе. В моленную она ни разу не ходила. Как-то она сказала мне, когда я собирался в моленную послушать беседу и спор Якова с мужиками:

— Улиту-то на ватаге помнишь, чай? А я ведь не Улита. Она у меня с тех пор душу перевернула. Такие, как Улита, без хомута не ходят, да и других в хомут тянут.

Но я был уверен, что, появись мать в моленной без волосника да в городском наряде, ее с порога прогнали бы и богомольные старухи, и старики и обесславили бы при всем народе.

После отъезда отца по праздникам начали похаживать к нам бабы — покалякать с матерью, поплакать, отвести с ней душу. Эти вечера похожи были на посиделки. Бабы часто являлись с рукоделием — с вязанием, с шитьем — и засиживались до позднего часа. Хотя они мешали мне готовить уроки, но я слушал с удовольствием их разговоры и тихие раздумчивые песни.

Разговаривали они о своих маленьких обидах, горестях и радостях, шепотом сплетничали и посмеивались. Меня завораживала интимная праздничность этих вечеринок: каждая из подруг склонялась над своей работой, но работа как будто совсем не интересовала ее, и пальцы шевелились сами собой, играя спицами и иголками. Обветренные лица, огрубевшие и постаревшие раньше времени, становились недомашними, далекими от будничных забот.

Из семейных женщин приходили только две: покинутая жена Миколая Подгорнова — Ульяна — и Парушина невестка — Лесынька. Остальные две-три молодухи были солдатки, которые ушли из мужниных семей обратно в свой девичий дом, пока мужья были в армии. Эти «соломенные вдовы», как кукушки, не имели своего гнезда: они вылетели из двора свекра, но и ко двору родного отца не пристали. Обычно они считались «вольными» и располагали собою, как хотели, не признавая над собой власти ни той, ни другой семьи. Работали они и на барщине, и у мироедов. Семейные, мужние бабы осуждали их, считали «потерянными» и сочиняли про них всякую небыль. Солдатки держали себя независимо и бойко. Они смеялись и озорно отвечали:

— Пускай себе лаются — это от обиды, что не им такое счастье на долю выпало. Ведь хают да охалят от зависти.

Но они сами завидовали матери; завидовали не обидно, а старались подражать ей в приветливости, и в чистоплотности, и в умении одеваться приглядно.

В этой нашей старенькой избушке молодухи и солдатки находили и душевную отраду, и желанную вольность в разговорах, и утеху в обидах на упреки и

нападки в семьях, и соблазнительную дерзость в мечтах о своей бабьей свободе. Мать рассказывала им о ватажной вольнице, о рабочей артельности, о волнениях и дружной борьбе за то, чтобы всем жилось хорошо. В ее рассказах люди казались очень близкими, родными, которых нельзя не любить и которых не забудешь никогда.

XXXII

Мил Милыч безвыездно жил в своем селе, как медведь в берлоге. Перестал он ходить к Елене Григорьевне после того, как к нему сходил Костя и шепнул, чтобы он поберег себя и учительницу. Не приезжал и Богданов. Но однажды зимой он с котомкой за плечами зашел к Елене Григорьевне и, беззаботно посмеиваясь, просидел у нее недолго, прочитал несколько своих стихотворений и простился с нею навсегда.

В моей цепкой памяти их разговор остался надолго.

— Теперь уж не губернатор, а земский начальник прогнал меня, Леля. На Волгу путь держу — там раздолье и тьма рабочего люда.

Со мной он простился за руку, потряс ее и с веселой улыбкой проговорил:

— Ну, милый друг, не унывай! Веруй, надейся и жди — путь твой широк впереди.

Елена Григорьевна погладила его по лохматым волосам и сказала сквозь слезы:

— Милый Богдаша, я уверена в тебе: ты не угаснешь — и бороться будешь и стихи писать... И я буду работать... в фабричном городе.

— Я знаю, Леля... Антон — чудесный человек. А ты для меня — как родная сестренка... Расстаюсь я с тобою больно... Мне на роду, должно быть, написано — быть гонимым мятежником...

Раньше я догадывался, что Елена Григорьевна любила Антона. Но теперь мне стало ясно: она его невеста. Приедет он весною и увезет ее с собою в не-

известный город, и я больше не увижу ее никогда. И я больно почувствовал что-то вроде ревности к Антону.

— Попик-то у вас здесь — дошлый пастырь: не только охраняет своих овец от волков, но и сам рыщет по всем углам и закоулкам. Здесь вот, у вас, Леля, он нашел гнездо крамолы. А кто свил это гнездо?

Александр Алексеич выставил грудь, гордо ткнул в нее пальцем и засмеялся.

— Я!

Елена Григорьевна изобразила ужас на лице, сцепила пальцами обе руки и вскинула их к подбородку.

— Боже мой, какой вы страшный крамольник, Богдаша!..

И звонко засмеялась.

А он продолжал весело потешаться над собой и над своими недругами:

— Берегитесь и трепещите, дорогая девушка! Я заражен проказой бунтарства и вольнодумия. Недаром меня изгоняли из своих воеводств губернаторы. А сейчас и земские начальники с попами устроили облаву и спустили на меня свору псов.

Он вдруг стал серьезным и озабоченным. С опаской взглянув на меня, он рассеянно улыбнулся мне и, решив, вероятно, что я в надежных руках и секрета отсюда не вынесу, тихо сказал:

— Боюсь, как бы вас, Леля, не побеспокоили. Мне сдуру дали понять, что я неспроста делал сюда набеги.

Елена Григорьевна не ответила ему, а подошла ко мне и взяла меня за плечи.

— Оденься, Федя, и поднимись на горку. Знаешь для чего?

— Знаю.

Я на ходу надел шубенку, схватил шапку и бросился к двери.

— Подожди! Если есть кто, ко мне не возвращайся.

Я вбежал на горку и огляделся кругом. Ни попа, ни сотского, ни Шустенка я не заметил, зато увидел

Максима-кривого: он брел с палкой в руке вдоль амбаров.

Я повертелся на месте, изображая норовистого коня, и побежал к дедушкиной избе. Из-за угла избы Сереги Каляганова я взглянул на улицу и увидел, что Максим стоит у амбара Кузяря, опираясь на палку, и смотрит вниз. Он, должно быть, наблюдал за избой Кости. Из-за амбаров выбежал Кузярь и бросил в спину Максима большой мерзлый шевях. Шапка слетела с головы Максима и упала на сажень от него. Он с воем обернулся назад, но Кузярь скрылся за амбаром. Максим, ругаясь на всю улицу, наклонился над шапкой, но с другой стороны новый шевях ударил его в бок. Он взбесился и по-стариковски юрко побежал с палкой на отлете к амбару. А Кузярь выбежал из-за другого угла, подхватил его шапку и улизнул в узкую щель между соседними амбарами. Максим вышел, чтобы поднять шапку, но ее на месте не было. Он поискал ее зрячим глазом и, ругаясь на чем свет стоит, пошел, угрожая палкой, на длинный порядок — домой. Кузярь ненавидел Максима так же, как и я. А с тех пор, как Максим хотел наклепать на мужиков начальству и потом в другой раз порол вместе с сотским Костю, Кузярь только и думал, как бы позлее мстить ему при всяком удобном случае. По ночам он выбивал ему стекла в избе, и Максим забирался в баню, пока не застеклял окон. А однажды, когда Максим шел темным вечером к попу, Кузярь пробрался к нему в пустую избу, снял чуланную дверку, приставил ее к выходной двери, а под нее поставил кочергу и ухват, осторожно вылез и плотно затворил дверь. Максим возвратился поздно, распахнул дверь, и на него обрушилось все, что нагромоздил Кузярь. Максим упал, одурев от страха, выполз на двор и с ревом побежал к соседям. Такие проделки Кузярь устраивал не раз и приклеивал хлебом бумажки, написанные печатными буквами: «Это за порку», «Это за ябеду», «Ворогу житья не будет». Поп в проповеди обвинил в этих проделках беспоповцев и крамольников, а староста с сотским на сходе грозили бесчинникам холодной жигулевкой. Кое-кто

из стариков и старух осуждал неуловимых озорников, но и в церковной ограде и дома люди потешались над Максимом. На сходе мужики встречали угрозы старосты и Гришки хохотом. Максима и боялись и ненавидели, и все злорадствовали, когда какой-то потешник устраивал с ним озорные проделки. Но никто не думал, что так зло мог озорничать кто-нибудь из подростков: все были уверены, что Максима изводит кто-то из парней или мужиков.

Когда Максим, размахивая палкой, торопливо прошел без шапки по улице длинного порядка, я побежал к Кузярю. Он стоял у своего амбара и, зло посмеиваясь, смотрел вслед Максиму.

— А я все видел!..— крикнул я ему еще издали.— Так ему и надо: он подсматривал за учительницей.

Мы хохотали и следили за Максимом вплоть до его избы.

— Он больше сюда и ногой не ступит,— уверенно сказал Иванка.— Сейчас он понял, что тут ему несдобровать. Я его, сволочь, отучу ходить сюда. Это он швырнул камень в окошко Елены Григорьевны. А шапку его я ночью надену на кол и воткну в конек его избы. Вот смеху-то будет! Да я еще не то надумаю.

И верно, на другой день шапка качалась от ветра на палке на самом коньке избы. Прохожие и соседи толпились на улице и потешались над очередной выходкой проказников.

Как-то я проговорился у Елены Григорьевны, что выучил мать читать и писать. Она порывисто обняла меня и стала целовать, приговаривая:

— Милый мой, да знаешь ли ты, какой подвиг совершил? Ведь ты вывел самого родного человека из тьмы на свет. В этом и есть настоящее счастье.

А я, потрясенный, вдруг заплакал.

— Что с тобой, милый? Не плакать надо, а ликовать...

— Вот вы замуж выйдете и уедете. Я уж никогда больше вас не увижу...

— Ах, вон что!..— растрогалась она.— А разве ты не будешь мне писать, Федя? Я буду отвечать

тебе. Да и ты с матерью уедешь отсюда. И хорошо: в городе учиться будешь, и люди там богаче душой. Ищи свою дорогу в жизни, не падая духом. А искать надо упорно. Людям служи, но не будь прислугой. У тебя хорошая мать: она всегда будет с тобой.

Я уже никогда не забывал этой неповторимой минуты: она ярко зажгла неугасимую искру в душе. С этой искрой я и шел по тернистому моему пути.

XXXIII

Масленица в минувшем и в этом году прошла скучно: катались с колокольчиками только богатые и справные, и улицы были пустые, и даже обычных гостеваний с песнями не было. В каждой избе еще не утешились от горя — от потери дорогих людей, от пережитого голода и не оправились от разорения. Улицы обветшали: много изб и сараев стояло без крыш, а в разных местах зияли пустыри между избами в кучах мусора и гнилья. Это Сергей Ивагин разобрал по венцам избы убежавших должников.

Мужики говорили, поглядывая на беззубые улицы:

— Не Мамай прошел, а мироед Ивагин разгулялся...

И мазанки, и старенькие избенки, занесенные снегом, казались могилами. Лошаденки и коровенки даже и через год не оправились: худые, костистые, зашарпанные, они шагали, как больные, с опущенными головами.

Хоть по обычаю и пекли блины в избах и мазанках, но ели их в поредевших семьях без коровьего масла и кислого молока, а с обильными слезами.

Весеннее половодье на нашей маленькой речке всегда было для нас большим событием. Ждали ледохода не только мы, ребятишки, но и взрослые. Даже древние старики и старухи выползали из своих избенок и, опираясь на падоги, брели к высоким глинистым обрывам и к крутым спускам обоих берегов и застывали надолго, не отрывая глаз от бушующей

реки, покрытой сплошной чешуей заснеженных льдин с хрустальными изломами. Река разливалась по всей низине очень широко, а кузница Потапа и его изба на взлобке оказывались на узеньком полуострове.

Каждую весну барская плотина прорывалась, вода с грохотом и ревом падала густой мутной лавиной в клокочущие вихри водометов, в сугробы рыжей пены и густые клубы пара.

Крепкий лед долго не отрывался от берегов и не ломался под напором донной воды, и она, прозрачная, густая, вырывалась из прорубей, текла поверх льда тихо, спокойно и уносила сор, навоз и желтые клочья пены.

В буераках и овражках звенели и рокотали ручьи, и потоки воды, подгрызая и смывая обрывы, сбрасывали вниз, в реку, целые глыбы обвалов. В эти дни теплый и влажный воздух в солнечно-лазоревой дымке дышал запахами оттаявшей земли, перегнившей прошлогодней травы, распускающихся ветел и вербы и чем-то пьянящим и волнующим, что бывает только в эти пасхальные дни половодья. Всюду ощущается желанная тревога и радостное предчувствие чудесных событий, которыми так богата весна. Они совершаются каждый год, но кажутся всегда неповторимыми, необыкновенными, неожиданно прекрасными. Утром просыпаешься от смутного беспокойства и бежишь босиком со двора на вольный воздух по мокрой студеной земле, по узорчато переплетающимся ручейкам, по мягкому талому снегу. Высоко летают стаи галок, которые кружатся вихрями и орут от радости. Где-то посвистывают скворцы, и в голубой вышине величаво реет коршун. Солнышко — молодое, горячее. Кажется, что оно ослепительно смеется нам, одетое в голубое небо, и любуется землею, которую оно оживотворяет и обряжает зеленью и цветочками после зимнего оцепенения. И кажется, что и родная земля тоже радостно улыбается солнцу и небу и судорожно потягивается. И мне впервые понятно было, что ликующий и цветущий праздник — пасха — это торжество чудесного воскресения жизни. И всем своим телом, всей душой я пел вместе с землею:

«Ликуй ныне и веселися, Сионе!» Это «Сионе» звучало во мне, как сияние.

Река этой весной разлилась многоводно и широко: она поднялась почти до середины глинистого обрыва у пожарной, уносила с собой оползни и клокочущими наплесками подмывала берег. А здесь, в низине нашей стороны, вода тихо кружилась в рыхлой пене и как будто текла назад, плавно унося с собою мелкие льдинки и нагромождая их хрустальными кучками перед кузницей. А мутная река бурно неслась широким разливом в водоворотах и пене. Утром льдины плыли крупной чешуей, перегоняя, сталкиваясь и раскалывая друг друга. По всей реке — кряканье и всплески. А ниже, на крутом повороте, под оползнями высокой горы, вся масса льдин упиралась в каменные пласты, как в гигантскую стену. Они громоздились одна на другую, кувыркались, дробились, сползали опять в клокочущий поток воды, ныряли, выпрыгивали, переворачивали другие и разбивали на мелкие осколки. На этих снежных и грязных островках плыли кучки навоза, соломы, какие-то тряпки, разбитые лапти, старые плетушки и всякая дрянь. Это проходил наш деревенский лед, начинаясь от барской мельницы, а потом бурлила чистая вода.

Льдины из пруда громоздились на перекатах на крутом извиве реки под барским обрывом и вырастали хрустальной плотиной с берега на берег. Но потом в какой-то неожиданный момент эта плотина ломалась, и льдины сплошняком прорывались в нашу воду, чистую ото льда. Наступал второй ледоход.

В один из этих дней прибежал ко мне с барского двора Гараська, празднично одетый в новый пиджачок, в аккуратненьких сапожках, в серой кепочке блином. Белобрысенький, белолицый, румяный, курносенький, он еще издали смеялся мне своими круглыми глазами и покрикивал стихами:

Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны птенцы!

— Не птенцы, а гонцы, — поправил я его, бегом пускаясь навстречу ему в гору.

— Нет, птенцы. Нас никто не гоняет: мы сами летаем, как вольные птицы.

Мы столкнулись с ним в обнимке и засмеялись от беспричинной радости.

— Я к Елене Григорьевне бегу, — вдруг спохватился он, — да вот увидел тебя и не удержался... Ведь я только с тобой дружу, у меня здесь товарищей, кроме тебя, нет. Да и дружить с тобой интересно.

— А как же ты к Елене Григорьевне доберешься? — удивился я. — Ведь все переходы снесло, а вода-то... Видишь — почесть до Петькиной избы разлилась.

Он сделал печальное лицо, сдвинул брови и строго уставился на меня.

— Умер молодой Дмитрий Дмитрич... от чахотки... Ну, меня и послали сообщить учительнице. Он ведь очень уважал ее... все к себе требовал...

И вдруг опять вспыхнул и как будто расцвел. Глаза его широко раскрылись и заголубели, и в них заиграло восторженное удивление.

— Понимаешь... Утро, солнышко во все небо... А он кричит: «Вынесите меня к весне!..» Мать плачет, отец мечется по комнатам и бороду рвет... Ну, вынесли его в кресле в сад... А он как будто весь засветился, заплакал, а потом засмеялся. Это папаша мне говорил. «Пошлите, говорит, к Леле, — это к Елене Григорьевне, — пошлите к ней Гарасю...» Меня выбрал, понимаешь! — вскрикнул гордо и растроганно Гараська. — Меня не забыл!.. «Пускай, говорит, скажет ей, что я при ней думал только о хорошем...» Поднял он руки к солнцу и умер.

Гараська так изобразил умирающего Измайлова и так волновался, что я сам стал повторять его жесты, выражение лица и слова — переживать вместе с ним это событие.

Этот красивый, молодой Дмитрий Измайлов, с темной бородкой и маленькими усиками, с глубокими грустными глазами, бледный, сухощавый, очень понравился мне еще в тот день, когда он со студентом Антоном приезжал на дрожках к нашему колодцу.

И странно, сейчас, когда Гараська так живо рассказывал, как помирал этот молодой Измайлов, я не чувствовал никакой жалости к нему, а его умирание показалось мне необычным и сказочным: будто вспыхнул он и исчез в лучах солнца. То же самое, вероятно, чувствовал и Гараська: он весь сиял на солнышке, и в курносеньком лице его, и в круглых синих глазах играл восторг и удивление перед неожиданным и поразительным чудом. Может быть, он и придумал, присочинил что-нибудь в этом своем рассказе, но я верил каждому его слову: в этот солнечный день ледохода, в воскресение весны все казалось чудесным.

Гараська опомнился и встрепенулся.

— Бежим на берег. Елена Григорьевна стоит на обрывчике, под сиротским порядком. Там и Ваня Кузярь: я сверху их увидел.

Мы побежали вниз по дороге мимо Потаповой избы и свернули на ровную полянку, которая упиралась в реку черноземным обрывчиком, а она подмывала его каждое половодье. Елена Григорьевна стояла с теплой шалью на плечах у края такого же обрывчика на том берегу. Иванка Кузярь с рогатинкой в руке что-то пылко рассказывал ей, а она смеялась.

Мы крикливо поздоровались с нею, и она приветливо помахала рукой. Ее волосы светились на солнце и казались золотыми. Я издали видел ее радостные глаза, сплошную полоску белых зубов и дрожащий от смеха подбородок.

Иванка крикнул нам:

— Ага, хоть видит око, да зуб неймет. Голодный Прошка из-за крошки и море переплывет на ложке. Вот и прыгайте сюда чехардой!

Но Гараська сразу погасил его озорные крики вестью о смерти молодого Измайлова. Елена Григорьевна остолбенела. Она почему-то набросила шаль на голову, и лицо ее стало маленьким, бледным и чужим.

— Нельзя ли где-нибудь перебраться через речку, Ваня?

Кузярь в радостном порыве кинулся к ней, сдвинул шапчонку на затылок и, не раздумывая, позвал ее за собой.

— Я знаю, где можно перейти. Вы и ножки не замочите, Елена Григорьевна. Я сам проложу вам дорожку.

— Ой, Ваня, какой ты смелый! Для тебя не существует никаких опасностей.

И она заторопилась вслед за Кузярем. Мы с Гараськой тоже пошли по своей стороне, не отставая от них.

Елена Григорьевна следила за прыткой и ловкой фигуркой Кузяря в залатанной шубейке и ласково посмеивалась. А я гордился своим неизменным другом и верил в его храбрость и сметливость. Уж если он так решительно повел учительницу вверх на переход, значит он уже был на ледяном заторе и сам переходил через этот мост. В дни половодья он всегда казался взвинченным, встревоженным и, как бы ни был занят по хозяйству, бегал со своей рогатинкой по берегу от колодца до глубоких оврагов перед барской мельницей. Раньше, когда мы были маленькими, он часто выдумывал всякие страшные и забавные истории и сам верил в свои выдумки, но не врал ради одного вранья. Жизнь в деревне была тихая и скучная, отец его был забитый, робкий и молчаливый человек, мать все время хворала, и не было у него ни в чем отрады. А парнишка он был нервный, деятельный, любознательный. Вот он и выдумывал всякую небывальщину и поражал ею и меня, и других парнишек. И не проходило дня, чтобы он не устраивал борьбы или кулачной схватки или не надумал какой-нибудь шалости, которая нередко кончалась дракой. Во всех своих проказах он старался показать свое превосходство, смелость, находчивость, хотя и сам попадал впросак. Но особенное удовольствие испытывал он от войны с барчатами: стоило им показаться на длинном порядке, на дороге в Ключи или Варыпаевку, верхом на сытых глянцевых лошадях, Кузярь криком сзывал парнишек и преследовал нарядных всадников комками засохшей грязи или

голышами, которые он постоянно носил в карманах. Он неугасимо горел ненавистью к своим врагам и мечтал о всяких каверзах, которые не давали бы житья барским выродкам.

Но теперь он подрос, позрелел, а те беды, которые он пережил в голодный и холерный год, хоть и не усмирили его мятежный характер, но он перестал проказничать. Он стал вдумчивым хозяином, а избыток сил и свой беспокойный умишко уже направлял на ученье. Он преданно полюбил Елену Григорьевну, привязался к ней, задачки решал раньше всех, а на уроках объяснительного чтения схватывал все на лету, высказывался подчас так вольно и прямо, что учительница тревожно обрывала его и притворялась строгой, чтобы укротить и заставить замолчать. Но она любовалась им, охотно и живо разговаривала с ним по дороге из школы.

Вот и сейчас я чувствовал в нем человека, который не бросает слов на ветер, а отвечает за свое поведение: он вел Елену Григорьевну к переходу через лед наверняка и всем своим гордым видом и уверенностью в себе показывал, что он готов жизнью отвечать за учительницу.

Река неслась быстро, урчала, пыхтела и плескалась в водоворотах. Глухой шум плыл нам навстречу, и звонкие ручьи, которые на каждом шагу пересекали нам дорогу, играли в камнях и овражках, сверкая на солнце.

Над нами взлетала высокая обрывистая стена в оползнях и в ребрах каменного плитняка. Впереди она загибалась направо, а на том берегу острым ребром выступал глинистый обрыв, прорезанный ровными пластами плитняка и спрессованной гальки. Дальше от обрыва расстилались поля, пятнистые от проталин. Здесь, в этом узком ущелье, еще издали видна была ледяная запруда. Большие льдины громоздились ребрастыми кучами одна на другой, белые сверху и прозрачно-голубые в расколах. Из-под них и между ними бурлила грязная вода, а дальше по широкому плесу льдины сплошь покрывали заводь. Чудилось, что этот затор колыхался в середине и у на-

шего крутого берега, что держался он неустойчиво на каком-то донном гребешке. И когда я увидел эти ребрастые глыбы льда и набухшую, спокойную поверхность заводи, я ужаснулся дерзости Кузяря: как можно переводить учительницу через этот страшный гребень, который вот-вот сорвется с рыхлого переката, с грохотом и гулом ринется вниз по реке, и густое скопление льдин понесется в этот прорыв сокрушительной лавиной?

Елена Григорьевна остановилась перед этой ледяной плотиной и растерянно проверила ее озабоченными глазами. Я заметил, что ей стало страшно и она не решается пройти по исковерканным нагромождениям льда, скользкого, мокрого, покрытого рыхлым снегом.

Иванка вскочил на льдину, которая выползала на берег, и, опираясь на рогатинку, протянул руки учительнице.

— Прыгайте, Елена Григорьевна! Не бойтесь! Я вас проведу, как по дощечке.

А я в ужасе закричал:

— Да сперва сам пройди через этот мостик. Вдруг лед-то тронется...

Гараська, бледный, осовелый, следил за Кузярем и бормотал:

— Ах, черт каленый! Вот так отчаянный!

Елена Григорьевна, не подавая руки, молчала и пристально вглядывалась в наплывы льда. Кузярь смело запрыгал по гребешку навороченных льдин и вонзал в них свою острую рогатину.

Мне стало стыдно перед Еленой Григорьевной за свой страх и робость: вдруг она по лицу увидит, что я жалкий трусишка, и отвернется от меня навсегда. Может быть, свойственный парнишке моих лет задор и инстинкт познания толкнули меня сбежать с обрывчика на большую льдину, которая упиралась в берег. Я решительно перешагнул через острое ребро торчащей поперек льдинки и очутился на ровной покатой ледяной плите, покрытой ноздристым снегом.

Навстречу мне резво шагал Кузярь и трунил надо мною:

— Гляди, гляди! Берегись! Льдинка-то под тобой гнется. Ухнешь вот — и нет тебя на свете.

Но он сам внезапно поскользнулся, взмахнул рогатиной и шлепнулся на гладкий хрустальный обломок льда. Елена Григорьевна вскрикнула, а он задорно засмеялся. Но я чувствовал, что лед под ногами тяжело зыбился, вздрагивал и поскрипывал. Я запрыгал по льдинам на помощь Кузярю, который барахтался на скользкой поверхности льдины и не мог встать на ноги. Сапоги его бултыхались в воде. Он схватил меня за руку, вскочил и смущенно засмеялся. Льдины заколыхались и передвинулись в стороны. Я испугался: мне показалось, что мост сейчас сорвется и мы вместе с Иванкой грохнемся в бушующую воду. Около нас очутился и Гараська. По-прежнему бледный и осовелый, с застывшей улыбкой, он пробрался к нам, очевидно из желания доказать, что и он ничего не боится. Кузярь сразу же стал атаманом: он приказал Гараське стать на своем берегу, а мне посередине, сам же возвратился к Елене Григорьевне и требовательно протянул ей рогатину.

— Ну, идите, Елена Григорьевна! Сами видите, что мостище-то такой — хоть на тройке проезжай.

Лицо Елены Григорьевны вспыхнуло, и она, решительно схватив древко рогатины, прыгнула на шершавую от зернистого снега льдину. Так Кузярь провел ее до меня, но мне ее не передал, а скомандовал выбирать дорожку на льдинах выше к гребню, чтобы не поскользнуться. Так мы пробрались до прибрежных нагромождений льдин. Но тут вдруг перед нами льдины зашевелились, затрещали и полезли одна на другую. Я перепрыгнул на льдину, лежащую на берегу, схватил руку Елены Григорьевны и рванул к себе. Елена Григорьевна испуганно крикнула и вскочила на льдину, которая тронулась от толчков других льдин, закачалась и залилась водой. Елена Григорьевна поскользнулась, но каким-то чудом я удержал ее. Кузярь заорал:

— Держись, Федяха! Гараська, помогай!

Учительница успела все-таки выскочить на берег, но вода налилась ей в башмаки. Она как будто не

заметила, что могла упасть вместе со мною в воду, которая уже клокотала через льдину, и требовательно крикнула:

— Ваня, назад! Федя, сейчас же сюда, на берег! Видите, весь лед движется... Ваня, лучше прыгай сюда — обратно уже не пройти... Ах, как это неудачно! Ну, зачем я тебя, Ваня, послушалась?

Кузярь сам испугался: он растерянно озирался, оглядывался назад, где льдины, как будто живые, переворачивались, шлепались друг о друга, словно боролись, и с грохотом падали в воду. Елена Григорьевна протянула к нему руку с обрывчика и пыталась спрыгнуть вниз, но Гараська изо всех сил держал ее за другую руку.

— Елена Григорьевна, нельзя!.. — кричал он, готовый заплакать. — Я не пущу вас... Разве можно? Там сейчас водопад...

Мы с Кузярем стояли лицом друг к другу на двух льдинах: я — на береговой, уткнувшейся в топкую грязь обрывчика, он — на большом обломке, припаянном к торосам. Между ними уже клокотала рыжая вода и уносила густую кашу мелкого льда. Она с каждой секундой заливала льдины, раскачивала их и толкала в прорывы.

— Прыгай ко мне, Ванек! — кричал я Кузярю. — Смелее! Давай руку!..

Учительница строго приказывала ему:

— Ваня, я требую, чтоб ты подчинился мне. Немедленно — сюда! Слышишь? Ты хочешь, чтоб я бросилась спасать тебя?

Она спрыгнула с обрывчика, но глубоко увязла в жидкой грязи, взбухшей от подземных ключей и множества ручейков, сбегающих с горы.

— Ваня, — отчаянно кричала она. — Прыгай же, пока не поздно. С рогатиной легче перескочить. Ну же!.. Не убивай меня, Ваня!

А я надсадно кричал:

— Подох ты, что ли, дурак! Или потонуть захотел?

— Да я и так хочу перепрыгнуть, чего вы беситесь? — уже смущенно оправдывался он. — Ну-ка, Федюк, подхватывай меня!

Но в этот момент позади Иванки с треском и грохотом все нагромождение льда медленно и неповоротливо двинулось вниз по реке, и кучи льдин, напирая одна на другую, крушились вдребезги, разбрасывая хрустальные осколки в разные стороны. Наши льдины столкнула с места какая-то огромная, не ощутимая нами сила, и они словно поплыли по реке. Льдина Иванки закружилась и перегнала мою, а моя льдина, большая, квадратная, покачиваясь на водоворотах и всплесках, шла неподалеку от берега. Вода плескалась в края, но не заливала ее: вероятно, я был для льдины не тяжел. Иванка норовил достать рогатиной дно, но древко было короткое и купалось в воде. Он кричал мне:

— Ничего, не бойся, Федюк! Мы в берег ткнемся на повороте. У кузницы мелко, и я рогатиной и свою и твою чку пригоню на отмель.

По откосу за нами бежала Елена Григорьевна с Гараськой. Они махали нам руками и что-то кричали. Но я не слушал, а в ужасе смотрел на кипящую воду и на серую чешую льдин, которые обгоняли нас на середине реки, а некоторые отрывались от своей гряды и сворачивали к нам. Леденея от страха, я беспомощно ждал, что вот-вот догонит меня большая льдина, ударит в мой пловучий островок, расколет его и я ухну в бушующую пучину. Иванка все время работал своей рогатиной, как веслом, и подгонял свою льдину ко мне и ближе к берегу.

С обеих сторон люди заметили нас и в смятении забегали по обрывам. С нашей горы и со взгорья того берега стали сбегать к нам мужики и парни со слегами из прясла, с деревянными лопатами и что-то орали наперебой — должно быть, ободряли нас и обещали вызволить из беды. Елена Григорьевна с Гараськой не отставали от нас, но были далеко: на разливе нас отнесло от нашего низенького берега, хотя здесь река текла не так стремительно, как на середине и у того высокого берега в буераках.

Кузярь сразу ожил и победоносно крикнул мне:

— Ну, наша взяла, Федяха! Дно достал. Сейчас

я подплыву к тебе и подтолкну к кузнице. Тут уж рукой подать. Да и народ бежит. Да только вот Елену Григорьевну заставили бежать за нами... Эх, и чего она беспокоится?.. Аль мы маленькие? И чего она сделает, чем поможет? Только поахает! А все-таки мы с тобой здорово поплавали, хоть маленько и поплакали...

— Подталкивай к берегу! — кричали мужики и бабы с обоих берегов. — Подталкивай! Ах вы озорники, греховодники! Драть вас некому...

Иван уже задорно смеялся и открикивался:

— Мы хорошее дело сделали, а не озоровали. Попробовали бы вы, бородачи, в нашей шкуре побыть. Ни смелости у вас, ни сноровки не хватит!

Он толчками подводил меня к кузнице по спокойной заводи, где река уже кружилась на песчаных отмелях. Его льдина с каждым толчком все ближе подплывала к берегу. Своей рогатиной Иванка уже твердо упирался в дно и все чаще и быстрее подгонял меня к оторочке льдин, которые застряли здесь после первого ледоплава. Когда я почувствовал, что льдина зашуршала по песку, я быстро выскочил на берег и сразу попал в объятия Елены Григорьевны. Она целовала меня, плакала и смеялась.

— Боже мой! Какое счастье! Спаслись! Родные мои! Простите меня: это я виновата.

А Иванка со своей льдины с веселым задором утешил ее:

— Ничего вы не виноваты. Мы свое дело делали да еще, по крайности, поплавали вдоволь.

— Ну, выскакивай сюда, Ваня! — нетерпеливо, сквозь слезы, радостно звала его Елена Григорьевна. — Мы вместе с тобой застрянем здесь дня на два до спада воды. Милый мальчик, и целовать тебя хочется, и поругать за опрометчивость.

Подбегали к берегу мужики и парни со слегами и лопатами. Одни смеялись, другие ругались и грозились кулаками. На высоком яру, перед пожарной, тоже толпился народ, и там кричали, ругались и смеялись. Но и в этой ругани и угрозах слышалось и веселое удивление.

Иванка помахал нам шапкой и оттолкнул свою льдину от берега.

— Я домой поплыву... Прощайте!

Елена Григорьевна бросилась за ним и сердито закричала:

— Назад, Ваня! Не смей рисковать! Утонешь, Ваня. Я приказываю тебе выйти на берег.

— А кто за меня дома-то будет? Чай, я — один работник-то по хозяйству. Сами увидите, как я ловко на этом корабле переплыву.

Льдина закружилась и быстро отплыла от берега, а Иванка упирался в дно и гнал ее на быстрое течение, к густому ледоходу, от которого отрывались отдельные льдины, и ледяная каша заносилась в нашу сторону. Учительница побежала по грязи вдоль берега. Мужики, бабы и девки сбегались к нам и кричали не поймешь что. А слышал я только одно:

— Ах, дьяволенок! Ах, сорванец!.. Безотцовщина!..

На той стороне, наверху, тоже кричали и махали руками. Иванка закричал Микольке, который стоял перед пожарной и грозил ему кулаком:

— Миколя, беги, тащи веревку! Я подплыву к берегу, а ты мне ее кинешь...

Стараясь сохранить равновесие, он стоял на середине льдины и очень осторожно и расчетливо подталкивался все ближе и ближе к быстрому ледяному потоку. Люди перестали кричать. Остановилась и застыла на месте и Елена Григорьевна. Мы с Гараськой догнали ее и стали рядом с нею, не спуская глаз с Кузяря. Миколька уже бежал с веревкой вниз по склону взгорья.

Все трое мы ахнули: Иванка ткнулся в одну из льдин и поскользнулся, но рогатины не выпустил. Вода хлынула на него и облила до пояса. Но он успел перепрыгнуть на другую льдину и, не останавливаясь, перескочил на третью. Люди у пожарной опять закричали и побежали за Миколькой. Они наперерыв что-то советовали Иванке, но он их не слушал, поглощенный борьбой со льдинами: одни он отталкивал, чтобы пристать к другим, большим, и перепрыгнуть на них. Его маленькая фигурка казалась совсем беспомощной.

Так он добрался до последней льдины с того края и стал быстро и устойчиво подгонять ее к берегу, отталкиваясь рогатиной от плывших рядом с ним льдин. Подбежал Миколька и наотмашь бросил ему целый моток веревки. Она развернулась, и Иванка схватил ее на лету.

— Тяни, Миколя! Не дергай, а тяни! — распоряжался Иванка уверенно и бодро. — Наша взяла! Нам и сам черт не брат.

Миколька подтянул к себе льдину, и Иванка выпрыгнул на берег.

Елена Григорьевна радостно крикнула ему сквозь слезы:

— Ваня, дорогой мой! Озорной мой!

А он сорвал шапчонку, подбросил ее кверху и задорно откликнулся:

— Ура, Елена Григорьевна! Гром победы раздавайся!

Елена Григорьевна с судорогой в горле повторяла в восторге:

— Какой молодец! Какой изумительный мальчик! Какая выдержка!

Кто-то из мужиков с злым сожалением громко говорил:

— Вот бы выпороть-то кого... Не мой сын — я бы ему шкуру-то содрал.

Елена Григорьевна с той же взволнованной радостью ответила:

— Не пороть, а гордиться надо таким парнем.

Мать, потрясенная, быстро бежала нам навстречу и смотрела на меня молча, с ужасом и радостью в широко открытых глазах. И только в ту минуту, когда она обняла меня, упавшим голосом проговорила:

— А ежели бы ты утонул? Ведь и мне тогда не жить.

Елена Григорьевна ласково утешила ее:

— Не ругай его, Настя. Это — не баловство. Ни я, ни они этого не забудут. Умер молодой Измайлов, а они вот с Ваней перевели меня на этот берег.

Мать тихо и задушевно сказала:

— Я знаю, они на плохое не пойдут.

XXXIV

Всегда беспокойная и чуткая ко всяким слухам и пересудам, мать стала болезненно настороженной после того, как Максим Сусин пригрозил на людях расправиться с нами, обвиняя нас в бегстве тети Маши из деревни, а меня — в том, что писал за нее письма конторщику Горохову и относил их к нему на барский двор. Я не чувствовал за собой никакой вины: записочки от Маши я действительно писал и вручал их Горохову, но ведь я писал письма и другим женщинам. Еще малолеток, я многого не постигал в сложных людских отношениях. Я только простодушно и послушно выполнял их просьбы и желания как письмописец. А Машу я любил и сочувствовал ей и с охотой посредничал между нею и Гороховым, с которым она жила, как жена с мужем. И мне казалось чудовищным, что самодур свекор хочет насильно запереть ее в своей избе и укротить ее истязаниями до возвращения Фильки. Она приходила ночью из Ключей, с барского двора, опять одетая по-городски, высокая, красивая, гордая, непримиримая, и усаживалась вместе со мною за стареньким столиком. Она уже не плакала, не мучилась, как бывало раньше, когда жила под свирепой властью свекра, не застывала в отчаянии с жестким, страдальческим лицом. Теперь она смело, мужественно, высоко подняв голову без бабьего волосника, и с вызывающим упрямством говорила:

— Никто не возьмет меня голыми руками. На душегубство пойду. Ни свекор, ни муж — враги мои — не дотронутся до меня. Мой истинный муж — Михайло Григорьич, с ним я до смерти связана. Моя любовь, Федя, сильнее всех ихних законов. И никакие страхи мне не страшны. Пиши, милый, и ни одного моего слова не пропускай. Твоя грамота — как огонь, а огонь у меня здесь вот...

И она прикладывала руку к сердцу.

Последнюю записку я писал с волнением: Маша сообщала Горохову, чтобы он приехал в Ключи проститься с нею.

— А ты, нянька, — приказала она матери, — тоже уезжай. Из-за меня тебе несдобровать. Свекор — мстительный, он сорвет свою злость на тебе, не пощадит и Федю. Все богатеи да старики заодно с ним, а новый поп сам всякое коварство выдумает. Ему надо староверов раздавить, и он готов ко всякой неурядице прицепиться. Боюсь, что он и Федю погубит.

Она простилась с матерью как-то жестко, с каменным лицом, словно таила против нее неприязнь в душе. Я вышел вместе с нею в ночную тьму, мерцающую звездами: мне нужно было сейчас же отнести записку на барский двор — Горохову. Она поднялась со мною на гору, к барскому пряслу, и горячо прошептала:

— Берегись, Федя. Не ходи один по селу, а по вечерам будь дома. Ночью сидите на запоре и никого к себе не пускайте. Страсть я боюсь, как бы из-за меня беда с вами не приключилась.

Она торопливо обняла меня и, всхлипнув, побежала вниз, во мрак.

Лесынька часто прибегала к нам, прилипчиво болтала с матерью и каждый раз сплетничала, захлебываясь от веселого волнения: Максим Сусин с ума сходит — рвет на себе волосы от досады, что Машарка сумела улизнуть из-под его бороды.

И этот ее горячий шепот с оглядками, с горестными вскриками и улыбочками тревожил мать; она вздрагивала, как от ожогов, бледнела и судорожно ломала пальцы.

— Беспременно приходи к нам, Настенька! — страстно вскрикивала Лесынька с порога. — Матушка наша ждет тебя с парнишкой не дождется. Она и утешит тебя, и на путь наставит.

Мать долго сидела после нее неподвижно, как в столбняке, с застывшим страхом в глазах, и молчала. Потом вздыхала, жалко улыбаясь, протягивала ко мне руки.

И когда я подходил к ней, она прижималась ко мне и растерянно спрашивала:

— Чего же нам делать-то, Федя?

Мне было до боли жалко ее, я чувствовал нашу беззащитность и одинокость. Но я храбрился и ободрял ее:

— А помнишь, мама, как Раиса да Прасковея наставляли тебя: не бойся, с волками волчихой будь! Робкими рыбу кормят.

— Да ведь это, Федя, в городе да на ватаге... Там, чай, артель: люди-то скопом держатся — рука с рукой. А здесь как в лесу — из-за каждого дерева зверь глядит.

Но я упрямо спорил с нею:

— А кто тетю Машу вызволил? Ищи ветра в поле!

Она вспыхивала от улыбки, слушая мои горячие возражения.

И я чувствовал себя победителем, наблюдая, как мать понемногу приходила в себя и успокаивалась.

Ульяна Подгорнова являлась почему-то по вечерам, в сумерки. Входила она не со стороны крутого спуска, не в сенную дверь, а со двора, словно крадучись. Мать зажигала висячую лампу под жестяным кругом и сдвигала занавесочки. Я не понимал, зачем приходила к нам эта женщина, похожая на старуху, и думал, почему она такая страшная, словно постоянно терзает себя жгучей думой о том, чтобы отомстить кому-то, не жалея себя. Мать тихонько спрашивала ее, помогает ли ей муж, не думает ли она уехать к нему, ежели любит его, до каких же пор она будет тянуть лямку в чужой семье.

Ульяна не шевелилась, словно заколдованная, с окаменевшим лицом, и молчала. Потом как будто просыпалась и вспыхивала от улыбки. Сразу она менялась — молодела, глаза яснели и голос сердечно вздрагивал.

— Ничего мне не надо. Я сама себе хозяйка. А живу в чужой семье по своей воле — себе на утешение.

Помню один из таких вечеров, когда она, словно в бреду, рассказывала:

— Мужа нет у меня... и детей нет... обездолили меня... Муж без вести пропал, а детей бог похитил.

Ограбили меня. Сама знаешь, Настя, терзали меня в семье — и работищей и побоями... Как раба, ублажала и свекра, и свекровь, и золовок, и деверьев... Места живого не осталось, душу распинали. Родила себе на утешение двоих робенков — и те сгибли без материнского глаза: у одного пряслом голову раскололо, а другой в горячке сгорел. Пометался, помучился, покричал без памяти: «Мамынька! Мамынька!..» И угас. Мне бы побыть около него, сердцем своим исцелить, а меня туда-сюда туркают: баню топи, свекра со свекровью парь, золовку причеши да обряди, да корову подои, да холсты бели, да хлебы затевай... А муж — бродяга, по чужой стороне мыкается. За какие грехи господь наказанье на меня наложил? Чем я богородицу прогневала? Стала я сама не своя, весь свет вихрем закружился. Закричала истошно и не помню, как со своей горы сбежала да через речку на ту сторону помчалась. Очнулась у колодца и диву даюсь: чего это я в колодец-то гляжу да наплакаться не могу? И не я плачу, а лицо мое там скорбит. И не надивуюсь, Настя, — словно не плачу, а глядит на меня матушка-покойница, стонет и за душу хватает: «Не убивайся, цвет мой гречишный! Душеньку свою не терзай! Горе-то тебя не убило, силы-то оно не вымотало, а очистило от черных помыслов. Не держи нож да топор за пазухой, а долю свою из юдоли на яр-свет вызволи. Будет тебе тосковать-то! Ты — баба самосильная: сама своей судьбой распоряжайся, сама дорожку себе проложи к солнышку. Я тоже во младости под гнетом жила, а себя не потеряла — в жертву себя карачуну не отдала. Не витязь меня спас, а человека в себе почуяла. А коли человек-то взбунтуется, нет ему удержу: ничего он не боится — ни ужастей, ни напастей...» Очухалась я, оглянулась, а передо мной — Паруша. И не то чтобы приголубила аль поплакала со мной, а коромыслом по земле стучит и гневается. С той минуты, Настя, я другая стала, словно она живой водой меня обмыла.

Она и пугала меня своей затаенной мстительной страстью, которая кипела у нее в глазах и опаляла

ее лицо в минуты странного оцепенения, и в то же время привлекала к себе улыбкой, которая сглаживала морщины на ее лице. Мать обнимала ее и торопливо говорила заветные песенные слова:

— Уедем, Уленька, улетим, как на облачках. Вырвемся из этой берлоги, из загона этого. А там — воля да содружье. Ты и без пачпорта проживешь. Был бы ум, да сила, да смелость, а пачпорт на лету поймать можно.

Так мечтали они об отъезде каждый вечер, а после ухода Ульяны мать выкладывала из сундука бельишко, одежонку, холсты и зашивала их в дерюгу. Потом что-то шила и напевала песенки без слов.

XXXV

На двух телегах мы поехали в Славкино на экзамен. На одной телеге, впереди, тряслись мы, парнишки, а на другой, на охапке соломы, покрытой теплой серой шалью, сидела Елена Григорьевна. Она была нарядная — в белом платье, в кургузенькой безрукавке, расшитой бисером. Я любовался ею издали и не мог оторвать от нее глаз. В эти минуты я не боялся экзамена, который представлялся мне до сих пор грозным судом: этот суд будет проводить длинный и тощий инспектор народных училищ с черным клочком бороды, без усов, в ледяных очках, в темно-синем сюртуке с золотыми нашлепками на плечах. Однажды зимою он неожиданно подкатил к нашей школе в кибитке, на паре лошадей с колокольчиками, и я испугался его до замирания сердца, потому что побледнела от робости и Елена Григорьевна. Но он шагал по классу странно зыбкими и мягкими шагами. И когда он сказал ей что-то бархатным голосом и улыбнулся, блеснув крупными зубами, она звонко засмеялась и оглядела нас весело и шаловливо. Отвечали мы на его вопросы бойко и смело. Вот и сейчас она кивает нам головой и смеется. Мы тоже беспричинно заливаемся хохотом. До большого села Славкина считалось верст семь, и в каждый

праздник оттуда через черный бор и кудрявые перелески глухо гудел церковный колокол.

Это горячее весеннее утро в блистающих волнах марева, с ликующими переливами жаворонков в мягкой и прозрачно-чистой лазури, было живое: оно играло и смеялось вместе с нами.

Лошадь бежала по гладкой пепельной дороге бойко, а для того, чтобы взбодрить коня, Миколька взнуздал его и вожжами задирал его голову к самой дуге, визгливо покрикивая, как лихой ямщик. И нам казалось, что мы летим на ретивом рысаке, а мимо нас поземкой вьюжатся и молодые хлеба, и яровые зеленя, и черные плисовые пашни, а по краям дороги цыплятами разбегаются желтые одуванчики. С порывистой торопливостью пролетали сизые голуби и стаи неуклюжих, растрепанных галок, и в голубой вышине величаво кружились на распластанных крыльях беркуты. И от этого просторы полей казались необъятными; пологие косогоры, бархатно-зеленые, изрезанные черными полосами пашен, и синие перелески на большой дороге в Пензу трепетали в знойных струях, словно плавали в воздухе. Длинное село Ключи с белой каменной колокольней утопало в зеленых копнах садов. А налево пологими увалами расстилались до горизонта ключовские и даниловские поля с одинокими ветрянками. И высокая старая сосна над синим бором перед столбовой дорогой, таинственная, печально-задумчивая, стояла одиноко, увенчанная трехкрылой короной.

Было хорошо, привольно, хотелось кричать, петь и реять в воздухе вместе с птицами. Только в детстве и отрочестве, в годы бурного роста, душа купается в солнце, в голубом воздухе, хмельном от весеннего дыхания цветов и зеленого ликования жизни переливами жаворонков и зовущим щелканьем перепелок. Только в эти дни душа подростка переживает неизъяснимое счастье жизни вместе с могучим пробуждением земли. И всем своим телом я чувствовал, как живет, как дышит она и улыбается и солнцу и мне. Я видел, что и мои товарищи переживали это счастье: они беспричинно смеялись, кричали, лица их

раскраснелись и глаза горячо блестели и переливались небом и цветами. Я любил их всем своим маленьким сердцем и знал, что и они любят меня.

— Эх, ребята! — лихо кричал Кузярь, вскакивая на ноги. — Дуга-то какая! Только колокольчиков нет. Давайте запоем вместо них.

И он закричал звенящим голосом:

И колокольчик — дар Валдая —
Гремит удало под дугой...

Несколько голосов, таких же звонких и ликующих, подхватило напев. Но в этот момент Шустенок встряхнул кулаком и угрожающе крикнул:

— Из песни слова не выкинешь, Кузярь, а ты песню-то на свой лад кроишь! Этак ты и любую молитву потехой для черта сделаешь. Это вон тебя Федька мутит!

Кузярь сразу же осекся и озверел. Он побледнел и опять упал на солому. Оскалив острые, как гвоздики, зубишки, он рванулся к Шустенку и надсадно заорал:

— Это как так мутит?.. Сыщик ты, что ли?

Шустенок ехидно ухмыльнулся и нахально уткнулся мутными глазами в лицо Кузяря.

— Я все вижу, все знаю. Ты у Федьки на поводу скачешь: он на стороне-то, на ватаге-то, извольничался. Бабам соблазнительные письма пишет и тетку свою от живого мужа с барским конторщиком свел. А батюшка про него говорит, что он для староверов на все ходок. Учительница вас обоих под крылышком держит, у себя на дому привечает. И всякие сторонние к ней приезжают... безбожники... и спроть царя...

— А ты кто, елешка-вошка? — яростно крикнул Кузярь. — Ты сам поповская собачка. Ты на кого хошь наврешь!

Я всего ожидал от этого гаденыша: ведь наклепал же он на меня, что я украл книжку у Елены Григорьевны. Хорошо, что за меня горой стояли ребятишки, что Елена Григорьевна не поверила ему и изобличила его в клевете. Если бы он сейчас за-

тронул только меня с Кузярем, я пропустил бы его бормотание мимо ушей. Но когда он стал порочить учительницу, я взбесился до помрачения и не помнил, как бросился на него и начал колотить куда попало. Смутно слышал я, как кричала Елена Григорьевна, как Миколька, натягивая вожжи, притворно ругался:

— Цыц, сатанята! Из телеги выброшу... Аль за зиму не нагрызлись?

Очнулся я под Кузярем, а руки мне сковал Гараська. Я задыхался и хрипел:

— Пускай не бесславит... пускай поклепов не наводит... Пускай Елену Григорьевну не охалит... За себя мы постоим... а за учительницу себя не пожалею...

— Дурак ты... — ругался Кузярь. — Аль не чуешь, что он нарочно тебя на драку вызывает? Чтоб при свидетелях?..

Ребята глядели в сторону и украдкой пересмеивались.

А Шустенок всхлипывал и мычал мстительно:

— Я это попомню... Покаешься, Федька... Покаешься, да локти кусать будешь... А тебе, Кузярь, тоже добра не ждать...

Я ненавидел этого гаденыша до отчаяния и никак не мог успокоиться: задыхался, и сердце больно колотилось в груди. Но я переживал и злую радость: все-таки я наказал его и угроз его не боюсь, я сам для него — угроза. Как трусливый и коварный враг, он сидел, съежившись, спрятав голову с галчиным носом в плечи, всхлипывал и сморкался. Я уселся на свое место и победоносно оглядел всех парнишек. Они улыбались мне и одобрительно подмигивали: здорово, мол, проучил Шустенка, так ему и надо! Теперь, мол, он будет знать, какая кара ожидает его за коварство. Я вдруг почувствовал себя героем и как будто впервые узнал себя по-настоящему: с иудами, с клеветниками и наушниками я могу бурно, без оглядки расправляться, и мне не страшны никакие угрозы. Я силен был правдой и защищал бесценного для меня человека — Елену Григорьевну. Шустенок сморкался кровью, а нижняя губа у него

распухла и тоже была в крови. Это сразу отрезвило меня, и я тут же заметил, что он нарочно размазывает кровь ладонями по лицу. И уже не возмущение и злобу вызвал он у меня, а презрение и гадливость. Я догадался, что он пачкает кровью щеки для того, чтобы показать учительнице, как я его больно избил, и вызвать у ребятишек сочувствие к себе. Кузярь стоял против меня на коленях и, поглядывая на Шустенка, притворно растирал лицо ладошками, выдавливал пальцами слезы и бросал их за телегу. Парнишки фыркали и давились смехом. Миколька играл вожжами, подбадривая лошадь, скалил щербатые зубы, морщился от хитрой улыбки и вкрадчивым голосом дразнил и меня и Шустенка:

— Ты, Федя, как Егорий храбрый, на змея налетел... Ты не гляди, что Иван Шустов клопенком в щелке таится. Он сильнее да страшнее всех нас и всего села. Аль не правда? Так ты бы, Иван Шустов, не обижался, а на чужой кулак свой показал бы. Это чего ты рожу-то под лак раскрасил? Чай, ты не пугало... От тебя, как от черта, все на экзаменах-то разбегутся.

Шустенок мстительно огрызнулся:

— А я напоказ всем пойду: вот, мол, как меня Федька-кулугур избил. За что избил? За то... за кулугуров, за то, что батюшка им житья не даст... А за что учительница его привечает? За то, что он у нее барбосик...

Я опять рванулся к нему с кулаками.

— Аль мало я тебе рожу бил?! — крикнул я до боли в горле. — Не трог Елену Григорьевну, мокрица!

Меня оттолкнул назад Кузярь, повалил на солому и зашептал надсадно:

— Брось, дурак, кипятиться. Отколотил его — и хватит.

Мне уже не милы были зеленые пахучие поля, и жаворонки в голубом небе, и хрустальные волны марева. Веселая возня, крики и смех парнишек оборвались.

Славкино — базарное село, окруженное со всех сторон березовыми рощицами, зарослями орешника

и молодого дубняка. Избы по широкой и длинной улице — старинные, сосновые, крытые тесом, с резными карнизами и наличниками. Каждое воскресенье здесь, на площади, открывался базар, на который съезжались мужики со всей округи, а весной и осенью устраивалась большая и нарядная ярмарка с балаганами, каруселями, петрушками и райками. Сюда привозили из города и из разных сел всякие товары: скобяные, мануфактурные, бакалейные, кустарные — колеса, решета, лопаты, расписные дуги, веревки, сбрую, кожевенные изделия. Я был здесь на осенней ярмарке с отцом, и она осталась у меня в памяти навсегда. Долго мне мерещились задранные кверху густой щетиной оглобли, вихри разноцветных ситцев, платков и лент, сверкающий полет каруселей, намазанные лица рыжих клоунов в пестрых штанах и рубахах пузырями, с войлочными колпаками на затылке, пряные запахи сапожной кожи, дешевых конфет и конского навоза. Тут же впервые я увидел мордовок в белых шушпанах с красным тканьем на рукавах и на груди и в странных рогатых кичках, украшенных узорчатой выкладью. Говорили они на певучем языке, который похож был на детский лепет. Назойливо и долго держалась в голове крикливая песня мордовок:

Перикала кудыня,
Кудынисень бабиня...

Мы остановились на широкой площади, у церковной ограды, против деревянной школы с большими окнами. В разных местах на примятой луке стояло еще несколько телег, а около них толпились парнишки и девчонки, которые тоже, должно быть, приехали на экзамен. Одни из них были в домотканых рубашках, в лаптях, а другие, как мы, одеты в фабричный ситец и сарпинку и в сапогах. Я уже по этой одеже знал, что лапотники крикливо акали, а те, кто форсил в сапогах и сарпинке, сочно окали.

Елена Григорьевна слетела с телеги и подбежала к нам с широко открытыми от изумления и гнева глазами. Она сразу же схватила меня за руки.

— За что ты Шустова бил, Федя? Что с тобой случилось? Совсем от тебя этого нельзя было ожидать.

Я встретил холодные, строгие глаза Елены Григорьевны и с обидой надулся.

— Ну, говори же, Федя! Чего же ты молчишь? Как же не стыдно бить товарища, да еще в такой день, по дороге на экзамен! Боже мой! Да у Шустова все лицо в крови!

Кузярь лукаво смотрел и на учительницу и на меня и посмеивался.

— Да уж винись, Федюк, куда ни шло! Чай, мы все знаем, за что ты Шустенку нос расквасил...— поддразнивал он меня, и в его смеющемся голосе я слышал поощрение: валяй, мол, режь правдуматку, а мы за тебя горой. Но я молчал, низко опустив голову: я не хотел ябедничать, моя мальчишечья гордость не позволяла мне оправдываться. Я не раскаивался в своей расправе над Шустенком, и мне не было стыдно за этот свой поступок: я чувствовал, что доблестно защитил Елену Григорьевну, и, если бы Шустенок и сейчас стал оскорблять ее, я бросился бы на него с таким же бурным негодованием. Шустенок стоял, опираясь о телегу, с черными мазками высохшей крови на щеках и на руках. Он, как затравленный, жалобно смотрел на круглую каменную колокольню, притворяясь несчастненьким. Ясно было, что он старался обратить на себя внимание сторонних ребятишек, которые действительно подходили к нашей телеге и с удивленным состраданием пристально глядели на него.

Кузярь не вытерпел и, помогая себе руками, стал рассказывать, из-за чего и как у нас произошла драка. Он загорелся, глаза его вспыхивали возмущением и смехом, а худенькое тело его порывисто бросалось в разные стороны, изображая, как я тузил Шустенка.

— Как Шустенок-то начал охалить вас, тут Федяшка и напал на него... «Не моги, говорит, Елену Григорьевну бесславить!»

— Ну, Федя!.. Разве так можно? — засовестила

меня Елена Григорьевна, качая головой. — Надо было пристыдить его, доказать, что он оскорбляет нас, а ты вместо этого полез на товарища с кулаками. А в кулаках ведь правды нет.

— Он — не товарищ мне, — с ненавистью огрызнулся я. — Ежели у него отец сотский да у попа он наушник, так думает, что на него и управы нет? Пускай помнит, что за дурную славу про вас сразу на кулаки напорется.

Елена Григорьевна смотрела на меня с сердитым любопытством и молча прощупывала изумленными глазами и голову мою, и лицо, и плечи, словно впервые обнаружила во мне что-то неожиданно новое.

— Бороться за честь и правду — прекрасно. Но нельзя бороться во вред себе и другим.

Она мягко взяла меня за плечи и повернула к себе.

— Ну-ка, взгляни на меня, Федя. — И она тихонько, как будто стыдливо засмеялась. На ее бархатной безрукавке переливался искрами бисер, словно и он смеялся вместе с нею.

Я поднял лицо и храбро уставился на нее, но не утерпел — схватил ее бледную руку в синих прожилках и приложился к ней щекою.

Елена Григорьевна прошла к Шустенку, строго сказала ему что-то, показывая на сторонних парнишек, взяла его за плечо и повела к школе.

XXXVI

В просторном и светлом классе с географическими картами на белых стенах и такими же картинами, как у нас в школе, — огнедышащая гора и песчаная пустыня с верблюдами, — на партах расселись по-школьно человек тридцать. Перед каждым из нас лежал лист разлинованной бумаги.

К моему удивлению, рядом со мной сел Шустенок, умытый и причесанный. Я забунтовал и толчками сбросил его с парты. Он заскулил и трусливо попятился назад.

— А где я сидеть-то буду? И так меня все прогоняют...

Кузярь сидел позади меня с Гараськой и озорно смеялся:

— Это он нарочно пристроился к тебе, чтобы сдувать...

Я озлился на него:

— А ты чего от меня удрал? Это по-товарищески?

Он притворился обиженным, но глаза его сверкали от смеха.

— Да я думал, что ты с ним помирился и сам с ним сел. Ну, мы и стакнулись с Гараськой.

А Гараська наклонился над партой и задыхался от хохота.

Я хотел позвать на помощь Елену Григорьевну, но она стояла с учителями у стола и взволнованно разговаривала с ними, не оглядываясь на нас. Миколька сидел вместе с Петькой-кузнецом, серьезный, озабоченный, и как будто не замечал моего бунта. Петька недовольно хмурился: ему не нравилась наша возня. Я подвинулся к краю парты, где в проходе стоял Шустенок, и яростно гнал его:

— Пошел отсюда к черту! Все равно не пущу. Выродок ты и недруг. Я подлецов только бью.

Сторонние парнишки в другом ряду и впереди нас испуганно и сердито грозили нам пальцами и шептали:

— Смирно сидите!.. Не бесчинничайте!..

Шустенок вдруг заныл среди общей тишины:

— Да вот он не пускает... А где мне сидеть-то?.. Места-то нигде нет...

Учителя повернулись в нашу сторону, а Елена Григорьевна в тревоге бросилась к нам, красная от смущения.

— Что с вами происходит, ребятки? Почему вы сидите не так, как у себя в школе?

— Федька не пускает меня, вытолкнул...— захныкал Шустенок. — И все гонят... Чай, мне не на полу сидеть...

Я с ненавистью вскрикнул:

— Не буду сидеть с ним, с выродком... Лучше с чужими сяду.

— Но почему вышла такая путаница?.. Ах, какая досада! Не досмотрела, понадеялась... Разве можно в такой день и такой час озоровать? Ну-ко, живо! Пересядьте, как у себя в школе...

Но она не успела навести порядок: в этот момент позвали ее к инспектору. К нам подошел Мил Милыч и молча положил руку на плечо Шустенка, а другой рукой отодвинул меня от края парты. Шустенок впрыгнул в парту и впился в нее обеими руками.

А когда отошел Мил Милыч, я обернулся к Кузярю и потребовал, чтобы он сел со мною, но он сердито оборвал меня:

— Сиди, не шуми, а то выпроводят из класса...

Я в отчаянии выпалил:

— Ну, значит, ты — не товарищ, а изменщик.

— Я — изменщик? — прошипел он угрожающе.— Погоди, мы с тобой на перемене посчитаемся...— И неожиданно для меня засмеялся.— Так посчитаемся, — что вволю нахохочемся...

Сначала я не мог понять, почему мы все перемешались, потом уже, в перерыве, Кузярь, похохатывая, сообщил мне, что Миколька сговорился с ним и с Гараськой пошутить надо мною и Шустенком: что выйдет, если Шустенка заставить сесть на одну парту со мною? Они, конечно, ожидали, что я забушую и вытолкну Шустенка, а он будет метаться, как неприкаянный, и в эти минуты почувствует, что он — гаденыш и ему нет места среди нас. Но эта дурацкая шутка так обидела меня, что я отшатнулся и от Кузяря и от Микольки. Я все время мучительно переживал озорную проделку моих друзей и очень боялся, как бы не ударить лицом в грязь на экзамене. Только Петька подошел ко мне на перемене и ободрил меня:

— Не робь, Федюк! Плюнь на дураков, делай свое дело. Бездельники! Выбрали времечко для озорства...

За столом сидел сухощавый инспектор с клочком бородки, без усов, в мундире с золотыми наплечниками и что-то разъяснял Елене Григорьевне по книжке. По обе стороны от него благочестиво сидели два попа — наш и, должно быть, здешний, краснолицый

старик с седой бородой и с ласковыми, улыбающимися глазами. Дальше от них уселись учителя. Один из них, молоденький, кругленький, безбородый, весело перешептывался с чахоточным, чернобородым, очень печальным учителем, который как будто не слушал его, а занят был своими мыслями. Инспектор наклонился к старичку попу и пошевелил губами. Старик поднялся, провел рукой по груди и сказал добрым голосом:

— Встаньте, детки, помолимся, чтобы господь помог вам провести испытания хорошо.

Все шумно встали, а учителя и попы с инспектором прошли к переднему углу, где стоял золотой киот с иконой Христа, перед которой горела лампадка.

— Вася Стуколов, — кротко сказал старик, — читай, милок, молитву!

Беловолосый парнишка на передней скамье вскинул голову и звонко начал читать молитву перед учением. После молитвы все опять сели, а инспектор позвал Елену Григорьевну и протянул ей книжку. Мне понравилось, что инспектор обратился к нашей учительнице и поручил ей провести диктант, но я еще больше обрадовался, когда она без робости, с веселой улыбкой проговорила:

— Я буду диктовать вам, ребятки, а вы внимательно слушайте и пишите на своих листочках вдумчиво, правильно, красиво, без помарок. Не волнуйтесь, работайте спокойно, как в своей школе. Только помните: каждый отвечает сам за себя — друг другу не мешайте.

Она хорошо, с обычным удовольствием, прочитала нам маленький рассказ из «Родного слова», оглядела нас с подбадривающим смехом в голубых глазах и взмахнула книжкой.

— Начинаем!

И стала медленно и певуче читать, повторяя каждое слово. Писал я всегда правильно и уверенно и теперь знакомый рассказ легко, без запинки строчил на бумаге.

Шустенок сопел и похрапывал около моего уха, и я чувствовал, что он через мое плечо подсматри-

вает, как я пишу продиктованные слова. Я отворачивался от него, а он клянчил хриплым шепотом:

— Не заслоняй, бай!.. Аль тебе жалко?.. Чай, это не деньги — в карман не спрячешь. Какой тебе убыток-то?

И требовательно толкал меня в локоть. Мимо проходила Елена Григорьевна и лукаво упрекала:

— Разве тебе, Федя, удобнее писать на краю парты? Сядь прямо, свободно.

И с усмешливой догадкой в глазах вглядывалась в Шустенка.

— Ты бы, Ваня Шустов, отодвинулся немного от Феди, чтобы не мешать ему.

Я поднял голову и в короткой переглядке с Еленой Григорьевной почувствовал, что мне недостойно прятаться от Шустенка. Я выпрямился и нарочно распахнулся перед ним и даже подвинул в его сторону свой лист. Он сразу же уткнулся в него и дрожащей рукой стал зачеркивать и надписывать буквы над словами. Широкая тень заслонила свет — около Шустенка стоял Мил Милыч, и рука его уткнулась в черную доску парты между мною и Шустенком.

— Своим умом живи, паренек. Это только месяц чужим светом светит.

Шустенок съежился, спрятал голову в плечи и засопел так, словно его душили. Потом молоденький учитель диктовал арифметическую задачку, которая показалась мне очень запутанной. Я всегда испытывал страх перед цифровыми загадками и в рассказах о купле и продаже, о ямщиках, которые скачут друг другу навстречу, о взвешивании каких-то цыбиков берковцами и пудами, чего я никогда не видел, чувствовал коварную ловушку, обман, словно меня заставляли искать что-то с завязанными глазами или расплетать запутанные мотушки. Принялся я за решение этой задачки с холодным замиранием в животе. Вероятно, мое лицо помертвело, потому что ко мне подошла Елена Григорьевна и испуганно спросила:

— Никак тебе дурно, Федя? Я попрошу инспектора разрешить тебе выйти на улицу.

Но она, должно быть, догадалась, что я потрясен задачей, и с ласковым смехом погладила меня по волосам и по спине.

— Не робей, милый! Успокойся, вдумайся, не спеши. Задачка-то ведь легонькая.

Я прочитывал эту задачу раз за разом, но она становилась еще труднее и сложнее. И, как нарочно, Шустенок бойко царапал пером по бумаге, нагромождая столбики цифр, множил, делил и отворачивался от меня. Я невольно встал и задохнулся от волнения. Ручка с треском упала на пол. И, когда я наклонился, чтобы поднять ее, вдруг вся задача ярко развернулась передо мною, как лента, и все действия четко расположились в моем воображении красивыми группами под пояснительными строчками. Я видел, как встревоженно посмотрела на меня Елена Григорьевна, но сразу же улыбнулась. Писал я уверенно и быстро и, когда проверил работу, увидел перед собою Елену Григорьевну.

— Ты уже закончил задачку, Федя? Вижу, вижу. Я очень боялась за тебя, а ты, оказывается, справился с работой один из первых.

Шустенок кряхтел над своим листом, испачкал его сверху донизу и злыми глазами крысы впился в мой лист.

К столу вызывали ребят вразбивку, из каждой школы по одному. Инспектор уже не подавлял меня своим мундиром и странной бородкой без усов. Он улыбался каждому парнишке и говорил с ним с мягкой лаской и как-то бережно. И если парнишка отвечал охотно и без запинки, у него свежели глаза, а брови шевелились от удовольствия. Он кивал головой и певуче хвалил:

— Молодец, молодец! Хорошо.

По закону божьему спрашивали попы. Учителя ободряюще улыбались, когда вызывали их учеников. Елена Григорьевна волновалась, судорожно вздыхала, и лицо ее то бледнело, то ярко румянилось. Сначала в классе стояла боязливая тишина и гнетущее ожидание, и первые ученики, вызванные к столу, говорили дрожащим голосом и от вопросов ежились,

словно на них замахивались, чтобы ударить. Но потом незаметно стали все привыкать и оживились, словно от стола излучалась приветливая теплота. И когда кто-то из парнишек сморозил какую-то вольность и смело заспорил, что косить надо грабельцами, а не просто косой, инспектор блеснул белыми зубами, и серые глаза его стали задорно-прозрачными. Старичок священник ласково засмеялся и, поглаживая седую бороду, подбодрил парнишку:

— Так, милый, так!.. Вот ты какой опытный работничек!

По тесным рядам ребят прошла веселая волна.

К столу я вышел с бойкой готовностью отвечать на всякие вопросы: прочитать и рассказать своими словами прочитанное, ответить по грамматике. Невольно хвастаясь своей грамотностью, я читал бойко, а по грамматике разобрал целое предложение, не ожидая вопросов. Инспектор даже потянулся ко мне и, поблескивая зубами, вскинул длиннопалую руку с золотым кольцом на указательном пальце.

— Постой, постой, постреленок! Ты уж больно несешься во всю прыть. Очень хорошо! Вот ты мне лучше правило скажи, где пишется мягкий знак в глаголах.

И я быстро, но четко отбарабанил ему это правило и привел примеры. Елена Григорьевна смотрела на меня растроганно, и я чувствовал, что она гордилась мною.

Но тут произошло событие, которое потрясло меня до слез. Наш поп указал на меня толстым пальцем и, прищурившись, ехидно усмехнулся.

— Это раскольничий грамотей, будущий начетчик. Дока! У нас он всех солдаток в соблазн вводит: письма им пишет этакие красноречивые — и по надобности и без надобности.

Я замер, и в глазах у меня потемнело. Должно быть, мне стало дурно, потому что инспектор встал с гневом в лице и, склонившись над столом, протянул ко мне руку и положил ее на мое плечо. Меня обнимала Елена Григорьевна и, задыхаясь от волнения, шептала:

— Успокойся, Федя! Ничего, ничего. Батюшка шутит.

Я смутно услышал строгий голос инспектора, и голос этот показался далеким:

— Тут экзамен, батюшка, а не церковный суд. И сводить вам счеты с ребенком непозволительно.

Елена Григорьевна с надрывом в голосе негодующе проговорила:

— Все, что вы сказали, батюшка, это неверно, это сплетня. Я Федю знаю очень хорошо. Это чистый и любознательный мальчик.

А старик священник сокрушенно вздыхал:

— Эх, отец Иван, отец Иван!..

Я расплакался, и Елена Григорьевна повела меня на мою скамью. Сквозь слезы я увидел, как Шустенок скалил острые зубешки и смотрел на меня злорадно.

Но голос нашего попа гудел непримиримо:

— Ребенок... Этому ребенку — двенадцать годов. Грамотейство его служит только раскольничьей общине.

Инспектор, видимо, очень рассердился, его голос глухо, но повелительно оборвал ворчание попа:

— Давайте не отвлекаться, отец Иван. Не будем волновать детей.

Когда я пришел в себя и успокоился немного, инспектор назвал мою фамилию и поманил меня рукой. Я подошел к столу с оторопью, и меня встретил добродушный смешок нашего попа. Он расчесывал пальцами свою бороду, и лучи морщинок от глаз к вискам приветливо шевелились. В острых зрачках его играл лукавый огонек.

— Ты чего же так струсил-то, Федор? А еще на море с ватажниками жил! Мы ведь с тобой—друзья, а ученик ты у меня был отменный. Спрашивай его, отец Сергий.

Но у меня дрожали руки и ноги: его глаза обжигали и душили меня, и мне было страшно. Так, вероятно, чувствует себя мышонок, когда на него смотрит кот, играя с ним.

Я не помню, как отвечал на кроткие вопросы

старичка. Остался в памяти один момент: отец Сергий, как добрый дедушка, почему-то вышел из-за стола, погладил меня по голове, проводил на место и прошептал мне в ухо, щекоча мою шею бородой:

— Учись, учись, дружок! Знание — сила. И паче всего возлюби истину. А правда в душе живет. И никогда не гаси этого светильника. Успокойся, милый!

XXXVII

После экзаменов я почувствовал себя старше и зрелее, словно выдержал трудную борьбу и добился победы. Я впервые переживал огромную радость этой победы и ощущение свободы, которая была завоевана мною и работой в школе, и в обращении с людьми, прибывшими из другого мира.

Каждый день после работы по двору — надо было проводить корову в стадо, нарубить хворосту на топливо, сходить к колодцу за водой — я бежал к Петьке в кузницу и становился к мехам.

Когда я заходил к Елене Григорьевне, она встречала меня в своей горенке с радостной приветливостью:

— А-а, Федя пришел!..

Мне было больно думать о том, что она скоро уедет домой и я больше никогда не увижу ее. Я отводил глаза в сторону и едва сдерживал слезы.

— Без вас меня съедят здесь...—горестно лепетал я, и у меня дрожали губы. — Мы бы тоже с мамой уехали, да денег отец не высылает. А избу никто не купит, корову хоть даром отдавай — безденежье у всех.

Она подходила к раскрытому окну, за которым горел солнечный день и ослепительно белели тугие облачка на бархатной синеве неба, и ободряла меня:

— Вот переедешь в город и там заживешь свободнее. Ах, если бы ты смог учиться дальше! Кончил бы гимназию, пошел бы в университет.

Однажды явился к ней отец Иван. Он прошел на середину комнаты, три раза перекрестился широким

старообрядческим размахом и сделал три поясных поклона в передний угол. Отечески улыбаясь, он покровительственно пошутил:

— Ну, милая барышня... Не ждали меня — знаю, а я вот посетил вас. Решил поздравить вас с хорошими успехами, благополучным окончанием учебного года. Оно следовало бы учительнице, молодой девице, первой удостоить священника своим визитом и принять от него благословение, но снисхожу к вашей юности.

Поправляя над ушами косицы, поглаживая левой рукой рясу на животе, он собирал и распускал лучистые морщинки около глаз и, как власть имущий, медленным, важным шагом прошелся по комнате, зорко всматриваясь в стены, где кнопками пришпилены были фотографии и картинки, и в разбросанные книжки, и в бумаги на столе.

Елена Григорьевна, покрасневшая, смущенная, стояла у окна, около стола, и растерянно улыбалась, но в прозрачных глазах ее трепетало беспокойство.

— Садитесь, батюшка! Извините, пожалуйста, что я не зашла к вам: все дни готовила отчет инспектору народных училищ.

Отец Иван не сел, а продолжал медленно ходить по комнате, шурша своей длинной рясой.

— Для прогулочек время находится, барышня, да и сейчас вот, как вижу, делом не заняты, а забавляетесь с нашим дошлым раскольничком. Привечать же и потворствовать ему не надо бы, чтобы не мешать мне вести борьбу со старообрядчеством. А борьбу эту необходимо вести нам сообща, ведь учительство-то служит у нас церкви и отечеству на пользу.

Елена Григорьевна схватила со стола исписанные листы бумаги и дрожащими руками свернула их в трубку. Ухо и щека у нее были красные от прилива крови, а на розовой шее билась какая-то жилка. Срывающимся голосом, но сдерживая гнев, Елена Григорьевна возразила:

— Я работаю, батюшка, в светской, земской школе. Ребят я учу грамоте, воспитываю любовь к книге, к знанию. Я стараюсь, чтобы каждый из детей был чист, честен и трудолюбив.

Поп строго улыбнулся, слушая Елену Григорьевну, и гулко оборвал ее:

— Без слова божия нет душевного целомудрия. Только свет Христов просвещает всех.

Елена Григорьевна смело и твердо проговорила:

— Учительская интеллигенция идет в деревню не для религиозной борьбы, а для просвещения народа — для того, чтобы воспитать человека.

Отец Иван остановился и, отразив взмахом руки ее слова, обличительно провозгласил:

— В ваших словах — тоже раскол, только безбожный.

Елена Григорьевна возмущенно запротестовала:

— Вы — священник и должны дорожить правдой и совестью.

Поп заулыбался добродушно, и в глазах его заиграло лукавство.

— Не обижайтесь на меня, барышня. К вам у меня нет никакого взыскательства. Мне, любопытствующему человеку, интересно видеть молодых людей нашего времени, особенно женщин. И вижу, наблюдая не только вас, что девушки, получая образование, свободно становятся на свои ноги. Для семейной жизни они уже не пригодны, стремятся к равноправию с мужчинами и заражаются отнюдь не женскими мыслями. Горестно, что они убивают в себе мать.

Елена Григорьевна засмеялась и начала с особой заботой и внимательностью расчесывать и разбирать мои кудри.

— Откуда это видно, отец Иван? Выводы ваши ни на чем не основаны.

Я чувствовал себя нехорошо. Поп как будто заполнял всю комнату, и мне было тягостно. Что-то гнетущее, как ужас, давило мне сердце. Хотелось юркнуть в дверь и опрометью убежать домой. Но я был словно без памяти, парализованный какой-то

зловещей силой, которая вошла сюда вместе с этим человеком в рясе.

Он остановился перед столом и стал перебирать книги. Одну из них он осмотрел со всех сторон, взвесил в руке и усмехнулся:

— Вот оно что!.. Писарев... Белинский... Враги церкви божией у вас в почете... И вы стоите преградой в борьбе моей с расколом. Недаром так дружно сходились у вас крамольные люди... Одного из них уже изгнали...

Елена Григорьевна молча подошла к нему, вырвала у него из рук книгу, положила ее к другим и всю стопку отнесла к себе на подоконник.

— Я вижу, батюшка,—с холодной сдержанностью проговорила она, — что мои книги вас раздражают, хотя вы их, похоже, не читали. А рыться на чужом столе с целью сыска как будто неприлично.

Этот упрек Елены Григорьевны не смутил попа. Он опять заходил по комнате и с благочестивым восторгом стал говорить о каком-то Неплюеве, о беспримерной его книге, полной дивной красоты и премудрости. Говорил он красноречиво, искусно играя голосом и лицом, вдохновенно поднимал голову и вскидывал руки в широких рукавах. Он так увлекся и залюбовался своей речью, прислушиваясь к ней, что даже я почувствовал обаяние его проникновенного голоса и музыкальный узор его слов, которые выливались плавно, непрерывно и как будто вихрились над его апостольской головой. Он напомнил мне Митрия Стоднева, но у настоятеля не было этого властного величия и проповеднической внушительности.

Елена Григорьевна подняла меня за руку со стула и шепнула:

— Уходи, Федя! Я боюсь за тебя. Только ты уж попрощайся с ним.

Я облегченно вздохнул и робко пролепетал:

— До свидания, батюшка.

Он как будто не слышал меня и продолжал говорить и ходить по комнате, размахивая широкими рукавами.

На улице, перед крыльцом, у зеленой оградки палисадника, я столкнулся с Кузярем. Надорванным голосом он обжег меня негодующими упреками.

— Какого черта ты здесь не видал? Нарезался на попа-то... А он только и рыщет, кого бы поддеть да обличить. Нынче тоже вот... Вышли из церкви вместе с Максимом-кривым, с сотским да старостой, и Шустенок с ними. Пошли к моленной и выгнали всех. Паруша на попа-то — как медведица: «Ты что это, отступник, гонишь людей-то с божьего стояния? Ты, как июда-предатель, привел с собой и полицию... У тебя, говорят, бог-то твой даже без сотского и старосты не обходится». А он, как святой, крестит ее и приказывает: «Забери, говорит, ее, сотский, и запри, богохульницу, в жигулевку для покаяния!» Народ окружил ее — не дает. Суета, смута... И мирские за нее: «Неправедное дело, батюшка!» Так и погнали ее, черти, в арестантскую...

Мы со всех ног пустились вверх на луку. У моленной стояли седобородые старики, опираясь на клюшки, и старухи в китайках и о чем-то угрюмо гомонили. Мы пробежали мимо, и я услышал стонущий крик бабушки Анны:

— Федянька, не ходи туда! Беги домой от греха! Они и парнишек не щадят.

Но я даже не обернулся на этот ее испуганный голос. Вспомнил я, как пьяный сотский арестовал когда-то бабушку Наталью, как терзал ее, смертельно больную, по дороге, пока не отняли ее Архип и Потап. Вот и теперь этот же самый сотский, которого все ненавидели в деревне, по воле нового попа схватил бабушку Парушу и запер ее в этой жигулевке. Странно было, что эта могучая старуха не отшвырнула от себя Елеху-воху, а покорно подчинилась ему. На бегу я высказал свое недоумение Кузярю, но он с яростным отчаянием, сквозь слезы, крикнул визгливо:

— Я сам бы набил ему пьяную морду!.. Да поди-ка!

Он вдруг остановился, упал на траву и раза два яростно ударил кулаком по земле. Потом встал,

оглядел всю площадь и зашагал странными порывами, словно его кто-то толкал сзади, а он артачился.

— Чай, она, Паруша-то, не дура. Он, поп-то, сразу бы свою шайку на нее натравил и ее избили бы да еще связали бы веревками. Это еще ничего... Драка разразилась бы... может, и попа с Елехой помяли бы... Поп-то ведь отступник: он — хуже станового, злее зверя. Вспомни-ка, как он выдумывал всякие небылицы да наговоры... Ну, да на весь век запомню.

Около старенькой жигулевки, почерневшей, покрытой серо-зеленой плесенью, стояла жиденькая толпа старух и стариков. Старухи теснились отдельно от стариков и плакали, вытирая слезы концами платков, а старики с клюшками да падогами в руках стояли хмуро и бормотали глухо и невнятно, не слушая друг друга. У маленькой отдушины стояла наша Катя, а голова в голову с ней — мать и о чем-то оживленно и как будто даже весело, наперебой, покрикивали в окошечко. Невестки Паруши — высокая Лесынька и маленькая Малаша, — прижимаясь к стене, стояли в обнимку с заплаканными лицами и горестно смотрели куда-то вдаль. А бородатый Терентий что-то внушал Якову и стукал пальцем в его грудь.

Мы с Кузярем продрались к окошечку и, перебивая друг друга, крикнули:

— Бабушка Паруша!.. Ты не плачь и не кайся! За тебя — все село...

Катя сердито оборвала нас:

— Чего вы знаете?.. Все село!.. Народ-то друг на дружку лезет... Ты бы, Федянька, не толкался здесь с Кузяренком-то: и так на тебя, парнишку, ненавистники наговоры плетут.

Мать с тревогой в глазах отталкивала меня от оконца и настойчиво шептала:

— Сейчас же... Сейчас же беги!..

Ласковый Парушин басок глухо гудел в черной дыре отдушины:

— Колосочки вы мои золотые!.. Не забыли старуху-то. Нету, нету, милые. Не покаюсь — души не убью. Как жила по правде, по совести, так и в могилу

сойду. Поп-то сам придет ко мне да еще поклонится. Сам передо мной покается.

И она засмеялась тяжелым, старческим смехом.

Мы пошли к пожарной, где стоял Миколька и, бросая в рот семечки, не отрывал глаз от жигулевки. Кузярь толкнул его плечом и, задыхаясь от нетерпения, повелительно позвал взмахом руки в пожарный сарай. Глаза у него озорно вспыхнули, а ото рта к острому подбородку прорезались злые морщинки. Я уже знал, что в такие моменты Кузярь готов был на всякие дерзкие поступки. А Миколька ради потехи часто разжигал его порывы: поддакивал, сам подсказывал всякую ерунду, а потом трунил над ним и доводил до бешенства.

Я не догадывался, чем Иванка взволнован, какая мысль обуяла его, но верил ему.

Миколька, не переставая бросать семечки в рот, вошел в пожарную с обычной усмешкой лукавца и с ужимками скомороха, которому всегда охота потешиться над людьми.

— Какой у нас поп-то лихой! А? Федя! Взял да и разогнал всех из вашей моленной. До этого и начальство не додумалось. Все, как овцы, разбежались. На него хоть Паруша поднялась — не побоялась, а вы-то чего струсили, не отбили ее?

Я напомнил ему, что в моленную давно уже не хожу и смешался с мирскими.

— А я-то хожу, что ли? — набросился Кузярь на Миколку. — И в церковь не пойдем! Палками только скотину в загон турят. А тут поп-то с полицией старух в жигулевку под замок тащит. Эка, благодать какая, ежели жандар с попом да старостой душу на аркане в рай тянут! А выходит, рай-то в жигулевке...

Миколька, чтобы подразнить нас, забормотал елейно, подражая старику Лукичу:

— Разве перед крестом-то устоишь? Перед крестом-то и черт на брюхе ползает. Только вот учительница головы не клонит. Ну, да батюшка-то препоручил мне написать ему и благословение дал, как она нас безбожию учила и как вы ее с еретиком Яковом свели да с бунтарем Тихоном.

Я не выдержал и наскочил на него с таким негодованием, что задохнулся.

— И ты послушался, написал? Это на свою учительницу-то ябеду нацарапал?

Но Кузярь схватил меня за пояс и оттащил от Микольки.

— Погоди ты, стой! Чего горячку порешь? Я знаю, зачем он дурака валяет: это чтобы мы Елене Григорьевне знак дали. Аль ты не раскусил его? Он нам до зарезу нужен. Надо, Миколя, баушку Парушу из жигулевки выручать.

Миколька совсем не удивился, словно он уже заранее знал, зачем мы прибежали к нему.

— А как же вызволять-то ее? Замок, что ли, будем ломать? И лом есть и топоры есть... Только ведь вместо Паруши мы в жигулевку попадем, а чего мы там делать-то будем? Аль плясать да песни петь? Может, шашки с собой заберем?

— А кто узнает? — горячо заспорил Кузярь. — Мы ночью на крышу залезем, отошьем тес, поднимем ломом доску на потолке, возьмем лестницу, и по лестнице Паруша вылезет, а потом спустится. После забьем и зашьем все, как ничего и не было. Помнишь, как с моленной было?

Картина, нарисованная Кузярем, захватила меня своей простотой и смелостью. Но бабушку Парушу я знал хорошо и был уверен, что она не согласится вылезти из жигулевки. Я хотел это разъяснить Кузярю, но помнил его просьбу не перечить ему. Засунув руки в карманы брюк, Миколька выставил одну ногу, потом другую, и в хитрых его глазах разгорались лукавые искорки. Я видел, что он весело соображал что-то и поглядывал на Кузяря и на меня с коварством забавника, которому хочется подогреть нас на дерзкий подвиг, чтобы ахнула вся деревня. Он вынул руки из карманов и шлепнул ладонями.

— Ну и ловкачи вы, ребята, на выдумки! Мне бы и в голову это не пришло. Валяйте! Приходите ночью — все вам приготовлю: и лом, и топор, и лестницу. Спроть таких смельчаков и Паруша не устоит.

Кузярь подпрыгнул от радости и защелкал пальцами.

— Только и ты, Миколя, с нами пойдешь: без тебя мы не справимся.

Миколька сделал серьезное лицо и строго возразил:

— Мне нельзя, Ванек: сам знаешь, что пожарную оставлять и на минуту нет возможности. Меня и по ночам бесперечь проверяют. Я вам только помогать буду.

Я чувствовал, куда гнет Миколька: ему нужно было устроить потеху и взбудоражить все село. Освободить же Парушу у него действительно в мыслях не было, да ему, как мирскому, нелепо было вмешиваться в наше дело и выступать наперекор попу. Его шутовское коварство возмутило меня, я не утерпел и обличил его:

— Я знаю, какой тебя бес щекочет. Шутоломишь по-отцовски, а мы тебе не кутята, играй, да не жульничай для потехи: сам в дураках останешься.

Нежданно-негаданно в пожарную вошел Максим Сусин, заросший серыми волосами, в легкой суконной бекешке, в картузе, надвинутом на лоб. Красноносый, с жирными мешками под глазами, он оглядел пожарную, по-птичьи скривил голову и остановил на мне зрячий хищный глаз. Я застыл на месте, пригвожденный этим неотразимым глазом, и у меня замерло сердце. Раньше, при случайных встречах, он не замечал меня или провожал издали усмешливым взглядом, останавливаясь на минутку и что-то бормоча в бороду. Я не видел ни Микольки, ни Кузяря и стоял, будто на краю крутого обрыва. Откуда-то издалека я услышал вкрадчивый, дряблый голос:

— А-а, грамотей... для всех статей! Ты чего же это, сваток, в гости не приходишь? Ведь, чай, по Машарке-то мы родней приходимся.

Я молчал и чувствовал, как по спине и по ногам расползались колючие мурашки. Мне мучительно хотелось сорваться с места и убежать из пожарной, но кривой старик словно заворожил меня и приковал

к месту. Кузярь сжал мои пальцы и потянул в сторону.

— Чего молчишь-то, как пенек? Чай, не съем. С солдатками да со старухами, как воробей, прыгаешь да верещишь. Почтальоном-то, как жеребенок, носился на барский двор.

Его голос задребезжал язвительно и оборвался притворно-добродушным смехом.

— Ну, да чего с тебя взять-то!.. Родители грешат, дети — не в ответе. Баб вот надо смолоду за косы на перекладинах вешать да пороть — беса из них выгонять: они все бешеные.

Он шагнул ко мне, странно выщелкнул колени и, уткнув в меня туго сбитую бороду, внезапно спросил:

— Где это сейчас проживает Маша-то?

Я молчал, пришитый к месту его хищным глазом, словно заколдованный. Кузярь опять крепко сжал мне пальцы, а Миколька с притворной робостью сказал:

— Да рази он знает? Чай, большие-то о своих делах с маленькими не советуются.

— Аль я тебя спрашиваю, болван! — огрызнулся на него Максим. — Чего ты лезешь не в свое дело? Маленький... Он хоть и маленький, да удаленький.

И по его мохнатому лицу с глазом зверя холодным раздутым слизняком проползла хитрая улыбка.

— Чай, она, тетка-то Маша, и письма вам посылает. И вы, чай, отписываете. Может, бедствует на чужой стороне без сродников?

Я очухался немного, попятился назад и угрюмо ответил:

— Не знаю я. Чего выпытываешь-то!..

В этот момент в пожарную вбежала мать, бледная, растерянная, с ужасом в глазах, и схватила меня за руку.

— Иди сейчас же, беги, Федя! А тебе, сват Максим, совестно на старости лет парнишку терзать.

Вместе с нею мы выбежали на луку. Не оглядываясь, я чувствовал, что за нами бежит и Кузярь. Не выпуская моей руки, мать, тяжело дыша не то от волнения, не то от беготни, спросила тревожно:

— Чего он у тебя спрашивал? Аль допытывался, где Маша скрывается? И не моги говорить... никому не моги!..

— Аль я не знаю... — обиделся я и вырвал свою руку. — Маленький я, что ли? Прибежала, словно меня бьют...

Мать остановилась, озираясь, и упавшим голосом проговорила:

— Житья нам от него не будет. На своем веку он не одного человека в могилу свел. Неспроста народ толкует, что он грозится нас с тобой казни предать.

У меня заныло сердце от смутного страха, и я крикнул в отчаянии:

— А чего мы торчим здесь? Сорвались бы с места и уехали. Брось все, и завтра же — в Петровск, на чугунку...

Мать вздохнула и медленно пошла мимо жигулевки, поодаль от людей, по дорожке к ветлам внизу.

Кузярь недовольно крикнул сзади:

— Приходи вечером к нам на гору, к хороводу! Мы еще по нашему делу толковать будем, а потом к бабушке Паруше пойдем.

Я оглянулся и помахал Кузярю рукой.

— Это чего вы задумали-то? — забеспокоилась мать, взглянув через плечо на Кузяря. — Гляди, как бы он не сманил тебя на какое-нибудь озорство. Не забывай: мы на волоске висим.

XXXVIII

Вечером мать пошла на гору — в хоровод. Там за амбаром уже собирались девчата и молодухи и пели песни. Девичьи голоса казались очень далекими, и песня звучала задумчиво и красиво. Кое-где и на той и на этой стороне тускло мигали огоньки в окошках. Всюду было по-вечернему тихо и сонно, по-вечернему грустно, и чудилось, что земля потягивается и дремлет. С речки наплывала сырая прохлада в запахах ила и травы, и там едва слышно лепетали под обрывами гремучие роднички. Где-то на дальнем высоком

порядке послышались переборы гармоники и визгливо запели девки, словно заплакали.

В сумерках беззвучно и порывисто носились вокруг меня летучие мыши, а где-то наверху и на той стороне пронзительно и жутко вскрикивали сычи: ку-ку-квяу!.. И очень далеко налево, за околицей, в полях щелкали перепелки, а ближе, перед гумнами, скрипели дергачи.

В этой безлюдной ночной тишине мне стало почему-то страшно, и сердце заныло от непонятной и смутной тоски. Идти на ту сторону мне не хотелось, и наше решение освободить Парушу казалось уже дурацким озорством. Не то мне нездоровилось, не то предчувствовал я какую-то беду, но меня томила такая усталость, что тянуло сесть тут же, на взгорочке, и слушать себя и безлюдную, пустую тьму. И я негодовал на мать: зачем она ушла наверх, в хоровод? Неужели ей хочется плясать и петь песни с девчатами, когда мне тяжело и тревожно на душе? Разве она не слышит, как зловеще кричит сыч и как глухо, по-бычьи мычит в низине у барской мельницы какая-то странная птица, словно домовой?

И все-таки я шел, превозмогая усталость и непонятную тоску: по уговору с Кузярем мы обязательно должны были встретиться у его амбара, на полянке, где собираются на гульбище девки и парни. Я перебрался по переходу через речку, слушая, как она плещется и играет на камешках, и поднялся по крутой дорожке на взгорбок мимо курных бань, пахнущих гарью и вениками.

На покатой полянке толпились девки, а отдельно от них — парни. Девки, тесно сбитые в кучу, невнятно щебетали, а парни говорили все вместе и дружно смеялись. Кое-кто из них подходил к девкам, выхватывал из тесного круга свою суженую и тянул ее в сторону. Она притворно отбивалась, повизгивала, а потом послушно уходила в обнимку с ним подальше, к амбарам.

Я сел на траву поодаль от парней и стал ждать Кузяря. Мерцали редкие звезды, очень далекие и призрачные, как искорки. Щербатый ломоть луны ле-

жал на самом коньке Парушиной избы и, тусклый, остывающий, потухал, покрываясь пеплом.

Я любил толкаться по вечерам в веселой и говорливой толпе парней и девок и играть с Кузярем и с шабровыми ребятишками. Но сейчас я томился от какого-то тяжелого предчувствия — болело сердце и хотелось плакать от беспричинной скорби.

Девки в хороводном круге начали плясать под песенную скороговорку, а вокруг них бегали, играя, девчушки, мои однолетки. Парни не подходили к девкам, а сгрудились в кучу и о чем-то осторожно разговаривали.

Кузярь появился внезапно, словно выскользнул из-под земли.

— Мамка задержала, чего-то ей невмоготу стало. Насилу угомонил. Да Карьку корму задал. Делов до черта! Ну, пойдем. Ты чего такой квелый? Сидишь, как мокрая курица, словно без костей. Разве так на храброе дело идут?

С неугасающим томлением в сердце я побежал вместе с ним к пожарной.

Около жигулевки никого не было, но я чувствовал, что эта вросшая в землю хибарка — живая: всю ее заполняла могучая Паруша, и мне чудилось, что я слышу ее дыхание и вижу мерцающую приветливую ее улыбку и твердое лицо непреклонной старухи.

Миколька бродил перед пожарным сараем и глухо напевал какую-то песенку. Он подхватил нас под руки и подвел к роспускам, где лежали длинные багры.

— Вот вам все причиндалы, друзья-ратники! И лестница, и топор, и два лома.

Кузярь со злостью оборвал его:

— Нечего дурить, Миколя: от нас не отбояришься. Ты с нами пойдешь и первый на крышу залезешь.

Миколька испугался и отшагнул назад.

— Чай, это не пожар. Поди-ка у меня не две головы.

— А товарищей под топор подводить — это тебе по сердцу? Любишь смутьянить — будь готов и шею подставить. Ради потехи ты и расславишь нас завтра по всему селу.

Миколька начал божиться и клясться, что он будет молчать, как могила: ведь нам он всегда был верным товарищем.

— Неси, помогай! — приказал ему Кузярь, указывая на лестницу.

Сам он взял тяжелый лом, а я — топор.

Миколька отступил еще на шаг и засунул руки в карманы брюк.

— Мое дело — сторона, а от пожарной я ни шагу не отойду. Да и вам, ребята, сподручнее: я караулить буду. А кто покажется — сейчас же знак вам подам.

Но я видел, что он растерялся и не знает, как выпутаться из этой затеи. Мы с Иванкой смотрели на это предприятие, как на доблесть, а он — как на забаву и потеху от скуки. Он думал, что мы будем игрушкой в его руках и он в конце концов спугнет нас в самый разгар нашей работы и нахохочется над нашей глупостью. Но он сам оказался в постыдном положении — попал в собственную ловушку. Кузярь был умнее и опытнее, от его пронырливости не ускользнуло коварство Микольки. В таких случаях Кузярь вскипал от негодования и сразу же дерзко нападал на него: разоблачал его двоедушие, обличал в трусости и издевался над его недальновидностью.

Кузярь, хоть и маленький ростом и тщедушный, смело схватил его за грудки.

— Бери лестницу и шагай. Мы первого тебя, дылду, завиним.

Миколька сразу повял и виновато ухмыльнулся.

— Аль я против?.. Я думал, это просто так... для игры... а вы по-сурьезному... Только это не шутка, ребята: за такие дела свяжут и на съезжей высекут.

— Ну, неси, неси, не разговаривай! Раз затеял с нами дело — не выпутаешься.

Миколька подхватил на плечо лестницу и пошел к жигулевке. Мучительная тоска угнетала мою душу, и мне хотелось бросить все и убежать домой. Но меня удерживала какая-то необоримая сила, похожая на товарищеский долг и на суровое веление совести.

Миколька подошел к жигулевке и приставил лестницу к тесовой ветхой крыше. Доски были, оче-

видно, гнилые, потому что они захрустели, затрещали и на землю посыпалась труха. Внутри жигулевки глухо загудел басовитый голос Паруши:

— Кто это там озорует? Тут ночью крысы покоя не дают, а снаружи и озорники норовят пугать меня, старуху.

Я бросил топор и подбежал к отдушине.

— Бабушка Паруша, не пугайся! — сдавленным голосом утешил я ее. — Это мы с Иванкой и Миколькой... Вытащить тебя порешили... через потолок и через крышу. И лестницу приставили... Только как ты... хочешь вылезти аль нет?

В пустоте окошечка показалось мутное пятно — едва различимое лицо Паруши. Она изумленно заохала, задохнулась от смеха и закашляла.

— Ах вы греховодники!.. Милые вы мои ребятишки!.. Кто это надоумил вас, золотые колосочки? Ах ты лен-зелен!.. Идите, идите по домам, дети боговы! Еще беду на себя накличете. Не спросивши меня, распоряжаться мной вздумали. Да ежели бы я захотела, сама бы вышла с божьей помощью. А я вот не хочу. Кто меня заушил, тот и выпустит, да еще сам передо мной голову склонит. Не он меня, ворог мой, страхом укротит, а я перед ним горой встану. Меня не устрашить жигулевкой-то: я перед правдой своей — не изменница. Я выйду отсюда светлой праведницей, а перед народом — мощью препоясанная. Идите, идите! Сейчас же убегайте, чтоб я больше вас и не видала! — строго забасила она, но не удержалась и опять засмеялась. — Ах вы подсолнышки золотые!.. Узнают поп да староста — самих вас в эту жигулевку запрут, а то и в волость угонят.

Только в этот момент я почувствовал, что за моей спиной стоит Кузярь и молча слушает Парушу. Он задышал с хрипом в горле, в отчаянии отмахнулся и убежал обратно. А когда я подошел к тому месту на противоположной стороне, где стояла лестница, ни Микольки, ни Кузяря там уже не было.

Мне стало невыносимо от мучительного томления в сердце, и я как-то странно перестал ощущать себя:

шел я бессознательно и чувствовал свои шаги, как чужие, и весь был какой-то посторонний.

Неудержимо хотелось найти мать, прижаться к ней, как в детстве, и увести домой, чтобы остаться только с ней наедине.

Как в кошмарном сне, я поднялся на гору и сразу же забыл, где и как я шел. Вспыхивали и угасали призрачные тени, обрывки событий, старческий смех Паруши из черной отдушины жигулевки, горячие вскрики Кузяря.

У черных копешок амбаров, на широкой поляне, шевелилась мутная толпа девок и молодых баб, говор и смех переплетались с пригудками и гармошкой. Играли в перегонышки ребятишки. Мать стояла в сторонке с Ульяной и двумя молодухами и грустно разговаривала с ними, вздыхая. Словно знала она, что в эту минуту я подбегу к ней и схвачу ее за руку, потому что сейчас же пошла со мною между амбарами вниз, под гору.

XXXIX

Как только мы вошли в избу, я в изнеможении свалился на лавку и сразу же утонул в глубоком сне. Вероятно, пережитые мной гнетущие встречи, и неизвестно почему нахлынувшая вечером тоска, и ожидание чего-то страшного и неведомого совсем измучили меня. Этот сон похож был на обморок: я не чувствовал, как подняла меня мать со скамьи и перевела на пол, на кошму, как снимала праздничную рубашку и надевала будничную, но проснулся я от какого-то необъягного гула и волчьего воя. Надсадный крик оглушил меня, и я ослеп от падающих сверху огненных языков и ливня искр.

— Горим, Федя! — безумно кричала мать. — Горим!.. Окошки-то забили... Не выйти нам...

Она распахнула дверь, но в сенях бушевало пламя. Мать раздирающе закричала и захлопнула ее. Помню, что я изо всех сил колотил чем-то по гнилушкам рамы, но какой-то заслон снаружи туго давил на окно. Почудилось, что где-то ревет корова и гулко

грохочет буря. Я всем телом навалился на тяжелый заслон в окошке и стал толкать его то в одну, то в другую сторону. Внезапно я вылетел из окна вместе с заслоном, и на меня посыпались клочья горящей соломы. Кто-то подхватил меня под мышки и отбросил в сторону. Мельком заметил я, что кричу хрипло, с занозами в горле. Изба и двор пылали вихрями пламени, и огромные взлеты огня с гулом и треском улетали вверх в густых облаках красного дыма. Со всех сторон — и с горы, и с той стороны — бежали мужики и бабы, освещенные пожаром. Набатно бил на колокольне большой колокол. Двое мужиков подбежали к окнам и пинком отшибли толстые слеги, которые подпирали широкие обломки досок на окошках. Из черной оконной дыры вылетали охапки тряпья, овчинные шубы, сапоги, кувырнулся небольшой сундук. Это мать спасала наше имущество. Она истерически кричала из избы:

— Корову-то выпустите!.. Сгорит корова-то!..

Кто-то с веселой насмешкой откликнулся:

— Сама-то вылезай!.. Корова уж сгореть успела.

И другим, спокойным голосом сказал кому-то:

— А ведь сукин сын хотел и Настенку с сынишкой сжечь.

Прошла Ульяна и злобно ответила:

— Максимово дело... За Машарку мстит...

Мужик строго одернул ее:

— Это откуда ты знаешь? Притянут к ответу — язык проглотишь...

Народу сбежалось много, он широким полукругом толпился вдали от бушующего огня. Только какие-то двое парней в рубахах без пояса суетились около окошек и отбрасывали рухлядь, которую выкидывала мать из окна. Двора уже не было — на месте его догорали кучи какого-то мусора и упавшие стропила и слеги. На избе с грохотом обрушилась крыша, и вихрь пламени и искр рванулся в дымное небо.

Из толпы истошно закричали и мужики и бабы:

— Настя! Настенка! Вылезай! Спасайся!..

Я побежал к избе, чтобы вытащить из окошка мать. Из выбитого окна валил густой дым, а сверху

сыпались искры и раскаленные угли. Кто-то подхватил меня под руки и потащил назад, а я кричал хрипло, без голоса:

— Пусти меня!.. Пусти!.. Мама сгорит!.. Я вытащу ее!..

— Эка, какой богатырь!.. Сам-то насилу выскочил... Да и обжегся весь...

И только в этот миг я ощутил саднящую боль и на руках, и на шее, и на спине.

К окну подбежала Ульяна и схватилась за косяки, чтобы впрыгнуть в избу. Она кричала сердито:

— Давай руки, Настя! Скорее! Потолок упадет... Сгоришь, Настя!.. Вылезай!..

К ней подскочил Яков, оттолкнул ее и юркнул в дымную дыру. На Ульяне загорелся платок. В толпе ахнули и завизжали женщины, но Ульяна сорвала платок с головы и отбросила от себя, а от окна не отошла.

— Толкай ее сюда, Яша! Я приму ее. Где ты там?

Яков вылез задом и потащил за собою мать. Оба они отнесли ее на траву.

— Взлез в избу-то... — почему-то весело кричал он. — Зову, зову... ищу, ищу — нет ее. Через нее споткнулся. Лежит на полу, как мертвец. Ежели бы не я — капут бы ей сейчас...

Словно в ответ ему, изба с грохотом куда-то провалилась и выбросила вверх целое облако искр, горящих галок, черного дыма и взметов пламени. Я подбежал к матери и не узнал ее: она лежала без памяти, с черным лицом и руками. Перед нею на коленях стояла Ульяна и гладила ее по лбу, по груди и ласково уговаривала:

— Ничего, Настенька... Бог помиловал... Очнись, голубушка!.. Вот и сыночек около тебя...

Я сидел рядом на траве и плакал. Нас тесным кольцом окружили бабы и кричали горестно. Позади переговаривались мужики:

— У нас сроду в селе никто не горел. О пожарах и старики не баяли... А вот гляди какая беда...

— Табашников никогда не было — вот и пожаров не случалось...

— А это что?.. Табашников и сейчас нет, а вот...

Кто-то язвительно пояснил:

— Зато спички есть... Раньше-то спичек не было... Они, пожары-то, видишь, и без цигарок вспыхивают: месть-то сама горит... а злоба-то в сердце — как сера горюча...

— Ну и злодей!.. — изумлялся кто-то с гневной скорбью. — Живьем хотел бабенку-то с парнишкой сжечь... А скотина-то чем виновата?.. Вот и корова лежит... Эх, казнить бы этого супостата!..

— Казнить, казнить... — угрюмо отвечал другой голос. — Тут, голова, думать надо: это для всего села знаменье. Помяните мое слово: теперь гореть будем каждый год.

Кто-то враждебно обещал ему:

— Вот тебя при первом же пожаре и свяжем как поджигателя.

— А я что?..

— А то... поджог посулил... Пожары без поджога не бывают...

Кто-то с веселым удивлением закричал:

— Глядите-ка, чудо какое: насос прискакал, с бочками... Робята, валяй к коромыслам!.. Кишку разворачивай!

— Да чего с этой кишкой делать-то? Чай, изба-то вся сгорела...

— Курам на смех! Это из соски-то!.. Любит народ почудить...

На месте нашей избы громоздилась куча горящих бревен, раскаленной золы. Огонь полыхал и хищно грыз дерево, покрытое ослепительными волдырями, и, как густые рои сияющих птиц, летал по всему пожарищу. Было жарко, сухо, смердело дымом. Гора тоже как будто горела, низина до самой реки клубилась дымом, ярко зеленела травой и как будто корчилась в судорогах от полыхающего пламени, а над рекой крутые обрывы краснели в осыпях, как осыпающиеся угли.

Несколько парней и бородатых мужиков живо хлопотали около красного насоса. Трое возились с кишкой и орали:

— Давай, робяты! Качай! Наяривай!

Мужики на насосе словно ждали этих криков: они размашисто и напористо стали раскачивать коромысло. Струя пепельной воды дугой с треском полетела в огонь и рассыпалась там брызгами. И мне показалось, что языки пламени стали взлетать еще ярче и выше.

Мать как будто проснулась. Широко открыла глаза, в ужасе вскочила на колени и протянула руки к пожарищу, потом опять упала, свернулась калачиком.

Мягкие, очень легкие руки обняли меня, и я услышал милый голос Елены Григорьевны:

— Счастье-то какое!.. Живы! Не погибли!

Я закричал, но голоса у меня не было:

— Нас хотели живыми сжечь — окна заслонили.

— Боже мой, какое дикое преступление!..

Утешая меня, Сема радостно говорил, что теперь мы опять вместе будем жить и вместе мастерить всякие чудеса, а Кузярь ободрял беззаботно:

— Ни черта, брат!.. Чего тебе еще надо? Жив, здоров — и наплевать...

Помню, что я с Семой и Кузярем шел вниз к реке, и у меня было такое ощущение, что будто не я шел, а кто-то посторонний. Помню, что на дорожке к колодцу встретила нас бабушка Анна и заплакала со стонами и причитаниями.

Избушка наша уже догорала. Пылали в разных концах жаркие костры, а над ними кружились искры и дым.

Суетились люди, бегали ребятишки, кучками стояли бабы и старики с падогами, и от них по багровой земле тянулись размытые тени. Крутые взгорья, глинистые обрывы и избы над обрывами багрово вспыхивали и погасали в последних отблесках догорающих головешек.

XL

Мы опять живем в дедушкиной избе. Мне здесь было все родное с младенчества, и даже тараканы после разлуки с ними казались старыми друзьями.

Сема, довольный нашим возвращением, напевал песенки без слов. Бабушка хлопотала около печи и, красная от жара, с ухватом в руках, улыбалась в дверях чулана и стонала, как больная:

— Вот и опять вы в своей семье. Оторвались, отделились, своим норовом отец-то с матерью захотели жить, а вот испытание господь и послал. Благодать да радость — в тесной семье.

Так она добросердечно ворчала каждый день, внушая мне и матери свою житейскую мудрость. Она умела плотно сложившиеся истины деревенского уклада украшать задушевными словами, словно песню пела или былину рассказывала. А мать, с ее поэтической душой, задумчиво улыбалась и как будто сама мечтательно пела свою тайную песенку.

Мы с матерью ютились в кладовой напротив избы, через дорогу. Вещички наши несколько дней смердели дымом и особым, противным запахом пожарища. Я написал отцу короткое письмо без всяких словесных украшений, какие обычно нанизывал в письмах солдаток и старух. Я сообщил ему, что нас подожгли, что изба с коровой и курами сгорела, что жить нам у дедушки в деревне трудно: ведь мы — отрезанный ломоть, да и лиходеев страшимся. Мы выехали бы из деревни сейчас же, ежели бы были деньги. Мы ждем от него денежного письма с нетерпением.

Дедушка уже не проявлял своей деспотической власти — не грозил ни кнутом, ни вожжами, не самодурствовал, не нагонял на всех страху, уж перед ним не ходили на цыпочках. Хоть бабушка Анна и величала патриархальную семью, но такой семьи в доме уже не было — она расползлась: мы до сих пор жили отдельно, Сыгней и раньше бегал из дому, а сейчас — в солдатах, Катя была замужем. Остались в избе только неженатый Тит и Сема. Властный дед вместе с бабушкой в опустевшей избе с пустыми углами стал сохнуть, как дуб на корню. Он часто уходил на гумно, заросшее травой, или вместе с такими же стариками грелся на солнышке где-нибудь у амбаров и толковал с ними неизвестно о чем —

вероятно, о старых блаженных временах и о теперешних черных днях, когда своевольные люди рушат вековой уклад.

Он как-то не замечал меня, а мать презирал и брезгал садиться с нею за стол.

И мне было приятно видеть, как мать, не обращая на него внимания, без всякого смущения и страха ставила свою «мирскую» чашку на дальний угол стола, резала свой хлеб, и мы ели свою кашу.

Дедушка оглядывал всех за столом, словно не узнавал никого, и дрябло, с суровым смирением говорил:

— Вот, Анна... по грехам нашим... до чего дожили... Вон... — И дед тыкал пальцем в нашу сторону. — Вон они... как сор на ветру... И образ свой потеряли, и обвалялись, как в мусоре, и одежа чужая, и слова чужие, как у отступников. Астраканцы!.. Чаевники!.. Дворяне!.. А нет чтобы в ноги поклониться да не раз и не два... Да чтобы покаяться, да чтобы епитимью отстоять... А как пришла нелегкая — так к отцу в голодный да холерный год. Господь-то вот и покарал — сгорели. А куда опять приползли? Ко мне же со своим басурманским смрадом...

— Да бу-дет тебе судить-то, отец! — скорбно ныла бабушка. — Чай, невестка-то да Федянька-то — своя кровь. Какое они тебе зло сделали? Какой разор да обиду принесли?

— Твое дело — молчать, потатчица!

Но бабушка кротко и жалостливо упрекала его:

— Совесть-то не молчит, отец, а ты злобишься да грешишь: сам же несогласье сеешь да гонишь беззащитных.

Однажды мать не вытерпела: встала из-за стола и с трепетом в глазах, с судорожной улыбкой оскорбленной гордости поклонилась деду и надломленным голосом сказала:

— Ежели я с парнишкой стеснила вас или семью обесславила, откажи нам, батюшка, в приюте: в нашем несчастье, в злом гонении мы пойдем с докукой к добрым людям. Я только жду со дня на день денег

от Фомича. Получу деньги — в тот же день уедем к нему.

Я тоже выскочил из-за стола и стал рядом с матерью, с ликующей гордостью за ее смелое, полное достоинства поведение. Хоть она и старалась соблюсти деревенскую и старообрядческую стать и говорила напевные и пристойные слова, но за этой кроткой напевностью я чувствовал, что мать сильна сознанием своей независимости. Должно быть, она в эту минуту испытывала наслаждение от своей смелости. Я видел, что дедушка опешил: он озирался, растерянно хватался за бороду. А бабушка заплакала и застонала:

— Да чего это ты, невестка?.. Рази отец-то без сердца, без чести? Негоже на него жаловаться: сколь ведь горя-то испытано, сколь разоренья!.. Совсем он надломился от бед да напастей на старости лет. Чего это ты непутевые речи баешь? Рази мы допустим, чтобы ты с внучком под чужой кров пошла?

Мать быстро подбежала к бабушке и бросилась ей на шею. У дедушки задрожала борода, и он сердито забормотал, вставая и толкая бабушку в плечо:

— Ну-ка, пусти-ка, Анна!.. Бабьи слезы!.. Бабьи охи!.. Эх вы, овцы безмозглые!.. Вставайте, бай, — молиться надо!..

Тит хозяйствовал по двору замкнуто и так же, как и раньше, искал что-то под ногами, озираясь, как вор. Когда дед по привычке бродил по двору и ворчал себе в бороду, Тит с почтительной настойчивостью уговаривал его:

— Я, тятенька, сам со всем делом справлюсь. Ты не заботься, не тужи. Я ведь все по твоей воле делаю.

Речи Тита и покорность его были приятны деду, и он действительно устранился от хлопот. А Сема посмеивался недружелюбно и жаловался мне:

— Такого хитрягу да обманщика, как Титка, искать не сыскать. Ох, и коварный! Тятеньку-то обдерет, как липку.

О себе он не говорил, но я чувствовал, что он ненавидел Тита. По влечению своему к мастерству и, может быть, из-за этой нестерпимой ненависти

к Титу он однажды отпросился у деда пойти с Архипом Уколовым и с Мосеем в Петровск плотничать у Митрия Стоднева, который строил крепкие большие амбары для хлеба и возводил новый дом с богатой резьбой, балкончиками, теремками и фигурными крылечками. Отпустил его дедушка только тогда, когда пришел к нему на своей скрипучей деревяшке Архип и обещал обучить Сему плотничному и столярному ремеслу и вручить ему весь заработок Семы. Дед был очень доволен этой сделкой и не видел уже в уходе Семы из деревни со старыми мастерами бродяжества. Безденежье и нужда заставили его нарушить стародавние заветы. Он не напутствовал Сему даже внушением не «смешиваться» и не «мирщиться». Рублишко для него оказался дороже поморских заповедей.

— Не бойся, Фома Селиверстыч, — предупредил его Архип. — Семашка не избалуется: парень он к ремеслу привязчивый. У него рука и умишко дошлые. Люблю я таких пареньков: с ними сердце песни поет. Такие, как Семашка, нигде не заплутаются.

Дедушка вздохнул и усмехнулся, хватаясь за бороду, словно стараясь удержать себя от грешных мыслей.

— Чего же сделаешь! Сейчас на копейке вся жизнь наша катится. Без копейки и молитвы не сотворишь: голым, босым останешься. Из земли нашей и могилу не выкроишь, не то ли что прокормиться на ней. Сейчас и человек-то деньгой ценится. Пускай уж Семка свой хлеб зарабатывает у чужих людей и семье помогает.

Уходил Сема из села с котомкой на спине радостно, словно сидел долго взаперти и вырвался на волю. Я провожал его до гумна и с завистью смотрел, как он по-взрослому шагал по дороге, догоняя Архипа, взмахивающего деревяшкой, и сутулого Мосея, который, вероятно, и в этот час не переставал изображать из себя юродивого.

От полосатого межевого столба отошел Тихон и пошагал вместе с ними. У него тоже торчал мешок за плечами. После острога ему здесь уже приходилось

жить с опаской: на него точили зубы и поп, и Гришка Шустов, и мироеды. Каждый день его могли отправить в стан и опять посадить в острог.

Когда я возвращался с гумна и вышел на улицу длинного порядка, мимо промчалась тройка с барского двора, а в плетеном тарантасе сидел старый барин Измайлов, подняв свою стриженую строгую бородку, и рядом с ним — Елена Григорьевна в желтой соломенной шляпке, в клетчатой шали, накинутой на плечи. Я, пораженный, остановился, и у меня замерло сердце, словно на меня внезапно обрушилась страшная беда. Елена Григорьевна что-то закричала, прощально махнула мне рукой, рванулась к кучеру, но барин усадил ее обратно. Тройка быстро промчалась, поднимая пыль на дороге, словно сердитый старик похитил учительницу, как злой Кащей. Не помня себя, я побежал вслед за тарантасом и задохнулся от плача. Тройка исчезла в пыли и утонула в моих слезах. Жизнь моя как будто оборвалась нестерпимо больно, и мне показалось, что потухло солнце, а я очутился один на дне жуткого буерака.

На улице было пусто, только около изб бродили куры и клушки с цыплятами. Пыль уплыла с дороги к амбарам и таяла там, оседая на траву. Безлюдная тишина была сонной и тоскливо-скучной. Ушел из деревни Сема, ушел и Тихон, ускакала на тройке Елена Григорьевна — умчалась навсегда, чтобы не видеть больше ни попа, ни сотского, ни старосты, которые не давали ей покоя. А я, двенадцатилетний парнишка, чувствую себя, как заяц, который сидит под кустом и которого преследуют собаки. Мерещился другой мир — море, ватаги, Волга... Уехать бы сейчас без оглядки на Кубань, к отцу, и никогда сюда не возвращаться...

Я прошел к Иванке Кузярю, но во дворе и в избе у него было пусто: должно быть, он с матерью уехал в поле. Домой идти было противно: в избе полно мух, в кладовой — тесно от всякого хлама, да и матери там не было — она ушла еще утром на полотье. В пожарной Миколька храпел на голых досках, а когда я разбудил его куриным перышком, которое я поднял

по дороге на луке, он одурело уставился на меня и заругался:

— И поспать-то не дадут!.. Чего ты шляешься — людей беспокоишь?

— Да тебе, Миколя, спать-то нельзя: вдруг ежели пожар...

— Хватит одного пожара — вы сгорели, а теперь опять на сто лет отдых.

— Продрыхал и отца и учительницу, — зло поддразнил я его. — И не простился. А она все глаза проглядела...

— Они и без меня дорогу знают — и родитель и она.

— Я тоже с ней не простился, — горестно признался я и насилу сдержался, чтобы не заплакать. — Ее Измайлов увез — проскакал мимо и не остановился.

— Ну, вот мы и квиты. Садись, в шашки сыграем.

Но я махнул на него рукой и выбежал на луку. Школа стояла, как слепая: окна были заперты железными ставнями — теми же, что были на окнах моленной. И я думал, как учительница с барином Измайловым скачет на тройке по столбовой дороге в Петровск и радуется своей свободе...

На спуске в низинку я остановился на том месте, где мы сидели с бабушкой: я вспомнил о Ромаше, которого палач барин зарыл здесь по горло, замученного до полусмерти. Мне даже почудилось, что вижу ямку, и ямка эта, подумалось мне, никогда не заровняется. Может быть, каждую ночь приходит сюда Паруша, а к ней является Ромаша, такой же молодой и пригожий, как раньше.

Я спустился к речке, чтобы через мостик в две слеги перейти на ту сторону и побарахтаться в снежно-белом песке. Эти ослепительные сугробики, разрисованные кружевной рябью, всегда манили меня своей плисовой россыпью, и я часто зарывался в мягкую, щекочущую пелену. Под черноземным обрывчиком я увидел Шустенка, который на корточках возился у родника. Он испуганно вскочил на ноги и трусливо бросился к мостику. Бледный, с плаксивой судорогой в лице, он вцепился грязными руками в по-

ручень и застыл от страха. Должно быть, он ожидал, что я кинусь на него с кулаками и буду бить его мстительно и жестоко. Он скорчился и, втягивая маленькую, безлобую голову в плечи, щурился, готовый к расправе. Но я стоял на краю обрывчика и смотрел на него с брезгливым презрением.

Его трусливо-виноватый вид и ужас в воробьином личишке вызвали у меня желание сбросить его в речку. Но я стоял неподвижно и чувствовал, что раздавил этого гаденыша. Должно быть, я казался ему страшным и грозным силачом, который пришел наказать его.

— Не замай меня...— просипел он жалобно.— Я к батюшке иду...

— Наушничать к батюшке?— насмешливо обличил я его.— Ты ведь холуек его. Иди, не трону! Не хочется руки марать. Ведь ты только в подлостях и слозишь, а отец добру не учит. А тут и батюшка из тебя песика делает. Помнишь, как учительница пожалела тебя: «Несчастный ребенок!» Это когда ты книжку у нее стащил и мне подбросил.

Он украдкой взметнул на меня мышиные глазишки и засопел, как воришка, которого схватили за шиворот. Он не верил, что я пропущу его без того, чтобы не поколотить. Назад, на ту сторону, он тоже не в силах был тронуться: его пригвоздило к месту одно мое появление. Чтобы обезоружить меня, он льстиво просипел, жалко улыбаясь:

— Я ведь тогда же покаялся, Федя. А когда ты меня на телеге бил, я у учительницы прощенья просил. Ты ведь у нас лучше всех в селе-то — кого хошь спроси. Меня только тятяша лупцует — учит, как служить ему по-собачьи. И при батюшке меня пристроил, а батюшка тоже делает со мной, что хочет. Мне с тобой да с Ваняткой водиться хочется.

В его жалобах и покаянии мне почудилось искренность забитого парнишки, который тоскует по хорошей дружбе. Но злой и настороженный взгляд его потушил это ощущение.

— Я скоро уезжаю, а дружить с тобой и Иванка не будет. Иди, чего торчишь! Таскай попу поноску!

Я отвернулся от него и пошел обратно, по дорожке на взгорье. Шустенок бегом припустился по бурьяну и уже издали прохрипел:

— Обманули дурака на четыре кулака... А на пятый на кулак кувырнешься в буерак... Помни, кулугур!.. А Кузяренку — тоже не житье: вместе с крамольниками прошьют его и пристукнут.

И, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, он побежал к поповскому дому.

Его угрозы не встревожили меня: ведь он всегда издали трусливо стращал нас с Кузярем всякими карами. Презирая его, я совсем не думал, что он не просто болтал чепуху, а выбалтывал злодейские замыслы попа и своего тятяши. Эти замыслы против поморцев и «крамольников» они обдумывали вместе с Максимом-кривым и другими мироедами, должно быть, исподволь, потому что злое свое дело провели они внезапно и умело, и это едва не стоило мне жизни.

Не зная, что делать с собою, я прошел в присадебные заросли черемухи, чтобы оттуда, через гумна, пойти в Ключи, на почту: ведь отец уже должен был прислать нам деньги на выезд. В гуще этих зарослей я встретил Кузяря. Он тоже был не в себе: разлука с учительницей потрясла его до слез. Он лежал на траве, заложив руки за голову, и смотрел на зеленый шатер густо сплетенных ветвей.

— Вот и нет Елены Григорьевны... — сказал он почему-то со злой обидой. — За ней барин заехал, подхватил ее и поскакал. Даже на горку тройка стрелой взлетела. Не успел я до амбара добежать, а тройка уже по дороге пыль подняла. Так я и не попрощался.

— И я тоже... Тройка-то мимо меня пронеслась, а Елена Григорьевна только мне рукой махнула.

— То-то и есть, что махнула... Словно звезда скатилась и погасла.

— Ничего не погасла! — вскрикнул я. — Это метеоры гаснут, а не звезды. Она всегда в нас гореть будет.

— А толк-то какой? После нее и думать ни о чем не хочется...

Он сел и, обняв руками колени, страдальчески уставился вдаль.

— Зависть меня гложет, на тебя глядя, — угрюмо пробурчал он. — И хочется мне подраться с тобой... Ты — вольный казак: в путь-дорогу сбираешься. А у меня одна песня: двор, одер, соха-борона да подати. Куда пойдешь, с кого горе сорвешь?.. Все как будто сгорело вместе с твоей избой. Ушел и Тихон, а Костя чуть дышит. Один Яков попусту бушует. Гляди, и его поп засупонит. Разве вот только Паруша всех, как клушка, собирает: поп-то всех разогнал и моленную закрыл, а она у себя собранье-то тайком приютила. Старуха — старуха, а никого не боится.

— Она с молодости, с девок такая, — пояснил я, вспомнив рассказ бабушки Анны. — Она еще при крепости зверя барина в дураках оставила: жениха своего от смерти спасла и на волю его выпустила.

— Я давно об этом знаю, — усмехнулся Иванка, довольный тем, что он раньше меня узнал ее тайну. — И я у нее — как за пазухой. Она никого и ничего не боится. А все-таки, брат, скучно без тебя будет... Бунтовать мне охота...

— Чай, не навсегда это... — ободрил я его. — Подрасти немножко и валяй на сторону. К нам, на Кавказ, приезжай! Мы письма друг другу будем писать.

Он так был взбудоражен моими словами, что вскочил на ноги и заплясал от радости.

— Э-эх ты-ы!.. Вот гоже-то!.. А у меня и думки об этом не было. Ну, теперь я покоя не буду знать... Так все было не мило, ни к чему душа не лежала, и мерещились какие-то оборотни. А сейчас я, как Руслан, выпил живой и мертвой воды. Бежим на гумно — чехардой, без передышки: выдержим — сбудется, а не выдержим... тоже сбудется, — все равно своего добьюсь.

Так мы, перескакивая один через другого, добежали до самого гумна. Мы задыхались от утомления, но были очень довольны, что ни он, ни я не сели на спину друг другу, а прыгали, как зайцы, легко и быстролетно. На гумне мы бросились на мягкий

золотисто-зеленый ковер озими — на проросшие остатки старого обмолота.

— Сбудется!.. — выдохнул Иванка с убежденной уверенностью, а я охотно подтвердил:

— Исполнится!

Но он, чтобы поддразнить меня, лукаво прищурился.

— А вдруг не сбудется?..

Я запальчиво отразил его сомнение:

— Все равно на этих днях мы уедем — только нас и видели. А сейчас давай в Ключи пойдем: может, уж на почте деньги лежат.

— Да, брат... веришь ты здорово! Ни черта! И я буду верить. А сейчас мне песни петь хочется али стихи читать...

И, задрав голову, он крикнул во весь голос:

Тучки небесные, вечные странники!..

У меня вдруг замерло сердце, и я, задыхаясь от восторга, перебил его:

— Ну-ка, Ванек!.. Давай с тобой сами стихи сочиним...

Он осовело уставился на меня, как на безумного. А я вынул из кармана измятый листик бумаги и карандашик и лег на живот.

— И то... — неуверенно согласился он. — Чем черт не шутит... О чем бы это?..

— А о том, что видим... о чем думаем... Видишь, как солнышко светит и как кругом хорошо...

И будто не я, а кто-то другой за меня проговорил:

Воздух горит, как огонь,
Облачка — как ковры-самолеты...

Я остановился и онемел, словно горло сжала судорога. А Иванка вдруг загорелся, высоко вскинув руки:

— А дальше — я...

На усадьбе растет посконь...

Я возмутился этими грубыми словами: они испортили бы любую песню. Не всякие слова можно петь, сами слова должны петь, как песня.

— На кой черт тебе, Ванек, эта посконь? Надо, чтобы сердце закатывалось... Надо бы так...

И опять у меня перед глазами зареяли красивые видения.

По чистому полю летит борзый конь...

Кузярь впился в меня дьявольскими глазами.

— Это у нас-то с тобой борзый конь? Ну и сморозил!.. В любом дворе только одни одры, да и стоят-то раскорякой.

— А на барском дворе? Там — рысаки в яблоках.

— Да я терпеть не могу бар-то! У нас с тобой ведь о себе стихи-то. Ну, да пускай... пускай для красоты летит барский конь. А дальше что будет? Хо, я придумал... Вот!

А на нем бултыхаются барчаты-шарлоты...

И он залился ликующим хохотом.

— Вот как я их, благородных-то, напоказ выставил!

Я спрятал бумажку с карандашиком в карман и вскочил на ноги.

— Пошли, Ваня! Ничего у нас не вышло. Я — про Фому, а ты — про Ерему...

Но он с восторженной злостью заспорил со мною:

— Да на кой черт мне твои ковры-самолеты да огонь? Тебе еще мерещится твой пожар да хочется скорее удрать из села. А меня тянет сорвать горе на барах да на мироедах, на попе да сотском... Мстить им больно охота, не мытьем, так катаньем. Аль негоже, как я их дураками показал? «А на нем — на коне-то — бултыхаются барчаты-шарлоты...» Прямо не в бровь, а в глаз. Я теперь обязательно про всех супостатов сочинять буду — обохалю да обсмею их при всем честном народе.

Он похохатывал и шлепал сухими ладошками.

До Ключей считалось две версты, а от наших гумен длинное село на большой дороге казалось совсем рядом. Оба его конца полого спускались к речке, и центральная часть исчезала за ближним увалом. Все избы прятались за гумнами, в приусадебных садах. Только на левом конце высоко взлетала каменная белая колокольня, а рядом с нею громоздилась барская

хоромина, надворные постройки и желтые ометы соломы. Мы дошли до межевого полосатого столба и свернули направо. Отсюда широким размахом расстилался волнистый барский выгон — ярко-зеленый, усыпанный полевым разноцветьем. Низкими струнами гудели шмели, а жаворонки звенели всюду.

Когда мы спускались в лощину, заросшую терном и охапками ежевики, навстречу нам по узенькой тропинке шла с палкой в руке величавая Паруша.

— Ну, колосочки золотые, куда это вы бежите?

Она обняла меня своей мягкой, тяжелой рукой и прижала к себе.

— Чую, лен-зелен: на поштву бежишь... Когда вы горели, я ночку-то в жигулевке под замком маялась. До бела дня у продуха билась, как зверь в капкане. Тут словно нарочно одно к одному пришлось...

Мы стояли в низинке, в зарослях кудрявых кустарников, окропленных белыми цветочками, у прозрачного родничка, на дне которого шевелился и вскипал жемчужный песок, а маленький ручеек сверкал на солнце пронзительными вспышками.

— Нас подожгли, — крикнул я горестно и зло, — а тебя заушили, и никто тебя не отбил! Поп-то не знай откуда, а все перед ним ползают. До него-то никто тебя обижать не мог. А разве он не знал, что Максим-то нас поджег? Они — заодно.

Паруша ласково оттолкнула меня от себя и затряслась от смеха.

— А он сам пришел ко мне да из жигулевки выпустил. Христосиком притворился: «Прости, бает, меня, Христа ради! Не я тебя, бает, в узилище бросил, а святая православная церковь за твою еретическую строптивость, чтобы ты одумалась. Несть, бает, такого дара и благостыни, какими обсыплет тебя церковь, ежели войдешь в ее лоно». А я ему смеюсь в бороду и бью словами: «У тебя, мол, церковное лоно-то в утробе. Начальство-то знает, мол, что самые лютые гонители — отступники. Дай, мол, срок, народ-то с тебя сторицей взыщет». И пошла мимо него домой. А меня мои милые невестушки под руки подхватили. Плачут-рыдают, а я смеюсь: «Радоваться мол, дочки, надо.

Дьявол-то от меня отринул и сам себя очернил своими июдиными соблазнами». А нынче приспичило мне к барыне Ермолаевой пойти. Рассказала ей, чего у нас поп-то делает. А она такая же, сырая, как я: ахает, плещет руками и барина зовет: «Михайло Сергеич, послушай, какие безобразия чернавский поп творит!» Ну, и сам барин, тощой такой, добросердый, прослушал меня. «Я, баст, через архиерея в Саратове укрощу его». А нам, золотые колосочки, на себя надеяться надо, самим не плошать, а на архиерея уповать нечего: архиерей-то сам этого супостата на нас натравил. Ну, а сейчас домой воротимся, на поштве-то делать вам нечего. Я сама туда наведалась и вот тебе с матерью повестку несу — денежное письмецо от отца пришло. Нынче же сходите за деньжонками и уезжайте с богом.

Она развернула платок и подала мне печатную бумажку, а я, не помня себя, схватил эту бумажку и что есть силы бросился к нашему селу. Что-то кричал мне, похохатывая, Иванка, басовито ворчала Паруша, но я не обернулся и не слушал их. Я сжимал в руке волшебную повестку — желанный талисман, который открывал нам с матерью свободный путь в полуденный край.

XLI

Пока мы искали подводу, которой, как на грех, не было, — Терентий уехал куда-то с кладью, а у Якова лошадь хромала, дедушка же своего дряхлого гнедка и со двора не выпускал, — в первое же воскресенье разразилась страшная беда.

Мы сидели в холодке, на завалинке избы, у глухой стены, обращенной к луке. Бабушка с дедом, одетые по-праздничному, калякали с Парушей, что жить стало совсем невмоготу: барин землю распродает по частям разным мироедам, а в аренду уж и клочка нельзя достать. Новые же помещики землю сами обрабатывают машинами, а работников пригоняют со стороны за кусок хлеба. Поп сеет раздор, междоусобие клеветой и наговорами, и не только поморцы, но и

многие мирские у него в гонении. А такие злыдни, как Максим да Гришка Шустов, его приспешники, редкую неделю не обижают людей. Мужики заколачивают избы и разбегаются. Семьи разваливаются, дворы пустуют. И земля совсем перестала родить. Только жиреют помещики да кулаки. Раньше бабы холсты ткали, а сейчас коноплю да лен на усадебных полосках сеют, да и то кое-как, но и эти полоски год от году под картошку да под горох отходят. Вот и в извоз уже не приходится ездить: у купцов да кулаков свои лошади. На старости лет привел бог с голоду помирать. Жалобы дедушки и бабушки не нравились Паруше, и она сурово гудела:

— Не греши, Фома! С себя больше взыскивай. При малом наделе о землице надо было радеть: и навозцем ее питать, и отдых ей давать, и пахать поглубже. А у нас мужики последние соки из нее тянули. Мир-то миром, а друг другу — недруги. Заботился бы каждый о своем наделе — и всем бы лишний кусок хлеба доставался. А земля-матушка за зло дурных работников карает. Мы вон не ленились — только о ней и думали. Вы с шабрами на смех нас поднимали, а мы больше вас даров-то от земли получали. При переделах наша полоса через год у нерадивых только половину давала, да и то с бурьяном.

Эти разговоры мне давно надоели: они и к делу и не к делу возобновлялись каждый день, как только соседи приходили в избу или собирались в праздники у амбаров. Мужики вздыхали, жаловались, чесали затылки и бока и расходились по домам тяжело, вперевалку, как недужные.

Но Паруша никогда не жаловалась, а сердито изобличала мужиков, как и сейчас деда, в нерадении, в безрассудном истощении земли, в недоброжелательности друг к другу, в нищенской жадности. Земля требует, чтобы ее любили и заботились о ней постоянно и не поодиночке, а все сообща, потому что земля — общественная: без согласия и без взаимности, без дружного сотрудничества каждый год будет и голод и мор, да и мироеды с начальством поедом съедят. Вот приехал поп из отступников и начал всех по од-

ному сталкивать лбами, вражду сеять, разогнал стародавнюю общину поморцев. Вспомянешь добрым словом праведника Микитушку. Знал он, в чем сила и благость наша: призывал к братской жизни, а его сами же мы в руки ворогов отдали. А когда она, Паруша, без боязни выступила против попа, ее заушили в жигулевку. Кто за нее заступился? Все трусливо разбрелись по домам. Только парнишки надумали вытащить ее из узилища. Хоть она и потешалась над ними, но ей дорого было их бескорыстное хотение вырвать ее из лап долгогривого супостата. Ежели бы все так ополчились на него, как эти парнишки, злой волк не хозяйничал бы в нашем стаде.

Дед угрюмо ворчал:

— За это баловство кнутом надо было настегать. Узнал бы поп — беды не обобрались бы.

Паруша гневно гудела:

— Эх, Фома, Фома! Вот и собираем мы, что посеяли. А парнишки-то эти вырастут — не по-твоему будут жить да думать. Не баловство это, а праведный подвиг.

Мать стояла рядом с бабушкой и раздумчиво молчала. А когда Паруша говорила о нашей попытке освободить ее из жигулевки, она с тревожной догадкой в широко раскрытых глазах пристально смотрела на меня и удивленно качала головой.

Широкая и ровная лука перед церковью бархатно зеленела на солнце и мерцала золотыми переливами. Всюду рассыпаны были желтые одуванчики и узорчатой пеной кипели белые цветочки клевера. Несколько костлявых спутанных лошадей щипали траву, не поднимая голов, и лениво бродили сизые галки. Стрелами носились низко над травой белогрудые ласточки. Хотелось бегать по этой мягкой раздольной луке и радостно кричать навстречу солнышку и голубому небу.

В церковной ограде, перед папертью, толпился народ, и на высоком крыльце крестились и кланялись старики и старухи. Вдруг на колокольне весело затрезвонили колокола. Этот разливный трезвон как будто взволновал всю луку и взбудоражил деревню. Мне почудилось, что избы на высокой горе той стороны

вздрогнули, встряхнулись и вспыхнули окнами. Галки стаей поднялись с луки и с испуганным криком полетели на реку, к ветлам. Лошади подняли головы, огляделись и, успокоившись, опять стали щипать траву.

Из церкви густо повалил народ, но почему-то стал толпиться в ограде, расцветая пестрыми нарядами. Мужики без картузов и седоволосые старики гуртом пошли вдоль серой стены церкви и сбились в густую кучу неподалеку от алтарной пристройки. Все начали о чем-то оживленно спорить, размахивать руками, многие глядели в нашу сторону и качали головами. Старухи и молодые бабы строптиво нападали на мужиков.

— Чего-то там стряслось у них... — забеспокоилась Паруша. — Неспроста скандалят. Должно, чего-то поп набедокурил.

Бабушка смотрела на церковь с безразличием недужной и мирно стонала. А мать даже встала от беспокойного любопытства.

— Я так уж привыкла ко всякой невзгоде, тетушка Паруша, — сказала она с дрожью в голосе, — что после пожара каждый день жду какой-нибудь беды.

На паперть вышел поп вместе с сотским и с каким-то усатым человеком в белой куртке и со шнуром на груди. Они по-хозяйски властно прошли к толпе у стены церкви и утонули в ней, а толпа сдвинулась тоже и стала прислушиваться. Должно быть, поп чем-то ошеломил людей и вызвал смятение: толпа заворошилась, и, как на сходе, все заспорили, загорячились, замахали руками, словно норовили схватить друг друга за грудки. А колокола трезвонили весело, заливисто, как будто разудало отбивали плясовую.

Поп в шляпе важно вышел из толпы вместе с человеком в белой курточке и сотским, а за ними хлынула вся толпа. Из открытых ворот ограды поп с длинной тростью в руке, величаво пошагал в нашу сторону, а рядом с ним, как телохранители, по-солдатски браво, с угрожающей уверенностью шел и длинноногий сотский Гришка Шустов, кривоногий староста

и усатый человек в белом картузе с блестящей бляхой на околыше. Это был урядник из волости, которого я видел на другой день после пожара: он допрашивал мать и кое-кого из мужиков и парней и добивался, кто совершил поджог. За ними тянулась длинная толпа мужиков и баб, и, спотыкаясь, отставая, торопились, опираясь на костыли, старики и старухи. Но позади люди отставали и расходились в разные стороны.

Я чувствовал, что на нас, как грозная туча, надвигается какая-то тяжелая беда, и у меня похолодело внутри и больно забилось сердце. Мать, бледная, помертвевшая, стояла неподвижно и смотрела на толпу во главе с попом и урядником застывшими глазами. Дедушка с бабушкой сидели, одряхлевшие, с тупой покорностью ждали обвала на них этой страшной толпы. А Паруша медленно поднялась с завалины, опираясь на палку, и даже шагнула навстречу этому грозному шествию. Лицо ее окаменело в суровой готовности встретить попа с полицией и людей, с которыми она вместе прожила всю свою жизнь в мире и согласии.

С кроткой улыбочкой доброго пастыря поп снял шляпу и поклонился.

— Мир вам в беседе, Фома Селиверстыч! Я и православные прихожане пришли к тебе с гневом и строгим взыском за тяжелое оскорбление нашей святыни — храма божия. Вы, раскольники, в своей слепой вражде к православию готовы на всякие мерзости, чтобы осквернить наш дом молитвы. И внук твой, грамотей, по наущению употребил во зло свою грамоту и написал на храме похабные святотатственные слова.

Паруша ударила палкой о землю и неслыханно строптивым голосом крикнула:

— Врешь, поп! Поклеп наводишь на парнишку: у него и рука не поднимется на дурное дело. Ни одна совестливая душа в селе не упрекнет его в злом озорстве.

Старухи и молодые бабы, которым я писал письма сыновьям и мужьям, наперебой закликали — одни робко, другие пылко:

— Не он это... Да рази такой паренек на это пойдет?.. Зря ты, батюшка, на него наговариваешь... Мы про него ничего плохого не слыхали и не знаем...

Добрые морщинки на лице попа от глаз к вискам шевелились от кроткой улыбки.

— Мне самому горестно обижать ребенка, и я не решился бы тронуть и волосок на его головке. Но не по своей воле пришел сюда: свидетели указали на него — сами видели, как он пучками травы выводил эти святотатственные слова.

Я, надрываясь от отчаяния, крикнул визгливо:

— Это не я!.. Я и к церкви-то боюсь подходить... Наврали на меня... Я знаю, кто наврал, — Шустенок наврал...

Мать бросилась к попу и, задыхаясь от ужаса, странно тихим, но неотразимо гневным голосом сказала:

— И как тебе не стыдно и не совестно, батюшка, моего парнишку губить? Что он тебе плохого сделал?

И вся напряглась в отчаянном порыве к толпе.

— Люди добрые, соседушки, не дайте в обиду нас, беззащитных! Спасите Федю-то моего от злых наветов!

И опять и бабы, и старухи, и кое-кто из мужиков закричали:

— И в жизнь не поверим, что это он... От него и черного слова не слыхать, не то ли что озорство какое... Лучше его никто письма от сердца не напишет...

Но в ответ им в разных местах раздраженно орали:

— Такие-то письмописцы и горазды на всякие пакости. Кулугуры на все готовы... Гонят их, а они по злобе и церковь подожгут...

Я услышал скрипучий визг Максима Сусина:

— Этот грамотей чужих жен с любовниками сводит. Тоже письма им пишет да почтальоном бегает...

Бабушка тряслась от рыданий и не могла выговорить слова, а дед стоял, и лицо его искажалось от плачущей улыбки.

Паруша наступала на попа:

— Ну, так кто же у тебя, отец Иван, свидетели-то? Укажи их, где они?

Урядник дернул себя за усы и строго оборвал ее:

— Это не твое дело, бабка. Мы это все расследуем.

Паруша, не обращая внимания, гневным басом обличала попа:

— Не греши, дурной пастырь! Ты злодейское дело задумал — натравить на нас народ... погром устроить... Ты и меня уж один раз под замком держал. А сколь раз ты наветы на людей возводил? Все это знают. А сейчас парнишку в жертву приносишь. Не потерпит этого господь! Правду лжой не убьешь. Казниться будешь.

Урядник поправил картуз на голове, натянул красный шнур и скомандовал:

— Ну, хватит болты болтать! Мальчишку я арестую и произведу дознание! Водвори порядок, сотский!

Он шагнул ко мне и схватил меня за руку, и рука показалась мне такой убийственной, что я рванулся от него и пронзительно закричал. Мать тоже закричала надрывно, защищая меня от урядника. Но ее отбросил от меня Гришка Шустов так сильно, что она упала на землю.

Паруша подняла палку и властно накинулась на него.

— Ты что это, дурак, делаешь? Как ты посмел, пес, руку поднять на бабенку?

Гришка трусливо, но нахально осадил ее:

— Ты, тетка Паруша, не мешайся! Это дело сурьезное.

— То-то сурьезное... Я тебя, кобеля, давно знаю: ты и Наталью добил, и Петрушу Стоднева доконал, и совесть за копейку продаешь... Этому отступнику-супостату ты как раз под стать...

Поп с прежним горестным смирением обратился к толпе:

— Вот вы сами видите, православные, какая злоба у этих людей. Старушке надо бы о грехах думать, а она, как волчица, бросается. Не на добро они и детей наставляют. Ванятка! — позвал он Шустенка. — Иди-ка сюда!

Но Шустенок не вышел — прятался в толпе.

— Тебе говорю, Ванятка! — властно приказал поп. — Выйди сюда! Где он там, православные?

Кто-то из баб крикнул брезгливо:

— Вот он, выродок!

Гришка-сотский по-солдатски крикнул:

— Марш ко мне, Ванька!

Шустенка вывели из толпы, и он, пугливо озираясь, как звереныш, хлюпал носом.

— Вот и скажи, Ванятка, что ты видел...

Шустенок уткнулся в землю и простудно просипел:

— Федьку видел. Стоит перед стеной и пачкает травой настилку жестяную... Потом из ограды побежал. Я подошел, а там брань еще сырая...

Я с бурным отчаянием крикнул ему:

— Врешь ты, подлюка! Это ты сам намазал, а на меня свалил. Кто украл книжку у учительницы, а мне подбросил и тоже меня вором назвал? Кого тогда на чистую воду вывели? Вот и сейчас тоже...

Поп с горестным смирением качал головой и вздыхал:

— Вот, православные... Слыхали? Свидетель налицо. А преступник всегда отрицает вину. Раскольники — народ коварный, подпольный. Я сам был в этой их адовой обители. Знаю их. Ну, да теперь власть разберет.

Урядник вцепился в мою руку и потащил меня через дорогу, к амбарам. Я догадался, что он повел меня на съезжую, в избу старосты.

Колокола разливались своим трезвоном, словно ликовали, что усатый урядник ведет меня на расправу, как преступника. Мать шла рядом со мною и, рыдая, старалась вырвать мою руку из цепкой лапы урядника.

Он сделал свирепое лицо и заругался:

— Сотский! Турни ее к черту!

Гриша подхватил мать под мышки и грубо отбросил ее в сторону.

За нами шли бабы и старухи, а я, отбиваясь от урядника, плакал и кричал, не помня себя, но чув-

ствовал, что все эти женщины жалеют меня и не верят поповской клевете. Одни плакали, другие озлобленно ругали и попа, и урядника, и сотского. На мгновение я увидел поодаль бабушку с дедушкой и Парушей, а мать подхватили под руки молодухи и утешали ее.

Колокола вдруг замолчали, а урядник остановился и гаркнул во все горло:

— Это куда вы, чертово бабье, плететесь? Марш обратно, пока я вас не отстегал нагайкой! Сотский, гони!

Гришка раскинул руки, преграждая дорогу толпе, и угрожающе заорал, как на стадо:

— Долой, народ! Прочь по домам! Вам тут делать нечего, елеха-воха! Обедня кончилась — идите мужьям обедать собирать!

Но мать пробежала мимо него и опять обхватила меня и, рыдая, стала бить по руке урядника. Он свирепо оскалил зубы и ударил ее сапогом. Она раздирающе закричала и грохнулась на траву.

Парнишки и девчонки испуганно выглядывали изза амбаров и сразу разбегались, как зайцы.

Люди группами расходились по луке в разные стороны, оглядываясь, и горячо спорили о чем-то.

Но по улице с обеих сторон торопливо шагали и бежали мужики и парни. Они с удивлением смотрели на нас и тревожно переговаривались.Тут были и мирские и поморцы вместе, и видно было, что они ничего не понимали и растерянно провожали меня пристальными взглядами.

Когда урядник тащил меня через улицу длинного порядка, я увидел Кузяря, который бежал ко мне с пепельным лицом, с осовелыми от потрясения глазами.

— Дядя урядник!.. — закричал он со слезами в голосе.— Ой, не волоки Федяшку-то! Это не он на церкви-то намазал, Ванька Шустов... Голову даю на отсечение... Поп его подговорил да Максим Сусин... В свидетели пойду...

Он подбежал к уряднику и завертелся перед ним со злостью отчаяния. Урядник погрозил ему нагайкой

н цыкнул на него, как на собачонку. Но Кузярь не испугался и, задыхаясь от яростных слез, кидался на урядника, как петушишка.

— Не виноват он... Отпусти его!.. Чего ты его тащишь? Не знаешь, а тащишь... Ты Шустенка тащи, таракан усатый!..

Урядник рванулся к нему и взмахнул нагайкой. Он так больно дернул меня за руку, что я шлепнулся на пыльную дорогу. Урядник швырнул меня к себе, но я не мог встать на ноги и бился в пыли.

Я не помню, как урядник втащил меня в просторную избу, не помню, что он делал со мною, — очнулся на полу от обжигающей боли на спине и увидел над собою красноусого урядника с нагайкой в руке, который хищно впивался в меня дикими глазами.

— Ну, очухался, сволочонок? А теперь вставай! Кому говорят! Аль еще захотел горячих?..

Он схватил меня за волосы и поднял на ноги. Как в кошмаре, я видел перед собою огромное страшилище, которое заполняло всю горницу. Я не плакал, а только задыхался и хрипел в полусознании. Ощущал я только одно — невыносимую боль на спине, словно меня разрезали пополам.

— Говори, кто тебя подучил написать на церкви похабные слова? — рычал урядник, взмахивая нагайкой.

Но у меня отнялся язык, и я чувствовал, что весь дрожу и никак не могу сладить с головой, которая тряслась неудержимо и мучительно.

Урядник сел на лавку у края стола, положил нагайку около листа чистой бумаги и пузырька с чернилами и стал писать что-то с малограмотной неустойчивостью в руке.

— Ну, так вот... Ладно!.. Больше стегать не буду, не бойся. Говори, кто подучил тебя на церкви писать?

И словно не я, а кто другой за меня пролепетал:

— Не писал я... Никто меня не подучал... Не я это... Я ничего не знаю...

— Ага, не знаешь... Не ты писал... А вот люди видели, как ты писал. Что же, по-твоему, батюшка-то врет?

А я бормотал, как в бреду, захлебываясь слезами:

— Не знаю я... Не я это... Я и к церкви-то не подхожу. И сроду... похабщиной не ругаюсь...

Урядник ехидно зашевелил усами и зловеще прищурился.

— Так, так... Значит, не ты эти пакости марал, хоть тебя и застали люди у подножия церкви. Выходит, что батюшка нарочно все подстроил? Говори, собачий сын, винись, а то сейчас опять пороть буду. Запорю, а язык тебе развяжу! Ну? Говори!

И опять словно не я, а кто-то другой во мне невнятно бредил:

— Может, и нарочно... Поп-то злой на поморцев... Он гонит их... и даже бабушку Парушу в жигулевку сажал... А нас и Максим Сусин сжег по злости... Они чего хошь наговорят...

— Ого, вот как ты заговорил! — обрадовался урядник и хищно нацелился на меня пьяными глазами. — Ты, оказывается, не такой вахлак и олух, как другие деревенские дураки. На ватагах был, по стороне шлялся с матерью, знаю. Другой бы на твоем месте не додумался до таких разговоров. Кто же, кроме тебя, смог на такое святотатство пойти? Ну, после этого тебе только один шаг сделать — рассказать, какой негодяй из староверов толкнул тебя на такое злодейство.

Меня вдруг охватило такое безнадежное отчаяние, что я закорчился от рыданий и взвизгнул:

— Не я это... Не писал я... Нечего мне говорить...

За окном, должно быть, собралась толпа мужиков и баб: там шумели голоса, возмущенно вскрикивали женщины. Среди общего гула я слышал гневный голос Якова, рыдающие вскрики женщин. Но ни раздора, ни драки не было. Кто-то подошел близко к окну, ударил кулаком в раму и требовательно крикнул:

— Эй ты, урядник! Парнишку-то не терзай!.. Такого закона нет, чтобы детей калечить...

Урядник бросился к окну и погрозил кулаком, потом широкими шагами подошел к двери, распахнул ее и рявкнул:

— Сотский! Гони от избы всех дураков! Дежурить надо, а не сидеть под навесом.

В этот момент на пороге с робкой стариковской улыбкой появился дедушка.

— Чего тебе тут надо, борода? — зарычал на него урядник. — Вон! Душу выну!

Дедушка плаксиво улыбался и мял дрожащими руками картуз.

— Господин урядник... парнишка-то — внучек мой... Отпусти его, Христа ради... Напраслина на него...

Урядник всхрапнул и ударил деда кулаком по седой голове. Дед исчез за косяком двери, а урядник еще раз ударил его сапогом и захлопнул дверь. Толстый его нос раздувался от бешенства, а угрюмо-пьяные глаза выпирали из век. Рыжий солдатский ершик шевелился, как шерсть злой собаки на загривке, и я, замирая, ждал, что это чудовище сейчас обрушит на меня крепко сжатый кулак. Широкими шагами он подошел к столу и оглушительно брякнул этим своим убийственным кулаком по столешнице. Пузырек с чернилами подпрыгнул, перевернулся, и чернила жирными кляксами обрызгали бумагу.

— Ну? Долго ты меня, гаденок, за нос водить будешь? Я возиться с тобой не хочу. Признавайся!

— Я ничего не знаю... — заплакал я, оглушенный его криком. — За что дедушку побил?..

Что произошло дальше — я ничего не помню. Осталось в памяти только ошеломительное ощущение обвала, и этот обвал расколол мне голову.

Очнулся я на полу, словно проснулся от страшного кошмара. Во рту была какая-то соленая слизь. Я понял, что урядник оглушил меня кулаком и разбил мне нос и губы. Я лежал так же в полузабытьи, без движения, как когда-то в избе, после того как меня раздавила телега.

Откуда-то издалека доносились бунтующие крики толпы, рыдающие взвизги женщин и чье-то бешеное

гавканье. Я с мучительным усилием поднял голову и со стоном опять уронил ее на пол. Урядника в избе не было, и я догадался, что это он лаял на улице, — должно быть, разгонял толпу вместе с сотским.

Я поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел к двери. Бессознательно распахнул ее и перешагнул высокий порог двери. В сенях тоже никого не было. Дверь во двор была открыта настежь. Навстречу мне влетел на крыльцо Кузярь и с буйным нетерпением в лице, настороженно оглядываясь, подхватил меня под руку и стащил вниз по ступенькам.

— Скорей!.. Скорей бежим!.. Через задний двор бежим... На гумно!.. Тебя сейчас этот черт не хватится: его народ взял в работу... Весь наш порядок собрался — за грудки его хватают, из-за тебя все... Здорово ты орал, когда он колошматил тебя... Ну, народ и взбунтовался: не моги парнишку бить! От твоего, говорят, кулака и лошадь упадет... Грозят ему, что барин Ермолаев сейчас приедет. К нему тетка Настя побежала.

Он торопливо выволок меня на усадьбу старосты и потащил в густые заросли черемухи. Эти заросли непрерывно тянулись по усадьбам вдоль задних дворов. Мы ныряли в эти заросли, прятались в них, отдыхая, потому что я не мог бежать быстро, — должно быть, сильно избитый урядником, а может быть, и раздавленный его сапогами. Меня тошнило, и кружилась голова.

Когда мы останавливались отдохнуть в кустах, Иванка глядел на меня с болью с лице.

— Ну и помолотил он тебя, сволочь окаянная! Весь в кровище... Зубы-то не выбил?.. О, вот так коленкор! Рубашка-то у тебя на спине вся в крови. Это что такое? Значит, он и нагайкой тебя порол? Ну, теперь, брат, Шустенок и света не взвидит, а Гришке в селе — не житье. Как пить дать, ему печенки отобьют. Это поп с ним да с кривым Максимом подстроили, чтобы всех поморцев в церковь загнать да и не бунтовали чтобы. Слышишь, как народ бушует?

Только сейчас я услышал многолюдный гул, словно там происходила свалка. Через кусты мы добрались до усадьбы Паруши, свернули на узенькую межу и, сгорбившись, побежали к гумнам.

XLII

Мне недолго пришлось скрываться на гумне, под ометом прошлогодней соломы. Прибежал Кузярь и еще издали победоносно закричал:

— Эй, Федяк! Вылезай — пойдем в село! Приехал горбатенький барин Ермолаев. Урядника прямо на месте пригвоздил. Велел тебя разыскать и к нему привести. «Я хочу, говорит, сам осмотреть его», — это тебя-то. Не бойся, брат: так и явись ему во всей красе. А на улице — ой-ой-ой! — народищу тьма. Сдавили урядника-то с сотским и — за грудки его... Осатанели все, а бабы словно с цепи сорвались. Он и так и этак — огрызается, как барбос, а ему и ходу нет: увяз, как в тине. А Гришку совсем замордовали: хоть и дылда, а серый стал и мычит, как поротый. Ежели бы не прискакал горбатенький мировой, уряднику с Гришкой несдобровать бы...

Все это торопливо, захлебываясь, успел рассказать Кузярь в те короткие минуты, когда я выползал из гнилой норы под ометом. Он подхватил меня под мышки и помог встать на ноги. Я весь покрыт был перегнившим сором, а в волосы набилась всякая дрянь. Он хотел сбить ладонями этот сор со спины, но жгучая боль пронизала меня насквозь. Я заорал и упал на колени. Кузярь испугался и отскочил в сторону. Он смотрел на меня растерянно, с мучительной гримасой.

— Аль больно? Рубашка-то и сейчас мокрая.

— Я этого попа да Шустенка зарезал бы сейчас... — прохрипел я со стоном. — Чего они со мной сделали!..

— Это ты за всех страдаешь... — разъярился Кузярь и, оскалив зубы, взмахнул кулачишками. — Тебя-то заарканили, а наши правоверные, как тара-

каны, спрятались. А поп-то в церкви взбунтовал всех. Только маленько погодя люди начали сбегаться, когда услыхали, как ты на съезжей визжал. Да и я без ума метался по улице и с надсадой орал: Федяшку, мол, урядник убивает.

Мне было трудно идти: рубашка присохла к спине, и при каждом шаге невыносимая боль рвала кожу. Ломило голову, как в угаре, а руки и ноги мозжило, словно их колесом переехало. Раньше, сгоряча, я не чувствовал боли, а сейчас она набухала во всем теле, как опухоль.

— Ты не робей, Федяха, — утешал он меня. — Оклемаешься маленько, мы Шустенку отомстим: живого места у него не оставим. Максиму я много насолил, а сейчас придумаю такую казнь, что он и места не найдет.

Мы вышли на улицу от прясла Паруши, и мне вдруг стало страшно. Я остановился и попятился, когда увидел густую толпу мужиков и баб у съезжей, которые галдели, как на сходе. Поодаль, у входа, стояла стройная гнедая лошадка, а на козлах таратайки с гнутыми черными оглоблями сидел молодой кучер в кафтане без рукавов. На горбатой насыпи выхода толпились ребятишки и девчонки.

Не успел я оглядеться и очухаться, как передо мной рухнула на колени мать и, рыдая, прижала меня к себе. Я вскрикнул от боли, вырываясь из ее рук. Иванка закричал ей в ухо, словно она была глухая:

— Тетя Настя, не береди его, он весь избитый.

Мать вскочила и вместе с Кузярем повела меня к толпе. Мужики хмуро смотрели мне навстречу, а молодухи и девки — со скорбным и гневным любопытством. Стремительными шагами, с локтями на отлет, всклокоченный, злой, подбежал к нам чернобородый Филарет-чеботарь. Он оттолкнул в сторону Кузяря и мать, подхватил меня под мышки и понес в толпу.

— Вот вам! — крикнул он надсадно, тяжко дыша от волнения. — Глядите, как наших детей всякая сволочь калечит... До кого ни доведись!.. Чай, кулаки-то у этого дуболома по пуду... Чего парнишке надо-то?

Да еще плеткой порол... Видите, как разукрасил? Господин мировой, где такой закон, чтобы детишек терзать?

После всех событий в деревне он словно ошалел: порывистый, взвинченный, он весь горел от ненависти к начальству, к мироедам, к попу. Тогда он отделался побоями в стане и возвратился домой истерзанный, с переломом ребра. Он был мирской, но со староверами жил дружно. Попа к себе и на порог не пускал, а встречал его со шпандырем в руке. Вот и сейчас он совал меня направо и налево.

— Глядите, нате вам!.. В кровище весь парнишка-то... На кого напали с наветами!.. Кого мукам предали!..

Нас сдавили со всех сторон, но Филарет расталкивал локтями людей и нес меня легко, как малыша. Яков горячо внушал что-то горбатенькому, а Катя зычно и гневно кричала в толпе. Горбатенький пристально оглядел меня и резким голосом спросил:

— Кто из вас может сказать, что этот мальчуган способен на преступное озорство?

Толпа сразу замолчала, как будто этот голос изобличил ее в какой-то несправедливости. Филарет рванулся и к горбуну и к толпе и, задыхаясь от злости, заорал:

— Никто из нас, господин мировой, души не убьет. Парнишку-то за зря, по наговору да по злобе терзали... Из правильной семьи парнишка-то... А поп со староверами воюет... Вот парнишку и выбрал, чтобы через него всех обесславить да завинить. Аль не правда? Эй вы, народ?

Он как будто обжигал людей своими выкриками, хотя толпа и без этого кипела и волновалась. Передо мною кишели и злые, и жалостные, и дикие глаза, и раскрытые рты. Кричали и мужики и бабы все вместе — кричали гневно и требовательно. Горбатенький вместе с молодым парнем в деревенской рубахе и в картузе с голубым околышем стоял с закинутой назад головой и вслушивался в оглушительные крики толпы с недобрым лицом. Когда крики немного затихли, сзади толпы взъерепенился какой-то мужик:

— У нас в селе, слава богу, грамотеев мало... А Федька — гораздый на письменность, он и наваракал, окаянный...

Горбатенький резко ответил на этот голос:

— На гадости грамотея не надо. На подлости и преступления только подлые души готовы.

Кузярь звонко, с дрожью в голосе закричал:

— Это поповский да Максимов прихвостень орет... А напакостил Шустенок, он не раз грозился... Его поп с отцом-сотским подослали... Он же и свидетелем вызвался... И урядника заранёше вызвали...

Яков оттащил его за плечо и строго приказал:

— Ты, Ванятка, много-то не болтай, а то и тебя заарканят.

Но Кузярь озлился и взвизгнул:

— Я не вру, а истинную правду говорю. Я все их коварства знаю... Разве не Шустенок зимой у учительницы книжку украл да Федяшке подбросил, чтобы нас с ним обесчестить?..

Молодой парень в студенческой фуражке взял меня из рук Филарета и хотел поднять рубашку, но я завизжал от боли.

Горбатенький тихо посоветовал ему:

— Составь актик, Валерьян. Это вопиющий материал.

Надсадно взвывал, бросаясь в разные стороны, Исай:

— Это они мстят... Не парнишка им досадил, а всех нас, бездольных, хотят оглушить да связать... Видали? Народ-то гневается, бунтует, а где староста да сотский скрылись?.. Уряднику-то досталось бы, да вырвался и ускакал. К попу всем народом пойдем!.. Нагрянем на него и велим с парнишки снять поклеп-то... Как же их, недругов, не громить?.. Ведь они нас в бараний рог согнут... Этого долгогривого из другого села вытурили за такие дела...

Яков сердито осадил его:

— Дурость несешь, Исай... Аль тебя еще не выучили?.. Поп да полиция того и ждут, чтобы народ побесчинствовал, — они тогда солдат пригонят...

Паруша с падогом в руке гневно подошла к горбатенькому.

— Вот ты, баринок, и рассуди: парнишку-то урядник изуродовал, а дедушку его, старичка, чуть не убил. Защиты нам нет и суда правого нет — только на себя надейся. Жили мы в селе содружно, а вломился этот поп — пошли раздоры, подвохи, не приветы, а наветы. Раньше драл барин, а сейчас супостат-татарин. Парнишку-то, колосочка золотого, надо бы дохтуру общупать: не повредил ли его этот злой губитель.

Горбатенький улыбнулся и утешил ее:

— Вот этот молодой человек — врач. Он останется здесь и сделает все, что нужно, а я пришлю лекарство.

Он взял мать под руку и заставил ее наклониться к нему.

— Вот что, молодка: немедленно из деревни вон. Беги, куда хочешь, и как можно дальше. А то мальчишку могут отнять у тебя, и ты больше его не увидишь.

Мать тряслась от лихорадочной дрожи.

— Мы бы уехали, да лошадей ни у кого нет, чтобы далеко ехать. Спасите нас, Христа ради, барин! Может, вы прикажете отвезти нас с парнишкой-то?

— Хорошо, прикажу. Вечерком уедете. Жди!

И резким своим голосом потребовал:

— Где староста? Найдите и приведите сюда!

Кто-то злорадно откликнулся:

— Сотский-то удрал, едва ноги унес, а без сотского наш староста не иначе на гумне спрятался али у попа сидит. Рази его найдешь!

Горбатенький с улыбкой уважительно попросил Парушу:

— Я тебя давно знаю, бабушка, и почитаю. Скажи, сделай милость, народу, чтобы все разошлись. Тебя они послушают.

Паруша басовито и властно распорядилась:

— Ну, мужики, бабы, — по домам. А то скотина да чуланы ждут. Дайте дорожку барину! При напа-

сти мы к нему с докукой пойдем. Душа у него праведная. Не обессудь уж, баринок: добром это дело не кончится.

Горбатенького проводили молча, но благожелательно. Он легко, как парнишка, вскочил на свою таратайку и снял белый картуз на прощание. А доктор взял меня под руку и вместе с матерью повел домой. Но толпа не расходилась: голоса Якова, Филарета и Исая все еще кричали позади нас.

Кузярь шел за нами вместе с Парушей, задорно подняв голову и размахивая руками.

В избе студент уложил меня вниз животом на лавку, приказал подать теплой воды. Мать со свойственной ей хлопотливостью побежала в чулан, вынула из печи чугун с водой и вылила ее в ведро.

— Матушки мои! — горячо поразилась она. — Да тут и мужик бы омертвел от такого терзания, а не то что парнишка. И как ты только, Феденька, вытерпел?

Студент с недоброй насмешкой в молодом баске проворчал:

— На то и урядники и исправники, чтобы мужика пороть да морды бить. А мужику положено перед начальством спину гнуть и благодарить за милость. Поучат побольше мужика, может быть и он очухается да за дубинку схватится. Ну-ка, Настей тебя зовут-то? Бери-ка ковш и лей понемножку. Я сам займусь этой операцией.

Студент ласково и бережно смочил мне спину теплой водой и пошлепал легкими ладонями. Мне было приятно чувствовать его руки, хотя режущая боль и пронизывала спину. Мать промыла мне лицо и руки.

Дедушки с бабушкой в избе не было: они, должно быть, занедужили от потрясений. Паруша стояла поодаль, опираясь на падог, и сурово молчала. А Кузярь переходил с места на место и с лихорадочным любопытством следил за руками студента.

— Эх, вот как тебе, Федяха, шкуру-то содрали, — с оторопью изумлялся он. — А я уж этого вовек не забуду.

Студент повернулся к нему и спросил:

— А ты, молодой человек, почему здесь околачиваешься?

Кузярь доблестно отразил его недружелюбный вопрос:

— Чай, он мне задушевный товарищ. Из съезжей-то из-под кнута урядника я его выволок, когда тот выбежал народ разгонять. На гумно-то кто его увел да под омет в нору спрятал? Никто, как я.

Студент похвалил его:

— Вот это другое дело. Смелость и верность в дружбе — самое ценное в человеке. Молодец!

— А у нас содружье-то наше поп вон кадилом своим да коварством во вражду, в собачью драку обратил, — с суровым сокрушением сказала Паруша. — Был у нас наставник, богослов Митрий Стоднев, мироед. Тот, ради души спасенья, хороших людей в железы заковал и в Сибирь угнал. Брательника своего родного съел. А сейчас другой волк заявился. В народе злобу да раздор посеял. На церкви какие-то черные слова подговорил кого-то намазать, а может, и сам напачкал, а указал на Федю. Урядника заранее успел вызвать. И гляди, какое истязание малолеток-то претерпел. Я уж тут сама, хоть и старуха, хоть и сырой человек, а побежала по избам и караул закричала. И вот Ванятка, дай бог ему здоровья, людей тоже побулгачил. А то бы Федяньке-то несдобровать: затерзал бы его урядник-то до смерти.

Студент легко отлепил мне рубашку со спины, а мать сняла ее через голову. Паруша встала и подошла ко мне близко, чтобы посмотреть на мою израненную спину.

— Вот они как с народом-то обращаются, — гневно вздохнула она.

— Да, бабушка Паруша, — с той же недоброй усмешкой согласился студент. — У народа спина крепкая — выдюжит. Терпение — тоже сила, да не впрок. А вот поп у вас вашим терпением вас же и бьет. Он, как видно, даром время не теряет. У него, бабушка, другие виды — недовольных да бунтарей властям предавать.

Паруша с суровым убеждением прикрикнула на студента:

— Ты, господин вьюнош, нашу душу не ведаешь. Мы и терпеть умеем, и за правду пострадать не страшимся. Нечестивые дела да наветы — у лихоимцев, у супостатов да захребетников. Нам защита и прибежище — праведный труд да мирская помочь.

Студент уважительно возразил ей:

— Мирская-то помочь у вас против супостатов — непрочная, тетушка Паруша. А тут бороться надо плечом к плечу. У вас же каждый смотрит из-за своего плетня. Вот мальчик-то пострадал, а мирская помочь-то пряталась от греха. Отдельные люди — не в счет.

Мать неожиданно поддержала доктора:

— Тебя, тетушка Паруша, тоже, чай, в жигулевку заушали, целую ночь сидела, а мирская-то помочь так и не пришла.

— Как это не пришла? — шутливо запротестовала Паруша. — А кто меня темным вечером из жигулевки-то вызволить хотел? Вот они, эти удальцы, — Иванка да Федя.

— Без артели, тетушка Паруша, без общей воли человек — сирота. Здесь волкам раздолье. Сама же ты говоришь, что в содружье-то поп-супостат раздор сеет. Вот он, Федя-то мой, за этот раздор и поплатился.

В избу вошел тот молодой кучер, который сидел на таратайке, и подал доктору кожаный саквояж. Пока студент мазал мне спину какой-то липкой мазью, обкладывал ватой и пеленал меня, кучер отозвал мать в сторону и что-то приказал ей.

Студент по-свойски предупредил его:

— Я сейчас выхожу, Миша.

Он поднял меня на руки и перенес на кровать.

— Ну, прощай, кудряш! Немножко полежи, успокойся, приди в себя. — Он одобрительно улыбнулся и протянул мне руку. — Выдержал испытание — крепись дальше. Несправедливостей и ударов еще много будет в жизни. Но духом не падай!..

Он всем пожал руки, а Иванку даже потрепал по плечу.

— А ты мне, дружок, очень понравился. Держись и дальше молодцом.

И для Паруши нашлось у него доброе слово:

— Не напрасно ты жизнь прожила, бабушка Паруша: в таких, как ты, народ хранит силу свою и гордость.

Паруша поклонилась и с достоинством ответила:

— Не обессудь, милый вьюнош! В труде мы живем, в труде и богу душу отдадим. Я чести своей и смолоду за копейку не продавала. А спроть анафемы да лиходеев небоязно, с открытой душой стояла. Правда-то всегда к солнышку ведет, а кривда с нагайкой да в черной рясе рыщет, чтобы распять ее. А правда-то страха не боится.

Она опять поклонилась ему и кротко попросила:

— Не откажи в милости, вьюнош: погляди на старичка, на дедушку Федяньки. Урядник-то больно его удостоил: на пол его кулачищем своим свалил. Много ли старичку надо-то...

Они вышли из избы, а Иванка наклонился ко мне и прошептал:

— Я вечером буду ждать тебя на прощание у межевого столба. Не забывай, письма друг дружке писать будем.

Едва сдерживая слезы, он оторвался от меня и выбежал из избы.

XLIII

А вечером к избе подъехал тарантас. Бабушка стонала и плакала, а дедушка простился исгово и только сказал через силу:

— Ну, мир дорогой! Не избаловайтесь там... Родителей не забывайте. Пускай Васянька-то хоть рублишка два пришлет.

Так мы и уехали из деревни украдкой — не проселочным трактом, а полевыми межами и малопроезжими дорогами. Кузярь ждал нас на ключовской грани, а мы ускакали в другую сторону. И мне было

очень горестно: он, должно быть, ждал долго и терпеливо — ждал один в ночной звенящей тишине до петухов и ушел домой, словно обманутый, с тяжелой обидой в душе и с болью разлуки без расставанья — без последнего слова и объятия.

Поля вокруг пропадали во тьме и сами превращались в ночь, а у дороги рожь струилась и мерцала застывшими дымками и уплывала назад, растворяясь в ночной мгле. Впереди и по сторонам очень далеко черными тучами клубились перелески. И небо было бездонно-синее с реденькими искорками звезд. Близко и далеко щелкали перепелки и тревожно крякали дергачи, словно им было жутко одним в безжизненной ночной пустоте и они перекликались, чтобы не чувствовать себя одинокими и беззащитными. Дергачи беспокойно хрипели: «Бер-регись, бер-регись!» — а перепелки храбрились: «Без переполоха, без переполоха!..» Но мне чудилось, что они предупредительно кричали мне, как будто знали, что мы бежим из деревни, что за нами урядник может верхом поскакать в погоню.

Мать часто оглядывалась и боязливо вздыхала, прислушивался и я и вглядывался назад, где исчезла в далекой тьме наша деревня. В этой тревожной настороженности и мучительном страхе стук колес и топот копыт нашей ходкой лошадки казались далеким грохотом настигающего нас целого табуна лошадей. В эти минуты я совсем не чувствовал боли на спине и не ощущал толстой и тугой повязки на теле. Один раз я замер от ужаса, когда впереди вдруг зачернели на дороге сбитые в кучу тени верховых, которые шевелились и как будто молча подстерегали нас. Испугалась и мать, и мы невольно прижались друг к другу. Но кучер спокойно сидел на козлах, покуривал цигарочку и подбодрял лошадь вожжами. Страшные тени оказались высокими зарослями кустарника на широкой меже.

Кучер, вероятно, догадался, что мы все время были в тревоге, в нервном ожидании погони, — он обернулся к нам и засмеялся:

— Вы чего это съежились-то? Аль боитесь, что

догонят да свяжут вас? Не бойтесь. Эта образина, урядник-то, сам дал лататы: перед нашим мировым он и все барбосы глистами ползают. Он за ихнее живодерство их под ножом держит. Наших бар голыми руками не возьмешь: они в Петербурге — как дома. Спи спокойно, паренек, тебе больше всех досталось.

Он опять засмеялся, повернулся к лошади и чмокнул на нее губами. Потом опять наклонился к нам и вполголоса сообщил:

— Молодой доктор-то — из студентов. Сродственник ихний, тоже из Петербурга. Он еще больше к народу льнет: по домам ходит — больных лечит. А по вечерам с парнями как с ровней валандается. Дружок мой. А я тут недавно: не здешний. С ним, со студентом, приехал. Рабочий я — с завода. Выкинули меня с волчьим билетом. Против капиталистов шел с товарищами. Нас несколько человек таким манером выбросили. В столицах нам места нет. А тут работа большая: надолго хватит. И студент, само собой, помогает. Горбатенький-то сквозь пальцы смотрит: они, с братом-то, с Михайлом Сергеичем, и в Питере считаются друзьями рабочих. Меня они и приняли поэтому.

И уже совсем тихо, полушепотом, с оглядкой, быстро проговорил:

— Знаю, интересовался вашим положением: к отцу едете, к рабочему. Поэтому с охотой еду с вами и не таюсь. Мы, рабочие, — одна семья. А вашу беду, которую наши враги уготовали вам, мы обсудим и врагов на чистую воду выведем. И кой-кого из ваших в союз возьмем. Вы не знаете, какая большущая смута идет: драка огромадная будет. Рабочий класс — сила великая: он железный кулак готовит. Он все по-своему устроит. Капиталистам да помещикам не властвовать.

Мать тоже тихо сообщила:

— Мы ведь с Федей тоже в рабочей артели жили: на ватаге работала я.

— Ну вот! — обрадовался кучер. — Так ты меня должна с полслова понимать. Михайлой меня зовут, а по дружбе — Мишей.

Мать слушала его с живым любопытством: я чувствовал, что она сразу поверила ему и успокоилась. Мне тоже этот рабочий понравился: он расположил к себе и дружеским голосом, и уверенностью в нашей безопасности, и презрением к уряднику. Но особенно он покорил меня своей ненавистью к полиции, к попам, к богачам и своим вдумчивым участием к моим испытаниям.

Он напоминал мне чем-то моих ватажных друзей — Гришу и Харитона. Я уже научился чувствовать и разгадывать таких людей и узнавать в них родные души. Такие люди сразу пленяли меня своей внутренней силой, и я всем сердцем тянулся к ним, как к верным защитникам.

— Больно уж народ-то у нас несогласный.... — с обидой пожаловалась мать. — Каждый за свой плетень прячется да за лошадиный аль коровий хвост держится.

Миша засмеялся, подумал и обернулся.

— В том-то и беда, что у мужика борода — узда. На такие поговорочки сам мужик — мастак. Лучше его никто сам себя на смех не подымет. А то другая есть у него поговорка: у мужика одна утеха — дыра да прореха. Да еще прибавит: только мухи живут без голодухи. Вот власть-то за бороду мужика и держит.

Он опять наклонился к нам и так же секретно сообщил:

— И у нас, в Ключах, и в других экономиях по одному, по два рабочие собираются. Такие же, как я. Везде экономии-то машинами хлеб обрабатывают. И слесаря, и машинисты, и всякие мастера нужны. У нас вот Ермолаевы паровую мельницу хотят строить, а рядом с ней спиртогонный да сахарный завод. А мы, пока суд да дело, свою работу ведем.

Так ехали мы долго среди ночных запахов травы и молодых колосьев и выбрались на столбовую дорогу за очень длинным селом. Я уже не думал о погоне: дружелюбие парня и его бодрая уверенность, что нас ночью никто не хватится, а урядник опамятуется, может быть, только завтра, да и то без стано-

вого не решится нагрянуть в село, успокаивали меня. Да и мать повеселела и как будто отудобила от пережитых ужасов: она уже не прижималась ко мне, замирая от страха, а выпрямилась и смотрела вперед с радостным волнением. Она даже спустила платок с головы на плечи, и я в темноте видел, как светилась улыбка на ее лице.

Страшные потрясения этого дня так надломили меня, что я обморочно заснул и не ощущал уже никаких болей в теле.

Разбудила меня мать только на вокзале, и первым впечатлением моим был гудок паровоза.

Так закончилась бегством наша жизнь в деревне. Перед нами открывалась неведомая даль, полная невнятных обещаний и надежд.

1952—1954

ВОСПОМИНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

И. И. СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ

На другой день после смерти Ивана Ивановича Скворцова-Степанова кто-то в избытке скорби и восторженного преклонения перед его личностью назвал его «святым» человеком. У меня всегда было тягостное отвращение ко всяким «святым». В моем представлении святой рисовался совсем непривлекательной фигурой: это человек, который лишен всех добродетелей борца и созидателя; это человек, у которого весь смысл жизни сосредоточивается на собственной особе: он ни о чем и ни о ком не думает, кроме как о себе. Его аскетическое самоотречение — это полное неверие в себя, в свои творческие способности.

Вот почему эпитет «святой» ни в коем случае не может быть отнесен к такому воинствующему общественнику, как Скворцов-Степанов. Это был жизнерадостный подвижник, веселый революционер, жизнедеятельный романтик. Этот тип людей, цельных, разносторонних в развитии своих способностей, высококультурных, часто встречался в рядах нашей старой гвардии.

Первая встреча моя с ним была летом 1925 года. Я тогда работал в редакции «Нового мира». Когда я после отпуска пришел в редакцию, работники «Известий» с каким-то необычным умилением сразу же сообщили мне о назначении нового редактора, как о радостном событии:

— Теперь у нас — Скворцов-Степанов. Душевнейший человек!.. Ну, этот наведет порядок!

В кабинете замредактора было несколько человек — работников «Известий», и среди них скромно сидел, облокотившись на стол, сухощавый человек с серенькой бородкой и большими усами, с добродушнейшими морщинками около глаз, очень юных, ласковых и проницательных. Все разговаривали оживленно, весело, с удовольствием, и было сразу видно, что все чувствовали себя свободно, открыто, чудесно. Это было непривычно, ново, как-то празднично, и эта праздничная легкокрылость чувствовалась всюду — во всех этажах и закоулках. Будто новый редактор принес с собою какой-то особый, необыкновенный дух свежести, бодрости и чистоты. Он встал со стула и, радостно (именно радостно!) потрясая мою руку своей большой, широкой рукой, низким, рокочущим басом сказал:

— Я очень рад, очень рад!.. Мы превосходно сработаемся.

И в этом рокочущем басе слышались глубокие вздохи не то волнения, не то задушевности. Круглый, открытый череп, доверчивый лоб, пристальные, теплые, улыбающиеся глаза, которые, казалось, любовались людьми, и эта густая заросль усов и бороды, и широкий нос, который погружался в густоту волос, высокая, костистая фигура, немного неуклюжая, но быстрая в движениях, и эта готовность близко коснуться человека и душевно обнять его — все это неотразимо влекло к нему, покоряло, действовало обаятельно, располагало к доверчивости и полной откровенности. В нем было что-то старомодное, что-то от старого русского интеллигента — этакая целомудренная простота, глубокая вера в человека.

Работал ли он как редактор, писал ли он книжку по антирелигиозному вопросу, по электрификации, принимал ли участие в литературных делах, помогал ли товарищу в беде — он всегда возбуждался, всегда поражал своей необычайной вдохновенностью. Не было ни одного маленького дела, к которому он не подходил бы как творец: он отдавался ему весь, жил им и всегда доводил до конца. И не было случая, чтобы успех он приписывал только себе.

Он очень часто говорил:

— Выполнить какое-нибудь дело — не значит его сделать. Только тогда дело будет сделано, если оно будет совершаться с творческим воодушевлением.

И это его постоянное горение чувствовали все в редакции. В его кабинете обсуждались всякие вопросы — и большие и маленькие, — и все работники проникались мыслью, что и они участники большого дела, что и они не исполнители, а настоящие творцы.

Когда антипартийная группа Зиновьева — Каменева открыто выступила в конце 1925 года на борьбу против генеральной линии партии и, не брезгая никакими средствами, попыталась организовать в Ленинграде сплоченную шайку «мятежников», ЦК командировал туда Ивана Ивановича ответственным редактором газеты «Ленинградская правда». Ему пришлось выдержать напряженную борьбу. Ставленники Зиновьева встретили его с яростной враждебностью: в редакции сначала демонстративно не замечали его, на совещания не являлись и всячески старались поставить его в невыносимые условия. Кончилось тем, что по сигналу Зиновьева работники редакции устроили ему обструкцию. Но Иван Иванович выдержал этот наглый напор спокойно, с достоинством. Он выпрямился во весь свой высокий рост впереди небольшой группы преданных ему помощников и громовым басом объявил:

— Это кто передо мной? Хулиганы, громилы или честные работники советской печати? Все, кто желает работать, выполняя заветы Ленина, найдут здесь свое место. Но саботажникам и бандитам придется немедленно унести отсюда ноги. Того, кто не подчиняется партии, мы сметем, как пыль.

На подмогу Ивану Ивановичу явились наборщики и печатники, и шайка бунтовщиков отступила.

Приехал он из Ленинграда помолодевший, очень бодрый, веселый и рассказывал об этих своих боях, посмеиваясь, словно пережил забавный эпизод в своей жизни. Поглаживая густые усы, он с огоньком в глазах рокотал вздыхающим басом:

— Понимаете, очутился с первого дня как во вражеском стане. Ни один прохвост не желает отвечать

на вопросы, не является на зов. Устроили однажды кошачий концерт. Всюду понаставили своих пикетчиков, терроризовали рядовых работников. Ну, я, знаете, сильно разозлился — выгоняю одного за другим. Началась вакханалия, пытались даже применить ко мне насилие. А я уже заранее знал, с кем имею дело. Прощупал я и в редакции и в типографии хороших парней из сотрудников и наборщиков и вместе с ними организовал дело так, что ни одна строчка без моего ведома не могла быть набрана. А когда хулиганы ворвались, чтобы схватить меня, эти хорошие парни стали рядом со мной и приготовили крепкие кулаки, как доблестные бойцы: пусть, мол, кто-нибудь из негодяев попробует подойти поближе, он на своих боках испытает, что значит пролетарский отпор. Ну, и струсили... — Скворцов затрясся от смеха. — Понимаете... хотели меня поставить в положение генерала без армии, но не рассчитали своих сил и, как всякие авантюристы, полагались только на свою наглость, то есть сами были изолированы от масс. А я уже со своими соратниками опирался и на рабочих типографии и предприятий и привлек здоровую молодежь из вузов. Через недельку-две редакция уже была насыщена новыми людьми, и работа пошла полным ходом. Да, скажу я вам, горячие были дни — позабористее, чем борьба с меньшевиками...

Но Иван Иванович не только разгромил зиновьевцев в газете, он провел большую работу на предприятиях и в учебных заведениях. Он разоблачал подрывную работу и провокационную демагогию зиновьевцев, и зарвавшиеся авантюристы сами изобличали себя своими антипартийными действиями. Рабочий класс тогда же понял все махинации «новой оппозиции» и с презреньем отвернулся от нее.

Сильный, испытанный, смелый боец старой большевистской гвардии, Иван Иванович вышел победителем из этой борьбы, как верный ученик и соратник Ленина. Но беспокойный, горячий деятель и революционер, он ни один день не оставался без творческой работы. Несмотря на болезнь, которую он тщательно скрывал, он был донельзя загружен всякими делами

и обязанностями: будучи редактором «Известий», он активно руководил «Новым миром», редактировал «Под знаменем марксизма», кропотливо трудился в Институте Маркса — Энгельса — Ленина, в Институте философии, в Истпарте и т. д. И всегда был бодр, радостен и молод душой.

— Какое счастье работать в наши дни! — с одушевлением говорил он. — Именно творчески работать... потому что наше изумительное время требует только труда творческого. Одно неприятно и досадно — это необходимость сна.

Он глубоко верил в неисчерпаемые силы народа и с особенным восторгом любовался нашей молодежью. С юношеской радостью говорил он об изобретателях, о постройке новых фабрик, о новых линиях железных дорог, о великолепном оборудовании типографии «Известий», о сельскохозяйственных коммунах, о государственных сельскохозяйственных фабриках, о Днепрострое, об издательских планах Гиза, о жадном стремлении рабочих и крестьян к науке, о борьбе с беспризорностью...

Однажды кто-то грустно стал жаловаться на то, что наши талантливые ветераны-большевики тают — один за другим сходят в могилу, — а на смену им пока еще нет равноценных сил, что даровитых людей с широкими, смелыми замыслами и дерзновенной волей пока среди новых кадров не видно. Иван Иванович в волнении встал со стула, сурово и остро уставился на пессимиста и громоподобно забасил с обычным вздохом в голосе:

— Позвольте, товарищ! Это чушь. Нужно быть слепым, чтобы не видеть огромного роста масс...

И он горячо, с убеждением начал перечислять факты, где и как проявляют себя эти массы. Вот фабрики, вот угольные копи, вот социалистические стройки — всюду необычайная активность, хозяйственная находчивость, изобретательность и прозорливость масс.

Самокритика еще больше возбудила эту созидательную активность народа, и мы на каждом шагу видим настоящего хозяина страны — рачительного,

экономного, мудрого, дисциплинированного, культурно зреющего.

— Пора, товарищи, знать, что не отдельными индивидуальностями мы строим жизнь, а коллективной, классовой мощью. И как быстро подвигаются дельные организаторы, даровитые и энергичные!..

И он опять перечислял имена новых работников, которые превосходно работают и в центре и на местах. Было удивительно, что он знает о них, помнит их фамилии и даже следит за их работой.

— Вы посмотрите на нашу молодежь. Изумительные ребята!

О молодежи он не мог говорить иначе, как с любованием. Как только к нему заходили молодые работники редакции, привлеченные из Института красной профессуры, он очень оживлялся, глаза его, серые, с перламутром, вспыхивали, и морщинки около глаз лучились любовью и нежностью. Другого слова не могу подобрать, именно нежность трепетала во всем его облике. И вместе с этой нежностью играл в глазах задорный, молодой смех. Мне думается, что в эти минуты общения с ними он сам перевоплощался в жизнерадостного юношу.

Один парень, веселый, несдержанный в движениях, с вызывающей шуткой, с корявым лицом озорника, особенно возбуждал его своею дерзостью — дерзостью, конечно, весельчака и молодчаги.

И этот высокий старик с круглой лобастой головой и широким носом, погруженный в густую заросль усов, пересиливая клокочущий смех, взмахивал длинной рукою в сторону этого парня и басил из глубины нутра:

— Вы поглядите на этого барбоса. Настоящий партизан! Его, окаянного, никак не укатаешь: прет из него, как из бешеного огурца.

И потом, немного успокоившись, уже наедине с собеседником, восторгался:

— Удивительная молодежь! Замечательная смена! Талантливые работники, талантливые журналисты, ученые, хозяйственники...

Живые впечатления о жизни в далеких местах

Союза захватывали его целиком. Он готов был слушать целыми часами. То и дело перебивая рассказ вопросами, экспансивными репликами, он угрюмо хмурился и замолкал, когда рассказчик живописал мрачные стороны.

— Это — безобразие, это — чудовищное извращение нашей политики на местах! Я сейчас же буду телефонировать такому-то...

И он уже невольно протягивал руку к телефону. Так не раз было и в беседах со мною, когда мы долго обсуждали с ним мои впечатления о Днепрострое, об украинских колхозах. Он радовался, как ребенок, когда слушал рассказ о грандиозном размахе работ на Днепрострое, об успехах коллективного хозяйства, о рабочем жилищно-кооперативном строительстве.

Он был до наивности прост в обращении с людьми. И не было, кажется, случая, чтоб он возвышал голос до сердитого окрика. Мягкость, предупредительность, приветливая ласковость, неугасимый огонь беспокойной мысли в глазах — вот его внешний облик. Помню только один случай, когда он был потрясен гневом. Это произошло в редакции «Нового мира» на литературном вечере. Сгрудилось много писателей разных толков и направлений. Во время прений о задачах журнала один писатель жаловался на нажим редакций наших журналов. Вся речь его сводилась к тому, что писатель сейчас в тисках, что ему закрывают рот, что от него требуют официальной благонамеренности. Я впервые увидел Ивана Ивановича в состоянии подлинного потрясения. Он дрожал, голос его прерывался от гнева.

— Это черт знает что такое!.. Это — возмутительное безобразие!.. Кто вам зажимает рот? Кто и когда приказывал вам писать непотребство с вашей точки зрения! Черт знает какая чушь!.. Как вам не стыдно это говорить перед всеми товарищами? Если ваши произведения художественно непригодны, так это еще не значит, что от вас требуют лакейской благонамеренности.

Но в тот же вечер он отозвал меня в сторону и стыдливо, еще не остывший от волнения, говорил:

— Фу, грех какой! Как это я погорячился! Но осадить-то парня все-таки нужно было.

Скромность его была чем-то вроде шестого чувства. Он никогда не говорил о себе, а только о других, и если кто-нибудь заговаривал о его литературных трудах, он быстро, конфузливо отмахивался и обрывал:

— Ну, будет вам... Просто корявое бумагомарание. Не будем говорить об этом.

Один писатель хотел посвятить ему свой роман. Он испугался не на шутку и очень беспокойно просил его не делать этого.

— Пожалуйста, будьте добры... Я вас очень прошу не посвящать мне. Я вам страшно благодарен за дружбу, но не тревожьте меня этим. Вы представьте, в Ленинграде хотели однажды одну улицу и один переулок назвать моим именем, так я целый день потерял на то, чтобы ликвидировать это. А потом чувствовал себя, как после тяжелой работы.

И будто совсем не вязалась с этими качествами его твердая, настойчивая, настоящая боевая воля. Всякая борьба напрягала его упорство, и она завершалась им до полной победы.

Он очень часто повторял:

— На то и борьба, чтобы добиваться победы.

Он обладал редкой способностью, каким-то особым инстинктом врастать в человека. В те годы напряженной работы, когда люди отрешались от себя, когда не хватало времени на обед, на сон, на прочтение книги, многие немножко огрубели, им некогда было подумать не только о других, но даже о себе. Может быть, это было от неумения работать, а может быть, от чрезмерной нагрузки огромным количеством разнообразных обязанностей. Но Иван Иванович был исключением. Близких, задушевных друзей у него было достаточно. И нужно было видеть, как он интимно, тепло говорил с ними. И всегда он называл их ласкательными именами: «Ну, Демьяша, валяй!», «Сашенька, садись поближе...» И он всегда находил время поговорить по душам, всегда первый с пылом и жаром шел на помощь в невзгодах. По-

мню случай, когда пришел к нему один писатель-коммунист и с отчаянием рассказал о своих мытарствах по партлинии. Пахло волокитой, формализмом, невнимательным отношением к человеку. Иван Иванович сразу же загорелся и широкой ладонью хлопнул по столу, точно хотел раздавить вопиющую несправедливость. Он неустанно переговаривался по телефону, писал письма, куда-то ездил сам лично — и дело довел до конца. А потом, когда явился этот писатель и радостно забормотал ему слова благодарности, Иван Иванович встал и в волнении широко пошагал к нему, обнял его и крепко поцеловал.

— Я очень рад... бесконечно рад!.. Ну, мы, кажется, оба получили высшее удовлетворение.

К писателям он относился с большой любовью. Общение с ними для него было потребностью. Литературу он считал одним из самых мощных орудий в борьбе за нашу культуру. Недаром в последние годы он делал попытки выступать в роли литературного критика. Известны его статьи под псевдонимом «И. Федоров», статьи очень яркие и смелые. При каждом нашем свидании он непременно заводил беседу по литературным вопросам. Его взгляды на литературу вполне соответствовали внутреннему его облику. Я бы сказал, что Иван Иванович был человек действия — он не просто был работяга, а каждый его шаг, каждое начинание было во имя высокой идеи. Он ненавидел безличную исполнительность; каждое его действие было из нутра, от творческого порыва и горячей мысли.

Литература для него была выражением революционного действия. Он говорил:

— Наша эпоха — эпоха социалистического строительства, эпоха напряженной классовой борьбы. Строить социализм в грозном окружении свирепых врагов — это, извините, не тяп да ляп. Это — мировая и беспримерная в истории борьба, которая требует напора всех человеческих способностей и сил. Тут нужно огромное воспитание масс и отдельных единиц. И вот основная задача нашей литературы в том, чтобы служить орудием этого воспитания и самопознания масс.

Литература должна поднимать эти массы, звать к неустанной борьбе, воодушевлять, волновать...

О художественной литературе он мог говорить часами, «волнуясь и спеша». И ни разу он не оспорил моих творческих установок и мои воззрения на творческий метод радостно приветствовал. Только однажды он мягко возразил против моих рассуждений о «революционном романтизме» как свойстве нашего реализма.

— Чего-то я здесь путаюсь и похож на тех критиков, которые не прочь сбивать художников с настоящего пути. Но, по-моему, пафос революционной борьбы и романтизм — вещи не тождественные. Впрочем, воздержусь от дискуссии: ведь с изменением жизни меняется и содержание понятий. В отличие от писателей прошлого, ваше счастье в том, что вы вырастали в другую историческую эпоху. Поэтому романтика бессильно-индивидуального протестанта превращается у вас в пафос революционной борьбы и строительства. Но над этой новой и интересной проблемой, которую вплотную ставит перед нами действительность, надо поразмыслить. Называйте эту особенность нашего реализма революционным романтизмом или пафосом борьбы — от этого дело не меняется. — И он с веселой шуткой заключил: — А пафос вашей борьбы за свой творческий метод меня радует: люблю идейных и принципиальных драчунов.

На работу писателя он смотрел как на важнейшую работу общественника. Писатель-коммунист — это идеолог рабочего класса. Его литературный труд — ответственнейшее дело. И Иван Иванович с убежденной решительностью говорил, пригвождая свои мысли ребром широкой ладони:

— Некоторые склонны рассматривать работу писателя-коммуниста как его частное, чисто домашнее занятие — скажем, некое развлечение. Ты, мол, дома в свободное время занимайся чем угодно, но партработу должен выполнять бесперебойно. Я в корне с этим не согласен, считаю это возмутительным. Творчество писателя-коммуниста — это труднейшая пар-

тийная работа. Нужно это установить раз и навсегда. Писателю-партийцу надо создать самые благоприятные условия, чтобы его не дергали, не туркали, не относились к нему по-чиновничьи. Обязательно нужно добиться, чтобы его освободили от других партийных обязанностей на время его очередной творческой работы. Владимир Ильич на этот счет был очень чуток. Когда я взялся за книгу об электрификации, он немедленно распорядился, чтобы меня оставили в покое на целых полгода.

Чаще всего он встречал писателя вопросом:

— Ну, прежде всего скажите — как ваше здоровье? Это самое главное. Дергают вас, жмут, прикрепляют к работе? Нет, это возмутительно. Надо принять меры. Я об этом обязательно буду говорить в ЦК.

Боец без страха и упрека за идеалы рабочего класса, которому он отдал сорок лет своей сознательной жизни, Иван Иванович ненавидел людей, которые привносили в революционную борьбу личные интересы, которые не брезговали грязью, хамством и подхалимством. Он презирал всякую групповщину, не мог говорить без гнева о тех, кто бедность мысли заменял ухарством, крикливой демагогией и хвастливым пустозвонством!

— Очень претит мне в критике заушательство, нечистоплотность, травля. Об этом не раз уже поднимался вопрос где следует... Надо бороться во всеоружии знания и любви к искусству. Полная безответственность. Хотя бы теплилась искорка любви Добролюбова, Чернышевского, Плеханова...

И он добродушно басил:

— Ну, да ничего... Все образуется. У нас неисчерпаемые богатства творческих сил.

Мне кажется, что биографии таких людей надо исследовать, изучать, кропотливо собирать материалы об их жизни, писать о них книги. Ведь их жизненный путь — путь борцов, революционеров-строителей — это тоже высокое художественное произведение.

1928

А. С. НЕВЕРОВ

Летом 1920 года, изучая драматургическую литературу, я с удовольствием прочел пьесу «Бабы». На обложке книжечки стояла фамилия: «А. Неверов». Пьеса привлекла мое внимание свежестью языка, яркостью характеров и молодой уверенностью автора. Несомненно, драматург хорошо знал деревню и умел чутко прислушиваться к душевной жизни крестьянина.

Через два года в один солнечный весенний день я зашел в литературный отдел — ЛИТО Наркомпроса на Волхонке. Возглавлял его тогда А. С. Серафимович. Он очень ласково привечал начинающих писателей. В его кабинете я застал сухощавого, немного бледного, еще молодого человека в военной шинели. Хотя сидел он со скромным достоинством, чем-то озабоченный, но в маленьких горячих глазах его играли искорки лукавой улыбки. Серафимович назвал знакомую мне фамилию — Неверов. Я заявил, что знаю его по пьесе «Бабы». Человек в военной шинели мгновенно оживился и с хитрецой в смеющихся глазах спросил, сочно окая:

— Ну как вам они, мои «Бабы», понравились? Они никому не нравятся — вшивые. — И с самолюбивым беспокойством последил за моим лицом.

Я ответил, что актерам действительно пьеса не нравится, а на меня она произвела впечатление своей

художественной яркостью, драматизмом и сочностью языка.

— Ну! Слава богу!.. — И он юмористически вздохнул.

Посмеялись, пошутили, и в комнате как-то сразу стало тепло, светло и задушевно. Вышли мы вместе и всю дорогу до его квартиры в Староконюшенном переулке не умолкая говорили, как старые друзья.

Удивительные были эти годы. Голодные, холодные, неуютные, они были насыщены огромной бодростью, жизнерадостностью и юношеской верой в близкое счастье. В сыром подвале я ютился, как в тюремной одиночке (даже окно у потолка было заковано железной решеткой), и с упоением работал над повестями и рассказами, мечтал о литературных успехах и не сомневался в своих силах. Неверов в шинели сидел в дымной, закопченной комнате и писал с ожесточенным упорством.

Сблизились мы с ним быстро и стали часто бывать друг у друга. Обычно он приходил со свертком рукописи и читал новый рассказ или повесть. Так прочитаны были «Полька-мазурка», «Андрей Непутевый» и каждая вновь написанная частица «Ташкента, города хлебного».

Читал он неплохо, но, увлекаясь и переживая, иногда приходил в восторг и с веселой хитринкой в глазах восклицал:

— Скажешь, плохо? Нет, милый мой, очень даже здорово. Молодец Александр Сергеевич!

И в самых интересных и острых местах поминутно отрывался от рукописи, проверяя впечатление: дошло ли, поразило ли, понравилось ли прочитанное? И когда видел, что хорошо подействовало написанное, ликующе подмигивал. О «Ташкенте» мы много говорили с ним, кое-какие места обсуждали вместе.

Однажды мы были приглашены на литературный вечер А. С. Серафимовичем. Он только что закончил свой «Железный поток» и решил прочесть его своим друзьям. Мы с Неверовым, взволнованные, пошли к нему на Красную Пресню. Повесть Серафимовича так захватила нас, что часы промелькнули незаметно.

Это была не повесть, не роман в обычном смысле слова: в книге не было ни интриги, ни психологического, ни бытового сюжета, ни борьбы личных страстей. Это была скорее всего поэма о движении народа, полном борьбы, самоотверженности и веры в победу.

Неверов говорил много и горячо. Лицо его тогда не играло улыбками, а было серьезно и даже строго. Искусство для него было священнодействием: он жил им и отдавался ему без остатка. Художественное творчество было для него личным поведением. Он не допускал в оценках ни лжи, ни притворства, ни лицеприятия.

По дороге домой он повторял вздыхая:

— Ну и старик!.. Ну и наворочал же! Даже сердце щемит от зависти!.. Только вот украинский разговор не по мне... Я — волжанин, самарец, и мне, великороссу, приходится делать усилие над собой, чтобы почувствовать украинскую речь... Увлекся старик и переборщил...

В эти дни он писал с утра до ночи, не отрываясь от машинки. Еще на улице слышна была трескотня клавишей, и я знал, что он пишет новый рассказ или продолжает «Ташкент, город хлебный», а может быть, и роман «Гуси-лебеди».

Общение с писателями было для него потребностью. Его никак невозможно было представить уединенным, только погруженным в работу за столом. В свободное время он часто находился в толпе литераторов. И всегда был душою общества — шутил, смеялся, веселился, пел волжские песни.

Мы часто гуляли с ним по московским бульварам и переулкам. Москву он полюбил сразу же. Любуясь ею, он растроганно говорил:

— Хозяйственный, крепкий работник был русский человек. Надо понять и представить себе, с каким упорством и терпением завоевывал и строил он свое государство. Москву создал — это тебе не игрушка. Украсил ее и сотворил великое, самобытное искусство. Разрушали Москву поляки, огню и мечу предали французы — а она оживала и расцветала еще богаче

и пышнее. Замечательный русский человек — трудолюбивый, упрямый и патриот изумительный. И хочется мне изобразить русского человека как беспокойного искателя счастья... Много у него было приключений и борьбы, но он все препятствия преодолел, как Илья Муромец или Васька Буслаев...

Как-то я обратил внимание Неверова на песенное построение его повествовательной фразы, где глаголы и определения располагались в конце предложений. Такой синтаксис делает его речь рыхлой и сентиментальной. Наше боевое, энергичное искусство требует твердого и уверенного ритма.

Он задумался, а потом горячо сказал:

— Мне былины нравятся. Язык в них, конечно, архаичный, а сила необыкновенная. Мужик знает тайну могучего образа. Он не просто говорит свое сказание, а поет. Мужик — поэт и песенник. Он и плачет от сердца, и веселится от души. Он ничего на веру не берет — скептик, но и бунтарь исторический. Язык у него богатый и мудрый. Говорит он и поет — как холсты расстилает... Не забывай, что я мужик и речь люблю певучую.

В дружбе он был целомудренно верен. Прямой, искренний в вопросах искусства, он в дружбе был благороден. Никогда он не позволял себе злословить о писателях, а если случалось, что слышал дурные слова о друзьях, бурно бросался на зоила с негодующим окриком:

— Это безобразие! Вы не имеете права оскорблять такого-то. Я не выношу людей, которые осмеливаются мазать дегтем ворота у собрата.

Он болел грудной жабой и, когда припадки были особенно мучительны, не жаловался, не приходил в ужас. Он только замолкал и задумывался в странном и сосредоточенном недоумении. И все-таки не замыкался, не уходил в себя; продолжал посещать литературные собрания, спорить, устраивать дружеские вечеринки и мечтать о новых рассказах и повестях.

Умер он внезапно зимою 1923 года.

Рано утром ко мне пришел его сынишка и почему-то спокойно сообщил:

— Папа умер.

И в этом спокойствии мальчика было что-то жуткое.

Когда я пришел на квартиру Неверова на Полянке и увидел его неподвижно лежащего около стены у окна с едва уловимой знакомой улыбкой, мне почудилось, что он устроил очередную веселую шутку: лицо его было совсем живое, а бледность была у него обычной. Но руки на груди были уже мертвенно жестки и грудь не поднималась.

Было больно и обидно, что такой молодой, талантливый человек бессмысленно ушел из жизни в то время, когда он только что вступил на широкую литературную дорогу.

1932

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

В 1922 году несколько писателей собрались на квартире Александра Серафимовича Серафимовича в Большом Трехгорном переулке. В этот вечер Александр Серафимович должен был читать только что законченную повесть — «Железный поток». Такие дружеские вечера он устраивал нередко в те годы. Тут были и старые и начинающие писатели. Живой, бодрый, веселый, гостеприимный, он умел как-то сразу входить в душу каждого и «брать за сердце» человека.

В те дни, когда только что собирались литературные силы и закладывались основы советской литературы, Александр Серафимович чутко интересовался успехами молодых литераторов, привлекал их к себе, возился с ними, умно и тонко руководил их работой, разбирал каждую строку, давал советы, указывал на причины неудач, предупреждал об опасностях и проникновенно подчеркивал удачные, яркие образы, особенности языка и восклицал возбужденно:

— Ах вы леший этакий! Да вам же только работать и работать! У вас же силищи — непочатый край...

Он брал за плечо какого-нибудь из молодых беллетристов и, лукаво улыбаясь, поощрительно покрикивал:

— Ну-у? Как, батюшка мой? Выкладывайте! Признавайтесь, что написали... Вы Неверова знаете? Вот, хай ему бес, пишет! Так и прет из него, так и прет!..

И каждый день молодые авторы шли к нему со своими литературными докуками, за ободряющим словом. Мне кажется, что ему сильно мешали работать и назойливо нарушали его покой. Даже больной, он никому не отказывал в дружеской участливой беседе и никого не забывал.

В этот вечер собрались у него человек двенадцать беллетристов, среди которых был и А. С. Неверов. Он был уже известен как автор пьесы «Бабы» и ряда ярких рассказов.

Сначала Александр Серафимович попотчевал гостей вкуснейшим пирогом, выпили по стаканчику вина.

— Я хитрый, хлопцы, — шутил он. — Вас ведь, леших, сперва надо подпоить — обезоружить, чтобы не лаялись. Сухая ложка рот дерет.

За столом, как обычно, все чувствовали себя непринужденно, а Неверов был в большом ударе, не уступал ему и Новиков-Прибой. Но все-таки чувствовалось взволнованное ожидание. А Александр Серафимович как будто нарочно оттягивал чтение и даже пробовал запевать песню.

Читал он часа три, но времени не замечалось: все были с первой же страницы захвачены широкими картинами народного движения — доблестного отступления отрезанной Таманской армии с жителями станиц и хуторов по черноморской дороге, через горы для соединения с Красной Армией. В этом бесконечном пути люди испытывают невероятные лишения, и кажется, что нет человеческих сил, чтобы выдержать муки голода, страшного изнурения, болезней, гибели детей... Поразительна выносливость, самоотверженность, вера русских людей в будущее и неугасимость духа. Вот Кожух, могучий, простой, грозный — настоящий вожак, рожденный народом. Он живет у меня в памяти с тех пор, до иллюзии живой и самобытный. Он как будто теряется в этих бесчисленных толпах, которые сплошным потоком на много верст покрывают приморское шоссе, но в то же время он всегда на виду: он чувствуется и впереди, и в самой гуще, и в задних рядах. Он вовремя появляется там, где

люди слабеют духом и начинают роптать, и веселой шуткой ободряет их. Люди смеются, хотя и льется кровь из потрескавшихся губ, потухающие глаза их загораются, им уже не страшны ни голод, ни жажда, ни дальнейшие страдания, ни трагическая их смертельная дорога. Как настоящий вожак, Кожух в нужный момент может крикнуть громовым голосом, и тысячи людей — бойцов и станичников — пылают энтузиазмом. Он заразительно хохочет, заливается хорошей песней, отпускает ядреные словечки, от которых люди крякают, как от доброго вина. Но он бывает и страшен в своем гневе против смутьянов и малодушных. Он знает свой путь, он видит свою цель, и этот людской поток верит в него и знает, что Кожух приведет их туда, куда надо. И какие бы преграды и опасности ни были на пути, все эти люди поборют всякие препятствия, сметут на своем пути все враждебные силы. Это были не обреченные люди — нет, это была трудовая Россия, идущая на подвиги.

Повесть эта поразила нас своей величавой простотой и глубокой народностью. Мы восприняли ее тогда как подлинную поэму о революционном духе русского народа, о неистребимой его силе, самоотверженности и великом его назначении. Такой народ нельзя поработить и обезличить, такой народ, несмотря на бесконечные испытания, вынесет все, поборет все и сам будет торжествовать победу.

Когда Александр Серафимович окончил чтение, все долго молчали под сильным обаянием этой поэмы. Не было слов, чтобы выразить глубокое волнение. И это волнение было в глазах у каждого — все понимали друг друга в этом молчании. Казалось, что сказанное слово только нарушит наше глубокое чувство. По лукавой улыбке Александра Серафимовича видно было, что и он хорошо понимал смысл нашего безмолвия. Он поглядывал на нас добродушно и хитренько и как будто трусил перед нами.

— Ну, что? Проняло? То-то же!

Лично мне было особенно интересно слушать эту повесть: я был непосредственным свидетелем движения «железного потока» через Новороссийск. Кубань

изменой предателя Сорокина отдана была на кровавую расправу белогвардейщины. Новороссийск оставался единственным оплотом советской власти в крае. Моряки и тысячи пролетариев с оружием в руках готовы были драться до конца с бандами деникинцев. Еще не угасла боль от трагической гибели флота в Цемеской бухте, слишком мучительна была ненависть к врагу у краснофлотцев. Но грозное и скорбное движение таманцев потрясло население Новороссийска. Душа омрачалась тревогой и тягостным предчувствием: белогвардейская контрреволюция уже приближалась к городу. Меньшевистско-эсеровские прохвосты наглели день от дня. Слушая «Железный поток», я заново переживал огненные дни лета 1918 года.

Вышли мы от Серафимовича поздней ночью. Неверов никак не мог успокоиться и всю дорогу повторял со свойственной ему горячностью:

— Ну и старик! Ну и отчубучил! Прямо зависть берет, до чего хорошо. Слушал я, слушал, и сердце замирало. Да и теперь вот: в душе — бунт, прибой сил чувствуешь... Хочется писать ненасытно... жить ненасытно...

Александр Серафимович был для нас олицетворением лучших традиций русской литературы как беззаветного общественного служения и образцом личного поведения как человека и гражданина.

Он всегда привлекал к себе своей жизнерадостностью, каким-то юношеским любопытством к человеку. И каждый сразу чувствовал эту нелицемерную его пристальность. Никогда в нем не было ни тени самообольщения, ни своенравного желания показать свое величие или снисходительность, как метра. Мне думается, что это один из самых постоянных и неизменяющихся характеров: каким он был, таким и останется до гроба. Это ясное постоянство — честность и любовь к людям. Ему интересен каждый человек, каждый его поступок, каждое его слово. И когда он встречает вас, кажется, что он хочет вас обнять — с добродушной настороженностью, с высоко поднятым лицом и пристальным, ожидающим взглядом.

И всегда с игривой лукавинкой в глазах вскрикнет певуче:

— Ну-у, батюшка мой! Что? Как? Вот тут-то она ему и сказала...

И обязательно заставит высказать ему даже сокровенные мысли. Нет, не будет выпытывать, а дружеским участием и проникновенностью невольно вызовет потребность раскрыться перед ним, как на духу. Он обладал особым умением слушать внимательно, вдумчиво, терпеливо. И если не был согласен или не одобрял слов собеседника, с насмешливым упреком в глазах говорил:

— Ну нет, батюшка мой, вы здесь не правы. Самое трудное — это вскрыть смысл человеческих поступков. Понять человека — это значит строго отнестись к себе. Суд с пристрастием только губит художника. Взвинченность и нервность нетерпимы в творчестве. Это болезнь, если не порок.

На квартире в Трехгорном переулке я чаще всего заставал у него рабочих, красноармейцев, комсомольцев, студентов. Обычно он сидел на диванчике, а около него теснились гости и оживленно разговаривали с ним. Он, по обыкновению, живо расспрашивал их и очень внимательно слушал. Его простота, участливость и умение подойти к каждому пробуждали у людей сознание своей значительности как тружеников и гордость за свой труд, за творческие искания в технологии. Приходили они к нему не только для того, чтобы доложить ему о своих успехах, но нередко и гневно пожаловаться на «зажим», на бюрократическое бездушие, на всякие препоны в их начинаниях, на «глушение» инициативы. Они показывали ему свои неумелые чертежи, объясняли, что и как облегчает их труд и повышает его производительность. Александр Серафимович долго изучал с тем или другим рабочим их чертежи, соображал что-то, потирая ладонью бритую голову, и вдруг задорно вскрикивал:

— Вот тут-то она ему и сказала... Не ругать, а бить вас мало. Как же это, батюшка мой? У вас же в руках неотразимое оружие. Завтра же мчитесь

в МК или к Серго. В драку лезьте, не щадя сил, и победа будет на вашей стороне. Чего вы возитесь с этой вашей публикой? Да, может быть, они и вредители... А ежели что — ко мне бегите: я сам вмешаюсь в это дело...

С молодежью он сам молодел — озорно шутил, смеялся, вспоминал свои студенческие годы, весело рассказывал о забавных подвигах московских студентов, о проделках молодых рабочих в борьбе с полицией. Находил он забавные случаи даже в дни исторического декабрьского восстания на Пресне и отмечал трагические факты в дни своего «подполья», когда он вместе с рабочими семьями прятался в погребах. Молодежь хохотала, смеялся и он. И неизменно взмахивал обеими руками и командовал:

— Дружным хором петь!! «Смело, братья, мы поспорим!!» А молодость не блекнет и в стариках.

И сам первый запевал дребезжащим баритоном какую-нибудь популярную песню, вроде «Вперед заре навстречу!».

Наша многолетняя дружба была крепкой и сердечной. Меня влекло к нему не только потому, что он был «человек во всем значении слова», но и потому, что у нас было единомыслие во взглядах на цели и задачи социалистической литературы, а совместная борьба за творческий метод кровно сроднила нас навсегда. Впрочем, кое-когда он обрушивался на мой нервный темперамент и отечески усовещевал:

— Умерьте вы, батенька мой, свой бурный нрав. В душе у вас все кипит и бунтует. Это — чудесно, но в художественном творчестве должна быть спокойная уравновешенность. Мудро сказал Чехов, что только тогда можно садиться к столу и браться за перо, когда все внутри перегорит и перебушует и становишься холодным, как лед. Но вас, вероятно, исправит могила. У вас каждый образ, каждая фраза раскалены, рисунок — резкий, краски слишком ярки, черты характеров густо подчеркнуты. Все это беспокоит читателя. А надо бы побольше пушкинского бесстрастия. Писатель должен быть строгим и величавым, как судья, и хорошо владеть собою.

Я возражал ему и запальчиво ловил его на противоречиях: как же согласовать его горячий, взволнованный «Железный поток» с призывом к пушкинскому бесстрастию? Я думаю, что он, Серафимович, вовсе не был холодным, как лед, когда писал эту свою поэму.

Он смеялся и тер ладонью свою бритую голову.

— Ах, идол! Спугнул-таки старого воробья. Но ведь в этом и главный недостаток повести. Впрочем, надо считаться со временем: годы-то какие были, когда создавалась эта вещь, — огненные годы.

Я пылко доказывал ему, что наша литература — боевая, наступательная литература. Она должна бить верно, метко — так, чтобы каждый образ разрушал старое, создавая и утверждая новое. Типично не только то, что отстоялось, окаменело, а и те новые рождения, которые вызваны революцией. Жизнь — не в пережитках, а в свежих, выбивающихся наружу, на солнце родниках. Не только данное, но и желаемое должно быть преображено в «перл создания». Старое, отжившее тормозит наше движение вперед, и это старое надо уничтожать, истреблять средствами искусства, а новое, вызванное к жизни революцией, возвышать, ярко освещать, не боясь даже преувеличений, потому что ростки нового — это действительность завтрашнего дня, это подлинная наша реальная действительность. Без революционной романтики нет настоящего социалистического искусства. Наша эпоха — эпоха героическая, эпоха великих созидательных подвигов, достойная воплощения в ярких, больших и глубоких образах. Поэтому рисунок должен быть резким, мазки смелыми, образы волнующими, зовущими, возвышающими и в то же время разящими: все, что мешает творческому расцвету и размаху нашей жизни, нужно беспощадно заклеймить. Не боясь преувеличений, необходимо густо подчеркивать отрицательные явления. Надо воспитывать непримиримую ненависть к застою, к инертности, к карьеризму, к стяжательству, ко всем эгоистическим грехам.

Александр Серафимович пристально следил за мною и, посмеиваясь, хлопал в ладоши.

— Сверкнула шашка раз и два — и покатилась голова! Да, сударь мой, верно: не чеховское теперь время. Нельзя сейчас мечтать, как его герои, о том, что жизнь будет когда-нибудь, этак через двести — триста лет, прекрасна. Эта жизнь уже — свершение. Она полна напряженной борьбы. Мы строим этот прекрасный мир в окружении свирепых врагов: надо быть бдительными, крепче держать оружие в руках. Надо в то же время воплощать будущее в настоящем, желаемое и неизбежное утверждать как данное. Тут художнику не обойтись без страсти, без своего действенного отношения к совершающемуся историческому процессу жизни.

И он раздумчиво заключил:

— Да, закон истории. Я жил и развивался в другой эпохе — в эпохе капиталистической. Многое впиталось от интеллигентских предрассудков конца прошлого столетия. Ведь я пережил и народнические иллюзии, и годы безвременья, и всякие уродства в литературных направлениях. Все это не проходило даром. Счастье нашей молодежи в том, что она начала жить в эпоху революции и гигантской борьбы миров.

Потом встрепенется, глаза заискрятся, и весь загорится юношеским одушевлением. Нетерпеливо потрет ладонью свою голову и задорно вскрикнет:

— Знаете что, батюшка мой, — поедем-ка путешествовать! Возьмем лодку... движок у меня есть... Этак на месяц, на два. Вниз по Дону. А? Право, чудесно!

И начнет рассказывать, как он плавал один в лодке по родному Дону, какие с ним забавные приключения происходили. Такие путешествия он совершал чуть ли не каждый год. Смотришь на него, бодрого, жадного до впечатлений, и думаешь: какой это большой жизнелюбец! И кажется, что в прошлом он никогда не болел, не слабел духом, а всегда отличался ядреным физическим здоровьем. Вероятно, он был когда-то богатырского сложения, как его сын Игорь, и, может быть, без особых усилий ломал подковы. Не поэтому ли у него такая неустанная потребность в движении? Помню наше совместное путешествие на машине

в Горький. Он часто садился за руль, сменяя сына, Игоря Александровича. Машина плохо слушалась его — капризничала, останавливалась, внезапно рвалась вперед, — но он упорно боролся с нею и добивался своего. Игорь Александрович нервничал и постоянно вмешивался. Александр Серафимович инстинктивно хватался за голову, тер ее ладонью и, смущенно посмеиваясь, вскрикивал:

— Ах ты, леший тебя возьми! Ну, погоди ж ты!.. Не мешай, Игорь!

По дороге нередко останавливались, он выходил из машины, чтобы размяться: размахивал руками, приседал, бегал вокруг машины. Во Владимире все почувствовали утомление, хотелось отдохнуть, выспаться за ночь. Но Александр Серафимович вдруг живо и вызывающе предложил:

— А знаете что, ребята... Какого лешего!.. Что мы будем валяться здесь: и номер паршивый, и с чаем плохо, и клопы слопают... Поедем в ночь!.. Как хорошо раненько влететь в Горький!.. Ока! Волга!

И мы поехали в ночь.

Я не много знаю людей, которые так любили бы дружескую компанию и испытывали такую неустанную потребность чувствовать около себя людей. Когда собирались у него друзья, непременно первый запевал песню. Пел он с наслаждением, самозабвенно. И очень был недоволен, если кто-нибудь молчал, сидел в сторонке.

— Пой, леший бодай тебя!.. Ну, дружно!.. — и размахивал руками, как дирижер.

А любил он именно русские — широкие, разливные — песни, особенно донские, казачьи.

Александр Серафимович был глубоко русским человеком и русского человека знал превосходно. В отличие от развинченных интеллигентов, от упадочных писателей девятисотых годов, которые, в сущности, не имели никакого понятия о народе, хотя нередко клеветали на него, он всегда глубоко верил в творческие силы русского человека, в его таланты, в его великое будущее. Всю свою жизнь он шел с ним плечо к плечу и с юности связал с ним свою судьбу. Он был непо-

средственным свидетелем и участником русского общественного и рабочего движения. Про него можно сказать словами поэта: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» А сколько таких роковых минут было за эти годы! И на все эти события он отвечал яркими, острыми повестями и рассказами. Он был подлинным летописцем общественной борьбы минувшего полстолетия. И широкие рабочие массы любили и читали его. Когда праздновали его шестидесятилетний юбилей, рабочие поднесли ему много подарков. Однажды он встретил меня в своей скромной квартирке на Трехгорном с блестящим паровозом в руках и с юношеской радостью сообщил:

— Вот-с, извольте полюбоваться, сударь мой! Рабочие депо преподнесли. Ну-с, беситесь от зависти! Вот тут-то она ему и сказала... Разведу пары и покачу, куда душа хочет.

Но глаза его были влажны от волнения.

Он чаще волновался от радости, чем от возмущения. Гнев его был спокойный. Но он был нетерпим к неправде, к лицемерию, к двоедушию, к политиканству. Одно из его выступлений против некоторых печальной памяти руководителей РАППа навсегда останется у меня в памяти. Он, как обличитель, стоял перед ними гневный, с болью в лице. Голос его дрожал, дрожали руки, но его слова хлестали этих людей в упор.

Он всею душой любил литературу — как выражение человеческого духа, как голос правды и совести, как проявление человеческого достоинства и благородства. С искусством нельзя играть, преступно делать его ареной карьеристских вожделений, политиканского шантажа, беспринципной борьбы. Литература — дело народное, дело священное. Она должна воспитывать и поднимать людей до высокого идеала. Творчество писателя — это и его личное поведение. Вот почему Александр Серафимович любовно и нежно относился всегда к начинающим и молодым писателям. Очень и очень многим он помог укрепиться, стать на ноги и выйти на большую дорогу. Я с благодарностью вспоминаю его дружескую помощь мне в первый год

пребывания моего в Москве. Он сам приходил ко мне в подвал на Смоленском бульваре, терпеливо слушал мои рассказы и наставлял меня с отеческой лаской. Этой отеческой лаской он смягчал самые суровые свои оценки незрелых произведений многих литераторов, укреплял в них веру в свои силы и указывал пути к достижению художественного совершенства.

Подходил он к каждому как равный, как друг и соратник. Он охотно спорил, твердо отстаивая свою точку зрения, но никогда не показывал вида, что больше знает, чем молодой, неопытный автор. Он не подавлял своей личностью, своим авторитетом, а, наоборот, всегда старался возвысить человека, окрылить его, одушевить для новых замыслов, для новой, более трудной борьбы.

Александр Серафимович славно прожил свою жизнь — как неустанный борец за правду, за высокое реалистическое искусство, за великие идеалы человеческой свободы и счастья. Целомудренно-честный, благородный рыцарь, с любвеобильной душою, скромный, простой и милый, он являлся образцом писателя-подвижника и гражданина-творца.

1938—1955

А. Г. МАЛЫШКИН

Зимою 1923 года я был на одном домашнем литературном вечере. Такие вечера в те годы устраивались чуть ли не каждым любителем литературы. Собирались обычно близкие люди и по вкусам и по симпатиям. В этот вечер читал свой рассказ А. С. Неверов. Каждый свой новый рассказ он обязательно читал друзьям, самолюбиво проверяя взглядом впечатление, какое он производит на слушателей.

Среди немногих гостей присутствовал новый человек, небольшого роста, коренастый, с резкими морщинами на лбу, с обветренным лицом. Он был малоразговорчив, точно стеснялся высказываться, но когда бросал несколько фраз, слова вылетали торопливо, невнятно, скороговоркой. Сидел он в военной шинели. На мой вопрос, кто этот молодой человек, хозяин сообщил:

— Как? Разве вы не знаете? Это же Малышкин, Александр Георгиевич, автор «Падения Даира».

Весь вечер он был сдержан, весь был спрятан в своей шинели. О рассказе Неверова он сказал резко и прямо:

— Рассказ написан честно. Но он не в моем вкусе. Я знаю деревню и не люблю пейзанской литературы. Теперь действительность требует от искусства суровой правды, а не народнического любования.

Неверов взволновался, начал горячо и много говорить о своем праве изображать деревенских людей так, как он живописует их, потому что он вырос среди мужиков и глаз у него верный. Малышкин слушал его невозмутимо, немного нахмурившись, потом оборвал его речь:

— Я не намерен с вами спорить и права вашего от вас не отнимаю. Я говорю только, что мое отношение к деревне иное, и ваш рассказ мне кажется приторным.

Неверов тогда сильно огорчился: мнением Малышкина он, очевидно, дорожил очень. По дороге домой он несколько раз повторял:

— Огромный талант этот Малышкин!.. Эх, если бы написать так, как он, хотя бы одну страничку, и я был бы счастлив...

Есть люди, похожие на тени: постоянно ускользают от наблюдения, к ним не подойдешь, не коснешься их души. Даже после долгих лет общения с ними трудно составить о них определенное мнение. И не потому, что это сложные натуры, а потому, что они бедны духом. Но есть люди, которые сразу привлекают внимание и с первой же встречи оставляют в душе неугасимый след. К такому типу людей принадлежал и Александр Георгиевич Малышкин. Помню, в тот же вечер я твердо решил, что это правдивый, честный и очень скромный человек. Резко бросался в глаза его демократизм и некоторая строгость и холодность в своем отношении к людям. Казалось, что этот ригоризм — от застенчивости, но, наблюдая его, я тогда же понял, что этот человек очень дорожит своим достоинством и знает себе настоящую цену. О себе, о своей работе он не сказал ни слова, но когда он делал замечания о книгах других писателей, сразу чувствовалось, что он предан литературе, живет ею и считает ее труднейшим и ответственнейшим делом.

— Писатель обязан владеть мастерством в совершенстве, — говорил он, — а это совершенство обусловлено глубоким знанием жизни, высокой культурой и умением орудовать ярчайшим синонимом. Речь

идет не о словесной игре, а о честном, совестливом отношении к слову, о неустанном, труднейшем искании самого объемного образа.

Так говорил человек, для которого искусство — его жизнь, его мысль, его поведение.

Первая половина двадцатых годов была эпохой бурного роста советской литературы: как-то одновременно и в Москве и в Ленинграде появилась целая плеяда очень ярких и смелых талантов. Их имена быстро стали популярными среди читателей всей страны. И среди них имя А. Г. Малышкина было одним из оригинальных и значительных.

Сошлись мы с ним не сразу. Нередко встречались в литературных объединениях, но сближению мешало, очевидно, многолюдие. Впервые по-настоящему связались мы дружбой в то время, когда он привлечен был к редакционной работе в журнал «Новый мир». Тогда он печатал в этом журнале свой «Севастополь».

Жил он в Бутиковском переулке, в районе Остоженки, в очень неприютной квартирке. Мы стали бывать друг у друга. И тут впервые я узнал, как красив и духовно богат был Александр Георгиевич. Живой, веселый, впечатлительный, он был удивительно нежный и душевный человек. Он способен был согреть своим сердцем, своей лаской, своим всегда кипучим словом всякого, кого он считал своим товарищем или к кому он питал симпатию. Общение с ним было всегда приятно и радостно. В беседах по литературе он всегда обогащал друзей, освежал остроумием, неожиданностью, оригинальностью своих мыслей. Он любил посмеяться, а смеялся он особенно: весь отдавался смеху. Если кто-нибудь слышал его, непременно отмечал, что это смеется хороший человек.

Я не часто встречал в жизни людей, которые были бы так бескорыстны, искренни, горячи и верны в своей дружбе. На дружбу он смотрел не как на простое, житейское, ни к чему не обязывающее компанейство, а как на серьезную человеческую связь на основе общности взглядов, убеждений, чувств. Дружба для него была святым долгом по отношению к близкому человеку.

— Дружба — это серьезное дело, — говорил он, будто прислушиваясь к себе. — Дружба — это событие в жизни человека. В дружбе выражается его характер и вся его суть.

Свою верность дружбе Малышкин не старался доказывать: она была его поведением. С открытой душой встречал он близких товарищей и был всегда нежен с ними. Он никогда не мог спокойно переносить несправедливых оценок или злословия по отношению к писателю, которого он уважал, не говоря уже о своих друзьях. Приходилось мне встречать много людей ярких, даровитых, сильных характером и душевно чистых. Это были красавцы люди, преданные делу рабочего класса и крестьянства, горевшие идеей социалистической революции. Они ненасытно любили жизнь и умирали без страха. Знал я и немало людей созидательного труда и в области современной промышленности, и в науке, и в искусстве. Это были самоотверженные революционеры, беспокойные умы и прекрасные сердца. И мне они особенно дороги своим бескорыстием, удивительной правдивостью и прямотой. Было бы чудовищно для кого-нибудь из них покривить душой, допустить неискренность, ложь, нечестность. Они не терпели политиканства, игры в дипломатию, лести, подхалимства, карьеризма. Скромность и строгость к себе были отличительной их чертой. Таким был и Александр Георгиевич. Были случаи, когда при нем кое-кто за глаза злословил и клеветал на общих знакомых, а в глаза говорил им приятные вещи, льстил и оказывал всяческое уважение. Александр Георгиевич не мог выносить таких людей: его охватывал гнев, и он резко, без стеснения обличал их в двоедушии. Он рьяно выступал на защиту опороченных и со свойственным ему благородством подчеркивал их достоинства.

— Я требую, — сурово говорил он, — чтобы вы сказали в лицо такому-то, что вы о нем думаете. Я знаю его хорошо и считаю, что вы клевещете.

Был такой случай: один из «теоретиков» в передовой статье, напечатанной в некоем критическом журнале, пренебрежительно отнесся к известной книге

советского писателя. Малышкин немедленно заявил свой протест, а потом, встретив однофамильца этого «теоретика», публично набросился на него:

— Это вы позволили себе недостойную выходку против такого-то?.. Как вы смели допустить такую подлость?

И когда выяснилось, что этот критик не имеет отношения к автору статьи, он радостно крикнул:

— Как я рад, что ошибся! Прошу меня извинить.

— Я вполне понимаю ваше негодование, — утешил его критик.

— Но некоторые из критиков не понимают, как вредно личное пристрастие. Топтать цветы в саду и ломать деревья — это дико, некультурно, но в этом иные находят удовольствие. Искусство — это высшая культура, а художник вправе требовать честного и внимательного отношения к своему творчеству. Ничто так не способствует росту литератора, подъему его творческого духа, как поощрение и, самое главное, умная и любовная, то есть справедливая и поучительная критика. Зубоскальство, суесловие, злонамеренность, предвзятость — от невежества, от некультурности, от мещанской низости. Критик, если он революционер и гражданин, должен быть мыслителем и обладать способностью удивляться.

Вот почему Александр Георгиевич так пристально и трогательно относился к каждому способному литератору. Над рукописями молодых и начинающих писателей он работал долго и настойчиво. Он заставлял авторов перерабатывать рассказы и повести много раз и внушал:

— Надо обязательно довести дело до конца. Это трудно, но в этом вся суть и прелесть работы художника.

Иногда доводилось ему встречать неблагодарное отношение к нему автора, но он не озлоблялся, а грустно посмеивался:

— Ну что ж... кишка не выдержала... Значит, толку из этого человека не выйдет. Тот, кто дело до конца не доводит, неудачник, грош ему цена.

Но по-юношески радовался и ликовал, когда молодой писатель работал над рукописью упрямо и относился к себе самокритически.

— Замечательный парень! Хороший будет писатель. Талант — это любовь к делу и настойчивость в преодолении препятствий.

Он и сам работал над своими книгами с беспримерным усердием и с беспощадным самокритическим упрямством. Он повторял:

— Самое важное в работе писателя — это борьба с трудностями. Чем больше сопротивление материала, тем плодотворнее борьба. Чем напряженнее борьба, чем труднее поиски слова, тем значительнее результаты. Яркий синоним — одно объемное слово из тысячи, — вот что составляет секрет писательской удачи.

Работал он систематически каждый день утром и вечером. И когда был доволен своей работой, прибегал обычно веселый, радостный, с громким, откровенным смехом и скороговоркою сообщал:

— Работал сегодня превосходно, с увлечением. Исписал три четвертушки, но все уничтожил. Ни-че-го, кроме зачеркнутых страниц. И все же... и все же нашел... Нашел одно ядреное словечко. Это словечко не умрет... Нет! Я очень доволен и счастлив. Борьба кончилась победой. Какая чудесная вещь это искусство!

Зимой 1932 года мы жили в доме отдыха в Абхазии. Условия для работы были отличные. Там Александр Георгиевич начал свой последний роман «Люди из захолустья». Комнаты наши были смежные, окна выходили на восток, в мандариновый сад. Вдали, на склоне, зеленели маслины, а за горой голубело и сверкало море.

Работали мы до двух часов дня. Несколько раз он забегал ко мне в комнату и смущенно просил извинения за беспокойство.

— Можно прочесть? Пожалуйста, послушайте...

И читал несколько страниц, пестрых от зачеркнутых слов и фраз. Чтение его занимало минуты две — зачитывал он буквально несколько предложений. Но какие это были чудесные слова! Он настой-

чиво требовал строжайшей критики и, слушая мое одобрение, огорчался:

— Нет, вы хвалите меня потому, что любите...

Но когда выслушивал замечания, строго и вдумчиво смотрел на свой неразборчивый карандаш и жестко говорил:

— Да, совершенно верно. Так. Не доборолся. Не докарабкался до вершины. Я это смутно чувствовал. А если есть это ощущение — ощущение хотя бы смутной неудовлетворенности, надо не останавливаться, а добиваться до конца.

На авторском экземпляре «Людей из захолустья», вспоминая об этих днях нашей совместной жизни, он написал: «На память о лазурной Псырцхе, где я читал Вам первые страницы. Спасибо за помощь!»

Он очень глубоко чувствовал слово; сияние, свежесть его он ощущал чрезвычайно тонко. Среди хаоса словесного звучания он вдруг схватывал отдельные образы и в смятении вспыхивал: вот оно! здорово! чудесно!

Каждый день раза два мы гуляли по берегу моря и по обширному парку бывшего монастыря. Он останавливался, смотрел на горы, на скалы, на море и как будто ловил смену красок и волнение жизни природы.

— Смотрите: кажется, что скалы желтые, а лес бурый, а на самом деле — замечаете? — скалы сиреневые, а лес фиолетовый, с дымом.

Особенно его влекло море. Он мог очень долго бродить по берегу, слушать плеск волн и следить за игрой света на зеркальной поверхности, которая сливалась с небом.

— Люблю море. Оно — живое и никогда не повторяется. Оно рождается каждый миг, и этот миг — новое перевоплощение. Оно похоже на великого художника, у которого каждый мазок — гениальная неожиданность. Море — необъятно и огромно, как жизнь.

Александр Георгиевич был очень интересный собеседник. Мы оба любили природу — землю и небо, которое так же близко и прекрасно, как земля. Оно —

тоже наша родина. Мы оба были поэты и о звездах, планетах и бесконечности говорили как лирики.

— Мы, писатели, не знаем своего неба, — говорил он раздумчиво, — а в древности судьбу человека связывали со звездами. Отсюда выражение: родиться под счастливой звездой. Недаром в далекие времена люди населяли небеса своими героями со всем их хозяйством — скотом и утварью. Сейчас же небо осталось только во владении астрономов. Нам же, писателям, надо знать вселенную: она заставляет размышлять и удивляться человеческому могуществу.

Он вспоминал свое детство в Мокшане и гимназическую юность в Пензе. Трудно шел он к высокой жизни в эти годы. Он познал тогда унизительную зависимость от чужих людей, свою сиротливость, но и впервые испытал радость борьбы за свое достоинство. С тех пор он начал удивляться неисчерпаемой силе человеческой энергии и дару человека творить чудеса.

Мы понимали друг друга. В моей жизни было больше горя, всяческих бед и напастей, чем у него; мне труднее было бороться и побеждать препятствия, чем ему. Я не учился ни в гимназии, ни в университете, моим вузом была сама действительность, люди, тюрьма, книги. Мне пришлось завоевывать право на жизнь своим горбом. Но я так же хорошо знал, как и он, какой дорогой ценой достигается счастье познания, то есть удивление красоте человека, его дерзанию и творческому величию как борца и деятеля. Мне иногда приходилось обращаться в минуту усталости за помощью к большим людям — к Короленко, к Горькому, — а Александр Георгиевич, будучи студентом, находясь в среде культурного общества, предпочитал бороться самостоятельно. Впрочем, он, кажется, не выдержал и однажды обратился за советом к тому же Короленко.

По характеру своему Александр Георгиевич был очень жизнерадостный человек: горячий, искренний; он любил шумное веселье, хорошую песню, музыку и остроумную шутку.

Его последней радостью был выход из печати его книги «Люди из захолустья». Хорошие отзывы критики о ней обрадовали его. Он весь светился и повторял:

— Я чувствую прилив новых сил. Сажусь за работу над последней частью с уверенностью, что напишу ее хорошо. Удивительно, как благотворно поощрение... Писателю необходимо верить в свои силы, чтобы работать продуктивно. Пустота, молчание или ругань страшно понижают работоспособность и разоружают художника. У него опускаются руки, и он блекнет. Художник — общественный человек: он связан с людьми тысячью нитей, и его слово требует отклика. Можно быть глухим, как Бетховен, но хорошо слышать волнение людей.

Как командир запаса, Малышкин не раз призывался к отбыванию лагерного сбора. Участвовал он однажды на весенних маневрах в Закавказье. Части Красной Армии проводили условные военные действия в горной местности. Александр Георгиевич рассказывал:

— Впервые мне пришлось делать труднейшие переходы по горам. Думал, не одолею этих страшных высот и скал: вырос я на равнине, горы видел издали, а тут извольте брать их с бою!.. Но удивительно, понимаете, хорошо было. Никогда я не чувствовал такого прилива сил и храбрости. Знаете, до иллюзии я испытал весь боевой пыл сражения. Только и было одно в душе — бить и крушить врага. Даже бессонные ночи, постоянное напряжение было для меня потребностью. И, как в былые дни гражданской войны, я чувствовал, нет, не чувствовал, а просто всем существом сливался с этой огромной силой человеческого массива, где каждый мой шаг, каждое мое действие были только волей и целью этой сплоченной, монолитной массы. Собственно, себя как личность я ощущал по-особому — сильным, богатырски неотразимым. Помню, брали мы одну неприступную возвышенность. Я горел в этом бою, нитки сухой не было, запалился, но рвался вместе со своим подразделением все выше и выше. Был момент,

когда мы после удачного обхода врага бросились врукопашную. Я не особенно способен к крику и реву, но, кажется, никогда в жизни так победоносно не орал «ура», как в эти минуты. Мы были героями, я и смеялся, и боролся со слезами от счастья.

И, рассказывая об этих событиях, Малышкин волновался, и у него блестели глаза и дрожали руки.

— И я понял, — заключил он с убеждением, — что мы, русские, никогда, ни при каких условиях не позволим никому, даже сильнейшему и свирепейшему врагу, захватить нашу землю. И потому что мы, самые трудолюбивые люди, сумели сами отвоевать свою свободу, свое достояние, свое государство, да еще построить его так здорово (он с гордостью подчеркнул слово «здорово»), мы будем драться со всяким врагом так же здорово. Народ наш — носитель правды, а это безгранично объемное слово. Ни в одном языке нет такого слова, с таким огромным содержанием. А носитель правды непобедим. Мы и правдой живем хорошо, мы и дрались за эту правду хорошо и будем драться не на жизнь, а на смерть.

Захват власти в Германии Гитлером он встретил с ожесточенным гневом. Мы не раз толковали с ним об этом позорном и мрачном для немецкого народа событии как о страшном преступлении. Массовые, кровавые расправы с рабочими, с коммунистами, с интеллигенцией, сожжение на кострах книг, уничтожение культурных ценностей — все это потрясало Малышкина. Лицо его серело, всегда горячие глаза застывали от жгучей ненависти к фашизму. Он весь дышал мщением.

— Это наш кровавый враг, страшный враг. Об этом надо помнить всегда, даже во сне. Нам неизбежно придется с ним воевать, воевать жестоко и долго. Это будет самая кровопролитная война. И я первый пойду на этого варвара и хищника в первых рядах. Я дождусь этого дня и буду драться... ненасытно, беспощадно драться.

Александр Георгиевич мучительно и злобно страдал, сжимая зубы, когда читал в газетах о зверствах

гитлеровских штурмовиков, о порабощении немецкого народа, о «расистском» вандализме фашистов.

— «Сатана там правит бал...» — скороговоркой, как бы про себя, отмечал он и старался дрожащими пальцами стереть со лба резкие морщины. — Да, это свора псов и палачей. И где, в какой стране! Какое адское издевательство над народом, который дал миру Гёте и Шиллера, Маркса и Энгельса, Моцарта и Бетховена! Страшное уродство истории.

Пламенный патриот своей социалистической родины, Малышкин не дожил до великих дней священной Отечественной войны с этими страшными уродами истории, с этой дикой сворой псов и палачей. Но его непримиримая ненависть к этому врагу рода человеческого, смертельному врагу народов, жизнь которых бессмертна в своей правде, жива в сердцах его друзей и в сердце каждого советского человека. С этой ненавистью, во имя свободы и правды, все от мала до велика шли на самоотверженную борьбу с извергами и людоедами.

Свалился Александр Георгиевич быстро. Мы часто гуляли с ним по Ордынке, и он жаловался на сильные боли в груди. Потом он слег. Я пришел к нему в тот же день и увидел трупно-серое лицо. Он смотрел на меня печально и покорно. Ясно было, что он обречен. Его положили в больницу, и я расстался с ним навсегда.

1939—1955

ВСТРЕЧИ С МИХАИЛОМ ИВАНОВИЧЕМ КАЛИНИНЫМ

В самом начале 1921 года Новороссийск посетил Михаил Иванович Калинин. Были довольно напряженные дни дискуссии перед Десятым съездом партии. Как и всюду, люди спорили жестоко, до изнеможения. Демагогические и провокаторские выступления оппозиционеров раздражали и возмущали огромное большинство рабочих, и среди них все чаще раздавались голоса, которые требовали прекратить «свалку» и не трепать партию. Рабочие массы Новороссийска обладали здоровым чутьем и обычно прогоняли с трибуны оппозиционеров.

Весть о том, что Михаил Иванович приехал для заключительной дискуссии с троцкистами и так называемой «рабочей оппозицией», взволновала рабочих. И на заводах и в учреждениях раздавались ликующие голоса:

— Ну, приехал Калинин! Теперь крышка всем горлопанам и анархистам!

Огромное помещение железнодорожной столовой было набито битком. И когда появился Михаил Иванович, его встретили овацией. Он показался мне почему-то очень знакомым человеком: где-то в былые годы я встречал и близко знал его! Потом понял, что облик Михаила Ивановича был типичным для профессиональных революционеров. Он был похож одновременно и на пожилого рабочего, и на интелли-

гента. Что-то в нем было старомодно-русское, народническое. Одет он был скромно: пиджак сидел на сухощавой фигуре ладно и к лицу. Лицо, с остренькой русской бородкой, сдержанно улыбалось. Пристально и как будто знающе поглядывая через очки на туго сбитых людей, он наклонился к молодому белобрысому человеку, своему «оппоненту», и что-то сказал ему. Плечи его затряслись от веселого смеха. Молодой «оппозитор» раздражительно дернул плечами и отвернулся. Многие без слов поняли смех Михаила Ивановича и раздражение его противника; в разных местах дружно засмеялись.

Михаил Иванович говорил просто, уверенно, со скромным, но внушительным убеждением, и эта речь его была совсем не ораторской, да и держал он себя попросту, как у себя дома, и на виду у всех крутил большие папироски. И эта простота и уверенность человека, который находится в своей среде и знает, что он близок всем и понятен, что он выражает и защищает мысли и заветные чаяния народа, что иронически улыбается он неубедительному краснобайству «оппозиторов», не сомневаясь в своей правоте, потому что за ним — Ленин, партия, рабочий класс и трудящееся крестьянство, — все это незаметно сделало его родным и интимно близким.

После одного крикливого оратора Михаил Иванович встал, строго оглядел всех поверх очков и проникновенно произнес, подчеркивая рукою слова:

— С нами Ленин, товарищи. Рабочий класс и Ленин — нераздельны. Кто создавал и укреплял нашу партию? Ленин. Под чьим водительством совершена Октябрьская революция? Под водительством Ленина. Кто обеспечил победу над белогвардейщиной и интервенцией? Ленин. Он наш учитель и вождь. Куда же и за кем мы пойдем, как не за Лениным? Он знает, куда идти, и ведет нас по твердому и ясному пути. А ведь Ленин-то никогда не ошибался, товарищи.

И победоносно взглянул на своих оппонентов. «Оппозиторы» запротестовали, но овация и торжествующие крики заглушили их протесты.

При голосовании «оппозиторы» оказались в позорном одиночестве.

Между Калининым и народом с первой минуты установилась душевная связь. Говорил ли он, или отвечал своим оппонентам острой фразой, он обращался к людям, обличительно качая головой или отмахиваясь от нелепостей противника. На каждый его простецкий жест, на каждую насмешливую реплику, на каждое его безмолвное, но понятное и дружеское обращение к собранию вся масса людей сочувственно отвечала смехом и аплодисментами. В разных местах, и далеко и близко, уже раздавались крики:

— Долой раскольников! Уберите дезорганизаторов! Круши их, товарищ Калинин! Да здравствует Ильич!

Он с лукавым упреком посмеивался навстречу этим крикам и успокаивал всех рукою: потерпите, мол, немного...

Таким простым, своим человеком, совсем не официальным, не всесоюзным старостой, а веселым товарищем, искренним и сердечно доступным, — таким запомнил я его с этого бурного дня.

Потом, уже в Москве, я иногда встречал его на Моховой. Он шел из Кремля в простеньком пальтишке, в кепке, надвинутой на глаза, — шел спорым, деловым шагом, сухонький, незаметный среди прохожих, и, сутулясь, уткнув в грудь серенькую бородку, всегда сосредоточенно думал о чем-то. Лицо его было очень серьезным, даже немного строгим. Некоторые прохожие останавливались и шептали друг другу:

— Михаил Иванович идет... Видите? Калинин.

И провожали его теплыми и ласковыми взглядами.

— Душевнейший человек!.. Всесоюзный любимец!

А однажды я тоже остановился, чтобы посмотреть ему вслед: шел он твердо, по-молодому, и как будто торопился к себе в приемную, сосредоточенно-заботливый. Он поднимал время от времени голову и посматривал по сторонам. Кто-то позади меня громко и уважительно сказал:

— Вон он, наш мудрый старик.

Кто-то другой ответил:

— Да... сердце народное...

Потом уже, как член редколлегии «Нового мира», я вместе с товарищами бывал у него на Моховой и в Кремле. Михаил Иванович близко к сердцу принимал дела этого журнала, горячо интересовался работой редакции, иногда прочитывал рукописи, обсуждал вместе с нами план журнала, жестко, но добродушно критиковал малоудачные вещи, пропущенные через журнал, давал советы и всегда настойчиво требовал не забывать великих художников прошлого и хранить лучшие традиции классической литературы.

Ярко запомнилась первая моя встреча с ним в начале тридцатых годов. Был морозный зимний день. В небольшом кабинете на Моховой уютно, тепло и по-домашнему просто. В камине буйно горели дрова, а Михаил Иванович, похаживая по комнате, подходил к камину, ворошил кочережкой догорающие головни и изредка подкладывал новые поленья. Очевидно, ему очень нравилось здесь чувствовать себя как дома — раздумчиво похаживать и подкладывать в камин дрова. Думаю, что всякий, кто посещал его в этой комнате, чувствовал себя хорошо, непринужденно, как у гостеприимного друга. В сером пиджаке, в теплом вязаном жилете, он говорил словоохотливо, с умненькой улыбочкой, с лукавинкой в молодых глазах и посматривал на собеседника как-то себе на уме, из-под бровей, поверх очков. Казалось, он проверяет того, с кем говорит, и уже заранее знает, что тот думает и что скажет. Чувствовалось, что человек силен житейской мудростью и большим опытом революционной борьбы. Эта домашняя простота, непринужденность, искренность и постоянная сутулость — не стариковская, а такая, какая бывает у думающих и озабоченных людей, — сразу же успокаивали и располагали к откровенности.

Не помню всего, о чем шла беседа в тот день, — вероятно, больше о редакционных делах. Но в памяти остались те моменты, когда Михаил Иванович оживленно, с молодым увлечением говорил об

огромном воспитательном значении художественной литературы.

— Ведь в былые годы, когда мы росли духовно и набирались сил, в художественной литературе мы искали ответов на все волнующие вопросы. У нас были любимые герои, любимые писатели, на которых мы смотрели как на учителей жизни. Это были властители дум. Взять хотя бы таких людей, как Чернышевский, Салтыков-Щедрин, а потом наши современники — Короленко, Горький... Конечно, наша литература молодая, новая, у нее — и новые пути, и новые задачи, и новое содержание... но и средства должны быть новые. Ведь и Пушкин начинал собою новую эпоху в литературе! Нельзя забывать этого и делать какие-то скидки. Да и наследство у нас огромное. Учиться надо, искать, бороться, а не идти по проторенным дорожкам. У нас есть даровитые и оригинальные художники, и вооружены они самым передовым мировоззрением. Надо быть в искусстве революционером, искателем, борцом во имя большого, всеобъемлющего идеала. А главное — не забывать Ленина... по нему равняться, у него учиться.

Как-то он с добродушной строгостью говорил одному известному литератору:

— Искусство — это правда. Только правда убедительна и неотразима. Где нет правды — нет и искусства. Или это будет подделка под искусство. Я не про вас это говорю, но скажу прямо, по совести: вот вы в своих романах рисуете людей... Да разве такие люди бывают? И говорят-то они не как люди. И язык-то изломанный, надуманный. Нет, не так все было, и людей вы подделали. Фальшь!.. А почему? Жизни не знаете и людей не знаете. Сочиняете.

Писатель начал было оправдываться, доказывать свою правоту и что-то заговорил о своих взглядах на искусство.

Михаил Иванович пристально глядел на него, и в глазах его играли лукавые искорки. Потом глухо засмеялся и отмахнулся от смущенного литератора.

— Будет вам! Правда-то сильна тем, что она не оправдывается.

В одно из свиданий в Кремле Михаил Иванович с той же простой и безыскусственной искренностью, с дружеской задушевностью говорил о новых книжках молодых писателей. Время от времени он поднимал палец и, как будто прислушиваясь к нему, решительно подчеркивал им то или иное слово.

— Знаете, у них есть этакий острый глаз. Много замечают и художественно угадывают. Они достаточно закалялись в жизненной борьбе, они переболели опытом. И я верю, что они станут хозяевами своего богатого опыта и знания людей. Надо ездить по стране, иметь постоянную связь с людьми, быть в водовороте нашей напряженной жизни. Ведь никогда, кажется, не было таких возможностей обогащать себя наблюдениями, как сейчас. Жизнь открыта, широка, многогранна, и люди вышли на свободу. Черпай обеими руками! Идеал нужен писателю, своя ганнибалова клятва.

Однажды на юбилейном вечере «Нового мира», в 1934 году, он сказал о советской литературе так:

— Наша литература — это еще — ну, как бы сказать? — пароход на Волге. Неплохо! Почтенная величина — пароход. Но этого мало: узкие берега и не глубоко. А наша жизнь — океан. И вот литература наша должна уже выйти в открытое море. Ей надлежит быть океанским кораблем.

Беседуя у себя в Кремле с писателями, он ходил по большому кабинету, вдумчиво улыбался, взмахивал рукою или садился за стол и рассуждал как бы сам с собою. Я уверен, что говорил он о литературе не потому, что перед ним сидели литераторы. Он думал о литературе постоянно, жил ею с самых юных лет, она для него и до конца дней была одной из высоких его потребностей. Я всегда чувствовал в нем большого поэта в душе. Он умел трогать человека до глубины. Мне неловко говорить о себе, но не могу умолчать о том, как он однажды подробно расспрашивал меня, много ли я работаю, как работаю, и сам начал говорить о моей «Энергии», вспомнив, кстати, о «Цементе», который он назвал книгой «эпохальной». Он проникновенно указывал на некоторые недостатки

«Энергии», подсказал мне, что нужно было бы сделать для следующего издания. Потом откинулся на спинку стула и неожиданно сказал, лукаво посматривая на меня:

— А ведь я узнаю прототипов-то ваших героев. С молодости боролись плечом к плечу. Колоритные фигуры. Ну, Орджоникидзе в своем природном виде, хотя, как и всякий портрет у живописца, чуть-чуть романтизирован. Но это не грех, очень не грех. Только советую вам: не пишите портретов со здравствующих людей, а то привлекут за диффамацию... в ту или иную сторону. Живые прототипы можно брать за натуру, только типизируя их. Имея характерный прототип, легче писать и густыми красками. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что всякий полнокровный тип — это удачно найденный прототип.

Он засмеялся, и смех у него был свой, особенный — беззвучный, но заразительный, от души. Не знаю, как другие, но я лично убежден, что веселость была свойством его характера. Мне кажется, что очень любил он пошутить, поиграть с близкими людьми, поспорить и прижать к стенке спорщика, задорно пошпиговать его острым словцом, а потом посмеяться добродушно. Таким почувствовали его и новороссийские рабочие.

Закручивая толстую папиросу, он говорил:

— Фабричные папиросы как-то не по мне. Привык к табачку. Сам кручу. Вы не стесняйтесь — курите. С папиросой как-то и разговаривать приятнее.

Он начал выспрашивать меня, где я родился, как рос, как рано научился грамоте.

— Волжские мужички — строгий и крепкий был народ. Много старообрядцев со своими устоями. Хорошо, упорно боролись с попами и полицией. Знаю их. Да и бунтари были непримиримые.

Он оживился и нацелился на меня пальцем.

— Вот набрались бы мужества и написали бы книгу о вашем детстве в тогдашней деревне, о мужиках, о тогдашней беспокойной жизни. Напрасно говорят, что тогда жизнь была глуха и неподвижна, а люди покорны, забиты и несли крест святого непротивления. Это кающиеся дворяне выдумали для

успокоения своей совести. Мужички красноречивее разъяснили им себя в девятьсот пятом году. Вот тоже и рабочие... Вы росли в трудное и напряженное время. О рабочих у нас в те годы совсем мало писали, и сейчас некому писать о первых шагах рабочего движения. Кроме горьковской «Матери», ни одной яркой книги нет. А то, что появлялось, было сплошной жалобой на безрадостную жизнь. Но главного в жизни рабочих никто не увидел из тогдашних писателей — активного недовольства, классовой ненависти, стремления к борьбе. У тогдашнего рабочего не было безнадежности: он метался, тосковал, мечтал о лучшей, справедливой жизни. Были среди них очень даровитые люди, твердые характеры.

Я признался ему, что такую книгу я уже пытаюсь написать.

— Вот это хорошее, очень хорошее дело... — одобрил он, напирая на «о» и пытливо посматривая на меня поверх очков.

Потом улыбнулся и неожиданно спросил, вспоминая что-то из прошлого:

— Вы в салоне такой-то не бывали в Петербурге?

— Нет, Михаил Иванович, ведь я жил в глухой провинции.

— А интересное было время. Бывало, входим мы, рабочие, в этот барский салон... полы-то — паркетные, блестят, шелковые драпри, богатая мебель. Хозяева-то важные — аристократы, и гости важные — известные общественные деятели, публицисты, теоретики. А мы, рабочие, хоть и приодетые, но из цехов, такие неуклюжие. С нами и Ильич ходил.

Михаил Иванович засмеялся тепло и очень мило.

— Ну, и продирали же мы этих общественных деятелей! Ильич просто их опрокидывал.

С живой непосредственностью он поднялся со стула и быстро прошелся по комнате вдоль длинного стола.

— Кстати, об Ильиче. Дело было в самые страшные дни, когда, казалось, наша судьба держалась на паутинке. Посылает меня Владимир Ильич на фронт, к Орлу. Приезжаю, хожу по частям. Красно-

армейцы голы, босы, голодны... Но удивительно: все бодры, рвутся в бой, огромная вера в победу, в реальность близкой цели. Выступаешь перед ними — на руках носят, с полслова понимают. Скажешь им: «Ленин привет прислал вам, товарищи!» Так и говорить не дают — буря! Словно сам Ленин приехал. С обратной дороги являюсь к Владимиру Ильичу, а он быстро вбегает в комнату, потирает голову ладонью и весело смеется. «Ну, говорит, как? Швах дело?» Вижу, испытывает, с этакой подковырочкой подходит, а в глазах огоньки играют. «Нет, говорю, Владимир Ильич, положение на фронте крепче, чем когда бы то ни было. Все уверены в разгроме Деникина. Боевой дух высокий. Нам нечего беспокоиться». Нужно было видеть, как Ленин радовался и горел. «Отлично, отлично, товарищ Калинин! Все ясно, как божий день!»

И Михаил Иванович сам взволнованно шагал по комнате, поглаживая ладонью по волосам, и растроганно смеялся. Потом вспомнил, как он в Кронштадте неожиданно оказался в кольце белогвардейского восстания. Казалось, что выхода не было: вот-вот его схватят белогвардейцы. Но Михаил Иванович вышел из этого кольца спокойно, почти на глазах у врагов. Революционный навык прошлого не теряться в критические минуты и пользоваться нужным мгновением помог ему спастись от гибели. А о приезде его в Кронштадт белогвардейцы знали и были уверены, что он — в их руках. Рассказывая об этом, Михаил Иванович потирал руки, точно это событие было только забавным приключением.

Не поэтому ли все его жестокие и откровенно беспощадные оценки тех книг, которые ему не нравились, не были обидны авторам, когда он говорил с ними лицом к лицу. Он был похож в эти минуты на доброго друга или на отца, который наставлял на путь истинный. Скажет правдивое слово, ударит больно, а сам ласково и задорно улыбается.

В одно из моих посещений Михаила Ивановича у нас зашел разговор о поэзии. Как и всегда, мне пришлось изумляться, откуда у этого занятого огром-

ной работой человека берется время, чтобы следить за текущей литературой и, в частности, за работой наших поэтов.

— Теперь поэты норовят лучше Пушкина писать, — пошутил он, усмехаясь. — Неплохо пишут некоторые, но кой-кого треплет лихорадка: обязательно им надо и стих исковеркать, и слова какие-то вертлявые придумать. Что Пушкин! Что Лермонтов! Очень уж обыкновенно и просто, в зубах навязло. Ну-ка, закрутим и запутаем по-чудному, чтоб с панталыку читателя сбить. Читаю и не понимаю, а если и понимаю, то злюсь и протестую. А ведь, поди-ка, авторы-то думают, что они оригинальные новаторы. Но ведь ни капли у них нет искреннего чувства — все от фокусов, от притворства, от формалистической игры. А что такое лирика? Это — музыка души, песня сердца, это — глубина переживания. Тут не до фокусов, когда душа болит или радуется. Почему наши русские песни так хватают за сердце? Потому что страданья свои, печали и горести или свое веселье люди выливали от всей полноты чувства. Помните «певцов» Тургенева? Слушают люди и плачут. Или Некрасов. Или Шевченко. Кстати, Шевченко-то надо без перевода читать. А тут этакий новатор начнет уродовать слова да нагромождать в одну кучу — и такой кавардак в глазах и в голове, что хочется отчураться и окно настежь открыть. Создается мода, а неустойчивые даровитые люди слепо подражают ей. И вот, глядишь, дарованье-то и вянет. А творить — значит петь своим голосом. Быть самим собой — значит идти своей дорогой, а не плестись в хвосте и не напяливать на себя плаща с чужого плеча. Ничего нет противнее позы, вывертов, фиглярства в поэзии. Пушкин мудро сказал когда-то: «Слова поэта — это уже его дела».

На редкость правдивый и непосредственный, Михаил Иванович не выносил никакой декламации, в какой бы форме она ни выражалась. Он терпеть не мог ораторов, которые говорят штампованными, чужими фразами, готовыми формулами.

— Или у человека нет своих мыслей, — говорил

он с печальным негодованием и с усмешкой осуждения, — или он хочет скрыть свои мысли под хламом избитых слов, или просто хочет обмануть слушателей казенной болтологией. Но ведь люди-то у нас — живые, не болваны, не марионетки: они очень хорошо чувствуют и понимают, где правда, искренность, убеждение, а где ложь, маскарад, чиновничий пафос. Такого, прости господи, совсем не слушают — или дремлют, или уходят с заседания. А вот выступит какая-нибудь работница да распахнет душу — все выложит, что у ней накопилось, да по-своему, по-рабочему, с поговорочками, с природным своим юмором, или с злой насмешечкой, или с горестным крепким вопросом, — а сотни людей сразу же оживают, начинают жадно слушать, точно перед ними двери раскрылись и все вырвались на свободу. А всколыхнуть душу, растревожить заветные думы — это и есть свойство народного трибуна и честного борца за свободу. Так говорил с народом Ленин. Кто много мыслит и чувствует, тот просто и ясно говорит и многое дарит людям. Вот это самое я мог бы сказать и нашим писателям. Совсем не главное дело — пухлую книгу написать, да еще торопливо, банально, истасканными словами. Слов-то много: вязнешь, задыхаешься в словах, а содержание мизерное. Такая пухлая книга вызывает жуткое ощущение скуки, как тот штампованный оратор, о котором я говорил. А наши писатели почему-то все торопятся такие толстые тюки готовить. Нет, лучше меньше, да лучше. Важно писать экономно, ярко, сильно, со тщательным отбором только необходимых слов — так, чтобы эти сильные немногие слова раскрывали огромное содержание. Чехов умел это делать изумительно. Его рассказ «Невеста» сто́ит в тысячу раз больше, чем все Потапенки, Шеллеры-Михайловы, Эртели, не говоря уже о Саловых, Барыковых, Боборыкиных... Были такие, да быльем поросли. Эту чудесную тайну творчества надо постигнуть у Антона Павловича. А ведь книга — это исповедь автора, это — человек. По книге можно судить о ее создателе: кто он? куда идет? какие воз-

вещает истины? какие открывает горизонты? что нового увидел он в нашей действительности?

Теперь, когда Михаил Иванович ушел от нас навсегда, невольно вспоминаешь эти его живые слова. Они близки мне, они полностью отвечают моей вере. А эта вера создавалась многими годами моей жизни. Я смею считать себя его современником и спутником. Я воспитывался в той же школе жизни, в тех же университетах. Вот почему его взгляды на литературу, на искусство, на поведение человека дороги мне, как мой символ веры.

Михаил Иванович был благороднейшим представителем той славной старой гвардии революционеров, богато одаренных духовно и морально целеустремленных, которые отдали себя целиком великому делу освобождения народа от гнета деспотизма, для которых борьба за свободу, за счастье человечества, за коммунистические идеалы была главным содержанием их жизни. Их имена в истории останутся навеки, как имена благодетелей человечества, как народных героев. Их путь, их жизнь — это призыв к совершенству. Если основным признаком культуры нужно считать высокое общественное воспитание, то Михаил Иванович, вместе со своими соратниками из этой блестящей плеяды, является образцом культурнейшего человека. Воплотивший в себе лучшие дары талантливого русского народа, вышедший из самой гущи трудового крестьянства, прошедший великую школу пролетарской борьбы, неустанно работавший над собою, он является высоким интеллигентом, носителем самых передовых идей нашего времени. Нашим литераторам следует со всей силой своего таланта потрудиться над созданием образа положительного героя нашей эпохи на примере жизни и творческих деяний таких людей, как Михаил Иванович Калинин и его незабвенные соратники.

1946

П. П. БАЖОВ

Мое общение с Павлом Петровичем началось осенью незабываемого 1941 года. Редакция «Известий» поручила мне проследить работу эвакуированных заводов и дать ряд очерков о героических подвигах людей на этих предприятиях: о новаторском творчестве мастеров оружия, о перестройке местных заводов на массовое производство вооружения. Свердловск в те дни был уже густо загроможден и заводами, и главками, и учебными заведениями, и массами людей, прибывших из областей и республик Европейской части Союза; казалось, что вся страна втиснулась в этот широкий город на холмах, с просторным небом и лиловыми горными и лесными далями. А заводы все еще прибывали, и люди труда массами вливались в чудовищно перенаселенный город. Всякие вместительные здания были отведены под эвакуированные предприятия и лазареты, а окрестные стародавние и новые заводы уплотнялись и сливались с московскими, ленинградскими, украинскими заводами. И. все же ряд улиц был завален машинами, станками и кучами металлических больших и малых деталей. Быстро возводились новые кирпичные коробки и расширялись старые корпуса. Очень тяжело было со снабжением, с питанием, с жильем.

В ноябре прибыла в Свердловск группа писателей из Москвы и Ленинграда. Все они оказались в

отчаянном положении. Часть из них на время приютилась в Доме печати, часть кое-как рассосалась по углам в частных квартирах, а кое-кому посчастливилось закрепиться в гостинице и у знакомых.

Местное отделение Союза советских писателей сразу стало многолюдным и, к чести его, с первых же дней развернуло работу по организации литераторов и интеллигенции для общественно-политической работы под руководством обкома партии. Совместно с научными работниками Академии наук проводились общегородские антифашистские собрания, писатели разъезжали по заводам области, постоянно посещали госпитали, сотрудничали в газетах. Небольшая комната в Доме печати с утра до ночи кипела людьми. В соседних комнатах помещалось и областное издательство, где главным редактором был Павел Петрович Бажов, он же состоял и председателем отделения Союза писателей.

Познакомился я с ним вскоре же после моего приезда в Свердловск. Его «Малахитовую шкатулку» я читал и перечитывал в первом же издании и наслаждался чудесной поэзией исконного языка и народной мудростью, которой дышала каждая легенда этой книги. Это была действительно «волшебная шкатулка», сделанная искусным умельцем, которая была полна ослепительных драгоценностей, созданных самобытным художником. Эта книга дорога для меня тем, что в ней удивительно чутко и проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа — могучего работника, великого труженика, которого не сломило вековое рабство, который нес в себе неугасимую правду и творческую красоту. Не всякому народу выпадали такие неимоверные испытания, какие за длинную историю выпадали на долю русскому народу. И этот «терпением изумляющий народ» не только терпел, но и восставал против поработителей. Вот почему и язык его богат, щедр и прекрасен, а песни и сказания полны горького раздумья, эпического величия и задушевного лиризма.

Портретов Павла Петровича я до встречи с ним не видел и представлял его себе этаким коренастым

уральцем — могучим патриархом. Но когда я вошел в его рабочий кабинет в издательстве, навстречу мне поднялся щупленький, сутуленький старичок с длинной серебряной бородой, с очень живыми, проницательными глазами, в которых трепетала умная лукавинка. На столе у него лежал большой обломок малахита, похожий на застывший слиток темно-зеленой глазури. Бессознательно приложил он ладонь к глянцевой волнистой поверхности камня, но сразу же приветливо протянул ее мне. «Этот малахит, — подумал я, — вероятно, для него дорог как талисман. Неспроста он назвал свою книгу «Малахитовая шкатулка». Хотя в первые минуты он держался замкнуто-вежливо и как будто немножко сурово, но это русское, старомодное лицо и очень простенькая фигура с первого же мгновения пленили меня: что-то в нем было от «идейного» народного учителя или книгочия и подвижника во имя «правды народной». Таких людей я много видел в своей жизни.

Эта встреча была короткой и деловой: нужно было с его помощью принять кое-какие меры по устроению быта писателей. Но когда я заговорил о его «Малахитовой шкатулке» и особенно о «Каменном цветке», как о сказке глубокого идейного содержания и большой художественной значимости, Павел Петрович забеспокоился и как будто испугался. Он очень сконфузился и растерянно отмахнулся:

— Ну что там такое? Досужая фантазия... Стоит ли говорить об этом?

Его скромность была непритворной, а в его знающей улыбке со слезинкой мерцало что-то похожее на укоризну и прозорливую снисходительность: я, мол, эти оценки слышал много раз, но я знаю то, чего не дано знать вам.

Он, как видно, предпочитал молчать и слушать себе на уме или только отвечать на вопросы. Но, недоверчиво наблюдая за мной, как за новым человеком, он вдруг встрепенулся, и в глазах его залучились искорки. Рассматривая глыбу первозданного малахита, я даже встал от любопытства.

— Это не диковинка, — охотно пояснил он. — Такого добра у нас на Урале много. А чего на Урале нет? Всё есть, и пустые клетки в таблице Менделеева заполняются здесь из скрытых сокровищ старика Урала. Скуп он только на изумруды, но, я думаю, если добраться до его кладовых да пошарить посмелее — и изумрудов найдут вдосталь. Теперь ведь металлурги и геохимики смотрят на драгоценные камни не как на редкостные дары природы, а как на необходимые ингредиенты при изготовлении высококачественной стали и твердых сплавов.

И он очень увлекательно и образно стал рассказывать о богатствах и красотах Урала, о том, что подлинной истории Урала еще нет, что недра его не вскрыты, а хищники грабили то, что лежало на поверхности. Но рабочий народ — рудознатцы и умельцы даже в рабстве были настоящими художниками в своем ремесле, талантливыми трудолюбцами, которые создавали легенды о своих исследованиях, открытиях и трудовых подвигах. Как это ни кажется спорным, но истинным обладателем сокровищ Урала, их хранителем и диводеем всегда был рабочий народ, а не Демидовы и Харитоновы. От этих хищников и людоедов ничего не осталось, и даже память о них потухла, а природные уральские мастера принесли в революцию и доблесть борцов за советскую власть, и неисчерпаемые богатства своего трудового опыта. И сейчас, в дни Отечественной войны с фашистами, они в первых рядах создателей оружия.

Он, Павел Петрович, гордился Уралом и уральцами, он беззаветно любил свой край и превосходно знал и его географию, и его ископаемые, и его своеобразных людей — искусных работников на своей удивительной земле, прошедших через страшные испытания, но закаливших свою суровую волю к свободе. История Урала — одна из самых ярких и героических в истории нашей родины.

С этой же первой встречи Павел Петрович произвел на меня впечатление очень скромного и застенчивого человека, углубленного в себя и таящего большое богатство мыслей, которые никогда не будут

высказаны. Обычно это свойство всех подвижников идеи, людей совестливых и чистых душой. Как товарищ, очень простой, задушевный, Павел Петрович никого не поучал, ни с кем не спорил, никому не навязывал своих мыслей, но все чувствовали его мудрый авторитет. Говорил он мало и неохотно. Может быть, это потому, что речь его была невнятна и слова как-то таяли в глухом и немного дряблом голосе. А слушали его очень внимательно, с огромным интересом, потому что говорил он умно, своеобразно, и всегда в речах его было что-то новое и свежее.

Местная группа литераторов была малочисленна, малозаметна и слабо проявляла себя в эти грозные и тяжкие дни. Говорю это не для того, чтобы обидеть кого-либо или сочинить напраслину на того или иного из свердловских писателей. Мне даже казалось в первое время, что никакой писательской организации не существовало. Отдельные любители литературы работали в газете, в издательстве, но группа в целом как действенная сила существовала кое-как.

Занятый по целым дням изучением эвакуированных заводов и перестройкой на новый лад старых гигантов, я заходил в Дом печати, прежде всего в местное отделение «Известий», чтобы передать в Москву по прямому проводу или по телеграфу очередной подвал о героях оборонного труда. С Павлом Петровичем встречался изредка, и он казался мне очень одиноким, как будто избегающим людей.

Но когда нахлынули московские писатели, надо было в перенаселенном Свердловске искать комнаты и углы, чтобы не оставить людей на улице. И Павел Петрович, застенчивый и молчаливый, сумел организовать руководящее ядро местных литераторов и привлечь к организационной работе самих московских писателей. Около Павла Петровича сплотились коммунисты, сразу же заработала партгруппа. Все чувствовали себя около него бодро, радостно, уверенно, словно его доброта и обаяние, скромность его и спокойная уравновешенность исцеляли всякие душевные ранения и заставляли забывать неизбеж-

ную в эти трагические дни неприютность. Все почувствовали себя спаянными, и у всех вспыхнула жажда активного участия в общей работе края. Очень скоро это руководящее ядро вошло в контакт с Академией наук, и писатели вместе с учеными стали во главе многочисленной интеллигенции.

О силе влияния Павла Петровича на писателей и о целомудренной его безупречности как морально чистого человека можно было судить по отношению к нему такой горячей и страстной в своей искренности писательницы, как Мариэтта Шагинян. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что она полюбила его до обожания, как человека проникновенного ума и великого сердца. И потом, уже в Москве, когда она особенно горячо и упорно добивалась вместе с другими товарищами представления Павла Петровича к Сталинской премии, всех нас волновала горячая ее любовь к нему, как к человеку редкой душевной красоты.

Иногда мы выходили вместе из Дома печати и в разговорах незаметно отмеривали шагами очень длинный путь до его домика на улице Чапаева. О литературе и литераторах говорить он избегал, и мне казалось, что его пугали эти вопросы: вероятно, литература для него была заветной думой, святыней его души, и касаться этого он, должно быть, не позволял никому. Как-то по дороге он прижал мою руку к себе и, сконфуженно посмеиваясь, предупредил:

— Давайте уговоримся не говорить о литературе. У каждого из нас свой голос, свое дыхание и свои художественные приемы. Каждый выполняет свой долг так, как он может. А рассуждая и обсуждая эти вопросы, неизбежно затронешь и живых людей. Не нужно этого.

Но он словоохотливо говорил об Урале, о Свердловске, о городах и заводах, как о чем-то близком его сердцу, чем он живет с дней своей юности. Он до мелочей знал свой край, а о прошлом его рассказывал — словно поэму творил, и рассказы его похожи были на легенды из «Малахитовой шкатулки». Переходили мы, например, плотину пруда вдоль каменной

стены, за которой раздавался грохот и гул завода, а внизу шумела вода, и Павел Петрович с гордостью указывал на груды камней по бокам плотины:

— Не инженеры, не гидротехники возводили эту плотину, а самые простые люди, подневольные труженики. Но стоит эта плотина полтора века, словно монолит. Умельцы были с гениальной сметкой. На этом месте, за стеной, первый литейный завод был построен еще при Петре. Эти же люди изобретали и ставили двигатели на воде. Отсюда, с Исети, и Тагила, пошли замечательные мастера — не иноземцы, а русские творцы. Богатырское племя. Вот и потомки их — достойный народ. Каждое предприятие — ударный отряд, все хранят чудесные традиции своих отцов и дедов. И не Демидовы оставили по себе память, а их крепостные рабочие: они опережали время на столетие.

Каждый квартал города на нашем пути, где уж не осталось и камня на камне от прошлого, оживал в образных воспоминаниях Павла Петровича как героическая легенда. И не заводы, не мастерские за крепостными стенами, не рабский труд вставали в моем воображении, а люди — талантливые, пытливые, с мятежной творческой мыслью, сильные, безмерно терпеливые, с несгибаемой волей. И в рабстве, в цепях, под шпицрутенами они были свободны и могучи в своей любви к творческому, бессмертному труду. Мне кажется, что если бы Павел Петрович отважился написать историческую эпопею за эти два века, это была бы настоящая библия Урала. И я почему-то был уверен, что этой мечтой он жил постоянно.

Его деревенская изба и крепкие надворные постройки тоже казались вековыми, а уютные тесные комнатки располагали к размышлению.

Я любил погостить у него, отдохнуть от суеты, от злободневных забот и хлопот и слушать его глухой добродушный голос.

— Чтобы постигнуть наших людей, надо глубоко изучить их прошлое. Многое, очень многое забыто и забывается. Я все думаю, как необходимо создать

энциклопедию Урала — большую, научную энциклопедию, в которой ближайшее и руководящее участие приняла бы Академия наук. Когда-то этот труд был начат одним из скромных людей в прошлом веке, но труд его умер вместе с ним: можно ли одному человеку, да еще занятому чиновными обязанностями, справиться с этой грандиозной задачей! Но подвиг его достоин удивления. А таких людей в прошлом было немало. Взять, например, одного попика: замечательный математик, известный своими трудами за границей, пожертвовал своей карьерой ученого ради изучения своего края, ради служения народу. Пошел в попы, чтобы непосредственно работать на своей родной почве, ну и сгорел на своем ложном пути. Надо вскрыть, установить многое, что заложено в былые времена и что сейчас осуществляется и в геологии, и в геохимии, и в литейном деле. Хотелось бы побеседовать с академиками.

Он любил повторять кстати и к слову:

— Чем велик и прекрасен человек? Одухотворенным трудом. В чем его бессмертие? В животворящем преобразовании природы. Вне труда нет и человека.

Помню один из вечеров, которые регулярно устраивались писательской организацией. Выступал профессор Данилевский с лекцией об уральских техниках-самоучках. Павел Петрович слушал с самозабвенным вниманием. Видно было, что он волновался: он теребил свою бороду, глаза его блестели, и время от времени он одобрительно кивал головой, невнятно вставлял какие-то замечания. После лекции он не выступал. Хотя Данилевский просил его поделиться своими знаниями, он только отмахнулся и сказал:

— Я просил бы только сохранить память о тех людях, о которых говорил профессор Данилевский. Эти несколько имен, которые остались в истории техники, — имена людей, случайно уцелевших в архивах. А таких людей было немало, и о них можно говорить ежедневно в течение целого года. Эти имена, пусть легендарные, долго держались в памяти стариков и передавались с уважением и гордостью

из поколения в поколение. Наши краеведы и литераторы не позаботились собрать их. Их опыт, открытия и изобретения, как продукт народного творчества, шел на потребу новым поколениям. Не сейчас — может быть, потом кое-что соберу, приготовлю и поговорю о них.

Время было грозное, ответственное. Каждый день требовал от людей напряженной работы. Хоть Павел Петрович и жил у себя в родном углу, но ему с семьей было не менее тяжко, чем эвакуированным писателям. И в эти трудные дни он всегда был бодр, уравновешен, дружески участлив, и умная лукавинка не угасала в его теплых глазах. Мне кажется, что он был очень доверчив к людям и без колебаний делал для них все, что мог.

В улыбке Павла Петровича всегда светилась мудрая прозорливость много пережившего человека, который хорошо знает людей и который уже ничему не удивляется. Ни разу я не видел его в гневе, в возбуждении или подавленным и угнетенным, а было много поводов и причин волноваться и возмущаться. Его знающая улыбочка мерцала ласково и снисходительно к людям. Но лишения, неустроенность быта товарищей больно беспокоили его. Улыбка таяла в глазах, и в них застывала укоряющая строгость.

— Вот Ольга Форш — заслуженная писательница, старая женщина. Ютится черт знает где, на ногах какие-то обмотки, а сейчас — зима, морозы. Или Шагинян... Хоть они и не унывают, героически переносят испытания, но это тем больше тревожит меня. Надо немедленно идти в обком.

И он, сам ослабевший и больной, собирал партгруппу, активистов, ходил с делегацией в обком. И когда эти вопросы разрешались благоприятно, он как будто молодел и не мог сдержать своей радости. Но и в эти минуты он скромненько и застенчиво отмалчивался, старался стушеваться, словно все дела, все хлопоты проводились без его участия.

Как-то в комнате, где обычно собирались писатели и часто обсуждали известия с фронта, кто-то

из уставших от тяжелых лишений людей стал жаловаться на судьбу и на неудачи на фронте:

— А эти ужасные звери прут... прут, как орда дьяволов... Мы отступаем... До каких же пор будем пятиться?

Начался спор.

Павел Петрович, в теплом пальто внакидку, всматриваясь исподлобья в этого человека, сказал очень спокойно и тихо своим глуховатым голосом:

— Вы, очевидно, не знаете русского народа и не верите в его неиссякаемые силы. Русский народ никогда и никем не был побежден. Гитлеровцы будут разгромлены. Что бы они ни предпринимали, они всё равно будут раздавлены.

И он, не оглядываясь, вышел из комнаты.

Однажды несколько писателей поехали в Ревду для встречи с рабочими и инженерами. В машине мы сидели бок о бок с Павлом Петровичем. В этих местах он знал каждую возвышенность, каждую долинку, каждый камень, каждое дерево. Дорога была изумительна по красоте. Она напоминала мне и Прибайкалье, и предгорья Кавказа. Горные склоны были покрыты дремучим лесом, и из темной его глубины, из густой чащобы стволов плыла таинственная тишина. И всюду, и внизу, и между стволами деревьев, громоздились в диком хаосе огромные обвалы скал и камней, словно горы эти разрушались страшными землетрясениями. А в долине ярко горела на солнце молодая весенняя трава, и воздух, казалось, переливался радужной игрой и опьянял хмельными запахами сосен, цветов и земли. Павел Петрович сидел молча и жадно смотрел на эти первобытные, немного жуткие в своей загадочности нагромождения и лесные дебри, и лицо его, в серебристой бороде, с застывшей улыбкой в глазах, странно мерцало, как будто он слышал и видел то, что скрыто было от других. И я подумал, что свои сказки и легенды он подслушал в этих вот дебрях и древних развалинах скал и гостевал у хозяйки гор в ее чудесных пещерах, украшенных причудливыми друзами драгоценных кристаллов. Он остановил машину у голово-

кружительной свалки огромных глыб, похожей на руины какого-то древнего замка, легко спрыгнул на землю и, махнув мне рукою, зыбко и споро начал подниматься на руины, бойко перескакивая с камня на камень.

Я пошутил:

— Что вещает вам хозяйка гор, Павел Петрович?

Он очень серьезно и задумчиво ответил:

— Природа Урала имеет свой богатый и красочный язык. Это — язык нашей русской Илиады.

Он стоял на этих седых монолитах долго, прислушивался к таинственной тишине и, вероятно, видел то, чего не видели мы.

И сейчас, когда пишутся эти строки, мне думается, что могила Павла Петровича Бажова должна быть не на обычном кладбище Свердловска, а там, у подножия этих гигантских руин, полных чудесных видений, и надгробием была бы малахитовая глыба с такой примерно надписью:

«Под этим малахитом лежит Павел Петрович Бажов, певец тружеников-умельцев, в душе которых веками горел животворный огонь и которые преобразовали Урал в неувядающий «Каменный цветок».

К этому памятнику приходила бы молодежь и не печально, а жизнерадостно приветствовала бы своего поэта:

— Добрый день, Павел Петрович, дорогой наш баян!

1950

БЕССМЕРТИЕ ГОГОЛЯ

В годы напряженной борьбы с самодержавием и диктатурой помещиков и капиталистов для нас Гоголь был одним из тех великих писателей, которые разоблачали и обнажали врага во всей его отвратительной и звериной сущности и указывали на него: «Вот перед вами какие чудовища! Бейте их верно, метко, беспощадно, чтобы навсегда покончить с этим проклятым миром эксплуатации и кровавого угнетения!» Никто из писателей прошлого века, за исключением Грибоедова и Салтыкова-Щедрина, не клеймил так неотразимо самовластный полицейский строй и помещичий деспотизм, как Гоголь. Вот почему Чернышевский расценивал творчество Гоголя как боевое и наступательное и весь литературный период своего времени назвал гоголевским периодом.

Бичующая сатира Гоголя, вскрывая смрадную гниль царского режима и преступного господства мертвых душ, наносила тирании разящие удары. Гоголь неизбежно должен был явиться как грозный ревизор в этот дикий мир Держиморд, Собакевичей, Ноздревых и торгашей смертью — Чичиковых. Эти чудовища сожрали Пушкина, Лермонтова, Белинского, Добролюбова, хватали и томили в тюрьмах, в ссылках и на каторге лучших людей России — Радищева, Герцена, Чернышевского, Тараса Шевченко —

и держали народ во тьме бесправия и рабства под плетями и розгами.

Карающая сатира Гоголя питала жгучую ненависть народа к своим поработителям и укрепляла силы революционных борцов. Она расшатывала вековые устои мертвящего деспотизма. Грозный суд народа над своими угнетателями и палачами имел в лице Гоголя страшного свидетеля и прокурора. Каждая страница его книг — потрясающий обвинительный акт против правящей шайки злодеев, тюремщиков, мракобесов, душителей свободной мысли и творческой воли.

Гоголь сопутствовал нам в нашей революционной борьбе; он всюду, на каждом шагу напоминал нам, что Держиморда — вездесущ: он не сводит с нас недреманного ока и на улице, и на работе, и в нашем жилье, он залезает в душу, контролирует мысли и чувства человека, чтобы загнать его в застенок и накинуть петлю на шею.

Но огонь народного гнева горел и во тьме; он был неугасим и часто разгорался пламенем восстаний. Рос, множился, копил силы рабочий класс, родилась могучая партия, близились дни последних и решительных боев. И в этом накоплении и организации революционных сил Гоголь был нашим союзником: он воспитывал в нас своими художественными созданиями гордость за русский народ, за его выносливость, за величие духа, за его героизм, трудолюбие, талантливость и здоровый оптимизм.

И все же Гоголь не устоял против ужаса современной ему действительности. Беда его была в том, что в нем боролись две противоречивые силы: он рвался вперед, а его затягивало назад. Выросший в условиях крепостничества и помещичьего быта, он нес в себе гнетущие предрассудки своего класса. Пушкин силою своего светлого гения направлял его по пути свободолюбия и служения народу. Но в последние годы своей жизни Гоголь растерялся; он не в состоянии был противостоять дьявольской власти мертвых душ, которые терзали его, как кошмар, и ужас помрачил его разум. Толпа этих чудовищ, окру-

жающих преисподнего Вия, помешала Гоголю соединиться с такими замечательными людьми его времени, истинными демократами, как Белинский, Герцен, Огарев, за которыми шла вся прогрессивная часть русского общества. Только среди таких людей он мог найти себе положительного героя, которого он искал, как выхода из безнадежного тупика. Он упал духом, смирился и преклонил колени перед кнутом Николая Палкина и мертвящим церковным мракобесием. В этом была его страшная трагедия и гибель. Гневный голос Белинского против отступничества Гоголя был в то же время глубокой скорбью о падении великого писателя. Белинский защищал Гоголя — автора книг, которыми зачитывалась вся передовая Россия, от Гоголя — автора «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Для нас, советских людей, строящих лучезарный мир человеческого счастья, которому противостоят свирепые враги — империалистические хищники и фашистские злодеи, фабрикующие золото из крови трудящихся и мечтающие о всеобщем концлагере для народов, лучшие творения Гоголя являются злободневными. Американские Чичиковы и Ноздревы, Держиморды и Ляпкины-Тяпкины с наглейшим цинизмом людоедов огнем и кровью стараются подчинить себе или истребить свободные народы, превратить людей в покорных, бездушных болванов. Гоголь жив, он и сейчас как бы говорит нам: «Остерегайтесь! Мертвые души несут смерть живым — ради наживы, ради золота, залитого кровью». Мы по-своему слышим голос Гоголя: «Организуйтесь для защиты всеобщего мира и содружества народов против мировых разбойников и поджигателей войны! Торгаши человеческой кровью Чичиковы и Собакевичи и палачи Держиморды не должны избежать страшной мести — грозного суда миролюбивого человечества».

Советская литература, самая правдивая и передовая, многим обязана творчеству Гоголя. Народность его художественных произведений, неотразимая сила типических обобщений, поразительная красочность,

образность, экономность и объемность его языка служат образцом высокого искусства. Славная гоголевская традиция для нас очень дорога. В творческой биографии каждого нашего писателя Гоголь оставил неугасимый след. Гоголь — бессмертен.

Он напоминает каждый день и нам, что есть еще много пережитков старого в сознании наших людей. Еще встречаются и в нашей советской действительности и тупой бюрократизм, и своекорыстие, и беззаботная маниловщина, и хлестаковщина, и карьеризм. В этом отношении Гоголь живет среди нас как обличитель недостатков и пережитков, как призыв к строгой самокритике и самопроверке.

Гоголь — наш современник.

1952

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Странной и своенравной была судьба многих писателей в прошлом. Одних с первых же шагов литературной деятельности сопровождали успехи, слава, других преследовало равнодушие или враждебное замалчивание, а то и травля. Одни быстро становились любимцами публики, о них неустанно шумела критика. Другие всю свою жизнь, несмотря на их упорный труд, оставались в тени, их отвергали, хотя и не отрицали их дарований.

Вспомним восьмидесятые годы. Кто из писателей привлекал тогда особое внимание интеллигенции? Златовратский с его иконописными мужичками, с его утопическими общинными «устоями». Гл. Успенский с его поисками несуществующей благодетельной общины, вместо которой он находит дьявольский «купон», Короленко с его мягким и грустным лиризмом и, наконец, в годы крушения народнических идеалов — Надсон и Гаршин.

В эти годы и пришел в литературу, претерпев большие трудности, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Ему особенно «не везло» на этом пути: двери редакций больших журналов долго перед ним не открывались, хотя он настойчиво стучался в них. Его страшные повествования о кровавом пире чудовищного хищника — российского «желтого дьявола», который разрушал все старые устои, насаждал всюду

свои порядки и с безумным разгулом разбойника грабил и обрекал на голод и вымирание массы трудового народа, пугали народнических пророков и тогдашнюю интеллигенцию. Но капитализм, утверждая свое господство, опрокидывал всех народнических богов и втаптывал в грязь все их мечты и иллюзии. Это была грубая действительность, от которой нельзя уже было отмахнуться, однако фанатики от народничества все-таки упорно отрицали эту действительность и продолжали жить своими сентиментальными иллюзиями. Мамин-Сибиряк явился не ко времени, хотя и вовремя. Он не мог не явиться, потому что его выдвинула сама действительность, сама историческая необходимость. Беспощадная правда его потрясающих эпопей была неотразимой, но она противоречила «творимым легендам» Златовратских, Михайловских, Юзовых и целой плеяды группировавшихся около них благовестников народнических откровений. Гл. Успенский видел это капиталистическое страшилище — и не только в городе, но и в деревне, — и мы помним, как на него ополчился Златовратский с его паствой.

Даже после того как Мамин-Сибиряк пробил себе дорогу в литературу, критика старалась не замечать его. И только впоследствии беллетрист Альбов и критик Скабичевский вынуждены были признать бесспорное значение Мамина-Сибиряка как своеобразного художника, но рассматривали его творчество как творчество областного, преимущественно уральского, бытописателя. Отдавая должное исключительному таланту писателя литературовед Е. А. Соловьев-Андреевич и критик М. П. Неведомский не находили в его творчестве ничего жизнеутверждающего.

Буржуазная печать не уделяла Мамину-Сибиряку своего внимания. И это понятно: такой обличитель разбоя, злодеяний и безумного авантюризма капиталистов не мог вызвать сочувствия у либеральных торгашей.

Досадно, что советское литературоведение еще до сих пор не сказало о Мамине-Сибиряке своего авторитетного слова, что у нас нет еще о нем серьезных

монографий. А между тем творчество Мамина-Сибиряка полностью принадлежит нам, и только наши литературоведы могут глубоко и всесторонне вскрыть и исследовать богатое наследие этого большого и проникновенного художника и помочь советскому читателю по справедливости оценить его величие. А ведь его значимость в литературе отметил еще в давние времена В. И. Ленин.

Мамин-Сибиряк родился (6 ноября н. с. 1852 г.) и рос на Висимо-Шайтанском горнорудном заводе, в Нижне-Тагильском заводском районе. Это был один из многих старинных заводов, принадлежавших промышленной династии Демидовых. Уральские заводы славны были рабочими восстаниями против рабства, против свирепой эксплуатации труда, против крепостной зависимости. Знаменитое восстание крестьян Далматовского Успенского монастыря 1762—1764 годов, известное под названием «дубинщины», не прошло мимо крепостных рабочих уральских заводов. Уральские рабочие боролись в первых рядах войск Пугачева, захватывали заводы, сами управляли ими, лили пушки и делали ядра и оружие для восставших.

Волнения среди крепостных рабочих и крестьян происходили непрерывно, начиная с восемнадцатого века. После так называемого «освобождения крестьян» 1861 года волнения эти значительно усилились: царская «реформа» лишила крестьян земли, привела их к обнищанию и пролетаризации, а среди рабочих образовалась многочисленная армия безработных. На Урале капиталистическая эксплуатация приняла особые формы: «...самые непосредственные остатки дореформенных порядков, — писал В. И. Ленин в своей книге «Развитие капитализма в России», — сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного

движения времени — такова общая картина Урала»[1]. Эти варварские, полуфеодальные условия, в которых находилась уральская промышленность, существовали вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.

В девяностых годах волнения и забастовки рабочих на уральских заводах значительно усилились и отличались уже более наступательным характером: рабочие предъявляли требования об увеличении заработной платы и нередко добивались победы. Но правильного, организованного руководства рабочим движением не было: возникший в середине девяностых годов «Уральский рабочий союз» был по существу аморфной организацией из народников и экономистов и, конечно, не мог быть авангардом рабочего класса. По словам В. И. Ленина, между террористами и экономистами «... есть не случайная, а необходимая внутренняя связь... *преклонение перед стихийностью...*»[2] И, конечно, этот беспочвенный союз прекратил свое существование. Революционная история организованного рабочего движения на Урале начинается только с создания Искровского комитета партии в 1903 году.

Необузданный разбой, безумный авантюризм, сплошные кровавые оргии алчных охотников наживы, страшные эпидемии спекуляций, баснословные обогащения и катастрофические крахи и, с другой стороны, непрекращающийся мощный протест бесправных рабочих и крестьян — вот атмосфера, в которой рос будущий летописец Урала, певец его красот и грозный обвинитель капиталистических людоедов. В своих талантливых произведениях он разоблачает грязь и пошлость капиталистического мира, становится беспощадным судьей рабовладельцев и работорговцев и страстным защитником угнетенных и обездоленных тружеников.

С развитием капиталистического производства, писал Маркс в «Капитале», «общественное мнение

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 427.
[2] Там же, т. 5, стр. 388.

Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она являлась средством для накопления капитала» [1]. И дальше: «...ужасная и трудная экспроприация народной массы образует пролог истории капитала... Экспроприация непосредственных производителей производится с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей» [2].

Вот этих экспроприаторов народной массы, этих вандалов, пораженных бешенством самых подлых, грязных, преступных страстей, талантливо изображает в своих произведениях Мамин-Сибиряк.

В отличие от многих литераторов его времени, Мамин-Сибиряк всегда был в самой гуще живой жизни. Может быть, рядом с ним стоял только Глеб Успенский. Он был самый страшный и грозный свидетель тех преступлений, злодейств и безумия русской буржуазии, которые с дьявольской дикостью проявлялись особенно на Урале.

Заводы при крепостном режиме владели огромными земельными пространствами и эксплуатировали труд сотен тысяч крестьян, прикрепленных к этим заводам. Это были своеобразные промышленные княжества, которым посессионное право обеспечивало даровой рабский труд. Владельцы этих промышленных латифундий, магнаты железа и золота, вроде Демидовых, Строгановых, были неограниченными монополистами. Жили они не на Урале, а в столице или жуировали за границей, заводы же со множеством рабов управлялись доверенными их лицами, которые, как воеводы, хозяйничали в этих грандиозных владениях. Заводчики платили копейки голодным людям и загребали сказочные прибыли.

Очень ярко и типично изображено это в таких романах, как «Горное гнездо», «Приваловские миллионы», «Три конца», «Золото». Никто до Мамина-Сибиряка не рисовал так ярко грабителей, авантю-

---

[1] К. Маркс, Капитал, 1951, т. 1, стр. 762.
[2] Там же, стр. 765.

ристов, наглых дельцов, готовых на всякие гнусные жестокости, на разбой, на обман, на интриги, чтобы захватить власть, богатство и деспотически распоряжаться целым краем. Вот львица, Раиса Павловна («Горное гнездо»), прозванная «царицей», жена главного управляющего, которая завладела магнатом Лаптевым и все забрала в свои руки; вот верный ее подручный — опричник, палач рабочих и крестьян, Родион Сахаров; вот Прейн — алчный разбойник, буквально истребляющий трудовое население ради личной наживы. Тут всё и все служат золотому дьяволу. Все продажно — и честь, и совесть, и любовь, и жизнь. Один из раздавленных железной пятой капитала, Прозоров, плачет пьяными слезами и жалуется в отчаянии: «Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость!.. Посмотрите, какой разврат царит на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью... Наука, святая наука и та пошла в кабалу к золотому тельцу!»

«Желтая лихорадка» заражает всех, разрушает патриархальную жизнь, все устои, разлагает души. Это основная тема писателя. В романе «Дикое счастье» она с потрясающей силой воплощена в судьбе семьи Брагиных.

В романе «Хлеб» Мамин-Сибиряк изобразил трагедию крестьянской массы. Капитал ворвался в мужицкий мир. Бешеные спекуляции хлебом, банковские мошеннические операции, творимые наглыми, жадными авантюристами, вконец разорили крестьянский край и пустили по миру землепашцев.

Победоносное шествие капитала, его разнузданный пир приводит в ужас даже одного из магнатов — рыхлого, безвольного Привалова. Он захвачен оргией всех этих торжествующих и обожравшихся спекулянтов и приходит к убеждению, что эти разбойники — диктаторы жизни, что человек — жертва, что ничего святого не существует для этих людоедов. И Привалов сам оказывается обреченным на гибель.

В те годы, когда народники упрямо и одержимо отрицали наличие у нас капитализма и развивали утопии о мужицком идиллическом царстве, Мамин-Сибиряк обнажил беспощадную правду. Это была новая литература, которая давала новых героев, пугавших тогдашних буржуазных читателей и критиков, как кошмарные видения.

Да, произведения Мамина-Сибиряка — его многотомная эпопея — не литература Боборыкина, рисовавшего московское «европензированное» купечество, прятавшее под приличным сюртуком и приятными манерами свои волчьи аппетиты.

Все симпатии, вся любовь Мамина-Сибиряка обращены к русскому трудовому народу. Труд делает человека красавцем, богатырем, героем. Только в труде человек становится человеком, только в трудовой борьбе проявляются в нем и сила, и находчивость, и воля, и незаурядный ум, и крепкая товарищеская спайка. Вот Савоська из «Бойцов», сплавщик барок по реке Чусовой, выдерживающий страшную борьбу со свирепой рекой в теснинах грозных утесов. Выброшенный из разоренной деревни, будто полубосяк и пьянчужка, он на барке, на бурной реке, где грозит ему ежеминутная гибель, преображается в богатыря, во властного вожака своей артели, ему верят безоговорочно, и все подчиняются его воле. Таких Савосек у Мамина-Сибиряка много. Это его любимые герои. До него никто из писателей не изображал таких людей; он первый увидел их и первый воплотил их в живые художественные образы, как типические характеры. И не потому он любовно писал их, что обнаружил их только на Урале, среди суровой природы, а потому, что эти трудолюбцы, мужественные, одаренные люди были всюду — во всех уголках необъятной России.

Вот охотник Савка («На Шихане») — убийца, острожник, тоже полубосяк, выброшенный из жизни Ляховскими, «царицами» Раисами и Родьками. Савка — родной брат Савоськи по характеру. Он любит животных, он среди уральских дебрей — у себя дома. Он ненавидит жестокость и насилие. «Зверь лютует

от голода, — говорит он, — ему есть хочется, а человек и сытый, пожалуй, лютее зверя. Зверь это знает и потому больше всего страшится человека». Эту правду Савка выстрадал сам: несправедливость и жестокость он переносил на собственной шкуре. Управляющий завода застрелил свою собаку за непослушание. Савка в гневе бросился на управляющего и вцепился ему в горло. Савка пьянствует потому, что мучается от постоянной неправды, от истязания человека человеком, от насилия сытых над голодными. Это гнев трудового человека против угнетателей, эксплуататоров. Это вновь преображенный Савоська, богатырь, удалец, бесстрашный атаман артели в часы смертной борьбы с бурной рекой.

Мамин-Сибиряк постоянно встречает такие характеры и в среде «старателей», и среди заводских рабочих, и даже среди преданных слуг капиталистов. Замечательна фигура старика Бахарева («Приваловские миллионы»): это сильный, умный, кряжистый человек, с огромной волей, влюбленный в заводское дело, превосходный организатор, честная, прямая и властная натура. В убийственном мире варварского капитализма такие люди обречены были на рабство, на уродство или на гибель.

Есть одна особенность в творчестве Мамина-Сибиряка — это идея стихийной силы, задавленной, скованной в трудовом человеке, но рвущейся освободиться в моменты острых коллизий. Эта же сила у «хозяев золота», у охотников за богатством, у «дельцов» превращается в преступную страсть власти над людьми, взаимного пожирания, неуемного грабежа и алчного обогащения.

Превосходно выписаны у Мамина-Сибиряка чудесные русские женщины. Чистые, полные любви, самоотверженные девушки — Луша, Нюрочка, Нюша — одни из самых чудесных образов в русской литературе. Но и среди этих кротких, мечтающих о счастье и светлой жизни женщин Мамин-Сибиряк любовался мужественными, деятельными старообрядческими «старицами»: «скитское житье» делало их

независимыми и давало простор их своенравным, боевым натурам.

Своими многочисленными повестями и романами писатель как бы внушал читателю: вот этим труженикам, этим сильным и честным людям принадлежит будущее, в них, в этих закабаленных, удалых и искусных работниках, хранится и не умрет никогда любовь к труду и мятежная сила.

Очень своеобразны произведения Мамина-Сибиряка, посвященные историческим событиям на Урале. Эти повествования волнуют героической романтикой, изумительной цельностью богатырских характеров русских тружеников в их самоотверженной, беспощадной борьбе за свободу. Такие повести, как «Охонины брови», или страницы о пугачевской эпопее — классические создания Мамина-Сибиряка. Их мог создать только художник, который жил общей жизнью с народом, глубоко верил в его могучие силы, в его талантливость, в его неистребимое стремление к правде и справедливости.

И великой скорбью и гневом дышит его повествование о «Братьях Гордеевых». По капризу магната одного из горнозаводских округов два брата — дети заводского крепостного рабочего — были посланы за границу, где они получили высшее техническое образование. Культурные, даровитые молодые люди, мечтавшие о творческом труде, сразу же узнают ужасную правду: они — рабы, крепостными оказываются и их европейские жены. Невежественный, озверевший управляющий Лука Назарыч, сам крепостной раб, попавший «из грязи в князи», возненавидел этих образованных людей за то, что они оказались «избранниками», и за то, что они стали учеными, и за то, что они явились одетыми «по-заграничному». Он раздавил их своей звериной лапой, бросил их на самую черную работу, травил их, подвергал телесному наказанию и в конце концов свел их в могилу. Но удивительно то, что, несмотря на трагизм этой истории, на гнетущие мрачные картины, чувствуешь, что автор не подавлен отчаянием и песси-

мизмом, а верит в грозную силу народа, в торжество правды, в светлое будущее.

Критики прошлого, неправильно трактуя творчество Мамина-Сибиряка, утверждали, что он — поэт стихийности, писатель «безытоговый» и безнадежный пессимист, который ничего не видит в действительности, кроме звериной борьбы за существование, и ссылались на его высказывания по этому поводу. Но они совсем не поняли смысла его раздумий. Вот что писал Дмитрий Наркисович о самом себе: «Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье». Эти слова не мог написать пессимист. Так горячо говорить мог только большой жизнелюбец. Его неудержимо влекла к себе живая жизнь и трудовое движение, и он всегда переживал радость от общения с сильными, смелыми, разудалыми людьми и создавал о них незабываемые поэмы. Воля к труду, тоска по труду, как свободному проявлению всех человеческих даров, — главный мотив его произведений о рабочих людях. И, конечно, не правы указанные критики, упрекающие Мамина-Сибиряка в том, что он не видел ничего положительного в жизни. А не он ли писал в своем автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко»: «Несовершенство нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, и дышать, и думать». И он искал это положительное, хотя и останавливался перед «роковыми росстанями», выбирал же верные «путидороженьки» и находил это положительное в простом трудовом народе, в котором и таились таинственные для многих родники. Находил он эти родники и в детях, в их целомудренных душах. Его повести и рассказы о детях и для детей — одни из самых замечательных в русской литературе.

Мамин-Сибиряк — прежде всего демократ, гражданин, воспитанный на учении Чернышевского и Добролюбова. Правда, он не свободен от некоторых

народнических иллюзий, его еще пленяют утопические мечты о патриархальных временах несуществовавшего крестьянского благоденствия, но он уже смотрит трезво на современную действительность.

Скабичевский называл Мамина-Сибиряка русским Золя. Но, уподобляя Мамина-Сибиряка Золя и подчеркивая эмпиризм в творчестве этого выдающегося французского писателя, Скабичевский, при молчаливом сочувствии тогдашнего мещанского «общественного мнения», пытался свести по сути дела творчество своего соотечественника, правда с оговорками, к натурализму. Впрочем, этот критик не раз менял свое отношение к писателю, который вспоминал об этом с негодующим сарказмом.

Аналогия между Золя и Маминым-Сибиряком не выдерживает критики. Правда, Дмитрий Наркисович мечтал о том, чтобы создать многотомную эпопею, подобную истории Ругон-Маккаров — и по охвату многих сторон жизни современной ему эпохи, и по обрисовке типических представителей русского капитализма и трудящихся масс. Но критический реализм Мамина-Сибиряка существенно отличен от творческого метода Золя. Для Золя человек, кроме социальных условий, находится еще во власти наследственности, он проклят, он раб инстинктов.

Изображая события и сложнейшие коллизии, вскрывая характеры героев этих событий — денежных воротил, промышленных хищников, авантюристов и, в противоположность им, обреченных на страдание, на рабство, часто на гибель простых, чистых сердцем людей, и крестьян и рабочих, — Мамин-Сибиряк в каждой строке своих произведений пламенно, страстно выражает свой гнев и непримиримую свою ненависть к угнетателям и разбойникам и глубокое сострадание к жертвам этих свирепых «хозяев жизни», этих кошмарных Мидасов, обращавших в золото слезы, муки и кровь подневольных тружеников. С какой любовью к этим труженикам, с каким горячим участием к их трагической судьбе пишет он каждую страницу, и как любуется он силой, мужеством, героизмом этих людей в часы их невероятной

борьбы с бурной стихией или богатырских трудовых подвигов. В каждом своем романе Мамин-Сибиряк — участник всех событий, и всегда он на стороне угнетенных, обездоленных, раздавленных страшной лавиной капитала.

Жизнь во всех ее проявлениях — в борьбе, в любви, в горе и радости, в кипении толп, в игре солнечных красок, в удали и разливной песне, в дремучей красоте природы — вот к чему стремилась душа писателя. Его уральские пейзажи — классическая живопись. Только он, этот большой художник, впервые показал нам уральские дебри, нарядно убранные лесами горы, первобытные утесы и нагромождение разноцветных каменных глыб и широкие зеркальные пруды, давным-давно созданные руками умельцев. Любопытно его признание: «За очень немногими исключениями настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова. Эти два автора остались для меня недосягаемыми образцами». И Мамин-Сибиряк так глубоко раскрыл дремучие глубины и необъятные просторы, что они волнуют, как раздольные русские песни.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи. Доказывать это нет необходимости: стоит прочесть любую из его книг, чтобы убедиться в этом. Даже в самых «страшных» его романах и повестях на каждой странице чувствуется радостное любование жизнью. И тем более важно отметить, что он как художник развернулся в годы распада народничества, в самую тяжелую эпоху реакции, разочарований, растерянности, в эпоху «безвременья». Марксизм только еще нарождался в России, рабочий класс был еще не организован. Отлив народнических настроений и верований еще не сменился приливом новой, пролетарской идеологии. И это обстоятельство, конечно, отразилось на

мировоззрении писателя: оно было в известной мере противоречиво. Мамин-Сибиряк до некоторой степени знаком был с марксизмом, но основной сути этого учения понять не смог. В этом была беда художника, это ограничивало художественное его зрение и ослабляло идейную значимость его повествований. И, несмотря на народность его творчества, на демократические его настроения и взгляды, он не мог еще видеть путей развития пролетарского движения, хотя, повторяю, и чувствовал могучую силу, скрытую в массе трудового народа. Но книги его, как беспощадный обвинительный акт против разбойничьего русского капитализма, служили наглядным материалом в научных исследованиях марксистов.

Литературная плодовитость Мамина-Сибиряка была изумительной. Создается впечатление, что он все время торопился воплотить в образах весь огромный запас своих наблюдений и боялся, что не успеет высказаться до конца. Но эти запасы жизненного опыта не только не истощались, а пополнялись постоянно и не давали ему покоя. Торопливость эта и нетерпеливое стремление освободиться от тяжелого груза впечатлений и раздумий отразились и на его стиле: подчас многословие, излишние подробности, иногда неряшливость в изложении и неразборчивость в пользовании словом — существенный недостаток его языка. Но превосходное знание народной речи, умение распоряжаться ее складом во многом искупают эти недостатки.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк умер 15 ноября (н. с.) 1912 года.

Для нас, советских людей, творчество Мамина-Сибиряка свежо и близко. Мы по-новому открываем его как писателя, который играл немалую роль в революционной борьбе рабочего класса, а теперь помогает нам глубже познать прошлое и воспитывает в наших людях безмерную любовь и преданность своей социалистической родине. Книги Мамина-Сибиряка помогают нам глубже осознать, какой сложный, трудный путь прошел советский народ, чтобы разгромить кровавый деспотизм, сбросить гнетущее

ярмо помещиков и капиталистов и взять власть в свои руки. Книги этого писателя укрепляют в нас гордость творцов нового, коммунистического мира во имя счастья всего человечества. Книги его показывают, какая бездна отделяет великую социалистическую страну от кошмарного варварства старого времени. Внуки и правнуки воспетых им трудолюбцев как хозяева и вдохновенные работники и высокие мастера творят новую культуру как всеобщее благо. Они, как и все новаторы нашей социалистической отчизны, прославляют себя доблестными делами и подвигами на весь мир и в борьбе за мир во всем мире идут впереди всего прогрессивного человечества.

1952—1954

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ И СИЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ

Исполнилось сто лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко, великого гуманиста, демократа, пламенного борца за свободу и счастье народа. Человек высокой моральной чистоты, художник большого самобытного таланта, неустанный воитель за правду и справедливость, он оставил неизгладимый след в русской литературе и в истории общественного движения. Гонимый царским деспотизмом, он много лет жил общей жизнью с такими же гонимыми, как он сам, и в тюрьмах, и на этапах, и в ссылке на дальнем, диком тогда, Севере, в якутских улусах. Поэтому он не только был зорким наблюдателем, но и мужественным борцом против дикого произвола царских сатрапов и полицейщины. Беспросветное рабство, свирепый гнет, гнусные издевательства над человеком уродовали и калечили людей, но не могли убить в них любви к жизни и светлых надежд на будущее. Чуткий художник, Владимир Галактионович глубоко знал мятежную душу русского человека — его силу, выносливость, крепкую волю, одаренность, мужественную красоту и с изумительной яркостью воплощал эти черты в незабываемых образах. Нужно было обладать могучим умом, крепкой верой в неизбежность великого рассвета, чтобы выразить простыми, но сильными словами свой неугасимый опти-

мизм: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Вот это стремление к счастью, вот эту борьбу за человеческую правду и за право жить свободной жизнью, чтобы развернуть творческие силы в радостном труде, Владимир Галактионович Короленко прозорливо видел в каждом простом человеке и умел проникновенно подчеркивать эту свободолюбивую мятежность как типическую особенность в характере русских людей. В этой своеобразной романтизации — неотразимая прелесть таланта Короленко. Это — не народническая идеализация мужика, а глубоко правдивая поэма о величии и благородстве трудового люда.

Владимир Галактионович гневно и бесстрашно бичевал мерзости современной ему русской действительности, которая распинала и его вместе с угнетенным народом. Он доблестно воевал с царскими башибузуками всю жизнь — разоблачал, клеймил их беспощадно, но умел и защищать бесправных и обездоленных, поднимать их человеческое достоинство. Он призывал уважать человека. Строгий реалист, Короленко в то же время был и романтиком в высоком значении этого слова. Конечно, этот его романтизм не был революционным, как, например, у Горького, но в нем воплощался глубокий его гуманизм, его любование человеком, его мечты о прекрасном будущем, его постоянное стремление к далеким огонькам, которые неугасимо трепетали перед ним во мраке русской жизни.

На искусство и литературу он смотрел как на боевое оружие. Он был проникновенный поэт и великий гражданин. Он говорил: «Литература, кроме отражения, еще и разлагает старое и из его обломков создает новое. Слово, искусство, литература помогают человеку в его движении от прошлого к будущему».

Недаром Короленко считался чуткой совестью русской интеллигенции. Вся жизнь его была непрерывным подвигом, самоотверженным служением народу. Он упорно боролся с беззаконием, с зверским самовластием и мракобесием. Борьба эта — борьба

благородного рыцаря — была поистине героической: расшатывая устои самодержавия, она воздействовала на общественное сознание и возбуждала прогрессивные силы к действию. Она помогала успешной борьбе рабочего класса, она служила делу революции. Вспомним его активное вмешательство в провокационные, состряпанные царской юстицией судебные процессы — в мултанское дело, в дело Бейлиса; вспомним его подвиг по сплочению и организации прогрессивной интеллигенции для борьбы с голодом, как отвратительным явлением, порождаемым самодержавием; вспомним и разящие его выступления против самоуправства разных Угрюм-Бурчеевых, против власть имущих мошенников и грабителей, против безумия палачей в годы реакции.

Владимир Галактионович Короленко является и для советских литераторов образцом писателя-гражданина, писателя-борца, для которого искусство слова — неотразимый, разящий меч и чудесная сила, возвышающая и облагораживающая человека. Он весь от народа и весь в народе. И советский народ благоговейно чтит память В. Г. Короленко, как любимого и дорогого его сердцу писателя-борца за его счастливое настоящее. Он целиком с нами, как великий патриот, как верный сын великого народа. И мы в эту минуту повторим прекрасные слова о нем А. М. Горького: «Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня... В великой работе строения новой России найдет должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем».

1953

СТАТЬИ

О ВЕДУЩЕМ ТИПЕ ЭПОХИ

Если своеобразие людей вытекает из их деятельности и обусловленного ею способа удовлетворения своих потребностей, то люди нашей эпохи представляют собой замечательный пример такого своеобразия. В процессе революции создана величавая система социалистического хозяйства, социалистическая система труда и распределения. Социализм стал основным содержанием нашей эпохи. Социализм — это уже ежедневная практика, это культура, это быт и поведение людей. Человек уже становится коллективистом. На заводе, на стройке, на колхозных полях, работая в цехе, в бригаде, в звене, он соревнуется вместе со своими товарищами за достижение ближайших и далеких целей, соревнуется не только за свой урок, за свое задание, но за *все* хозяйство, за создание и улучшение *всей системы* производства, как своего достояния, как достояния своего общества. И он знает уже, во имя чего он трудится, знает цель и назначение своего труда. Он живет большими проблемами своей эпохи. Ежедневное дело своего производства, своего хозяйства, своего колхоза он не отрывает от великих задач завтрашнего дня. Для него всякий маленький вопрос — это часть вопроса общего, и так называемые «мелочи будней» он органически связывает с целостной системой трудового процесса.

Нет мелких вопросов, нет ничтожных, скучных дел, есть только волнующие задачи творческой жизни.

Это не только трудовой процесс в цехе и в поле, это борьба за знание, за боевую силу мысли, за овладение всеми богатствами науки и техники.

Наша новая интеллигенция, созданная и создаваемая рабочим классом и колхозным крестьянством в эпоху великого социалистического плана, является фактором огромного значения. Эта интеллигенция — главным образом пролетарская молодежь.

Лозунг «освоения техники» уже воплотился в жизнь. Освоение техники стало необходимостью. Без освоения техники квалифицированные рабочие уже немыслимы в наших условиях. Первая пятилетка, создавшая гигантскую металлургию, механизировавшая сельское хозяйство, создала и сильные, квалифицированные кадры. Всякий из нас, близко стоящий к производству, был свидетелем того, как люди жадно и неусыпно, упорнейшим трудом побеждали все препятствия по освоению механизмов, раскрывали тайны иностранных мастеров, искусство которых владеть машиной вырабатывалось многими годами.

Наша эпоха дала нам крупнейших организаторов во всех областях, превосходных специалистов во всех отраслях техники, научных деятелей и, главное, удивительных людей, которые *привыкли работать* и создавать ценности не *в одиночку,* а крепким *коллективом* на основе соревнования и смелого изобретательства. И эта коллективность труда, социалистические его методы — ударничество и соревнование — подняли производительность до невиданных в истории высот, а темпы до таких размахов, которые изумляют весь мир.

Вот в чем своеобразие нашей жизни и наших людей. Без энтузиазма, без огромной революционной идеи, без героизма, без высокого сознания наша эпоха великих дел и великих подвигов немыслима.

Героизм стал бытом, поведением. Он насыщает мысли наших людей и подчеркивает своеобразие нашего труда, нашей культуры.

Молоков в недоумении: почему его называют героем? «В нашей, — говорит он, — работе нет ничего

героического: каждый на нашем месте сделал бы то же самое, что сделали и мы».

С именем шахтера Изотова связана новая система подготовки молодых кадров, которые, изучая опыт и работу стариков, сами являются борцами своего дела и двигают его дальше вперед. Это тоже героизм, но героизм, который именуется новым методом труда. Мы знаем сотни примеров героизма, сотни волнующих подвигов. Мы — постоянные свидетели этих удивительных событий, которые возможны только в нашей социалистической стране, но мы с ними так сжились, так они обычны для нашей повседневности, что мы уже не удивляемся и расцениваем их как факты само собой разумеющиеся.

Социалистическая индивидуальность, как мы видим на примере наших героев труда, может развиваться только в условиях коллективного труда, поставившего перед собой высочайшую и мудрую цель — освобождение трудящихся всего мира из-под власти капитализма.

И вот своеобразие нашей действительности создало новый тип художника слова. Характерная его особенность заключается в том, что он не пассивный наблюдатель со стороны, не человек, одиноко идущий своей дорогой и с презрением взирающий на толпу, а активнейший участник всех дел и событий. Он — весь в практике созидания нашей жизни, в практике тех великих работ, которые совершает многомиллионный коллектив рабочих и колхозников нашей родины.

Наша сложнейшая действительность в своем самодвижении, наступательности требует от художника действия и активнейшей деятельности, как от общественного человека. Ведущая часть наших писателей, воспитанных революцией, партией, заводом, обычно создает свои образы в результате богатого опыта, накопленного в *оперативной* работе. Они стараются изучать тот или иной участок нашей действительности целостно, научаются понимать глубокий смысл происходящего, видеть в малом великое, в части це-

лое. Отдельные явления и факты они уже пытаются связывать с общим ходом жизни.

Но надо признать, что не все наши писатели применяют такой метод работы. Это очень жаль. Длительное изучение объекта, активная работа на месте, постоянная и непосредственная связь с людьми — вот условия, которые освобождают от верхоглядства и легкомыслия.

«Мы все еще плохо видим действительность», — говорил Алексей Максимович. Это верно, это наш существенный грех.

Мы должны признать, что мы не стоим еще соответственно на той высоте знаний, на какой стояли в свое время классические писатели. Мы еще не достаточно крепко орудуем средствами искусства.

Советский писатель должен создать себе такой метод изучения действительности, чтобы достигнуть искусства живописать *сущность вещей и явлений* в их диалектическом развитии, а не только внешние их отношения. Такой метод изучения материалов прежде всего достигается *оперативной работой* писателя на том или ином объекте, изучением документов и соответствующей литературы.

Социалистический реализм по существу своему есть образное познание революционного развития нашей действительности, то есть действительности в напряженной борьбе, в создании новых, социалистических ценностей, в познании человека наших дней как строителя, как героя.

Алексей Максимович дал замечательное определение социалистического реализма. «Социалистический реализм, — говорит он, — утверждает бытие, как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью» [1].

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 27, стр. 330.

Наш реализм активен, насыщен философско-политической мыслью, он яркое проявление борьбы нашей партии, рабочего класса и колхозного крестьянства за завтрашний день, за великое будущее, за бесклассовое общество. Отсюда: успехи художественного творчества зависят в большей степени от того, высоко ли стоит писатель как культурная сила, насколько он глубоко освоил теорию Маркса — Энгельса — Ленина. Без упорной работы над собой, без постоянного повышения своих знаний, без овладения философией своего времени советский писатель не может по-настоящему создавать искусство социалистического реализма.

Я хочу в связи с этим коснуться вопроса об отставании нашей художественной литературы от темпов нашей действительности. Вам приходится слышать на каждом собрании читателей и читать о том, что многие наши книги не удовлетворяют массу. Указывают обычно на один из главных недостатков наших произведений — на *бессилие создать типическую фигуру человека*, которая бы была ведущей, которая бы волновала, звала за собой, поднимала. Это можно слышать почти на каждом собрании, почти на каждой читательской конференции. Одним словом, нет еще в нашей литературе такого типического образа, который сошел бы со страницы книги и сопутствовал читателю всю жизнь. В нашей литературе еще нет такого ведущего типа — типа эпохи. В этом самом главный камень преткновения. Социалистический реализм как раз и требует от советского писателя умения ставить и разрешать основные проблемы современности и проявлять большую силу художественного обобщения.

Было бы, конечно, несправедливо отрицать то, что в наших книгах есть ведущие образы; даже больше: образы положительных героев живут и действуют в каждой книге. Но они почему-то не запоминаются, почему-то в них нет такого полнокровия, как, скажем, в образе Базарова или Рахметова. Писатели часто оправдываются тем, что наша действительность бурно изменяется, что свершаются

каждые месяцы и годы настоящие перевороты, что каждый день не похож на другой и люди неузнаваемо переделываются: вчерашний, мол, человек, не похож на сегодняшнего.

Конечно, перспектива играет большую роль в художественном творчестве. Но сколько же времени нужно ждать, чтобы автор наконец увидел эту перспективу? Я думаю, что закон перспективы можно установить и пользоваться им уже сейчас. Люди, созданные первой пятилеткой, фигуры вполне ясные, отчетливые, яркие, монументальные — очень выпуклые индивидуальности. Их нужно только поглубже почувствовать, изучить, понять, чем они живут, как радуются, о чем мечтают, как любят, чем огорчаются, за что борются, не только *что*, но и *как* работают, каков у них образ мыслей. Надо почувствовать в них поэму нашего дня и создать неповторимый образ нашей удивительной девушки, образ большевика, образ нашей женщины, которой не знает ни одна страна, образ пионера и комсомольца. Это я считаю первостепенной задачей нашей литературы.

Надо сгустить эти образы до пределов, ярко зажечь их, сделать их носителями передовых идей нашего времени. Обычный и множественный в практической жизни человек должен быть превращен силами художника в новый, оригинальный, незабываемый типичный образ.

Мы еще не освободились от предрассудков, недавних «теорий» о «живом человеке», о «непосредственных впечатлениях», о том, что «перлом создания» для нас является человек со своими маленькими личными страстями и заботами. В нас мало еще смелости и дерзаний, а между тем большие образы современности, ведущие типы требуют от писателя большей уверенности и революционного размаха. Тут не нужно бояться некоторой романтизации и некоторого подчеркивания характерных черт. Такая подчеркнутая характерность отличает всех наиболее живучих типических героев Гоголя, Толстого, Тургенева, Горького. Они немного даже тенденциозны. В этом нет ничего плохого.

Энгельс писал Лассалю: «...содержанию драмы не повредило бы, по моему мнению, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и острее противопоставлены друг другу»[1]. На эти слова Энгельса нам нужно обратить особое внимание и не забывать их.

Наш писатель невероятно перегружен «сырым материалом». Материал давит, а писатель часто не может в нем разобраться. Но жизнь стремится вперед. Новые впечатления и факты дает каждый день, и художник стремится все обилие этих фактов и впечатлений перенести в книгу. Фотография и фактография наводняют нашу литературу. Не тип, а портрет глядит со страниц многих книг. Этот фотографический портрет живых, конкретных людей проникает на страницы таких произведений, которые претендуют на типическое изображение и фабула которых вымышлена. Некоторые писатели даже не изменяют фамилии конкретного лица или изменяют в ней одну букву. *Не портретность, а типичность должны быть в центре нашего внимания, не примитивно понятая злободневность, а современность.* Я не против портретов здравствующих лиц, но эти портреты должны быть на своем месте: в очерке, в корреспонденции, в истории, или иметь самостоятельное значение.

Натуралистичность в условиях развития нашей художественной литературы — вещь опасная, она может превратить художника в репортера.

Дать хороший портрет — дело не легкое. Это искусство особого порядка. Непревзойденным образцом мастерства портретной живописи служит для всех нас А. М. Горький. Его портреты Ленина, Красина, Льва Толстого незабываемы по своей глубине и красочности. Эти портреты переходят в эпохальные типы. Но портреты во многих наших книгах, повторяю, фотографичны: люди засняты бледно, скучно, поверхностно, они расплываются в мелочах.

И еще один признак отставания я хотел бы здесь

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXV, стр. 259.

отметить — это замечающийся распад сюжета. Мы недостаточно хорошо владеем мастерством сюжетного построения. Наш многомиллионный читатель справедливо упрекает нас, советских писателей, в неумении делать книгу захватывающе интересной, такой, чтобы от нее нельзя было оторваться. Читатель нередко томится над книгой, чтение книги становится для него скучным, гнетущим занятием. Он с досадой, утомленный, бросает ее, не дочитав до конца. Он пренебрежительно называет ее «жвачкой». А ведь полезность книги в большой мере определяется интересным построением сюжета, правдивой, умелой расстановкой фигур и драматизмом действия. Нам надо учиться так строить произведения, чтобы с книгой читатель расставался с сожалением, с болью, чтобы он врастал в нее, чтобы он полюбил ее на всю жизнь, чтобы она была незабываемой, чтобы он возвращался к ней с волнением и любовью. Кроме того, интересно слаженный сюжет захватывает и самого художника: он живет своими образами, судьбой своих героев, у него самого замирает сердце в моменты особенно драматических положений созданных им людей, он сам плачет и смеется вместе со своими персонажами и трепещет, когда следит за перипетиями борьбы. Его герои — подлинно живые люди, он слышит и видит их. Так переживали свои создания все великие художники.

Я не утверждаю, что все произведения советских писателей сделаны сюжетно плохо. Нет, достижения есть и в русской и в украинской литературе, за которой я слежу внимательно.

Но дело не в голом сюжете. Как правило, самая густая халтура отличается богатым и очень сложным сюжетом, однако воспитательное значение этих книг совершенно ничтожно. Часто такие книги даже вредны. Надо уметь орудовать сюжетом в интересах наибольшего художественного эффекта. Достоевский умел уголовный запутанный сюжет наполнить содержанием глубокого порядка, умел создавать изумительные типы своего времени. Или взять «Дон-Кихота». Сервантес написал приключенческий роман, а между

тем в нем величайшее напряжение стремлений и мыслей своего времени. Едва ли я ошибусь, если скажу, что развитие сюжетной реалистической литературы, насыщенной богатым содержанием и глубокой философией, происходило обычно в бурные эпохи подъема и революции в общественном сознании. Наша эпоха полна величайшего напряжения и борьбы, и она предъявляет к советским писателям требование создавать сюжетные произведения, насыщенные огромным содержанием. Таких книг у нас мало, и наш миллионный читатель, культурно выросший, умеющий разбираться в литературе подчас не хуже профессиональных критиков, вполне правильно указывает на наше неумение удовлетворять его запросы.

Проблема сюжета — вторая из коренных проблем нашего искусства. Успешное выполнение задач, поставленных перед нами партией и рабочим классом, задач воспитания миллионов, устранения пережитков капитализма в сознании людей, не в малой степени зависит от создания превосходных книг, захватывающих по сюжету, по глубине идейного содержания, высоко стоящих по художественному качеству. Призыв Алексея Максимовича к беспощадной борьбе с браком должен стать одним из основных лозунгов в нашей работе.

Отсюда вытекает вопрос о форме, о языке. Проблема языка — третья важнейшая проблема нашего искусства. Язык — это одна из форм проявления нашего сознания. Высота сознания требует высокой культуры, четкости, ясности слова. Величие мысли можно воплотить только в ясной объемной простоте языка, потому что всякая глубокая и яркая мысль проста в своей сложности.

Язык людей социалистического труда имеет свои особенности, порожденные революцией и новыми, высокими производительными силами; в некотором отношении он отличается от языка людей, находящихся под гнетом капиталистической эксплуатации, потому что тут иное сознание. Наш язык богаче, динамичнее, культурнее. Это изменение языка в его

развитии нужно изучать и уметь художественно его переплавлять. Но и он развивается неравномерно: в нем много пережитков, наслоений, грязи, как, например, блат, ругань, изуродованные слова. Нужно учиться пользоваться словом с большой осторожностью.

Язык — это история. Советский писатель должен знать и любить родной язык, неустанно работать над ним. Если вредно для нас эпигонство в отношении языка, то не менее вредна и «детская болезнь левизны» в новаторстве. Нужно уметь сохранять историческую перспективу.

1934

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

I

Советская литература с честью выполняла и выполняет основную свою роль — роль могучей силы в строительстве социализма, направленной на художественное воспроизведение нашей сложнейшей действительности, на ее познание, на воспитание социалистического человека. Ни одна литература в мире не знала такой действенной «нагрузки», какая выпала на долю нашего советского искусства.

Такие корифеи, как А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, Н. Некрасов, М. Горький, знаменовали собою различные эпохи развития русского общественного сознания и относились к разряду искателей новых путей жизни, провозвестников новых начал общежития. Литература была не только источником эстетического наслаждения, но прежде всего общественным служением, самоотверженным подвигом, моральным поведением и долгом. Боевая мятежность литературы эпохи декабристов, «ганнибалова клятва» людей сороковых годов, гордое самоутверждение разночинцев-шестидесятников, как реальной силы, и их борьба с дворянскими иллюзиями и прекраснодушием, проповедь народников о слиянии с крестьянской массой и о борьбе с царизмом — все это очень далеко от искусства как самоцели. Были люди, которые провозглашали принцип «искусства для искусства», но эти гурманы ничего общего не имели с подлинным искусством, выражали позиции, враж-

дебные ему. Живое развитие литературы отбросило их прочь со своей дороги.

Восьмидесятые и отчасти девяностые годы — годы крушения утопических идеалов народничества, годы «безвременья» и «разрушения личности». Но и тогда раздаются громкие голоса таких писателей, как Гл. Успенский, В. Короленко, Л. Толстой, С. Каронин, Д. Мамин-Сибиряк.

Развитие революционного рабочего движения, победоносное наступление марксизма дают новое и решительное направление художественной литературе. Писатель выступает уже как настоящий боец на поле битвы. Муза «больной совести», самоотрицания, «непротивления» и личного «самосовершенствования» умирает, и на ее место с красным знаменем восстания приходит гордый и сильный художник Максим Горький. Это не счастливая случайность, это закономерное общественное явление эпохи «бури и натиска». Исключительный успех Горького — это огромная волна, идущая из недр организующегося рабочего класса, еще не собранного, еще молодого, с только что пробуждающимся классовым сознанием.

Отражением этого движения было революционное настроение молодой литературной интеллигенции того времени. Появляется целая плеяда талантов, главным образом в художественной прозе, которые группируются около легальных марксистских журналов и сборников.

Наша советская литература — это литература строгой исторической преемственности и нового этапа диалектического развития, это литература новой социальной формации, нового качества. Как литература нового общества, рожденного Великой Октябрьской революцией, она является выражением общественного сознания нашей социалистической эпохи.

Чрезвычайно сложная, при своей стройной и четкой системе, эпоха, чрезвычайно богатая новыми образованиями, новым содержанием и обликом! Она — в непрерывном, разнообразном и глубоком движении. Сталкивается множество противоречий, которые причудливо переплетаются между собою и, разрешаясь

подчас очень болезненно, очень остро или менее заметно, выливаются в новые формы, в новые рождения.

Наша жизнь развивается непрерывно, и перевороты в бытии и сознании — необычайны. Но мы, как участники, как творцы этих свершений, переживаем эти процессы как «норму», как вполне естественное движение: мы ими дышим, мы ими живем и сливаемся с их ритмом.

Возьмем нашу промышленность. Теперь она для нас — уже как готовая база, законченный фундамент социализма. Мало того, на этой базе социализм уже в основном построен. Теперь мы на многочисленных гигантах ставим уже вопросы о высоком освоении сложнейших и бесчисленных механизмов, о высокообразованных, интеллигентных кадрах рабочих, о социалистическом быте. Мы возвели новые благоустроенные города около промышленных комбинатов как неотрывную их часть — города трудящихся, где утверждается социалистическая культура, где рабочие коллективы являются подлинными хозяевами жизни. Мы создаем новые культурные районы в пустынях Азии, в тундрах Севера, в горах Кавказа.

Или — деревня. Давно ли она утопала во тьме единоличного существования? Соха, борона, серп — орудия производства, с которыми дальше своего клочка земли нельзя было уйти. Межа, поросшая полынью, была непреоборимой стеной для крестьянина. Он был во власти своей неродящей земли. И эта полынная стена отделяла деревню от города. Лапоть времен древлян плелся не для дальних дорог. Этот вековечный лапоть был знаменем замкнутого, захолустного житья, рабской зависимости от помещика, кулака и «божьей воли».

Это было давно, и это было недавно. Какая великая революция произошла за эти годы! Межи запаханы, деревня индустриируется, строятся заводы на этих межах и толоках. И тракторы, и рядовые сеялки, и комбайны уже поют голосами города. Рабочий уже не редкий гость, не случайный посланец советской власти и партии, а постоянный работник деревни. МТС, этот аванпост социалистической культуры, —

связующее звено в органической ткани единого социалистического хозяйства. Колхозник — это активный строитель коммунизма. Он уже и в городе чувствует себя как дома, ибо город для него — это партия, это центр своей власти, это сектор единого советского хозяйства, связанный неразрывными узами общего производства и распределения. В произведениях некоторых писателей прошлого мужик рисовался как пьяница, тупица и лодырь. Это выдавалось чуть ли не за «национальную черту» его характера. Не так давно Бунин все богатство своего художественного дарования тратил на изображение именно такого типа предреволюционного мужика.

Новые производственные отношения породили в колхозной деревне новых людей, новое общественное сознание. На место мелкособственнической, однодворной заинтересованности появилась заинтересованность коллективная. Новая система труда — соревнование, плановая расстановка сил, трудодень — поставила вчерашнего мужика в новые отношения к природе, к вещам, к труду, к обществу, к городу, к семье.

Произошли глубокие изменения и сдвиги в других социальных слоях. Об этом можно писать долго и много.

И вот основной задачей нашей художественной литературы является, на мой взгляд, правдивое, глубокое изображение этих сложных и многообразных исторических процессов, совершающихся в нашем обществе каждодневно. Советская литература создала немало превосходных книг. Советское искусство завоевало достойное признание всего мира — не только со стороны друзей, но и врагов. А в нашем искусстве художественное слово занимает по праву ведущее место. Но то, что сделано, что дано нашими художниками, еще совершенно недостаточно.

Движение нашей жизни — бурно, наступательно: ритмы ее могучи, строги и неудержимы; наши годы — это скачки в развитии, это образование новых качеств. Происходит борьба не только за утверждение новых

отношений и новых творческих завоеваний, но и борьба с привычками и предубеждениями прошлого, с болезнями и пережитками вчерашнего дня.

Писатель наших дней — это писатель-революционер, писатель-борец, писатель-ленинец. Он всегда должен быть в «числе драки». Он не только наблюдатель, но и деятель. Чтобы понять все процессы движения жизни, чтобы быть в сердце действительности, надо самому быть в рядах действующих масс, и непременно в авангарде. Надо встать в этот передовой отряд с первых же часов мобилизации, участвовать во всех боевых операциях и уйти последним в свою мастерскую, чтобы создать поэму пережитой борьбы. Эта поэма будет тем значительнее и действеннее, чем глубже и богаче писатель владеет и распоряжается своим материалом, чем глубже он осмысливает свою задачу художника, чем острее и смелее ставит и разрешает узловые проблемы современности.

Еще никогда жизнь не была такой многосложной, разнообразной, огромной в своих свершениях, как в наши годы. Еще никогда не поднимались поистине «геологические» пласты во всех областях действительности, как сейчас. Никогда человек не проявлял с такой силой и напряжением своей энергии, как в период социалистического строительства.

Родилась новая женщина — боевой товарищ рабочего и колхозника. Создалась целая армия воинствующей, героической молодежи. Это люди, которые дали нашу многочисленную, подлинно народную интеллигенцию — с новыми трудовыми навыками, с большевистской целеустремленностью, с марксистско-ленинской закалкой.

Мы крепко закладываем основы для коммунистического мира. Но мы не только каменщики. Мы — творцы и созидатели коммунистического общества. Мы уже сейчас решаем задачи, проблемы, поставленные перед нами будущим.

В жизни нашего общества нет уже эксплуатации человека человеком, но мы живем в величайшей борьбе с грозным окружением вражеских сил: тут не только капиталистический мир с его страшными ору-

диями разрушения, но и враг внутренний — и собственнические пережитки в быту и в сознании людей, и индивидуалистические навыки и стремления, и карьеризм, и кружковщина, и бюрократизм, и стяжательство, и разъедающая бытовая пошлость, и эгоистическая мерзость разных страстей.

Мы отстаем в деле культурно-бытового воспитания. Мы строим новый быт, но строим еще плохо, неумело, а строительство нового быта — одна из основных задач перевоспитания новых поколений. Мы строим общественные столовые, но еще не умеем давать сносную пищу; мы создаем новую школу и бесчисленные детские учреждения, но педагогика еще хромает на обе ноги; мы освобождаем женщину от власти кухни и семьи, но старый быт еще захлестывает нас. Жизнь изменила старые формы любви и брака, но как трудно приходится преодолевать «ветхого человека»! Мы еще не осмыслили как следует вопросов поведения, мертвецы еще крепко хватают нас на каждом шагу.

Все это говорю я к тому, что писатель современности всеми нитями связан с животрепещущими вопросами нашего дня. Он призван быть летописцем настоящего. Он певец и глашатай переживаемых дней. Он обязан не отставать. Но в движении вперед неизбежны остановки и оглядки назад. Оглянуться назад — это значит пристальнее вглядеться в настоящее и в будущее, чтобы глубже осмыслить развитие действительности.

А знать нашу действительность — это быть энергичным работником большого дела.

Надо вжиться в ритм борьбы и коммунистического созидания. Вот этот ритм и смысл этого ритма — все для художника. Это обстоятельство определяет не только содержание, но и форму его художественного создания.

Каждое предприятие, каждая стройка вполне законно требует внимания к себе писателя. Там рождаются и воспитываются новые люди, там творятся новые ценности. Но я думаю, что дело не в изображении того или иного данного объекта нашего необъят-

ного созидания. Наличные силы литераторов просто не могут охватить всего количества объектов и их разнообразия. Писатель в своих творческих замыслах должен исходить из *типических* характеров и *типических* обстоятельств, из *всей системы* отношений в данный период времени. Главная его задача — художественно воплотить все типическое в нашей жизни, доподлинно и всесторонне освоить материал — людей, процессы дела, обстановку, все сложное хозяйство нашей эпохи.

И надо сказать прямо, по всей справедливости, что наш советский писатель действительно работает над материалом добросовестно и продолжительно. Он проводит годы на своем рабочем участке и честно накопляет свой опыт и наблюдения. Он учится напряженно, как внимательный ученик.

Перед писателем — океан. Этот океан никогда не бывает спокойным. Штиль ему неведом. Никогда он не сияет благостно зеркальной поверхностью, сливаясь с небесной лазурью. Волны этого океана — грандиозны и бесконечны, и бури — страшны, величавы и прекрасны. Наш художник вырос среди этих бурь и привык дышать воздухом потрясающих прибоев. Но этот океан не стихия, а великая человеческая борьба, борьба за высшую мировую цель — за коммунизм, за человеческое счастье. Создается новое общество, рождается и мужает новый, социалистический человек — творец чудес, дерзновений и трезвый реалист-мечтатель, непрерывно, расчетливо, планомерно воплощающий мечту в действительность. Он создает новый, невиданный ритм жизни, ритм труда (будь это цех, шахта, научно-исследовательская лаборатория), ритм мысли, ритм времени. Это высший род наслаждения, ибо ритм — это цель, воплощенная в действие, в динамику плана. Сколько новых проблем, мыслей, чувств, страданий и радостей рождается с каждым новым шагом в будущее, с каждым новым вздохом, с каждым ударом сердца! Каждый новый час и новый день — это препятствие, это противоречие, это борьба. Человек постоянно как бы вырастает из себя, выходит за свои пределы. Разве это не драма? Разве тут нет «проклятых вопросов»? Разве не стра-

дает наша душа от болей разрывов и преодолений? Разве мало крушений и гибели того, что было близко и привычно? Разве решены все задачи личного поведения, морали, быта, интимных переживаний, которые пока еще глубоко скрыты в нас? Они пе откроются до тех пор, пока мы не разовьем в себе дара читать мысли и чувства друг друга.

Необычайно грандиозной и сложной проблемой стоит перед художником человек наших дней. Нужно гениальное проникновение, чтобы увидеть, узнать, понять, поднять его и воплотить в «нетленный» образ — в тип эпохи, как это могли делать великие поэты прошлого.

Наша советская литература много создала незабываемых характеров, ярких картин героической борьбы за власть Советов, за социалистическую промышленность и деревню. Новый пейзаж расцветает на страницах книг, не виданный раньше никогда. Новая поэма и песня волнуют миллионы. Наше искусство зреет, и сила его становится все более могучей и неотразимой.

Проблема литературного мастерства, проблема языковой архитектоники, проблема стиля — проблемы первостепенной важности. Эти проблемы у нас не только не решены, но к ним по-настоящему-то и не подходили еще наши критики и теоретики. А между тем эти проблемы неотделимы от материала, от содержания, от «мотива». Творчество — это становление. И всякое художественное преобразование стремится в своем становлении вылиться в соответственных образах, в соответственной форме.

Содержание в процессе творческой работы художника стремится вылиться именно в ту форму, какая свойственна этому содержанию. Иными словами: содержание, в конечном счете, определяет форму. Не всякая форма годна для того или иного содержания. И художник не может полностью освоить данное содержание без глубокого понимания эпохи.

Наша эпоха создает художника своеобразного, во многом отличного от писателя прошлых эпох. Мы призваны создавать свой, новый стиль, ибо к этому обязывает нас новое содержание жизни. Мы делаем мил-

лион ошибок, но эти ошибки — шаги к совершенству, и с каждым новым произведением мы даем что-то новое. Нас часто ругают за то, что наше слово иногда не совпадает с традиционным понятием критиков. Пусть ругают. Потому именно и ругают, что слово писателя выходит за пределы схоластических норм. Слово — это индивидуальность. Исторические перевороты, борьба, гигантское созидание, все величие нашей эпохи требует слов, воплощений и звучаний как отклика, как своеобразного голоса времени.

Мы создаем великий план, мы упорно и организованно ведем борьбу с природой, преображая ее, овладевая ею на благо трудящихся. Наши песни — не стон, а марш труда, наш стиль — это стиль борьбы и преодолений, это стиль коллективного творчества. Это стиль не «прозрачной теплоты», а горячего густого металла. Это стиль не рефлексирующего интеллигента, а реального, занятого большим делом человека-коллективиста. Его внутренние искания — иные. Он уже не ищет «смысла жизни» и «утраченных связей». Он ищет другого: как бы организовать себя для коллективного труда, как бы попасть в ногу с другими, чтобы не отстать, а отстав, как бы догнать уходящих вперед.

Нам, писателям, необходимо понять глубочайший смысл новых методов труда и пристально вглядеться в творцов новой технологии. Мощные, технически оснащенные капиталистические предприятия основаны на подневольном труде и эксплуатации. Система труда создается сверху: каждое движение, каждый шаг рабочего предписывается предпринимателем и его штабом из вымуштрованных инженеров. Рабочему, как живому инвентарю рабовладельца, ничего не остается, кроме слепого, автоматического подчинения. От него требуются строго рассчитанные манипуляции: он только придаток к машине. На работе он нем и безличен. Мозг его нужен хозяину постольку, поскольку он участвует в выработке определенных навыков. Норма и темпы диктуются ему как обязательные регламентации. Творческое отношение к труду — явление противоестественное в условиях капиталистического способа производства. Да рабочему и нет ну-

жды тратить энергию на благо работодателя, своего классового антипода.

Но наша организация хозяйства и труда невозможна без неустанного, богатейшего творчества рабочих масс. Организатор и хозяин, созидатель и работник — наш рабочий призван к всестороннему проявлению всех своих творческих сил. Таланты и способности пробуждаются и расцветают, как зелень под ослепительным солнцем жизни.

Каждый человек, участвующий в общественном труде, создающий ценности, должен воспитываться, гармонически развиваться, непрерывно расти и совершенствоваться. Энтузиазм и героизм становятся в социалистическом труде массовым явлением. То, что называется вдохновением, как подъем творческой энергии, является уже характерной особенностью нашего человека. Каждый из миллионов — равноценная личность, и каждая индивидуальность своеобразна, оригинальна, хотя и не одинаково равносильна в смысле одаренности. Постепенно исчезает резкая грань между трудом умственным и физическим, потому что размах социалистической культуры во всем разнообразии ее слагаемых захватывает глубокие пласты народных масс. Культурная революция вооружает всех и каждого неотразимым оружием знаний и коммунистической целеустремленностью. Уважение и любовь к товарищу, к соратнику приобретает характер человеческого величия. Только у нас возможно появление социалистического соревнования, как энтузиазма и планомерной борьбы за хозяйственную и культурную мощь своей страны.

Ценность нашего человека определяется прежде всего творческим отношением к труду. Движение новаторов зрело и проявилось именно на этой основе. Это движение окончательно опрокинуло все старые представления о нормах, о возможностях человека в труде. Трудовые нормы, коэффициенты, формулы, технико-экономические показатели были рассчитаны, распределены и вырезаны на скрижалях таблиц и справочников. А ведь эти справочники и таблицы составлялись без учета главной, решающей силы — ре-

волюционной дерзости инженеров и рабочих масс и творческой их мысли. Вот почему казалось ошеломительным и необычайным простое открытие Стаханова, которое произвело коренной переворот в методах труда. Все нормы и коэффициенты полетели к черту. Новая расстановка сил, рассчитанность движений, разделение труда, максимальное использование времени, ритм, глубокая осмысленность приемов, взаимное понимание и содружество — все это совершенно немыслимые вещи для капиталистического мира. Новые, социалистические методы труда зародились в эпоху первой пятилетки, но развернуться в широкое движение могли только позже — на базе могучей социалистической техники. Соревнование с этого времени вступило в новую, высшую фазу своего развития. Это уже сложная система воспитания кадров. Увеличивая в пять — десять раз производительность труда, новые методы труда, новая технология заставляют человека работать над собой, закаляют его характер, волю, поднимают его гордость за свое дело и за своих товарищей. Труд стал «делом чести, делом славы, делом доблести и геройства».

И тут невольно выдвигается на первый план *проблема личности* в совершенно новом ее понимании. Проблема личности ставилась и разрешалась в русской литературе во все времена и эпохи. Нашей социалистической литературой она, как проблема художественного образа, поставлена по-новому. Однако разрешить ее во всей полноте пока еще не удалось. Не поэтому ли проблема «положительного героя», «ведущего характера» остается по-прежнему в порядке дня? Много громких фраз говорилось об этом «ведущем герое», но нередко слова так и оставались словами. Человек наших дней, полных ярчайших проявлений, выходит твердыми шагами навстречу художнику. Вопрос только в том, чтобы изучить этого человека, проникновенно взять его как *полноценную личность,* как *типический образ,* как *героя нашего времени.* Нет, *не описывать* его, *не фотографировать,* а создать цельный характер — как живую индивидуальность с наиболее яркими, эпохальными особенностями его существа.

В чем особенности этого «ведущего героя»? Основная его черта — это *напряженная творческая энергия.* При огромной любви к жизни он знает свои силы и знает, как эти силы преобразить в дело. Он знает себе цену, знает свое место в производстве, и его развитое личное достоинство определяется критическим его отношением и к вещам, и к людям, и к самому себе. Он взращен и воспитан комсомолом, партией. Его поведение — простота, скромность, величие, чуждое самообольщения и самолюбования. Его большие дела, его героизм, его творческие искания, борьба и победы — это его ежедневный планомерный труд и поведение. Его *личные* цели — это цели *коллектива* и общественной пользы. Его радости от собственных свершений и муки от поражений сливаются с чувствами коллектива. *Отношение к труду и бригаде* — это уже отношение к себе.

Ему чужды и несвойственны мещанское тщеславие, карьеризм, гонор, гениальничанье. Жить — для него значит двигаться вперед вместе с народом, своим коллективом. Его дыхание свободно и сильно только в стихии родного человеческого множества. Он прост, скромен, и когда товарищи поднимают его на щит, он искренне не понимает, почему ему приписывают героизм, когда это его обычное дело, обычная борьба, обычные обязанности. Его гордость не столько за себя, сколько за свою бригаду и коллектив. *Он никогда не стоит на месте*: для него жизнь — в преодолениях, для него наслаждение — в бою. То, что мешает ему двигаться вперед и создавать новое, — это препятствие, которое нужно побороть. Он хорошо, основательно знает производительные силы своего участка, понимает задачи страны, политический смысл эпохи и умеет определить слабые места на фронте борьбы за великий план. Рутина и пережитки, как отложения пройденных этапов, для него так же ненавистны, как вражеские фортеции, которые нужно взорвать до основания. Уметь радоваться творческой радостью, испытывать счастье от постоянного *самообновления,* волноваться и вдохновляться новыми замыслами и постоянно быть готовым к новым порывам

в будущее и к ударам по окаменелостям — это не просто увлечение и склонность к азарту, а осмысленный, продуманный в содружестве и сотворчестве план и тактика действия. Надо неустанно, с новой энергией идти вперед и выше, творить новые показатели и коэффициенты производительности и качества.

Этот человек, сильный и молодой, живет и крепнет во всех областях нашей жизни: и в цехах, и в колхозах, и в научных лабораториях, и в шахтах, и на железных дорогах...

Писателям нашей эпохи надо чутко и проникновенно жить, надо учиться быть передовыми людьми своего времени, своего общества и твердо знать свою дорогу в будущее, чтобы создавать образы, которые бы звали и поднимали миллионы людей, строящих новую систему жизни.

II

Самое уязвимое место в литературно-художественных журналах — это критические отделы. В большинстве случаев они пустуют, редко появляется в них та или иная проблемная критическая статья. Преобладают «малые формы» критики — рецензии. Обычно они бледны, импрессионистичны, ничего не открывают, ничего не возвещают, никаких проблем не ставят и не разрешают.

Мне кажется, что многие критики не совсем отдают себе отчет в той громадной ответственности, которую возложило на них социалистическое общество. Зияющий разрыв между художественной литературой и критикой мучительно отзывается и на писателе, и на читателе, и на критике.

Существует мнение, что критик призван быть в роли безжалостного прокурора, а писатель — всегда подсудимый. Сплошь и рядом приходится слышать вульгарное отождествление понятий «критиковать» и «ругать». В условиях нашей культуры пора бы уж знать истинное назначение критики и ее роль в развитии нашей мысли. Еще Белинский высмеивал зло своих современников: «У нас, на Руси, — писал

он, — особенно, критика получила в глазах массы превратное понятие: критиковать — для многих значит ругать, а критика одно и то же с ругательною статьею... Понимать таким образом критику все равно, что правосудие смешивать только с обвинением и карою, забывая об оправдании»[1].

Белинский считал, что критика должна быть философской, потому что полное и совершенное понимание произведений искусства возможно только через философскую критику. Настоящий критик, по его убеждению, должен стоять на высоте своей эпохи, быть обладателем современного ему знания и, кроме того, иметь качества, необходимо условливающие собственно критика.

Он разъяснял, что дарование критика есть дарование редкое и потому высокоценное. Талант критика должен обладать высоким чувством, пламенной любовью к искусству, многосторонностью и объективностью ума. Самой пошлой критикой он считал такую, которая понимает свою задачу только как «осуждение рассматриваемого явления или отделение в нем хорошего от худого».

Правда, есть и другой род критики — критика психологическая, которая старается уяснить характеры отдельных лиц художественных произведений, но эта критика не в состоянии уразуметь произведение как *целое*. Сокрушительно разоблачал Белинский и критику формалистическую, вкусовую. Смешная ее сторона состоит в неопределенности и шаткости требований, которые предъявляются к художественному произведению. «Нельзя ничего ни утверждать, ни отрицать на основании личного произвола, непосредственного чувства или индивидуального убеждения... — писал Белинский. — Выражения: «мне нравится, мне не нравится» могут иметь свой вес, когда дело идет о кушанье, винах, рысаках, гончих собаках и т. п.».[2] *Критика есть сознание действительности.*

---

[1] В. Г. Белинский, Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. II, стр. 348.
[2] Там же, стр. 347.

И через столетие молодо гремит голос мудреца и потрясает пламенная любовь его к родной литературе. А на литературу он смотрел как на «выражение умственного существования (сознания) народа». Такая литература находится в тесной связи с его историей и развивается органически и в содержании и в форме. Она тесно слита с жизнью народа. Ее *типизм* — это торжество органического слияния *общего* и *особого* — общечеловеческого и национального. «Художественное произведение... овеществляется, явившись в форме: принадлежа к ничтожному клочку земли, на котором разыгралась драма, оно... гражданин всего мира; принадлежа к ничтожному мгновению, в которое совершилось событие, оно есть достояние вечности...»

Исходя из этого, Белинский требовал от критика *глубокого изучения* произведения, беспристрастного, непредубежденного *проникновения в творческую индивидуальность* писателя.

Всякая личность, говорил Белинский, есть истина, в большем или меньшем объеме, а истина требует исследования спокойного и беспристрастного, требует, чтобы к ее исследованию приступали с уважением к ней, по крайней мере, без принятого заранее решения найти ее ложью. Надо *понять пафос писателя* как живую страсть. Надо видеть и чувствовать *самобытность писателя,* а не заслонять его внушительной тенью того или иного знаменитого покойника. Механистический подход иных критиков к советскому художнику свидетельствует о недооценке ими творческих сил советских писателей и об отрицании новаторства нашей литературы.

Ведь настоящее произведение — это плод большой мысли, которая овладевает художником. Он вынашивает ее порою очень долго и мучительно. И в пафосе своем он влюблен в идею, как в прекрасное живое существо.

Критика прежде всего неотделимая часть общественного дела, а не выражение личных интересов и пристрастий.

Было бы опрометчиво утверждать, что наша критика с честью выполняет поставленные перед нею задачи. Нельзя пренебрежительно отмахиваться от жалоб и упреков по адресу наших критиков, нельзя снисходительно иронизировать над писателями, требующими глубокой, марксистски выдержанной критики. Разве их недовольство рождено только обидчивостью и нетерпимостью? Критикам надо уметь прислушиваться к художникам и уважать их.

А взаимное уважение возможно только на почве общественно-полезного, вдохновенного труда и самоотверженной борьбы за счастье человечества. Этим обусловливается и личное поведение каждого — честное и безупречное.

Писатель и критик совершают великое дело творческого жизнестроения на одном и том же участке культурной революции. Без взаимного понимания, без взаимной помощи друг другу, без общего делания литературы не может быть успеха в такой трудной области, как искусство. Передовые литераторы своего времени любили и глубоко уважали и Белинского и Добролюбова, учились у них и с волнением внимали каждому их слову. Вспомните признания Тургенева, Некрасова и др. Тургенев считал Белинского «вожаком», а Некрасов посвятил ему трогательнейшие стихи в поэме «Медвежья охота» («Белинский был особенно любим. . .»).

Утверждают, что между критиком и художником всегда существует неизбежный антагонизм, всегда беллетристы и поэты враждовали и будут враждовать с критиками. Я думаю, что это предрассудок. Если иметь в виду тех «критиков», которые упражняются в зоильстве и зубоскалят по каждому поводу, или таких нигилистов, которые ничего не хотят знать, кроме отрицания, придираясь к каждой мелочи, — такие критики, несомненно, враждебны писателю, литературе.

Наша критика создается пламенными борцами за советское искусство. И я не сомневаюсь, что она станет поистине *большой* литературой, и голос ее загремит на весь мир.

Быть критиком — не менее трудное дело, чем быть художником; быть критиком — это значит быть творцом, философом и художником в душе. Чтобы быть подлинным критиком, надо горячо, самозабвенно любить литературу, жить ею и относиться к писателю как к человеку, который призван на общественное служение. Надо знать, что не всякий и не каждый может быть писателем (художником, критиком). Для этого нужно обладать талантом, который воспитывается и развивается путем длительного и упорного труда. Талант всегда требует самоотверженного труда во имя движения в будущее, во имя интересов народа. Жить рентой с таланта ради личных благ в наших условиях не удастся никому.

Пророческие слова В. И. Ленина, который в девятисотых годах приветствовал революционную литературу, относятся, конечно, к нашей социалистической литературе: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого... и опытом настоящего...» [1]

Это одинаково относится как к художественной литературе, так и к критике, которая является одной из форм нашей публицистики.

Большой литературой критика может быть только тогда, когда она будет создавать произведения *крупного проблемного* значения. Обхаживать писателя, не отдаляясь от него ни на шаг, быть в зависимости от его произведения (хорошего или плохого) и расценивать

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 30—31.

его только с субъективной точки зрения — это слишком узкая, односторонняя, ограниченная работа критика. Критик, как мыслитель, должен уметь воспринимать произведение *целостно* и создавать свою систему мыслей, навеянных, пробужденных созданием художника, рожденных образами этого произведения и замыслом, который волновал писателя. Только с такой позиции можно верно судить о произведении искусства. Так подходили к произведениям Белинский и Добролюбов, так создавали они бессмертные свои труды, полные глубокого общественного значения.

Литература имеет целью вскрыть и поднять основные проблемы современности. Художник живописует это в типических образах, в борьбе характеров, страстей и идей. Критик ставит и разрешает проблемы жизни как философ и публицист. Стоит вспомнить все крупные работы Белинского, Добролюбова, Герцена, Чернышевского, Ленина, чтобы не считать этого вопроса дискуссионным. А наша советская литература за всю свою историю росла и развивалась как революционное искусство, неразрывно связанное с жизнью народа. Можно сколько угодно говорить о характерах, восхищаться ими или ненавидеть, хвалить автора или ругать его за то, что он не угодил критику. В этом еще критики нет. Подлинная критика начинается тогда, когда критик воспринял и охватил весь мир, созданный писателем, понял пафос художника, взволновался замыслом и смыслом произведения и поставил во всем объеме жгучие вопросы жизни.

Это не значит, что критика должна быть выражением мира и благодати на стезях нашей литературы. Анализ — не только изучение и бесстрастный разбор произведения, но и борьба. Классическими образцами такой глубокой и мудрой критики являются великие труды наших гениальных учителей. Настоящая критика рождается беззаветной любовью к трудовому человечеству и к тем, кто работает во имя этого человечества. И критик и художник призваны прежде всего утверждать нашу действительность, способствовать движению ее вперед и разоблачать то, что мешает

этому движению. Без критического ума и поэтической страсти художник не в силах охватить действительность и вдохновенно воплотить ее в жизнь искусства. Без вдохновенной мысли, без философского огня критик не в состоянии быть трибуном и «властителем дум». А ведь и тот и другой, как творцы большой литературы, не только объясняют, но и изменяют мир. Они активные строители социализма. Критик наравне с художником обязан быть в самой гуще действительности, в непосредственном общении с живыми людьми нашей страны, пристально следить за непрерывным движением жизни, чтобы оправдать свое назначение. Иначе: «Как же ты будешь вожаком, если с дорогой незнаком...» Побеждать и творить — значит знать. «Чтобы действительно знать предмет, — говорит Ленин, — надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения». Все это, конечно, не так просто. Критик, как и художник, чтобы быть на высоте своего долга, обязан идти именно по этой дороге, упорно работая над собой, совершенствуясь, учась, проверяя себя, поднимаясь все выше и выше. Перед нами — хребты и вершины, и это хорошо: горизонты шире, глубины объемнее и целостность жизни величавее.

«...Наша критика, — говорил Горький в своем докладе на Первом съезде писателей, — должна быть действительно самокритикой, и значит, что мы должны выработать систему социалистической морали, регулятора нашей работы, наших взаимоотношений».

Вот чего не следует забывать критику и художнику в их совместной работе.

Алексей Максимович адресовал критике серьезные упреки: «Критика, особенно газетная, наиболее читаемая писателями, — критика наша неталантлива, схоластична и малограмотна по отношению к текущей действительности... Не имея, не выработав единой руководящей критико-философской идеи, пользуясь все

одними и теми же цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина, критика почти никогда не исходит в оценке тем, характеров и взаимоотношений людей из фактов, которые дает непосредственное наблюдение над бурным ходом жизни... Критика недостаточно действенна, гибка, жива, и, наконец, критик не может научить автора писать просто, ярко, экономно, ибо сам он пишет многословно, тускло и — что еще хуже — или равнодушно, или же слишком горячо, — последнее в том случае, если он связан с автором личными симпатиями (и антипатиями, конечно! — *Ф. Г.*), а также интересами группки людей, заболевших «вождизмом», прилипчивой болезнью мещанства»[1].

И дальше:

«Коммунизм идей не совпадает с характером наших действий и взаимоотношений в нашей среде, — взаимоотношений, в коих весьма серьезную роль играет мещанство, выраженное в зависти, в жадности, в пошлых сплетнях и взаимной хуле друг на друга»[2].

Да, как это ни *горько,* но мы должны признать, что сетования великого писателя и сейчас еще не утратили своего значения. Это касается и некоторых критиков и некоторых художников: и зависть встречается, и жадность, и пошлые сплетни, и хула друг на друга.

А задача нашей литературы — очистить человека от обывательской скверны, от предрассудков, предубеждений, от растлевающей косности и самоуспокоения, от пошлого эгоизма и личных страстишек... Литература — это и *грозный голос обличения и призыв* к неустанной борьбе за величие и гордость человека, за творческое его утверждение как созидателя всеобщего счастья на земле. Литература — это чудо; она рождает человека заново, окрыляет его, поднимает, вдохновляет на дерзания и воспламеняет душу его любовью к людям своей родины. Поэтому писатель (художник, критик) должен быть безупречно честен, чист, чужд своекорыстия. Чтобы иметь право воспи-

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 27, стр. 326

[2] Там же, стр. 327.

тывать, облагораживать людей, надо прежде всего быть самому благородным, то есть коммунизм идей у нас, по формуле Горького, должен совпадать с характером наших действий, с характером нашего поведения.

У нас, к стыду нашему, среди некоторых литераторов нравы и быт, характер действий подчас не лишены недоброжелательства, недоверия, групповых склок, стремлений опорочить друг друга. Некоторые это выдают за борьбу во имя идеи, в интересах литературы. Но они или лгут, играя на руку врагу, или бессознательно несут в себе навыки беспринципной групповщины. А иные просто действуют в личных целях или злостно, чтобы внести разложение в нашу среду и в развитие социалистической литературы. Мы знаем, как поработали враги на литературном фронте: вреда они принесли немало.

Я вовсе не хочу отрицать заслуг нашей критики, что навязывали мне одни из тех, о которых можно сказать: «иных уж нет, а те — далече». Я стою за критику как *большую* литературу. Художественная наша литература — даже при своих недостатках — сумела стать мировой литературой, потому что она молодо, дерзновенно заговорила о новом новым голосом, подняла такие пласты человеческой жизни, какие не могла поднять никакая другая литература. Имена некоторых наших писателей широко известны во всех странах. Но критика наша пока еще не стала «властительницей дум». А должна быть. Талантливые критики, яркие индивидуальности у нас, несомненно, есть. Нужно, чтобы они проявили смелость мысли, доблесть дерзания.

Легче и безопаснее идти по проторенным дорожкам и повторять уже ранее высказанные мысли. Но пользы от этого немного. Создается некий шаблон, который освобождает людей от необходимости учиться и самостоятельно думать. И все же наша критика — самая откровенная и честная критика, потому что она служит интересам нашей партии, интересам народа. Наша критика без самокритики немыслима.

А ведь самокритика — это проявление чистоты, благородства и большой мысли. Самокритика — это самая лучшая критика, любил говорить Горький. Не может быть критика и художника без этого драгоценного качества. Надо всегда сохранять в себе «святое недовольство» —

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщения, ни застоя,
При котором и на склоне наших лет
Постыдно мы не убежим из строя.

Рост и успехи нашей литературы в большой степени зависят от товарищеской поддержки и поощрения. Роль критика не столько в том, чтобы «изобличать», «пригвождать» и «бить дубинкой», сколько в том, чтобы помогать писателю в его трудной работе, укреплять в нем бодрость и веру в свои силы.

«Несчастье в том, — отмечал когда-то Гюго, — что тот, кто хочет находить дурное, найдет его почти всегда, и он потеряет из-за удовольствия критика удовольствие быть «растроганным».

Наше искусство — искусство наступательное, глубоко общественное. Труд, борьба, люди великих лет, героизм в быту, повседневность как героика и подвиги как быт; мятежные и дерзновенные замыслы и ищущая мысль, новые отношения и социалистическая мораль — одним словом, небывалый в истории человечества круговорот новых, могучих сил и проявлений богатых даров и творческой воли — вот что питает социалистическую литературу. И смысл социалистического реализма — именно в глубоком и ярком отражении этого наступательного движения нашей действительности, в воздействии на эту действительность, в постижении великих проблем эпохи, в создании типических ее характеров — людей, созидающих и движущих нашу жизнь вперед и выше. Писать по методу социалистического реализма — это значит писать правдиво. А разве старый реализм (позитивный, критический) не требовал *правды как своей основы?* Но все дело в том, что реализм нашей литературы стал качественно новым. Наш реализм — действенный, ре-

волюционный, как орудие борьбы, как сила политического сознания, как воспитатель борца, деятеля, красавца человека. Социалистический реализм требует не *«вообще»* правды, но правды конкретной, *нашей, коммунистической*. Художник социалистического реализма не холодный наблюдатель, а полон огня и страсти. Он — строгий, предельно правдивый живописец, но и пламенный трибун.

Энгельс сказал когда-то, что орлиный глаз видит значительно дальше человеческого глаза, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла. Человеческий глаз — это не только зеркало души, это — проникновенное сияние мысли. Это — глаз творца, глаз жизнедеятельного сознания. Проникновенный глаз нашей великой партии постиг закономерность исторического развития, и гений ее провидит далеко вперед: он ведет народы мира к коммунизму, всечеловеческому счастью, как к конкретной действительности. То, что тормозит это движение, мешает его развитию и подавляет вдохновенный подъем творческих сил, — вредоносно и враждебно нашей жизни.

Человечество всегда движется вперед; правда, неравномерно, скачками, но в этом закон развития. Народы нашей страны, освобожденные от гнета капиталистической эксплуатации, движутся в будущее стремительно, бурно, побеждая время. Нигде нет такого величия чудес, как у нас, и нигде гений человечества не проявляет своей мощи и поразительного дерзновения так, как в нашем социалистическом государстве. Наша наука — передовая в мире, потому что она овладевает силами природы на благо трудящихся и ее открытия и достижения — это достояние миллионов, строящих новую жизнь, новую культуру, новые общественные отношения. Наука ушла в массы, в повседневный труд людей, в быт, в поведение рабочих и колхозников.

А искусство — это уже дыхание масс. Все четыре полосы любой газеты заполнены фактами необычайного

культурного роста народа. Для нас, непосредственных участников жизни, эти факты кажутся обычной хроникой, но стоит оглянуться назад, на минувшие три-четыре года, эти факты вырастают в исторические события. И мы знаем, что ближайшие годы загремят и засверкают тысячами еще более величественных дел и открытий. Свойство свободного человечества — творить чудеса, чтобы неустанно двигаться в будущее. Человек меньше живет прошлым, чем будущим. Потому что прошлое откристаллизовано в настоящем, а будущее — это смелая мечта и вдохновенный план. В этом именно бессмертие человека.

Наш путь в будущее идет не суживаясь на горизонте, а беспредельно расширяясь, пылая неугасимой солнечной зарей. И данное нашего настоящего сливается с желаемым и неизбежным грядущего. И мне кажется вполне естественным, а поэтому потрясающе проникновенным пророчество Белинского: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества»[1]. Так мог думать о будущем и мечтать, живя будущим, только человек, беззаветно любящий свой народ, знающий его силы и способности, убежденный в его революционной роли на земле.

Литература — это разящая и утверждающая энергия. Она должна бить метко, верно — так, чтобы каждый ее удар разрушал все то, что враждебно и ненавистно нам. Она обязана создавать и укреплять новое, молодое, яркое, действенное, чудесное, что двигает жизнь вперед.

Но одно дело — заветы и пути, указанные нашими великими учителями, другое дело — отлично или хорошо выполнять эти заветы и шествовать по этим путям, не сбиваясь в стороны, не отставая, не блуж-

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., М. 1953, т. III, стр. 488.

дая в одиночестве. У нас есть самый лучший, самый мудрый, самый прозорливый вождь в мире — это наша великая Коммунистическая партия. Она хорошо знает, какое место занимает в рядах каждый человек, она освещает путь на далекое расстояние, она умеет влить в каждого энергию, волю и уверенность в своих силах, она у каждого обостряет зрение и возвышает душу. С трогательным вниманием следит она за каждым, кто раскрывает в себе те или иные дары и стремления.

Писатель, как и всякий работник культуры, находится в нашей стране в особо счастливых условиях. Литература — не ремесло, а служение народу. Неверно некоторые литераторы употребляют слово «ремесло» в приложении к поэзии (будь это стихи или проза). Это слово несет в себе рудиментарное содержание. Ремесло в основе своей имеет узкопрактическую задачу — задачу выполнения чужого заказа в пределах кустарного опыта. Этот термин был в ходу у так называемого конструктивного искусства. У художественной литературы иные задачи: ее свойство — создавать типические образы, дышать дыханием эпохи. Наша литература — это библия революции, поэма социалистических пятилеток, песнь песней борьбы за коммунизм. И гений нашего искусства (в собирательном смысле) будет тем величественнее и мудрее, чем глубже, жизненнее, типичнее, а главное — мощно, самобытно, с философской глубиной, прозрением, великим сердцем проникнет в самую суть нашей действительности, отразит дух нашего народа, его героев, борцов и мыслителей. Типический, всеобъемлющий образ нашей эпохи — это простая данность наших дней, это «нетленный», идущий в будущее человек, который по-новому волнует мысли и чувства.

У каждого писателя есть свой круг наблюдений, своя излюбленная сфера творчества, связанная с его судьбой, с его биографией. Для одного художника неисчерпаемым источником вдохновения является, скажем, рабочий класс и интеллигенция, для другого — крестьянство, колхозная деревня, сельская ин-

теллигенция и т. д. И было бы странно требовать от писателя, чтобы он переключался с одного на другое и изображал это в одинаковой степени ярко и сильно. Художник может писать уверенно и правдиво только о том, что он хорошо знает, во что он «вжился».

Когда-то Гончаров ответил своим критикам на вопрос о том, почему он не пишет ничего другого, кроме того, что пишет:

— Не могу, не умею.

Конечно, писателю необходимо стремиться к разностороннему знанию жизни, пристально наблюдать и постигать людей различных областей труда, но наша действительность настолько богата и многогранна и настолько глубоко подняты ее пласты, что ни один писатель сейчас не в силах объять необъятное. Нам нужно много писателей отличных и разных. Но для советских художников очень важно то, что сближает их и дает единство их произведениям, — *коммунистическое мировоззрение.* При этом надо помнить, как учил Ленин, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» [1]. Не может быть писателя без ясного отношения к действительности и к конечной цели его творчества. Натуралист тем и отличается от реалиста, что рабски копирует объекты, не проявляя своего отношения к изображаемым им людям и событиям. Он в стороне от общественных проблем и социальных вопросов. Но так как жизнь движется противоречиями, напряженной борьбой классов, то в основе этих противоречий, этой борьбы лежат определенные отношения людей. А общественные отношения — это самое главное, что является отличительной чертой человеческого бытия.

Художник только тогда яркий значительный летописец своей эпохи, когда он находится в центре действительности и видит рассвет завтрашнего дня.

Быть истинным *творцом* — значит создавать новое, свое, неповторимое. Дело не в том, чтобы только писать безупречно с *формальной* стороны. Для писа-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 262.

теля прежде всего важно *что* сказать (он не может молчать), а затем — *как* сказать. Нельзя отделять мысль от ее выражения: это — единый процесс. Содержание и форма единосущны. Прекрасно нарисовать лицо и нарисовать прекрасное лицо — это различные вещи, говорил когда-то Чернышевский. Разрывать и обособлять то и другое нельзя: надо рисовать прекрасное лицо прекрасно.

Форма должна соответствовать содержанию:

...Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей...

Форма не есть готовый сосуд; она развивается органически вместе с внутренней сутью искусства. Главная работа художника проходит над воплощением своих образов, и эта работа чрезвычайно трудна и сложна. Это — напряженная и страшная борьба, которая не всегда кончается победой писателя. «Муки слова» — это драма художника. И сила писателя измеряется упорством и настойчивостью в преодолении бесконечного ряда величайших препятствий. Надо быть плодотворным работником в нашем искусстве, чтобы каждое слово несло в себе горячую идею, чтобы оно будило мысли и чувства миллионов, чтобы оно заставляло человека передумать всю свою жизнь, чтобы оно способствовало его росту и совершенствованию.

Глубоко пережитая и прочувствованная мысль воплощается в простом и впечатляющем образе. Простота — это преодоленная сложность. Выбрать словесное соответствие — это значит то же, что найти музыкальное звучание для чувства; грубее — это значит промыть горы руды, чтобы получить щепотку золота. Кто много чувствует и думает, мало говорит; слово его экономно и многозначительно. Народные пословицы и поговорки живут века, потому что выражают с предельной экономией и глубиной то, что пережито, передумано, выстрадано народом и что находит отклик в последующих поколениях. Удачная афористичность — неплохая вещь у писателя, если

это потребность выразить в категорической форме некую общность. Но простота стиля писателя тем оригинальнее и ярче, чем своеобразнее его талант. В стиле проявляется отношение художника к действительности. И правда изображения есть первое и необходимейшее условие хорошего стиля. Нет нормы для литературного языка, требовать этой нормы по меньшей мере смешно. У нас часто серый штамп выдают за образец простоты, а плоскую бытовщину — за подлинную картину нашей жизни. Неумение некоторых наших писателей пользоваться народным словом приводит к натуралистическому перенесению в литературу местного языкового сырья.

Поэтому обижаться на здоровую критику негоже. А обиды есть. Писателю кажется, что он обладает чутким слухом, когда он переносит на бумагу грубый сор, а на самом деле язык, например нашей деревни, становится иным. Языковые пережитки исчезают вместе со старым, единоличным бытом. Колхозник стал не только грамотным, но и культурным. Резкие грани между городом и деревней стираются, и город непосредственно входит в жизнь колхозов. Это очень сложный процесс, и его надо изучить и смысл его понять. Надо уразуметь и почувствовать тенденцию этих перемен и услышать заветные слова нового общественного человека. Они будут жить вместе с народом, как его творчество. Вот этими заветными словами писатели и обязаны оплодотворить литературную речь. Не механически, конечно, а музыку и душу их уловить. Искусство, как выражение народного духа, становится тем мощнее и величественнее, чем глубже уходит оно в недра народных масс, чем ближе оно к источнику «живой воды».

Но прежде всего надо знать, чем живет наша страна, быть в гуще движения миллионов и всей глубиной души чувствовать мудрый голос, мудрую волю нашей великой партии, как единственного вождя народов. Не со стороны, не внешне, а органически надо усвоить гениальное учение марксизма-ленинизма. Только при этом условии литература социалистического реализма будет подлинным искусством Совет-

ской страны. Ведущие писатели прошлого — «властители дум» — были самыми передовыми людьми своего времени, они стояли на вершине знаний современности.

Великое счастье для писателя быть глашатаем народа. Талантом надо дорожить: дарование писателя — редкое дарование. Но талант требует большой, длительной обработки: с готовым талантом люди не рождаются. Долгие годы проходят в напряженном труде, полном неудач, пока писатель сможет выступить как мастер и сказать *свое* слово, ярко и сильно выразить волнующие его образы. Истинный художник растет скромно, незаметно: он много думает, мучается, обращается к писателям с конфузливой просьбой сказать ему прямо об его способности писать и обычно сам относится к себе очень критически. Как правило, он присылает писателям и в журнал свежие и трепетные вещи. Сразу видно, что́ его тревожит, что́ его захватило и поразило, чем занята его мысль и как поет его душа. Таких людей всегда радостно чувствуешь.

Каждый способный писатель важен для нашей культуры именно своей самобытностью и тем, что дал в своем творчестве хорошего, художественно ценного и, значит, полезного. Кое-кто склонен обособлять художественное и полезное. По-моему, это в корне неверно: нехудожественное не может быть полезно, потому что нехудожественное неубедительно, оно возбуждает противоположные чувства — недовольство и протест. Нехудожественное — неистинно.

Человек познается в делах его и в поведении. Товарищеское чувство развивать надо, братское стремление к сотрудничеству и соревнованию, дружеский интерес друг к другу. В этом, на мой взгляд, и заключается руководящая роль литературной организации. Но если каждый живет сам по себе и смотрит на людей из-за щита, дело нашего литературного служения партии и народу не может дать внушительных результатов. Еще сильны пережитки капитализма в сознании людей, а писатели как раз и призваны к тому, чтобы бороться с этими пережитками и быть

примером в этой борьбе для других. Будем же борцами за торжество нашей правды и vitam impendere vero — не пожалеем жизни за истину.

III

Вопросы культуры в нашей стране — это прежде всего вопросы коммунистического воспитания. Эти вопросы во всей глубине и сложности поставлены с первых же дней Октябрьской революции. Их смысл и значение неразрывно связаны со всем ходом развития у нас производительных сил, с напряженной борьбой за построение социализма, за укрепление военной мощи, за высокий духовный уровень трудящихся. Отношение к труду, к общественной собственности, друг к другу — это животрепещущие проблемы наших дней. Эти проблемы поставлены во главу угла нашей социалистической культуры.

«Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности или самоизменения, — говорит Маркс, — может быть постигнуто и рационально понято только как *революционная практика*». Именно вопросы культуры, вопросы воспитания гражданина — это важнейшая проблема *самоизменения* нашего человека. Гражданин человеческого общества — творец новых общественных отношений, изменяющий обстоятельства, — является воспитателем нового человека. Но, по словам Маркса, «воспитателя самого надо воспитывать». А воспитатель воспитателя — это культурная революция, которая совершается под могучим руководством нашей Коммунистической партии.

За три предвоенные пятилетки мы создали свою интеллигенцию — инженеров, ученых, врачей, учителей, деятелей искусства и литературы. Выросли новые, квалифицированные кадры рабочего класса и колхозного крестьянства. Стоит проследить развитие производительных сил за последние двадцать пять лет — и мы, участники и свидетели борьбы за социализм, сами поражаемся теми великими свершениями,

которые в корне изменили и содержание и формы жизни. Люди изменяли обстоятельства и сами изменялись.

Новаторство — это беспокойство и вдохновение. Наш рабочий класс всегда был и будет революционером и поэтом труда. Рационализация производства, новая технология — это любовь к делу, борьба за совершенство, за свободу, за рост личности. А это уже имеет прямое отношение к культуре, к самовоспитанию. Наша жизнь и деятельность — это осуществление той задачи, которую четко и глубоко формулировал когда-то Энгельс: «Люди, ставшие, наконец, господами своего собственного общественного бытия, становятся тем самым господами природы, господами самих себя, — свободными». «Порождая новое поколение всесторонне развитых производителей, понимающих научные основы всего промышленного производства от начала до конца, оно (социалистическое общество) может создать новую производительную силу». И эта новая производительная сила — рабочий класс — делает сейчас изумительные чудеса. Героизм и инициатива рабочих выливались в мощные формы коллективного труда: ударничество и соревнование в период индустриализации подняли производительность труда до огромной высоты. Тогда величавой музыкой звучал лозунг: нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять! И действительно, доблестно, со славой рабочие массы брали, казалось, самые неприступные крепости. Был построен Днепрогэс с металлургическими комбинатами, были созданы гиганты — Магнитогорск, Кузнецкстрой, Тракторострой, автозаводы, авиазаводы и т. д. И не голыми руками, а средствами высокой техники. И тогда в процессе этих великих работ массы хорошо поняли и почувствовали энергичный лозунг: «Техника в период реконструкции решает все!» А дальше? Дальше переход на высшую ступень — борьба за овладение техникой, за создание технологических кадров, ибо «кадры решают все». Рабочий борется за освоение науки, за создание своей интеллигенции. И такая плотная прослойка интеллигенции в массах рабочего

класса, помимо инженеров, создана. Это она в годы Великой Отечественной войны решала и теперь решает практические задачи технологии труда, это она так искусно совершенствует станки, оснащая их всякого рода приспособлениями, что превращает их в универсальные и полуавтоматические, которые делают труд рабочего высокопроизводительным, позволяют одерживать победы и устанавливать сверхрекорды. Блестящие победы нашей героической Советской Армии во многом обусловлены были творческим трудом этой рабочей интеллигенции.

Воспитание работника социалистического труда — дело первостепенной важности. От коммунистического воспитания зависит успех и победа во всех областях нашей жизни. Воспитанный работник, как полноценный гражданин, приобретает твердые навыки к экономии своих сил, к строгой дисциплине, к ответственности за свои действия, за каждую минуту своего времени. Коммунистически воспитанный человек — человек высококультурный: он чуток к товарищу, он уважает его, он не позволит себе унизить и оскорбить его, он деликатен в цехе и на улице, в его языке нет дурного слова, не говоря уже об отвратительных ругательствах, он не выносит грязи и нечистоплотности, он не допустит нарушения порядка и на работе, и в общежитии, и на улицах города. Наш гражданин должен быть проникнут духом солидарности, взаимопомощи, гордости за соратника, любви и дружбы к товарищу. В нашей жизни много еще пережитков старого, потому что этим язвам многие не придают значения и смысла такой борьбы не понимают. Но мало хотеть бороться, говорит Ленин, надо уметь бороться. А умение бороться приобретается в практике борьбы. Народ нашей страны доказал, что значит уметь бороться. А бюрократ, холодный формалист, тупой филистер часто охлаждал пыл людей, тащил их назад. Такие «человеки в футляре», боящиеся новизны и беспокойства, еще не перевелись.

Вопросы воспитания — это вопросы этического роста личности. М. И. Калинин справедливо говорил, что в понятие «воспитание» вкладывается внедрение

определенного мировоззрения, нравственности, выработка определенных черт характера и воли, привычек, вкусов, развитие определенных физических свойств и т. п. Культурность он определяет как высокую степень развития человека, как чистоплотность в производстве и в быту. А чистоплотность в производстве и в быту должна быть чистоплотностью и в личном поведении, то есть в отношении к людям. Это отношение должно быть основано на уважении к ним, как к деятелям и соратникам. Культурный, воспитанный человек обладает навыками к этой чистоплотности. Такой человек стремится к прекрасному, благородному, высокому в своей и окружающей жизни.

Проблемы культуры неотделимы от основных задач нашей литературы. Назначение литературы — не только правдиво отражать действительность, не только постигать ее, но и активно воздействовать на нее, способствовать росту человеческой личности. Конечная ее цель — воспитать человека и гражданина. Кто не сделался прежде всего *человеком,* тот плохой гражданин, учил когда-то Белинский. А Жуковский пел:

При мысли великой, что я — человек,
Всегда возвышаюсь душою...

Литература девятнадцатого века тем и велика, что она сумела стать огромной моральной силой: она была властительницей дум. Она углубляла самопознание и самосознание людей того времени. Этой своей роли она не утратила и до сих пор. Мир ее живых образов близок нам, как воспоминание о молодости, о горячем стремлении к истине, свободе, справедливости, совершенству. Она поднимала в умах и сердцах благородный мятеж против угнетения и бесправия, будила совесть, звала к борьбе за человеческое счастье. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Толстой, а позднее Короленко, Чехов, Горький были учителями жизни, провозвестниками

человеческой правды, пророками великого будущего. Они привлекали к себе миллионы глаз горячей верой в высокое назначение человека и помогали создавать программу личного поведения. Они поднимали человека на высоту благородства, обогащали его душу, укрепляли его волю к борьбе. Творимая ими литература была не созерцательной, а действенной — она отличалась *волевым* началом.

Советская литература эти славные традиции сохранила: она с честью несет знамя *служения* народу. Ее воспитательная роль велика, ее борьба за человека-деятеля, человека-творца, за человека-воина — за общественного человека — известна всему миру. Она — самая наступательная литература. Вспомним двадцатые годы: эти годы выдвинули яркую плеяду больших художников, пришедших с полей сражений и из гущи народа, и народ заговорил в их поэмах и эпопеях полным голосом. Создавался новый реализм — реализм социалистический. Свободный труд стал основной темой искусства. Вот почему в годы Отечественной войны наша литература сумела мобилизоваться как мощная боевая сила против фашистского мракобесия, против палачей культуры, в защиту человеческой свободы и мировой цивилизации.

Советский человек по строю своей души прекрасен: в нем чрезвычайно развито чувство солидарности, товарищества, он, не жалея жизни, всегда готов броситься на помощь товарищу, он самоотвержен в труде и в бою. Война с исключительной яркостью вскрыла эти его особенности. Как много героев обессмертили себя и в кровавых боях с врагами, и на трудовом фронте! Они — наша гордость, наша слава.

Эта внутренняя суть нашего человека — от общественного труда, от высокого морально-политического духа. И литература, как идейная сила, действенно выполняла свою педагогическую роль. Никогда еще ни в одной стране не было такого колоссального распространения книги, как у нас. У советского писателя с читателем непрерывная связь и через посредство

библиотеки, и непосредственно через переписку. Сколько запросов, сколько высказывается свежих и волнующих мыслей! Не знаю, знакомы ли наши критики с такого рода перепиской писателей с читателями, но, на мой взгляд, они многому могли бы поучиться из этой переписки — например, тому, как ставить и решать те или иные проблемы в связи с данной книгой.

До войны преобладающей темой для нашей литературы был труд. Журналы печатали романы, повести и рассказы о строителях новых заводов, о людях колхозной деревни, о пионерах советской культуры в пустынях и дебрях. Можно указать на несколько хороших книг, вышедших в те годы. Но когда оглядываешься назад, невольно задаешь себе вопрос: почему же сейчас так бедна наша советская литература яркими произведениями о людях рабочего класса, почему большинство наших художников проходят мимо тех людей, которые являются «основными производителями материальных ценностей», по выражению Маркса, и «авангардом движения»? И мне грустно признать, что большинство писателей мало знает этих людей, не чувствует, как богата и глубока их душа и каким творческим дерзанием преисполнен их труд.

Тема рабочего класса была и остается очень трудоемкой и постоянно новой для литературы. Рабочий нашей страны — хозяин и организатор — еще не является основным героем в искусстве слова. Его идеи — господствующие идеи нашей эпохи, но он все еще для многих литераторов таинственный незнакомец. Рабочий класс не однороден: в нем много всяких прослоек, и каждая из этих прослоек находится в постоянном и сложном движении. За три предвоенные пятилетки в массах рабочего класса произошли огромные перевороты и сдвиги. За это время вырос густой слой рабочей интеллигенции с широким кругозором, с большими техническими познаниями. Не отрываясь от цеха, многие из рабочих кончили заочно высшие учебные заведения. Это люди нового вре-

мени, это главный герой нашей эпохи. Знать этих людей необходимо нашему писателю. С ними надо сжиться, сродниться, постигнуть их психику, их заветные мысли, их мечты, их интимный мир. Тут наблюдение со стороны ничего не даст: для художника они должны стать родной средой. Нужно всей душой полюбить их труд, знать его до мелочей и почувствовать красоту и своеобразие заводского мира.

Плохо, конечно, когда литератор изображает людей, жизнь, картины завода бледно, скучно, плоско и не выходит за пределы узкого быта и внешней обстановки. Такой литератор не проник в суть жизни: он не понимает, не постигает, чем живут люди, не знает и не чувствует их заветных дум. Эмпирические наблюдения всегда поверхностны и обманчивы. Писатель должен жить жизнью изображаемых людей, чтобы, во-первых, создавать значительные произведения и, во-вторых, волновать своей книгой миллионы сердец. А для этого, конечно, надо быть мастером слова, уметь проникновенно, ярко, свежо, экономно изобразить всю сложную картину событий и человеческих судеб. И еще необходимо одно важное обстоятельство: писатель обязан быть образованным человеком, стоять на высоте своей эпохи. У нас хорошие книги о рабочем классе есть, но их мало, очень мало.

Кстати, должен заметить, что у нас неустанно говорят о литературном качестве, о мастерстве, и кажется, что эти вопросы ставятся всерьез, солидно, но на самом деле многого в этой общей фразеологии недостает. Ведь важно исходить из реальных художественных ценностей. Если по-прежнему остается новой сама тема о людях «авангарда движения» в данной исторической обстановке, то, очевидно, и стиль произведения неизбежно требует соответственного выражения. Судить о качестве таких книг нужно со знанием дела и с поэтическим огнем в душе.

Можно было бы привести немало примеров поверхностной и невежественной, полной вкусовщины и отсебятины критики — они известны всем. Надо осторожно и основательно подбирать кадры талантли-

вых, умных критиков, которые бы неустанно учились и которые бы искренне, горячо любили литературу и уважали ее. Развязность и самонадеянность в литературе недопустимы. Критик — это прежде всего мыслитель. Независимая партийная, честная мысль требует силы и мужества.

В нашу эпоху, когда художественная литература служит великому делу строительства социализма и беззаветной защите его от империалистических погромщиков, роль критики должна быть особенно высока и ответственна. Ее главная задача — отвечать на жгучие вопросы современности, анализировать их с философской и публицистической глубиной, уметь чутко и проникновенно читать художественные произведения и обобщать те значительные явления современности, которые в этих книгах выражены средствами искусства. Главное — нельзя критику забывать историю советской литературы, потому что эта история плещет, как прибой, в каждом новом дне. Нельзя забывать, что литература социалистического реализма росла и крепла в непрерывной борьбе. На ней воспитывались миллионы людей не только у нас, но и за рубежом. И наши книги изумляли и волновали их, укрепляли боевой их дух и утверждали веру в счастье будущего.

И вот разразилась война. Весь народ поднялся на защиту своей родины. Наука, литература, искусство ринулись в бой с кромешным врагом. Ими очень много сделано для обороны страны. Особенно большая честь выпала на долю науки: ее заслуги в области мобилизации ресурсов на Урале и в Сибири очень велики. У литературы успехов меньше, но в поэзии и беллетристике есть такие произведения, которые останутся надолго в памяти народной. Война подняла глубочайшие пласты, и наши советские люди изумили мир своей беспримерной доблестью, героизмом и умением побеждать самого свирепого и сильного врага и на полях сражений, и в трудовом тылу. Корень этого — в морально-политическом единстве народов Советского Союза. При всеобщем и высочайшем социалистическом соревновании рабочие и инженеры наших

оборонных предприятий добивались таких рекордов, которые были немыслимы в довоенное время. Рабочая интеллигенция создала новые методы труда и новую технологию, которые возможны только у нас, в социалистическом государстве. Наши литераторы по мере своих сил изучали и отражали эту творческую работу в своих произведениях и старались разрешить многие проблемы, поставленные перед нами действительностью. То же самое можно сказать и о литературе, посвященной фронту.

Но что возвестили нам критики? Какие коренные вопросы подняли они в эти огненные годы? Как, наконец, они отозвались на книги, которые волновали и продолжают волновать читателя? Хотя и до войны жизнь выдвигала множество больших проблем и художники старались эти проблемы отражать в своих книгах, но критики по преимуществу отмалчивались и обходили серьезные общественные вопросы под тем предлогом, что всякие проблемы жизни призвана разрешать партийная публицистика, а их дело — анализировать «изящную словесность» с точки зрения эстетики. Критический анализ таких критиков не выходил за пределы штампа и их личных вкусов («мне нравится», «мне не нравится»). Они могли только, не отрываясь и не поднимая головы, ползать по строчкам и выискивать «находки» и неудачные словечки. Такая критика была скучна и бесполезна.

Я не хочу, чтобы меня превратно поняли. Я далек от мысли отрицать наличие у нас критики. Напротив, можно назвать не одно значительное имя. Я отмечаю только странный факт недостаточного влияния этого фланга нашей литературы в дни великих народных испытаний и пытаюсь найти корень этого печального явления. Этот фланг советской литературы в трудные дни борьбы оказался плохо вооруженным.

Но, с другой стороны, не могу не отметить некоей ограниченности в работе некоторых работников печати, тормозящей и дезорганизующей творческие дерзания критиков. Правда, дерзания эти не так уж смелы и оригинальны, но даже попытки эти тушатся часто в самом начале. Критик, как и художник, не выносит

ни рогаток, ни администрирования, ни прокрустовых лож. У него есть свои замыслы, свои темы, свои приемы работы. А между тем у нас существуют редакционные работники, которые, вместо организации критиков вокруг данного органа печати, самоуверенно и беззастенчиво диктуют им свои вкусы, свою логику, свое отношение к художникам. Их оценки творчества писателей напоминают категорические суждения гоголевской дамы, приятной во всех отношениях.

Заниматься пустячками, выискивать недостатки, процеживать мух и комаров — задача неблагодарная и неблагородная для критиков. Назначение критики — в широком и глубоком анализе литературных явлений современности.

Художник — не репортер, он стремится отразить в своих произведениях *современность*. Он создает типических людей нашей *эпохи*, воплощает в образах *основные, ведущие идеи нашего времени,* отражает *характерные* особенности общественных отношений. И чем полнокровнее живопись художника, чем типичнее, ярче произведение, тем более длительно его воздействие на читателя: оно становится эпохальным, неувядаемым для будущего. Литература создается настоящим днем, но подлинно художественное произведение, глубоко воплощающее действительность, сохраняет свежесть и идеалы грядущего, потому что в нем нетленно живет дух народа и неугасимая идея нашего времени. В этом смысле художественное творчество не может отставать от социалистической действительности. *Активность книги определяется не злободневностью содержания, а живыми идеалами современности.* Искусственно нельзя создать славу для книги: слава создается не критиком, не приказом — такая слава эфемерна. Но история нашей советской литературы свидетельствует, что некоторые книги, написанные давно, не менее современны, чем книги, изданные в последнее время; они с не меньшей силой волнуют читателя и теперь, как и в прошлые дни. Нам нужно любить свою литературу, гордиться со-

зданиями наших художников, а не сдавать их в архив: «насилие мудрецов» бессильно против истории. Живая душа не хочет умирать. Наш народ умеет читать, умеет разбираться в искусстве и не считается с нашими «мудрецами». «Притесняя других, мудрый делается глупым», — сказано в екклезиасте.

И тут мы вплотную подходим к одному из основных вопросов нашей литературной жизни. Я говорю о марксистско-ленинском вооружении писателя и критика — о мировоззрении. Искусство — не личное дело каждого, а дело глубоко общественное. В условиях нашей социалистической действительности труд и наука, дерзновенное познание и неограниченная возможность исследования совершаются в гармоническом единстве. Жизнь и искусство развиваются в закономерной согласованности. Чтобы понять действительность наших дней, надо обладать, помимо дара наблюдательности, и коммунистическим мировоззрением. Чтобы знать движение жизни и постигнуть психику людей нашей эпохи, чтобы увидеть новые силы в недрах нашего общества и их творческие, преобразующие деяния, надо стоять на высоте эпохи, быть прозорливым диалектиком. К сожалению, среди наших литераторов есть люди, которые находятся еще во власти старых понятий, предрассудков и милых воспоминаний. Вот почему некоторые из них или угрюмо молчат, или весьма нехорошо попадают впросак. Это не случайные ошибки, это — порок, свойственный людям, далеким от марксистско-ленинского строя мысли. Но сила и величие нашей литературы состоят именно в ее высокой идейности. Этим же определяется ее новое качество, оригинальность и пластичность. Ведь образ — это пластическое воплощение идеи, это оружие поэта в борьбе за свой идеал.

Ленинизм — это философия нашей эпохи, это самый совершенный метод познания жизни. Это не катехизис, а универсальное знание, усвоение которого требует постоянной работы. Ленин завещал: «Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей... во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас

не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом»[1]. Только при этих условиях возможно глубокое понимание действительности, только при этих условиях можно вовремя находить основные темы современности.

Правду жизни можно воспринять по-разному — с какой точки зрения на нее посмотреть. Детали, оторванные от целого, не отражают подлинной правды. Жизнь — это сложное единство, и это единство надо уметь не только переживать, но и постигать.

В дни великих событий, какие переживает наша страна, когда люди и вся наша жизнь ежедневно и ежечасно находятся в вихре сложнейших коллизий, писатель должен чувствовать величайшую ответственность за свою творческую работу. Каждый его образ, каждое его слово должны утверждать нашу правду, вдохновлять людей на подвиги, возвышать и укреплять их дух, пробуждать гордость за свой народ, за честь принадлежать к этому народу, за то, что они выполняют историческую миссию освободителей человечества от кровавого насилия и тиранического мракобесия. Вот почему писателю надлежит быть на большой идейно-политической высоте. Марксизм-ленинизм — единственно верный путь в будущее, единственный источник света, который озаряет сложное движение настоящего. Обладая этим источником света, писатель не будет во власти непосредственных переживаний и эмпирических впечатлений, а глубоко, всесторонне будет постигать типическую суть нашей действительности и воплощать ее в нетленных образах.

1947

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 447.

АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Служение средствами искусства народу, активное участие в строительстве социализма, воспитание человека, укрепление в нем коммунистического сознания и любви к своей советской отчизне — вот что вдохновляло и вдохновляет наших писателей в их работе, насыщало и насыщает их произведения глубоким содержанием и партийностью. И с первых же шагов своего развития советская литература заявила себя как литература новаторская, оригинальная, народная и прозвучала на весь мир. По мере культурного роста трудящихся наша литература все шире и глубже проникала в народные массы и становилась любимой и родной для советского человека. Храня благородные традиции классической литературы, овладевая художественным мастерством великого искусства прошлого, советские писатели создавали новое слово, новые образы, рожденные новым содержанием.

В чем же это новое воплощение и новая пластика? Прежде всего — художники слова, участники Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, создавали монументальные картины борьбы за власть Советов, картины трудового энтузиазма победившего народа. Выступил в литературе новый герой, которого не знала старая литература, — рабочий, взявший власть в свои руки, хозяин страны, человек крепкой воли, неиссякаемой энергии, смелой

инициативы, наступательного действия, строитель нового мира, новой системы жизни, новых общественных отношений, уничтоживших эксплуатацию человека человеком. Художественное слово, слово жизненной правды, расцвело весенней свежестью, молодой бодростью, жизнерадостностью и боевой устремленностью. Создавался герой нашего времени — борец-созидатель, борец социалистического общежития.

Эта новая литература воплотила в своих образах глубокую правду новой жизни, она шла по пути строгого реализма. Но этот реализм уже стал иной — другой формации. Новый реализм, вместо критического, обличительного отношения к действительности, направил всю силу художественного слова на утверждение социалистической действительности. Создавался новый художественный метод — метод социалистического реализма. Он не был дан готовым, он не был привнесен как норма, нет, он создавался в процессе развития литературы с той же последовательностью, с какой создавались новые методы социалистического труда. Он имеет свою богатую историю. Основой социалистического реализма является глубокое проникновение во все стороны социалистической действительности, воплощение в образах типических ее особенностей, героизма советских людей, их гигантских свершений, их борьбы за новое, их неустанной творческой мятежности, умение показать наш народ не только в его сегодняшний день, но и заглянуть в его завтрашний день, помочь осветить прожектором путь вперед. В этом случае задача художника — дать возвышенно-поэтическое живописание великих дел нашего народа и вскрыть глубокий их смысл и целеустремленность. Вот почему советская литература всегда дышала революционно-романтическим пафосом.

Но люди, выступающие у нас на литературном поприще, неоднородны. Наряду с писателями — коммунистами и беспартийными большевиками работали и писатели другой общественной среды, вошедшие в новую жизнь из старого мира. В ходе классовой борьбы эти писатели испытывали сильное влияние со стороны враждебных элементов и нередко оказывались выра-

зителями мелкобуржуазных настроений, безыдейного обывательства, в творчестве их звучали упадочные мотивы, субъективная индивидуалистическая рефлексия. Отсюда — безыдейность, аполитичность, развинченность, увлечения формалистическими фокусами и выкрутасами. Находились и такие писатели, которые в той или иной степени, в зависимости от интенсивности классовой борьбы в стране и воздействия капиталистического окружения, поднимали свой голос и предъявляли права на роль глашатаев глубоко чуждых, враждебных нашей жизни тенденций. Нет надобности перечислять фамилии таких чуждых нашей общественности литераторов минувших лет. Борьба с ними шла неустанно, но все же им подчас удавалось использовать ослабление нашей бдительности и отравлять наших людей ядом своих гнилых излияний.

В годины тяжелых испытаний, переживаемых нашей родиной, такие писатели поднимали головы и клеветали на наш народ, на нашу действительность, призывали к узколичным переживаниям, к формалистическим забавам, к бредовым оргиям и физиологизму, к отходу от общественных интересов, к декадансу.

Под руководством и по инициативе Коммунистической партии советская общественность пресекла эти чуждые нашей литературе, вредоносные явления. Партия дала твердое направление к дальнейшему развитию здоровых творческих сил советской литературы.

«Писатель не может плестись в хвосте событий, — говорил А. А. Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград», — он обязан идти в передовых рядах народа, указывая народу путь его развития. Руководствуясь методом социалистического реализма, добросовестно и внимательно изучая нашу действительность, стараясь глубже проникнуть в сущность процессов нашего развития, писатель должен воспитывать народ и вооружать его идейно. Отбирая лучшие чувства и качества советского человека, раскрывая перед ним завтрашний его день, мы должны показать в то же время нашим людям, какими они не должны быть, должны бичевать пережитки вчерашнего дня, пережитки, мешающие советским людям идти вперед.

Советские писатели должны помочь народу, государству, партии воспитать нашу молодежь бодрой, верящей в свои силы, не боящейся никаких трудностей».

Здесь дана целая программа творческой деятельности советского писателя и его поведения как передового бойца, как вожака и «властителя дум». А. А. Жданов напомнил, что писатель нашей эпохи должен быть не только чутким наблюдателем и активным участником великих дел, но и очень образованным человеком, который должен учиться каждый день и овладевать всем богатством знаний и глубиной философии марксизма-ленинизма. Только при этом условии писатель способен охватить и осознать всю сложность и величие нашей действительности, показать людям путь в будущее. Надо прекрасно знать верный путь, по которому должен идти народ вперед и выше. Без знания этого пути писатель неизбежно останется в хвосте или будет отброшен в сторону.

За годы после постановления ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград» литература развивалась исключительно плодотворно; это были годы самокритики, идеологического роста писателей, борьбы за ведущую, воспитательную роль искусства, за укрепление большевистского духа, за народность. Эти годы были годами подъема в нашей литературе. Прежде всего надо отметить, что появился целый ряд значительных произведений, в которых типические черты советского человека воплощены ярко и убедительно. В великих испытаниях Отечественной войны советский человек показал необоримую стойкость, беспримерную волю к победе, самоотверженную доблесть, безмерную любовь к своей социалистической отчизне, созданной им, взращенной им, преображенной в страну чудес, в страну свободного труда и человеческого счастья. Воспитанные мудрейшей партией и согласованным коллективным трудом, советские люди в этой борьбе с империалистическими силами мира проявили себя не только как храбрые солдаты, но и как люди высокого сознания и беззаветной преданности своей родине и своему вождю — Коммунистической партии. Они выросли в условиях социальной

справедливости и братской взаимопомощи. Они глубоко любят жизнь и не знают страха смерти. Для советского писателя опыт войны был неисчерпаемым источником творческого вдохновения. Писателям не было нужды в обрисовке своих героев прибегать к нарочитой романтизации, потому что сами люди и события были возвышенны, романтичны и казались необычайными. Недаром наши люди своим героизмом, неустрашимостью, упорством, твердостью и верой в свои силы потрясали наших друзей за рубежами и изумляли и страшили врагов.

Значительны по своему содержанию опубликованные в последнее время книги, посвященные трудовым подвигам советских людей. Труд на оборону страны, на восстановление разрушенного хозяйства и труд на новом этапе, четвертой послевоенной пятилетки, — это труд, одухотворенный великой идеей социалистического созидания, полный энтузиазма и творческого дерзания, поднимающий производительные силы страны на небывалую высоту. Наша социалистическая держава — страна вдохновенных мастеров, художников своего дела, революционеров технологии, мятежных искателей новых и новых методов труда. Они не успокаиваются на достигнутом: то, что было вчера преодолением и победой, сегодня уже отстает от требований производства. Социалистическое соревнование вступает в новый этап борьбы и охватывает всю страну. Люди растут, непрерывно учатся, овладевают техническими знаниями, и на глазах у нас все меньше становится различий между трудом физическим и трудом умственным.

Правда, нет еще или очень мало произведений, живописующих данную область культурной революции. Одной из причин этого является недостаточное знание писателями условий промышленного труда и техники производства. Советский рабочий класс попрежнему остается еще малоизученным миром для наших литераторов. А чтобы хорошо знать его, надо вжиться в этот мир, сродниться с этими замечательными людьми, главными деятелями нашей эпохи. В борьбе за высокие производительные силы люди

сами, как живая производительная сила, меняются каждый день, богатеют духовно, становятся государственными людьми. Таких книг, которые показали бы судьбу людей в процессе их изменения вместе с великими преобразованиями, еще очень мало. Повести, рассказы и очерки о рабочем классе, появившиеся за последние годы, как-то бедны по своему содержанию, скучны и повторяют друг друга. Так же не богата наша литература и книгами о колхозной деревне, где произошли огромные сдвиги, где явились новые люди. Большую ошибку допускают журналы, печатая незрелые, литературно слабые произведения. Это приносит вред молодому писателю, лишая его верного и строгого воспитателя — самокритики, взыскательности и неустанной самостоятельной работы над собой.

Требования, предъявляемые нашей партией от имени народа к литературе, ко многому обязывают писателей.

Мы еще не можем сказать, что мы выполнили эти свои обязательства перед народом. Несомненно, что в ближайшее время появится не одно яркое произведение. Советская литература растет. Вместе со старыми, опытными мастерами ее обогащают молодые таланты с богатым опытом жизни, способные обобщить творчески нашу напряженную жизнь. Но, к сожалению, не до конца еще изжито порочное изображение, искажение действительности кое-кем из литераторов. Это результат плохого знания нашей жизни, наших людей этими литераторами и слабого идейного воспитания их.

Многие вопросы критики еще остро стоят в порядке дня. Необходимо указать на зияющий разрыв между критикой и литературоведением. Критик, не владеющий методом научного анализа, не может быть подлинным критиком: он будет скользить по поверхности, не пойдет дальше субъективных и вкусовых оценок и не в силах поставить и разрешить ту или иную проблему общественного и литературного порядка. Критика должна быть научной, философско-публицистической. Классическая критика в лице Белинского, Чернышевского и Добролюбова и, наконец,

работы Ленина и Воровского — пример такой глубокой, научной критики. Постановления Центрального Комитета партии по вопросам литературы и искусства направлены в большой степени и в адрес нашей критики, которая оказалась недостаточно вооруженной против враждебных вылазок в литературе.

Как на пример слабости критики можно указать на путаницу в определениях романтизма и натурализма. Одно время делали нажим на романтику, отрывая ее от социалистического реализма, а то старались обойти эти понятия сторонкой. Сейчас довольно часто обыгрывают понятия натурализма, приписывая ему острые и обнаженные драматические конфликты и действия под влиянием аффектов и сцен расправы над людьми как жертвами. Этим человеческим поступкам приписывается физиологизм, хотя такие явления относятся к области социальных и психологических конфликтов. С подобной упрощенной и неверной точки зрения нужно, например, многие острые и «страшные» картины у Льва Толстого, у Чехова, у Горького объявить натуралистическими, физиологическими. Так можно договориться до смешных нелепостей.

Несмотря на очевидный подъем в творчестве наших писателей, чрезвычайно остро стоит вопрос о художественном мастерстве, о художественном качестве произведений. Нередко появляются книги, торопливо и неряшливо написанные. Авторы мало работают над языком, им как будто неведомы «муки слова». Недостает еще умения выбирать нужный объемный синоним, нет еще стремления к предельной и яркой экономии языка. Надо внимательно изучать и постигать язык народа, чувствовать его красоту и выразительность, творчески преображать его, как умели это делать наши классики. Только при этих условиях утверждается индивидуальность писателя и сила его воздействия на читателей.

1949

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Вопрос о культуре речи волнует многих наших читателей. И это понятно: культура языка неразрывно связана с общим культурным развитием народа, с ростом литературы, с демократизацией науки и техники. Богатый словарный состав нашего языка требует выпуска новых толковых словарей и большой исследовательской работы над новым словесным накоплением. Живая речь русского советского человека стала несколько иной, чем до Октябрьской революции, в ней нашли яркое отражение и новые общественные отношения, и новое сознание, и бурный рост производительных сил. А язык — это ведь орудие мысли, могучее средство общения между людьми. Поэтому это орудие, обновляясь, совершенствуется. Нужно отметить, что и живая и книжная речь развивается исторически неравномерно: наряду с новыми образованиями и формами языка неизбежно врываются в литературную речь и рудименты, и всякие диалектные искажения. Но это не значит, что диалектизмы и неграмотности мы должны принимать без критики и узаконивать их в нашей литературной речи. Мы, писатели и языковеды, обязаны охранять основные законы русской грамматики и орфоэпии и бороться за чистоту, ясность, точность и выразительность языка. Нормативность — это кристаллизация языка в процессе исторического его развития. В данном случае языковеды обязаны работать в тесном союзе с литераторами.

В этот союз должны быть вовлечены и работники театра и кино, язык которых порою далек от литературного живого языка. Слушая иных актеров, я чувствую себя как будто в среде иностранцев, которые старательно, по-книжному, выговаривают каждое слово, но слова эти не дышат жизнью. Мало того, театры сочинили свою орфоэпию и не считаются ни с языковедами, ни с живой речью образованных людей нашего времени. А ведь театр в наших советских условиях стал общенародным зрелищем, действенным средством воспитания масс. В языке же профессиональных работников сцены иностранный акцент бытует как будто для себя, а язык простых русских людей, изуродованный по своему произволу, — для зрителя. Но в том и другом случае законы русского произношения грубейшим образом нарушаются, словно эти законы им совершенно неизвестны. И народ вполне справедливо негодует против этого фальшивого языка. Русский «простой» человек не допускает в своей речи фрикативного (придыхательного) ГХ, он выговаривает только взрывное (ГК), которое в конце слова переходит в К: деньги — денеК, снега — снеК, вдруК, флаК и т. д. А на сцене и на экране только и слышишь гхеканье, совершенно несвойственное произношению русского человека. Этого не избегают даже в пьесах Островского, в которых действующие лица — москвичи. Передавая речь окающую («Егор Булычов»), приволжскую, актеры, не зная правил произношения в этой речи, упорно гхакают и грубо подчеркивают неударное О, чего в этом наречии нет (О — редуцировано). Но в языке интеллигентов актеры смешно подражают иностранцам, подчеркивая неударное О в иноязычных словах (бОкал, кОстюм, лОкОмОтив), Э после согласных (рЭйс, тЭкст, энЭргия, рЭзЭрвы), которое в нашем языке допустимо только в начале слова и после гласных (Энергия, поЭзия). А ведь слова иностранного происхождения, вошедшие в обиходную речь, обязательно произносятся по-русски: (тЕлЕграф, к'нверты, энЕргия, бАкал, л'к'мАтив). Таков закон русской орфоэпии, который строго требует уважения к своей родной, самобытной, прекрасной речи. Об этом я уже

писал и не один раз проводил совещания с радиодикторами. Говорю это лишний раз кстати, между прочим. Я не языковед, но, как русский писатель, не могу обходить молчанием некоторые нелепости и уродства, которые сплошь и рядом встречаются в книгах, в газетах и в разговорной речи. В свое время мне удалось добиться склонения «Москвы-реки» и устранения из речи таких слов, как глаголы «использовывать» и мумия «довлеет» (довольно, хватит, достаточно, удовлетворяет) в несвойственном этому слову смысле «давит», «господствует», несмотря в последнем случае на медвежью услугу кое-кого из лингвистов. Сейчас не менее трудная задача — бороться против застарелых привычек в употреблении некоторых слов, грамматических ошибок и унификации некоторых форм, обедняющих литературный язык.

Выступление С. И. Ожегова в «Литературной газете» я приветствую как пример живого отношения к судьбам нашего языка. Его статья имеет большое воспитательное значение: она пробуждает любовь к родной речи и способствует развитию чуткости к слову. Такое же большое значение имеет «Грамматика русского языка» (издание Академии наук) и «Курс русского языка» Л. А. Булаховского. Эти книги должны служить настольным руководством не только для широкого круга интеллигенции, но и для писателей.

Совершенно прав С. И. Ожегов, утверждая, что языковая форма прежде всего явление типическое, и не всякое явление, стихийно возникшее и часто встречающееся, может стать нормой. Современные нормы языка образовались и образуются в процессе исторического развития и без ломки самобытных основ. В этом вся суть.

Но вот что любопытно: народные массы нашей страны в культурном отношении за годы героических пятилеток поднялись на небывалую высоту, появилась новая, сильная, многочисленная интеллигенция, книга и газета стали у всех насущной потребностью, наука проникла глубоко в массы рабочих и колхозников. А наряду с этим язык многих наших интеллигентов странно пестрый, подчас далекий от грамматических

и орфоэпических норм, словно люди не имеют понятия о произносительных законах русского языка и пренебрегают грамматикой. В газетах и книжках встречаются малограмотные обороты речи, диалектизмы, неразборчивость в выборе слов и безразличие к смысловой точности. А о красоте и выразительности слова и говорить не приходится.

Тягостно читать книжки некоторых наших молодых писателей: слепой, газетный язык, обилие цифр, процентов, деталей машин, отвалов руды, угля, подробных описаний ухода за скотом и т. д. и т. п., но человека нет — это безликая рабочая сила. Цифры убедительны в статистике, но в художественной литературе они тушат образ. Художественная красота и изобразительность неотделимы от души человека, от его внутреннего мира. Дело художника — изображение судьбы своих героев, их душевных коллизий, их типичных характеров. Только при этих условиях и язык неизбежно расцветет прекрасно и самобытно в процессе искания точного и емкого слова. Искусству владеть словом надо учиться у народа и у лучших писателей, а не у канцеляристов.

Печально, что наша школа плохо воспитывает чуткость к языку, к его красоте, музыкальности и живописности. Но теперь, когда наша молодежь во всех областях созидания с юных лет становится активным деятелем, строителем коммунизма, а следовательно, и творцом социалистической культуры, родной язык должен быть особенно точным, понятным, правильным. В газетной и книжной речи поражает некритическое отношение к слову, неряшливость и безграмотность.

Например, с древних пор известно из элементарной грамматики, что существительные собственные согласуются в падеже со своими нарицательными. Но пишут: «в селе Смоляевка», «мост через реку Сура», «сплав леса по реке Чусовая». А по-русски надо бы писать и говорить : «в селе Смоляевке», «мост через реку Суру», «сплав по реке Чусовой». Наши переводчики и нередко писатели и корреспонденты пишут и говорят, не согласуя в падеже иностранных муж-

ских имен и фамилий: «встреча с Альфредом Дюваль» (то есть с Альфредом Дювалем), «оркестр под управлением Франца Крейслер» (то есть Франца Крейслера). А один литератор в корреспонденции из Парижа пропечатал: «беседовал с дедушкой Поль». Тогда уж по этому образцу надо говорить и писать: «Сочинения Чарльза Диккенс», «трагедия Вильяма Шекспир», «опера Антона Рубинштейн». Один почтенный астроном упорно печатал в журнале «Природа»: «в созвездии Орёл», «в созвездии Телец» вместо «в созвездии Орла», «в созвездии Тельца».

Во всем этом, видимо, проявляется влияние военного, штабного языка, где принято говорить и писать: «в населённом пункте Ивановка», «правее Сидоровка» и т. д.

Русский язык чрезвычайно богат словесными формами в передаче различных смысловых значений, но по невежеству или по канцелярскому шаблону у нас в газетах пишут: «надо обеспечить хорошие условия для *окота* скота». Этот «окот скота» насильственно внедряется в язык колхозников, которые, несомненно, хохочут над нелепостью этого слова. Крестьяне с незапамятных времен знали, что «окот» бывает только у кошек. Они говорили правильно: кошки *котятся,* коровы *телятся* (отсюда «отёл»), овцы *ягнятся,* лошади *жеребятся,* свиньи *поросятся,* собаки *щенятся.* Но чтобы корова или овца котились — это действительно достойно смеха. Что же можно сказать про такого зоотехника или ветеринара, который превращает корову в кошку? Даже писательница Николаева приписывает колхознице такую фразу: «Окотилась ли Липка (овца. — *Ф. Г.*)?» Такое чудовищное обеднение и извращение языка не к чести нашей колхозной интеллигенции, не говоря уже о литераторах и о «святой простоте» корреспондентов и редакторов газет. Мысль, изуродованная нелепым словом, только мстит за себя.

Я объясняю все это неуважением к благородным традициям народного и литературного словесного творчества и дурным влиянием канцелярского и ведомственного жаргона. Так, в названиях жителей городов и областей русский язык чрезвычайно гибок,

разнообразен и фонетически экономен. Окончания на *цы, ки, чи* преобладали до сих пор над *чане, яне*. Мы говорили и писали: харьковцы, ростовцы, псковичи, москвичи, тверяки, пензяки и т. д., а слова на *чане, яне* допускались в редких случаях и только наряду с другими словами (киевляне, волжане, англичане, славяне) прежде всего в смысле племени, нации и населения государственных территорий: киевляне, куряне — пережиток феодализма, как угасшее «москвитяне». Но сейчас только и говорят и пишут: харьковчане, ростовчане, горьковчане, краснодарчане. А один известный писатель, подавленный этой формой, отважился написать: «красноармейскчане» — трудно произносимое слово неимоверной длины. Этого не избежал и почтенный историк в курсе «Истории СССР»: вместо легкого и обычного слова «коломенцы» начертал: «коломничане» и прибавил: «касимовчане». По этому стандарту надо уж писать и говорить «москвичане», «пензачане», «саратовчане», «благовещенскчане»... Все это звучит малограмотно. Надо учиться у народа и у классиков русской литературы звуковой экономии, музыкальности и выразительности слова. Канцеляристы и газетчики — сомнительные учителя русского языка. Плохо то, что писатели и языковеды подхватывают эти прелести и некритически узаконивают их как норму (см. в той же академической «Грамматике» и в «Курсе» Булаховского).

Позабыто прекрасное слово «иней», а вместо него почему-то вошло в обиход литературного языка слово «изморозь» — омоним «измороси». Надо заметить, что «изморозь» вошло в обиход недавно. Чем же оно лучше «инея»? Русский же народ произносил «изморось» от «мороси» (по Далю: «морок — роса»), а не от мороза. Он говорил: «моросит дождь», «идет изморось», но на стеклах, на деревьях — иней. Такая же судьба постигла чудесное по красоте и содержанию слово «учение». Наш народ и классики никогда не употребляли вульгарного провинциализма «учеба» (из псковского и воронежского диалекта по Далю). Ленин в своей речи на III съезде комсомола в 1920 году выразился так: «Говорят, что старая школа была

школой учебы, школой муштры, школой зубрежки. Это верно...»[1] И требовал различать, что́ плохого и что́ полезного давала эта школа. Как видно, слово «учеба» Ленин ставил за одну скобку со словами «зубрежка», «муштра». И хотя это слово по недоразумению распространено (как было с печальной памяти словами: «будировать», «довлеть», «пара дней», «использовывать», «хужее») и не гнушаются им даже языковеды, считать его литературной нормой никак нельзя. Благородные слова «учение», «изучение», «обучение», «просвещение» надо реабилитировать и обеспечить им свое место в литературной речи. Я не касаюсь здесь обмолвок и оговорок, которые бывают в речах и попадают в стенограммы: это случайности, не имеющие отношения к стилю авторской речи. Но это дает повод некоторым людям считать «учебу» неологизмом. Какой же это неологизм, если это слово так же старо, как и тот диалект, из которого оно взято и некритически пущено в обиход? Кое-кто оправдывает употребление этого слова как литературную норму тем, что будто бы сам Горький утвердил его в названии журнала «Литературная учеба». Но здесь не место вскрывать историю происхождения этого названия. Горький этого слова не употреблял и не мог употреблять ни в разговоре, ни в произведениях. Оправдывать употребление этого слова тем, что в производных от этого существительного словах есть суффикс БН (учебный, учебник), рискованно: с этой позиции допустимо и употребление такой формы слова, как «лечеба» от «лечения» (лечебный, лечебник). Однако мы избегаем такого словообразования, хотя в Воронежской области такое слово (лечеба, лечба) в обиходе. Отрадно отметить, что в письмах ко мне многие читатели отвергают слово «учеба» и протестуют против проникновения его в литературную речь. Никогда в русской литературе и в устной речи раньше не употреблялось (за редкими исключениями) слово «галоши» (через Г), а говорили и писали «калоши» (через К). Ведь это слово с давних пор стало

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 261.

совершенно русским. Зачем же принуждать наших людей французить? Здесь чувствуется несомненное влияние торгового жаргона.

Иногда и опытные писатели допускают небрежность и неразборчивость в выборе слов. Полагаю, что такие выражения — из словаря милицейского протокола, а не творчество художника: «места для отрытия могил», «песок для посыпания дорожек». А хорошо ли: «Девушки, по-пичужьи сбившиеся...», «Слава подтягивал сопли...», «Подворотни созданы для пушек...», «Мысли ли то были!..» (мыслили!), «Грациозная печаль звезд...», «Барахолил вентилятор». И что значит в книге одной писательницы слово «ващерка»? Такого слова в русском языке нет, а есть ящерица. Этим уродливым и непонятным для читателя словом названа целая глава. Нехорошо. Смысловые нелепости встречаются у этой писательницы всюду, вроде таких выражений: «чащоба ресниц», «пестрые, цветастые зрачки», «оглаживал подбородок», «зачезла, как порося», «ноздри с подрезом», «трясучая дрожь», «горшками яйца варятся», «позавидовать *на* такую женщину», «милости *вас* просим» и т. п. А откуда такой синтаксис: «Поднялся на крыльцо, и по-прежнему одна ступенька была уже остальных»? Русскому колхознику она приписывает слова и выражения украинские или заставляет говорить южным жаргоном. Так, например, она пересыпает его речь такими заумными для россиянина словами, как «шохрина», «хотинка». Нерусское слово «стерня» упорно накладывается на русское слово «жнивье». А чем эта «стерня» лучше «жнивья»? Русский язык настолько богат и выразителен, что он не нуждается в излишних заимствованиях и в заменах своих слов чужими. На такие вульгарные выкрутасы и безграмотности указывали справедливо и читатели «Литературной газеты». Все эти жалкие «вольности» — от беспомощности в выборе слов, от полного отсутствия чуткости к языку и дара спасительной самокритики.

Несколько категорических замечаний насчет ударений. И в «Грамматике» и в «Курсе русского языка» считается нормальным ударение в слове «река» в ви-

нительном падеже на первом слоге. С. И. Ожегов в своем словаре делает уже двойное ударение. В своей статье он пишет: «Можно, допустим, признать правильным ударение «реку́», а не «ре́ку», но, кроме этого слова, в винительном падеже ряда других слов из этой категории имен существительных женского рода наблюдаются колебания ударения. Нельзя быть уверенным, что из диалектов не появится, например, ударения «руку́», «ногу́». И предлагает проследить, как развивается ударение в винительном падеже этих существительных, по крайней мере от пушкинской поры, чтобы установить современную норму правильно. Это я и делал в своих выступлениях. Но тут речь идет не о колебаниях ударения, а об устойчивости и постоянстве во времени.

Прежде всего, нельзя к словам подходить только с формальной стороны, сортируя их по разрядам и группам. Слово — это не только грамматический элемент. Это — воплощение мысли, это — образное отражение дум и чувств, и языковедам надлежит рассматривать слово во всем многообразии его проявлений. Слово — это жизнь, а не стандартное изделие, надо чувствовать «душу» слова.

Слова без мысли не бывает. Слово — это заряд огромной внутренней силы. Если же стать на точку зрения С. И. Ожегова, можно опровергнуть его рассуждения его же оружием: есть *река* и *рука,* но «рука» в винительном падеже имеет ударение «ру́ку», значит и «река» должна иметь ударение «ре́ку». Весьма нелогично, потому что «нога» имеет близкого соседа — слово «дуга». Есть слово «мука̀» рядом со словом «рука». Что же получается из этой классификации?

рука̀ — ру́ку, но
мука̀ — муку́;
нога̀ — но́гу, но
дуга̀ — дугу́.

И «река» просто не желает лечь в прокрустово ложе. И выходит, что ударения не определяются таким примитивным и сомнительным признаком.

Проследим историческое развитие ударения в слове «река», начиная с Крылова и Пушкина до наших дней, по совету С. И. Ожегова. У Крылова: «И щуку бросили в реку́». «И гребень кинули в реку́».

Пушкин:

...рогатый пень,
В реку́ низверженный грозою...
(«Кавказский пленник»)

Через реку́, меж тростников,
Переправлялся дерзновенный...
(«Сто лет минуло»)

Когда (ты помнишь?) бросилась она
В реку́, я побежал за нею следом...
(«Русалка»)

Великолепный мастер слова, Пушкин мог бы легко сказать, хотя бы в последнем случае, так: «Ты помнишь, в ре́ку бросилась она», — но он упорно всюду делает ударение в реку́, потому что «река» для него — образ даже в звучании.

Вспомним и лермонтовское: «на Москву-реку́, на кулачный бой...»

Минуя Батюшкова («Переправа через Рейн»), П. Вяземского («Поток»), обратимся к Некрасову. В «Кому на Руси жить хорошо» читаем:

Куда обиду сбыть?
. . . .
Во быструю реку́?
Вода бы отстоялася!

Так на протяжении всего девятнадцатого века слово «река» твердо сохраняет ударение в винительном падеже на последнем слоге. И это не случайно. Ведь и поэты нового времени не меняют этого ударения:

Навроцкий:

Но прежде, чем выйти на берег,
Я молча взглянул на реку́.

Скиталец:

А как выйду на Волгу-реку́,
Отдохнуть прихожу к кабаку.

А вот из народной песенки:

Пойдем, девки, на реку́, на реку́,
Совьем, девки, по венку, по венку.

Авторы «Грамматики» считают разговорным употребление поэтом Лукониным «реку́», но история опровергает утверждение этих языковедов. Что же они приводят в доказательство своего утверждения о законности ударения в слове «река» в винительном падеже на первом слоге? Ничего. Каковы их исторические исследования по этому поводу? Никаких. Объясняется это очень просто. Когда-то Малый театр создал свой волапюк и провозгласил в слове «река» ударение в винительном падеже на первом слоге. По нему равнялись все театры. Мода на коверканье слов, данная Малым театром, вплоть до смешения французского с нижегородским, вошла в быт театров и в разговорную манерную речь салонной публики. Все изуродованные странными ударениями слова (ре́ку, де́ньгами, безнадежный — вместо безнадёжный, от «надёжа», а не от «надежда», озорнича́ть и пр.) языковедами узаконены как норма, а мне, коренному русаку, воспитанному на классическом литературном и на богатейшем, красочном, музыкальном языке центральной России, слышать это невыносимо.

Нельзя согласиться с утверждением, что в именных глаголах с ударением на именной суффикс *ник* надо ставить ударение на гласный суффикс (озорни́к — озорнича́ть). Один из авторов «Грамматики» сам себя опровергает, считая исключением «домовни́чать». В подтверждение своего правила он не приводит ни одного примера. А примеров достаточно, и они его бьют. Для того чтобы оправдать свое утверждение о глаголе «домовни́чать» как об исключении, автор говорит, что этот глагол утратил соответствующее ему существительное. А «домовни́к», «домовни́ца»? Можно привести, например, такие слова, правда угасшие с частной торговлей, как «мясни́к» — «мясни́чать», «проводни́к» — «проводни́чать». Пусть эти слова в наши дни исчезают, но закон-то незыблем: глаголы отыменные на *ник* сохраняют ударение имени во всех

случаях без исключения. Выдумывать новые правила по своему произволу негоже. Значит, глагол «озорни́чать» обязательно должен сохранять ударение на *ни́чать* (Даль и «Словарь церковнославянского и русского языка Академии наук» 1867 г.).

Орфоэпия и грамматика едины и нераздельны: это две ипостаси единой сути. Нашей интеллигенции и надлежит не только отлично излагать мысли на бумаге, но и правильно, хорошо говорить. Особенно это необходимо помнить литераторам. При обогащении языка в нашу эпоху и «муки слова» тяжелее, но в этом — творческий удел писателя, в этом — подлинное искание правды, подлинное художественное мастерство. И, конечно, стыдно читать в газетах такую, например, фразу: «Проработав два месяца (телятница. — *Ф. Г.*), правление колхоза перевело ее на другую работу». Теперь, когда люди нашей страны подняли труд до высоты творчества, а сотрудничество между ними, обмен опытом и знаниями имеют характер непосредственного общения, язык, его грамматика и орфоэпия должны быть *бесспорными*, строго нормативными. Язык, как могучее средство общения наших людей между собою, должен быть идеально чистым, правильным, точным, ясным, выразительным и живописным. Нельзя оправдывать областных диалектных говоров среди интеллигентных людей и литераторов ссылкой на то, что люди эти выросли и учились где-то на Юге или на Западе. Законы русского произношения и русская грамматика должны быть общеобязательной нормой для всех. Мы знаем, что образованные люди национальных республик, изучившие русский язык, правильно говорят на нем, а русским тем более надо тщательно работать над своим языком и пользоваться им в совершенстве. Наше время — время высокой советской культуры — предъявляет это требование категорически. Говорит ли человек на «о» или на «а» — это не важно; важно одно — правильность, литературная чистота и выразительность речи. Горький и Калинин говорили образцовым волжским языком, как говорят и многие интеллигенты Поволжья, Урала, Сибири, — языком книги,

языком орфографии. Этот говор не менее правилен, чем говор акающий, так называемый московско-ленинградский. Называть этот древний прекрасный говор, свободный от узкообластных (псковских и вятских) искажений, диалектным, как декларируют авторы «Грамматики», недопустимо. Да и сами ученые-языковеды до сих пор утверждали иное. Это не только основной, главный говор наряду с акающим, но и материнский говор. В первой половине девятнадцатого века считалось «благородством» читать стихи на «о». Тургенев в повести «Пунин и Бабурин» писал: «Пунин произнес... стихи на «о», как и следует читать стихи».

Для литераторов прошло время стилизации областных говоров в своих книгах или нанизывания диалогов на полуукраинском жаргоне (например, в «Железном потоке» Серафимовича) [1]. Может быть, в двадцатых годах, когда писал Серафимович, это введение украинского диалога было и закономерно («Русь стала на дыбы», по выражению Горького); сейчас же культура языка стала очень высокой и взыскательность к слову — строгой и придирчивой. Повторяю, словарный состав нашего языка стал очень богатым, и во многом он обновился. Выбор слов стал неисчерпаемым, надо только уметь выбирать верные слова, как это ни мучительно. А. М. Горький указывал на язык Лескова как на образцовый и советовал учиться у этого писателя, как надо писать, но не указывал на многочисленные искажения русского языка в его произведениях. Лесков, на мой взгляд, чрезвычайно грешил против литературного языка. Его словесные выверты, кривлянье, нелепые выдумки были просто неприлично уродливы. Откройте, например, рассказ «Полунощники», и вы встретите на каждой странице нагромождение невероятных искажений, нелепо сочиненных балаганных слов и выражений. Вот для при-

[1] Кстати, нужно отметить, что и сейчас сплошь и рядом в русских книгах встречаются диалоги на украинском языке. Это недопустимо: они непонятны для русского читателя. Спрашивается: почему тогда авторы избегают диалогов на белорусском языке? Надо уметь передать такой своеобразный разговор по-русски, как это блестяще умел делать Гоголь.

мера: «долбица умножения», «опять из семьи — сколько в отставке», «мимоноски строил», «головаперы», «одет а-ля морда», «кучма народу толпучкой», «докончательный скандал», «замялась в неопределенном наклонении», «закавычный друг», «для девиц женского пола», «пишут куриляпкой», «блеярдный шар» и т. д., не говоря уже о «взгефантулках», «пришпандорках» и т. п. Эти слова-уроды рассыпаны у него повсюду. Против этого балаганного искажения слов протестовали прогрессивные критики прошлого — Ан. Богданович, Соловьев-Андреевич и другие.

Когда-то у китайцев, благородного народа, в каждой хижине было изображено иероглифами: «Говори хорошо!» Это мудрое изречение нам нужно усвоить как заповедь: пиши хорошо, но и говори хорошо!

1953

О ПРАВИЛЬНОМ И ТОЧНОМ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ

Статья моя «Культура речи» вызвала много откликов. Письма поступали от людей всякого «звания и состояния». Одни из корреспондентов приветствовали появление такой статьи (а их было большинство), сетуя на то, что язык наш уродуется, и сами приводили множество примеров таких искажений и неграмотности. Другие оспаривали некоторые тезисы статьи, выдвигая собственные «теории». Нашлись и такие, которые не только отрицали орфоэпические нормы, но и грамматические «стандарты». Судя по письмам, эти нигилисты сами оказались беспомощными в грамоте. И вот лишний раз напрашивается вывод: не все благополучно в нашем литературном языке, слишком много сора накопилось в нашей речи, и некому выметать его — и школа, и институт языкознания не борются за чистоту и точность речи.

Для примера укажу на выступление кандидата философских наук Л. Резцова, который в журнале «Знамя» решил «опровергнуть» меня по всем пунктам. Вывод из его статьи таков: в нашем литературном языке всё позволено — и извращения, и замена одних слов другими в несвойственном им значении. Так, он задним числом оправдывает бессмысленное употребление слова «довлеет» в значении

«господствует», «тяготеет» и подкрепляет допустимость такого употребления ссылкой на выражение Станиславского, что искусство в театре «самодовлеет» [1]. Но это слово означает, что искусство в театре живет самостоятельно, самобытно, удовлетворяя само себя, а вовсе не господствует над чем-то. У Щедрина Карась говорит: «Я сам себе довлею» — то есть я сам себя удовлетворяю, я сам по себе. У Лескова: «Довлеет тебе знать свое «кра», а не вмешиваться в чужие дела» — то есть довольно, достаточно тебе, хватит с тебя знать свое «кра»... И Щедрин и Лесков употребляли это слово, архаизируя характер монологов. Утверждать, что появление этого слова в нашем современном языке свидетельствует о его развитии и обогащении, по меньшей мере опрометчиво. Так можно любое древнеславянское или иностранное слово пускать в оборот, смешивая с другим — русским, похожим на него по звучанию, а не по смыслу.

В Словаре Д. Н. Ушакова сказано, что «довлеть» (кому? чему?) — церк.-книжн. устар. С недавних пор стало встречаться неправильное употребление этого слова в смысле «тяготеть над кем-нибудь» или «иметь преимущественное значение среди чего-нибудь» может быть по ошибочной связи, по созвучию со словом «давление». «Довлеть себе» (устар.)—«не зависеть ни от чего». Во всех академических и других словарях мертвый славянизм «довлеет» имеет только одно значение: довольно, хватит, достаточно, удовлетворяет.

Оправдывать употребление этого слова тем, что оно в своем распространении получило новое содержание, нелепо: с неграмотностью надо бороться, а не брать ее под защиту. Автоматизм — страшная сила: он притупляет и усыпляет сознание. Есть слова: «господствовать» и «тяготеть», зачем же заменять их словом «довлеть», имеющим совсем другой смысл? Чтобы оправдать допустимость бессмыслицы, мой оппонент ссылается на Эренбурга. Но, хороший стилист, И. Г. Эренбург поспешил снять это слово.

---

[1] Кстати, этот глагол малоупотребителен. Предпочитается причастное прилагательное «самодовлеющий».

Мало ли у нас входило в оборот бессмысленных слов! Взять хотя бы слово «будировать» (сердиться, дуться), которое употреблялось в смысле «возбуждать», «будить». Выходит, что напрасно В. И. Ленин боролся против этого «будировать», ведь оно сплошь и рядом звучало в речах докладчиков и ораторов еще в тридцатых годах. Да и сейчас кое у кого срывается с языка. Есть распространенные нелепости, вроде употребления слова «пара» при непарных словах: «пара минут», «пара дней». И получается совсем нерусский оборот. В учреждениях и газетах пишут, например: «Дать характеристику на такого-то», или: «Обзор печати на газету такую-то». Предлог «на», указывающий на то, что внизу, или на опору, или на преграду, используется в несвойственном ему смысле. Но, очевидно, по мнению моего оппонента, и такие перлы надо признать законными, потому что они *стихийно* вошли в обиход. К теории стихийности, которую он отстаивает, нельзя не отнестись с суровой критикой.

Далее, оправдывается слово «окот» по отношению к скоту. Право же, как-то неловко говорить по этому поводу. Зачем же оглуплять и без нужды обеднять богатый русский язык! Наш народ очень точно и отчетливо называет вещи их именами. Слово «окот» вместо слова «оплод» распространили наши ветеринары и зоотехники, превратив это слово, по бедности своего языка, в ведомственную и узкотехническую идиому. Но ведь любому деревенскому парнишке ясно, что слово «окот», «котиться» относится только к кошкам и родственным им зверям, как слово «щениться» — к собакам, волкам и пр. Овца ягнится (суягная овца). В словарях русского языка четко напечатано, к изумлению моего оппонента, и «оягненье» (Ушаков) и «оплод» и «расплод» (Даль). У того же Даля (и, конечно, в народном языке) употребительно и слово «козлиться» по отношению к козе. Но один ветеринар прямо заявил в письме: зачем, мол, тратить много слов, когда можно употребить только одно слово «котиться» ради экономии. Мудрое понятие об экономии языка, нечего сказать!

М. Горький не раз выступал против неразборчи-

вости в пользовании словом. Он повторял: «Слова необходимо употреблять с точностью самой строгой...», «Каждая фраза, каждое слово должно иметь точный и ясный читателю смысл...», «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры...» — и учил литераторов внимательному, придирчивому выбору слов. «Мало ли что и мало ли как говорят в нашей огромной стране, — писал он. — Литератор должен уметь отбирать наиболее живучие и ясные слова...» А Ленин еще в дни революционной бури гневно призывал: «Не пора ли объявить войну коверканью русского языка!»

В коверкании языка, в засорении его всякими бессмыслицами народ неповинен. Этим непохвальным делом занимаются такие «словотворцы», как упомянутый ветеринар и многие ведомственные люди, которые пустили в оборот и такие варварские словечки, как «складировать», «мальчиковая обувь», «ростковая одежда». А в одной газете было напечатано: «...удвоить выпас *свинины* на гектар пашни». Ужасно! Один из моих корреспондентов недоумевает, что значит слово «Мурзилка» (журнал). Такого слова он не нашел ни в одном словаре. И он прав: в современном живом языке такого слова нет. Оно придумано кем-то из детских писателей. Впрочем, когда-то, в далекие времена глагол «мурзиться» встречался в народном языке и означал угрожающее ворчание собаки или щенка, как пережиток татарщины, и исчез вместе с мурзами, ямами, ямщиками и т. д.

Наш народ создал чудесный, богатейший и поэтический язык, оберегал его от всякой скверны и дорожил всяким безыменно созданным словом, если оно было метко, ярко и выразительно.

Один из корреспондентов оспаривает необходимость склонения в литературной речи «Москвы-реки». Полагая, что доводы его неотразимы, он указывает на распространение несклоняемой формы в просторечии. Мало ли уродливых слов и выражений в таком огромном городе, как Москва, где постоянно бурлит «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний»! Однако в литературной речи надо строго выполнять

правила склонения. Рекомендую обратиться к классикам, историкам и, между прочим, к коренному москвичу — Забелину. Право же, очень скучно повторять азбучные истины. В журналистике и радиовещании склоняемая форма утвердилась уже давно, крепко и навсегда. В русском языке название и река через дефис всюду и везде склонялись (в песнях и былинах). Примеры: «Вниз по Волге-реке...», «Против пристани матки Волги-реки...», «Выбегала красна девушка на Дарью-ре́ку...», «Во Оку-реку побросали...», «Подъезжает-то атаманушка к матушке Неве-реке...»

Законы грамматики по произволу не сочиняются, и взрывов в языке не бывает. Язык эволюционирует медленно, накопляя словарный состав в зависимости от развития общественной жизни. Эти законы и правила остаются незыблемыми на долгие времена. Нарушать законы грамматики и орфоэпии значит разрушать гармонический строй речи, а разнобой в ударениях и отвлеченные, кабинетные решения о месте ударений в словах создают большую путаницу в живой литературной речи. Оправдывать употребление, например, диалектных ударений тем, что они преобладают в говоре Москвы и юга Московской области и, скажем, Смоленской и Калужской областей, неосновательно. С этой точки зрения можно оправдать употребление фрикативного (придыхательного) Г (ГХ) в русском говоре, потому что этот звук распространен теперь в говоре Москвы. Впрочем, наши театры полностью перешли на придыхательное Г (ГХ) в речи рабочих и колхозников, как будто взрывное Г (ГК) привилегия самих актеров. В данном случае оправдывается незаконное ударение в глаголе «озорничать» на последнем слоге ссылкой на то, что появилось новое правило, по которому глаголы, образованные от существительного с окончанием на *ник*, не сохраняют именного ударения, если в имени ударение падает на *ник* (озорни́к — озорнича́ть). Исключением считается слово «домовни́чать», так как к этому глаголу будто бы соответствующего имени нет. Это неверно. Этому глаголу соответствует существительное «домовни́к» (ни́ца), которое еще живет в нашем языке.

С исчезновением именных слов и глаголов, связанных с ними, вследствие изменившихся общественных отношений ни в коем случае *не отменяются* законы и правила грамматики. Глаголы на *ник* твердо сохраняют именное ударение без всяких исключений (удáрник — удáрничать), домовни́к — домовни́чать, клеветни́к — клеветни́чать (Даль) и, конечно, озорни́к — озорни́чать. На основе этого правила, как закона, будут неизбежно рождаться новые слова. Глагол «озорничать» с ударением на последнем слоге произносится как диалектное слово, в узкотерриториальных пределах. Значит, все возражения и надуманные правила не имеют под собою никакой почвы.

Прежде всего я обращаюсь к товарищам литераторам, к творцам искусства слова. Мы, художники и журналисты, обязаны строго, очень критически относиться к выбору слов; точность, четкость, смысловая верность и мелодика — вот наше действительное средство общения с массами.

В начале двадцатых годов под влиянием всяких «новаторов» и «стилизаторов» многие писатели были охвачены «повстрием» заполнять свои книги местными словами и речениями и заумными оборотами речи, думая, что этим самым они воплощают народность, «глубинные недра» народной жизни. Я сам в те годы пострадал от этого поветрия, но быстро освободился от заразы, пристыженный Горьким за язык «Цемента». Горький пожурил меня: «Язык диалогов весьма жив, оригинален и даже правдив. Я знаю этот язык. Но ...Ваш язык трудно будет понять москвичу, вятичу, жителям верхней и средней Волги. И здесь вы, купно со многими современными авторами, искусственно сокращаете сферу влияния Вашей книги... Щегольство местными жаргонами, речениями — особенно неприятно и вредно именно теперь, когда вся поднятая на дыбы Русь должна хорошо слышать и понимать самое себя»[1]. Предупреждение Алексея Максимовича и в наши дни не утратило своего значения.

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 29, стр. 439.

Хоть и нет охоты повторять азбучные истины, но вынуждают на это малограмотные и развязные выступления. Нет нужды доказывать исторический факт образования литературного языка из двух равноправных наречий — окающего и акающего. Следует только обратиться к исследованиям наших языковедов, от Даля до академика Виноградова. На окающем наречии, орфографически правильном, говорит большое число нашей интеллигенции. Но Москва стала городом межсоюзным: в нем сейчас переплетаются различные говоры, особенно же приобретают влияние южные и западные диалекты. Так, внедряется в произношение многих интеллигентов — некоторых научных работников, писателей, учителей — придыхательное Г (ГХ). А ведь это нарушает основной закон орфоэпии русского языка. Актеры и многие образованные люди говорят: денеХ, вдруХ, снеХ... (а произносить надо: денеК, вдруК, снеК...). Чтецы, по незнанию правил окающего говора, подчеркивают всюду неударное О и произносят несвойственное этому наречию фрикативное Г (ГХ). Особенно грубо выходит это у чтецов сказок Бажова, у актеров кино, изображающих волжан, в пьесах Горького на сцене.

Защита моим оппонентом слова «учеба» весьма похожа на софистику. А ведь даже в недавнем прошлом это грубое, жаргонное словечко *нигде* не произносилось и не допускалось в печати. Да и не употреблял его сам народ в своей массе. Ни в одном сборнике пословиц и поговорок я не нашел этого неблагозвучного и оскорбительного по смыслу слова (долбежка, зубрежка, муштра). Народ прекрасно знал и чувствовал, что такое мелодика, красота слова и какой оно несет смысл. Он говорил: «Ученье — свет, а неученье — тьма». И язык бы не повернулся у русского человека, чтобы сказать: «Учеба — свет, а неучеба — тьма». Должно быть, наши интеллигенты, воспитанные на джазах, потеряли способность воспринимать музыкальные звуки речи. В Словаре Ушакова сказано: «Учёба (или учоба) — офиц., разг., раньше простореч.», то есть не литературное. Слова: «ученье» и «учение», как и «бытье» и «бытие», — различны по смыслу.

«Ученье» — однозначно пресловутой «учебе» в том смысле, какой вкладывают в него сейчас, а Даль еще в старину считал «учебу» узкообластным словом.

С некоторого времени в устной и письменной речи появились заимствованные у украинцев слова с суффиксом *щин*, относящиеся к территории: смоленщина, тамбовщина, саратовщина... Но суффикс *щин* имеет у нас отрицательный смысл: например, безотцовщина, обломовщина, махаевщина, кустарщина, похабщина и т. д. В смысле определения территории никогда это слово не употреблялось. Заимствование слов из другого близкого нам языка не обогащает наш язык, а вносит путаницу и досадные недоумения. Такие слова, как «самостийность», «неполадки», «стерня», связаны то с гражданской войной, то с шахтинским процессом, а последнее слово — с селекционными работами Лысенко. Все эти слова перелетели к нам с Украины, а мы приняли их пассивно, утратив родные слова. И, право, следует нам поучиться у тех же украинцев, как дорожить и оберегать родное слово.

Наряду с этой глухотой и тупостью к восприятию слов, необычных для нашего языка, появляется мода на заковыристые и смутные выражения, которые быстро распространяются среди интеллигенции. Я никак не могу освоиться с туманной фразой: «трудно переоценить значение», и т. д. Кто пытается переоценить? почему трудно? и что значит переоценить? Преувеличить или проверить оценку предмета или действия? Фраза надуманна, лишена ясности, изобретена не для уточнения мысли, а для того, чтобы пофорсить, пощеголять странным сочетанием слов. А ведь эту же мысль нужно бы выразить просто: «очень большое значение имеет», и т. д.

Об устойчивости ударения в слове «река» на последнем слоге в винительном падеже единственного числа распространяться нет необходимости: я достаточно убедительно показал это на примерах из поэзии от Пушкина до наших дней. Орудовать же омонимическими анекдотами и шутовскими скороговорками — не значит неоспоримо доказывать и показывать. Мало ли людей, которые потешаются подчас нелепыми анекдо-

тами о двусмыслицах! А вот как устранить разнобой в ударениях в слове «деньги»? На сцене и в кино упорно ставят ударение на первом слоге в косвенных падежах (дѐньгам, дѐньгами, о дѐньгах). Тогда как в нормативной орфоэпии ударение устойчиво стоит на последнем слоге, как издавна говорят образованные люди (деньгàм, деньгàми). Так это ударение не колеблется во всех словарях. Мой оппонент и тут становится на защиту театрального ударения. При чем для вящей неотразимости своих измышлений он относит слово «деньги» с ударением на последнем слоге к торгашеству, а с ударением на первом слоге — к звону монет («день»...). Это, конечно, сказка для детей младшего возраста...

Не согласен он и с произношением (через ё) слов «безнадёжный» и «надёжный». По его мнению, произношение «безнадежный» подкрепляется Пушкиным, который это слово рифмует со словом «нежный». Надо уж до конца быть последовательным и не оспаривать Пушкина, который упорно и неизменно в слове «река» ставил ударение на последнем слоге в винительном падеже единственного числа. В то далекое время славянизмы в стихах Пушкина и других поэтов звучали как пережиток «высокого штиля». Кроме слова «безнадежный» (в рифме с «нежный»), у него есть и другие архаические слова: например, «раскаленный» в рифме со «вселенной», «коленопреклоненный», «ангел обреченный», «утомленный» (в рифме с «неизменный»). Но ведь это не значит, что мы сейчас так же архаически должны произносить эти слова. В наших словарях, да и в живом литературном говоре, слова «безнадёжный» и «надёжный» крепко сохраняют народное ё, потому что эти прилагательные образованы от слова «надёжа», а не «надежда».

Я считаю в согласии с данными языкознания, что «акающее» и «окающее» наречия — два основных равноправных наречия, из которых образовался живой литературный язык. Объявлять же «окающее» наречие местным диалектом никак нельзя, не отвергая истории языка. Жизненность и устойчивость «окающего» наречия — несомненный, упрямый факт. Я говорю о

правильном, совпадающем с орфографией наречии, на котором говорит значительная часть интеллигенции. Когда выступали инженеры-текстильщицы Ивановской области на Конференции мира, сидящие вокруг меня люди (ученые, журналисты) восхищались и литературной правильностью их речи, и прекрасной ее мелодикой и свежестью. А вот угнетать это наречие, объявляя его диалектным, и ненаучно, и политически дурно. У Горького и Калинина «оканье» не было их индивидуальной, свойственной только им, особенностью: они представляли собою немалую часть образованного общества. Кстати, московский говор уже давно утратил открытое А. То же самое можно сказать и об «окающем» говоре (литературно правильном): в нем тоже нет густо подчеркнутого неударного О — оно тоже редуцировано: «х’рошо», «г’ворить», «Никалай». Тут уже явно О перешло в А. Но в конце слов оно превращается в глухое А и не терпит ударности: «д’вольн’(а)», «конешн’(а)», «спасиб’(а)» и т. д. Границы между этими говорами стираются, и со временем будет один литературный говор, как сплав этих двух наречий.

Нам, писателям, надо уметь хорошо слышать и чувствовать язык: без чуткого слуха нет музыканта, нет и поэта. Для нас, писателей, язык — это живая жизнь, это — человек в его деяниях, в его душевных бурях и глубоких раздумьях. Поэтому и слово у художника должно быть емким, точным, выразительным, эстетически оправданным. Все наносное, случайное, ложное, неосмысленное должно быть отринуто. «Активная сознательность» чуткого литератора всегда должна быть готова к борьбе со *стихийными* бедствиями в языке. Он неизбежно подвергается всякого рода вредным влияниям. Но художник призван преображать его в прекрасные формы, как подлинный мастер и поэт.

Будем же взыскательны!

1954

САМОЕ ЗАВЕТНОЕ

За двадцать лет со времени Первого съезда советских писателей совершились грандиозные перемены в нашей стране. Гигантскими размахами шли одна за другой пятилетки, быстро меняя лик нашей советской земли; культура росла и вширь и вглубь. Под водительством партии коммунистов наш великий народ-созидатель построил социалистическое общество. Потрясла нашу родину Великая Отечественная война, закончившаяся разгромом немецкого фашизма. И в эти победоносные годы неуклонно росла и расцветала наша литература, создавая произведения высокого мастерства, большой идейной силы, и по праву стала самой передовой в мире.

Творческий метод социалистического реализма стал могучим и неотразимым орудием нашего боевого, наступательного искусства. Писатель, вооруженный марксистско-ленинской теорией познания мира, выступает как художник, правдиво отражающий действительность в ее революционном развитии.

Наша литература глубоко партийна. Она чутко откликается на все события и свершения в стране, она — голос, воля, целеустремленность народа к реальному будущему, к действительности завтрашнего дня, воплощаемой в делах и подвигах настоящего. Художественная литература является той силой, которая ярко и глубоко внедряет в массы новое мировоззрение, воспитывает в людях новые, коммунистические черты и качества.

Многолетняя история советской литературы — история сложная и большая, история как жизнь, как движение — еще не написана. Эта многолетняя история богата и полна борьбы и творческих побед. Эта история свидетельствует, что советская литература — литература *новая,* как наша социалистическая действительность. Неразрывно связанная с жизнью, наша литература живописует, как советские люди строят новое в своей каждодневной работе, и проверяет, насколько *коммунистично* это новое.

Для того чтобы литература создавала неувядаемые произведения, она для своего развития требует простора личной инициативы, как учит Ленин, ибо «литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию...»

Простор личной творческой инициативы возможен только тогда, когда писатель активно участвует в общественной жизни, когда он живет в гуще народа. Тогда созидательный труд, сливаясь с трудом писателя, преобразуется художником в волнующие образы силою поэтической мысли и чувства и пластического мастерства.

Нет писателя без долженствования. Его гражданский долг — это его вдохновенное служение делу коммунизма, служение народу, борьба за новое. Чувство гражданского долга, слившись с личной потребностью в художественном воплощении того, что накопилось в душе писателя как наблюдателя и деятеля и что рвется вылиться на бумагу как мысль и волнение, и есть та свобода, без которой художник, поэт жить не могут.

Не всякая личная потребность литератора к творчеству является ценной и эстетически оправданной. Если творчество писателя служит для услаждения только его самого, как это было у символистов, футуристов, имажинистов, серапионовцев, то такое «творчество» никому не нужно. Оно не только бесполезно, но и вредно. Это — «творчество» людей, существующих вне живой жизни, вне народа, вне великих задач эпохи.

Труд — могучая, творящая сила, возвеличивающая человека. Вне труда, вне того, чем живет советский человек, нельзя создать правдивый художественный образ в литературе. Все лучшие произведения советской литературы, все ее жизнеутверждающие образы рождены социалистическим трудом. Мелким и обывательским будет произведение, в котором человек изображен в отрыве от главного, чем он живет, где он лишен творческого трудового порыва и вдохновения. Но сухим и бездушным будет и произведение, где труд подменен «производственной деятельностью», где внимание писателя сосредоточено не на человеке, а на процессе труда. Таких сочинений появилось немало. Отличительная их особенность — мертвое и унылое нагромождение вещей и механизмов. Но главные действующие лица — люди, творцы и хозяева этих вещей и механизмов, — блуждают среди этих нагромождений, как смутные тени.

Эти писатели не чувствуют глубокой поэзии нашего труда. А наш социалистический труд — труд невиданный, беспримерный в истории: это труд новаторский, творческий, пробуждающий и поднимающий и духовные силы, и благородные чувства. Интеллектуальный рост трудового человека — неизбежное и необходимое стремление к познанию и овладению высокими производительными силами и наукой труда. Труд, который так вдохновенно прославлял Алексей Максимович Горький, стал у нас не только общественным долгом, но и потребностью, делом чести, делом славы, делом доблести и геройства. Поэтому мы, советские художники, не можем не воспринимать его; не можем не относиться к нему как к великому и творческому деянию — к деянию как поэзии. Я думаю, что наш труд и не нуждается в поэтизировании: он сам дышит великой поэзией.

Все зависит от дарования художника, от его проникновенного прозрения, от чуткости его восприятия и любви его к нашему талантливому человеку. А из этого следует, что каждое высокохудожественное произведение самобытно, оно открывает нечто новое. Как в фокусе, собирает оно рассеянные в жизни явления,

обобщает человеческие деяния и создает типические характеры, действующие в типических условиях нашей действительности.

Ленинская теория отражения понимается иными писателями узко. Между тем это чрезвычайно сложный процесс. Это отражение мира в головах людей — не зеркальное, не мертвое преломление и не фотография, а одновременно и *работа сознания,* творческий акт, преобразующий восприятия в живую, трепетную цепь понятий и образов. Это основной закон человеческой психики. Ученый, наблюдая, изучая, анализируя отраженные в голове явления мира в его самодвижении, производит гигантскую работу мысли, обобщая отдельные однородные конкретности до глубокой абстракции. Без научной абстракции нет и науки. Такой же психологический процесс совершается и в голове художника, с той только разницей, что его восприятия, впечатления, непосредственный опыт преображаются в художественные образы в соответствии с субъективными особенностями поэтической натуры писателя. Уже самый акт преобразования поэтом, художником восприятий и впечатлений в типические образы и волнение его души говорят об объективном отношении его к действительности. А если это так, то писатель испытывает непреодолимую потребность выразить свои переживания, свои мысли и чувства в творимом им произведении.

Пушкин чудесно поведал это в своей «Осени»:

...Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Вот это лирическое волнение, которое стремится «излиться... свободным проявленьем», и есть та творческая сила, именуемая талантом, которая создает произведения большого звучания. Такой художник, талант которого вооружен самым передовым мировоззрением, как будто открывает новые области и стороны жизни, о которых до него как будто не знал никто, и создает образы таких людей, которых как будто

не замечали в повседневности, несущих в себе типические черты современного деятеля и революционера. Да, писатель, если он гражданин и патриот, не может не выражать своих заветных мыслей и волнения чувств.

Я не касаюсь психологии творчества, хотя вопрос этот имеет большое значение в наши дни. Проблема эта пока еще не тревожит наших философов, а пора бы подумать об этом.

Я говорю о роли писателя в нашу великую эпоху как о роли подлинного «инженера человеческих душ», то есть как о *воспитателе советского человека,* как о провозвестнике коммунистических идеалов, как о борце против всяких пороков и пережитков, как о проникновенном человеке, который призван не только отражать и изображать действительность, какой она есть, но и прозорливо видеть живые силы будущего.

Писатель-ленинец умеет проникнуть и в прошлое нашего народа и увидеть это прошлое, полное борьбы и преодолений, в настоящем — как воплощение высоких стремлений и благородных идеалов наших отцов. У вдохновенного художника нашей эпохи и образы минувшего волнуют читателя, как яркая, горячая злободневность. Подлинный советский художник — мыслитель и поэт. Он — впечатлительный свидетель свершающихся дел и событий и *активный участник* борьбы за коммунизм. Правда жизни — правда его искусства: в его романтических мечтах — торжество желаемого, героика и красота трудовых подвигов наших людей, их чудодейственной власти над природой.

Социалистический труд — глубоко человечный труд. Это труд творческий: он открывает новые пути и средства для могущества человека. Преображая мир, овладевая силами природы, социалистический труд направлен только для счастья человечества. И литература социалистического реализма, создавая типический образ человека наших дней, глубоко *человечна.*

Наш писатель не закрывает глаза на плохое: он разоблачает и разрушает застарелые пережитки и отображает в художественных образах действительно типических борцов и новаторов, строителей нового

мира. Это всегда было основной чертой характера революционеров-ленинцев. Я именно так понимал с юности роль и задачи писателя и всеми силами своей души предан был этой идее, боролся за нее во все дни писательской моей жизни. Ценность и значимость произведения определяется его человечностью.

Искусство слова имеет дело с человеком, с его судьбой, с его внутренним миром, а это значит, что писатель, изображая и типизируя героев современности, живет их жизнью, их страстями, страданиями и заветными думами. Художник (прозаик, поэт, драматург) создает свое произведение не только потому, что обязан выполнить свой долг правдивым отображением той или иной области нашей жизни, но и потому, что он не может не писать о том, что накопилось у него в душе, не может не выразить своего отношения к изображаемым событиям и людям. Судьбы его современников близки ему, как судьбы родных людей. Он радуется, страдает, негодует, борется вместе с ними. Он ставит перед собою определенную задачу, единственную цель — возбудить в читателях те же чувства, то же раздумье, которые волнуют его самого, укрепить в них волю, энергию, патриотизм, чувство солидарности, пробудить благородные стремления к подвигу за счастье своего народа. Он действует на душу читателя не дидактикой, а пластикой и лепкой типических характеров нашего времени, образов людей, которых воспитала Коммунистическая партия в борьбе и созидательном труде, — таких характеров, в которых можно видеть яркий пример гражданина, достойного стать любимым героем каждого из массы наших людей.

Такие произведения уже есть, и они длительное время будут обладать неослабной силой воздействия. Талантливое произведение — это сама жизнь, преображенная чудом искусства, поэтому оно неотразимо и пленительно своей глубокой правдой.

Бывает и так, что автор, награждая своих героев золотыми звездами, заставляет их делать чудеса. И всё же не веришь в жизненность этих фигур. Автор в восторге от своих героев и уверен в том, что чита-

тели поражаются их необыкновенными способностями. А народ наш культурно вырос, научился весьма внимательно читать книги и разбираться в их художественных достоинствах и недостатках и часто более проникновенно оценивает произведения, чем критика. И вот, к досаде и обиде самонадеянного и подчас зазнавшегося литератора, читатели говорят ему горькие истины и совсем не склонны считать его сочинения правдивыми, то есть художественными: ведь они — непосредственные свидетели и участники тех дел и свершений, которые «обыгрывает» автор в своих романах. Такие изделия, к сожалению, нередко встречались критикой доброжелательно и выдвигались как художественные достижения: покоряла злободневность темы, и она заслоняла искусство. Того, что я называю человечностью, в этих книгах, конечно, нет.

Советские писатели призваны быть борцами за правду, за коммунистический идеал, который мы каждодневно чувствуем и в труде миллионов, и в великих деяниях партии. Мы призваны создавать поэмы о людях как вдохновенных деятелях, верных в дружбе, душевно богатых, сердечно участливых друг к другу. Мы призваны беспощадно, неотступно бороться с пережитками, с позорными пороками, как мерзким наследием прошлого, с предрассудками, предубеждениями, косностью, бездушием, эгоизмом. Омерзительный пережиток прошлого — алкоголизм, калечащий здоровье людей, вносящий горе и уродство в семейную жизнь, приводит обычно зараженных этим пороком к антиобщественным поступкам. Борьба с алкоголизмом — гражданское дело. Долг писателя — помочь обществу и в этой борьбе.

Творческая работа писателя — это благородное служение народу и партии; он, как воспитатель и учитель жизни, обязан и в поведении своем быть образцом благородства, моральной чистоты, высокой принципиальности. Морально неустойчивый литератор, позволяющий себе смену жен, пьянство, разгул, дебоширство, не может быть уважаемым писателем и недостоин этого высокого звания.

Искусство — это большая моральная сила, это служение правде жизни, это образное воплощение всего благородного в самом писателе, поэте, артисте. Личность художника всегда на виду, и она должна быть вне упрека. Творчество художника неотделимо от его поведения. Мы, советские писатели, должны это осознать раз навсегда. В нашем сердце всегда должен неугасимо гореть образ Ленина. И мы обязаны постоянно слышать голос нашей совести: «Стремись вести себя и поступать во всех случаях жизни, как Ленин. Это должно быть твоим идеалом. Это — идеал всего народа».

Искусство слова — это не ремесло, спекулировать им нельзя. Художник потому художник, что он переживает неотразимую потребность высказаться — поделиться с массами своими мыслями и волнующими его чувствами. Искусство рождается из душевных мук, из потребности в общении людей между собой, из необоримого желания «излить душу», чтобы и другие люди пережили то же самое под воздействием образов и стали ближе друг к другу, возвышеннее, гуманнее. Ремесленник пишет не о том, чем полна его душа, а на ведомственный заказ или на спрос для развлечения людей, по сути безучастных к искусству и к самой жизни. Это здесь, в ремесленническом лагере, возникло нелепое и невежественное рассуждение о «бесконфликтности», которой в жизни не бывает. Истинный, вдохновенный художник творит так, что читатели, слушатели, зрители воспринимают его произведение как живую жизнь, как то, что они переживают сами и сами так же хотели бы выразить. Художник и читатель сливаются друг с другом.

Настоящее, вдохновенное произведение понятно и доступно всем. Оно обладает простым, ясным, точным, свежим, изобразительным, эмоционально-трепетным языком. Писатель должен превосходно знать родной язык, изучить его народность, обладать богатым запасом слов, чтобы выбирать нужный синоним. Художник должен уметь пользоваться литературной речью свободно, чутко, эстетически убедительно, как мастер. Надо уметь пользоваться речью так, чтобы, по выра-

жению Некрасова, «словам было тесно, мыслям — просторно».

Есть мудрая пословица: «Кто сильно чувствует — мало говорит». Но писать кратко, точно, выразительно и свежо — дело очень нелегкое. «Нет на свете мук сильнее муки слова» — суровая и жестокая истина. Но истина и в том, что вдохновенный писатель создает образы своим, свойственным ему одному языком. В языке такого писателя воплощается он сам, его индивидуальность. Поучительный пример для каждого из нас — А. П. Чехов. Каждое его слово, каждая его фраза очень просты, очень объемны, очень живописны. Он умел так выбирать слова, что каждое из них насыщено огромным содержанием, глубоким чувством и удивительной музыкальностью. Только великий мастер художественного слова мог так скупо и свободно, так сжато и широко создать такие чудесные вещи, как «Дуэль», «В овраге», «Три года», «Невеста»». Каждая фигура — это типический характер, она до иллюзии жива, и кажется, что она не на странице книги, а перед вами, телесно ощутима. И чувствуешь самого Чехова с его умной, грустной улыбкой и знающими глазами. А пейзаж? Два-три чеховских волшебных слова, и нельзя от них оторваться: они волнуют, пробуждают дорогие воспоминания, и опять до иллюзии видишь и чувствуешь всю красоту, все обаяние нашей родной русской природы, которая сама живет, как человек. Чехов обладал исключительной способностью видеть в человеке самое существенное, самое характерное и в то же время очень индивидуальное, свойственное данному человеку, поэтому и живут яркой жизнью его герои. Эта способность неразрывно связана была у него с изумительной чуткостью к языку.

Честная, вдохновенная и целеустремленная мысль писателя, его душевная жажда высказаться требуют честного, ясного, четкого слова. Развязность и неряшливость в обращении со словом, выверты, фокусы недопустимы, как фиглярство; такой писатель не испытывает творческих мук: его занимает словесная игра — уродливые выдумки, всяческие «приемы», «находки». Кое-кто может упрекнуть меня, что я говорю всем из-

вестные истины. Но когда эти истины забываются, а некоторые из молодых писателей имеют о них смутное понятие, напоминать об этих истинах необходимо.

Мне приходится читать много и рукописей и книжек, и тяжко становится иногда от обилия избитых, шаблонных фраз, от пустословия, от скучнейшей словесной жвачки и целого каскада технических терминов. Нередко сталкиваешься с этим и в наших толстых журналах. Хочется видеть людей простых и близких, с их переживаниями, с их мечтами, надеждами, с горем и радостью, с их борьбой за общее и личное счастье, с их хорошей, юной любовью, с их трогательной дружбой и неизбежными жизненными конфликтами. И поневоле начинаешь бунтовать против этой бесстрастной, серой писанины. Недаром массы читателей выражают резкое недовольство такой «продукцией». И они правы.

Искусство, в особенности художественная литература, создано для познания, постижения человека во всех обстоятельствах его жизни. Искусство — это познание человека. А в нашу эпоху оно имеет дело с особыми, неведомыми ранее духовными и душевными качествами, потому что человек-то стал иной — борец и деятель, государственный человек, отвечающий за судьбы своей страны. Вот о чем забывают многие литераторы. Появляются еще произведения, проникнутые обывательским духом, которые иной раз по недоразумению выдаются за литературу социалистического реализма. Плоский бытовизм, узколичные переживаньица преподносятся как поэзия тихой улицы и обжитого уголка.

Жанры в нашей литературе многообразны, и в каждом есть творческие искания и художественные достижения.

Радостно отметить, что некоторые наши очеркисты выступают как подлинные художники. Очерки Овечкина, Тендрякова, Полевого, Полторацкого и других — правдивые повествования о наших тружениках. Авторы хорошо знают этих людей, любят их, живут среди них и делят с ними радости и горе, успехи и не-

удачи. По этому верному пути идут и другие даровитые очеркисты. Художественная работа этих литераторов лишний раз доказывает, что писатели могут создать значительные произведения, если только они не оторваны от нашей замечательной действительности, живут общей жизнью с трудовыми массами. Узкий профессионализм замкнут сам в себе и неизбежно ведет писателя к бесплодию.

Мне кажется, что действенной помощью для наших писателей-коммунистов было бы прикрепление их к парторганизациям предприятий, где они активным своим участием в идеологической и организационной работе непосредственно вошли бы в самую гущу рабочего коллектива. Беспартийных же писателей руководство ССП могло бы поощрить к добровольным и постоянным связям с заводами, МТС, с земледельческими районами. Тогда бы мы не ставили вопроса об утрате некоторыми писателями связи с жизнью, об обывательском их перерождении и о потере идейных интересов.

Ни на минуту нельзя забывать о том, что существует капиталистический мир. Нет сомнения, что бытовое разложение, пьянство, хулиганство, идеологическая слепота — все это не без влияния враждебных сил. Что, казалось бы, общего между моральным воспитанием и джазом? А между тем эта гнусная музыка американских кабаков многие годы развращала нашу молодежь. Через кино и грампластинки эта пьяная тарабарщина дурманила наших людей. Заражены ею были и отдельные наши композиторы. У меня такое впечатление, что некоторые наши композиторы сочиняют всё что угодно, только не нашу национальную музыку. Удивляет и торгашеское упрямство ведающих грамзаписью: джазовая музыка записывается и распространяется с завидной быстротой. Но ведь наша задача — воспитание масс в духе высокой культуры. За русские песни, случается, почему-то выдаются мещанские, лакейские, цыганские и тюремные романсы, а подлинно народных русских песен в репертуарах хоров мало — тех песен, которые вдохновляли Глинку, Даргомыжского, Бородина, Мусорг-

ского, Римского-Корсакова, Калинникова. В этих разливных, широких, прекрасных напевах, полных глубокого лиризма и величавой эпичности, воплощалась великая русская душа.

Нужно бы отметить ведущую роль нашей критики. Но, к сожалению, авторитет ее еще невысок. Часто она выступала не принципиально: то как выразительница групповых интересов, то импрессионистически, узкосубъективно, выражая личные вкусы, симпатии и антипатии авторов, то бесстрастно, начетнически, с безразличием человека, который не имеет своей эстетической точки зрения. А нам нужна марксистская, философско-публицистическая критика. Критика, наряду с художественной литературой и поэзией, должна быть большой литературой. Она должна разрешать важнейшие проблемы социалистического искусства, социалистической эстетики и поднимать вопросы большой социальной значимости, как это умели делать Белинский, Чернышевский, Добролюбов и великий Ленин.

До сих пор наша критика не исследовала вопросы новаторства, самобытности нашей литературы, самобытности выдающихся художников и поэтов. Критики обычно выступали и выступают в журналах и газетах как рецензенты, и их рецензии зачастую представляют собой аннотации вышедших книг. Ни писатель, ни читатель не получают от таких статей ничего для себя поучительного. Разъяснять же читателю то, что создал писатель, нет никакой надобности: читатель и без помощи рецензента прекрасно разбирается в произведениях. В этих случаях бывает и так, что критики сбивают с толку читателей своими нередко тенденциозными и пристрастными оценками.

Особо нетерпима, к сожалению, встречающаяся издевательская памфлетность в литературной критике. Эти приемы применимы к врагам, к людям, которые сознательно извращают нашу действительность, преднамеренно уродуют образы наших тружеников — подлинных героев нашей эпохи. Ошибки и невольные заблуждения писателя надо по-дружески помогать ему исправлять, а не позорить его.

Нам надо создать критику как социалистическую авторитетную литературу, которая была бы достойна стать впереди на нашем литературном фронте. Нужно создать и условия для ее роста и развития. Необходимо с этой целью открыть новый журнал или предоставлять бо́льшее место для крупных работ критиков в наших толстых журналах.

Кстати, журналы наши по непонятным причинам занимают нейтральную позицию и в отношении дискутируемых вопросов на их страницах, и в особенности в отношении произведений, которые в них печатаются. Это противоречит историческим традициям нашей журналистики. Журнал — это боевой орган печати, и редакция всегда должна быть готова к принципиальным выступлениям. Нейтральность редакций наших журналов нужно объяснить или перестраховкой или отсутствием своего взгляда на печатаемый материал. Один из редакторов объяснил это скромностью руководителей журналов: «наше дело — печатать, а критические оценки пусть выражают другие». Из-за этой скромности они не печатают статей о «своих» авторах, но о «чужих» — охотно. Что значит «свои» и «чужие»? У нас есть единая советская литература, и в Союзе советских писателей все свои. Ссылка на скромность не оправдана ничем.

Критики у нас есть, и им есть что сказать, но в журналах им тесно, и трибуна у них случайна. Крупные и монографические работы критиков и литературоведов журналы не печатают, и авторам приходится с трудом устраивать их в издательство. Мне кажется, что журналы в этом случае не учитывают интересов читателей: такие работы поучительны, и они не менее важны, чем пространные публицистические, исторические и научные статьи.

Не могу не отметить, как факт большого положительного значения, рост кадров молодых литературоведов. Их диссертационные работы по вопросам советской литературы представляют несомненный интерес. Наиболее содержательные и яркие работы необходимо выпускать отдельными книгами. Не лишне опублико-

вывать также диссертации в толстых журналах, по традиции прогрессивных журналов прошлого. Нужда в таких творческих, исследовательских работах очень велика. А между тем эти труды остаются неизвестными литературной общественности и находят только одно для себя место — в архивах вузов и в хранилищах библиотеки имени Ленина. Лично я знаком с целым рядом диссертаций, посвященных советской литературе, и некоторые из них считаю очень интересными, оригинальными и обладающими несомненными литературными достоинствами. На мой взгляд, «Литературная газета» и редакции наших журналов должны бы заинтересоваться работами молодых литературоведов, как важным литературным явлением, и оценивать их с точки зрения научной и литературной значимости. Думаю, что предстоящий съезд советских писателей не пройдет мимо этого вопроса.

Вопросы марксистской эстетики и психологии творчества чрезвычайно важны: разработка этих проблем с позиций диалектического материализма — настоятельная необходимость, тем более что эта область идеологии еще мало освещена. Правда, в «Вопросах философии» появились две-три статьи, но они особого интереса не представляли, так как не были связаны непосредственно с анализом литературы. Если сейчас идет развернутая борьба с идеалистическим колдовством в философии и науке, которое распространяется в капиталистических странах, то область социалистической эстетики и психологии творчества наиболее слабо вооружена у нас на философском фронте. А между тем всякие экзистенсиалисты, прагматисты, семантисты непрерывно устраивают радения и в той или иной степени оказывают вреднейшее влияние и на прогрессивных деятелей искусства за рубежом.

На предстоящем съезде писателей нам нужно подробно и углубленно обосновать теоретические вопросы социалистического реализма. Надо прямо сказать, что эстетика социалистического реализма не раз-

работана. А то, что спорадически писалось об этом, весьма дискуссионно и противоречиво.

Наша советская литература может гордиться расцветом оригинального, самобытного творчества ряда литераторов. У каждого из них свое лицо, свой голос, свой жизненный опыт, свой выстраданный эстетический кругозор и свое отношение к миру, то есть он по-своему выражает в образах свои мысли и чувства. В этом и есть многообразие нашей литературы, яркая ее колоритность, ее сила и высокая идейность.

1954

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Наша литература, как выражение духа народа, создала за эти годы произведения большой значимости, как литература эпохально новая, самобытная — социалистическая литература.

Глубоко человечная, одухотворенная идеей коммунизма, она является самой революционной литературой в мире.

Метод социалистического реализма — не директивный императив, не преднамеренная тенденциозность, как клеветнически утверждают наши враги и невежественные обыватели. Наш творческий метод — это свободное проявление таланта, воспитанного и созревщего в условиях социалистической действительности. Каждый пишет о том, что ему дорого и о чем он не может не писать, как птица не петь.

Наш творческий метод не идеализирует действительность (она в этом не нуждается), но его смелая и яркая типизация не боится и преувеличений, потому что художественное преувеличение — это только сгущенное подчеркивание типических черт живых характеров.

Положительная жизнеутверждающая сила этих образов неотразима своей правдой и пластической изобразительностью.

Горький называл это романтизацией. В своем письме о «Цементе» он писал, что фигура главного героя книги романтизирована. «...но это так и надо», —

прибавил он и продолжал: «Современность *вполне законно* требует, чтоб автор, художник, не закрывая глаз на явления отрицательные, подчеркивал — и тем самым «романтизировал» положительные явления... Однако — поймите меня: я говорю не о том романтизме устрашенных действительностью и бегущих от нее в область фантазий, а о романтизме верующих, о романтизме людей, которые умеют встать выше действительности, смеют смотреть на нее как на сырой материал и создавать из плохого данного хорошее желаемое. Это — позиция истинного революционера, и это его право»[1].

Это письмо написано тридцать лет назад. Я думаю только, что в то время было еще много «плохого данного», но и «хорошее» уже не было желаемым, а было реальной действительностью. Мы тогда уже строили социализм. За эти годы мы добились всемирно-исторических побед. Наша страна находится в полосе завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Кое-что из «плохого данного» еще осталось как пережитки далекого прошлого. Но социалистический реализм пользуется не в меньшей степени, чем критический реализм, средствами разоблачения и обнажения всего нам чуждого, враждебного, унижающего достоинство нашего человека. С этим наш реализм борется, как с пережитками прошлого.

Для социалистического писателя движение жизни настоящего неотделимо от художественного воплощения прошлого нашего народа — рабочего класса и революционного крестьянства — в его славной борьбе за свободу.

Нельзя отрывать настоящее от минувшего, потому что настоящее — это результат самоотверженной борьбы наших предшественников за социалистический идеал. Но эта художественная летопись революционного прошлого нашего народа имеет огромное педагогическое значение при непременном условии освещения его с высот марксистско-ленинского мировоззре-

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 29, стр. 438—439.

ния. Алексей Максимович придавал этому большое значение. Такие произведения становятся не менее злободневными, чем книги о людях текущих дней. Наши люди не явились как чудесная внезапность. Они закалялись в революционных бурях и воспитывались большевистской партией многие годы. Я первый, кажется, начал писать поэму о социалистическом строительстве, о людях нового типа. «Цемент» — это моя молодость и горячий след моей партийной работы. А теперь вот я тружусь над эпопеей о русском народе, о событиях и людях начала нашего века вплоть до революции. Но я пишу ведь о современности.

Я дерзаю причислять себя к писателям злободневным в широком значении этого слова и к самым молодым, потому что я не хочу стареть, я желаю сохранить молодость пожизненно, потому что наша жизнь — это многогранное и наступательное творчество, а в творчестве, в созидании нового людн не стареют.

Художник, баян своего народа, не мечтает об иллюзорном идеальном герое. Эти праздные мечты — плод маниловского прекраснодушия. Это в маниловском парадизе обитает некий идеальный призрак и приятная во всех отношениях «бесконфликтность» с «притворной ласковостью взгляда и поддельною краской ланит». Перед художником, находящимся в горниле жизни и органически слитым с людьми в их многообразии и разнохарактерности, такие вопросы не возникают и не могут возникать. Сама жизнь, богатая, мятежная, неисчерпаема в своем движении и развитии. Она творится теми самыми людьми, которых именуют положительными героями. Они все перед художником — простые труженики, которые без шума и треска совершают великие дела, и постоянное стремление к созданию нового неотделимо от их поведения, от их личной морали, от их высокой идейности. Проблема ставится иначе: надо создать такие условия, чтобы писатель постоянно был в центре жизни и не отрывался от народных масс. В том-то и новизна, самобытность, величие нашей советской литературы, что она на всем протяжении нашей истории и создавала именно этого типического положительного героя,

и в этом именно находили свое вдохновение наши художники.

Правда искусства в том, чтобы уметь видеть в действительности жизнеутверждающее начало, то есть то, что движет нашу жизнь в будущее. Писатель, если он находится в гуще народа и знает свой народ, создает произведения большой правдивости. Он радуется радостями своих современников, страдает вместе с ними, гневается их гневом. Он — суровый реалист, и ему чужды беспочвенные восторги и гимны. Пути к коммунизму не усыпаны цветами. Это трудные пути, полные борьбы и тяжелых испытаний. Борьба за будущее происходит не только в условиях внешнего враждебного окружения, но и в условиях напора врага внутреннего — я говорю о губительных пережитках, о бытовых пороках, о несовершенстве воспитания и о многом другом, что тормозит наше движение вперед и нередко калечит ценных тружеников.

У писателя одна судьба — вдохновенное служение народу. Нужды народа, думы народа, стремления и идеалы народа — это нужды, думы, стремления писателя. А посему он обязан быть впереди движения, быть примером для множества и в моральном и в духовном отношении. А чтобы иметь право воспитывать других, надо постоянно воспитывать самого себя и сохранять, по выражению Некрасова, «святое недовольство — то недовольство, при котором нет ни самообольщения, ни застоя».

Творческие задачи нашей литературы широки и многообразны. Писатели нашей многонациональной страны — прозаики, поэты и критики — ни на минуту не должны забывать о самой гуманной проблеме наших дней — о борьбе против воинствующего мракобесия, грозящего истреблением миллионов, о борьбе за торжество мира между народами. Силы мира велики — это все трудовое человечество, и голос писателя не может и не должен умолкать.

Для дальнейшего расцвета нашей литературы необходимо одно — крепкая взаимная творческая связь. Ничего нет вреднее, чем нивелировка литераторов. Надо раз навсегда помнить и понимать, что каждое

дарование индивидуально, что творческие индивидуальности нуждаются в свободном содружестве.

Коллективность и сотрудничество — вот единственное условие жизни писательской организации. Внимательное, любовное отношение друг к другу, радость от успехов товарищей, дружеская помощь при срывах и неудачах, создание благородного стиля в коллективной работе, недопущение ни заушений, ни травли, ни злостного опорочивания — этих гнусных пережитков обывательского эгоизма.

И тут наша критика, которую я считаю самостоятельной философско-публицистической литературой, должна выполнять, как ведущая сила, свою педагогическую роль в отношении художников слова.

На Первом съезде Алексей Максимович отнесся к нашим критикам довольно сурово: он говорил, что критики не могут научить наших писателей писать, так как сами малограмотны и пользуются лишь одними и теми же цитатами из Маркса и Энгельса.

В работах наших критиков мы по-прежнему не находим ни анализа стиля писателя, ни разбора особенностей его языка. Вообще проблема формы не разрешается.

Получается впечатление, что все писатели пишут одинаково, только одни ярко, другие тускло. А что это значит — невдомек.

Много говорят о традициях классической литературы, традициях Горького. Но разве у нашей литературы, у которой богатейшая история, разве у нее нет своих традиций? Конечно, есть.

О самобытности писателя, о его творческой личности, о том, внес ли он что-либо новое в литературу, не говорится ни слова, причем критики почти дословно повторяют друг друга. А ведь задача критики и состоит в том, чтобы раскрыть творческие особенности писателя, его искусство со стороны содержания и формы.

Но я был бы не прав, если бы не отметил, что за эти годы критика все-таки дала ряд серьезных работ, удостоенных Сталинских премий.

На мой взгляд, критика и литературоведение дол-

жны быть нераздельны. Выходят на литературную дорогу и молодые, даровитые литературоведы-критики, которые с успехом защищают диссертации по советской литературе. Некоторые из этих диссертаций достойны опубликования, как ценные научные труды, в которых есть большая нужда.

На мой взгляд, союзу писателей необходимо собрать и организовать эти молодые кадры и руководить их дальнейшей работой.

В связи с этим необходимо обратить внимание на очень важный факт. До сих пор не появилось ни одного основательного труда по марксистской эстетике и психологии творчества. А нашим философам давно пора приступить к этой серьезнейшей и ответственной работе. Советская литература представляет для этого богатейший материал.

Надо иметь в виду, что идеалисты всех мастей за рубежом изо всех сил стараются отравлять сознание масс своим колдовством в области эстетики. А мы пока слабо противоборствуем. Не удивительно, что эти колдования проникают к нам как диверсия и сбивают с толку кое-кого из интеллигентов. Бдительность наша должна выражаться прежде всего в теоретической разработке проблемы марксистской эстетики, научном обосновании творческого метода социалистического реализма.

Наши исследователи и философы этих вопросов еще не касались всерьез. Не потому ли некоторые молодые литераторы довольно примитивно понимают задачи творческого метода? Они нередко сочиняют грубо тенденциозные книжки, в которых много вещей, но нет образа нашего советского человека.

Мне приходится читать немало таких рукописей, присылаемых из разных мест, а также книжки, выпускаемые особенно областными издательствами.

А ведь литература социалистического реализма — самая человечная литература в мире. У нее нет иной функции, иной задачи, кроме постижения нашего человека, яркой типизации характеров, правдивого преображения и отображения жизни нашей эпохи со всеми ее драматическими противоречиями и конфликтами.

Говоря о творческих задачах и о работе литераторов, нельзя умолчать о важнейшей области писательского труда — о мастерстве писателя. Русская литература в вековом своем развитии и процветании создала высокую культуру языка, эстетически прекрасного и богатого, глубоко народного и по духу своему, и по мудрости, и по красоте.

Обладатель этого языка народ — трудолюбец, умелец, несгибаемый в тяжелых испытаниях, с неугасимой любовью к жизни и верой в торжество правды — вдохновлял наших великих художников своим словесным творчеством, в котором воплощалась могучая и любвеобильная его душа, его богатейший исторический опыт борьбы за свою национальную самобытность и величие. Яркая выразительность, свежесть, поэтическая музыкальность, кристальная чистота и мудрая сжатость речи, несущей огромную силу мысли, — из этого неиссякаемого источника питалась эстетика наших великих предшественников.

Пластичная экономия речи рождается и формируется только в основе богатой сокровищницы языка.

Надо воспитывать в себе чуткость к языку, искать наиболее выразительные и объемные синонимы, ни на минуту не забывая о своей ответственности перед миллионным читателем.

Надо постоянно развивать в себе способность к самокритике. Без самокритики, без требовательности к себе не может расти художник. Самодовольство и самолюбование — удел графоманов.

Но добиваться глубокой и богатой вместимости в предельно экономном выборе слов — не простое и не легкое дело. Это — неизбывные «муки слова». Бывает, что проходят дни в поисках нужного слова или выражения, часто не спишь по ночам, и вдруг оно по какой-то ассоциации вспыхнет и зазвучит, свежее, простое, трепетное, обычное, но как будто неожиданно новое.

Я вспоминаю мучительную и упорную работу над словом Александра Малышкина, прекрасного художника. Его черновые рукописи представляли собой причудливое кружево из зачеркнутых слов и целых

фраз и абзацев, из запутанных цепочек надписей. И он радовался, когда из нескольких страниц такой старательной и, казалось, неблагодарной мазни он выжимал две-три фразы, изумительно ярких, оригинальных, художественно драгоценных. Он обладал громадным запасом слов и каждый нужный ему синоним как будто извлекал, как крупинку золота, из массы словесной руды. А словесная руда нередко заполняет целые страницы у некоторых наших писателей.

Никогда не надо забывать наказов Горького о чистоте и смысловой точности языка.

Я обращаюсь к нашей писательской молодежи, которая еще не приобрела достаточного литературного опыта и не развила в себе дара самокритики. Надо понять, что народ наш стал культурно высок и чрезвычайно тонко разбирается в наших книгах. Он подчас не прочь и поучить автора, как надо обращаться со словом. Он замечает малейшие ошибки.

В ответ на мою статью о культуре речи я получил и получаю целые послания с развернутой критикой языка произведений наших писателей, и поражаешься изумительной проникновенности и эстетической чуткости наших людей! Памятуя об этом, надо постоянно чувствовать около себя строгого читателя, который пристально следит за нашей работой, требует от нас большой ответственности, суровой самокритики и уважения к тому, кому мы призваны служить.

Наша творческая работа — не механическое производство, не ремесло; распределять писателей по цехам (цех поэтов, цех прозаиков) — по меньшей мере странно. Отождествлять духовную деятельность, психологическую и моральную ее природу с ремеслом, с производством — нелогично. «Литературу факта» и так называемое «конструктивное искусство» мы давно уже похоронили, как чуждое нам направление, потому что искусство социалистического реализма глубоко человечно, повторяю: оно имеет морально-воспитательные цели и воздействует на человека эмоциональной силой художественного образа и лирикой.

Каждая книга писателя, если она написана кровью сердца, — это воплощение самых заветных его дум, это целая эпоха жизни его души, это пафос его идейного и общественного служения. Это его главная книга, которая пишется им всю жизнь. Прекрасно писала об этом Ольга Берггольц. Какова книга — таков и писатель как человек.

Вот почему союз писателей по назначению своему должен быть творческой организацией, а не административным органом. Надо создать в нем атмосферу творческого сотрудничества и соревнования, обеспечить свободу литературного содружества, потому что «литературное дело, — как учил Ленин, — всего менее поддается механическому равнению, нивелированию...»

Союз писателей должен быть школой для литературной молодежи и желанным местом для живой связи ее с мастерами художественного слова. Жалобы писателей на равнодушие и невнимание руководителей союза и работников аппарата не лишены основания. Не потому ли молодые литераторы загружают своими рукописями отдельных писателей? Лично у меня таких жалоб молодых более чем достаточно.

Острая товарищеская критика системы работы руководства ставит серьезный вопрос о коренном пересмотре этой системы, о создании условий для живого творческого общения писателей и морально-идейного совершенствования.

Наша советская многонациональная литература пришла ко Второму съезду монолитной и могучей силой. Ее мировое значение велико: по ней равняется и у нее учится прогрессивная литература зарубежных стран. Как литература социалистической страны, она показывает в своих творческих образах решающую роль трудовых масс — как деятелей истории, как творцов нового, коммунистического мира. Созданные ею образы героев, как выразителей творческих сил народа, героев, внутренний мир которых и богат духовно, и сложен, как сложна наша боевая, творческая действительность, — вошли в сознание народа неугасимо, как родные и любимые образы. В этом — яркое своеобразие нашей литературы. Ведь личность советского

человека — высоко интеллектуальна, она уже изживает противоречия между умственным и физическим трудом, между собой и коллективом, между внутренней своей жизнью и производством. Ее судьба неразрывно связана с судьбой всей страны. А писатель — не сторонний наблюдатель, а один из творческих деятелей миллионов. Он самый счастливый художник в мире. Зная свое историческое назначение, социалистический писатель, как летописец наших великих дел и свершений, как чуткий провидец человечности, одного не должен забывать — не отрываться от народа, всегда быть в «числе драки», по выражению Успенского, и остерегаться соблазна «вариться в собственном соку», памятуя, что это ведет к моральному разложению.

Писательская организация должна проявлять живое участие к личности писателя и направлять его по пути действительной связи с жизнью народа, обеспечить ему условия свободного проявления своего таланта в сотрудничестве с коллективом близкого ему творческого содружества.

Вперед, товарищи, к новым вершинам!

1954

ПРИМЕЧАНИЯ

Лихая година. — Повесть впервые напечатана в журнале «Новый мир», 1954, № 1—4. В том же году дважды вышла в издательстве «Советский писатель» и в 1956 г. — в Гослитиздате.

Издавалась на многих языках народов СССР и за границей — в Болгарии, Чехословакии, Польше.

«Лихая година» — третья книга цикла автобиографических повестей.

Воспоминания и литературные портреты. — Впервые объединяя их в одну книгу (Сборник «О литературе», изд. «Советский писатель»), Гладков писал в 1955 году: «...я решил включить в сборник воспоминания о М. И. Калинине и И. И. Скворцове-Степанове, поскольку их взгляды на нашу литературу укрепляют мои эстетические убеждения. С этой же целью я поместил портреты Серафимовича и Малышкина, моих соратников и друзей, взгляды которых на литературу во многом совпадали с моими».

И. И. Скворцов-Степанов. — Впервые напечатано в «Журнале для всех», 1928, № 3, под названием «Венок на могилу. О Скворцове-Степанове». Вошло в сборник «Избранное» («Советский писатель», 1948), под названием: «И. И. Скворцов». Под тем же названием включено в сборник «О литературе» («Советский писатель», 1955). В связи со смертью Скворцова-Степанова Гладковым было опубликовано воспоминание о нем и в газете «Известия», под названием: «О человеке» (№ 240, 1928, 14 октября).

А. С. Неверов. — Впервые опубликовано в 1941 г. на родине писателя в г. Куйбышеве (газета «Волжская коммуна», № 143, 20 июня), под названием: «Об А. С. Неверове». Вошло в сборник «О литературе», с заглавием: «А. С. Неверов».

В годовщину смерти А. С. Неверова Гладков написал о нем в «Рабочем журнале»: «Александр Сергеевич Неверов. Некролог» (1924, № 1).

А. С. Серафимович. — Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1943, № 2—3, под названием: «Об А. С. Серафимовиче». Вошло в сборник «Избранное» («Советский писатель», 1948) и в сборник «О литературе», с заглавием: «А. С. Серафимович».

А. Г. Малышкин. — Впервые опубликовано в 1941 г. в журнале «Новый мир», № 7—8, под названием: «О Малышкине». Вошло в сборник «Избранное» («Советский писатель», 1948), под названием: «Александр Малышкин», и в сборник «О литературе», с заглавием: «А. Г. Малышкин».

В 1938 г. Гладков напечатал воспоминание о А. Г. Малышкине в «Литературной газете», под названием: «Задушевный друг» (№ 43, 5 августа).

Встречи с Михаилом Ивановичем Калининым. — Написано в связи со смертью 3 июня 1946 г. выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза Михаила Ивановича Калинина. Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1946, № 7—8, под названием: «О Михаиле Ивановиче Калинине». Вошло в сборник «О литературе», с заглавием: «Встречи с Михаилом Ивановичем Калининым».

4 июня 1946 г. газета «Комсомольская правда» опубликовала статью Гладкова о М. И. Калинине, под названием: «Огромная утрата» (№ 130). «Литературная газета» напечатала 6 июня 1946 г. воспоминание Гладкова: «Встречи. Памяти Михаила Ивановича Калинина» (№ 24).

П. П. Бажов. — Впервые опубликовано в сборнике «Павел Петрович Бажов в воспоминаниях», Свердловск, Книжное изд-во, 1953, под названием: «О Павле Петровиче Бажове». Вошло в сборник «О литературе», с заглавием: «П. П. Бажов».

Бессмертие Гоголя. — Написано к 100-летию со дня смерти писателя и впервые опубликовано в «Литературной газете», 1952, № 28, 4 марта. Вошло в сборник «О литературе».

Д. Н. Мамин-Сибиряк. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», 1952, № 137, 13 ноября, с подзаголовком: «(К столетию со дня рождения)». Вошло в сборник «О литературе», без подзаголовка и значительно расширенное.

Человек с большим и сильным сердцем. — Вступительная речь на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения В. Г. Короленко. Впервые опубликовано в сборнике «О литературе».

Статьи. — В авторском предисловии к сборнику «О литературе» («Советский писатель», 1955) Гладков сообщает, что статьи его написаны в разные годы и касаются «самых жгучих вопросов, которые требовали принципиального решения с точки зрения революционного, партийного отношения искусства к действительности». Здесь же Гладков говорит, что статьи его, «с одной стороны, отвечают на некоторые вопросы литературного движения, а с другой, отражают потребность теоретически и публицистически осветить роль и задачи художественной литературы в наши дни».

О ведущем типе эпохи. — Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Впервые опубликована в журнале «Октябрь», 1934, № 9, под названием: «Дать эпохе великих дел ведущий тип эпохи». Вошла в сборник «О литературе», с заглавием: «О ведущем типе эпохи».

В сокращенной редакции была опубликована в «Литературной газете», 1934, № 108, 22 августа, в газете «Правда», № 231, 22 августа, под названием: «Писатель — активный участник событий нашего времени», и в газете «Известия», № 198, 24 августа, под названием: «Три важнейших проблемы».

О социалистическом реализме. — Впервые опубликована под названием: «Из дневника писателя» в журнале «Новый мир», 1936, № 1 — первая часть статьи, 1940, № 1 — вторая часть,

1945, № 4, под названием: «Заметки писателя», — третья часть статьи. Вошла в сборник «О литературе», с заглавием: «О социалистическом реализме».

Авангардная роль советской литературы. — Впервые опубликована в газете «Культура и жизнь», 1949, № 23, 21 августа, под названием: «Советская литература на новом подъеме». Вошла в сборник «О литературе», с заглавием: «Ведущая роль советской литературы».

Культура речи. — Впервые опубликована в журнале «Новый мир», 1953, № 6, под названием: «О культуре речи». Вошла в сборник «О литературе», с заглавием: «Культура речи». В 1951 г. на эту же тему Гладков опубликовал письмо редакции «Литературной газеты» «О неправильном словоупотреблении» (№ 121, 11 октября).

О правильном и точном словоупотреблении в литературной речи. — Написана в связи с откликами на статью «О культуре речи». Впервые опубликована в журнале «Октябрь», 1954, № 9. Вошла в сборник «О литературе».

Самое заветное. — Впервые опубликована в газете «Правда», 1954, № 207, 26 июля, под названием: «О самом заветном», и с подзаголовком: «(Ко Второму Всесоюзному съезду советских писателей)». Напечатана затем в журнале «Октябрь», 1954, № 8, под названием: «Самое заветное». Вошла в сборник «О литературе».

К новым вершинам. — Речь на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. Впервые опубликована в «Литературной газете», 1954, № 155, 22 декабря. Вошла в сборник «О литературе», с заглавием: «К новым вершинам».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАПЕЧАТАННЫХ в 1—8 ТОМАХ

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
		Том 1	
24	14 св.	Некоторое	Некоторые
63	12 сн.	несмешливый	насмешливый
153	3 сн.	успокительно	успокоительно
336	11 сн.	ведреный	ведренный
		Том 2	
85	8 св.	эти	это
172	6 св.	ваше	наше
208	6 св.	в карман	в карманы
433	11 сн.	искуственно	искусственно
		Том 3	
108	9 сн.	Нообъятные	Необъятные
378	3 св.	Главое	Главное
		Том 4	
283	16 сн.	Вы	— Вы
526	3 сн.	491	311
		Том 5	
41	1 св.	эти	эту

Том 6

328	11 св.	растрялся	растерялся
374	1 сн.	— Кто-то	Кто-то
413	2 св.	хоязйкой	хозяйкой
415	13 сн.	навыгодно	невыгодно
475	12 сн.	автобиогрифческое	автобиографическое

Том 7

134	21 св.	спросила	спросил
146	12 сн.	щикотолок	щиколоток
305	7 сн.	взолнованных	взволнованных
364	1 св.	и и	и
464	9 сн.	штуку	шутку
492	5 св.	раскажешь	расскажешь
498	19—20	половожаловаться	пожаловаться

Том 8

192	15 сн.	становилось	становилась
257	1—2 св.	разажгла	разожгла
352	11 сн.	копешок	копешек

СОДЕРЖАНИЕ

Федор Васильевич
ГЛАДКОВ

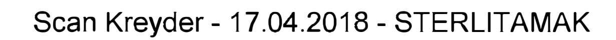
Собрание сочинений, т. 8

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Г. Гончарова
Корректор *Н. Бондарчук*

Сдано в набор 24/XII 1958. Подписано в печать 5/III 1959 г. Бумага 84×108[1]/32. 18,75 печ. л. = 30,75 усл-печ. л. Тираж 75000. 28,38 уч.-изд. л. Заказ № 3748.
Цена 9 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза. Ленинград.
Измайловский пр., 29


Scan Kreyder - 17.04.2018 - STERLITAMAK

9 р. 50 к.